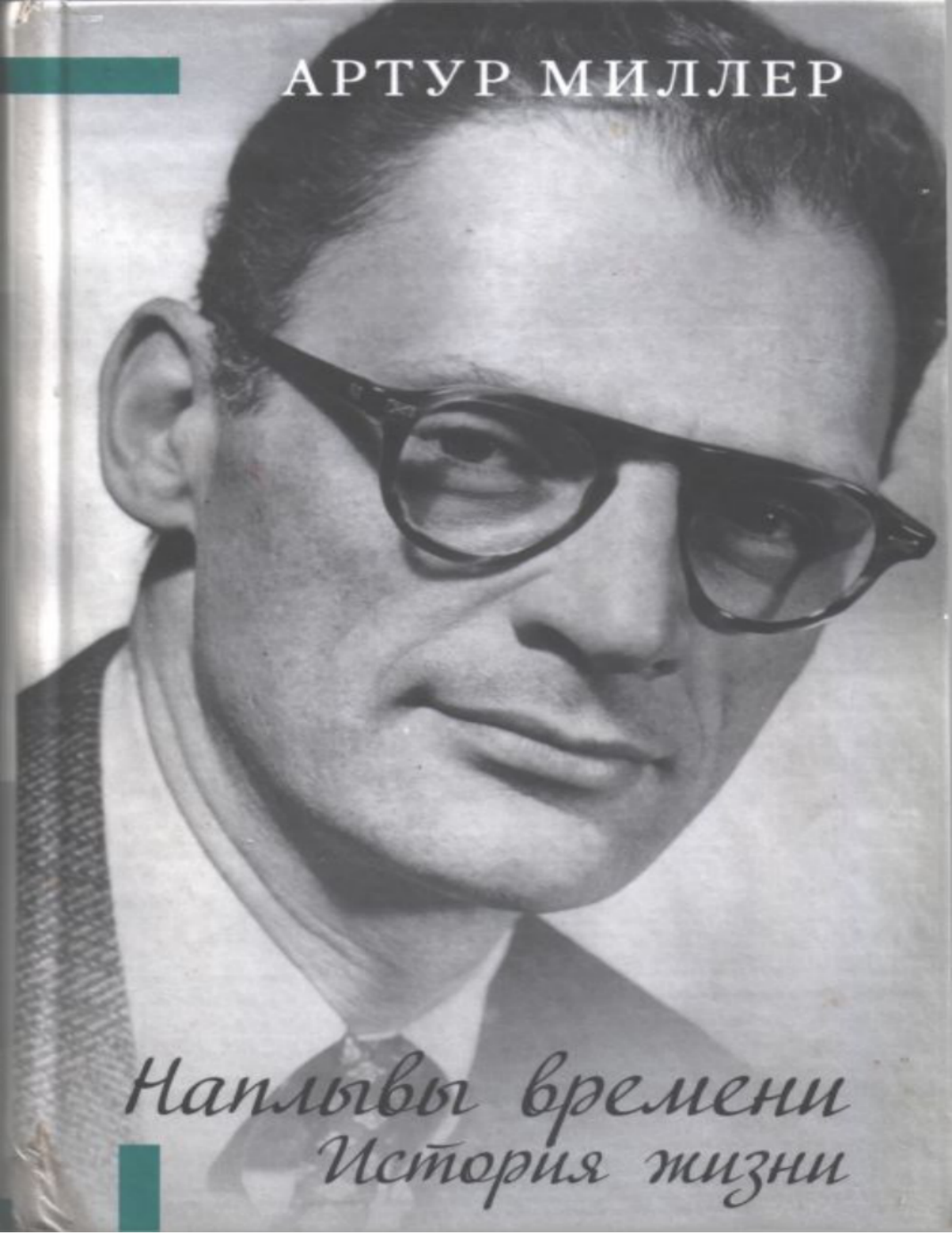
АРТУР МИЛЛЕР



Наплывы времени
История жизни

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

История непростой жизни, в событиях которой как в зеркале отразился весь путь развития искусства и литературы прошедшего столетия.

Артур Миллер рассказывает не только о себе, но и о других великих людях, с которыми сводила его судьба, — Теннеси Уильямсе и Элиа Казане, Дастине Хоффмане и Вивьен Ли, Кларке Гейбле, Лоуренсе Оливье и своей бывшей жене, прекрасной и загадочной Мэрилин Монро.

- Артур Миллер
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27

Артур Миллер
Наплывы времени. История жизни

Посвящается Инге

I

С пола видна пара остроносых высоких башмачков черной кожи, один из которых беспокойно постукивает, чуть выше, от лодыжек и до блузки, лилового цвета юбка, еще выше — молодое округлое лицо и неуловимо меняющийся голос, когда по настенному телефону она болтает с одной из своих двух сестер, и так будет продолжаться всю жизнь, пока они одна за другой не вознесутся на небеса, исчезнув на том конце провода. Она опускает взгляд на меня, взирающего на нее с пола прихожей, наклоняется и хочет сдвинуть со своей ноги. Но я упорствую, лежа на ее ботинке, и откуда-то сверху, издалека, сквозь юбку и темноту доносится радостный смех, вызванный моей настойчивостью.

Чуть позже взгляд с высоты двух с половиной футов над полом: она сидит у окна на шестом этаже с видом на Центральный парк, ее профиль в лучах послеполуденного солнца, волосы, пока еще длинные, собраны в пучок, рукава батистовой блузки плотно обтягивают полные руки, юбка теперь покороче, а на ногах бархатные туфли-лодочки. Руки покоятся на раскрытой книге, которая лежит на коленях; она внимательно слушает молодого человека в очках с толстыми стеклами, с трубкой и короткой бородкой — студента Колумбийского университета, которому платят два доллара только за то, что он раз в неделю приходит поговорить с ней о литературе. Среди ее близких или родных едва ли найдется человек, который прочел хотя бы одну книгу, но сама она может открыть роман днем, вернуться к нему после обеда, дочитать к полуночи и потом помнить всю жизнь до мельчайших подробностей. Вдобавок она знает имена всех ныне здравствующих членов английской королевской семьи и их германских кузенов. Однако предметом ее тайной зависти, которую выдает напускное презрение, является мадам Лупеску, еврейка — любовница румынского короля Кароля и, как она полагает, его тайная советница.

Позже взгляд с высоты около пяти футов: она в туфлях на высоком каблуке с пряжками из искусственных бриллиантов, в вышитом черным гарусом платье до колен и серебристо-черной шляпке колоколом на коротко остриженных волосах. Губы подведены яркой помадой. У нее полные руки и высокая грудь и теперь еще новая привычка — перед выходом из дома оттянуть верхнюю губку вниз, дабы придать некоторое изящество пухлому носу. Ее руки в бриллиантах, она волочит за собой по полу мех чернобурки и обещает привезти с концерта Керна, Гершвина или

Герберта программку с нотами, чтобы утром сесть за кабинетный «Кнабе» и звонким, слегка срывающимся сопрано повторить все без фальши, манерно и с чувством. Она высоко держит голову, чтобы не набегал двойной подбородок, в то же время желая подчеркнуть, что гордится тем, кто идет с нею рядом, на голову выше, голубоглазый и такой светлокожий, что его кожа кажется прозрачной. Отливающие рыжиной белокурые курчавые волосы оттеняют бесхитростный взгляд преуспевающего делового человека, которому полицейские с готовностью отдают честь, метрдотели услужливо отыскивают свободный столик, а водители такси останавливаются в дождь; человека, не позволяющего себе отобедать в ресторане, где воду подают в бокалах толстого стекла, основателя одного из двух или трех крупнейших в стране предприятий по пошиву пальто, при этом не умеющего ни читать, ни писать ни на одном языке.

Затем еще какое-то время спустя: небольшой бруклинский дом, где, шаркая по полу в ковровых шлепанцах, она вздыхает, чертыхается, кривя усмешкой губы, неожиданно всхлипывает, но затем берет себя в руки; зимой совком подбрасывает в печь скудную порцию угля, чтобы поддержать огонь, и кормит семью тем, что зарабатывает игрой в бридж по-крупному — занятие, которое процветает по всему Мидвуду и Флетбушу, куда время от времени наведывается полиция, и тогда она упрашивает их отпустить ее домой готовить ужин. Великая депрессия заставила ее опуститься на самое дно жизни, когда арест за попытку подзаработать перестал свидетельствовать о полной потере респектабельности, как это было до недавней поры. Моя мама менялась вместе со временем.

Стремление к развитию, метаморфозе — не в этом ли талант быть современным? — досталось мне как непреложное условие бытия. Пребывать в становлении, постоянном движении — вот все, чему научила моих родителей жизнь. Мама родилась на Брум-стрит в той части Манхэттена, что носит название Лоуер-Ист-Сайд. Ее отец Луис Барнет был портным-подрядчиком, одним из той массы осевших здесь иммигрантов, которые, карабкаясь друг на друга, стремились ухватиться за медное кольцо удачи, пролетавшее мимо. Как и мой дед по отцовской линии Сэмюэл, Луис был родом из польского местечка Радомышль, и мне всегда казалось, что они могли быть дальними родственниками, так были похожи: оба светлокожие, флегматичные, хотя дед Сэмюэл с его сильно искривленным позвоночником был крошечного роста в отличие от своей жены и сыновей, по тем временам непривычно высоких — выше шести футов. Всю жизнь, еще со времен своего детства в Европе, где прожили до восьмидесятых годов прошлого

века, когда появилась возможность эмигрировать, они были вынуждены приспосабливаться, ибо родились в зоне причудливого смешения разных культур, где австро-германские порядки уживались с укладом польской деревни и исконно еврейской самобытностью. Верхом культуры у них почиталось все немецкое.

Луис Барнет носил вандейковскую бородку, коротко стриг поредевшие волосы, летом принимал ванну два раза в день, галстуки отдавал гладить вместе с рубашками, шляпы хранил в магазинных коробках и аккуратно складывал носовые платки и носки, прежде чем бросить их в корзину для стирки. Ложась спать, он пристраивал под голову три подушки — сначала большую, потом поменьше, а сверху думку. На ночь надевал белую атласную ермолку, отутюженную так, что складка, взлетая ото лба, исчезала на затылке, спал не шелохнувшись на спине, пристроив руки на округлом животике, и по утрам оставлял после себя постель такой же нетронутой и накрахмаленной, какой она была накануне. Я знаю это, потому что во время Великой депрессии он лишился крова и ютился у нас; мы жили с ним в Бруклине в одной комнатке. Когда Луис Барнет спал, его душа отлетала от тела, поскольку оно не испытывало в ней нужды вплоть до самого завтрака. Я ни разу не услышал от своего деда слова, в котором отразился бы проблеск мысли, или звука с каким-то значением, кроме сиюминутного, не считая незамысловатых «здравствуй» или «прощай». Когда в 1940 году мама сообщила ему, что я женюсь на девушке нееврейского происхождения, он промолчал, но она замешкалась в нашей крошечной, двенадцати футов в ширину, бруклинской гостиной, ожидая ответа, и тогда он схватил со стоявшего рядом столика забытый кем-то тяжелый будильник и запустил в нее, лишь волею случая не разбив голову собственной дочери. Весьма преуспев в бизнесе в двадцатые годы, дед уже тогда был известен своей склонностью к решительным действиям. Луис мог вызвать к себе на верхнюю площадку двух профсоюзных боссов собственной фирмы и в ходе серьезной беседы неожиданно стукнуть их лбами и спустить с лестницы. Он считал, что Франклину Рузвельту, выставившему свою кандидатуру против Герберта Гувера, надо было бы запретить баллотироваться на пост президента, поскольку Рузвельт никогда не имел своего дела. К этой мысли, вскоре утвердившейся среди республиканцев, дед пришел самостоятельно. Однако пять лет спустя он уже считал, что Рузвельта следовало бы короновать, а выборы отменить до конца его жизни. Луис полагал, что выборы оскорбительны для власть имущих, — так сильна была в нем немецкая закваска. Со

временем его отношение к моей жене Мэри смягчилось, но и то потому, что ее длительное пребывание в нашем доме внесло в жизнь некоторую размеренность: запуская будильником, он восставал против беспорядка.

Все это, однако, было после биржевого краха, после Великого кризиса 1929 года, вновь перекроившего их и без того не раз перекроенные судьбы. В двадцатые же годы на окраине Гарлема, в своей квартире на шестом этаже, откуда открывался величественный вид на парк вплоть до самой гавани, мы, казалось, могли не думать о политике. Мой отец Исидор искренне недоумевал, когда таких людей, как лидер социалистов Морис Хилквит, называли «свободомыслящими». Ему это казалось странным и раздражало. «Надо же, он, видите ли, мыслит свободно!» Да просто безответственно, только и всего. По воскресеньям в гостиной на восточном ковре расстилалась «Нью-Йорк таймс», в которой наибольший интерес представлял раздел ротогравюр, исполненных теплого тона сепией. От фотографий веяло спокойствием и уверенностью: какой-то видный мужчина рекламировал воротнички фирмы «Эрроу», особенно хороша была сидевшая у его ноги навострив уши немецкая овчарка; рядом красовался в своей прославленной белой форме начальник полярной экспедиции Берд вместе с участниками похода, к которым я мечтал присоединиться, как только меня примут в бойскауты (нескольких счастливчиков он взял с собой); тут же на статном вороном жеребце гарцевал принимавший парад германский президент Гинденбург точно с такими же мешками под глазами, как у короля Англии и даже принца Уэльского, не говоря о моем отце и обоих дедах. Раздел новостей читала только мама, по крайней мере просматривала его, прежде чем погрузиться в увлекательную жизнь театров, которых на Бродвее в те дни было шестьдесят или семьдесят, или перейти к светской хронике известнейших семейств — Рокфеллеров, Морганов, Бидлзов, — которую она знала, будто состояла с ними в родстве. На Пасху президент Келвин Кулидж с супругой позировали на лужайке перед Белым домом в окружении надменных породистых колли и под американским флагом, развевавшимся справа на шесте над их легендарным жилищем. Он — мертвенно-бледный, невозмутимый бывший губернатор штата Массачусетс; она — его верная супруга, принявшая перед объективом такую же исполненную достоинства позу, какую приняла бы, пожалуй, в подобных обстоятельствах моя мать. В менее торжественных случаях Кулидж на фотографиях удил в ручье рыбу в черном строгом костюме, мягкой серой шляпе, рубашке с крахмальным воротничком-стойкой и при галстуке — само воплощение

солидности, которую вскоре развеял Великий кризис. На этой же страничке красовался наш коротышка-мэр Джеймс Дж. Уокер со своей обаятельной ирландской улыбкой и всегда в безупречно сшитых пиджаках; чаще всего его фотографировали, когда он входил в один из ночных клубов, где любил отдохнуть после трудов праведных — легко ли изо дня в день обирать целый город. До него этим занимался мэр Хайлен, скупивший — если их вообще кто-то продавал — все тротуары Стейтен-Айленда; кражи по тем временам слыли невинным развлечением, поскольку воровство стало забавой политиков. Обыденность краж внушала ощущение устойчивости, эдакой уютности от привычного мошенничества. В то же время любой президент, в данном случае губернатор, всегда неким загадочным образом возвышался над этим болотом, пребывая в общественном сознании в одном ряду с епископами и папой. Как-то в начале двадцатых годов в Фар-Рокавей, где мы много лет подряд снимали на лето прекрасный одноэтажный дом с видом на океан и пустынный белый песчаный берег, я увидел в витрине магазина в черной траурной рамке портрет Уоррена Гамалиела Гардинга, седовласого красивого человека с актерской внешностью, и с благоговейно-печальным видом прошел мимо того, кто совсем недавно был нашим президентом. Много лет спустя я узнал, что в годы его правления коррупция федерального правительства достигла невиданных — по крайней мере со времен президента Гранта — размеров.

Казалось, с особым удовольствием на ротогравюрах воспроизводили фотографии англичан — в Африке, Индии, Малайзии, среди китайцев, у пигмеев и — неделями — среди египтян, где не так давно была открыта набитая золотом гробница фараона Тутанхамона. На школьной карте мира преобладали успокоительно-розовые тона владений Британской империи, которой принадлежали целые субконтиненты и сотни островов во всех климатических зонах. На ротогравюрах англичане с красивыми прямыми носами позировали то в тропических шлемах под пальмами, то укутанные в меха среди эскимосов, то под сенью сумрачных лесов, то посреди раскаленной пустыни. Соединенные Штаты в те годы только превращались в нацию-кредитора, расставаясь с более привычной для них и многих других стран ролью должников английских банков, как повелось еще со времен Войны за независимость. Но, лежа под роялем «Кнабе» и перелистывая увлекательные страницы, я меньше всего думал о банках, мечтая о приключениях среди туземцев или воображая, как с фонарем в руке я первым заглядываю в усыпальницу Тутанхамона сквозь только что прорубленную дыру — было от чего заняться духу. А

что, если он вдруг проснется! В одной из первых прочитанных мною газетных статей рассказывалось о загадочной смерти двух археологов, первыми проникших в гробницу, — предполагалось, что их погубило заклятие, дохнувшее из сумрака поруганного святилища. Как это ни было страшно, мы с мамой не могли пройти мимо подобного факта, ибо он неявно, но убедительно подтверждал мамину веру в духов. Воздух, считала мама, отнюдь не пустота — и до конца своих дней пыталась предугадывать будущее. В двадцатые годы существовало повальное увлечение доской Уиджа. В сеансе участвовало человека три-четыре, которые рассаживались так, чтобы магическая доска касалась их коленей, и кто-то один вытягивал руки, пытаясь заставить ее воспарить. Многое зависело от погоды, поскольку влажный воздух служил лучшим проводником потусторонних сил, но, конечно, от внутренней сосредоточенности собравшихся тоже. То, что маме ни разу не удалось заставить доску оторваться от колен, свидетельствовало о том, что она делала что-то не так, а вовсе не о том, что вся процедура была мошенничеством. Она прекрасно знала, что это выдумка, однако обладала одновременно даром прозрения и слепоты, как если бы, прыгнув со скалы, сама наблюдала свой рассекающий воздух полет. Этой легковерности и отрешенности я учился, еще ползая по полу. Мама действительно была художественной натурой, однако такие проявления не могли не сеять смуту в неокрепшем сознании ребенка.

Много позже я понял, что в те годы безоблачного процветания нас несла волна эйфории. По воскресеньям я разглядывал с пола доброе лицо отца, мирно посапывающего на диване в гостиной, как рассматривают бизона или зубра-альбиноса. В ответ на мои истошные крики он только добродушно моргал и оставался невозмутимым, даже когда все вокруг бились в истерике. Мой отец добрался до Нью-Йорка из польской глубинки шестилетним мальчишкой, а теперь по утрам у кромки тротуара его поджидал собственный «нэшнл» с шофером, чтобы доставить на Седьмую авеню, в торговый район, где располагались магазины готового платья. Эту метаморфозу все воспринимали легко и естественно; так продолжалось еще много лет; жизнь напоминала свиток, полный неожиданных и большей частью приятных сюрпризов.

Понятно, что одинокое путешествие мальчишки через всю Европу, а потом через океан не могло не вызывать у нас горького чувства протеста, что родители бросили его на произвол судьбы, и обиды на тех трех братьев и трех сестер, которых сразу взяли при великом исходе в Новый Свет. Это было частью семейной саги, столь же достоверной, как и все остальное в ней. По

официальной версии, у дедушки не хватило денег на билет для папы и он собирался их выслать самое большее через несколько месяцев, как только что-нибудь заработает в Америке. На это время покинутого ребенка оставили у дяди, но тот вскоре скончался. Мальчика передавали с рук на руки, пристраивая спать вместе с выжившими из ума старухами, которые мочились в постель и стонали по ночам, не обращая внимания, кто был рядом с ними. После нескольких месяцев такой жизни бедный Изя, должно быть, вообразил, что он круглый сирота. Я догадался об этом недавно, хотя знал его историю шестьдесят с лишним лет. Наверное, именно за его детские мытарства к нему с такой теплотой относилась моя вторая жена, Мэрилин Монро, умевшая безошибочно отличать в толпе сироту или воспитанника приюта. Я научился этому от нее, однако мой нюх был не столь безупречен. В глазах сироты как знак неизбывного одиночества стоит вопрос, неведомый тем, кто воспитывался в семье: «А я вам нравлюсь?»

Билет все-таки был прислан, и отца посадили на гамбургский поезд, повесив на шею табличку с просьбой великодушно помочь ребенку сесть на корабль, отплывавший в Нью-Йорк в такой-то день таким-то рейсом. Европа была еще достаточно цивилизованной для таких путешествий, и после трех недель плавания четвертым классом — на нижней палубе, куда не проникал дневной свет, у тросов рулевого управления, среди многочисленных иммигрантских семей, дважды в день получавших бочку селедки, от которой брошенному ребенку перепадали одни объедки, — он прибыл в Нью-Йорк с шатающимися зубами и струпом на голове величиной, как говорили, с серебряный доллар. У родителей не было времени встретить сына, и они отправили в Касл-Гарден Эйба, младшего из приехавших братьев, которому шел десятый год, дав поручение найти Исидора, помочь ему пройти через Иммиграционную службу и привезти домой на Стентон-стрит, где они ввосьмером ютились в двух комнатах и шили модные тогда длинные, со множеством пуговиц плащи. Озорник Эйб повел отца по городу, показывая якобы принадлежащие деду дома. Изю на несколько месяцев отдали в школу, а потом усадили за швейную машинку, завершив тем самым его образование. В двенадцать лет у него уже было двое подручных, с которыми он в каком-то полуподвале пришивал рукава к пиджакам, а в шестнадцать дед Сэмюэл отправил его коммивояжером на Средний Запад с двумя большими контейнерами пиджаков. Более полувека спустя, сидя на задней веранде моего дома, отец вспоминал: «Доехал до вокзала и вернулся домой — не мог расстаться с мамочкой. Через

год пришлось начинать заново — тогда обошлось». Ему перевалило за семьдесят, а он все еще стеснялся своей привязанности к матери, которой вплоть до самой женитьбы в возрасте тридцати двух лет отдавал еженедельную выручку в обмен на карманные расходы. Трое его братьев поступали точно так же. Однако в самый тяжелый момент Депрессии эта удивительная женщина отказалась помочь ему и дать денег взаймы — но до этого было еще далеко в те дни, когда я ползал по полу, и это давно отошло в прошлое к тому времени, когда мы мирно беседовали с отцом на веранде моего дома.

Брат Кермит долгое время существовал где-то на периферии моего сознания, пока в пять лет передо мной не открылась лучезарная перспектива отправиться, как и он, в школу. До этого Кермит был всего лишь досадным недоразумением, возникавшим в моей жизни всякий раз, когда я собирался порисовать, вырезать из журнала какую-нибудь картинку или вогнать гвоздь в футляр фонографа. Теперь же, когда мы оба должны были ходить в школу, он стал моим кумиром, и я полюбил его. Как старшему ему приходилось за все отвечать, а мне оставались одни шалости. Он был красив, я смешон — из-за оттопыренных ушей мне надлежало безропотно сносить шутки маминого брата дяди Мойши, который, приходя в гости, не мог не сказать: «Убери уши, въезжаем в туннель!» Отцовская родня при встрече разглядывала меня с презрительной усмешкой, как бы вопрошая: «А этот откуда взялся?» В отличие от меня, смуглого, кареглазого, с темными волосами, они были как стадо больших голубоглазых бизонов-альбиносов, в высшей степени довольных собой. Конечно, цвет кожи я унаследовал от матери, но они и ее считали ошибкой природы, единственную смуглянку в их многочисленном семействе. Отцовский клан был на редкость сплоченным, и браки в нем допускались только с такими же, как они. Так, одна из самых красивых моих кузин, несмотря на предостережение раввина, вышла замуж за родного дядю, и, хотя долгие годы они прожили в любви и согласии, не разлучаясь и обожая друг друга, мне кажется, ей не удалось уйти от судьбы: в сорок с небольшим она зачахла, превратившись в скрюченную, облысевшую, почти ослепшую старуху, которую подточила не имевшая названия тайная хворь. Моя смуглая мать казалась не только чужой, но, возможно, лишней еще и потому, что была самой одаренной в семье: у всех были «Кнабе», но только она умела играть, чему все притворно изумлялись. И всякий раз, когда бы я ни приезжал сообщить о рождении очередного ребенка, отец первым делом обеспокоенно спрашивал: «Ну как он, темненький?» Эти расистские предрассудки раздражали меня. То, как отцовская

родня относилась к нам с матерью, рано объяснило мне, что значит быть отверженным — когда ты, войдя в комнату, не успеваешь проронить ни слова, а уже чувствуешь, что ты чужой.

Возможно, для того, чтобы поддержать спасительное равновесие в маленькой семейной вселенной, мы, особенно не задумываясь об этом, становимся тем, кто мы есть. Я очень рано отождествил Кермита, который был на три года старше меня, с отцом — блюстителем порядка и благопристойности. Голубоглазый и светлокожий, брат был похож на него как две капли воды, а нас с матерью объединяла не только смуглость, но некий тайный протест против запретов и ограничений реальности. Когда я, вернувшись с улицы, рассказывал, что видел полицейского на роликах, мама замирала от удивления и начинала подробно расспрашивать, отец хмурился, пытаясь сдержать улыбку, а Кермит закатывал глаза к потолку, возмущенный неслыханным враньем.

Я часто задавался вопросом: сколь значимы для меня, да и для всех нас, подобные нелепости? Дело в том, что взгляд с пола, несмотря на всю наивность и ошибочность, навсегда остается незамутненным, той матрицей, которая неподвластна времени. Увиденное и услышанное в детстве незабываемо и нередко возвращается к нам шоковым откровением. Эти видения и заблуждения глубоко личностны и, являясь благодатной почвой для поэзии, дают внутреннюю свободу сопротивляться реалиям жизни. Нити, из которых художник плетет свое неповторимое полотно, тянутся не к тому, что прилежно освоено как дань уважения культуре, а к тому, что воспринято неадекватно и рождает новый взгляд на мир. С раннего детства я бессознательно стремился переиначить свою жизнь, время от времени становясь то собственным братом, то отцом, то матерью, примеряя чужие маски и жесты, чтобы посмотреть на мир другими глазами. Порою требовались годы, чтобы освободиться от этих личин и вновь обрести себя. Одним словом, в детстве мы необычайно впечатлительны и менее всего способны избежать ошибок, сколь очевидны бы они ни были. Именно поэтому жизнь, наверное, никогда не утратит своей загадочности.

Разве поймешь, например, почему я решил, что мне уготованы вторые роли. Просто избрал это для себя, так же как в один прекрасный день «решил», что я драматург. Вторые роли — моя «натура», Кермит же был первопроходцем, торившим путь. И то и другое оказалось призванием: ему нельзя изменить, ибо оно ниспослано свыше. Остается гадать, от чего ради этого, без достаточно веских оснований, пришлось отказаться и что я навязал своему бытию. Почему на соревнованиях в Центральном

парке, где мы с Кермитом обычно принимали участие, он должен был обязательно оступиться на финише? Выстроившись вдоль 110-й улицы, фасадами домов выходившей в парк, ребята громко скандировали его имя. Сильные ноги уверенно несли брата вперед, но, стоило ему в последнем рывке вскинуть руки, он обязательно спотыкался и проигрывал. Почему ему был уготован именно такой исход? И не поэтому ли он ушел добровольцем на вторую мировую войну, где, будучи капитаном пехоты, спас раненого, которого несколько часов при нулевой температуре тащил на себе в санчасть, отморозив пальцы ног и заработав гангрену? Откуда возникают такие определяющие судьбу образы, когда человек готов потерять ногу или расстаться с жизнью, чтобы спасти того, кто рядом нуждается в помощи?

Кермит был именно тем человеком, с которым хорошо оказаться в такой момент. Его патологическая честность порою выводила маму из себя, как, например, когда им однажды в школе задали рисунок на вольную тему и он весьма сносно изобразил дом, но труба не получилась. Он без конца стирал и рисовал снова, но она не хотела вставать на место. В десять вечера накануне того дня, когда надо было сдавать работу, мама (которая рисовала сносно, так что легко могла воспроизвести портретное сходство) решилась на отчаянный шаг и, ласково улыбаясь, предложила свою помощь. Я проснулся от громких криков Кермита и, проскользнув по коридору, застал их в гостиной: брат изо всех сил прижимал рисунок к груди, а мама почти истерически уговаривала его позволить ей провести одну-единственную линию, чтобы труба наконец стала похожа на трубу, а не на воздушного змея, случайно зацепившегося за крышу. Отец между тем безмятежно спал, значит, уровень цен на бирже неуклонно рос и дела с пошивом пальто, как никогда, шли в гору. Только что распалась фирма его отца «С. Миллер и сыновья», и на Исидора с его «Милтекс коут энд сьют компани», от которой он когда-то отпочковался и которую после Первой мировой войны возродил вновь, буквально обрушилась лавина братьев с их не в меру прыткими домочадцами. Из родственных чувств он пристроил их всех к себе на работу, и в этом несколько лет спустя мама усмотрела причину банкротства отцовской фирмы. Однако ему льстило, что из неудачника, к которому относились с едва скрытым презрением, вечно подтрунивая над его самым уязвимым местом — неграмотностью, он стал опорой целого клана. Пока он безмятежно спал.

Я тоже стал упрашивать Кермита, чтобы он позволил маме закончить рисунок. «Нельзя! Это самостоятельная работа!» Сколько мы ни доказывали ему, что он уже все сделал —

подобрал цвета, раскрасил, осталась только труба, — он ни в какую не поддавался. Все разрешилось, как это нередко бывает, само собой, когда мы устали: сколько сложнейших ситуаций распутывается просто потому, что уже пять утра. Мы договорились, что сейчас ляжем спать, а утром еще раз все обсудим. Кермит не возражал, он был уже не в силах поднять голову, после того, как несколько дней старательно рисовал дом, смешивал краски, выверял расположение окон и дверей. Работа осталась на обеденном столе, он побрел по коридору в спальню, а я уже знал, что будет дальше. Неужели он этого не понимал? Неужели не догадался, сворачивая за завтраком рисунок с безукоризненно нарисованной трубой? Или только я был таким испорченным, что все заметил?

Лет сорок пять спустя этот обеденный стол оказался на бродвейской сцене во время первой постановки моей пьесы «Цена». В 1968 году я с трудом мог допустить, что он еще существует, и едва помнил, как он выглядит. Но художник спектакля, мой давний друг Борис Аронсон, любил использовать подлинные вещи и замучил меня расспросами, как должна была быть заставлена комната умершего отца семейства, куда съезжаются делить наследство два его сына, не видевшиеся годами. Они мало чем походили на нас с Кермитом. Наши отношения носили совершенно иной характер, однако ситуация почему-то не выходила у меня из головы.

О столе вспомнила моя сестра Джоан, в те времена еще не родившаяся. Услышав, что мы ищем для декораций мебель двадцатых годов, она вспомнила, что наш старый обеденный стол в свое время перекочевал к младшей сестре отца, Бланш, которой теперь было за семьдесят. У мамы в доме не оказалось места, поскольку в последние годы они с отцом занимали небольшую квартирку. Я тут же отправился в Бруклин к тетушке Бланш. Милая, мягкая, добросердечная, она была младшей в семье отца, но и теперь, невзирая на возраст, любила посмеяться от души. Выяснилось, что она его как раз продает вместе с восемью стульями — уже приходили оценщики, — поскольку они с мужем — дядюшкой Сэмом, безуспешно пытавшимся когда-то, во время Депрессии, вместе с отцом открыть новое дело по пошиву пальто, — переезжали в меньшую квартиру.

Я смотрел на крепкий, еще прочный стол, необычный, с тяжелыми резными гнутыми ножками и зубчиками по краю столешницы. Мама не раз танцевала на нем на Новый год (и в годовщину свадьбы), но мне никогда не разрешали присутствовать на этом священнодействии, которое свершалось в

краткие таинственные часы, когда я уже был в постели. Трудно было с ходу понять, подходит ли он по стилю к декорациям Бориса, и я решил позвонить ему.

Надо признаться, Борис не любил чужих советов: он инстинктивно отметал все, что бы ни предлагали. Задолго до того, как к нему пришел успех после «Кабаре», «Маленькой ночной серенады» и ряда известнейших мюзиклов, не говоря о «Салемских ведьмах», «Виде с моста», «Воспоминании о двух понедельниках», мы как-то сидели у кромки бассейна в гостях у общего друга, который пригласил нас к себе на роскошную виллу в Уэстчестер переждать нещадную городскую жару. Растянувшись в прохладной тени, я посочувствовал тем, кто в такую погоду вынужден маяться в городе. Борис поспешил возразить мне:

— Не знаю, кто как, а я люблю Нью-Йорк в жару, пожалуй, больше, чем в обычную погоду.

— Как можно любить такое пекло? — спросил я.

— А что, очень успокаивает. Идешь в июле по раскаленному городу и знаешь, что каждый, кого ни встретишь, такой же неудачник, как ты.

Смесь русского с идишем придавала его речи своеобразный оттенок, чем я не преминул воспользоваться, вкупе с его мягким говором, работая над образом Грегори Соломона, восьмидесятидевятилетнего торговца старой мебелью. Прототипом послужил другой человек, но, стоя около стола, было забавно выяснять у Бориса, не хочет ли он приобрести его для декораций «Цены», где речь шла о скупщике старой мебели, чей благоприобретенный английский отчетливо напоминал его собственный говор. Я будто оказался между зеркал, которые, отражаясь одно в другом, уводили в бесконечность, где мой образ дробился, в нем возникали Борис, пьеса, родители, стол…

— Шо там за стиль? — спросил Борис.

Не имея ни малейшего представления, я обернулся к Бланш, которая стояла рядом, радостно предвкушая, что стол может окончить дни на бродвейской сцене.

— Не знаете, какой это стиль?

— Его смотрел один скупщик, говорит — испанская провинция.

— Чего только не придумают!

Ей самой стало смешно от такого нелепого названия, но она заверила, что скупщик мебели так и сказал.

— Слышишь, Борис? Его тут смотрел один специалист, говорит, испанская провинция.

— То, шо надо! Берем! — не раздумывая радостно заключил он.

Вот и вышло, что именно по нему стучал своей крошечной ладошкой гениальный комик Дэвид Бернс, когда, сдвинув на затылок замусоленную черную фетровую шляпу и отряхнув с лацканов потрепанного черного пальто пепел сигареты, произносил: «Послушайте! Его же нельзя сдвинуть с места! Когда мужчина садится за такой стол, он знает, что не просто женат, а женат навсегда — и у него нету других возможностей. Вам смешно, а я говорю как есть. О чем сегодня только и слышишь? Как бы что поменять. Чем легче расстаться с вещью, тем она больше ценится. Машину, мебель, жену, детей — все можно заменить. Потому что главное сегодня — это покупка…»

Когда стол очутился на сцене, я с удивлением обнаружил, что не испытываю к нему никаких сентиментальных чувств. Хотя когда-то он был средоточием жизни, мой брат готовил за ним уроки, я учился читать, а мама в тишине, согревающей теплее одеяла и огня, делала с нас наброски. Тишина нарушалась лишь шуршанием карандаша по бумаге или шумом воды в радиаторах. И если откуда-то издалека, с какой-нибудь крыши в Гарлеме, неожиданно доносился резкий звук, никто из нас даже головы не поднимал.

Тогда, конечно, не было телевизоров, и наш супергетеродинный приемник принимал питтсбургскую Кей-ди-кей-эй так же, как нью-йоркскую Дабл-ю-джей-зет, хотя едва ли кто-нибудь мог включить его просто так, чтобы звучала развлекательная музыка. Одно из двух: радио либо слушали, либо совсем не включали, звук был очень тихий, можно было только догадываться, что звучит музыка. К тому же Кермит любил возиться с приемником, и по этой причине он часто выходил из строя. Если Кермит притрагивался к часам или какому-нибудь другому механизму, те сразу ломались, как от испуга. Потом отдельные винтики обнаруживались в вазах или внутри пианино, и брат с новым рвением брался за дело, навсегда приканчивая механизм, даже если тому довелось пережить первую починку. Вскоре выяснилось, что я справляюсь с ремонтными работами лучше его, поскольку, по мнению Кермита, достаточно было в механизме правильно расположить все детали, чтобы он заработал. Но я завидовал их с мамой памяти. Им достаточно было пару раз прочесть текст, чтобы при желании запомнить его, а я отвлекался на всякие разные мелочи.

В первый же день в школе наша учительница мисс Саммер показала нарисованные на картоне часы. Загадочно вращая стрелки, она учила нас называть время. Меня больше всего занимало, отчего они вертятся. Я крутился, пытаясь заглянуть ей под руку, пока она в конце урока не дала мне самому их

повертеть. В результате определять время меня научила мама. Такое же неизгладимое впечатление произвели на меня очки мисс Саммер в роговой оправе: никто из наших знакомых таких не носил, и я начал ходить сощурив глаза, будто плохо вижу. Во избежание несчастного случая мама вынуждена была обратиться к окулисту, и он выписал мне очки с простыми стеклами, которые я потерял через неделю в парке в траве. Ничто мне так не нравилось, как обезьянничать. По росту я доставал отцу до заднего кармана брюк, из которого у него обычно торчал носовой платок — он годами торчал у меня, высовываясь уголком ровно на столько же. Я рано подметил, пользуясь свободой ползать, где хотел, что мужчины, сидя за столом, в отличие от женщин, имеют склонность, скособочась, незаметно выпустить газы. Сколько бы я ни старался принимать позы, дальше дело не шло. Это, однако, вызывало желание поскорей подрасти и осталось бесценным опытом в те времена, когда с беспечным детством было покончено.

Восторг, с которым тогда относились к наступившей эпохе джаза, я перенял в основном от женщин, мамы и ее подруг. Когда мама обрезала длинные волосы, это было ударом для Кермита, он долго не мог простить ей, что его не предупредили. В свои пять-шесть лет я, конечно, был очень наивен, но уже знал, что в жизни женщин есть неуловимая тайна, и однажды теплым вечером, водрузив на себя одну из отцовских соломенных шляп, спустился на лифте вниз и уселся на ящике у подъезда, с тем чтобы привлечь чье-нибудь благосклонное внимание. Этот всплеск чувственности был не столько выражением физической потребности, сколько потешил душу, надолго оставшись ярким воспоминанием. Однако в целом это свидетельствовало о невоздержанности и неспособности жить в ожидании осуществления желаний. Я должен был немедленно овладеть тем, чего желал. Увидев что-нибудь необычное, я испытывал непреодолимую потребность обладать этой вещью, и потому моя жизнь, в отличие от сдержанного и размеренного существования брата, была чередой обуревавших меня желаний, которые требовали сиюминутного удовлетворения. Прошло немного времени, и меня стали преследовать наивные, но очень яркие образы, связанные с комплексом вины. Когда за окнами нашей квартиры на верхнем этаже бушевал ветер с дождем, в неверном свете мне чудилась огромная беснующаяся обезьяна, которая, оскалив пасть и раскинув мокрые лапы, пыталась залезть ко мне в спальню (за год до этого на улице в Рокавее меня укусила обезьянка шарманщика, которую я пытался погладить, — схватив мой палец, она не разжимала пасть, пока хозяин ее не шлепнул).

Я незаметно стал неисправимым лунатиком, слонялся по коридору и в состоянии глубокого сна заглядывал в спальню к родителям. Как-то раз, внезапно очнувшись, я увидел, что свисаю головой вниз из окна шестого этажа, выходившего в колодец двора. Осознав это, я почувствовал, что меня пронзил страх высоты, от которого я так никогда и не избавился.

О том, что евреи «книжные люди», я впервые услышал скорее всего, когда пошел в колледж, но никак не связал это с Библией, решив, что они просто много читают — это было лестно, но несколько странно. До двадцати лет я жил в еврейской среде, но не помню, чтобы кто-нибудь читал, за исключением матери. У наших друзей на 110-й улице книг дома вообще не было, а на полках стояли безделушки — фарфоровые дамы в кринолинах XVIII века, фигурки лошадей, голландский мальчик в деревянных сабо, затыкающий пальцем плотину, колодезная бадья на веревке, ну и бюст Линкольна. Даже мама редко покупала книги — обычно она брала их в общественной библиотеке недалеко от нашего дома на углу Пятой авеню, а когда мы переехали в Бруклин — в платной библиотеке у Вомрота, который содержал аптеку и брал за книгу два цента в день.

И все-таки уважение к книге воспитывалось с детства: вначале все они воспринимались как Библия и оттого как бы обладали святостью. Стоило положить раскрытую книгу текстом вниз, брат тут же делал мне замечание: у книги, как у живой, корешок мог переломиться. В доме рано появилась детская энциклопедия «Книга знаний»; разглядывая ее, я впервые понял, что такое писатель, когда на одной из страниц наткнулся на портрет Чарлза Диккенса в профиль, по всему полю листа окруженный овальными медальонами с изображениями его героев — мистера Пиквика, Копперфилда и других. Мама к тому времени уже немного читала нам из «Оливера Твиста», и меня поразило, что живые существа, которые говорят, ходят, переживают, на самом деле появились из чьей-то головы, — правда слилась для меня с выдумкой в одно волшебное видение. Я ни на минуту не сомневался, что Оливер обязательно где-то живет.

Тридцать лет спустя, в начале пятидесятых годов, я ходил по домам портовых рабочих в районе Ред-Хука в Бруклине, собирая материал для несостоявшегося фильма о местной мафии; почти полное отсутствие книг в квартирах не просто удручало, но вызывало непреходящее удивление.

Как ни старалась мама быть терпимой к отцу, о котором, за исключением тех случаев, когда ее выводила из себя его очередная нелепость, говорила почти всегда уважительно и с

восхищением, от меня не могло ускользнуть, что она относится к нему свысока. Ее снедало желание быть вхожей в закрытый для нее мир, читать недоступные ей книги, посещать концерты, на которые невозможно было получить приглашение, а главное, общаться с интересными людьми, с которыми ей не суждено было знаться. Так получилось, что сразу же после школы, которую она окончила cum laude[1], ее выдали замуж по сговору. Но в этой бездушной сделке было свое очарование: мило подтрунивая, мама рассказывала, как «оба дедушки, наш и Миллеров, заперлись на несколько часов у нас в гостиной, чтобы сверить бухгалтерские книги, а когда вышли, — как она тут смеялась, — оказалось, меня сосватали!» Два торговца верхней одеждой, как средневековые феодалы, должны были удостовериться, что их состояния приблизительно одинаковы. Ее взор темнел, она гневно сжимала руки. «Как какую-нибудь корову!» — бросала она, не обращая внимания на нас с братом, отец же мирно кивал головой, настолько глубоко в нем жило неукоснительное почитание традиций. Вопреки всему мое сердце переполнялось к нему жалостью, хотя он вроде бы нисколько не тяготился своей ролью. Как-то само собой вышло, что моей обязанностью стало предотвращение конфликтов между ними, и это требовало определенного артистизма.

Но у мамы были свои маленькие радости. Она могла посадить нас с братом в собственный «нэшнл» с шофером и отправиться в «Милтекс коут энд сьют компани», где пап***а***, весь в делах, представительный, высокий, без пиджака, в жилетке, с гордостью водил нас между рядами сидевших за машинками людей, клерками и продавцами, среди которых было немало родственников, работавших у него по найму.

В середине двадцатых все спорилось и вселяло надежду в этом благословенном месте: в тусклом свете лампочек виднелись полки, до потолка забитые огромными тюками с одеждой; сновали чудесные громыхающие чугунные вагонетки, на которых я обожал кататься; работал большой грузовой лифт; в конторе в нарукавниках, с зеленым козырьком на лбу сидели клерки. Нас провожали взглядами, исполненными уважения и восхищения: вот мы какие — сыновья босса и нашей умной очаровательной мамочки. Воцарялось согласие, счастье, к которому я исподволь постоянно подталкивал родителей, — отец в блеске своего могущества и она, довольная его успехами. Ее восхищение вселяло в него гордость, придавало силы, тогда как его прочное положение было ее защитой. Все это происходило на людях, поэтому рабочие и служащие выступали свидетелями свершавшегося преображения. Мы с братом тоже вносили лепту в

эти чопорные — как мне казалось тогда, — пышные и размеренные церемонии. Придет время, и захочется разобраться не только в том, как общество угнетает человека, но и какие радости оно ему дарует. И разрешить гложущее противоречие: зачем ей надо было столь изысканно-царственно принимать знаки внимания, когда я знал, как она презирает всех этих мелких «портняжек», этих помешанных на деньгах евреев, которым ни до чего нет дела, кроме их бизнеса. Если отец не попадал в их число, то только благодаря той возвышенности души, которую она усматривала в нем, хотя, думаю, он недалеко ушел от них, будучи глубоко равнодушен к тому, что она именовала культурой. Понадобился не один десяток лет, прежде чем я понял, что, будучи менее искушен, он все же тоньше, чем она, воспринимал искусство, глубже и личностнее. Неграмотность предохраняла его, спасала от следования моде, тому, что ново или устарело, поэтому он реагировал на все крайне непосредственно и просто, без оглядки на чужие вкусы. К песне, мюзиклу или пьесе он предъявлял те же утилитарно эстетические требования, что и к своей шляпе. Искусство должно было задевать за живое. «Культура», как это нередко бывает в американских семьях, оставалась уделом жены, а мужчина должен был обеспечивать хлеб насущный и еще сверх того, поэтому отцу вряд ли могло прийти в голову, что его глубоко самобытные и порою необыкновенно точные суждения заслуживают какого-то внимания. Его неграмотность долгие годы вызывала у меня трудности с учебой, поскольку я всячески хотел походить на него, но все-таки задолго до знакомства с психоанализом мне пришлось признать, что я — это не он и если нужно, вполне могу выучить текст или сдать экзамен. Научиться читать означало стать в чем-то лучше его, а замахнуться на статус писателя — одержать безусловную победу. При этом я опасно сближался со взглядами мамы, относившейся со скрытым негодованием, если не презрением, к упорной неспособности отца выразить себя в слове.

Жизнь всегда давала достаточно оснований задуматься над ее причудами. В том числе как могло случиться, что мои родители отказали в 1915 году в деньгах Биллу Фоксу, о чем я узнал в двадцатые, когда мама, наверное, уже чуть ли не в пятидесятый раз сетовала, какую они совершили оплошность. Такое впечатление, что я запросто мог прожить другую жизнь, родись я сыном голливудского магната — перспектива, которая ничем не хуже смерти и даже чем-то близка к ней. Фоксу, который был «жучком» в шерстяном бизнесе, не хватало денег основать свою кинокомпанию в Калифорнии, и он искал их в легкой

промышленности. Послушать моего отца, причина всех его неудач в том, что он был «жучком», а им не больно-то доверяли — сама природа ремесла толкала на сомнительные сделки. Шерсть, прежде чем кроить, надо было подвергнуть усадке. Для этого мануфактурщик отправлял рулоны к «жучку», чтобы тот обработал материал над паром. Кто знал, какую усадку претерпит кусок в семьдесят ярдов шерсти? На два, на десять, пятнадцать ярдов? «Жучок» мог сказать правду, а мог слукавить, отхватив себе лишний кусок якобы за счет неудачной усадки. Поверить «жучку» на слово мог только человек большой души, а тут еще Фокс предлагал отцу выложить пятьдесят тысяч долларов на какую-то киностудию в невесть какой далекой Калифорнии. Испробовав все связи в легкой промышленности, Фокс готов был отвалить солидный куш от доходов будущего предприятия, только бы собрать необходимую сумму денег.

Отец любил шоу, и встретить живого артиста было для него истинным удовольствием. Предложение заинтересовало отца, но здравый смысл одержал верх — он не смог переступить недоверия к Фоксу и отказался. Когда он сообщал о своем решении, едва ли кто мог предположить, что пройдет не так много лет и отец с трудом наскребет мелочь, чтобы купить билет на фильм производства «XX век Фокс». Прими он его предложение, я бы наверняка вырос в Лос-Анджелесе и не прошел бы выучку Центрального парка, улиц Гарлема, Бруклина, не узнал бы, что такое Депрессия, и стал бы совсем другим человеком. Сходное чувство я испытал много лет спустя в Польше: если бы мои деды не надумали в конце прошлого века попытать счастья, я бы не дожил и до тридцати. В этой безотрадной равнинной части Польши едва ли уцелел хотя бы один еврей после того, как здесь прокатилась машина нацистской армии.

Однако в 1918 году и позже в нашем доме не принято было относиться к войне как к моральному поражению, чем она, безусловно, является и потому так и должна восприниматься. При этом я говорю о своем собственном ощущении, как я это тогда понимал. Когда окончилась первая мировая война, мне было три года. Должно быть, мама переживала за судьбу двух своих братьев — Хаима, так и не увидевшего моря, хотя он служил во флоте, и Мойши, отравленного газами во Франции, — но я помню только атмосферу радости и праздника, которую принесло в дом сообщение о перемирии. У меня такое ощущение, что я даже помню, как мама звонила своим не читавшим газет сестрам и друзьям, чтобы обрадовать их. У нее была какая-то личная ненависть к кайзеру, почти такая же, как к Микушу, нашему управдому, заносчивому и высокомерному поляку. Его

приходилось вызывать, чтобы он отодрал присохшие от краски рамы, хотя мы знали, что он тайком осматривает нашу квартиру, когда мы выезжаем на лето. Однако без него никак нельзя было обойтись, поскольку он один умел обращаться с инструментами: открыть чемодан, у которого потерялся ключ, передвинуть пианино или перекрыть газ, если ручку заклинило в положении «открыто». В отличие от кайзера он не знал поражений, поэтому мама испытывала особое удовольствие, представляя его в другой роли — будто это Микуш, сосланный на вечное поселение в Доорн, колет в Голландии дрова. Когда в еженедельнике «Таймс» среди ротогравюр появлялась фотография кайзера, это означало, что минул еще один год с момента заключения перемирия — почему-то в очередную годовщину этот крепко сбитый мужчина с остроконечными усами, в широких штанах, высоких ботинках, короткой куртке и с застывшим взглядом добермана непременно должен был колоть в Доорне дрова.

Для меня поражение имперской Германии совпало с приездом дяди Мойши, который появился с черным чемоданом, набитым немецкими банкнотами достоинством в сотни тысяч марок — они не имели никакой ценности, но мама пожелала их иметь. Вдобавок он привез завернутую в коричневую бумагу немецкую каску с копьевидным наконечником на макушке. Стоило дотронуться до нее и вдохнуть запах, как перед глазами вставали фотографии из газет — поля, усеянные мертвыми телами, и какие-то страшные взрывы. Подумать только, что ее носил живой человек, которого уже нет! Конечно, я тут же захотел стать солдатом и, если повезет, отправиться на войну. Изнутри ее кожаная прокладка, фантазировал я, пропахла потом и землей. Снаружи начавшая ржаветь шероховатая поверхность была когда-то забрызгана грязью от взрыва союзнического снаряда. (Какой энтузиазм, какой восторг вселяло слово «союзники»! Оно настолько вошло в обиход, что, ползая по полу, я запомнил его. А вскоре вышла детская книга «Ребята-союзники», где нас, еще не выросших из коротких штанишек, настраивали против нехороших бошей.) Каска оказалась велика и съезжала на подбородок, поэтому, расхаживая по комнате, мне все время приходилось поддерживать ее обеими руками над головой. Тут только до меня дошло: я горжусь тем, что я немец, и все внутри перевернулось. После этого она один-единственный раз попалась мне на глаза спустя много лет, когда я однажды открыл дверь чулана и каска, задев о плечо, вывалилась наружу, как голова мертвеца, вернувшегося, чтобы напомнить о себе. В то же время это будто бы была голова Мойши, который скончался к этому времени от заработанного во Франции туберкулеза,

обострившегося после того, как дядю вдобавок отравили газами. Мама всегда говорила о нем так, что я знал — на этом свете он не жилец. Из Франции он слал ей по-викториански бодрые письма, где вымысел довлел над правдой, отчего они скорее напоминали фольклор, чем давали пищу для размышлений о том, что там действительно происходило. То шли намеки на «особо важный момент», то на события, о которых «не стоит болтать лишнего». Все излагалось незамысловатым языком, свидетельствуя о скудном образовании и простоте. Считалось, что писать надо обязательно в приподнятом духе — эта благородная задача отличала стиль целой эпохи.

Схожая теория всячески насаждалась и в школе. Даже в нашу Двадцать четвертую общегородскую школу на 111-й улице ходить имело смысл, только чтобы выучиться на леди и джентльменов. Читали мы в основном Китса, Вордсворта, Шелли, то есть тех, кто писал на настоящем английском, не то что Уитмен, Драйзер или Синклер Льюис. И все для того, чтобы обрести элегантность и хорошие манеры — иначе зачем вообще было ходить в школу? Чистописанию обучали по методу Палмера — каждую буковку приходилось выводить с наклоном, тщательно нажимая на перо. Аккуратный почерк свидетельствовал, как в Древнем Китае, о высоких нравственных добродетелях — зависимость, открывавшая необозримые возможности для провоцирования чувства вины, пороков и даже гражданской смуты. Неряшливый, неразборчивый почерк служил верным признаком криминальных наклонностей. В расписании наряду с арифметикой стояло умение подобающим образом вести себя — это называлось «манеры». Каждое утро учительница — как правило, ирландка, старая дева, одетая в темное длинное платье и черные ботинки, с туго уложенным на затылке пучком волос, от которой в лучшем случае пахло цветочным мылом, а если нет, то стиркой, — расхаживала по классу и проверяла чистоту рук, ногтей и башмаков. Ученики в Двадцать четвертой школе сидели парами и для этой процедуры разворачивались лицом к проходу, а она перевертывала ладони и не забывала стегнуть линейкой с металлическими краями по косточкам чьей-нибудь грязной руки. Сидя по двое, трудно было удержаться, чтобы не поболтать, но, подойдя тихо сзади, учительница могла неожиданно стукнуть соседей лбами, да так, что из глаз сыпались искры, которые мы между собой называли «звездочками».

Когда вызывали к доске, приходилось забирать с собой весь свой скарб — ручку, перочистку, промокашку, блокнот, галоши, свитер — и, отвечая, складывать все это под ноги, а потом тащить обратно на место. Ничего нельзя было оставить без присмотра —

когда я впервые смотрел фильм с участием Чарли Чаплина, меня смутило, что он может запросто стянуть с витрины яблоко или вытащить из чужого кармана бумажник. Я вместе со всеми по-идиотски хохотал, хотя смешного для меня в этой ситуации было мало. Когда мне исполнилось тринадцать, мы переехали в Бруклин и по настоятельной маминой просьбе — чтобы «он учился вместе с кузенами» — меня на год раньше приняли в среднюю школу Джеймса Мэдисона; каково же было мое удивление, когда я заметил, что, выходя к доске, ученики спокойно все оставляют на месте. В Двадцать четвертой ребят однажды обокрали даже тогда, когда они, отстаивая честь школы, принимали участие в очередном легкоатлетическом забеге в Центральном парке, — из шкафчиков унесли всю уличную одежду. Однажды в семь или восемь лет я по глупости отправился туда один кататься на роликах — какие-то подростки-итальянцы расквасили мне нос и убежали, прихватив коньки. Дома мама только вздохнула и покачала головой. Ребята — негры и пуэрториканцы не воровали; это были дети переселенцев в первом поколении, выходцев из сельской местности. Они старались держаться стороной, город их пугал, так как полицейские имели обыкновение сначала огреть дубинкой, а потом уже задавать вопросы. Кататься на роликах в парке было запрещено, поэтому, если попадешься на глаза праздно разгуливающему стражу порядка, тот мог ловко сбить дубинкой с ног — многие из них поднаторели в этом искусстве.

Однако среди полицейских были кумиры: возвышаясь над потоком машин на пересечении 110-й и Ленокс, молодой регулировщик ловил неудачно посланные битой мячи и левой рукой отбивал их обратно. Случалось, мяч летел высоко и взять его Левше было несподручно, тогда он не раздумывая бросался вперед — раздавался душераздирающий скрежет тормозов, и машины на широкой 110-й улице начинали выписывать немыслимые пируэты. Считалось, что полицейские грубы, но к нью-йоркскому блюстителю порядка всегда можно было обратиться в случае незадачи и даже занять двадцатипятицентовую монетку, если потерял деньги, выданные дома на проезд. После того как их человек двадцать проедут, гарцуя на лошадях по улице, мы после школы бежали сгребать конские яблоки, чтобы поиграть в любимую игру — упершись согнутой рукой в асфальт, косточками пальцев запускали вдоль тротуара стеклянные шарики, простые и — разноцветные, которые ценились особенно. Домой возвращались с отмороженными щеками и крепко пахнущими навозом руками. Лошади возили повозку молочника и тележку продавца льда, так

что время от времени можно было завороженно наблюдать, как у коняги, мирно поджидавшей у дома хозяина, вдруг оживал член, в то время как она мерно взмахивала ресницами, похожими на разросшийся коралловый веер.

Почти вся энергия уходила на игры, которые менялись в зависимости от сезона, но иногда происходило кое-что из ряда вон выходящее. У Кермита был читательский билет, и я решил, что мне срочно надо получить такой же. Поскольку я пошел в школу, то мог записаться в библиотеку на углу 110-й улицы и Пятой авеню, куда отправился жарким весенним днем. Меня поразило, что внутри было темно и прохладно. Розовощекая дама, перегнувшись через полированную конторку красного дерева, задавала вопросы тихим, заупокойным голосом, и мне показалось, что здесь совершается некое таинство, своего рода священнодействие, которое можно нарушить, если громко заговоришь. Я приподнялся на цыпочки и на ухо стал шептать ей в ответ: имя, домашний адрес, сколько лет, номер школы, как зовут маму — Августа. В этом месте у меня внутри похолодело, потому что дома маму все звали Гэсс или Гэсси, поэтому получалось, будто я немного приврал и что-то скрываю. Дошла очередь и до отца. Такого подвоха я не ожидал, пребывая в радостном возбуждении, что приду и сразу получу заветный билет, как это произошло с братом. Теперь настал мой черед прощаться с детством. Глядя в ее голубые глаза, я никак не мог выговорить «Исидор» — слишком это было еврейское имя. И, потеряв дар речи, только мотал головой. «Как твоя мама обращается к папе?» Это была ловушка. Улыбка сползла с ее лица, как будто она обо всем догадалась. Мои щеки пылали. Я не мог произнести: «Изя» — и еле слышно прошептал: «Изь…» Она удивленно переспросила: «Изь?..» Я кивнул. «Что значит „изь“?» Я выскочил на улицу и через несколько минут уже гонял с ребятами мяч или играл в ступбол, пытаясь обвести противника, чтобы точным ударом попасть в стенку.

В школу меня определили в шесть лет, и я знать не знал ни о каком антисемитизме. Если бы меня это интересовало, я бы, наверное, решил, что все в мире евреи, кроме полицейского Левши и нашего Микуша. Ползая по полу, я изучал чужие ботинки, холстинную обивку дивана, латунные ролики рояля. За несколько лет вобрав в себя двухтысячелетнюю еврейскую историю и став ее частью, я занял отведенное мне в эпосе место, о существовании которого не подозревал. Эдакий крепкий комочек на поверхности американского плавильного котла. Выражаясь современным языком, я был запрограммирован на иное, нежели

гордиться своим происхождением, и это вопреки кажущейся авторитетности отца и легкости, с которой он останавливал такси и разговаривал с господином Микушем, способным бурого медведя вогнать в дрожь. В отце была какая-то особая обстоятельность, возможно, связанная с тем, что большой рост, светлая кожа, голубоглазость, квадратная голова и рыжие волосы делали его похожим на важного ирландского детектива. Гуляя с ним в парке за руку, я часто замечал, что стоило отцу остановиться и бросить случайный взгляд, как игра на деньги прекращалась сама собой. Его безукоризненно обслуживали в ресторанах — стоило ему только махнуть рукой, как официант вырастал будто из-под земли. Он не смущаясь мог возвратить не приглянувшееся ему блюдо, но делал это без суеты. Зная его прошлое, оставалось гадать, откуда в нем эти величественные замашки. Он даже слушал и то по-особому, не подавая виду, но так, что человек сам прекращал привирать. Открытый спокойный взгляд его наивных голубых глаз заставлял неуверенных в себе людей покрываться пятнами. Хотя он, наверное, удивился бы, скажи ему, что он носитель моральных устоев — отец, пожалуй, и слов-то таких не знал. Жизнь была слишком тяжелой, чтобы люди могли позволить себе проявлять бескорыстие, что не в последнюю очередь касалось отца. И все-таки я унаследовал от него ощущение, что принадлежу к меньшинству. Он практически никогда не говорил на эту тему, только раз дал совет. Мы шли по 110-й улице, он держал нас с Кермитом за руку. Впереди толпился народ — на проезжей части случилась авария. Мы бросились, чтобы посмотреть, он слегка одернул нас и сказал: «Бойтесь толпы». И ничего больше. Но этого, пожалуй, было достаточно.

Не думаю, что страх, обуявший меня перед лицом библиотекарши, был связан только с отцом. В отличие от матери, склонной считать евреев людьми более тонкой организации, а то и морали, что постоянно приводило к досадным недоразумениям, отец всегда бессознательно противился их идеализации. Порой, когда на маму в очередной раз накатывало восторженное настроение, он раздражался, качал головой и начинал подтрунивать над ее простодушием. Однако это не мешало ему чувствовать себя уверенным в своих силах. Мой дед по линии матери Луис Барнет как-то предостерег меня, чтобы я не ходил под большим светящимся крестом, который нависал над тротуаром у входа в церковь на Ленокс-авеню, а если пройду, то сплюнул, чтобы очиститься. Я долго не мог спокойно ходить мимо этого креста, опасаясь главным образом, как бы он не рухнул мне на голову. В подобных предостережениях не было

никакой религиозной или исторической подоплеки, только предрассудок или скрытый символ угрозы.

Люди вообще не хотели искать рациональных объяснений тому, что было связано с верой. Это чувствовалось даже у учителя древнееврейского языка, приходившего к нам с Кермитом несколько раз в неделю, чтобы готовить нас к bar mitzvahs[2], до которого еще оставались годы. Система обучения у бородатого патриарха была крайне механистичной: он произносил слова на иврите, а мы должны были за ним повторять. Текст из Книги Бытия сопровождался столбцом перевода на английский, но как с того английского перевести на свой английский «твердь небесная»? Хуже того, стоило мне без ошибок прочитать какой-нибудь отрывок, как старец лез лобызаться, вызывая ощущение, будто я попал в розовый куст. Однажды он наклонился ко мне и, смеясь, больно ущипнул за щеку, назвав «цадик» — «мудрец», — ни до, ни после я так и не смог разгадать, чем заслужил такой комплимент. Приходилось собирать волю в кулак, чтобы казаться вежливым, когда появлялось это заросшее волосатое существо. Уроки проходили уныло и бестолково, но я протестовал скорее из духа свободолюбия — занятия по музыке мне были не менее ненавистны, как и другие препоны на пути скорейшего волшебного осуществления задуманного. Когда скрипка столь же необъяснимо и загадочно, как призвание быть на вторых ролях, оказалась «моим» инструментом, мама нашла учителя, и тот, бедолага, одолжил мне небольшую скрипочку, чтобы можно было начать заниматься. Но выяснилось, что резиновый мяч под гул струн хорошо отскакивает от ее корпуса, так что я отправился во двор играть ею в теннис, пока шейка не треснула у меня в руке. Мама аккуратно сложила куски в футляр и возвратила инструмент учителю, а я опять вернулся к своим прогулкам во сне, что было намного интересней учебы. Поэтому истоки внезапного страха, обуявшего меня, когда я взглянул в доброе лицо библиотекарши, таились глубоко внутри, и можно только догадываться, как упорно и настойчиво я отвергал то, что долетало до моего слуха, когда ползал по полу, — чужие рассказы, реплики, испуганные голоса неумолимо подталкивали меня в осажденную зону, за чертой которой обитали одни немилосердные чужаки.

Одним из них, несомненно, был Микуш, единственный мифический враг, имевший лицо и имя. Но ребята из нашего дома боялись его вовсе не из-за выдуманного антагонизма, а потому, что обожали дразнить, играя с ним на крыше в кошки-мышки. Их излюбленным занятием, в котором особенно преуспел мой брат, было встать на самом краю и перепрыгнуть с крыши на

крышу, преодолев пролет глубиной в шесть этажей. После того как однажды во сне испугался высоты, я уже не мог спокойно смотреть, как Кермит стоит во весь рост на краю крыши. А Микуш нисколько не опасался, что кто-нибудь из ребят мог свалиться. Он любил неожиданно появиться из люка и обругать нас, что бегаем по гудрону, которым залита поверхность, оставляя вмятины от каблуков. «Я вам попорчу крышу!» — орал он, когда мы, увертываясь, катились вниз по внутренней железной лестнице. Нам вдогонку неслись воинственные ругательства — кафельная плитка пролетов гулко усиливала его польскую речь.

Поскольку он был поляк, евреи из нашего дома верили, что он ненавидит их так же, как большинство его соотечественников в Радомышле, где погромами и рассказами о погромах было пропитано небо, и от полного истребления, к которому поляков призывали неуемные ксендзы, евреев спасал только австрийский император со своей армией. Мои отношения с такими, как Микуш, складывались неоднозначно: именно ему я принес свой, казалось, безнадежно погнутый почти новенький велосипед после того, как, попытавшись проехаться без рук, врезался передней вилкой в фонарный столб в парке. Он выпрямил ее руками, продемонстрировав незаурядную силу, которой, на мой взгляд, не обладал больше никто. Чувствовалось, что, невзирая на то, поляк я или нет, он относился ко мне по-доброму, и я не испытывал перед ним никакого панического ужаса. Это помогло понять, почему лет десять спустя, когда в Германии Гитлер пришел к власти, евреи, включая тех, кто имел возможность уехать, предпочли остаться, а не бежали. Если бы мы жили в Германии, то Микуш, пособничая нацистам, наверняка стал бы комендантом нашего дома, но, несмотря на его несомненный антисемитизм, невозможно было вообразить, чтобы он ходил по квартирам со списком фамилий и вызывал тех, кого внизу уже поджидали грузовики, чтобы отвезти в концлагерь на верную гибель. Ведь как-никак он починил мне велосипед!

А может быть, тогда в библиотеке я оказался сражен внезапным приступом страха оттого, что никогда не верил в реальность только осязаемого. Каждого из нас кто-то учит жить — мама, мой первый учитель, повсюду видела тайные знаки иного бытия. Она без всякого телефона слышала голоса людей, которые были далеко, а то и почили. Как обычно бывает с такими людьми, это наполняло ее ощущением собственной значимости в цепи бытия и делало жизнь более значительной. Одним словом, у меня, видимо, полностью отсутствовала защитная детская реакция против неизбывной людской жестокости, пока библиотекарша, похоже, не заставила внезапно почувствовать

себя потенциальной жертвой, и я дал деру. Меня научили распознавать опасность — причем порой даже там, где ее не было, — а вот защищаться не научили. Эта проблема стояла передо мной долгое время и легла в основу пьесы «Случай в Виши», где за политической подоплекой скрывается поиск родового начала, которое могло бы спасти человека от бессмысленной жертвенности. Однако история учит, что такие решения лежат только в нравственной сфере. К несчастью.

Из-за маминого мистицизма мир для меня был юдолью смерти. Поэтому я проникся убеждением не давать детям религиозное воспитание: слишком часто Господь — это смерть, и смерть, которой поклоняются и «любят». Но даже если бы я рано научился не обращать внимания на мамины мрачные и пессимистические предчувствия, они все равно слишком часто оказывались пророческими. Как-то днем шел дождь, когда мама вместе со своим братом Мойшей, который во Франции подвозил на муле амуницию к линии фронта, пришли с похорон, он устроился в гостиной на стуле, обитом розовым атласом, с прямой спинкой в стиле одного из Людовиков. Мама вскрикнула, обхватив голову руками, и потребовала, чтобы он немедленно вышел на площадку и отчистил кусок серой кладбищенской глины, прилипшей к каблуку, иначе принесет в дом смерть. У него были красивые коричневые кожаные ботинки с белой отделкой по шву между подошвой и верхом. Он стремительно выскочил из комнаты, стараясь не наступить на ковер.

Став постарше, я чем-то внешне напоминал Мойшу, высокого, худощавого, очень мягкого человека, чей дух подорвала война. Казалось, он задыхался не только физически. Даже тогда мне трудно было представить, чтобы с ним могло произойти что-то радостное, — на его свадьбу позвали всего несколько человек, которым он скромно представил свою крошечную, не более пяти футов роста, жену Цилию. Куда бы они ни шли, он вечно склонялся к ней, нежно обхватив сзади рукой, как будто она ребенок. Стараясь жить в духе времени, он в двадцатые годы подался во Флориду, где занялся перекупкой земли, но его запал скоро прошел, и он разорился, потеряв все во время Великого земельного бума, который кому-то принес огромные состояния, а таким бесхитростным, как он, — полное банкротство. Единственное, что он оттуда привез, был прекрасный бронзовый загар — это зародило в маме надежду, что его здоровье пошло на лад, однако он вскоре вновь оказался в госпитале для ветеранов на озере Саранак, где и умер. Кладбищенская грязь на его башмаке не выходила у меня из головы, заставляя всерьез относиться к суевериям. Однако их правила и законы были

подвластны лишь маме, поэтому, испытывая трепет неофита, я оставался непричастен к успеху предсказания. «Я так и знала, так и знала!» — причитала мама, когда мы узнали о его смерти.

Точно так же, внезапно проснувшись среди ночи в гостинице в Атлантик-Сити, куда мы отправились на праздник, она села и произнесла: «Мамы не стало». Как выяснилось, это произошло почти одновременно. Конечно, не все таинственные предсказания были печальными, порою они вселяли радужные надежды, особенно когда речь шла обо мне. Стоило провести от руки ровную линию, как меня тут же называли будущим да Винчи, а неудачи списывались на ошибки учителей или временное затмение разума. Все сходило с рук, пока мисс Фишер, директор Сто семидесятой городской школы, не вызвала ее поговорить о моем поведении.

Мисс Фишер директорствовала с тех времен, когда мама еще ходила в эту школу. В ее кабинете, не выпуская моей руки, мама, казалось, покраснела, как девочка, когда некогда боготворимая ею директриса произнесла: «Не понимаю, Августа, как такая образцовая ученица, как ты, могла вырастить столь непутевого ребенка». У мисс Фишер был стоячий плетеный кружевной воротничок, проложенный пластинами из слоновой кости, которые подпирали кожу под подбородком так, что она не могла наклонить головы, — на нее трудно было смотреть без боли. Эта седая женщина носила длинные юбки и белые блузки с длинными рукавами и плоеным накрахмаленным передом. У мамы на глаза навернулись слезы. «Кермит у вас такой воспитанный, — вещала гранд-дама, — так прекрасно учится…» Я всхлипнул, предчувствуя, что мамина рука вот-вот огреет меня по затылку, так что искры посыплются из глаз; но самое страшное было увидеть ее лицо, смятое огорчением. Да что же это со мной? Почему я такой? Божечка, помоги мне, пожалуйста, стать хорошим, как мама, папа и брат. В такие моменты жизнь превращалась в одни сплошные угрызения совести.

Чувство ужаса, пережитое в библиотеке, и нарекания мисс Фишер, казалось, загнали меня в подземелье отверженных. Отец и брат, конечно же, обитали над голубой сверкающей линией, разделявшей мир, ибо, вне всяких сомнений, были положительны; с мамой, однако, дело обстояло сложнее. Стоило нам выйти на 111-ю улицу, она гневно дернула меня за руку, хлопнула по макушке своей плоской сумочкой, наклонилась и с болью крикнула прямо в лицо: «Что ты со мной делаешь!» Это было вдвойне ужасно, ибо я знал, она восхищается всем, что я делаю, и ругает меня сейчас не потому, что считает нужным, а по поручению мисс Фишер и, отчасти, отца, Кермита и всех

Соединенных Штатов. Ей было особенно тяжело, ибо в глубине души она сознавала, что я ни в чем не провинился. Поэтому, вернувшись домой, мы чувствовали, что как никогда близки друг другу: я притворился, что раскаиваюсь, она сделала вид, что негодует, и вскоре мы вместе пили горячий шоколад. В этот момент она вдруг заговорщицки произнесла: «Послушай, — я оторвал глаза от чашки, — прошу тебя, веди себя хорошо». «Постараюсь», — пообещал я с самыми серьезными намерениями. И сдержал слово, но ненадолго.

Явные или сокрытые, у всех есть свои кумиры; мы поклоняемся и обожествляем их, порою заимствуя отдельные черты, за которыми теряется характер. Младший брат матери Хаим был необыкновенно импозантным молодым человеком, хотя не блистал ни умом, ни воображением, но она боготворила в женщинах красоту, а в мужчинах — стать, поэтому выделяла его из своей родни. Отдавая дань моде, он затягивал галстук небольшим крепким узлом, носил жестко накрахмаленные воротнички, которые впивались в кожу, сдвигал шляпу набок на один глаз, а когда смеялся, ровные белые зубы сверкали, как лампионы, на фоне смуглого лица. У него была небольшая фабрика искусственных цветов, и, приходя в гости, он всегда приносил по букетику. Притрагиваясь к ним, я испытывал какое-то неприятное чувство, хотя это были великолепные подделки.

Как-то днем он появился с худощавой блондинкой в белом пальто с черным меховым воротником, представив ее как свою возлюбленную, свою Стеллу, которую мама, я заметил, сразу же невзлюбила. Она не любила ни одну из жен своих братьев. Миронова Минни была толста, приземиста и глупа, носила на шляпках искусственные фрукты и была настолько тупа, что спала с собственным сыном, поскольку у него был туберкулез и он нуждался в покое. Мама никогда не слышала о Фрейде, но видела в этом что-то смешное, отталкивающее и любила передразнить хныкающую манеру разговора Минни — насупив брови и зажав нос, она издавала какие-то кошачьи звуки. Жена Гарри тоже оставляла желать лучшего — выбирая спутницу жизни, все братья себя недооценили. Бетти была танцовщицей в кабаре, и если ее красивое пышное тело по вполне понятным причинам имело для кроткого Гарри неотразимую привлекательность, он все же мог бы подобрать себе что-то пореспектабельнее. Как ни был он кроток, эта женщина настолько свела его с ума, что ночью он залез в офис своего отца и выкрал из сейфа деньги.

Конечно, неприязнь моей матери объяснялась тем, что она сама со своим браком попала в ловушку — во второй половине жизни, после Великой депрессии, когда не осталось надежд на

изменение к лучшему, эти женщины стали ее закадычными приятельницами и наперсницами. Минни сколько угодно могла спать со своим сыном, которому перевалило за двадцать, хоть до его женитьбы, — самоотверженно поддержав мужа, когда тот разорился, она, по словам мамы, доказала, что была замечательным человеком. И пусть Бетти танцевала почти голая в каких-то дешевых залах — в период Депрессии и после рождения первенца, беспомощного монголоида, чье появление она расценила как знак свыше, указующий, что она должна обратиться к вере, Бет проявила истинный героизм, тоже доказав, что является женщиной серьезной и достойной.

Стелла росла в сиротском приюте, чего мама почему-то не могла ей простить. Однажды днем она заманила Хаима и потребовала, чтобы он всерьез подумал о своей жизни и порвал с этой явно недостойной его подругой: мало того что она крашеная блондинка, так еще костлява, с большими ногами, руками, лошадиными зубами, огромным ртом и какими-то грудными всхлипами вместо смеха. Она, естественно, полагала, что Стелла беременна, но, когда Хаим поклялся, что ничего такого и в помине нет, их связь показалась совершенно непостижимой. Как может красивый мужчина жениться на непривлекательной сиротке, которая ведет сомнительный образ жизни, иначе где бы она научилась так вульгарно обесцвечивать волосы? В отличие от погруженного в себя брата Мойши, который, казалось, хотел прочесть в моих глазах, чт***о*** я собою представляю, вызывая ощущение, будто я ископаемое, Хаим почти не обращал на меня внимания, будучи занят исключительно тем, что ловил свое отражение в окне или в застекленных рамках на стенах. Этот нарциссизм он унаследовал от Луиса Барнета, своего отца, который в самую жестокую пору Депрессии каждую неделю отправлялся к парикмахеру подровнять вандейковскую бородку, усы, а также попудрить и спрыснуть одеколоном лысину, несмотря на то что каждый цент у него в кармане был получен от моего отца, который сам едва сводил концы с концами. Даже парикмахер-итальянец не одобрял подобной суетности.

Луис был горячего нрава, как и Хаим, но с Хаимом никто не мог тягаться в умении плеваться дробинками: плевки летели через всю комнату, а он безмятежно улыбался. Этому искусству его обучили на флоте, где было немало заядлых охотников, каких в Гарлеме не сыщешь. Хаим демонстрировал свое мастерство во время семейных сборищ. Обе семьи, и Барнетов, и Миллеров, были весьма многочисленны, и если четверть века спустя не проходило месяца, чтобы кого-нибудь не хоронили, тогда все были молоды и то и дело собирались кланом на чью-то свадьбу

или bar mitzvahs. В те годы женщины носили вечерние туалеты. Хаим появлялся в большой бальной зале со своей костлявой блондинкой женой, которая зычным голосом радостно приветствовала всех и начинала шептаться с мужчинами, отчего те заливались громким смехом, в то время как женщины, поджав губы, переглядывались между собой, обиженные тем, что их оставили без внимания. Хаим раскланивался на все стороны, одаривая собравшихся галантной улыбкой. И вдруг начиналось нечто невообразимое, напоминавшее блошиную лихорадку, — люди начинали почесываться, кто шею, кто лоб, пока зуд не охватывал всех танцующих и стоящих с бокалами. Мама подбегала к Хаиму, бросалась с кулаками ему на грудь, требуя: «Сейчас же прекрати». Он делал вид, что не понимает, целовал ее и приглашал на танец, в чем мама не могла ему отказать. Вальсируя, он все время улыбался, оглядывая соседние пары — люди отирали с лица его блох, мама, протестуя, истерически смеялась. У Хаима наготове за щекой была целая пригоршня дробинок, причем он отличался завидной меткостью: ни разу не попал никому в глаз, хотя при желании мог попасть внутрь уха. Гости, ставшие жертвой забавы, по инерции начинали чесаться и в других местах. Он хотел научить меня своему искусству, но из этого ничего не вышло. Единственное, что я перенял у него, — это свистеть, заложив в рот два пальца, — один из бесценнейших подарков, который весьма пригодился в жизни.

Внешне Хаим был похож на актера-гангстера Джорджа Рафта, и когда через тридцать лет тот в сопровождении наемных громил как-то днем появился на съемках «Некоторые любят погорячее»[3], я вспомнил своего дядю. Высоко вздернутые над переносицей кончики бровей свидетельствовали о добром расположении духа, тогда как его телохранители, бросая взгляды по сторонам, давали понять, что угрожают каждому, кто посягнет на жизнь, достоинство или блеск ботинок Рафта. Это был светский визит — перекинуться несколькими словами с режиссером фильма Билли Уалдером и пару минут поглазеть на Мэрилин Монро, чтобы потом уйти с тем же чувством ответственности за судьбы мира, с которым вошел. В его походке было что-то вызывающее, как только он появлялся, все вокруг начинали чувствовать себя не в своей тарелке — ощущение, которое, входя в людную комнату, позже вызывали Синатра и Мейлер. У Хаима не было телохранителей. Возможно, он бы ими обзавелся, если бы в возрасте двадцати семи лет, войдя в аптеку на углу Ленокс и 111-й улицы купить алка-зелцер, не рухнул замертво в присутствии аптекаря, отвернувшегося, чтобы его обслужить.

Мама поехала на похороны в черной вуали, не взяв ни брата,

ни меня — слишком явно было дыхание смерти, такой безвременной и несправедливой. Когда мама узнала о кончине Хаима, то сутки не могла вздохнуть без всхлипов и рыданий. Умер, не дожив до тридцати, еще один ее младший брат. «Чертов аптекарь, — бормотала она, прилаживая перед зеркалом за туалетным столиком на голове вуаль, — был бы он порасторопней, может бы, и обошлось…» Позже она вынуждена была признать, что аптекарь здесь ни при чем, а брат умер от сердечного приступа. И все-таки не могла простить ему, никогда не задерживалась в аптеке, чтобы поболтать, а за сарсапариллой с касторкой, мучительным поглощением которых я мог бы доставить аптекарю явное удовольствие, посылала меня одного. Однажды, когда у меня ночью разболелся зуб, она точно так же выпроводила меня одного, семилетнего, вниз на первый этаж к дантисту, доктору Герберту. Когда я позвонил к нему в дверь в два часа ночи, он открыл, будучи, как и я, в пижаме. Бросив на меня быстрый взгляд, он в шлепанцах прошел в свой кабинет, где включил свет, усадил меня в кресло, достал хирургические щипцы и, спросив: «Какой болит?», выдернул тот, на который я указал пальцем. Все произошло очень быстро, безо всяких предварительных уговоров и увещеваний, которые скрашивают время, но нагнетают страх, так что я не успел закричать, как оказался за дверью, вызвал лифт и поднялся домой, где все мирно спали.

После смерти Хаима Стелла пошла в маникюрши. Минул год, за ним другой, она не выражала желания выйти замуж, и мама прониклась к ней глубокой симпатией, как будто Стелла доказала чистоту своих намерений. На самом деле у нее были бесчисленные связи с клиентами из мужского зала, но замуж она так и не вышла, сказав однажды, много лет спустя, когда я сидел нагнув голову во время стрижки: «Знаешь, малыш, у меня был только Хаим, и все!» Крепкая девка, что и говорить. Смеялась она всегда цинично и громко, широко открыв рот, будто весь мир ей — потеха. Мы не виделись не один десяток лет, когда однажды в 1961 году я грустно брел вечером в районе Бродвея по 24-й улице и, увидев парикмахерскую, обрадовался, что наконец-то смогу постричься. Бросив взгляд через стекло, чтобы прикинуть, что там и как, я вдруг увидел со спины Стеллу, которая стояла, слегка склонившись к клиенту с каким-то только ей присущим вызовом. Беседуя с ней, мужчина курил сигару, в то время как парикмахер подравнивал его редкие волосы. Я вошел. Она не обернулась. Теперь я увидел, что в руке она держит поднос с маникюрными принадлежностями. Все тот же грубоватый голос, его волнующий, влекущий резкий звук. Ей, наверное, было уже под семьдесят. У

меня внутри похолодело при мысли, что она может узнать меня. Я только что расстался с Мэрилин и не выносил, когда начинали расспрашивать, она же, конечно, не преминет поинтересоваться. И все-таки я не мог уйти, отказавшись от встречи. Парикмахер указал на кресло рядом с тем, около которого она стояла. Я сел и тихо произнес: «Стелла?»

Прошло сорок лет со дня трагической смерти Хаима, все Барнеты, включая маму, ее единственная родня, почили. И пока она медленно поворачивалась в мою сторону, подумалось, что я, наверное, последний из них, кого она видит. На ее лице, когда она обернулась, была готовность перекинуться иронической шуткой с очередным клиентом, но, когда она увидела меня, глубокие складки около рта внезапно смягчились, губы тронула легкая дрожь, которую она погасила жесткой усмешкой. «Артур», — произнесла она ровно и дружелюбно. Я был в неглаженом костюме и зашел постричься, поэтому никак не походил на несравненного Хаима, безупречного, безукоризненного мужчину, который бы никогда не появился на людях в таком несвежем виде. В ее глазах застыло бесконечное удивление перед несправедливостью жизни, где выживает отнюдь не тот, кто достоин, и я почувствовал, что разделяю этот взгляд. Меня сковала робость, которую в те далекие времена я испытывал всякий раз, как только появлялась эта странная женщина, — теперь я снова был в ее власти.

Она не преминула это заметить, спросив: «Как ты здесь очутился?» «Здесь» означало непрестижный деловой район, который вымирал в пять часов вечера, как только преуспевающая публика покидала его. Я не мог обитать по соседству, ибо вокруг теснились убогие доходные дома да несколько ветхих гостиниц.

— Живу неподалеку, — ответил я, почувствовав в ушах резкий свист от быстрого падения свинцовым грузом в социальную бездну, на дне которой было забвение, — в гостинице «Челси».

Недоумение на ее лице уступило место сомнению, удивлению и даже какой-то жалости. Но я по крайней мере вызвал у нее интерес. И удовлетворенно заметил, что она озадаченно размышляет: что с ним — совсем на дне или потерпел крушение, скрывается или, может, рехнулся? Меня буравил ее напряженный, жесткий взгляд.

— Я читала об этом, — сказала она, имея в виду мой недавний развод.

Я кивнул, подтверждая, что мы оба с ней в одной лодке.

— Ничего хорошего, — посочувствовала она.

Похоже, ей хотелось, чтобы я был безутешен.

— Это так и не так, — заметил я, глядя в ее серые глаза. — Мы прожили ровно столько, сколько нам было отпущено.

Казалось, она удивилась, выразив неодобрение по поводу того, что я не собираюсь, склонившись к пианино, просить Сэма сыграть все по новой, — долгие годы я не раз встречался с такой реакцией. Тон изменился, став холоднее, когда она спросила о моих детях, которых не знала, и о брате с сестрою. С Джоан она поддерживала отношения и призналась, что пристрастно следит за ее карьерой в театре и кино. Подошел парикмахер и начал стричь меня; она отошла к своему столику в углу зала, заговорив с мужчиной средних лет, который аккуратно застегивал на все пуговицы на животе жилет и пристрастно рассматривал в зеркале свое только что выбритое лицо. Я услышал ее смех, когда она с профессиональным интересом слушала то, что он говорил, и удивился, отчего я ищу у нее одобрения. Это была полная женщина, чье представление о рае явно ограничивалось дружеским кивком Джорджа Рафта, самого Аль Капоне или Багси Сигела, который, публично удостоив ее откровенного взгляда, бросил бы: «Как дела, детка?»

Ее плотного вида клиент собрался уходить, и она начала складывать инструменты. Я заметил, что на входной двери появилась табличка о закрытии, так что я был последний посетитель. Теперь можно будет поговорить. Но она явно была не расположена к этому. Может быть, я слишком напоминал ей о Хаиме и о той жизни, которую она прокляла, так и не прожив. Я наблюдал за ее отражением в зеркалах, которые висели по обеим стенам. Она сбросила белый халат и поправила прическу, проведя щеткой по редеющим волосам, в который раз оглядев себя в зеркало, будто ей было восемнадцать и перед ней лежал весь мир. Она напоминала какую-то волшебную птицу, в глазах которой навечно застыл образ ее погибшего спутника. Странно, что эта женщина, с которой я провел в жизни всего несколько часов, имела для меня такое значение. Что-то жуткое было в том, что она навечно сражена мужчиной, которого знала едва больше года. И когда, поджав напомаженные губы, она приблизила лицо к зеркалу, мне показалось, что именно его она ждет сегодня ночью на свидание в пустой квартире — похоже, его образ, на мгновение озаривший ее жизнь, до сих пор поддерживал в ней дух и силы. Я вспомнил, как она стояла около окна, выходившего на 110-ю улицу, в белом пальто с меховым воротником, а Хаим торопливо раскладывал перед сидевшей мамой наборы склеенных гармошкой фотографий с видами курортов Флориды, где они провели свой медовый месяц. Мне не хотелось, чтобы Хаим заметил, как мама сдержанно относится к Стелле, поэтому я

изловчился, вытащил у него из рук открытки и охал и ахал над всеми пляжами и плавательными бассейнами, где они успели побывать, за что впервые удостоился его внимания. Сидя в кресле у парикмахера, я снова пережил тот бурный восторг, который испытал, когда он заметил меня. Надо же, меня любит, меня обожает сам Хаим! — любимейший мамин брат, чью смерть она так и не смогла простить Богу. В этот момент меня вместе с ним озарял неповторимый свет ее неземной любви.

— Пока, дорогой, — произнесла Стелла, задержавшись у моего кресла на пути к выходу. В зеркале я увидел на ней ладно скроенный английский плащ, фетровую шляпу мужского покроя и темно-бордовый фуляр. Жуткое впечатление. Я сделал движение, чтобы проститься за руку, она обошла мастера и на минуту застыла рядом, как будто смягчившись. А мне вдруг почудилось, что я принес с собой в парикмахерскую весь ворох ее невзгод, в том числе недавнюю смерть моей мамы, со временем ставшей близкой и во многом похожей на нее. Обе обожали скабрезные анекдоты, непристойные каламбуры, любовные скандалы, сомнительные связи и тайную жизнь доступных женщин с присущим ей душком. Я взял ее за руку, но единственное, на что отважился, — это усмехнуться. И был благодарен, когда она, наклонившись, чмокнула меня в щеку.

— Как-нибудь еще загляну, — сказал я, зная, что этого никогда не будет, поскольку нас уже ничто не связывало, а если зайду, то не застану ее. Она кивнула, казалось поняв, и пошла к двери, в сумрак уходящего дня, в темноту улицы. Закончив, мастер сдернул с меня покрывало, стряхнул волосы на пол и не проронил ни звука. Он почувствовал, что она была сдержанна и что я чем-то огорчил ее.

23-я улица была пустынна, хотя солнце только что зашло. Магазины оптовой продажи детских игрушек с дешевыми гонконгскими механическими безделушками и поддельным столовым серебром, комиссионки, торгующие канцелярскими товарами и подержанными электроприборами, — все было закрыто на ночь. В нескольких ярдах вверх по Седьмой авеню, около стоянки машин, будто наплывая из-под тротуара, в асфальте красовались большие медные буквы ПОТ. Сколько воды утекло с тех пор, как отец рассказывал, что в годы его юности здесь стояло здание прокторовского Оперного театра, лучшего из нью-йоркских залов, где игрались водевили и ставились грандиозные шоу. Стоянка к ночи опустела. Город продолжал вышелушивать собственную историю, истерически устремляясь в будущее. Я стоял у светофора, ожидая сигнала, и в этот момент отчетливо понял, что Стелла повлияла на меня как на драматурга

не меньше, чем моя мать: где-то глубоко, в самом начале, лежала заповедь по возможности не обижать в своих пьесах малокультурных, вульгарно простодушных, земных и любящих женщин — крашеных блондинок. Как неожиданны скрытые взаимосвязи: я начал со случайно напугавшей меня библиотекарши, а кончил вдовой, кладбищами и смертью — образовалась широкая дельта, воды которой впадают в единое море. И толчком ко всему послужил глубоко скрытый страх антисемитизма.

Однако мои еврейские впечатления много меньше окрашены страхом и беспокойством, чем чувством уверенности и покоя: сидя в синагоге на 114-й улице на коленях у своего длиннобородого прадеда Барнета, я чувствую, как его бас гудит у меня в ушах, он молится и, обхватив меня, мерно раскачивается взад-вперед, как на качелях, время от времени чуть сдвигая широкой ладонью мою голову в сторону, чтобы, набрав побольше воздуха, сплюнуть в проем открытой двери недалеко от специально отведенного ему места набегающую от табачной жвачки слюну, которая на моих глазах стекает с перекладины пожарной лестницы. Конечно, в четыре-пять лет я не читал ни на одном языке, включая древнееврейский, но прадед настойчиво обращал меня к молитвеннику, тыча в буквы, которые, как я потом узнал, сами по себе обладали магией, являясь искусством линий, впервые начертанных рукою людей, узревших божественный свет, а также буквами, ведущими к центру Земли и к небесным вершинам. Хотя я ничего не понимал, но временами становилось страшно и возникало ощущение, что вокруг какой-то особый мужской мир. Женщинам разрешалось сидеть на балконе, откуда они, бесправные и спасенные, пока не вернутся домой, где всем заправляли, могли наблюдать и восхищаться тем, что происходило внизу.

С моего места на коленях у прадеда это казалось волшебным сном: все вставали, садились, голоса взлетали и падали, страстно звучали непонятные слова. А на балконе, когда доводилось взглянуть, мама не отрываясь следила за нашим рядом: я, Кермит, прадед, дед, отец. Там наверху она, бывало, могла всплакнуть от переполнявшего ее чувства гордости. Я с трудом понимал, что происходит вокруг, но по-доброму, в порядке вещей воспринимал, когда на мои вопросы раздавалось грозное и трепетное «ш-ш-ш!», дабы не прогневить Бога. Я тут же замолкал и начинал придумывать свою религию, вбиравшую все, что открывалось мне с моего места: корни волос, которые я с интересом изучал, чужие брови, ноздри, кожу рук, ногти и

длинные свитки Торы, время от времени извлекаемые из ковчегов, где они хранились, беседуя между собой, пока створки были закрыты. Их осторожно извлекали и обносили молящихся, дабы каждый приложился, ибо это был Закон, основа основ, удерживавшая Землю, чтобы она не улетела в Космос и не погрязла в грехах. Конечно, религия не может обойтись без страха, но если чья-то отдельная жизнь что-то значила в синагоге на 114-й улице, чудо под названием «вера» вступало в противостояние с властной силой, и наступало облегчение, что ты спасся от наихудшего. Однако об этом, как и о многом другом, я узнал достаточно странным образом.

Прадед, в чем я убедился позже, любил меня и был рад, когда я пристраивался около него в shul[4], как всегда занятый своими мыслями. Он молился, положив тяжелую руку мне на плечо, и меня обволакивал терпкий, ни на что не похожий устоявшийся запах, исходивший от его тела, — запах несвежего белья, табака, сливовицы и всего человеческого, причем он усиливался по пятницам, накануне очередного субботнего купания. В те времена люди намного больше доверяли запахам, с их помощью узнавали друг друга и признавали своих. Для меня, мальчишки, каждый взрослый имел свой запах, а прадед и вовсе был целым оркестром — поднимал ли руку обнять меня, набрасывал ли на свои широкие сильные плечи молитвенную накидку, запускал ли пальцы в бороду или наклонялся достать из заднего кармана платок, от каждого движения исходил неповторимый аромат.

Я ощущал, будто меня вплели в темный красивый узор гобелена, где линии струились и в то же время их расположение оставалось неизменным. В центре, конечно, был я в высоком сумеречном храме под боком у прадеда, низким голосом выводившего текст древнееврейской книги. Рядом сидел красивый, опрятный и всегда безупречно правильный брат, который уже многое понимал и все больше и больше становился похожим на нашего отца. Тот, в свою очередь, когда бы ни приходил в синагогу, всегда долго искал в молитвеннике нужное «место». Отец прилично знал древнееврейский, но, стоило мне поймать его взгляд, делал бесстрастное лицо и обязательно должен был подмигнуть своими голубыми глазами, будто говоря: «Потерпи, это ненадолго». Что касалось деда, Луиса Барнета, я уже тогда не видел в нем ничего, кроме напыщенной чопорности, — он был настолько же лишен юмора и великодушия, насколько его отец являлся олицетворением легкой, свободной игры духа. Человеческий род в своем развитии, сделав шаг вперед, всегда спешит отступить на один шаг назад.

Кульминацией моей яркой, хотя и неосознанной религиозной

жизни стал поход с прадедом в синагогу, когда нас с ним оставили как-то на целый день вдвоем. Он приказал мне закрыть глаза и не подглядывать, а сам совершил нечто странное — снял башмаки и остался в одних белых носках. Потом встал, поднял над головой молитвенную накидку, еще раз строго-настрого запретил мне подглядывать, подождал, пока я закрою глаза руками, и затем удалился, оставив меня сидеть на скамейке сбоку от алтаря на своем почетном месте старейшины.

Я безропотно пребывал в темноте, прислушиваясь к низким мужским голосам, которых около алтаря заметно прибавилось. Алтарь был покрыт куском красного бархата с кисточками и золотой тесьмой, на нем стоял массивный подсвечник, за которым виднелся Священный Ковчег, небольшой, по плечо, стенной шкаф, где, как в игрушечном домике, за двустворчатыми резными дверцами хранились бесценные свитки Торы. Меня, конечно, больше всего интересовали эти дверцы: они были фута три в высоту, и я вполне мог пройти туда, если бы только разрешили. Я любил смотреть, как их открывают и закрывают, бережно возлагая на плечо тому, кому выпала честь нести свитки размером в мой рост. Во время священнодействия перехватывало дыхание, поскольку, доведись их нести мне, я бы обязательно уронил и, конечно, был бы ввергнут во тьму.

Со всем пылом религиозного послушания я закрывал руками глаза, как вдруг услышал хор мужских голосов. С дюжину человек нескладно, не в унисон выводили каждый свою мелодию, послышались глухие удары, сильнее, громче, голоса окрепли, часть из них взметнулась ввысь над общим тревожным баритональным гулом, и, превозмогая все, голубем взмыл в воздух чей-то тенор, а глухие удары участились. От неожиданности у меня сами собою разжались два пальца, и сквозь частокол ресниц я увидел нечто несусветное — человек пятнадцать старцев в белых носках, согнувшись каждый под своею шалью, кружились в танце! Я замер от ужаса. Среди них был мой прадед, а я нарушил запрет. Но что в этом было такого запретного? То, что они без башмаков? Или приняли недостойную позу? А может быть, то, что, несмотря на возраст, радовались, выражая свои чувства странно и непонятно. Никогда в жизни я не слышал такой дикой и нелепой музыки — каждый танцевал сам по себе, взывая во тьму пространства, которое простирается над обыденной жизнью человека, пространства, о существовании которого узнаешь во время молитвы.

Тем временем они сбросили накидки, и я тут же зажмурился, зная, что виноват, ибо должен был тихо дожидаться, пока прадед разрешит мне открыть глаза. Я был мал, но у меня никогда не

возникало сомнения, что это пригрезилось, да и память сохранила все слишком ярко. Особенно мучило, что он меня очень любил, и ведь именно его неким осмотическим образом я избрал, стараясь подражать ему как писатель, хотя прадед умер раньше, чем я пошел в школу.

Он был великолепным рассказчиком, и хотя я не знал идиша, после обеда обязательно пристраивался около мамы. За столом собиралось человек двенадцать, а то и более родственников, все внимали ему, а он без конца поглаживал бороду, наслаждаясь тем, что оказался в центре внимания, не прилагая к тому особых усилий. Рассказ прерывался, только если ему надо было сплюнуть или затянуться сигаретой. Когда я просил маму перевести, она отмахивалась и шипела: «Ш-ш-ш», поэтому мне оставалось наслаждаться только рождавшейся на глазах формой и музыкой его выразительной речи. Однажды мама все-таки пожалела меня и начала шепотом переводить. Как-то ночью в стародавние времена один человек решил скоротать дорогу и пошел домой через кладбище. Вдруг видит на одной из могил, за камнем… «Ой, подожди!» Она прервала рассказ, вся обратившись в слух, чтобы ничего не пропустить в повествовании прадеда, которому внимала, по-детски широко открыв глаза и забыв закрыть рот. Прошла минута, две. Я в нетерпении дернул ее за рукав, надеясь на продолжение. «Ш-ш-ш!» — обрушилась она на меня. Надежды рухнули, мне только и оставалось, что наблюдать за сидевшим у длинного стола сказителем и его великовозрастными слушателями, которых он, заворожив, полностью подчинил своей воле.

На протяжении десятилетий меня преследовал образ танцующих стариков. Я неоднократно пытался выяснить, что это была за церемония, но все не получалось, пока, работая над этой книгой, вконец не усомнился, явь это была или сон. Мой друг раввин, которому я рассказал эту сцену, посмеявшись, извинился, что он реформат, а речь, по-видимому, идет об ортодоксальной службе. «В какое время года это происходило?» — поинтересовался он. Я попытался вспомнить, как я был одет, но безрезультатно. На память пришла открытая дверь и пожарная лестница, с которой стекала табачная слюна, — значит, весна или осень, так как летом мы жили на даче в Фар-Рокавей. Подумав, приятель решил, что все, должно быть, происходило осенью по случаю одного из трех больших религиозных праздников Симхат-Торы: он падает на последний день Суккот — «воссоединения в законе», празднества в честь дарования Господом людям Торы. Во время праздника Суккот верующие танцуют, а из Ковчега единственный раз в году достают все свитки Торы, чтобы каждый

из молящихся мог приложиться к ним. Единственное непонятно, зачем надо было зажмуриваться — раввин ничего не знал об этом. Картина эта стояла у меня перед глазами, но слова друга заставили усомниться, правда ли прадед запретил мне смотреть на него или я сам закрыл глаза от испуга. Все было настолько страшно, жутко, непонятно, что вполне могло остаться в памяти кратким видением. И в то же время то, что я увидел, было настолько свято, что могло показаться непосвященному кощунственным и запретным. А может быть, прадед был шутником и решил посмеяться, сказав: «А ну, не подглядывать!» Я же относился к нему с трепетом и воспринял это всерьез. Меня никогда не одаривал своей любовью такой старый человек, и шестьдесят пять лет спустя я не могу вспоминать о нем, чтобы в душе не поднялось теплое чувство.

Кончина прадеда, столь непохожая на другие, придает его образу очарование. Ему было под девяносто, когда однажды утром он почувствовал, что его час настал, и, подозвав к изголовью сухонькую жену, велел позвать молодого раввина. Ей показалось, что он действительно плох, как никогда за семьдесят лет их супружеской жизни, и она поторопилась в синагогу на 114-й улице и привела раввина, по-видимому, кого-то из новеньких. Тот присел на краешек кровати, и они вместе читали молитвы, пока прадед не уснул, а раввин отбыл. Тем временем расстроенная прабабушка обзвонила детей, и они собрались в их двухэтажной квартире в каменном доме в Гарлеме. А прадед все спал и спал. Вызвали врача, который, не разбудив, осмотрел его и подтвердил то, что было уже и так известно: прадед, как все смертные, хотя и опережая многих, находился на пути к лону Авраамову. Врач ушел, дети разошлись — у каждого была своя жизнь. Прадед проснулся только на закате солнца. Жена поинтересовалась, как его самочувствие, а он не мог взять в толк, почему голова лежит так низко. Неуклюже перевернувшись на другой бок, что было нелегко при его весе, он пошарил под подушкой и раз, и другой, сел, взбил ее, переворошил белье и, глядя в упор на ничего не понимающую супругу, спросил: «Кто их унес?»

В те берейторские времена состояние было принято хранить под подушкой, и мой прадед почти все перевел в бриллианты, так как в отличие от банкнот они занимали не так много места, да и хранить их было легче. Он, конечно, относился к тому многочисленному меньшинству, которое стопроцентно не доверяло ни одному финансовому учреждению, повсюду ожидая какого-нибудь подвоха. Как и У. Филдс, еще один представитель эпохи начала века, автор бесчисленных сценариев и юморесок,

отличавшихся особой циничностью, который почти в параноидальном страхе рассовывал свои сбережения по всем банкам страны, надеясь, что это спасет его на случай, если какой-то из них окажется фиктивным или ложно объявит себя банкротом. И ведь правда, как ни занятно или абсурдно это звучит, в тот момент, когда прадед шарил под подушкой в поисках своих сбережений, Ричард Уитни, один из финансовых воротил, возглавлявший нью-йоркскую Фондовую биржу, спокойно воровал, да так, что угодил в Синг-Синг. И надо признаться, он был не одинок — Великий кризис подтвердил опасения прадеда с Филдсом и рассеял иллюзии доверчивого большинства.

Несмотря на большую слабость, дед хорошо помнил, что спрятал свое состояние под подушкой, и потребовал, чтобы ему дали отчет, кто его навещал в этот день. Перепуганная жена назвала всех, упомянув и о новом раввине. Отметая возражения, прадед настоял, чтобы ему помогли одеться, взял дубовую палку для ходьбы и, отказавшись от помощи жены, которая хотела помочь ему, придерживая под руку, заковылял по Мэдисон-авеню от 112-й к 114-й улице в синагогу, где нашел раввина, который, сидя за столом, что-то писал. Прадед заявил, что хотел бы получить назад свои драгоценности. Тот посмотрел на него, спокойно переспросил: «Какие драгоценности?» — и получил удар палкой по шее — прадед размахнулся и огрел его так, что тот не смог увернуться. Бедлам! В жилах старца вспыхнула новая жизнь, и он припустился за раввином, хотя в синагоге было полно народу и кто-то даже пытался утихомирить его праведный гнев. Наконец раввин остановился, с трудом переводя дух, как, впрочем, и прадед, поднял обе руки вверх и, повернувшись к пальто, висевшему на спинке стула, достал из кармана завязанную в узелок тряпицу. Старик негнущимися пальцами развязал ее, пересчитал на глаз, засунул в карман пальто и вышел. Дома, едва поднявшись по узкой крашеной лестнице, он сразу же лег в кровать. Новость быстро облетела всех, и, столпившись около его кровати, мама вместе со своим отцом и армией других наследников смотрели, как, лежа на подушке, прадед раздавал им свою жизнь. Потом вздохнул и закрыл глаза, чтобы никогда уже больше не проснуться.

Тридцать лет спустя, холодным весенним днем 1952 года, я одиноко бродил по залам Музея ведьм при Историческом обществе, где, кроме меня, не было ни души. Здесь хранилось множество документов о салемской охоте за ведьмами, разыгравшейся в Массачусетсе; кроме ученых, о ней мало кто знал, пока не вышла моя пьеса «Салемские ведьмы». Меня

заинтересовали висевшие в рамках гравюры, в том числе по дереву, которые были сделаны в 1692 году, в разгар трагических событий. В назидание жителям Бостона и других отдаленных мест на них изображались сцены в суде, говорящие, сколь противоестественно вели себя те, кого обольстили и совратили колдовством. Невинные девушки, пострадавшие от тайных преследований, в ужасе указывали пальцем на жену фермера, которая с холодным равнодушием выслушивала их ортодоксальные обвинения. На фоне огромного окна, свидетельствующего, что дело происходит в суде или в церкви, неясно вырисовывались фигуры судьи и человек пятнадцати его помощников, а также священников в длинных, до полу, рясах с бородами пророков, которые в ужасе взирали на несокрушимую твердость той, в которую вселился дьявол. Освещенная часть гравюр резко контрастировала с сумеречными углами.

Я собирал материал для «Салемских ведьм» и, обнаружив гравюры, неожиданно открыл для себя известную внутреннюю связь между колдовством и пуританством, уловив за их общими иллюзиями, ошибками, фанатизмом нечто более таинственно близкое, чем устремление к гражданским свободам и справедливости, нечто давно пережитое. Я был с головой в работе, но до этого момента почему-то не ощущал, как мне уютно среди первых поселенцев Новой Англии: где-то в глубине души они незаметно слились с теми самыми иудеями, которых снедал неистовый идеализм, фанатичная вера в Бога, стремление ограничить светское право и тоска по ясному и весомому аргументу. Как и евреи, они теряли разум в стремлении стать совершеннейшим сосудом незамутненной Божественной благодати. На гравюрах у них были точно такие же ветхозаветные бороды и, как ни странно, даже обстановка и освещение напоминали сумрачную синагогу на 114-й улице — там у меня было время подолгу смотреть вверх, и я видел, как под рукотворным потолком свет, рассеиваясь, превращается в неясную дымку рая. Как бы озаренные сиянием иного мира, люди теряли четкие очертания — возможно, это ощущение возникло оттого, что на таинственную пляску я смотрел сквозь полуопущенные ресницы. Стоило мне в жизни встретить старика, какого-нибудь ветхозаветного старца, сохранившего детскую непосредственность, как тут же всплывали воспоминания и приходило странное ощущение, что я его знаю. Этот образ обрел воплощение в Грегори Соломоне из «Цены» и в молчаливом старом еврее из «Случая в Виши».

В больших семьях всегда кто-нибудь умирает. Но иногда

возникает некий резонанс, своего рода ритм посещения кладбищ, поминок, когда родные то и дело встречаются за чашкой кофе с печеньем сказать очередное «прощай» какой-нибудь тетушке из Бронкса или дядюшке из Кливленда, которых и при жизни-то навещали не часто, а теперь и вовсе можно будет забыть. Редко что для малых детей бывает веселее, чем похороны, это даже лучше, чем шумные свадебные гулянья, которые продолжаются за полночь, и трудно удержаться, чтобы не заснуть. На похоронах малыша никто сурово не одернет, им как-то особенно дорожат перед лицом смерти: любая детская шалость кажется пустяком, только бы он был здоров.

А малыш, по правде говоря, может даже извлечь пользу из встречи с чужой смертью, научившись, если захочет, сдерживать себя. Одной из причин, почему мисс Фишер вызвала маму в школу, явилось то, что на меня временами нападал безудержный смех. Как, например, в тот погожий весенний день, когда с полдюжины ребят-негров из нашего класса сбежали с уроков и, взобравшись на крышу дома напротив, на другой стороне 112-й улицы, размахивали руками, всячески стараясь привлечь наше внимание. Учительница мисс Дэниелс, которой было за шестьдесят, как раз читала отрывок из «Юлия Цезаря», да так, что ничего нельзя было разобрать. Увлекшись, она все же заметила общее возбуждение, оторвалась от книги и, увидев на крыше противоположного дома прогульщиков, возмущенно потребовала, чтобы мы не глазели в окно, а внимательно слушали Шекспира. Я, как и все, очень старался, но, наверное, чуточку переборщил, чувствуя, что за моей спиной — мама и Кермит. К тому же у меня была маленькая сестренка, что налагало дополнительные обязательства — еще одна живая душа, которую надо пестовать.

Поскольку шестеро прогульщиков были самые заводилы в классе, ребята вняли увещеваниям мисс Дэниелс и даже отчасти встали на ее сторону, осудив тех, кто проявил неуважение к ее самоотверженному труду на ниве просвещения. Я не сводил с нее глаз, изо всех сил стараясь не поворачиваться к окну. Все было тихо и мирно, как вдруг в животе что-то предательски заурчало, и я понял, что сейчас начнется самое худшее — рот растянется до ушей, да так, что их просто не будет видно. Судорожно сжимая челюсти, я вцепился руками в парту и неожиданно вспомнил о дядюшке Хаиме. Он умер. Был мертвый. И лежал в могиле, а над ним капал дождь. Красавец дядюшка Хаим и мама, моя бедная мамочка, как она по нему убивалась. В животе все улеглось, колика прошла, а я узнал, как справляться с неожиданным приступом смеха, взывая к памяти умершего красавца дяди. Порою, однако, этого оказывалось недостаточно и приходилось держать его, умирающего, на руках, а то и вовсе ложиться с ним в гроб и гладить по щеке. Это уж точно всегда помогало.

Шли годы, отмеченные размеренным ритмом, — похороны, свадьбы, bar mitzvahs, да еще игры, которые неизвестно почему всегда делились строго по сезонам. В биты, бросая их в расчерченные на тротуаре квадраты, играли только весной, стеклянные шарики пускали вдоль тротуара осенью. В отличие от нас с братом в компании всегда находились один-два пацана, умудрявшиеся сохранить прошлогодние биты и шарики — с наступлением нового сезона начинался торг. К числу ненавистных банкиров относился Джо Рубин, который, конечно же, стал преуспевающим юристом на Уолл-стрит. Этим делом промышлял и мой закадычный друг Сид Фрэнкс, сын банкира, который, в свою очередь, стал простым полицейским. В те времена он уже умел собрать радиоприемник на кристаллах и ловить передачи. Если шел дождь, то вместо того чтобы носиться с нами как одержимый вверх-вниз по этажам, он разбирал математические задачки, которые отыскивал в библиотеке. До встречи с ним я никогда не думал, что будущее можно так отчетливо представлять себе в виде лестницы, по которой карабкаешься со ступени на ступень, — сначала специальная подготовка, затем специальное образование, потом работа по специальности на всю жизнь.

Отец Сида был президентом какого-то банка в центре. Каждое утро он выходил из дома и неспешно направлялся к машине с шофером, поджидавшей его тут же у кромки тротуара, — вся улица была запружена машинами, стоявшими в ожидании своих влиятельных хозяев; процедура отъезда повторялась ежедневно с большой размеренностью. Господин Фрэнкс курил трубку с вечно

торчавшей из нее половиной сигары и носил меховое пальто. У него был роскошный локомобиль, красивее которого я не помню, бежевого цвета, с открытым прогулочным верхом, изящными колесами на спицах и двумя бежевыми запасными покрышками, затянутыми холстом, на передней решетке. Машина была аристократическая, поэтому ни на дисках колес, ни на радиаторе не было названия марки. Автомобиль, особенно дорогой, в те времена носил следы ручной работы: его владелец никогда бы не согласился, чтобы у соседа было что-то похожее. Мы с Сидом обожали, свесившись из окна нашей квартиры на шестом этаже, отгадывать марки машин, которые двигались по 110-й улице, их нетрудно было различить даже сверху. И моделей было намного больше, чем после 1929 года. Глядя на проезжавшую мимо «испано-сюизу» или «минерву» с шофером, не говоря о великолепных «паккардах», «пирс-эрроу», «мармоне», «франклине», «стернс-найте», где крыша над шофером порою была открыта, казалось, невозможно было не пережить восторг от ощущения могущества власти. Это были скульптурные изваяния на колесах, стальные тотемы, отполированная, как линза, поверхность которых отражала свет звезд. И нельзя было ни на минуту допустить, что вызвавшая их к жизни власть когда-нибудь ослабнет или рухнет. Ровный глухой гул моторов не оставлял сомнения, что за блестящими стеклянными панелями восседают настоящие богачи, так что даже шоферы у них богаты. Великий кризис еще не заставил состоятельных людей пережить тот страх, из которого родилось чувство вины.

Иногда в машине рядом с шофером восседал лакей в униформе, оба невозмутимо взирали перед собой. Каких только оттенков не была их пряничного вида униформа: и лавандового, и шоколадного, и белого, и голубого, и даже черного. Я любил поболтать с каким-нибудь шофером, поджидавшим своего босса, в надежде, что он позволит мне на минутку сесть за руль или взглянуть на мотор. Меня очень интересовало, как работает машина, но никто не мог ничего толково объяснить. Возможно, из-за этого пустяка возникло глубокое разочарование, с которым связано то, что позже трудно было учиться в школе. Хотя там все было наоборот: учителя бесконечно разжевывали понятные вещи, поэтому я отвлекался, путался в мыслях, а потом приходилось судорожно наверстывать. Как-то, когда я был еще очень мал, мы с папой и дядей Эйбом, тем самым, который встречал отца по прибытии в Америку на пароходе, ехали на его «паккарде». Я восседал между ними на переднем сиденье, и, помню, отец спросил, как работает машина. «О, она прекрасно бегает», — ответил Эйб. Я взглянул сквозь стекло на голубую поверхность

вытянутого капота, которую венчал посеребренный термометр, торчавший над никелированным радиатором, и вдруг представил себе бегущую женщину, которая там внизу катит машину. «А что, внутри кто-то есть?» — спросил я у дядюшки Эйба. Они с отцом рассмеялись, хотя сами не знали, как работает двигатель. Поскольку никакой женщины не было, а машина бежала, у меня осталось впечатление, что ее движителем является женская душа — некий одушевленный образ автомобиля.

В середине двадцатых годов белые еще не покидали домов, где селились негритянские и пуэрто-риканские семьи. Тогда трудно было вообразить, что Гарлем превратится в негритянское гетто, — да и как в это поверишь, если лучшие городские рестораны процветали на Седьмой, на Ленокс-авеню и вдоль всей 125-й улицы. «Коттон клаб» в центре негритянской части Гарлема тоже был весьма популярен у белых. На Ленокс-авеню, где-то недалеко от 115-й улицы, находился едва ли не единственный в этом районе «Шуберт-театр». Правда, поблизости было еще несколько театральных залов, репертуар которых составляли гастрольные шлягеры, имевшие успех на Бродвее. Мама любила ходить в «Шуберт-театр» на дневные спектакли и впервые взяла меня с собой, когда мне еще не было восьми. Мы пошли вдвоем: Кермит, кажется, был чем-то занят, то ли сидел за учебниками, то ли на приеме у практиковавшего в центре города зубного врача, так как вдобавок ко всем прочим скучным обязанностям должен был носить на зубах пластину. По тем временам это было не только великим новшеством, но и весьма дорогостоящим способом на всю жизнь испортить себе зубы. Мои зубы выпирали не меньше, чем его, но, будучи младшим, я, к своему огромному облегчению, не удостоился чести, чтобы на меня тратились деньги. Это задевало самолюбие, но в то же время освобождало от целого ряда обременительных обязательств, возложенных на Кермита, — я их уважал, но разделять не стремился. Самым страшным испытанием был обряд bar mitzvahs, во время которого бедняге Кермиту пришлось произнести речь на трех языках — английском, иврите и немецком (в те времена почитавшемся классическим языком еврейской культуры), чтобы в очередной раз, на радость матери, утереть нос заносчивому и глупому клану Миллеров. Многие представители этого семейства работали по найму у отца и все равно полагали, что могут смотреть на него сверху вниз. Поэтому речь Кермита не помешала им, снисходительно процедив сквозь зубы похвалы, обернуться ко мне и перекинуться привычным вопросом: «А этот у нас откуда?» Я рано узнал, что значит быть не «своим», и в этом крылась одна из

причин моих частых — раза три в месяц — побегов из дома.

Меня прочно зажало в тиски между Джоан, завладевшей моим местом младшего в семье, и Кермитом, чей авторитет оставался непререкаем. При этом Джоан принесла неведомый доселе дух соперничества между братом и мною, поскольку выяснилось, что одновременно мы оба нянчить ее на руках не можем, из-за чего беспрестанно вспыхивали ссоры, которым не скоро суждено было утихнуть. Идею побега как своего рода самоубийства, чтобы насолить сразу всем, я позаимствовал у Оливера Твиста. Из всех его хитроумных уловок я отверг только одну, которую обессмертил своим рисунком Крукшенк, — с душераздирающей настойчивостью молить о добавке, протягивая пустую миску; моя задача, напротив, сводилась к тому, чтобы как можно успешнее избегнуть насильственных кормлений. Одна из самых бурных сцен разыгралась как-то утром, когда я наотрез отказался есть комковатую овсяную кашу, сваренную нашей домработницей-полькой Сейди, которая кормила нас завтраком, пока мама еще спала. В конце концов она ткнула меня носом в горячую овсянку. И тут к ее польским воплям и крикам брата добавился мой душераздирающий рев, а затем голос мамы, которая прибежала на шум неглиже и дала мне пару затрещин, вытирая измазанное кашей лицо, — все это странным образом смешалось у меня в голове, и я твердо решил бежать, чтобы не тяготить всех своим присутствием, а отсутствием постоянно напоминать о себе.

Наверное, мысль убежать из дома мне подсказал не только диккенсовский роман — она витала в воздухе вместе с твердой уверенностью в том, что я действительно сирота. Сознание, что я ни на кого не похож и только чуточку смахиваю на маму, было исполнено зловещего смысла и объясняло, почему у меня все валилось из рук: я вел безнадежную борьбу с родовым предрассудком, о котором, однако, мне никто никогда не сказал в лицо. Я был в этой семье чужой. Когда в бульварных романах, фильмах или газетных комиксах мальчишки убегали из дома, они уносили свой скарб в узелке на суковатой палке, переброшенной через плечо. Иногда, правда, могли еще прихватить сандвич. Возвращались же после долгих скитаний под другими именами, богатые, красивые, знаменитые, великодушно готовые простить виноватых родителей. В рассказах Хорейшио Эджера, которые и сегодня не потеряли смысл, в одиноком ребенке всегда проглядывал будущий капиталист, и я разделял эту точку зрения. Горячее стремление Гекльберри Финна к свободе не было для меня литературным вымыслом, но воплощало мое собственное представление о жизни.

Вместо плота у меня был велосипед, а вместо Миссисипи я мог выбрать либо Центральный парк к югу от Ленокс-авеню, либо Гарлем к северу от нее. Я выбрал Гарлем. И решил уехать, не оставляя записки, которая бы скомпрометировала меня, вздумай я вернуться. Бесследное исчезновение должно было нанести более ощутимый удар. Правда, с утра пришлось отправиться в школу, и дома я был только в начале четвертого. Оказалось еще достаточно светло, чтобы до наступления темноты уехать подальше от ненавистного дома. Сейди, у которой рыжие вьющиеся волосы торчали, как проволока, кипятила на кухне белье, и, поскольку при ней невозможно было незаметно сделать себе бутерброд, пришлось, как всегда, попросить об этом ее. Она несказанно обрадовалась, так как больше всего на свете любила смотреть, как я ем. Завернув сандвич в салфетку и выскользнув из кухни, я пустился в путь. Мне не хватало суковатой палки, но где ее было взять на 110-й улице, а срезать в парке я не решился, чтобы не получить удар полицейской дубинкой. Так что узелок пришлось повесить на руль велосипеда.

Во всех историях сбежавших мальчишек тут же подбирал и усыновлял какой-нибудь миллионер, правда, предварительно чуть не задавив экипажем. Но чем дальше я углублялся на север в Гарлем, тем меньше оставалось надежд, что я вообще когда-нибудь увижу богатых людей. Я никогда не был дальше 116-й улицы, разве что мы всей семьей отправлялись пообедать в какой-нибудь ресторан на 125-й или принимали с братом участие в состязаниях бегунов где-нибудь в другой школе. Меня немного беспокоило, чт***о*** я буду делать, когда стемнеет, но, кроме этого, я не испытывал никаких волнений и все дальше катил по боковым улочкам, уходящим от Ленокс-авеню, хотя и подозревал, что между нами и неграми вроде бы существуют довольно натянутые отношения. В школе у меня никогда не было конфликтов с черными ребятами. Наоборот, они были мягче и отзывчивее, охотнее отвечали на улыбку, чем остальные, особенно пуэрториканцы, задиристые, без умолку болтавшие на своем непонятном языке. При этом одним из моих лучших друзей оставался Карильо, которому я завидовал, потому что лет в двенадцать-тринадцать он должен был бросить школу и пойти учиться на стекольщика. Очень хотелось научиться резать стекло, хотя и льстило, что меня допустили к подготовительному «академическому» курсу для поступающих в колледж. Тогдашняя система образования была пронизана откровенно классовым подходом, что казалось естественным и удобным. Наше сознание впитывало готовые мифы, и мы успешно примеряли на себя роли и маски, которые в будущем еще долго будут определять наше

бытие. Крутя педали по улицам Гарлема, всерьез я опасался только одного — как бы не оказаться к востоку от Мэдисон-авеню, в итальянском квартале. В отличие от остальных итальянцы почему-то были особенно агрессивны, как будто только и ждали, к чему бы придраться. В восточной части Гарлема запросто могли столкнуть с велосипеда, чего не случалось к западу от Мэдисон.

Чем ближе к окраине, тем больше негров на тротуарах и на крылечках, появилось ощущение тесноты, которого я никогда не испытывал в центре города. Тогда я еще не знал, что именно из-за скученности Гарлем скоро превратится в трущобы. Несколько лет спустя отец негодовал, видя, как прекрасные жилые дома вокруг используются «на износ», ибо домовладельцы сдавали квартиру сразу двум-трем негритянским семьям. Когда мы в 1928 году переезжали в Бруклин, хозяин радовался, что приумножит свой доход, сдав нашу шестикомнатную квартиру двум семействам, несмотря на ее неизбежное в этом случае обветшание.

Я спокойно удалялся по 130-й улице все дальше от центра, и негры, провожавшие меня взглядом, казались приветливыми и дружелюбными. Однако я не забывал, что мы разные. Обычно приходилось драться только с белыми, с неграми — ни разу, и они, в свою очередь, не трогали и не угрожали мне, поэтому среди них я чувствовал себя в большей безопасности, чем среди сородичей, где был чужаком. И все-таки в них было что-то загадочное. Хотя бы потому, что я с трудом понимал их речь, несмотря на то что нередко, коверкая, передразнивал, считая себя прирожденным пародистом. В кино негров всегда показывали тупыми и неповоротливыми — увидев «привидение», они закатывали от страха глаза и казались совсем неопасными. Такова была порочная лепта Голливуда, внушившего мне ложное представление о том, что негры стоят особняком, а то и ниже белых и совершенно безобидны. Друг моего отца, богач, заставлял своего слугу-негра разнашивать ему ботинки, и меня это забавляло не меньше, чем его.

На одной из улиц за 130-й я притормозил, увидев несколько человек возле лежащего на тротуаре негра. Беспомощно мотая головой, он распухшим языком пытался дотянуться до мутного ручейка, бегущего вдоль тротуара. Кто-то произнес слово «газ», и я решил, что он наверняка наглотался его у себя на кухне и теперь мучается жаждой. Багровый язык на дюйм-другой не дотягивался до воды, но никто не пытался помочь ему. Люди стояли и молча смотрели на его мучения. Нырнув под сень раскидистых деревьев, я продолжал путь вдоль аккуратных негритянских домиков с чистыми крылечками и вымытыми окнами, мало отличавшихся от домов в центре, за исключением,

пожалуй, того, что в них проживало больше народу.

Стало смеркаться, и я вспомнил о бутерброде, остановился, уперся в мостовую ногами и начал жевать. Обиды рассеялись сами собой. На улице было много пожилых негритянок, которые в этот час торопились сделать покупки на завтра. Грузные, они тяжело передвигались, казалось, у них у всех болят ноги. Дети бегали босиком, но не от бедности, а потому, что на Юге, где они жили раньше, это было привычно. Не помню, с чего я вдруг так решил, наверное, сказали они сами. Гарлем подействовал на меня успокаивающе, и я не спеша возвратился домой. Оставив велосипед в прихожей, с радостным нетерпением устремился к маме узнать, что будет на ужин. А сослужившую свою службу салфетку потихоньку водворил в комод.

Почти полвека спустя, в семидесятые годы, погожим весенним днем где-то в половине пятого я вышел из студенческого городка Сити-колледж, где читал лекцию, и обнаружил, что одиноко бреду по Конвент-авеню. У этого крутого подъема когда-то закончился мой велосипедный пробег. После лекции студенты-актеры показали несколько отрывков из моих пьес, приятно удивив прекрасным исполнением сцены из «Вида с моста», где Эдди играл кореец, Беатрис — еврейка, Марко — неф, а его брата Родольфо — китаец. Их безыскусная игра захватила меня, и, погруженный в свои мысли, я все дальше уходил от построенного в псевдотюдоровском стиле студенческого городка, где в 1932-м в течение двух недель безуспешно посещал занятия в вечерней школе, пока не бросил, потому что не мог высидеть после восьмичасового рабочего дня на складе автозапчастей. Единственное сохранившееся воспоминание о колледже — как я однажды заснул на лекции по химии, а потом еще раз, стоя с открытым справочником в руках в битком набитом читальном зале. Все места в огромной библиотеке были заняты, даже на широком подоконнике не пристроишься конспектировать, тем более что я приходил одним из последних и даже не мог пробраться туда. Время близилось к полуночи, а я крутился с шести утра: час двадцать с пересадкой на работу, сначала на троллейбусе, потом на метро — от Бруклина до перекрестка 63-й улицы и Десятой авеню, где в один прекрасный день вырос Линкольн-центр, — и вдобавок ко всему вечером в библиотеке в Гарлеме еще надо что-то зубрить о Версальском договоре. Я вернул библиотекарю книгу и шагнул в темноту, бесповоротно решив, что это не для меня.

И вот я снова вышел из дверей Сити-колледжа, на этот раз с удовольствием вспоминая игру студентов и любуясь на эту неизменно поражающую необычностью застройки часть города.

Дойдя до перекрестка, я оглянулся в поисках такси. Широкие улицы были на удивление пустынны, машин не видно, кроме одной или двух. Взглянув на ясное, безоблачное небо, я краем глаза заметил, что из окон близлежащих домов за мной настороженно наблюдают несколько человек, все без исключения чернокожие. Возбужденно обсуждая что-то между собой, навстречу шли четверо или пятеро молодых негров, лет двадцати, не более. Заметив меня, они умолкли, выразив удивление, и расступились, чтобы дать мне дорогу. Оглянувшись, я увидел, что они смотрят вслед. Что бы это значило? Почему я вызвал у них такое любопытство? Со стороны колледжа меня нагнали две негритянки средних лет. Хорошо одетые, подтянутые, они улыбнулись, поравнявшись со мной.

— Вы ищете метро?

— Нет, хочу поймать такси.

— Такси? Здесь? Ну что вы, тут их не сыщешь.

Оказалось, они сотрудницы учебной части колледжа, только что прослушали мою лекцию и видели сыгранные студентами отрывки. До этого они долго разыскивали мои документы в архиве за 1932 год и, смеясь, доложили, что я успел нахватать самых низких оценок по всем предметам, которые весьма условно посещал в те две недели. Мы разговорились, однако я заметил, что улыбаются они как-то неестественно — чувствовалось, им неуютно беседовать со мною на перекрестке, и после нескольких фраз одна из них предложила проводить меня до метро в нескольких кварталах отсюда. Дородные негритянки всегда проявляли ко мне особое расположение. Я не без смущения поблагодарил, подумав, случись что, им придется защищать меня, поскольку они были покрепче — полные женщины, типичные представительницы среднего класса.

— Весьма признателен, но я, пожалуй, все-таки еще подожду, — ответил я.

Уходя, они не могли скрыть своего беспокойства. Оставшись на перекрестке, я поднял глаза — черные в окнах продолжали сосредоточенно наблюдать, когда же прикончат этого цыпленка. Я почувствовал, как цепко держат меня воспоминания о тех далеких днях, когда я мальчишкой, пыхтя, штурмовал на велосипеде эти подъемы и спуски. От фасадов домов с лепниной на карнизах и в проемах между окнами на меня все еще веяло буржуазной респектабельностью (некоторые из них напоминали фешенебельный, но безликий Шестнадцатый округ Парижа). Я не мог понять, почему теперь, как и тогда, не хочу взглянуть на вещи трезво и бежать отсюда без оглядки. Я чувствовал себя на этой улице Гарлема как дома. Мои духовные корни, если они

существуют, уходили глубоко под эти тротуары, а фасады все еще излучали согревающее душу тепло. Разве я мог бежать, словно посторонний или пришелец? Прошло не меньше четверти часа, пока я решил, что стоит, пожалуй, вернуться в колледж и заказать такси, потому что солнце уже садилось. Только теперь стало понятно, что женщины не просто предлагали проводить до метро, но хотели, чтобы я добрался с ними до центра, поскольку одному здесь путешествовать было небезопасно.

Неожиданно за три квартала показалось нечто отдаленно напоминающее такси. Машина медленно ползла в мою сторону. Она была непривычного для Нью-Йорка коричневого цвета с белой полосой. О том, что это такси, я догадался по остаткам разбитого фонаря на крыше автомобиля. Когда машина подъехала, я заметил, что боковое стекло треснуло, бамперы прикручены проволокой, а у радиатора отсутствует решетка. За рулем сидел чернокожий. Автомобиль притормозил, пассажир на заднем сиденье расплатился и открыл дверцу — передо мной возникла одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо видел. Она выпрямилась, придерживая рукой хозяйственную сумку, мы обменялись взглядами. «Манекенщица», — подумал я. Шоколадного цвета кожа, ровный ряд зубов, умный взгляд, норковая шапочка, бежевое пальто — от ее немыслимой женственности захватывало дух. Я был сражен сразу и навсегда.

Слегка приподняв брови, она насмешливо спросила:

— Вы хотите сесть в *это* такси?

Я рассмеялся:

— Если оно меня повезет.

— А! Ну о чем разговор. — И она пошла волнующей походкой на таких тоненьких шпильках, каких я не видел с конца пятидесятых годов.

Я нагнулся к шоферу, щуплому бородачу лет тридцати пяти. Он подсчитывал выручку и едва взглянул на меня, так ему не хотелось вступать в разговор.

— Вы не подбросите до центра?

— Почему я должен ехать в центр?

— А почему нет?

Спрятав деньги, он посмотрел на меня:

— Куда вам в центре?

— Куда… — я быстро соображал, — не подбросите до Девяностой шестой?

Я догадался, что машина не зарегистрирована и он ездит без прав и без технического талона.

— Могу, только это невыгодно. Обратно никого не найду.

Я давно знал, что 96-я разделяет два разных мира, но сейчас

это вылетело из головы — мне отчаянно не хотелось признавать очевидность демаркационной линии.

— Я заплачу вдвойне, чтобы вам было не накладно.

Он задумался, уставившись в ветровое стекло, затем кивнул. Я открыл дверцу. Сиденье лежало на полу машины, отдельно от спинки. Я постарался приладить его, но все равно сидеть было низко и неудобно. Из-под обивки торчала резиновая прокладка, как будто ее клевали цыплята. На одной дверце не было ручек. Мы медленно тронулись в сторону центра. Я был счастлив.

— Ну и машина, — сказал я.

— Машина! Это не машина, а история. — Его замечание оказалось тоньше, чем я предполагал. — Как вы здесь очутились? — неожиданно спросил он с ноткой недоумения в голосе.

У него была странного цвета кожа с каким-то сероватым налетом. Казалось, он смертельно устал. Мое внимание привлекли длинные тонкие пальцы с желтоватыми, плоскими, овальными, безупречно чистыми ногтями. На нем были два вывязанных спереди крупным рисунком свитера, и он вел машину, вцепившись обеими руками в руль, будто боялся, что она в любой момент может выйти из повиновения.

— Читал лекцию в колледже, — объяснил я.

Мы молча проехали квартал. Он опять спросил:

— О чем?

— О театре. Я пишу пьесы.

Миновали еще квартал.

— А в Колумбийском университете не читали?

— Читал, но только несколько лет назад. А что?

Мы проехали молча еще квартал, прежде чем он разговорился.

— Я преподавал там социологию.

Разве я был не прав, что не спешил убежать отсюда?

— Правительство закрыло нашу программу, так что теперь я вожу такси.

— И как, хватает на жизнь?

— Так, чтобы сразу не умереть.

— А что у вас была за программа?

— Я изучал положение эфиопов в Нью-Йорке, я сам эфиоп.

— Родились там?

— Да. Но живу здесь. Я военнообязанный, и, как только сойду с самолета, меня сразу заберут в армию.

— Сколько вы так протянете?

— В том-то и дело, что не знаю. Едва свожу концы с концами. Но не хочу попасть на эту бессмысленную бойню.

— Из-за чего сыр-бор? Я не очень-то слежу за газетами.

— Всё военные, они любят разные заварушки, во время войны им и деньги и почет. — У него был негромкий приятный голос, напоминавший морской ветерок.

Когда мы доехали до 96-й улицы, он предложил отвезти меня до 93-й, к гостинице «Челси», и мы выпили с ним пива в баре по соседству. Я спросил, насколько безрассудно было с моей стороны стоять одному на перекрестке. У него были серые глаза и худое лицо аскета. Он посмотрел на пиво, потом на меня, пожал плечами и молча покачал головой, будучи, как и я, озадачен своим нежеланием смириться с необходимостью отказа от глубоко укоренившейся в нем веры. Возможно, тайна человека состоит именно в том, что он опутан множеством клановых и расовых предрассудков, которые в какой-то момент, бросив вызов разуму, могут обрести силу, способную разрушить мир.

Вскоре после этого мы с моей женой Ингой решили вечером после спектакля пройтись пешком от Уэст-Фортиз, где располагаются театры, до нашей гостиницы «Челси». За 42-й улицей жизнь в этот час замирает, южнее 34-й около полуночи нет ни души, на Седьмой авеню едва встретишь машину, чуть дальше, в районе дорогих меховых магазинов, пустынно. Если бы не автофургон, развозящий почту, или случайное такси, на этой широкой магистрали, которая днем запружена потоком машин, можно было бы спокойно разбить палатку. Мы шли, обсуждая спектакль, когда на углу 27-й улицы я заметил компанию из трех-четырех молодых ребят. За полквартала донесся взрыв смеха, в котором мне почудился пьяный отголосок. Я прижал Ингу к себе, и мы прошли. Это были чернокожие парни лет двадцати. Беглый взгляд успокоил: они были коротко подстрижены, да и примолкли, когда мы обгоняли их. Не замедляя шага, я на всякий случай оглянулся по сторонам: а что, если придется искать подмогу? Вокруг не было ни души, только темный пустынный бульвар. Я не испытывал страха, только странную внутреннюю опустошенность, как будто жизнь во мне замерла. Наверное, чтобы ощутить страх, надо было пережить чувство ненависти. Но его не было, как не было никаких чувств вообще. В этот момент я услышал за спиной шаги. Несколько человек тяжело бежали по тротуару, быстро нагоняя нас. Я подтолкнул Ингу к проезжей части с расчетом увлечь их на середину улицы, чтобы они не смогли затолкать нас в какой-нибудь подъезд.

Кто-то низким голосом закричал:

— Господин Миллер, господин Миллер!

Я недоверчиво оглянулся и увидел четырех черных парней, которые бежали, наперебой выкрикивая мое имя. До чего приятно

быть знаменитым! Они остановились как вкопанные, едва переводя дух.

— Скажите, вы не господин Миллер?

— Он самый.

— Что я говорил, — торжествующе воскликнул один из них и, обернувшись ко мне, сказал: — Это я вас узнал.

— Признаться, вы меня немного напугали, ребята.

Мы дружно рассмеялись, и тот, кто узнал меня, пожал мне руку:

— Знаете, я без ума от вашей музыки.

Что прикажете отвечать?

— Вы учитесь в колледже? — спросил я.

— Мы студенты Нью-Йоркского университета.

— Вы ошиблись, я не тот Миллер, который вам нужен. Вы думаете, я знаменитый джазист Глен Миллер — он давно умер. А я — писатель.

Последовали смущенные извинения: они проходили мои пьесы по программе и теперь любезно пытались сделать вид, что относятся ко мне с тем же энтузиазмом, как если бы я играл на тромбоне. Чтобы покончить с недоразумением, мы пожали руки, подтвердив, что относимся друг к другу со взаимным уважением, и, помахав на прощание, облегченно расстались.

Радость быстро уступила место самодовольству, будто воистину мой талант, а не случайность спасла нас от напасти, — это было смешно. Я подумал, почему не испугался, хотя, услышав за спиной шаги, должен был испытать страх. Неужели я не способен переживать разные состояния? А может быть, ситуация в городе не так плоха, как ее преподносят?

Мои воспоминания о Гарлеме, наверное, действительно были излишне эмоциональными. Даже во сне черные являлись мне страждущими и обездоленными, хотя порою в них ощущалась какая-то угроза. В шестидесятые годы мне как-то приснился сон. В кафе за столиком, склонясь над рюмкой вина, сидел чернокожий: соломенная шляпа скрывала от меня его лицо. Я парил где-то наверху, но, приблизившись, увидел, что сбоку в шляпе дыра и он следит за мною странным взглядом, в котором нет ни угрозы, ни дружелюбия, но пугающее безразличие, которое можно истолковать как угодно. Эти глаза где-то сбоку на голове то ли были символом тайного осуждения моих возвышенных порывов, то ли выражали благоволение, то ли то и другое вместе.

Странное место Гарлем, однако он тоже был полон жизни и больших надежд. Когда опускались теплые сумерки, мы с Сидом Фрэнксом, бывало, устраивались у окна и выпускали из банки

светлячков, наблюдая, как они летят вниз с шестого этажа, пересекая 110-ю улицу и исчезая в парке. В зимнюю пору, сидя у тех же окон, мы с нетерпением ждали, когда над эллингом взлетит красный круглый флаг, означающий, что озеро замерзло; тогда мы быстро спускались на лифте и с гиканьем неслись через улицу, чтобы, усевшись на берегу, поскорее прикрутить коньки, которые все время спадали. Это был тот Гарлем, где к востоку от 111-й улицы располагался велосипедный магазинчик Джо Ога, с которым у меня связаны особые воспоминания. Когда моему кузену Ричарду исполнилось четырнадцать лет, он облюбовал его, чтобы щеголять, разгуливая с торчавшим из нагрудного кармана презервативом, первым приспособлением подобного рода, поразившим и восхитившим меня своими размерами. Это был тот самый Ричард, который спал с матерью, поскольку у него была начальная форма туберкулеза; их связь так и осталась для меня загадкой. Вдобавок к этому он обожал велосипеды и напросился в помощники к Джо; в свои семь лет я тоже любил кататься и от одной мысли об этом уже испытывал удовольствие. Разгадка пришла во сне тридцать лет спустя: я увидел перевернутый велосипед, где на зубчатом колесе под цепью красовались три отверстия, а ниже, как реклама над входом в театр, вспыхивали буквы: «у-б-и-й-с-т-в-о». В этот период у меня трудно складывались отношения с женщинами, а треугольная рама олицетворяла женское начало.

Однако из всех походов к Джо наиболее ярко запомнился один, имевший действительно трагическую связь с женским полом. Бабушке, обожаемой маминой маме, ампутировали из-за диабета ногу. Надо было срочно что-то придумать, чтобы простыня не касалась раны. Я подумал, что можно использовать заднее крыло от велосипеда, и с маминого согласия отправился к Джо, чтобы снять его. Джо был другом нашей семьи, его сестру Сильвию, которая еще училась в школе, мама наняла помогать по хозяйству. Она ходила с нами в музей, не давала капризничать, сидела с моей маленькой сестренкой, наметывала швы, которые мама потом прострачивала, восхищалась тем, как я пою, бегала в школу за забытыми мною учебниками и была превосходным слушателем, когда, вернувшись с прогулки, надо было поделиться с кем-нибудь какой-нибудь невероятной историей.

Симпатичный невысокий сухопарый Джо с вечно недокуренной сигаретой, прищурив глаз, отворачивал крыло, а мой двоюродный брат Ричард держал велосипед. Несмотря на ответственный момент, я не мог оторвать взгляд от торчавшего из его кармана презерватива. В будущем Ричард стал солидным бизнесменом, а тогда не пользовался никаким уважением: с

кошачьей ухмылкой, благодушный и довольный, он сыпал сальными шуточками, которые веселили Джо, а меня только вгоняли в краску. Задолго до Депрессии он постоянно пребывал в депрессии. Зажав под мышкой крыло, я сел на велосипед, а он, стоя в проеме дверей, крикнул вдогонку: «Смотри аккуратней! Не прищеми себе пипочку!» Это было не напутствие, а кощунство, особенно если учесть, что я ехал к умирающей бабушке и вез приспособление, которое должно было продлить ей жизнь. Вернувшись домой, я тихо постучался и аккуратно толкнул коричневую, красного дерева дверь. Однако по растерянному взгляду мамы понял, что она обо всем забыла. В гостиной на меня с недоумением воззрились с полдюжины расстроенных родственников. Мое присутствие тяготило, и я ушел, оставив конструкцию около двери. Бабушка Барнет умерла через несколько дней, а я так и не попросил крыло обратно, как-то язык не повернулся. Хотя оно, похоже, так и не пригодилось — печальный опыт, полезный на будущее, когда многое из того, что я создавал, не находило отклика.

Первый фильм, который мне довелось увидеть, произвел неизгладимое впечатление и еще больше запутал представление о реальности. Однажды вечером на крыше нашего дома возник самодельный театр — несколько длинных скамеек, раскладные стулья, большая простыня. Я еще не ходил в школу и был так мал, что едва доставал отцу до кармана, из которого он, к моему вящему любопытству, извлек мелочь, чтобы расплатиться за вход. Воздух был напоен ароматами, и, так как я никогда не был на крыше ночью, это поразило меня. (Интересно, как они уговорили Микуша, чтобы он разрешил топтать свой драгоценный гудрон?) На простыню неожиданно упал свет, и там задвигались большие люди, которые, смеясь, бегали друг за другом и обливались водой. Промокшие, они обернулись к нам лицом и, выйдя за край простыни, исчезли. Потом какая-то женщина начала плакать и вдруг рассмеялась, когда в комнату вошел симпатичный мужчина.

Тут свет погас — все представление заняло не более десяти минут. Я спросил у отца, кто эти люди. Он, конечно, не знал. Я схватил его за руку и потащил вперед, в обход скамеек, навстречу немногочисленным зрителям, которые поднялись с мест. Мы подошли к простыне. Почему там было так подозрительно тихо? Не выпуская руки отца, я заглянул за занавеску, ожидая увидеть красочное продолжение яркой и странной жизни, комнату, где только что все происходило на моих глазах. Вместо этого я увидел торчавшие трубы и ночное небо с обычными звездами.

«Куда подевались люди?» — снова спросил я отца. Он недоуменно покачал головой и тихо засмеялся. Я рассердился, но не оттого, что он ничего не знал, а потому, что отнесся несерьезно к тому, что меня занимало. Если бы на его месте оказалась мама, она бы обязательно придумала объяснение, тем самым хотя бы выказав уважение к моему вопросу.

Через три года я пережил новое потрясение, когда в «Шуберт-театр» на Ленокс-авеню увидел, как поднимается занавес. Сцена изображала палубу вздымавшегося и низвергавшегося в морскую пучину корабля, внутри которого вели диалог живые люди. По субботам я уже ходил днем в кино и смотрел короткие комедии с Чаплином, толстяком Арбаклом, многосерийные фильмы с Перл Уайт, где в финале всегда происходило что-нибудь ужасное: то ее голова оказывалась в дюйме от циркулярной пилы, то ее, связанную, бросали на рельсы под колеса летящего паровоза, то она в лодке балансировала у края водопада. Я еще застал великих ковбоев: Уильяма Харта, своим неподвижным вытянутым лицом со впалыми щеками напоминавшего собственную лошадь, а позже Уильяма Бойда и Тома Микса, всегда жизнерадостных и готовых прийти на помощь всем, кроме индейцев, конечно. Но в кино все было проще, чем в театре, — стоило понять, как оно устроено, и интерес пропадал, чего не скажешь, когда действие разворачивалось прямо перед тобой на сцене. Палуба корабля в «Шуберт-театр» вздымалась и опускалась, люди карабкались по лестнице вверх и исчезали в люке — откуда они берутся и куда пропадают? Ну конечно, приходят прямо со 115-й улицы в Гарлеме и уходят туда же — в этом была особая прелесть.

Так я узнал, что существуют две разные реальности, но та, что на сцене, казалась правдоподобнее. Там разворачивалась мелодрама; меня обуяло беспокойство, когда на корабле появился людоед, который хотел взорвать бомбу. Все рыскали по палубе в поисках этого щуплого темнокожего существа в травяной юбке с двумя вплетенными в волосы костями, а он появлялся своей мягкой, вкрадчивой походкой всякий раз, стоило белым уйти. Его искали за мачтами, в ящиках, залезали на якорные веретена, а публика видела, что он сидит в бочке, куда только что спрыгнул, успев задвинуть крышку. Зал неистовствовал: «Он в бочке!» — но на корабле никто не слышал. Вот досада! Бомба вот-вот взорвется, и я, вцепившись в мамину руку, с тревогой оглянулся: убедиться, что все это невсамделишное. Каннибала в конце пьесы поймали, и мы, спасенные, с облегчением вышли с мамой на залитую солнцем Ленокс-авеню.

В роли злодеев на сцене выступали не только негры, но и азиаты. Время от времени пресса Херста раздувала кампанию

против «желтой угрозы». В доказательство, что китайцы кровожадны, коварны и, как стало ясно из одного назидательного водевиля о наркотиках, падки до белых женщин, репортеры ссылались на «войны» между тонгами в китайском квартале. Передовицы пестрели огромными заголовками: «Тонги воюют». Тут же были рисунки, где китайцы рубили друг другу головы и победно вздымали их за косицы вверх. Одно было непонятно, зачем люди вообще ходят в китайский квартал? Я приставал к родителям с расспросами, но они предпочитали отмалчиваться, сами едва ли понимая, что речь шла о борьбе родственных кланов. В китайском квартале, как и по всей Америке, существовали группировки враждующих между собой рэкетиров, что крайне меня бы воодушевило, узнай я об этом.

Большой популярностью пользовались дневные шоу по субботам. Сначала шли акробатические номера, которые исполнялись целыми семьями: китайцы вращали тарелки или перебрасывали по воздуху детей. Все это, однако, приедалось, особенно когда смотришь больше двадцати раз. Вторым номером было выступление колоратурного сопрано в сопровождении рояля, нечто вроде похода к зубному врачу. Как только на сцену выкатывали инструмент, в зале поднимался детский ропот, малыши начинали тузить друг друга и ползать между креслами. Исполнялась, как правило, «Последняя роза лета», причем певицы, как на подбор, были с высоким бюстом и привычкой манерно складывать руки на большом животе. Я постепенно стал воспринимать это по-пуритански, как своего рода наказание во искупление двухчасового, ничем иным не омрачаемого удовольствия.

В шоу принимали участие юмористы и певцы Эдди Кантор, Джордж Бернс, Эл Джолсон, Джордж Джессел, негритянские чечеточники Бак, Балз и Билл Робинсон по прозвищу Куплетист, конферансье вроде Клейтона, Джексона или Дюранта, которых мой отец просто-таки обожал. Он был знатоком и так часто посещал их представления во время поездок, что мог рассказать обо всех новшествах. Отец хорошо свистел и порой неделями, расхаживая по дому, насвистывал какой-нибудь полюбившийся мотив. Высшей похвалой у него было: «Ну отхватил, я те скажу», в противном случае он говорил: «Суховато». Его суждения отличались точностью, а диапазон был весьма широк. Трудно было предположить, что отец может высидеть час на Шекспире, но однажды, когда мои пьесы уже шли, выяснилось, что он все-таки видел шекспировский спектакль в еврейском театре на Среднем Западе. Названия отец не помнил, знал только, что в заглавной роли выступал великий Джекоб Эдлер.

«Он, кажется, короля играл. Знаешь, это какая-то очень давняя история. У него было три или четыре дочки, нет, кажется, все-таки три, а может, четыре. Он роздал им все деньги и решил, что та, которая его больше всех любит, его не любит. Ну и сходит с ума, просит расстегнуть пуговицу, срывает с себя все и так и стоит под дождем — такая вот была история. Но этот Эдлер, ну отхватил, я те скажу, вот был актер. Я на него, наверное, больше сорока раз ходил, пока он несколько лет с этим спектаклем ездил. Приду обычно заранее в театр и спрашиваю, когда у них последняя сцена, потому что лучше, чем когда он стоит под дождем, ничего не было. Он так рыдал, что на него смотреть было больно».

Отец глубоко переживал каждый спектакль, и если уж любил Джекоба Эдлера, то Монти Вулли, тонкого комедийного актера с бородкой, чьим лучшим фильмом был «Человек, который пришел на обед», в буквальном смысле не выносил. В годы Депрессии и в сороковые кино было дешевым бальзамом для утоления печалей: они с матерью наскребали двадцать пять — пятьдесят центов и шли покупать билеты в кинотеатр по соседству. Если на экране появлялся Вулли, отец не мог усидеть и, к вящему недоумению мамы, начинал пересаживаться с места на место по всему залу, желая найти такое положение, в котором актер бы его так не раздражал. Что такое кино, он не понял не только тогда на крыше, он не понял этого никогда. Был какой-то рок в том, что, когда я впервые познакомился с Мэрилин, задолго до нашей свадьбы, она снималась в эпизоде в фильме, где заглавную роль исполнял Монти Вулли.

Однажды во время представления в «Регент-театр» на углу 116-й улицы и Седьмой авеню программа была неожиданно прервана. Акробаты закончили свое выступление, и сопрано, ужавшись, сократило программу, прекратив нас тиранить, когда перед занавесом возник человек в цивильном костюме — администратор театра — и возвестил, что нам предстоит стать «свидетелями» необыкновенной истории. Он скороговоркой выпалил, что весь спектакль — предостережение молодежи, а также взрослым о вреде наркотиков. Пообещав, что мы увидим поучительную и захватывающую пьесу, он исчез. Занавес поднялся — на сцене был «притон» в китайском квартале. Глупые белые люди из приличных семей тайком приходили сюда, чтобы накуриться опиума и попасть в «страну сновидений». У задника стояли двухэтажные нары, которые, будь постели заправлены, очень бы смахивали на летний скаутский лагерь. Два китайца с длинными косичками, в костюмах с широкими рукавами, в черных туфлях-лодочках набивали опиумом трубки и предлагали

их каждому, кто входил. Те тут же ложились на нары, едва обменявшись словом с этими проходимцами.

Вдруг на сцене появилась красивая молодая женщина в белоснежном вечернем туалете с двумя обаятельными белокурыми молодыми людьми в белых смокингах и соломенных канотье. Они пришли развлечься в китайском квартале. Один из них, тот, кто понахальнее, раскурил трубку, сел на край нар и смешно завалился на спину, хихикая, будто с первой затяжки попал в «страну сновидений». Китайцы быстро справились со вторым, пытавшимся проявить больше благоразумия, и тут даже мне стало понятно, что, потеряв двух спутников, героиня осталась беззащитной в руках двух гнусных бандитов. Так все и произошло. Ей дали трубку. Она пребывала в сомнении. Мне стоило больших усилий, чтобы не рвануться на сцену и не выбить эту скверную вещь у нее из рук. Трудно было представить, что с такой красивой девушкой может что-нибудь случиться. Но она сделала затяжку, ее веки отяжелели. Еще одна затяжка, и она неуверенно направилась к нарам. Китайцы подсадили ее и начали возбужденно обсуждать что-то на непонятном языке. У края сцены снова появился администратор и пояснил: «Они хотят продать ее в рабство, отправив на корабле в Сингапур, в дом сомнительной репутации». Я был в полном отчаянии, тем более что администратор не предпринял никаких шагов, чтобы спасти ее. Это явно не входило в его намерения. Он повернулся и вышел.

В этот момент один из китайцев полез к ней на нары. По залу пронесся ропот негодования. Сцену залил мертвенно-зеленоватый свет. Зачем, ну зачем ей понадобилось идти в какой-то китайский квартал? Она ведь могла благополучно остаться дома на какой-нибудь Парк-авеню, где уютно и безопасно! Китаец закинул на нары ногу. А-а, она все-таки не спит. Хотя и сильно одурманена, но сопротивляется, правда, очень слабо, бедняжка. Второй китаец бросился, чтобы схватить ее за руки. Завязалась борьба. Несчастная девушка только стонала. А оба ее приятеля-идиота не подавали никаких признаков жизни. Как я их ненавидел! Вдруг за сценой послышались возмущенные крики, шум, гвалт, и появился энергичный пожилой господин с двумя полицейскими. Это был ее отец! Состоятельный, опрятный белый американец, полный искреннего негодования, он с помощью двух человек в синей форме накостылял косоглазым и выволок их за шиворот вон со сцены. Сильно тряханув обоих приятелей, он разбудил и пристыдил их, дав наказ никогда-никогда, ни за что в жизни не притрагиваться к наркотикам. И вышел, поддерживая облокотившуюся на его крепкую руку притихшую благодарную дочь. Мертвенно-зеленоватый свет сменился на обнадеживающие

розовые тона. Слава Богу, все кончилось благополучно. Я, конечно, извлек для себя урок. И долго не подозревал, что именно англичане заставили китайское правительство снять запрет на вывоз опиума из Индии, тем самым развязав опиумные войны, ибо именно Китай ставил целью охранить белого человека, хотя это и не удалось. Принадлежа к белому меньшинству, мы с мамой были, однако, далеки от столь будоражащих переживаний, когда, довольные, шли по Ленокс-авеню домой на 110-ю улицу.

Одной из особенностей Нью-Йорка в те времена — как, впрочем, и теперь — была глубокая обособленность жизни разных групп населения. Этот город подобен джунглям, испещренным хитросплетениями троп, по каждой из которых ходит особый вид людей только к своим насиженным местам и гнездам. Кроме школьных учителей и Микуша, мы не общались ни с кем из людей нееврейской национальности, причем процветание нашей семьи усугубляло ее обособленность внутри некоего магического крута. Только богатое воображение матери с ее тягой к чтению да деловые поездки отца служили источником новостей о другой жизни, центром которой были неевреи. Возможно, именно отказ отца безоговорочно приписывать все высшие природные добродетели евреям, а неевреям — обязательный антисемитизм породил во мне если не веру, то упование на существование общечеловеческих ценностей. Когда дело доходило до этнических особенностей, отец был одновременно и правоверен, и весьма скептичен. Противоречия между семейными добродетелями и сексуальными влечениями, между идеализмом и умением извлечь выгоду отец во время поездок наблюдал не только у евреев, но и у неевреев тоже, с которыми легко сходился, будучи светловолос и голубоглаз.

Двадцатые годы, на которые пришелся расцвет его карьеры, были периодом подъема ку-клукс-клана. Ряды этой организации быстро росли, и там, где не хватало черных, мишенью становились евреи. По тем временам расизм и фанатизм считались чем-то естественным, а то и похвальным, граничили с патриотизмом и чувством гордости за своих предков. Если кто и мечтал тогда о переплавке в американском многонациональном котле, то это была наша семья в двадцатые годы: скоро я уже ни о чем не думал, кроме поступления в Уэст-Пойнт. В заветных мечтах я видел себя Фрэнком Мериуэллом или Томом Свифтом — достойными подражания образцами атлетической мощи и воинской отваги, а не чахлым толкователем Талмуда. Как показало время, не желая расставаться с иллюзиями, мы строили

крепость на песке. Она рухнула, испытав два сокрушительных удара — Депрессию и развязанную Гитлером войну. И дело было не только в евреях, недооценивших реальную картину мира, но в том, что не оправдали себя священные принципы демократии с ее установкой на совершенствование нравов и обостренное восприятие несправедливости. В начале сороковых мир узнал, что немцы преследуют евреев en masse[5], а в 1942-м стало известно, что их сжигают, но антисемитизм в американском государственном департаменте и британском форин-оффис был столь силен, что даже официальные иммиграционные квоты, которые при всей их мизерности все же могли стать спасением для нескольких тысяч евреев, никогда полностью не использовались. Точно так же, как во время воздушных налетов никогда не бомбили железные дороги в лагеря смерти. И американская еврейская общественность, боясь взрыва антисемитизма и враждебности по отношению ко всем иностранцам сразу, не настаивала, чтобы для спасения беженцев были приняты все необходимые меры. Если так печально обстояли дела в 1942-м, когда Демократия открыто поднялась на борьбу с Нацизмом, самым страшным злом которого был расизм, то каково же было истинное положение дел в конце двадцатых, когда по всей стране триумфально шествовали отряды ку-клукс-клана. А я тем временем мечтал выступать в финальном розыгрыше кубка по бейсболу за Йельский университет или сражаться с Томом Свифтом против немцев на нашей мальчишеской субмарине образца первой мировой войны. Я уже говорил, что уход от действительности, отказ от нее не является прерогативой евреев, поэтому, возможно, именно в Америке одной из насущных потребностей писательского сердца является стремление приподнять завесу над тем, что было скрыто и отрицалось.

С побегов в Гарлем, похоже, началось мое осознание себя, подстегиваемое мальчишеским честолюбием. От 110-й до 145-й улицы я все уже знал, но стоило свернуть за угол, как новые впечатления мгновенно вытесняли старые. Казалось, мчишься с чувством томительного одиночества, от которого недалеко до мятежа, навстречу будущему, втайне приближая начало путешествия к самому себе длиной в целую жизнь. Много позже мне приснился сон: я увидел медленно бредущую процессию родственников, застывших в мольбе с возведенными к небу очами, под предводительством подростка, в котором с изумлением узнал себя, — я тут же исчез, но никто не обратил на это внимания. Едва ли не с молоком матери я усвоил, что Моисей, отправляясь на гору за Законом Божьим, не взял с собой

ни брата, ни жен своих, ни старейшин. Так и я, вытягиваясь на ковре с детской энциклопедией «Книга знаний» и созерцая гравюру с портретом Диккенса, окруженную виньетками с изображением Оливера Твиста, мистера Пиквика, Крошки Доррит и десятка других персонажей, в одиночестве переживал чудо их неожиданного рождения в моей голове. Придет время, и я восстану против абсолютного величия героя-автора, против культа его независимости, а пока все мои силы направлены на то, чтобы самому попытаться стать им.

Если бы лет до тринадцати меня спросили, счастлив ли я, — конечно, никому и в голову не приходило задавать такие пустяковые вопросы ребенку, предполагалось, если он не переболел дифтерией, скарлатиной, полиомиелитом, если у него не было пневмонии и туберкулеза, он избежал заражения крови, воспаления среднего уха и других неприятностей с летальным исходом, ему повезло и, следовательно, он счастливчик, — так вот, если бы меня спросили, я бы очень удивился, что мое мнение кого-то интересует. Жизнь была нелегкой, но увлекательной, и люди в своем большинстве не унывали. Идеи прогресса витали в воздухе, хотя любое начинание пока еще требовало массы усилий. По субботам кухня утопала в облаках пара, поднимавшихся над огромными оцинкованными баками, в которых кипятилось белье. Сейди, бабушка, мама, все вместе или по очереди, то и дело помешивали кипящее белье гладко обструганной палкой. После этого тяжелые полотняные простыни надо было оттащить на чердак и развесить, а потом спустить вниз и гладить раскаленными чугунными утюгами. По пятницам мама готовила домашнюю лапшу, которую я любил развешивать на просушку на спинках высоких кухонных стульев. Затем из трех или четырех сортов рыбы делался форшмак. Пылесосов не было, поэтому ковер время от времени надо было свернуть, отнести на крышу и от души выколотить. Женщины постоянно свешивались из окон, протирая стекла, или ползали под роялем, полируя ножки. Вместо холодильника существовал разносчик льда, который поднимался в квартиру со своим ящиком, оставив на улице фургончик. Помню, он всегда приходил не вовремя: либо слишком поздно, когда масло в леднике уже растаяло, либо слишком рано, когда туда еще не помещался большой кусок льда. Негромко ругаясь по-польски, Сейди, вынужденная подтирать за ним шваброй мокрые разводы, подталкивала его к двери. Разносчики льда носили кожаные куртки и вечно ходили с мокрой сеткой через правое плечо — как только кусок льда соскальзывал в ледник, они опускали ящик на пол и не уходили, пока им не заплатят.

Люди не просто шли в магазин и покупали цыпленка — они отправлялись к мяснику, разглядывали в клетях птицу и выбирали приглянувшегося несчастливца. Запустив руки в истерично кудахтающий содом, мясник сгребал жертву за ноги, одним махом перерубал артерию и подвешивал, к вящему любопытству ребенка, чтобы ощипать. Было очень интересно, когда разрешали самому выбрать плавающую в бассейне щуку, карпа или камбалу, которые тут же поддевались сачком. Тяжелый удар по голове, блеск чешуи, взмах отсекающих хвост с плавниками ножниц, серебряный нож, вспарывающий брюхо, — все делалось столь искусно, что казалось, на этом стоит мир. Я любил, когда перед закрытием лавки меня посылали к зеленщику. Прежде чем выбрать приглянувшийся корешок, который затем измельчался в специальной машине — иногда даже давали покрутить ручку, — зеленщик обязательно бросал обратно в корзину пару-тройку увядших стебельков. Эти манипуляции — жизнь, смерть, превращение одного в другое — требовали времени, длинный белесый корешок становился кашицеобразной массой, которая источала терпкий аромат, заставляя смахивать набежавшую слезу. В бочонке плавали соленья — их выбор требовал тщательно взвешенного решения, без которого нельзя было обойтись и у прилавка с фруктами: рассчитывать на идеальный продукт не приходилось, поэтому много сил и вдохновения уходило на то, чтобы предугадать, насколько то или иное яблоко, груша или вишня могут оказаться испорченными.

Кроме электрической лампочки, ничего нельзя было включить кнопкой. Ручку фонографа надо было крутить, большинство автомобилей заводилось вручную, точно так же мололи кофе, так что у рук была масса обязанностей помимо того, чтобы отсчитывать деньги или указывать пальцем. Преобразование мира, когда работаешь руками, сродни чуду. Учась в школе, я мог месяцами украшать коробку из-под сигар американским орлом, которого копировал с заголовка газеты Херста. На фанерной крышке фонографа я кончиком гвоздя нацарапал Задиру — забавного фокстерьера с торговой марки «Виктор компани», а в шесть лет, приделав к деревянному ящику из-под мыла колеса от детской коляски, смастерил тележку, в которой можно было кататься, только рулить нечем. Несколько лет спустя в подвале нашего небольшого бруклинского дома я как-то мастерил планер, когда туда спустился отец, с детства привыкший виртуозно управлять швейной машинкой, но едва ли знавший, как открыть окно, и простодушно спросил, как я собираюсь вытащить оттуда свое сооружение. Трудно было

смириться с тем, что с небес на землю тебя спустил человек, не имеющий ни малейшего представления о принципах полета.

II

«Меня не покидает ощущение, будто я — что-то случайное», — говорит Вилли Ломен своему брату Бену. Когда в 1948-м я написал эту фразу, то улыбнулся, не подозревая, что говорю о себе, о том, каков я есть и каким всегда буду. «Здесь» и «сейчас» постоянно отступало под натиском мечты или торопливо устремлялось за нею следом. Мне должно было исполниться двадцать, чтобы я ощутил себя пятнадцатилетним, тридцать, чтобы я осознал свои двадцать лет, а теперь, в семьдесят два, я беспрестанно напоминаю себе, что мне не пятьдесят и времени впереди мало.

Впервые я ощутил себя стариком, когда мне исполнилось чуть больше двадцати и время показалось нивелирующим шлифовальным кругом. Я не боялся смерти, но боялся собственной ничтожности. И потому в 1940-м, через неделю после женитьбы, отправился на торговом судне в плавание по портам Мексиканского залива. Такой медовый месяц даже мне самому представлялся несколько странным, но в этом была своя закономерность. Мы прощались с моей женой Мэри Грейс Слеттери на корме принадлежащего «Уотер лайн компани» парохода «Копа-Копа», который должен был вот-вот отчалить от пристани Хоокен. Родители пришли проводить меня и стояли около бортика, вглядываясь в очертания Нью-Йорка. Мы с Мэри жили вместе уже около двух лет, с тех пор как окончили Мичиганский университет, хотя каждый из нас, отстаивая свою независимость, сохранял за собой отдельную комнату: я обитал в дешевых меблирашках на пересечении 74-й и Мэдисон, она — вместе с какой-то приятельницей на Бруклинских Высотах. Я подумывал, не написать ли пьесу о немцах, которые под видом геологических изысканий оборудуют в южной части Тихого океана нацистские базы. Для этого мне надо было набраться морских познаний, да к тому же меня раздирали две страсти — к строго заведенному порядку и к новым впечатлениям. Слишком многое из того, что я знал, было почерпнуто из книг, и я устремился навстречу жизни и самому себе.

Перед войной Бруклинские Высоты были тихой зеленой деревушкой, где из окон комнаты Мэри, выходивших на Пиэрпонт-стрит, было видно, как таинственно уходят в море величественные корабли. Я хотел уехать хотя бы ненадолго и обязательно один. К тому же секретарские обязанности не отпускали Мэри из издательства. Чем дольше мы стояли на раскаленной палубе, тем более странным казалось, что я вот-вот

должен отплыть, пускай всего лишь на две недели. Но Мэри верила в меня больше, чем я сам, она была на редкость цельной натурой и, приняв решение, никогда не отступала от него. Ее ясный взгляд придавал мне уверенности, и, уплывая, я любил ее больше, чем если бы тоскливо слонялся на берегу, мечтая о море. Возможно, так случается с большинством браков, но наша скорая разлука, как, впрочем, и женитьба, была своего рода отказом от бесконечных возможностей выбора, которыми, нам казалось, мы располагали. Тогда бы я ни за что не поверил, что в силу характера мы обладаем много меньшей свободой, чем нам это кажется.

В те времена на браки еврея и нееврея смотрели косо, особенно если один из них был католиком. Мэри перестала считать себя католичкой, учась в средней школе в Огайо. Я тоже стремился принадлежать всему человечеству, а не малой части его, связанной родовой порукой. Мы полагали, что тем самым освобождаемся от провинциальной узости расизма и от всего иррационального, что, на наш взгляд, воплощали повсеместно набиравшие силу фашизм и нацизм.

Мы не сомневались, что наши действия, как мысли и поступки любого человека, являлись выражением наших побуждений и в то же время были значимы для всего мира. Мы испытывали удовлетворение от внутренней цельности, которая определялась высоким просветленным представлением о грядущей социалистической эволюции планеты. Тогда это было возможно: будучи исподволь сопричастными неизбежной победе нового, справедливого миропорядка, мы как будто получали право на истину в конечной инстанции, что, помимо всех прочих преимуществ, позволяло подавлять любые сомнения, бросавшие тень на социализм, а главное, на собственные побуждения и поступки.

На деле бог Разума, которому мы поклонялись, обладал той же священной непостижимой природой, которая отличает любую религию. Хотя это презиралось как суеверие, у нас был все же свой символ веры: выбор в конечном итоге всегда оставался за нами. Я даже втайне разделял милленаристские воззрения, считая, что с нашим поколением история завершит свой круг. Порой накатывало пьянящее ощущение: перед триумфом разума, как утренний туман, таяла слепая сила стереотипов и самой культуры. Иудаизм и католичество были для нас с Мэри не более чем предания минувших дней — своего рода пережитки прошлого, придуманные ради того, чтобы дать священникам власть натравливать разные народы друг на друга. Социализм символизировал разум, в то время как фашизм, апеллировавший

в лице Гитлера, Муссолини, а позже Франко к темным, атавистическим инстинктам, провоцировал низменные проявления коллективного сознания, чтобы править не с помощью разума, а войны. Разум олицетворял Советский Союз, ибо там делалось все, чтобы большинству жилось лучше. Он постоянно призывал заключить пакт о коллективной безопасности, который бы объединил усилия Запада и России против фашизма. Хотя однопартийная советская система не казалась верхом демократии, было достаточно отговорок, позволявших закрыть на все это глаза (десятилетия спустя та же история повторилась с кастровской Кубой, а в правом крыле — с диктатурами Чили, Аргентины и Турции). Все обстояло очень просто: нам надо было во что-то верить, и мы обретали веру там, где могли, в том числе в благородных иллюзиях. Действительность Америки с ее постоянно растущей армией безработных, затхлой атмосферой подавленности, разгулом расизма, потерей ценностей и, что самое страшное, отсутствием будущего для молодых была невыносима. Рузвельта едва ли можно было причислить к лику святых, но даже он пытался что-то сделать, чтобы предотвратить полное крушение. Единственное, что могло спасти мир, — это трезвый рассудок и социализм с его установкой на производство не ради прибыли, а ради всеобщей пользы.

Жара усиливалась, краска на палубе стала липкой, и нас преследовал неприятный запах стали. На прощание поцеловались; мою вину в какой-то мере искупало то, что за неделю до этого мы достойно пережили свою странную свадьбу в Огайо. Кроме того, на «Коламбии», где престижная Си-би-эс организовала серию экспериментальных постановок под руководством Нормана Корвина, у меня приняли первую радиопьесу. Это была политическая сатира под названием «Котенок и водопроводчик, который был человеком». Она должна была выйти в эфир, когда я буду в море, то есть я оставлял здесь свой голос, от этого возникало непривычное ощущение власти. И все-таки во всем сквозил скрытый оттенок бегства — я увозил его в своем чемодане.

Мы с Мэри казались себе и друзьям весьма передовыми, но свадьба обнажила, как трудно каждый из нас жил внутри. Когда мы решили пожениться, Мэри попросила, чтобы я ради ее глубоко набожной матери согласился венчаться в Огайо, хотя и не в церкви. Таким образом, церковь простирала над нами если не крыло, то одно из своих перышек. Вспомнив собственную маму, я понял желание Мэри пойти ей навстречу и согласился, чем узаконил в нашем сознании церемонию и ритуал.

Как и моя мама, миссис Слеттери, когда подчинялась общепринятым нормам, теряла самое себя. Так, эта милая, умная женщина могла не заметить, что церковь в Испании поддерживает Франко, и в то же время сокрушаться о тех несчастьях, которые повлек за собой фашистский путч. Точно так же она могла не реагировать на яростные нападки мужа в адрес организованных Рузвельтом благотворительных агентств, полагая, что они помогают людям, но находила возможным требовать признания статьи о профнепригодности. Хотя ей не было пятидесяти, она выработала особую, несколько старомодную сентиментальную манеру говорить о себе в прошедшем времени, как будто ее дни уже сочтены Господом и жизнь катится по наклонной плоскости туда, где душу упокоит вечная тьма могилы в конце земного пути. Это был глубоко подавленный человек; она не смеялась, а вскрикивала, тут же в испуге прикрывая рукой рот, в то время как другой одергивала край юбки, стараясь натянуть ее на колени. При этом она была достаточно умна и умела общаться с людьми другого вероисповедания. Кто был действительно глуп и одержим жаждой стоять поближе к власть имущим, так это господин Слеттери, городской инспектор котельных Кливленда, теперь уже пенсионер. Он получал крошечную пенсию и обожал общаться с преуспевающими состоятельными людьми, а также с теми, кто носил форму. У него были кое-какие связи в городской антисемитской немецко-американской организации, собрания которой он посещал, и, надо думать, я был для него как кость в горле — он бы никогда не допустил нашего союза, если бы не боязнь потерять дочь. Мэри же не скрывала, что мы приехали в Кливленд не для того, чтобы продемонстрировать набожность, а чтобы избежать раздора в семье. Но неожиданно выяснилось нечто такое, что повергло меня в уныние, хотя она не обратила на это особого внимания. Для того чтобы в самом скромном виде осуществить задуманное, нам надо было получить благословение из Рима.

Мы приехали в Кливленд в разгар немилосердной жары. На перроне, едва сдерживая слезы, миссис Джулия Слеттери, в хлопчатобумажном в цветочек платье, наклонилась, не сгибаясь в поясе, чтобы поцеловать дочь в щеку. Господин Мэтью Слеттери был крайне раздражен, так как у его «доджа» не открывалась задняя дверца. Обернувшись ко мне, он сказал: «Все дело, знаете ли, в профсоюзах, которые не дают своим членам работать как следует». Подобная двойственность общественной позиции смахивала на фарс и отдавала истерией. По дороге из Кливленда в пригородный Лейквуд я впервые услышал, как названия мостов, зданий, учреждений любовно сопровождаются притяжательным

местоимением: «А вот наша „Стандард ойл“, а там наше управление шоссейных дорог всего Куяогского района, а здесь наше озеро Эри. Когда мы в последний раз ездили к вам в Нью-Йорк, то проезжали по вашему мосту Джорджа Вашингтона…» Это вызывало совершенно неизвестное мне ранее ощущение отчуждения. Довоенный Средний Запад представал в своей первозданной красе — та самая Америка, к которой обращены все благочестивые политические призывы. Это был народ Адама в земле праведных, люди, которых надо было умиротворять, чтобы, очнувшись от призрачного сна, они не разнесли от возмущения залы конгресса.

В комнатах их просторного дома на тенистой улочке не было ни одного яркого пятна, кроме коричневой статуэтки распятого Христа в гостиной. На всем лежал какой-то налет, даже фрукты в вазе, казалось, сосчитаны. Выяснилось, что мы должны отложить свадьбу на неделю, до следующей пятницы, и, хотя в доме было полно кроватей, соблюдая приличия, я не мог ночевать под одной крышей со своей суженой и каждый вечер отправлялся за несколько кварталов в гостиницу, доказывая ее невинность. Самое забавное заключалось в том, что мы с Мэри уже около двух лет жили вместе, о чем ее родители, конечно, не могли не знать, но все разыгрывали свои роли. Всеобщая тяга, в том числе и моя, не быть самими собой была поразительна. Однако в этом таился секрет внутренней дисциплинированности Мэри, к чему я или по крайней мере какая-то часть во мне относились с большим уважением.

Эта жизнь была очень далека от внутреннего накала и красок еврейского быта. Каково же было мое удивление, когда я заметил глубоко скрытое сходство. За завтраком миссис Слеттери, прочитав в «Плейн дилер», что кого-то арестовали за подделку финансовых счетов собственной компании, разволновалась: «Только бы он не оказался католиком», точно так же, как это сделала бы моя мать, посетовав, как бы мошенник не оказался евреем. Впервые я понял, что католики, несмотря на веру, соборы и политические устремления, все равно меньшинство и в силу этого достаточно агрессивны. Мы с Мэри оказались ближе друг другу, чем я предполагал. И я представил, какого мужества потребовал от нее разрыв с ее окружением, ведь она была здесь совсем одна, безо всякой поддержки! Отсюда Америка казалась полотном, ровно сотканным из безропотного послушания, стиснутых зубов и изнуряющей — сутки напролет — дремы, исполненной смирения.

Вечером на парадной террасе собрались родственники: тетушки, дядюшки, кузены пришли поглазеть на первого в их

среде язычника. (Церемония, которой мы дожидались, официально именовалась «для мусульман, язычников и иудеев», решивших вступить в брак с католиками.) Кто-то засиживался на час и более, кто-то, пожав руки и кивнув головой, уходил. В общей сложности ожидалось более двадцати приглашенных, и во всех сквозило какое-то напряжение. Женщины, раскачиваясь в креслах-качалках, обмахивались веерами, мистер Слеттери сплевывал на глазах у едва сдерживавшей раздражение жены на травку табачную жвачку, а я делал вид, что не замечаю, как она каждый раз выразительно смотрит на меня. Стало чуть легче, когда приехали двоюродные брат и сестра Мэри, молодежь ее возраста, которые просто были рады ее видеть, и мы разговорились, почувствовав, что все принадлежим к одной нации.

С официальным визитом прибыл молодой приходский священник, который должен был венчать нас. Это произошло в самый неподходящий момент: дядюшка Теодор Метц, только что вышедший на пенсию начальник полиции, невысокий плотный весельчак, рассказывал, как устроил боевое крещение своему сыну Барни, новоиспеченному лейтенанту полиции и любимому двоюродному брату Мэри. Когда они учились в старших классах, она обожала быть его шкипером, и они частенько плавали на лодке по озеру Эри. Теодор приказал Барни, который был совершенный новичок, переодеться в цивильное и навести порядок в местном борделе, на который постоянно поступали жалобы, что там идет форменный грабеж. Как только он произнес название заведения, все взоры тут же обратились на меня — всем была интересна моя реакция, а дамы испустили нервный вздох, после чего наступило глубокое молчание: боясь что-нибудь упустить, все слушали Теодора Метца. В тот момент, когда Барни находился там, он послал в публичный дом наряд полиции, приказав, чтобы те, ворвавшись, обшарили каждую комнату и забрали всех, кого найдут, включая его сына, чьи негодующие протесты не убедили полицейских, будто он находится здесь при исполнении служебных обязанностей. Одобрительный гул голосов на террасе то усиливался, то замирал над тихим кварталом, в то время как отец Барни, хохоча, рассказывал, как сын пришел в ярость. «Я приказал своим ребятам, чтобы они заперли его в один фургон с девками!» О, как это было увлекательно, однако в мою сторону то и дело летели настороженные взгляды, как бы я не изменил своего мнения о семье.

В разгар веселья появился священник. Я был поражен тем, как он молод, вроде даже моложе, чем я в свои двадцать пять. При

этом стоило ему, бледному и по-юношески стройному, появиться на ступенях крыльца, пройдя по узкой тропинке сада, как воцарилась благоговейная тишина. Он поприветствовал всех присутствующих, пожал мне руку и отвернулся, чуть задержав руку Мэри в своей, затем сел. Напряженно вслушиваясь в его размеренный голос, все с озабоченным видом наклонились вперед, чтобы не пропустить ни единого слова, а когда он попытался шутить, с большим энтузиазмом засмеялись. «У меня сегодня такой длинный день» было встречено сочувствующим «а-а-а», тогда как фраза: «Жара, пришлось искупаться в озере» — вызвала взрыв одобрения его человечности и простоте. Минут через десять он пожелал всем доброй ночи и ушел, предоставив бывшему начальнику полиции возможность закончить свой рассказ про бордель.

Вечером, когда все разошлись, мы с Мэри отправились погулять. Казалось, она подавлена и удручена тем, сколь долгий срок родители установили для того, чтобы соблюсти пустые правила приличия и проявить лояльность, которой, на их взгляд, от них требовала вера. Я же теперь понимал, что они сами жертвы, люди, с которыми вполне можно по-дружески ладить. Она извинилась, что втянула меня в эту историю, но ее мать не пережила бы, если церковь в той или иной форме не благословила бы брак дочери. Духота к ночи не убывала, и мы неприятно ощущали свое малодушие от того, что продолжали играть взятые на себя роли.

Каждый день приносил какую-то неожиданность. Выяснилось, что молодой священник должен просветить нас, как строить семейную жизнь в соответствии с церковными положениями. Мэри становилась все печальней. На следующее утро она повела меня в офис к священнослужителю, где мы, не имея ни малейших намерений выполнять его советы, выслушали речь о греховности контроля над рождаемостью и о том, что церковь настаивает, чтобы мы крестили своих детей и воспитывали их католиками. Поскольку он сам был молод, то из нашего молчания все быстро понял и, торопливой скороговоркой завершив речь, спросил, нет ли вопросов. У меня действительно был серьезный вопрос. Как-то в «Нью-Йорк таймс» несколько лет назад я прочел беседу Брукса Аткинсона с фермером из Кентукки. Аткинсон спросил набожного прихожанина, как он себе представляет Дух Святой. Фермер задумался, но ответил: «Для меня это что-то вроде продолговатого расплывшегося пятна». Не знаю почему, но статья Аткинсона на какое-то время заставила меня заняться бесплодными поисками ответа на вопрос об этой загадочной сущности. Поскольку передо мной был эксперт, я, не скрывая

жадного интереса, спросил, что такое Дух Святой.

Он поджал губы и посмотрел в зарешеченное окно; в тусклом свете особенно выступали его острые, обтянутые кожей скулы. Повернувшись к нам, он отвел в сторону голубые глаза, давая понять, насколько мной недоволен. «Думаю, нам лучше закончить, а на эту тему поговорим как-нибудь в другой раз. Однако мой долг предупредить вас… — теперь он обращался только к Мэри, которая сидела рядом со мной, — подобные браки обычно недолговечны».

Мы были так ошеломлены, что не могли ни вздохнуть, ни пошевелиться. Священник встал, за руку попрощался с Мэри, холодно кивнул мне и отпустил нас, предоставив возможность выйти на свежий воздух из его офиса одним. На улице Мэри рассмеялась, как будто наконец была перерезана нить, — здоровая реакция, вновь вернувшая нас к жизни. Казалось, она распрямилась, сбросив несвойственную ей покорность. «Ничего себе, а?» — сказала она улыбаясь, будто обрела почву под ногами. И еще раз перешла Рубикон, который впервые одолела, когда ей было пятнадцать, чтобы теперь уже никогда больше не повторять этого вновь. Выпад священника доказал, что ее долг — претерпеть все из уважения к матери. Поэтому в оставшиеся до пятницы два дня надо было постараться избежать никому не нужных конфликтов.

По крайней мере мы так договорились. Целый день мистер Слеттери бесцельно возил нас по жуткой жарище, а за обедом с тонко нарезанной ветчиной, когда салфетки были убраны, неожиданно поделился опасением, что с разрешением возникла загвоздка. Возможно, свадьбу придется отложить еще на несколько дней и перенести с пятницы на понедельник. От перспективы прожить три лишних дня в такой лжи у меня в голове что-то перевернулось, и я услышал, как, обращаясь через весь стол к мистеру Слеттери, говорю, что не смогу задержаться, поскольку в понедельник с утра у меня в Нью-Йорке назначена важная встреча. Эта удачная выдумка, казалось, прибавила мне уважения за столом. Миссис Слеттери, не поднимая глаз, разглаживала салфетку. Самое удивительное, что даже мистер Слеттери согласно кивнул головой.

Вскоре стало понятно, с чем это связано. Он внес залог в двести долларов на банкет в местной гостинице, которые теперь уплывали, а по тем временам это была немалая сумма для вышедшего на пенсию государственного чиновника. Худощавый, лысый мистер Слеттери, по приезде натянуто, по-официальному принявший меня, как некую залетевшую в его дом важную птицу, теперь искал моего дружеского расположения. Выразительно

артикулируя, так что обнажались зубные протезы, он то и дело прикасался к моему локтю, заговорщицки убеждая меня хранить спокойствие. «Может быть, вы кому-нибудь позвоните?» — спросил я. Да, он собирался позвонить монсеньору, но было видно, что эта идея пришла ему в голову только что и он еще не совсем освоился с нею.

На следующее утро всех снедала за завтраком жажда деятельности. С этим настроением мы доехали до центра и поднялись на верхний этаж какого-то учреждения в деловом районе Кливленда, где около часа прождали в темной, обитой дубом приемной. Когда назвали Слеттери, он только что не подскочил, услышав свое имя, и бесшумно исчез за дверью. Через двадцать минут, уже после беседы, он, извиняясь, объяснял, что особых надежд на получение согласия нет, ибо папский нунций в Вашингтоне, от которого все зависело, отбыл на выходные играть в гольф и до него невозможно дозвониться. При этом он немного лукавил, стараясь убедить нас и себя в том, что это серьезная отговорка. По дороге в Лейквуд между отцом и дочерью в машине воцарилось напряженное молчание, из чего я понял, что ему стыдно передо мной, посторонним. Вылезая из машины около дома, я постарался избежать его смятенного ускользающего взгляда.

Мы остались с Мэри наедине, и я почувствовал, что ее тоже снедает чувство стыда и бессилия. Это состояние было невыносимо. Я пошел к телефонной книге и набрал номер, попросив соединить меня с секретарем монсеньора. Слеттери, невозмутимо взиравший на меня, стоя в нескольких футах, широко открыл глаза, услышав, что я вызываю монсеньора.

Ровный голос на другом конце ответил, что монсеньор занят. Я почувствовал, как во мне закипает раздражение. Все слилось воедино: душный поезд, в котором мы ехали из Нью-Йорка, и невкусная пища не по сезону, и мои идиотские ночевки в меблирашках, и чувство вины, которое я постоянно испытывал, глядя на распятого сородича на стене, и беспросветная забитость этих людей, и неясность в профессиональном плане, и оккупация Франции нацистами несколько недель назад, и отсутствие на свадьбе моих родных, не выразивших никакого желания приехать, — все давило невыносимым грузом. Гнев породил новую реальность, в которой я любил Мэри сильнее, чем когда она казалась стойкой и выносливой, а не ранимой и нуждающейся в поддержке, как сейчас. Я был счастлив.

— Позвольте поставить вас в известность, — как можно спокойнее начал я, — что наша свадьба состоится завтра независимо от разрешения.

— Минуточку, — произнес голос так же ровно, как только что говорил, что монсеньор занят.

Пришлось подождать, и тут я вспомнил, что церковь отделена от государства. Это было так неожиданно, хотя очевидно — тот, кто хочет, может жениться вне церкви. Предписание относилось только к верующим, но я открыл его для себя как чудо и благодать.

В трубке послышался голос мужчины, который представился монсеньором.

— Что у вас произошло?

Я объяснил, что Слеттери уже внес деньги, мы приехали из Нью-Йорка и много всего такого.

— Папский нунций уехал на уик-энд, и ему нельзя дозвониться, — обстоятельно и рассудительно произнес монсеньор.

— Ну что ж, в таком случае это будет гражданский брак.

— Она не может согласиться на это.

— Тогда нельзя ли дать телеграмму в Вашингтон? Для семьи это очень важно.

— Дорогой сэр, католическая церковь исполняет свои обязанности почти две тысячи лет — я полагаю, вам не удастся изменить порядки до завтра.

— Я не пытаюсь ничего менять.

— Тогда лучше смириться и отложить все до понедельника.

— Свадьба состоится завтра, сэр. Если вы желаете, чтобы у нас было разрешение, оно должно успеть до начала церемонии.

Молчание.

— Я еще раз все уточню, но думаю, что изменить ничего не удастся.

— Ну что же, я вам признателен.

Слеттери от восторга смачно сплюнул в плевательницу, миссис Слеттери, забыв о былой слабости, резво отправилась на кухню сделать бодрящего холодного чаю со льдом. Все хотели доподлинно знать, что говорил монсеньор, и мне пришлось несколько раз пересказать нашу беседу. Зазвонил телефон. С момента переговоров не прошло и часа. Слеттери поднял трубку, и его маленькие голубые глаза округлились. Прикрыв трубку рукой, он прошептал, что на проводе молодой приходский священник, отвечая которому, только успевал бормотать: «Спасибо, падре. Да. Спасибо. Да. Спасибо. Да. Спасибо». Разрешение должно было прийти завтра до начала свадьбы. Странно, но то, что мне пришлось отвоевывать Мэри таким путем, рассеяло последние сомнения, что мы созданы друг для друга.

Убедить в этом миссис Слеттери оказалось намного сложнее.

На следующий день во время церемонии, которую отправлял бледный священник, у нее в руках лопнули четки, и бусинки разлетелись по полированному полу. Все начали собирать их, а священник с трудом произносил заготовленную речь. Она виновато взглянула на меня, в ужасе от того, что собственными руками свершила некий бессознательный символический акт, наложивший на все тягостный отпечаток.

К обеду настроение улучшилось. По окончании утреннего приема с весьма скромным количеством виски и блюдом с бутербродами, которое передавалось на столе из рук в руки, мы отправились за город в Берна, на старую семейную ферму, где родилась и выросла миссис Слеттери. Квадратный викторианский дом приютился под вязами и старыми тополями, раскидисто нависавшими над широким двором, а дальше расстилались ровные поля со скошенным сеном, сахарной свеклой и кукурузой. Приглашенных было человек пятьдесят; в толпе шмыгали стайки ребятишек, приехало с дюжину молодых кузенов Мэри — любителей забористых шуток, другие ходили с задумчивым и печальным видом, тут же были фермеры необъятных размеров, жители маленьких провинциальных городков — все большие поклонники порции хорошо прожаренного мяса индюшки и кусочка шоколадного кекса дюймов в шесть толщиной.

В глубине веранды, вглядываясь в толпу, сидела, раскачиваясь в качалке, восьмидесятичетырехлетняя мать миссис Слеттери Нэн, цепко перебирая взором приехавших. Когда она узнавала кого-то из семейного клана, с кем давно не виделась, выражение ее лица менялось. На ней было новое голубое накрахмаленное хлопчатобумажное платье в цветочек, а на голове красовался старомодный высокий в складку чепец из того же материала с большой оборкой дюймов в десять. Когда мы приехали, Мэри тепло поцеловала ее, а она, посмотрев ей в глаза, сказала:

— Ты всегда была у нас хорошенькая.

В какой-то момент я оказался в одиночестве в нескольких ярдах от веранды, и она громко крикнула:

— Артур!

Я обернулся — старая женщина заговорщицки подозвала меня к себе кивком головы. Поднявшись на веранду, я сел около нее, и она стала рассказывать мне свою жизнь. Мать Мэри, сидя неподалеку за столом, не сводила с нас глаз, будучи не в состоянии подавить нервную усмешку, а мистера Слеттери будто подменили — он то и дело с таинственным видом соучастника помахивал мне рукой. В его глазах я превратился в удачливого пробивного парня — тип, который всю жизнь восхищал его как

недостижимый для стреноженного заботами человека идеал.

Я похвалил ферму, сказав, что она красива, а Нэн поведала, что они арендуют ее уже долгие годы: все дочери повыходили замуж и разъехались. У них было шесть дочерей и ни одного сына, настоящая трагедия для фермерской семьи, да и муж не протянул долго.

— Вам, наверное, уже рассказывали, что мы приехали в фургоне из штата Нью-Йорк и остановились прямо на озере, очень уж мне там понравилось. Но мужу хотелось, чтобы почва была глинистая, глина его и сгубила. А мне уж больно пришлось по душе то место у озера; теперь это центр Кливленда. — Она усмехнулась, оглядела гостей и вдруг закричала фальцетом, обращаясь к проходящему мимо мужчине: — Берти!

Мать Мэри вскочила и, подойдя, смущенно попросила ее не кричать. Старая женщина послушно вняла наставлению, и мать Мэри вернулась на свое место, хотя глаза у нее оставались на затылке.

Старая женщина продолжала:

— Муж любил глинистые почвы, как у него в Эльзасе, откуда был родом, но глина все-таки доконала его…

Что-то привлекло ее внимание в стороне от веранды, она встала, и мы подошли к балюстраде, за которой виднелся затянутый металлической сеткой курятник. Я тоже услышал какое-то беспокойное кудахтанье, доносившееся оттуда. Она направилась к дивану-качалке у стены дома и, сильно пригнувшись, извлекла откуда-то снизу резак, потом опять подошла ко мне. Я спросил, что происходит; она сказала:

— Туда залезают крысы.

— А резак зачем?

— Как зачем, запущу им, — ответила она таким тоном, будто я безнадежный дурак.

Откуда-то сзади, залившись краской, возникла мать Мэри и отобрала у старой женщины резак.

— Мама, ну зачем ты сегодня… — И отвела ее обратно к креслу, а я снова уселся рядом. Миссис Слеттери с тяжелым настроением спустилась с крыльца и вернулась за стол, устало отбросив с лица волосы. Она разрывалась между методично сплевывающим табачную слюну мужем и матерью, которая хваталась за резак, чтобы отпугивать крыс.

— За кого вы будете голосовать? — спросила Нэн.

— За Рузвельта, — ответил я.

— Да, похоже, это лучшее, что у нас есть. Но лично я всегда голосовала за трудовую партию фермеров, за Боба Лафайета, хотя он и близко не приближался к президентскому креслу. Однако я

состояла в этой партии, и он был мой кандидат.

— Вы социалистка?

— Ну да, а они, — она махнула рукой в сторону гостей, — все теперь сплошь консерваторы или республиканцы.

Она резко привстала, выкрикнув чье-то имя, потом оборвала себя и села, с нетерпением ожидая, когда человек обернется. Тогда она уверенно помахала ему и тепло произнесла: «Привет!» И тут же начала резво раскачиваться, будто скакала на лошади, продолжая кого-то высматривать среди гостей. Потом безо всякого перехода обернулась ко мне и произнесла:

— Мне нравится ваш рост, у меня тоже был высокий муж.

— Я тоже вам очень симпатизирую, бабушка.

Она похлопала меня по колену и опять начала всматриваться в толпу. Подошла Мэри и села с другой стороны, взяв ее за руку. Через минуту старая женщина обернулась ко мне и сказала:

— Знаете, она всегда была у нас самая хорошенькая.

Мною овладело глубокое спокойствие от того, что мы вот так сидим в центре Америки.

Однако сцена показалась менее идилличной, когда я вспомнил ее полвека спустя. Все было отнюдь не так безобидно, как я полагал, ибо в глубине скрывалась политическая подоплека. Штат Огайо в 1940-м находился в стороне от главных событий, и большинство из тех, кто сидел на лужайке, считали, что после двадцати лет мирной жизни Америке не имеет смысла втягиваться в новую европейскую войну. Я разделял эту точку зрения, но в отличие от них был радикалом. Спор между Германией и Англией с Францией представлялся вариантом застарелого империалистического конфликта, доставшегося в наследство от первой мировой войны, одним из последних вздохов саморазрушающейся капиталистической системы. Собравшиеся на лужайке гости могли критиковать капитализм, но все-таки безоглядно верили в него. К тому же некоторые полагали, что, выступая за неучастие в войне, они срывают планы международного еврейского заговора банкиров вовлечь Америку в войну.

Эта мысль незаметно стала главной темой проповедей, которые читал по радио, собирая самую большую аудиторию в мире, падре Чарлз Кафлин. В 1940 году он доверительно убеждал десять миллионов своих исстрадавшихся от Депрессии соотечественников, что президент — лжец, который, что было самое невероятное, одновременно продался и еврейским банкирам, и еврейским коммунистам, отребью, за двадцать лет до этого устроившему революцию в России и обещавшему повторить

ее в «Вашингтонске» — так он называл этот город. Я видел, как, приложив ухо к своему «Филко», мистер Слеттери удовлетворенно покачивал головой, посмеиваясь над зловещим юмором падре. Как и большинство людей на лужайке, его приучили верить, что фашизм — это всего лишь средство защиты германской нации от угрозы коммунизма, что Гитлер выступает против «плохих» евреев, особенно выходцев не из Германии, и «плохих» неевреев, приверженцев прогрессивных идей. Разве могли те, на лужайке, знать, что Кафлин слово в слово повторяет переведенные на английский редакционные статьи министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса из «Уорлд сервис», издаваемого немецким правительством официального идеологического листка. Однако, узнай они об этом, вряд ли бы что-нибудь изменилось. Их огорчало, что, кроме вопроса о неучастии Америки в войне, во всех остальных мы с ними расходились, не говоря о том, сколь непривычна была для них подобная двойственность взглядов. Каждое поколение, оглядываясь назад, тоскует по тем временам, когда все было проще и яснее, но с 1940-м, годом окончания моей холостяцкой жизни и концом Депрессии, действительно совпал кризис наивного демократического идеализма, которым мы были увлечены перед лицом надвигавшейся угрозы фашизма. По крайней мере мы это так ощущали в Нью-Йорке. Но чем дальше в глубинку, тем притягательнее выглядел Гитлер, представая этаким воинственным германским лидером, готовым отомстить за поражение страны в 1918 году. По зрелом размышлении эта задача могла показаться даже не лишенной некоторого благородства, и уж во всяком случае не дело Америки было вмешиваться во все это.

Короче, в голове у меня была полная путаница, как бывает, когда не можешь безоговорочно принять сторону друга или соратника. Я все еще верил в Советский Союз, который, согласно официальной католической точке зрения, разделяемой моими новоявленными родственниками с их окружением, являлся порождением антихриста. Оставалось надеяться, что они обольщались демагогическими заявлениями, в которых сквозили симпатии к фашизму, только из-за того, что не хотели войны.

Все эти переживания, однако, вызвали во мне прилив сил, укрепив желание стать драматургом, и надежду, что Республика будет спасена. Более того, я пришел к мысли, что если у меня когда-то будет зритель, то им станет любой, а не только образованные и искушенные, ибо только масса обладает океанической мощью смести все, включая меня самого, или сделать много хорошего. Не знаю, как это произошло, но я

психологически взял на себя роль посредника между евреями и Америкой и даже между американцами.

Спасаясь от угрозы фашизма в Европе и дома, ощущаемой как опасность личного уничтожения, я верил, я очень хотел верить в искусство, которое может сказать: люди едины, у них одни и те же мысли и чаяния. То, что я увидел в Огайо, доказывало: по сути мы похожи.

Слеттери с жаром рассказывал о моем отказе принять отсрочку. Я был ньюйоркцем, «писателем», да еще евреем, что придавало мне в их глазах особый ореол, хотя я чувствовал себя разбитым и в профессиональном плане мое будущее было неясно. Сидя на террасе со старой женщиной, я испытывал удовольствие, что являюсь не просто человеком, но символом некой чужеродности, претерпевшим благотворную трансформацию. Теперь гости нарасхват хвалили при мне Мэри, вспоминая, как она любила в детстве читать, — пожалуй, единственный ребенок, который с удовольствием ходил в школу, как будто ей на роду было написано выйти замуж за интеллектуала. На лужайке за праздничным столом собрались простые, непритязательные люди, они радостно смеялись — звучали высокие гортанные женские голоса — и что-то бесконечно поглощали: жаркое, индюшек, кексы и всякую сливочную снедь местного края. Все говорило о том, что человечество едино в своих устремлениях. Отец был прав, полагая, что неевреи могут воздать должное чужаку и одарить его добрым расположением.

И в то же время посреди этой эйфории я ни на минуту не забывал, что, если вдруг встану и скажу, что все было ошибкой и я уезжаю в Нью-Йорк, мать Мэри вместе со своим кланом радостно и восторженно бросятся благодарить меня.

От душевной смуты всегда спасала беседа. В этот момент на веранде около нас никого не было, и Нэн опасливо посмотрела на меня, как бывает у старых людей, когда они разговаривают с зеленой молодежью.

— Что вы думаете об этом пакте?

Советско-германский пакт поразил весь мир: большевизм был архиврагом Гитлера и, прикрываясь этой угрозой, оправдывал свое варварство, чем завоевал сердца многих консерваторов на Западе. Приверженцы Советского Союза, вместо того чтобы с отвращением отшатнуться от него, отстаивали пакт, утверждая, что в течение нескольких лет русские бесплодно пытались заключить договор с Францией и Англией против Германии, но ни к чему не пришли. И теперь развернулись в другую сторону, чтобы по-своему нейтрализовать Германию и получить передышку перед неизбежной войной. Иными словами, миф о

том, что это не просто различные, но диаметрально противоположные системы, все еще продолжал существовать.

Прежде чем я ответил, старая женщина успела добавить:

— Кажется, русским до смерти надоели французы.

Причем слово «французы» прозвучало с легким оттенком пренебрежения, ибо родом она была из немецкого Эльзаса.

— Я их могу понять.

Поскольку эти слова произнесла настоящая американка из глубинки, а не радикал из Нью-Йорка, я испытал облегчение. Ибо пакт, по сути, стал для нас, как это бывает с каждым поколением, прощанием с иллюзиями, когда безоблачный небосклон юности затягивают неизвестно что предвещающие тучи. В годы Депрессии искренние слова, несмотря на все разочарования, политические повороты и экивоки, не требовали дополнительных оговорок: стоило начать искренне и честно разбираться во всех вопросах, как ты оказывался в левом крыле. В противном случае надо было искать оправдание таким вывихам, как уничтожение урожая с целью поддержания высоких цен, в то время как в городах люди голодали. Теперь былой ясности уже не было.

— По крайней мере на этот раз нам можно не вмешиваться, — продолжала она. — Однако поживем — увидим. Англичане снова будут виться около нас, пока их за счет наших мальчиков не придется вытаскивать из беды.

На мгновение ее здравый смысл, казалось, успокоил мою душу, ответив на самый больной вопрос. На деле она всего лишь сказала, что у нацистов одни и те же ценности с их западными оппонентами: все та же борьба за власть, на этот раз за передел империи, так как через двадцать лет Германия возродилась, оправившись от былого поражения в Первой мировой войне.

Сам по себе вопрос давно принадлежал истории, однако меня, как, наверное, большинство американцев, в то время волновал психологический аспект, который до сих пор, хотя обстоятельства изменились, не потерял своей актуальности. В течение семи лет меня неотступно преследовал кошмарный сон о нацистах. Это было связано с тем, что где-то в глубине души я чувствовал, как им никто не противостоит и они катятся, как волна из будущего, которую Энн Морроу Линдберг назвала волной абсолютной тьмы, господством извращенцев, громил и распоясавшихся хулиганов. Разве можно было согласиться с тем, что победа нацистов ничем не будет отличаться от победы англичан в союзе с французами, как бы эти последние ни были обречены, загнивали и малодушничали в течение десяти лет, идя на бесчисленные уступки Германии? В тридцатые годы этот парадокс занимал умы всей радикально настроенной молодежи.

Всеобщее смятение по вопросу об отношении к грядущей войне было связано с нетипичным для Америки цинизмом, порожденным Великим кризисом. Большинство людей среднего класса связывали свое представление о капитализме прежде всего с фондовой биржей, а потом с механизмом инвестиций и даже узаконенной спекуляцией. Рынок был конкретным символом роста «ценности» собственности, своего рода доказательством того, что мы живем в бесклассовом обществе, ибо политика инвестиций широко осуществлялась по всей стране. Когда буквально в одночасье рынок прекратил свое существование и никто из признанных лидеров и институтов не остановил и не объяснил этого процесса, паника, поразившая страну, поставила под сомнение веру во все официальное. Под вспышки фотокамер в объятия крупнейшего и недосягаемого когда-то банкира Дж. Пирпонта Моргана толкнули какую-то карлицу, тем самым выразив всеобщее презрение. Что касается других финансистов, они либо кончали тюрьмой, либо выпрыгивали из окон. Стихийный, неконтролируемый взлет цен на рынке окончательно развеял прекраснодушные мифы о первой мировой войне, которая в свое время стала еще одним доказательством власти денежных тузов, немилосердно расточавших человеческие жизни во имя процветания богатых. В этом смысле русская революция, которая вывела царскую армию из войны и отчасти спасла ее от бессмысленной бойни, приобретала огромное значение. Издалека она казалась проявлением человеческого разума.

Теперь, в 1940-м, опять все готовились к войне и опять только русские искали способа избежать этого. Хотя в их союзе с фашистами, которых они яростно поносили, была известная доля цинизма, при желании в этом можно было усмотреть твердую линию поведения. Россия в 1940 году не имела колоний и не аннексировала близлежащих территорий (совместный с Германией раздел Польши и присоединение Прибалтийских республик считались акциями исключительно оборонительного характера), поэтому могла открыто призывать к антиимпериалистической борьбе. К тому же, в отличие от всех крупных европейских держав, в России не было безработицы. Разве альянс с Германией не означал, что она любой ценой старается избежать участия в грязной войне, пусть даже при этом приходится идти на компромисс с нацистами, чтобы выиграть время для подготовки к отражению удара.

Постичь человеческие иллюзии — значит понять их исходные предпосылки, проникнуть в логику алогичного. Когда западные демократы во главе с такими людьми, как Чемберлен в Англии и Даладье во Франции, с легкостью отдали Гитлеру Чехословакию,

обладавшую одной из сильнейших и наиболее подготовленных в Европе армий, способной остановить немцев, и отказались продавать оружие испанским республиканцам, тем самым откровенно пособничая итальянскому и германскому фашизму в разгроме первого в истории Испании демократического правления, стало ясно, о чем мечтают союзники. Франции и Англии нужна была победа Германии над Россией, чтобы надолго разделаться с коммунистическими идеями, отказать в праве на существование социалистическому государству и заново перекроить мир, судьбы которого вершили бы германские нацисты, английские аристократы и французские миллионеры при поддержке наемных армий. Трудно было предположить, что русские обезглавят этого дракона, заставив его бить хвостом по Парижу и Лондону вместо Москвы и Ленинграда.

В этой схеме был опущен только вопрос о власти, который мы подменили этикой. Политические иллюзии всегда рождаются из горячего стремления к мироустройству, основанному на моральном порядке, утверждающем существование добра. Только представив глубину нашего неприятия загнивающего капитализма, можно понять, сколь невыносимо было увидеть какие-либо параллели между общественными институтами фашистского режима и Советского Союза. Но зависимые от государства профсоюзы, массовые юношеские организации, тайная полиция, наушничество на работе и дома, тысячи политических заключенных и в довершение обожествление государства во главе с его руководителем — все это было порождением советской системы. Фашизм и нацизм скопировали ее, заменив служившую духовной пищей интернациональную пролетарскую солидарность маниакальным нацизмом и расизмом. Родовая вражда между двумя системами оказалась не более чем исторической враждой между Англией и Францией или Германией и Англией. За нравственным конфликтом скрывались национализм и геополитические притязания — основные механизмы истории того времени.

Боязнь перерождения — именно перерождения — в одну из разновидностей фашизма подспудно легла в основу моей ранней пьесы «Человек, которому всегда везло», на первый взгляд обычной жанровой зарисовки из жизни провинциальной Америки средней полосы, впрямую не затрагивающей ни одной политической проблемы. Ее сюжет мне подарила, если так можно сказать, женщина, которая поднялась на веранду и уселась около нас с Мэри и Нэн. Это была Элен, младшая сестра миссис

Слеттери. Ее муж недавно повесился. Меня, как любого писателя, нередко спрашивают, откуда я черпаю замыслы своих произведений — если бы я знал, то охотно бы сам туда обращался. Однако существуют обстоятельства, способствующие зарождению и развитию пьес, которым позже, как бактериям в лабораторной пробирке, суждено выжить или погибнуть.

Элен жаждала увидеть незнакомца, которого Мэри ввела в их семейный клан, и вообще поболтать. Хрупкая, с карими глазами-пуговками на небольшом, бледном, с мелкими чертами лице, она была внутренне сосредоточенна, в чем не отдавала себе отчета. Это сквозило в том, как небрежно она скрещивала ноги, как наклонялась, как не обращала внимания на торчавшие в разные стороны из пучка шпильки или на мятый воротничок. Она производила впечатление человека настороженного, этакого первопроходца Среднего Запада.

Мэри успела мне рассказать, как Элен, проснувшись однажды утром, увидела в окно спальни распахнутую дверь сарая и повесившегося на стропилах мужа.

— Примите мои соболезнования по поводу кончины вашего супруга, — сказал я. — Говорят, он был прекрасный человек.

Она вдруг, не рассуждая, начала свой рассказ, как будто от бесконечных повторов ее история могла стать менее реальной:

— Знаете ли, мы были знакомы с детства, детский сад, школа, но Питеру пришлось ее бросить, чтобы пойти работать, так что кончала я без него. Его все очень любили, он никогда не искал работу, все как-то сами ему предлагали, людям нравилось, когда он рядом, — Питер был такой жизнерадостный…

Казалось, она повторяет это как молитву, и я вспомнил жен заключенных самой большой в стране Джексоновской государственной тюрьмы в Мичигане, куда, будучи студентом, часто ездил по воскресеньям к приятелю, получившему там место врача-психиатра по окончании всего одного курса по психологии в Энн-Арборе. Женщины рассказывали свои истории о несправедливости жизни каждому, кто готов был их слушать.

— Потом с ним что-то случилось. Он начал вставать по ночам, одевался и уходил.

— Куда?

— Обычно на бензоколонку…

У Питера была своя бензозаправка, приносившая хороший доход, — один из видов собственности, которую он приобрел к двадцати годам. Время от времени он делал внезапные проверки, сличая сумму наличных денег в кассе с количеством проданных галлонов бензина. Ему ни разу не удалось обнаружить недостачи, но, несмотря на это, он испытывал панический страх при мысли о

том, что его обкрадывают.

— Он становился как сумасшедший, его невозможно было переубедить, — сказала Элен.

Как ни наивны были их друзья, они все-таки поняли, что Питер болен, и с трудом уговорили его показаться кливлендским врачам. На какое-то время, казалось, наступило облегчение, но потом они с Элен собрались ехать в отпуск в Канаду, и тут он покончил с собой.

Во всем этом было что-то очень знакомое, но я не мог понять что. Рассказ не вызывал интереса с медицинской точки зрения и не возбуждал желания описать историю Питера как случай параноидального психоза. В лишенном логики поведении я слышал тайные движения души и вслед за Элен, которая отказывалась реально взглянуть на происшедшее, меня интересовало именно то, на что не было ответа. Как мог молодой преуспевающий человек покончить с собой? Да еще в провинциальной глуши, вдали от городской суеты с ее жестокой борьбой за самоутверждение? Какая логика, незримо правящая нашей жизнью, предопределила эту смерть?

История «человека, которому всегда везло» неотступно преследовала меня последующие три года — сначала в виде романа, которому я не нашел издателя, потом в виде пьесы, премьера которой состоялась в 1944 году — моя первая премьера на Бродвее, выдержавшая всего четыре представления и не имевшая никакого успеха. Однако, работая над этим произведением, я впервые в жизни почувствовал себя драматургом, а может быть, и человеком.

Начать хотя бы с того, что Элен удивительно напоминала мою двоюродную сестру Джин, дочь тетушки Эстер, которая жила напротив нас на 3-й Ист-стрит в Бруклине. Обе молодые женщины с мягкими тихими голосами были отважные, улыбчивые натуры, которых сразила внезапная кончина их мужей. Супруг Джин, Мойша Фишлер, был красивым мужчиной с ровными сверкающими белыми зубами, обольстительной черной родинкой на гладковыбритой щеке, блестящими волосами цвета воронова крыла, невысокий и ладно скроенный. К тридцати годам он достиг немало — от него исходило ощущение спокойной уверенности и успеха. Во время Депрессии все кругом разорились, а его дела шли неуклонно в гору, и он стал большим человеком в текстильной промышленности. Но какая-то тень пролегла между ним и женой, и теперь они едва разговаривали.

Их семья всегда выгодно отличалась от других, но теперь, казалось, их удерживает вместе только забота о доме: Мойша без конца полировал капот красного «бьюика», пока тот не начинал

блестеть, как румяна. Джин, как и ее три сестры, с детства знала только одну радость: повязав голову пестрым шелковым платком, драить их крошечный дом. Делалось это под предводительством их матери, моей тетушки Эстер, женщины, которая не садилась на стул, предварительно не хлопнув по нему ладонью, и катала катышки грязи в проеме декольте, пока они хлопьями не покрывали перед платья.

Как-то летом, когда стояла жара, Мойша поехал искупаться на Брайтон-Бич в двух милях от дома. К вечеру он не вернулся. Солнце село, небо погасло, последние отблески лучей играли в окнах, когда обеспокоенная Джин вышла в одиночестве на высокую каменную террасу дома, все еще не решаясь позвонить в полицию. Из-за угла появилась чужая машина, увидев которую, она замерла, как олень, заметив охотника, и не могла оторвать взгляд, пока та не остановилась у крыльца. Передняя дверца открылась, вышел невысокий горбун в плавках. Он напоминал большую сломанную куклу, когда, хромая, обошел машину и оказался у высокого крыльца в пять ступеней. Подняв глаза на Джин, он протянул к ней руки — казалось, голос и тело — все выражало мольбу простить его. «Он там, в машине», — без всякого вступления или объяснений произнес он, скорее всего по глазам поняв, что она и есть та самая молодая вдова, которой он привез тело мужа, найдя его адрес в бумажнике, который теперь держал в руке.

По ступеням крыльца она сошла в последний сон своей жизни. Заглянула в окно машины и увидела, что красавец муж мертв. Горбун оказался врачом, загорал на пляже, и когда увидел, что Мойше плохо, попытался помочь ему. Из стеклянных дверей вышла мать Мойши и, обреченно вскрикнув, зарыдала во весь голос. Стали подходить соседи — старики, дети, женщины с грудными малышами, молодожены и единственный на всю улицу нееврей, седой невысокий мистер Кларк, который жил рядом, работал в банке и носил с собой небольшой пистолет (в тот вечер на нем были стираные-перестираные брюки и майка, он только что вылез из-под своего «форда» модели А, который стоял, начищенный, в гараже, где была вырыта специальная яма, так что, смазывая машину снизу, можно было стоять в полный рост). Через несколько лет, когда он умер, Мей, сестра Мойши, с мужем купили машину у его вдовы. За шесть лет Кларки наездили на своем «форде» не более трехсот миль. Для них это была не машина, а икона. У них не было детей, им некуда было ездить: просто надо было о чем-то заботиться, что-то оберегать.

Мистер Кларк помог приподнять тело Мойши и вынуть его из машины, чего Джин не дала сделать врачу, преградив ему дорогу

и истерически требуя, чтобы горбун не прикасался к ее супругу. Мать Мойши кричала ему в лицо какие-то бессвязные слова: зачем он приехал, несчастный лилипут в плавках, только затем, чтобы привезти ей мертвого сына, который и в смерти был красивей живых? «Да кто вы такой!» — вне себя кричала она, как будто Мойша мог восстать, стоило только доказать, что он не имеет никакого отношения к этому убогому уродцу. Они так и не позволили низенькому доктору войти в дом, как будто он был прокаженный. Я видел, как он ковыляет к машине на кривых, усохших ногах, в обвисших плавках. Уезжая, он плакал, не скрывая слез.

Как ни странно, Джин со свекровью обе одинаково глубоко пережили горе и обе нуждались в поддержке — на кладбище у той и другой начался тик, бесконечные подергивания головой из стороны в сторону, как будто они не могли смириться с тем, что случилось. Точно так же, как Элен на веранде в Огайо, но только без тика. Джин отпустило через несколько месяцев, у ее свекрови продолжалось дольше: на закате она подходила к перилам веранды и долго смотрела в сторону кладбища, расположенного в нескольких кварталах, нервно подергивая головой: нет, нет, нет.

Внезапная и нелепая смерть Мойши, самоубийство мужа Элен — все сплелось в «Человеке, которому всегда везло». В основе пьесы лежал вопрос без ответа — почему судьба так несправедлива, почему она благоволит к одному, а другой, не хуже и не лучше, терпит фиаско. Похоже, это было связано с тем, что я ощутил в себе какую-то внутреннюю силу, которой не видел в других. Еще в 1939 году, до войны, я после колледжа написал большую трагедию, как Монтесума попал в руки к Кортесу, и ставил там ту же проблему. Удачливого Дэвида Бивза, героя пьесы, человека, которому всегда везло, губит ощущение собственной беспомощности. Монтесума, завоевав, как ему кажется, с ацтеками весь подлунный мир, не ведает, что делать дальше, и принимает появляющихся из воды белокожих людей за ниспосланных ему свыше господ, которые призваны обожествить и вознести его. По-разному, но обе пьесы затрагивают вопрос об ирреальной природе успеха и власти, одновременно повествуя о параличе, сковавшем волю демократического общества перед лицом нараставшей с каждой неделей в Европе фашистской угрозы.

Бесконечное количество вариантов пьесы медленно, но упорно подвигало меня к осмыслению конфликта отца с сыном и брата с братом. В одной из первых редакций пьесы один из героев, сирота Дэвид Бивз, благодаря собственным усилиям неожиданно делает в небольшом провинциальном городке

блистательную политическую карьеру. Его друг Эймос идет к успеху постепенно — его, молодого нападающего местной бейсбольной команды, с детства фанатично пестует отец, заставляя долгими зимними вечерами отрабатывать броски. Казалось, жизнь Эймоса надежно защищена от игры случая, нацелена на успех. Однако менеджер профессионального клуба «Детройт тайгерс», которого Пэт, его отец, приглашает посмотреть на игру сына, безапелляционно заявляет, что Эймос бесперспективен, поскольку индивидуальные тренировки парализовали его волю и он не может играть в команде, когда у него за спиной игроки, — внизу в подвале он привык иметь дело только с находящейся перед ним мишенью. То, что должно было защитить Эймоса от случайности, оборачивается против него. История друга глубоко потрясает Дэвида, заставляя, несмотря на головокружительный успех, задуматься, где же предел его собственному везению.

В один прекрасный день я понял, что Эймос и Дэвид — братья, а Пэт — их отец. Пьеса неожиданно обрела новое звучание, а я испытал неведомую ранее уверенность в том, что могу писать из глубины самого себя, поскольку вижу то, чего никто никогда не видел.

К 1940 году я написал уже четыре или пять многоактных пьес, которые принесли мне в Мичигане две престижные премии имени Эвери Хопвуда и заинтересовали некоторых продюсеров и актеров в Нью-Йорке. В основу первой пьесы «Без дураков», персонажи которой были списаны с ближайших родственников, легла история забастовки на пошивочной фабрике, когда сын восстал против собственника-отца. Еще одна пьеса была посвящена безнадежной борьбе тюремного врача-психиатра, пытавшегося спасти от сумасшествия здоровых людей. Пьеса строилась вокруг конфликта двух братьев, но я не очень задумывался над этим.

Я говорил, что не раз проводил уик-энды у своего однокашника Сида Московица, который окончил институт на год раньше меня и, прослушав начальный курс по психиатрии, устроился работать на ставку единственного психиатра самой большой в стране тюрьмы, где от него зависело не дать восьми тысячам своих подопечных свихнуться. Понятно, что большинство краж во время Депрессии совершалось по экономическим мотивам — люди тащили, чтобы поесть. Я знал нескольких заключенных, которые убили шерифов, пришедших конфисковать их домашний скот в счет неуплаты долгов банку, а также многих мелких торговцев, получивших по семь лет за подделку чеков на незначительные суммы.

Но в Джексоновскую тюрьму меня тянули совсем иные истории, не имевшие прямого отношения к экономике. Там можно было встретить людей вроде некоего Дроджа — пусть его будут звать так, — чемпиона по спидвею из Индианаполиса, которого вроде бы ничто не толкало на путь преступлений, однако он больше десяти лет тайно возглавлял банду угонщиков автомобилей. Я познакомился с Дроджем в автомастерской, где он обучал обитателей тюрьмы премудростям автомобильного дела. Ему было лет сорок пять: красивый, умный, опрятный вор, объектом мрачной иронии избравший собственную незадачливую жизнь. Я имел доступ к их личным делам и мог проверить, насколько кто был искренен в разговорах. То, что я услышал, действительно было историей его жизни.

Его ребята специализировались на дорогих машинах иностранных и отечественных марок, которые тут же отгоняли к поджидавшему неподалеку грузовику с опущенным пандусом. Машину везли в другой город, по дороге механики перебивали номер двигателя, меняли номерные пластинки, перекрашивали ее из пульверизатора и к вечеру выгружали по адресу перекупщика. Обычно в день угоняли по машине. Иногда ночью прихватывали другую, и к утру она уже бывала готова к продаже. У Дроджа было несколько групп, которые действовали по всему Среднему Западу, и один безработный художник из Канзаса, городка Лоррейн, превосходно выправлявший права с подложными номерами. Спортивная слава Дроджа все десять лет росла, и он стал богатым подпольным воротилой.

Его накрыли по чистой случайности. Угнав во Флинте, в Мичигане, «роллс-ройс», он решил переночевать в местной гостинице и уехать до рассвета, выждав, пока поиски поутихнут и он сможет перегнать машину к поджидающему ее фургону. Так случилось, что это была единственная во Флинте гостиница, и она принадлежала полицейскому. Вернувшись домой, хозяин обнаружил у себя в гараже красавец «роллс-ройс», да еще в тот момент, когда Дродж, под влиянием дурного предчувствия спустившись вниз, подавал машину из гаража задним ходом. Заметив в зеркале полицейского с револьвером, он нажал на газ, чтобы сбить его. И получил пятнадцать лет, поскольку ничто в Мичигане так не ценилось, как машины. Самое печальное, что он знал, кого винить в своей неудаче.

Однажды днем я встретил его в огромном открытом внутреннем дворе тюрьмы, по площади равном нескольким кварталам. Заключенные — кто гулял, кто играл в бейсбол, кто просто загорал на весеннем солнышке. Один только Дродж внимательно наблюдал за тем, что происходило наверху

окружавшей двор гладкой цементной стены этажей шесть в высоту, которую чудом за неделю до этого одолело четверо заключенных. На фоне неба двигались фигуры рабочих, устанавливая специальную систему с фотоэлементом, которая должна была подавать сигнал, как только кто-то попадал в поле ее зрения. Те, кто сбежал, работали в электромастерской и долгое время по дюйму собирали обрезки изоляционного кабеля, зачищая их с обоих концов. Кусочки каждый день закапывали во внутреннем дворе, в результате получился провод в двенадцать футов, к которому приладили украденную из тюремного театра веревку от занавеса. Достав все это в назначенный день, ребята сцепили обрезки концами и, сделав крюк, перебросили провод через стену. Быстро вскарабкавшись наверх, они с той стороны спустились уже по веревке. А через неделю все четверо были убиты в Сент-Луисе.

Глядя, как работают на высоте электрики, Дродж задумчиво прищурился, покачал головой и вздохнул.

— Там что-то не так? — спросил я.

— Пустая трата времени. На все про все достаточно одного карманного фонаря на трех батарейках. Если, конечно, найдется дурак, который вздумает бежать.

— Какого карманного фонаря?

— Да самого простого. Свети в их фотоэлемент и проходи, прошел — выключил. И систему не повредишь, и домой попадешь, пока снова не поймают и не прихлопнут.

— Надо же, — воскликнул я. — Может, пойти им сказать?

— Зачем? Так ребята хоть что-то заработают. Рано или поздно сами поймут.

Дродж, конечно, не был сумасшедшим, хотя вокруг слонялось немало народу, в разной степени погруженного в свои галлюцинации. Я пришел к выводу, что тюрьма — это скорее приют для умалишенных, чем место наказания уголовников. Самыми безобидными среди них были мошенники, фальшивомонетчики, взломщики и профессиональные угонщики машин вроде Дроджа, который противопоставил системе свое мастерство и всего лишь проиграл в техническом плане. Однако это огорчало его не больше, чем гравитация — прыгуна с шестом.

Я все-таки написал пьесу о жизни тюрьмы — «Великое непослушание» было моим первым произведением, потребовавшим кропотливой исследовательской работы: хотелось выйти за рамки привычного и сделать объектом познания мир. Проблема пагубного влияния тюремной системы на сознание человека — вот тот материал, который, казалось, только и ждал своего часа. Однако после двух Хопвудовских премий меня ждала

неудача: жюри признало пьесу «излишне запутанной», что было недалеко от истины, ибо таковым являлось мое отношение к Джексоновской тюрьме. Хотя она считалась едва ли не самой образцовой в Америке, я, возвращаясь домой, каждый раз долго не мог уснуть, вспоминая город запертых в клетки людей, ощущая мускусный звериный запах жарких душных помещений, где на нарах обитало около восьми тысяч человек, слыша гулкое эхо басовитого рокота голосов, взрывы дикого, полубезумного хохота и временами угрожающий рев. Охранники боялись заходить в камеры более чем на метр, рискуя быть задушенными блуждающими в полутьме руками. Однако самое печальное заключалось в том, что, стань я начальником этого заведения, ровным счетом ничего не смог бы изменить, разве что открыть ворота и выпустить всех сразу. Но я знал, что это не выход, ибо, пожалуй, там каждый четвертый был сумасшедший.

Провал пьесы отнюдь не разуверил меня в том, что искусство должно способствовать совершенствованию нравов. По-видимому, благодаря своей общедоступности эта точка зрения в тридцатые годы была весьма распространенной. Сталин назвал искусство «оружием» революции, а писателей — «инженерами человеческих душ»; истоки этой концепции уходят в толщу истории. Средневековые и ренессансные произведения, прославлявшие христианство в формах библейской образности, повторяемая Шекспиром мысль о божественной природе монаршей власти являются разновидностью того же взгляда на искусство как на средство утверждения незыблемости существующего правопорядка. Ближе к нашему времени я бы назвал в этой связи двух величайших писателей — Толстого и Достоевского, каждый из которых, будучи привержен определенным общественным и религиозным доктринам, не был «свободен» в английском или американском понимании этого слова, подразумевающем полный отказ от каких-либо социальных и религиозных обязательств. Оба они, каждый по-своему, полагали, что главная задача искусства состоит в том, чтобы утвердить слово Господне, а не развлечь или отвлечь человека от действительности. Прекрасные чеховские пьесы воспринимались в ту пору как выражение сумеречной русской души. Подобно древнегреческим трагедиям (мне еще предстояло их полюбить, как свалившийся в яму может полюбить лестницу), в которых кровная месть и вражда преобразовывались в институты закона и правопорядка, чеховские пьесы взывали к необходимому для общества отказу от традиционной российской лени во имя грядущей эпохи с ее созидательным трудом и научным подходом к проблемам. Очевидно, что подобный взгляд диктовался определенным моментом становления человеческой

воли, а не субъективным подходом автора к решению насущных задач.

В тридцатые годы Энн-Арбор считался рассадником радикализма в самом сердце Среднего Запада, поскольку именно здесь с наибольшим энтузиазмом было встречено Оксфордское воззвание — призыв английских студентов не брать в руки оружия. Конечно, при этом имелась в виду война. К тому моменту, когда назрела следующая, все участники пацифистского движения, за редким исключением, оказались в рядах тех, кто сражался с Германией и Японией.

Жизнь меняется непрерывно. Однако временами это происходит с большей или меньшей долей иронии. В те годы студенческое движение за мир в Энн-Арборе возглавлял один из студентов старшего курса, Дж. Меннен Уильямс, наследник богатейшей компании по производству крема для бритья, за что к нему прочно приклеилось прозвище Мыльный Уильямс. Не реже чем раз в неделю его язвительные отповеди загоняли противников антивоенного движения в тупик. В 1935 и 1936 годах его часто можно было увидеть на ступенях библиотеки, где он страстно призывал отлучить от движения тех, кто был непоследователен.

По прошествии почти двадцати лет, в 1953 году, в период наивысшего разгула маккартизма, меня вызвал к себе редактор журнала «Холидей» Тед Патрик и предложил съездить в Энн-Арбор посмотреть, как там обстоят дела. В студенческом городке многое изменилось. Молоденькая девушка, член студенческого совета, пожаловалась, что рискует прослыть коммунисткой за то, что снимает комнату в кооперативном, а не в университетском общежитии или не живет на частной квартире. Мой бывший преподаватель английского Эрик Уолтер, ставший теперь деканом, рассказал, что ФБР обязывает преподавателей и студентов доносить друг на друга, и предложил побеседовать с его коллегой, который в настоящее время отвечал за «состояние умов» на факультете. Члены Социалистического клуба, весьма антикоммунистически настроенной группы, пожаловались, что не могут приезжать на еженедельные собрания на машинах, поскольку полиция записывает номера. Однако самый большой сюрприз ожидал меня в редакции университетской ежедневной газеты «Дейли».

В тридцатые годы в ее стенах находили приют различные радикально настроенные группировки, которые грызлись с либералами и консерваторами за решающее влияние на редакционную политику «Дейли».

Конкуренция среди репортеров была жесточайшей. Теперь в два часа пополудни здание пустовало, и я узнал, что газета, как это ни странно, печатает объявления о замещении имеющихся вакантных должностей. Чтобы освежить в памяти события минувших лет, я попросил из архива несколько старых подшивок, уселся в глубине редакционной комнаты на втором этаже за большой круглый дубовый стол и начал перелистывать пожелтевшие страницы. Вскоре напротив меня уселся дородный мужчина средних лет и принялся делать какие-то выписки из свежих номеров. Неожиданно рядом со мной оказался молодой человек. Наклонившись, он шепотом предложил поговорить, если у меня есть вопросы.

В дальнем углу пустынного зала он, не без гордости, представился как автор опубликованного в последних четырех номерах «Дейли» материала «Коммунизм в студенческом городке» — о двух студентах-радикалах, которым теперь, с грустью поведал он, грозило исключение. Но статья, продолжал юноша, имела успех — он получил место в лос-анджелесской газете. Это был щуплый карлик с пергаментной кожей в мягкой, сдвинутой набок шляпе. Указав пальцем на дородного мужчину, который листал последние номера, он пояснил:

— А это из полиции. Наведывается сюда каждую неделю, просматривает разделы писем и новостей, выискивает крамолу.

— А что потом?

— Да ничего. Материалы поступают в специальное досье на стол губернатору. А губернатор в Мичигане, как известно, по совместительству еще и шеф государственной полиции.

Губернатором в этот период оказался Дж. Меннен Уильямс — Мыльный Уильямс. Я едва мог сдержать улыбку, вернувшись на свое место напротив господина с толстой шеей, буравившего колонки газет в поисках крамольных имен. Продолжая свое занятие, я надеялся наткнуться на какой-нибудь материал Мыльного. Мне повезло: подшивка раскрылась на редакционной страничке с ответом Меннена на реплику за подписью «Консерватор» о том, что якобы так называемые митинги в защиту мира посещают одни только радикалы.

«Дорогой Консерватор, — писал председатель движения за мир, — как только вы со своими единомышленниками появитесь на наших собраниях, они тут же перестанут быть митингами одних радикалов». И подпись — Дж. Меннен Уильямс. Я взял пожелтевшие листы и, обойдя стол, положил их перед полицейским. Мой указательный палец привлек его внимание, заставив вопросительно поднять глаза. Прочитав текст почти двадцатилетней давности, он снова посмотрел на меня и спросил:

— Вы кто?

Я назвал себя, однако мое имя ему ничего не сказало, так же как и цель командировки. Слово «маккартизм» было для него пустым звуком, и он вернулся к изучению газет в поисках крамолы.

В эпоху маккартизма двойное мышление стало своего рода нормой. Через неделю или две после появления статьи о Мичигане Тед Патрик попросил меня написать что-нибудь еще, теперь по своему усмотрению. Журналистика не прельщала меня, и, поблагодарив, я, почти не задумываясь, отказался. Через несколько дней он повторил просьбу, потом вернулся к ней еще раз, настояв, чтобы я написал небольшую статью о Бруклине тридцатых годов. Материал тут же пошел в номер, как он и обещал. Причину, почему Патрик был так настойчив, я узнал много лет спустя, уже после его смерти. Появление моей первой статьи в «Холидей» вызвало бурную реакцию отдела рекламы «Понтиак компани», входившей в «Дженерал моторс», которая предупредила Патрика, что они свернут свой раздел, если в журнале появится еще хоть одна статья за подписью Артура Миллера. Вторая статья, к счастью, не прервала их финансовых поступлений, однако атмосфера в те годы была крайне накалена, и мне жаль, что я не смог лично поблагодарить Теда Патрика за проявленную им в столь нелегкое время редакторскую принципиальность. Гораздо чаще угрозы оказывали свое действие, о чем свидетельствовал один из документов, который я привел в своей статье о Мичигане: размноженный для внутреннего пользования на мимеографе оттиск послания президента Национальной ассоциации предпринимателей ее членам, где он призывал прекратить нападки на факультет за его мнимый радикализм, поскольку благодаря усилиям организаций, подобных этой, факультет уже был «очищен от скверны». Такого рода деятельность широко практиковалась Национальной ассоциацией.

И все-таки, несмотря на весь шум по поводу радикалов, в тридцатые годы университетское студенчество, не говоря уже о профессуре, вопреки мифу отнюдь не было левым. Как всегда, те и другие прежде всего думали о карьере. Действительно, в редакционной статье в «Дейли» можно было позволить себе возмутиться по поводу того, что Джону Стречи не дали выступить у нас с лекцией по его известнейшей книге «Грядущая борьба за власть», но не стоило обольщаться, что таких, как я, большинство, — о книге или хотя бы о концепции ее автора знали немногие.

Не будучи «левым», Мичиганский университет тем не менее

имел заслуженную репутацию учебного заведения с демократическими традициями. Это подтверждается тем, что меня все-таки приняли туда, заставив, правда, написать пару заявлений с клятвенными заверениями подтянуть успеваемость. В двадцатые годы сюда принимали всех — социалистов, сторонников контроля над рождаемостью и всяких иных фанатиков, которые пришлись не ко двору в более консервативных учебных заведениях. В тридцатые годы здесь на семинарах открыто обсуждались проблемы марксизма — преподаватели обычно не разделяли эти идеи, но по крайней мере не отказывались вести полемику.

Лучшие качества марксиста для меня в те времена олицетворял один из самых одаренных студентов по фамилии Фельдман — я и сейчас отношу его к числу немногих истинных интеллигентов, с которыми меня свела судьба. Впервые я увидел его морозной февральской ночью, когда однажды около полуночи он влетел в редакцию «Дейли» в спортивных тапочках, которые, как и его темная густая шевелюра, были все в снегу. Добротный твидовый пиджак был надет поверх пижамной куртки, в руке он сжимал какую-то рукопись. Подвижный, высокий, Джо легко вскочил на стол, чтобы приветствовать редактора и репортеров, а те, в свою очередь, оторвавшись от пишущих машинок, откинулись на спинки стульев в предвкушении очередного пламенного выступления — Джо был записным оратором по любому вопросу. Он почти не ходил на занятия, но благодаря феноменальным способностям быстро проглатывал книги и тратил на подготовку к экзамену не более двух дней, получая одни только отличные оценки. «На фоне идиотизма университетского образования Эдд Уин — это Мольер, а Джек Бенни — Фальстаф…» У него была обаятельная улыбка, и он знал уйму всего.

Не помню, что привело его тогда в редакцию, но чаще всего он приходил поспорить по поводу очередной редакционной статьи, добиваясь ее опровержения. На самом деле ему хотелось уязвить главного редактора, с которым они соперничали из-за прекрасной Лии Блум, обычно безропотно сопровождавшей его к нам в офис вместе с квартирной хозяйкой миссис Макколл, которая во время пламенной речи стояла около стола-трибуны, заботливо приготовив пальто, чтобы по окончании тут же его укутать, а Лия натягивала ему калоши и заматывала горло шарфом. Чаще всего Джо неистовствовал по поводу так называемой объективности «Дейли», особенно в вопросе об Испании. Он иронизировал в адрес невысокого главного редактора, который в ответ саркастически усмехался, тяжело

вздыхая в сторону Лии.

— Что вы тут пишете, якобы фашистские самолеты помогают Франко? Вам очень хочется стать второй «Нью-Йорк таймс»? Посмотрите на фотографии: неужели не видно, что на обломках сбитых военных самолетов немецкая свастика? Редактор стоически возражал:

— Каждый может сфотографировать, что ему вздумается, и нет никаких гарантий, что фото не подделали в Гамбурге.

— По-вашему, они что там, в Гамбурге, специально ради этого сбивают самолеты? Erwachen Sie![6] Перестаньте валять дурака и не играйте на руку фашистам! Надо набраться смелости и стать наконец честной газетой! Или, может, вас уже перекупила «Таймс»? В вашем возрасте рано еще быть таким продажным!

Дело кончалось тем, что редактор не выдерживал, и они шли выяснять отношения на улицу. Было морозно, и Лия с миссис Макколл всячески старались сделать так, чтобы Джо не простудился.

В результате Лия не вышла замуж ни за одного из них. Получив в 1938 году диплом, я потерял Джо из виду, но два года спустя мы неожиданно встретились на одной из центральных нью-йоркских улиц. Он был гладко выбрит, хорошо одет, с аккуратно уложенными волосами. Испания к тому времени сдалась Франко, и двое наших однокашников погибли там, сражаясь на стороне республиканцев. Я ехал к невесте в Огайо, а Джо стал театральным художником и, несмотря на отсутствие профессиональной подготовки, устроился к одному из самых известных театральных оформителей Клеону Торкмортону, уговорив взять его сразу первым помощником, хотя сама идея пришла к нему всего несколько недель назад. Джо успел перечитать всю имевшуюся в этой области на английском литературу и, похоже, вскоре начал поправлять самого Торкмортона, давая ему советы.

Я поздравил его с успехом, однако он, глядя на поток машин на Пятой авеню, сказал, что собирается все бросать. Это удивило.

— Я решил стать военным летчиком!

Вот это да! Значит, Джо решил принять участие в империалистической войне?

— Наверное, этого не избежать, — ответил он с потухшим взглядом. — Видимо, придется ввязаться!

— А как быть с Советами, которые подружились с Германией?

У него перехватило дыхание, в глазах появилось выражение крайней решимости:

— Надеюсь, это ненадолго, но если их союз продержится, что ж, будем воевать и с ними.

Без улыбки мы пожали друг другу руки, понимая, что Джо отчасти кладет жизнь на алтарь иллюзий.

Его сбили над Бирмой. Как-то ранним вечером в шестидесятые годы по дороге в гости я увидел на перекрестке 96-й улицы и М-авеню рекламу аптеки Фельдмана и вспомнил, что в этом районе когда-то обитал его отец, фармацевт. Прошло тридцать лет с тех пор, как Джо произносил свои пламенные речи со стола в редакции «Дейли», и больше двадцати — со дня его гибели. Скорее всего, отец был на пенсии, если не умер. Невысокая седая женщина за прилавком взглянула на меня сквозь залежи губной помады и гребешков. Я представился как друг Джо и спросил, не с его ли матерью говорю. Усталое, измученное лицо озарилось светом, и, запустив руку в ящик стола, она достала конверт с фотографиями размером восемь на десять, где я ожидал увидеть жизнерадостного Джо с насмешливым взглядом, в котором затаилась боль. Вместо этого я увидел серый камень футов шесть в высоту с дюжиной выбитых на нем фамилий, среди которых была и его. Камень стоял на небольшой поляне, вырубленной в причудливой зелени джунглей. Протянув фотографию, она сказала: «Это в Бирме». Мы немного поговорили. Он был единственным ребенком в семье. Она не переставая благодарила меня за то, что я зашел, не совсем понимая, зачем я это сделал. Я ответил, что сам не знаю, но хорошо помню Джо и никогда не забуду. Ее глаза наполнились слезами, и она отвернулась.

Теперь они погибали во Вьетнаме. Меня пригласили в Энн-Арбор открыть семинар по проблемам войны и антивоенного движения. Занятия в университете были прекращены на три дня. Я не готовился к выступлению, понимая, что рядом с такими экспертами, как Жан Лякутюр, мое присутствие окажется чисто символическим. Стоя на сцене Хилл-аудиториум, одного из самых больших университетских залов, построенного в двадцатые годы на пожертвования барона-лесопромышленника, я вспомнил, как в 1935-м слушал здесь японского евангелиста Точёхико Кагаву, которого тогда назвал про себя «торговцем возвышенным». В знак протеста против японской оккупации Маньчжурии, которую Кагава на японский манер называл Мансюкоку, зал покинули пятьдесят китайских студентов. В другой раз на ступенях аудитории ко мне пристал студент-китаец с тощей пачкой билетов, которые продавал, чтобы оплатить выступление какой-то китайской знаменитости, собиравшейся поведать о бесчинствах японцев в Китае.

— Зачем вам какие-то знаменитости? — спросил я. — Разве

вы сами не можете рассказать об этом?

От удивления его раскосые глаза округлились.

— Кто? Я? Да ведь я же дерьмо.

Сейчас в зале царило радостное оживление, особая атмосфера взаимопонимания и единодушия, которая, однако, показалась несколько искусственной. Когда стихли овации — на мой взгляд, также излишне бурные, — я заговорил о том, что этот зал помнит иные времена. Прекрасно, что мы собрались, такие события сближают людей, однако надо помнить, что есть ФБР и может наступить день, когда придется отвечать за участие в сегодняшнем митинге.

Для подобного заявления это был явно неудачный момент. Сейчас, когда в этом зале зарождалось прогрессивное движение за прекращение несправедливой войны и молодое поколение, осознав свою силу, искало союзников в борьбе, мои слова были встречены недоуменным молчанием. Однако, продолжал я, несмотря на то что нас могут заставить отречься от солидарности и проклясть ее, несмотря на происки ФБР, жизнь стоит того, чтобы испытать подобные чувства. Даже если вместо бурного торжества движение завершится исполненным горечи и сожаления раскаянием о растраченных впустую силах, даже тогда мы не должны терять веру, ибо жизнь есть не что иное, как продвижение на ощупь от одной высокой истины к другой, сколь бы иллюзорны они ни были. Без этого морального импульса, пускай ошибочно отождествленного с тем или иным политическим движением, человек не способен к действию.

Стоя в свои пятьдесят лет в этом зале плечом к плечу с молодыми, исполненными убежденности и решимости Карлом Олзби, Бобом Моузесом, Жаном Лякутюром, Томом Хейденом, я понял, что молодежь шестидесятых разительно отличается от своих сверстников тридцатых годов: подобные нравоучения им были уже не нужны. Пафос выступлений был связан с мыслью о необходимости создания общественной, а не политической организации, которая преградила бы путь танкам. Их речи мало походили на высокопарную идеологическую риторику тех лет, когда фашизм, сколь страшен он ни был, оставался заокеанским явлением, и мало кто верил, что Соединенные Штаты окажутся втянутыми в новую европейскую войну. Набившиеся в Хилл-аудиториум студенты отлично понимали, что речь идет не о ком-то, а о них самих, ибо именно их могут завтра призвать и это они будут убиты, если Америка не откажется от избранного политического курса. Они спасали себя, а не кого-то еще, и это резко отличало их от того поколения, которое в тридцатые годы, несмотря на бедность и неустроенность жизни, нуждалось в

каких-то захватывающих воображение идеях, чтобы примкнуть к радикальному движению. Теперь для того, чтобы стать левым, достаточно было иметь в кармане призывную повестку.

Идея семинара против войны во Вьетнаме, так же как кампания в поддержку пацифистского Оксфордского воззвания, родилась в Мичигане. В течение трех дней и ночей университетские аудитории бурлили, занятия были отменены, выступавшие говорили о проблемах Юго-Восточной Азии, истории, языке, поэзии, религии Вьетнама, и всем, или почти всем, было грустно, ибо трудно было поверить в то, что студентам и интеллектуалам удастся остановить войну. Слушая ораторов, я вдруг невольно представил в этой аудитории своего отца: так же как и театр, происходящее не оставило бы его равнодушным.

За полночь мы шли, разговаривая с несколькими студентами, как вдруг к нам присоединился молодой парень в военной форме, который до призыва во Вьетнам учился здесь.

— Вы не правы, ребята, войну можно выиграть. Я не шучу.

Поскольку не далее как в тот день я беседовал с Олзби и Жаном Лякутюром о том, что они недооценивают аппетиты Америки в этой войне, мне было интересно узнать мнение молодого ветерана.

— Надо отправить туда миллион человек.

Все рассмеялись — миллион человек!

Солдат иронически усмехнулся:

— Миллион человек — и баста. Готов спорить, этим все кончится. Правительство просто не понимает, но рано или поздно ему от этого не уйти. Только ровно миллион, а то опять ничего не выйдет.

Это сильно смахивало на тридцатые годы: оппозиция все предвидела, но не имела власти. В 1936 и 1937 годах существовала уверенность, что, если Франко проиграет, можно избежать новой мировой войны, поскольку демократическая Испания будет сдерживать Гитлера с фланга в случае его решения развязать общеевропейскую бойню. Однако англичане с французами испугались, решив, что демократия — это коммунизм-в-зародыше. Рузвельт устранился, Франко завершил поход в Мадриде, объявив о своей солидарности с державами оси Берлин — Рим, и вопрос начала войны стал просто вопросом времени. Испания с разных точек зрения явилась своего рода матрицей всех западноевропейских проблем на полвека вперед. Главная ложь заключалась в том, что тем самым как бы негласно признавалось, что демократия есть удел старых западноевропейских держав вместе с Соединенными Штатами, в то время как малые нации — испанцы, позже — иранцы, народы

Ближнего Востока и Латинской Америки — вполне могут довольствоваться правыми режимами. Любая угроза диктатурам на местах рассматривалась как клин, вбиваемый коммунистами. Нельзя же было всерьез рассматривать подъем демократических сил в какой-нибудь нищей стране, где подобные требования воспринимались как демагогия и обман.

В 1965 году, конечно, трудно было предположить, что потребуется пятьдесят тысяч американских жизней, прежде чем армейское руководство, конгресс, президент и большинство американцев осознают то, что в такой доступной форме излагалось на антивоенном семинаре. Отрицание очевидного в конце концов поставило нацию на колени, привело к чудовищному по глубине и масштабам разобщению молодежи. Однако три дня в Мичигане убедительно показали, что будущее не станет повторением тридцатых. Проходя мимо дома номер четыреста одиннадцать на Норт-Стейт-стрит, я вспомнил, что именно здесь тридцать лет назад написал свою первую пьесу, а в этой небольшой пиццерии в центре города двенадцать лет назад, в эпоху маккартизма, во время поездки от «Холидея» беседовал со студентами, боявшимися слово сказать, чтобы не получить ярлык радикала. Атмосфера семинара была в чем-то совершенно иной — где это видано, чтобы далеко за полночь в битком набитых аудиториях профессора говорили о том, что Соединенные Штаты помешали проведению во Вьетнаме демократических президентских выборов, в ходе которых, по-видимому, должен был победить Хо Ши Мин, и теперь американские войска призваны помешать осуществлению воли вьетнамского народа.

Спустя какое-то время организаторы зародившегося в те дни в Энн-Арборе движения против войны во Вьетнаме пережили кризис, сочтя свою деятельность бесплодной, ибо война, несмотря на их усилия, продолжалась еще десять лет. И все-таки я считаю, что семинар сделал свое дело, ибо разорвал пелену отчуждения и показал, сколь продажны те, кто управлял нами. В этом смысле ситуация чем-то напоминала кризис 1929 года. Лежа на койке в том самом общежитии, где тридцать лет назад провел свою первую университетскую ночь, я думал, сколько надо лишать страну живительной интеллектуальной мощи ее молодежи, чтобы что-то раз и навсегда в ней необратимо изменилось. Систола и диастола, радикализм, на смену которому приходит консервативное мышление, увлечение идеализмом, постепенно разъедаемое скепсисом, приятие мира таким, каков он есть, — сколько раз на протяжении жизни благородные порывы разбиваются о цинизм, прежде чем окрепнуть? Другими словами, сколь продолжительна свобода? Движется ли Америка по этому

пути вперед или медленно гибнет? О чем свидетельствуют подобные катаклизмы — о рождении или о смерти?

Первую из моих пьес, «Человек, которому всегда везло», поставленную на профессиональной сцене, вряд ли можно было соотнести с Депрессией тридцатых годов, хотя именно об этом в ней шла речь — о гнетущем ужасе краха и о чувстве вины за успех. В 1941 году, когда я начал писать ее, судьба тайно благоволила мне, хотя внешне это никак не проявлялось. Моему самолюбию льстили две Хопвудовские премии вкупе с намного более авторитетным признанием Комиссии по присуждению премий за новые пьесы, а также тысяча двести пятьдесят долларов, полученных по итогам общенационального конкурса, проведенного престижной Театральной гильдией Нью-Йорка. Эту премию я разделил с молодым драматургом из Сент-Луиса, который носил странное имя Теннесси Уильямс и почему-то представлялся мне не иначе как в штанах из оленьей кожи и с винтовкой через плечо.

Когда моя пьеса «Человек, которому всегда везло» в 1944 году дошла до Бродвея, она разочаровала большинство критиков, за исключением двоих (в Нью-Йорке в то время выходило семь ежедневных газет, в каждой из которых был раздел театральной критики). Надо заметить, что в иные времена пьеса, несмотря на недостатки, вполне бы могла выдержать конкуренцию. Однако в сороковые театр на Бродвее переживал так называемый классический период, что бывает с каждым видом искусства, когда в нем безраздельно господствуют сложившиеся штампы, несоблюдение которых грозит провалом. В те годы считалось, что нет ничего более безличностного, чем создание пьес: в конце концов, если у каждого персонажа существует своя точка зрения на общий предмет, драматург выступает в роли дирижера, который должен поддерживать порядок, а не проводить исподволь идеи, которые вдруг начинают звучать в финале. Ложная объективность воспринималась настолько глубоко, что в конце шестидесятых такой тонкий критик, как Уолтер Керр, мог позволить себе заявить, что зритель покинул театр оттого, что на смену развлекательному репертуару пришли пьесы с социальной и этической проблематикой. С этой точки зрения пьеса «Человек, которому всегда везло» была откровенно необъективной и в силу этого «искусственной». Хотя ни я, ни режиссер — милейший человек по имени Джо Филдс — так и не смогли понять, в чем заключалась ее искусственность.

Джо был сыном одного из участников известнейшего водевильного дуэта двадцатых годов Уэбер и Филдс. Брат

поэтессы Дороти Филдс, он сам написал множество нашумевших музыкальных комедий, и, казалось, его нельзя было упрекнуть в том, что на языке Бродвея называлось приверженностью к скрытым смыслам. В то время как его фривольно-фарсовый мюзикл «Пышечки» завоевывал все больший успех, он бродил по художественным выставкам или читал любимых французских авторов, отдавая предпочтение Шарлю Пеги, томик которого постоянно носил с собой в кармане. Поверив в мою пьесу, он по своей инициативе привлек к финансированию ее постановки основателя парфюмерной фирмы «Шарбёр» Герберта Г. Хэрриса.

Указывая на недостатки пьесы, критики в один голос ссылались на абсурдность сюжета: невероятно, чтобы такой блистательный нападающий, как Эймос Бивз, не мог пробиться в высшую лигу лишь потому, что не сумел сыграться с командой. Разве его трудно было научить этому? И тут в «Уорлд-телеграм» появилась большая статья бывшего спортивного обозревателя Бэртона Рэскоу, в которой он убеждал своих коллег, что ему довелось знать многих спортсменов, чья карьера оказалась загублена случайно привходящими обстоятельствами, и предрекал мне большое будущее. Я был смущен, получив первое профессиональное признание за то, что хорошо разбираюсь в бейсболе.

Серьезную поддержку мне весьма неожиданно оказал Джон Эндерсон, обозреватель одной из реакционных бульварных газет Херста «Джорнел американ». Он пригласил меня в бар нью-йоркского Атлетического клуба поговорить о пьесе. До этого я в глаза не видел ни одного живого критика. Ему было чуть больше сорока, это был красивый мужчина, одетый в безукоризненно сшитый костюм, и крайне серьезный. В пьесе ему почудилось что-то недосказанное.

— Какой-то странный мир теней, — сказал он, — стоит за действующими лицами, область тьмы, которая позволяет думать, что вы собирались написать трагедию. Над пьесой довлеет завеса мрака, и это предвещает трагический финал.

Я заверил его, что вообще больше не собираюсь писать.

— Это моя пятая или шестая пьеса, и, как видите, я ничего не достиг.

Эндерсон опустил глаза. Если мне не изменяет память, у него были волнистые каштановые волосы и серьезный задумчивый взгляд.

— Вы написали трагедию, но в стиле народной комедии. Вам надо осмыслить то, что вы сделали.

Это была первая из моих трех или четырех бесед, которые я имел за всю свою жизнь с критиками. После этого я три года не

садился за пьесы, опубликовал свой единственный роман «Фокус», однако все время бережно хранил в памяти его слова. Через три месяца после нашей беседы Эндерсон скоропостижно скончался от менингита.

Он задал мне еще один вопрос, который до сих пор не выходит из головы.

— Вы верующий? — спросил Эндерсон.

Отличаясь внутренней глухотой к самому себе и к тому, что мне подсказывало собственное творчество, я счел его абсурдным. Что там ни говори, а «Человек, которому всегда везло» — атеистическая пьеса: силам небесным здесь противопоставлялась личная доблесть и путь к спасению открывался в труде. Однако драматическое произведение, если дать ему жить по его собственным законам, несет в себе нечто большее, чем предрассудки или ограниченность автора. Истина заключалась в том, что действие пьесы неумолимо требовало трагической гибели Дэвида, а мой здравый смысл не допускал этого. В начале сороковых годов подобный финал казался мне обскурантистским. Действие пьесы сродни поступкам человека, которые говорят о нем больше, чем слова. Она несла в себе отчаянный порыв Дэвида познать себя, стремление разорвать космическую тишину, которая единственная дарует веру в этой жизни. Иными словами, Дэвид преуспел в накоплении сокровищ, которые оказались ему не нужны, и их поразила ржа. Этот парадокс стал краеугольным камнем, который лег в основу всех моих последующих пьес.

Стоя во время спектакля в глубине зала, я выдержал только одно представление «Человека, которому всегда везло». Винить было некого. Постановка напоминала грубую заплату или музыку, которую исполняют не на тех инструментах и не в той тональности. Я понял, что это моя последняя пьеса и я никогда не буду их больше писать. Распрощавшись на последнем представлении с актерами, я с чувством огромного облегчения добрался на метро до дома и прочитал о массированной бомбардировке союзнической авиацией захваченной нацистами Европы. Хоть где-то что-то было реальным.

* * *

Стоит подумать о религии, я тут же вспоминаю, как впервые услышал о марксизме. Погожим днем осенью 1932 года, обуреваемый сомнениями, я отправился в синагогу на М-авеню. Надо сознаться, меня привели туда поиски Бога. Прошло несколько лет, как я с большим успехом произнес во время bar mitzvahs речь, заслужившую высокую похвалу отца: «Ну, отхватил!» Меня мучили приступы пробуждавшейся чувственности, и синагога стала ассоциироваться с тем чудным днем, когда я утвердил себя, пусть даже хотя бы в слове. В храме, свидетеле моего триумфа, у конторки сидели три старика-зануды и курили турецкие папиросы. Они отрешенно посмотрели на меня, когда я попытался объяснить, что пришел поговорить о Боге. Их это явно не интересовало, они жили другим: бюджетным дефицитом здания, тем, что храм посещает все меньше народу, разными бытовыми проблемами. Поскольку, по-видимому, ни один отрок до меня посреди недели не донимал их такими вопросами, они были потрясены. Придя в себя, старики переглянулись, будто ища друг у друга поддержки, а потом один из них предложил мне прийти в субботу, когда будет служба. Я знал, что службы носят формальный характер и помогают скорее тем, кто уже решил для себя вопрос веры. Я же нуждался в слове, которое дало бы возможность одолеть внутренний разлад и принесло бы покой, помогло стать таким, как все.

Ничего не оставалось, как плестись домой за два квартала. На душе было горько и тягостно. Дом всегда значил для меня очень много. В дождь, когда нечего делать, я любил пылесосить ковры, клеить расшатавшиеся ножки стульев, а весной сажать во внутреннем дворике, где попадалась масса слегка присыпанных землей консервных банок и старых ботинок, тюльпаны. Возился я обычно поблизости от сетки футов в десять высотой. За ней жил в конуре Рой, волк, которого наши соседи Линдхаймеры держали на цепи. Это был самый разнастоящий волк. Его выгуливал мистер Иган, в цилиндре и высоких ботинках, тесть Линдхаймера, у которого на стоянке у отеля «Плаза» стоял роскошный старинный экипаж. Одной рукой он держал Роя на толстой цепи, а в другой сжимал хлыст — если тот делал малейшее движение вправо или влево, хозяин со спины огревал его кнутом промеж глаз.

Однажды днем я возился с тюльпанами, как вдруг обратил внимание, что стоит необыкновенная тишина: Роя за оградой не

было. Разогнувшись, чтобы дать отдых спине, я боковым зрением увидел, что он отвязался и стоит сзади меня, вокруг ни души, и он напряженно наблюдает за моими действиями. Я замер. Мы обменялись долгим взглядом. Я понял, что стоит пошевелить пальцем на черенке лопаты, как он вопьется мне в горло. Кажется, я даже не моргал. Прошла вечность, прежде чем, успокоившись, он отвернулся, слегка сбитый с толку, обошел их гараж и вернулся в конуру. Еле переставляя ноги, я осторожно проскользнул в подъезд и позвонил соседям. Плотная миссис Линдхаймер, преподаватель плавания в старших классах школы, вышла во двор и привязала его. У этой широкоплечей дамы был такой вид, как будто она не знала счастья. Мистер Линдхаймер занимался оптовой торговлей мясом — казалось, они оба набиты им. Их семья только что купила новенький роскошный «паккард», но машина оказалась всего на три-четыре дюйма уже, чем гараж. Миссис Линдхаймер стукнула ее, выезжая задом. И гневалась: внутри гаража нельзя открыть дверцу, чтоб выйти. Когда ей наконец удалось выехать на улицу, это было сделано так громогласно, что у нас в квартире посыпалась штукатурка, а на только что выкрашенном заборе осталась полоса. Похоже, миссис Линдхаймер не устраивало, что наши дома расположены слишком близко. Когда бы я ни встречал ее на улице, меня всегда тянуло извиниться. Но я не был обуреваем жаждой мщения и не хотел, чтобы она утонула.

Не менее важную роль в моей жизни играла печка. Тут тоже был свой секрет: как угадать, насколько задвинуть заслонку, чтобы печь не выстудить до утра. Я очень любил, когда синие язычки пламени ровно пробегали по черным угольками, а не вспыхивали в каком-нибудь углу, значит, печь прогорела и все превратилось в пепел. Огонь тлел, пока не угасал последний всплеск, и тогда в печи оставался самый лучший уголь, который надо было по кусочкам осторожно выбрать из золы.

Я любил смотреть, как к дому подъезжает груженый грузовик и водитель ссыпает уголь в подвал, время от времени ударяя по кузову, чтобы он с приятным шуршанием весь сполз в приготовленную для него тару. Если бункер был полон, значит, мы долго будем жить в тепле.

Какая радость была спуститься в четыре утра в подвал и посмотреть, как обстоят дела с печкой, чтобы убедиться, что она держит тепло и, значит, на сей раз я справился со своей задачей. А по дороге в пекарню за квартал с небольшим от дома, шествуя в шерстяных вязаных носках поверх теплых брюк с отворотами, испытать блаженство, что родные спят в тепле и уюте.

Пекарь был дружелюбный, хотя и нервный человек,

страдавший избыточным весом и одышкой. Раскладывая рогалики, халы, ржаные хлебцы по пакетам из коричневой плотной бумаги, он помнил вкус и выбор каждого клиента. А затем, усердно налегая на карандаш, который от этого быстро тупился, огрызком выводил адреса, неразборчиво записанные на отдельном листочке. Я плотно закручивал пакеты сверху и аккуратно ставил их в огромную металлическую корзину, укрепленную на руле над передним колесом специального грузового велосипеда. Какое удовольствие было весной или осенью накручивать педали по пустынным улицам спящего города. Казалось, слышишь, как мирно посапывают в домах люди, — меня уже томили желания, но я не помышлял, что в этот час кто-то кого-то любит, я просто даже не думал об этом. Притормозив у электрического столба, я слезал с велосипеда и с помощью фонарика отыскивал нужный пакет, аккуратно водружая его на заднем крыльце дома около кухонной двери. В дождь, если у клиента не был приготовлен обитый жестью деревянный ящик, приходилось выискивать для него какое-нибудь укромное место, но такое бывало редко.

Зимой температура в этот утренний час порой не поднималась выше нуля, и в надежде согреться за мной вереницей тянулись коты. Они терлись о брюки и, задрав морды, истошно кричали, так что от их жалобных воплей у меня мурашки ползли по спине.

Случалось, Оушн-Парквей в шесть рядов шириной покрывалась тонкой корочкой льда, скользкого, как поверхность деревенского пруда, и можно было видеть, как одинокий таксист крутит руль и жмет на тормоза, чтобы спасти машину от аварии на пустынной дороге. Как-то раз в половине пятого утра мне довелось наблюдать дуэт двух машин, которые, выписывая сложные пируэты, пытались приблизиться одна к другой, одновременно стараясь не разбиться. Порой бывало так скользко, что я слезал с велосипеда и всю дорогу шагал пешком. Однажды велосипед опрокинулся, пакеты разлетелись: халы, как хоккейные шайбы, устремились куда-то в темноту, булочки и ржаные хлебцы рассыпались по тротуару и выскочили на проезжую часть. Пришлось отыскивать их с помощью карманного фонарика, а затем раскладывать по пакетам, с трудом припоминая, где сколько чего лежало. Когда я вернулся в пекарню, телефон разрывался: клиенты хотели узнать, что делать с четырьмя булочками и двумя халами, когда заказывали всего по три штуки того и другого. Было столько негодования, что казалось, трубка взорвется, и я испугался, что потеряю работу, но булочник отнесся ко мне с пониманием.

Как и в детстве, велосипед, олицетворяя женское начало, оставался моим утешением, боевым конем, который нес в неизвестность, где за поворотом как по волшебству я должен был наконец обрести себя — чистая эктоплазма, и ничего больше. Однажды я притормозил у аптеки мистера Дозика и, не слезая с велосипеда, стал смотреть, как четверо мальчишек, разбившись парами, играют в козла, прыгая через большой мяч, отскакивающий от стенки. Их окружало с дюжину болельщиков: кто подбадривал, кто давал советы, кто украдкой пытался соблазнить чью-то сестру, кто раздумывал, как утащить копеечную конфету в кондитерской у мистера Рубина, а если не удастся, то по крайней мере сходить с бойскаутами в военизированный поход в Ньюбург. Я сидел на велосипеде расставив ноги и не отрываясь следил за игрой, время от времени прислушиваясь к разговорам. При всей увлеченности игрой в душе жил страх за себя и родных.

К осени 1932 года в нашей семье его уже никто не скрывал. Пятьдесят долларов в месяц по закладной и то стали обузой, поэтому брату пришлось бросить Нью-Йоркский университет и начать помогать отцу, который открыл очередное предприятие по пошиву пальто, обреченное, как и раньше, на неудачу. В доме витало ощущение бесперспективности и отсутствия лидера; у отца появилась привычка, стоило ему вернуться домой, тут же ложиться вздремнуть. Если я случайно попадался ему на глаза, он обязательно спрашивал: «Интересно, что ты собираешься делать?» В жизни, надо понимать. Мне же больше всего хотелось петь на радио, стать известным, как Кросби, и загребать миллионы. Надо сказать, к тому времени, когда я окончил школу, у меня появился подходящий импресарио, коренастый сосед, любитель сигар, по имени Гарри Розенталь, который пристраивал продюсерам песни и мог по случаю устроить петь в какой-нибудь ресторан.

Мой высокий, поставленный, по его мнению, слегка на «ирландский» манер тенор был вполне пригоден для исполнения баллад, особенно если это был Ирвинг Берлин. Мне же казалось, что с таким репертуаром я становлюсь похож на Эдди Кантора, который в моих глазах никак не тянул на профессионала. И все-таки Розенталь однажды потащил меня на метро в Брилл-Билдинг на Бродвее, в центре Тин-Пэн-Элли, около 50-й улицы на Манхэттене, на прослушивание. Все этажи были сплошь в небольших комнатах, и в каждой стоял рояль с открытой крышкой, чтобы можно было сесть и наиграть продюсеру новую мелодию. Звуки легко проникали сквозь плохо изолированные стены, так что в студии было слышно все, что происходило на этаже. В этом аду я попытался спеть трогательную балладу

Лоренца Харта, одну из моих самых любимых песен. Меня слушал какой-то малоинтересный человек с потухшим взором, которому в силу незначительности моего положения даже не сочли нужным представить меня. Я едва мог разобрать собственный голос, был зажат, пел плохо, а в середине куплета подумал — что я здесь вообще потерял? Нет, это было явно не для меня, хотя Розенталь все-таки устроил мне пятнадцатиминутное выступление по Бруклинскому радио — бесплатно, конечно. Мне дали слепого аккомпаниатора, которого так замучила эмфизема, что, казалось, это можно было услышать по радио, а его скрюченные артритом пальцы с трудом извлекали отдельные звуки — суставы так закостенели, что он мог брать только один аккорд. Он был весь в сигаретном пепле, с полдюжины волосинок смочены по случаю выступления и зачесаны поперек головы. Его тронуло мое пение, и, когда мы записали вторую, как оказалось, последнюю, программу, он посоветовал мне подавать себя «как молодого Эла Джолсона», что, на мой взгляд, было немного чересчур, но не так чтобы очень.

Однако моей певческой карьере быстро наступил конец. В шестнадцать лет я впервые задумался, о чем пою, и был весьма озадачен, что почти в каждой песне говорится о любви мужчины и женщины. Пылко и страстно исполняя музыкальные поэмы, я не имел ни малейшего представления, чт***о*** за этим стоит, — в моем сознании это были сладкозвучные упражнения для голоса, которые с таким же успехом могли быть написаны на чужом языке. По тексту же я обращался к девушке, и не как-нибудь, а со словами: «О, если б ожил твой портре-е-е-ет…» Это было выше моих сил и навсегда отбило охоту петь, по крайней мере профессионально. К тому времени, когда я постиг смысл того, о чем шла речь, я уже окончательно потерял голос.

Как любой поворот судьбы, моя встреча с Марксом произошла в тот день у аптеки Дозика до нелепости случайно и сохранилась в памяти отчетливо, как картина. Мяч глухо ударялся о кирпичную стену, что должно было быть сущим наказанием для безобидного хозяина аптеки, у которого время от времени разбивали большую стеклянную витрину, и он к тому же был вынужден бесплатно поить лимонадом со льдом всю ораву. Аптекарь был тщедушный человек в очках с толстыми стеклами и писклявым голосом и не мог отказать испытывавшим жажду детям. Кончилось тем, что ему пришлось убрать автомат с газировкой, а когда и это не помогло, вывесить огромную, шесть на десять футов, металлическую пластину с рекламой популярного лимонада «Мокси», которым он стал торговать в бутылках. Прикрепленная к стене доска толщиной в несколько

дюймов причудливо меняла направление мяча, который отскакивал совсем в другую сторону, но мы ловко приспособились, маневрируя, будто ее вовсе не было. Конечно, когда кто-нибудь попадал, она дребезжала, и запыхавшийся Дозик появлялся в дверях, Христа ради упрашивая оставить рекламу в покое, а мы вежливо извинялись и старались играть поаккуратнее. Вдобавок ко всему он накладывал нам швы на раны, в самый ответственный момент операции заявляя, что не имеет права даже браться за это. «Я же не специалист», — восклицал он, когда какой-нибудь окровавленный пацан вваливался к нему с улицы, как это однажды произошло с моим братом — бросившись за мячом, он головой попал в боковое стекло проезжавшего мимо «форда» и чуть не потерял левое ухо. Двадцать лет спустя, во время спектакля «Смерть коммивояжера», аптекарь прислал мне восторженную записку, не надеясь, что я помню его, как будто его можно было забыть, особенно после того, как он пришивал распластавшемуся на банкетке в задней комнате аптеки Кермиту ухо. (По соседству находилась крошечная пошивочная мастерская другого тщедушного еврея, мистера Фукса. За один доллар он отпускал брюки или вставлял ластовицу, чтобы они клешили, закрывая ботинки, — в этом районе вообще шили многие.)

В тот день все было спокойно, улица залита солнцем, я сидел на велосипеде, наблюдая за игрой, а мальчишка постарше, имя которого я не помню, оказавшись рядом, рассказывал мне, что в обществе тайно существуют два класса: рабочие и предприниматели. Повсюду в мире, включая, конечно, Бруклин, зреет революция, которая преобразует каждую страну. Все будет производиться на пользу делу, а не ради чьей-то выгоды, всего будет намного больше, и повсюду восторжествует справедливость. На его лице читалось только одно: я студент колледжа. Почему для своих откровений он выбрал именно меня? Как догадался, что я благодатная почва для его заумных несусветных теорий? Я сразу раскусил его и, не желая подыгрывать, сказал: «Все станет шиворот-навыворот?» — поскольку в нашей семье рабочих всегда считали помехой: как ни были они нужны, но всегда только мешали большому бизнесу. Жизненные устои были крепки, поэтому не только мой дед Барнет, республиканец, негодовал, с чего вдруг Рузвельту вздумалось оспаривать право президента Гувера еще на один срок, но даже я разделял эти мысли. Истина, надо полагать, заключалась в том, что по своей сути мы были роялистами — власть для нас имела особый авторитет и была осенена каким-то высшим смыслом.

Прошло немало времени, прежде чем я осознал, какой толчок моей душе дала встреча с безвестным студентом колледжа. Для меня, как для миллионов молодых людей тогда и теперь, теория бесклассового общества имела обезоруживающую привлекательность, так как была созвучна благородным порывам юности. Истинное предназначение человека казалось несовместимым с системой конкуренции, взаимной ненависти и потворства им, что раньше меня совсем не трогало. Жизнь может быть товарищеским объятием, и люди вместо того, чтобы подсиживать друг друга, будут стремиться помогать один другому. В тот день мои мысли кардинально изменились, причем это наложило отпечаток на все мироощущение, в частности на взаимоотношения с отцом. Ибо глубоко внутри идеи марксистского товарищества лежит отцеубийство. Для тех, кто физически созрел для этой стародавней авантюры, насилие, которое проповедует марксизм, дарует эйфорические перспективы: превознося рациональное, он отметает сдерживающие эдиповы страсти запреты, маскируя жестокость под общечеловеческий идеал. Это напоминает обращение Иисуса к ученикам оставить отца-мать своих и следовать за ним, ибо воистину невозможно служить двум господам — в этих словах тоже кроется скрытый намек на отцеубийство.

Никогда в жизни я не повышал голоса на отца, так же как и он на меня, ни тогда, ни позже. Я отлично понимал, что сержусь не на него, а на то, что он не может выкарабкаться из постигшего его кризиса. Поэтому у меня было два отца, настоящий и выдуманный, причем последнего я не признавал за то, что он не знал, как преодолеть это всеобщее горе. Я хотел помочь ему и жалел, наблюдая, как сначала исчез шофер, потом продали семиместный «нэшнл», а затем пришла очередь дачи. С этого началась тоска по прошлому и ощущение нереальности настоящего, которое опутало нас наподобие старой виноградной лозы: она росла из ковра в гостиной, и стоило ее уничтожить, она через день появлялась вновь. Отец, который никогда не жаловался и предпочитал вообще не говорить о своем бизнесе, просто стал еще молчаливее, еще больше спал днем, и, казалось, у него пересохло во рту. Я чувствовал, как мама злится на него за то, что он потерял былую силу, — когда рушится система, люди начинают искать источник своих бед в недостатках ближнего, точно так же, как древние правители казнили гонцов, принесших недобрую весть. Нас с внешним миром связывал отец, и каждый вечер он приносил плохие известия. Я, похоже, рано усвоил отношение матери к его неудачам, ее раздражение, когда

разразилась беда, и удивление, что ситуация все ухудшается. Это вылилось в презрительное третирование его, которое постоянно слышалось в ее голосе.

С другой стороны, она энергично взялась за дело, желая спасти нас, урезала все расходы и аккуратно вела хозяйство, которым до этого никогда не занималась всерьез. Когда умерла ее мать, нас ничто не удерживало в Гарлеме, мы переехали в Бруклин, поначалу заняв половину вполне приличного дома на две семьи, с большой крытой верандой и просторными комнатами, а потом скатились еще ниже, переселившись в небольшой дом из шести комнат на Ист-Терд-стрит, который стоил пять тысяч долларов и был в основном приобретен под заклад. Вряд ли было возможно жить экономнее, чем мы, но в 1932 году маме приходилось месяцами задерживать выплаты по закладной, очаровав какого-то клерка в банке на Кингс-Хайвей. К началу тридцатых она заложила и распродала все свои драгоценности, за исключением бриллиантовой броши ее матери и нескольких свадебных подарков, с которыми отказывалась расстаться как с последней надеждой, подобно тому как нельзя съесть семенной фонд будущего урожая.

Если бы я мог полностью разделить ее разочарование в отце, моя жизнь, наверное, была бы проще и все оказалось бы не так болезненно. Но я переживал, что она избрала его мишенью, ибо любил отца за мягкость и теплоту не меньше, чем ужасался его необразованности. Критикуя, мама никогда не была прямолинейна и однозначна. Она могла неожиданно отмести все свои доводы и, прозрев, раскаяться и признать: то, что произошло с отцом, могло случиться только с человеком, обладавшим достоинством и благородством. Из любви ко мне и ко всем нам она исподволь наивно настраивала нас против нас самих, ибо верила — и заставила уверовать в это меня, — что, получив образование, человек не может не справиться с такой ситуацией. Почему отец не мог выбраться из нее? Его себялюбивая мать отправила ребенка на заработки, когда ему еще не исполнилось двенадцати, и каждую субботу он приносил недельную выручку и клал ей на стол. Моя мать ненавидела свою свекровь, жившую во Флэтбуше в большом старом доме в двух милях от нас, которая, по-видимому, и знать не знала, что наступили тяжелые времена, а через нее всю женскую породу, которая только и существует, чтобы высасывать из мужчин жизненные силы. Хотя в зависимости от настроения, в котором просыпалась по утрам, допускала некоторые исключения. Во всяком случае, для нее в этом не было никакого противоречия. Ее могли до слез растрогать стойкость и благородное терпение мужа, а через час

она заявляла, что он полный болван. Мы то молились на президента Гувера, честного квакера, как и все, оказавшегося в конце концов жертвой Депрессии, то кляли этого сукина сына, который, вы только представьте, продолжал утверждать, что вот-вот наступит всеобщее благоденствие, когда люди, он что, не видит, только что с ума не сходят, и не когда-нибудь, а именно теперь? Из-под двери тянуло непроглядным отчаянием — к концу 1932 года возникло опасение, о котором дома боялись говорить вслух, что, возможно, придется выехать даже из этого курятника. И что тогда?

Часто можно услышать, что от революции в разгар Великой депрессии Соединенные Штаты удержало только то, что американцы скорее склонны осуждать себя, чем систему. Вина тонким слоем припорошила плечи отцов-неудачников, и часть из них так никогда и не смогла оправиться, восстановив чувство собственного достоинства и уверенности в себе. Их жизнь превратилась в медленное угасание, и так до самого конца. В начале тридцатых, через год или два после начала Депрессии, газеты сообщали, что в одном Нью-Йорке уже насчитывалось около ста тысяч человек, которые пережили такую психологическую травму, что никогда не смогут работать. Вопрос упирался не только в то, как их прокормить, — они потеряли надежду, стимул к жизни, способность верить в будущее. Арчибальд Маклиш писал, что Америка — это страна надежд, а Великий кризис был не чем иным, как глубочайшим крушением надежды.

Если в переносном смысле марксизм служит обоснованием отцеубийства, то я видел возможность с его помощью простить отца, ибо он представлялся песчинкой в космической катастрофе, которую оказался не в силах преодолеть. Однако ему, бедняге, надо было растолковать все это, объяснить, что он потерпел фиаско не по своей вине. В ответ на мои нравоучения он выдвигал неубедительные и бездоказательные факты, все более раздражая меня своей глупостью.

— Послушай, — говорил он, — ну как это, если не будет прибыли…

— Прибыль — зло, прибыль никому не нужна, — наскакивал я на него молодым петухом.

— Да, но тогда где брать средства, чтобы вкладывать в производство? Кто заплатит, чтобы старое оборудование, например, заменить новым? А если неудачный год, как продержаться, пока все выправится?..

Еще раз мне довелось услышать эти неопровержимые аргументы в Китае полвека спустя, когда китайцы пытались

наладить свою экономику после десятилетий жизни при Мао Цзэдуне, отрицавшем прибыль как таковую.

Депрессия была не только следствием, но и причиной подобного рода конфликтов отца с сыном. Много позже я обратил внимание на то, что у многих писателей отцы оказались неудачниками или по крайней мере они их так воспринимали. Фицджеральд, Фолкнер, Хемингуэй (чей отец покончил самоубийством), Томас Вулф, Стейнбек, По, Уитмен, Мелвилл, Готорн, Чехов и Достоевский, Стриндберг — список слишком внушителен, чтобы признать это идиосинкразией. Как ни разнятся эти писатели между собой, их объединяет стремление не просто описать действительность, которую они видят вокруг себя, но создать собственную космогонию. Осуществление этой затеи порождает новое восприятие мира, увиденного сквозь призму их взгляда. Единственное, чем американские писатели отличаются в этом ряду от своих европейских собратьев по перу, — это отсутствие перспективы великих революций, будь то в социальной, религиозной или политической сфере. Среди американцев один только Стейнбек касается в своем творчестве политических и революционных моментов, ибо как художник сформировался в тридцатые годы и принимал участие в общественной борьбе на Западе. Кажется, нигде в мире писатель не может работать так, как в Америке, где язык как бы не имеет прошлого и художник, предоставленный самому себе, каждый раз должен начинать все сначала, от сотворения мира, и давать имена всему. Писатель всегда Кортес, взирающий с легендарной горы, всегда Колумб на вздымающейся палубе корабля, который за океанскими просторами слышит шум невидимого прибоя у еще безвестной земли. Писатели других стран могут опираться на авторитет кумиров юности, будь то Стриндберги или Тцара, Толстые или Во, считая за честь и в то же время полагая своим долгом поддержать традицию. Американские же писатели возникают сами собой, будто из воздуха или из-под земли, как бы зачинают и порождают сами себя вроде бизнесменов, не пользующихся их уважением. Такое впечатление, будто они безотцовщина, от которых отказалось прошлое, которое они, в свою очередь, отрицают. Поэтому здесь не так важно написать Великий американский роман или пьесу, но главное — написать лучший.

В те времена я еще не мог разобраться, но чувствовал, что Депрессия только отчасти связана с деньгами. Скорее это была моральная катастрофа, неожиданный взрыв, открывший ложь и лицемерие за фасадом жизни американского общества. Вот почему для тех, кто тогда, как и теперь, придерживался левых

взглядов, факты играли второстепенную роль. Ничто так не ослепляет и не порождает иллюзий, как моральное осуждение. Отрочество своего рода болезнь, которую излечивает время, подвижная плазма, которая не имеет формы, но, если это совпадает с тем, что общество в этот момент тоже теряет форму и старые авторитеты оказываются низвержены и отринуты, единственной возможностью повзрослеть остается радикализм. Объявляя, что все существующее ложно и тщетно, марксизм расчищает площадку для возведения новых симметричных структур, олицетворяющих освобождение закованных в цепи сил разума, на которые он делал и делает ставку. Выступая как враг религии, марксизм затронул в моей душе те струны, которые затронула вера, открыв возможность присоединиться к числу избранных, что всегда увлекает религиозные массы. Спящие пробудились, их пение — глас будущего; когда их призовут, они принесут не мир, но меч. Через два десятилетия после той роковой игры в мяч я, копаясь в архивах салемского Исторического общества, просматривал материалы судебных дел за 1692 год, как вдруг отчетливо услышал голоса судей-вешателей, которые едва ли разобрал бы, не переживи я чувство восторга от сознания, что являюсь носителем абсолютной истины. Более того, я вообще бы никогда не добрался до Салема, если бы не встретился с Марксом во время той игры в мяч.

Ощутив, что такое дух истины, я дома стал просто невыносим, пока кто-нибудь из домашних не соглашался выслушать мои длинные тирады. Однако отец постоянно впадал в дремоту, а брат, разделяя мои взгляды в общем и целом, был слишком занят делом спасения отца, которого романтически представлял падшим колоссом. Кермит все же намеревался восстановить фамильное состояние или хотя бы какую-то часть его, прежде чем капитализм совсем отомрет. Это представлялось отдаленной перспективой, ибо все знали, что с предложением национализировать банки к Рузвельту обратились не радикалы, а именно Ассоциация банкиров, которые были уже не в силах контролировать ситуацию. Конечно, это выглядело немного странным на фоне революционных событий двадцатого века, но мы были не одиноки, легковерно допуская возможность одновременного толкования реальности в разных ключах. По мере того как становилось ясно, что это не отступление капитализма начала двадцатых годов, и настойчивые призывы Рузвельта к новоиспеченным государственным конторам способствовать разрешению наиболее острых проблем безработицы не давали видимого эффекта в виде роста объема продукции, вопросы глубоких социальных изменений перестали

быть достоянием интеллектуальной среды и превратились в расхожую тему дня. Дальше так продолжаться не могло. Есть предел тому, сколь долго корабль может пролежать в дрейфе, ибо наступает момент, и команда, устав, начинает изыскивать возможность надуть паруса.

Хозяина скобяной лавки, известного в округе тем, что ему перевалило за тридцать, а он не был женат, никто не именовал «Глик» или «Гарри», а только «мистер Глик». В Бруклине, по крайней мере в этом районе, все были женаты. Но рыжий, физически крепкий, если не считать близорукости, мистер Глик, казалось, был полностью удовлетворен своим холостяцким бытом: он жил в квартире над собственной лавкой на М-авеню, где сам жарил себе рыбу. Когда торговля не шла, он любил расположиться у входа на солнышке на складном стуле и, кивая, иронически подмигивать вслед прохожим, едва заметно улыбаясь. Все лавки в округе давно были закрыты, а его скобяной магазинчик еще дышал. Наверное, потому, что Глику несли ремонтировать старые вещи. У меня к тому времени возник жадный интерес к инструментам, и я любил околачиваться там вместе с другими ребятами, среди которых выделялся Сэмми-монголоид, самый близкий ему по духу человек. Ему тоже перевалило за тридцать, и он знал всех, кто ютился в маленьких домах по соседству, но называл их не по именам, а по номерам телефонов.

— Слышь, Дьюи девяносто шесть пять пять семь, а?

— Чего?

— Да замуж выходит. За Наварру восемьдесят три два восемь ноль.

На что Глик, делая вид, будто возмущен, отвечал:

— Надо же, а куда Эспланаду семьдесят четыре пять семь девять дели, а?

— Да их уже незнамо сколько не видели вместе.

— Не знаю, не знаю, — отвечал Глик, — мне как раз сказали, что Дьюи девяносто шесть пять пять семь ходит с Наваррой восемьдесят три два восемь один.

— Скажешь тоже! Три два восемь один — девчонка!

— Вот еще выдумал, девчонка! С каких это пор?

— Ну дает, с каких это пор! Все с тех же!

У Сэмми появлялось такое выражение лица, будто он вот-вот расплачется, но Глик был неумолим и не отступал, не доведя разговор до последнего. В таких поддразниваниях проходил весь день. И пока я не понял этого, неизменно, проходя мимо его магазинчика на 5-й улице, попадался на один и тот же вопрос:

— Как там на 3-й улице, идет дождь?

— Да нет, там, как здесь.

— Надо же!

Женщины представляли для него заветный плод — он любил подтрунивать над их легковерностью. Этот район напоминал большую деревню, границы которой были скрыты для посторонних, но при этом оставались не менее устойчивыми и прочными. В основном все занимались тем, что пребывали в переживаниях, по крайней мере большинство было озабочено этим значительную часть дня. По тротуару ходили в шлепанцах, ибо не привыкли надевать обувь, отправляясь к соседу за бумажной салфеткой или банкой сардин. В теплую погоду домохозяйки выплывали неглиже в распахивающихся халатах, что вызывало у Глика прилив остроумия. Мы с мальчишками с непроницаемым видом подыгрывали ему при этом, как могли.

В мастерскую заходит женщина с электрорашпером, бросает его на стойку и говорит:

— Он не работает.

— Как — не работает?

— Что значит «как не работает»? Не жарит, мистер Глик, и все, — отвечает она, запахивая неглиже.

— Может быть, вам холодно? Я подпущу тепла. Как-никак, вы у меня дома.

— Какой там «холодно», на дворе июль!

— Извините, когда я вижу вас, я все забываю. Так что у нас произошло с рашпером? Вы говорите, не жарит?

— Да, он не нагревается.

Глубоко и многозначительно глядя ей в глаза, Глик говорит:

— И вы не знаете, что с ним делать, чтобы согреть его?

— Послушайте, мы говорим об электрорашпере.

— Конечно, дорогая. Неужели вы забыли, что я советую делать в такой ситуации?

— Я так и сделала — я вставила его в розетку.

— Ах, вы все-таки вставили? — Он еще ниже склоняется над ее вырезом.

— Он немного нагрелся, и все.

— Скажите, что на вас было в тот момент?

— Как — что? Какой-то халат!

— Электрорашперы, понимаете ли, весьма чувствительны.

— Может, они чувствительны, но я не собираюсь готовить без ничего.

— Вы не поверите, если я расскажу, что происходит у нас в округе. Ко мне уже приходили с жалобами несколько женщин — только, пожалуйста, без имен — и, стоя вот здесь, на вашем

месте, клялись, что, когда готовят, снимают с себя все до нитки.

— Кто это к вам мог приходить?

— Ну вот, теперь ее интересует, кто приходил. Блондинки, брюнетки, шатенки — и все жарят без ничего.

— Вы что, с ума сошли! По-вашему, я должна жарить голая?

— Это как вы решите. Скажите, что вы туда совали?

— Что я совала? Котлеты, гамбургер…

— Ах, гамбургер!

— Гамбургер. А что?

С глубоко опечаленным видом он, покачав головой, поворачивает жаровню и указывает на номер страховой компании.

— Видите, на конце цифра девять? Знаете, что это означает?

— Нет, откуда я знаю?

— Если страховка кончается на девятку, значит, нельзя жарить гамбургер. Но ради вас, — продолжает он, не давая ей возразить, — я пойду и сию же минуту его поменяю.

— …Да я ничего такого не делала.

— Дорогая, такая женщина, как вы, не может сделать ничего этакого.

Доставая новый электрорашпер, он становится серьезным.

— Это улучшенная модель, можете спокойно ею пользоваться не одеваясь.

— Вы что, с ума сошли? Я себе такого никогда не позволю.

Он прерывает ее знакомой иронической усмешкой:

— Не принимайте близко к сердцу, не заставляйте меня страдать.

Обескураженно улыбнувшись, она говорит:

— Страдать из-за меня?

— Да, ведь у вас муж?

Она наконец все понимает, дает ему легкую пощечину и, прихватив под мышку новую жаровню, удаляется, шаркая домашними шлепанцами.

Через несколько лет я весной шел мимо скобяной лавки из колледжа и увидел мистера Глика на прежнем месте с коляской, а в дверях стояла такая же рыжая, как и он, невысокая коренастая женщина. Еще раз мне довелось побывать здесь через много лет, когда Гарри Раски снимал обо мне для Си-би-эс документальный фильм. Магазинчика уже не было. На его месте стоял доходный дом, да и на нем уже лежали следы времени.

Мелкие торговцы вроде мистера Глика большую часть времени проводили перед своей лавочкой в ожидании посетителей. И все равно они были счастливцы, ибо вокруг поперек пустующих витрин красовалось «Сдается внаем» и не

было жилого дома, где бы не висело объявление о наличии пустующих квартир. Семьи росли, женатые дети возвращались к родителям уже со своими собственными детьми. По соседству разыгрывались острые футбольные баталии, в которых участвовали ребята лет двадцати и старше — те, кто потерял работу, а то и надежду ее обрести. Они целыми днями гоняли мяч, как подростки, покупая по одной сигарете «Кэмел» или «Лаки» по центу за штуку в кондитерской у Рубина на М-авеню. Церемоний, связанных со вступлением в совершеннолетие, люди старались не замечать. Когда я заканчивал в 1932 году школу имени Авраама Линкольна, мои родители не пришли на выпускной вечер. Но я и не ждал их, ибо, получив среднее образование, стал всего лишь одним из многих в длинной очереди безработных. Поговаривали, что устроиться продавать галстуки у Мейси можно было, только имея степень магистра.

Если существует типично национальное времяпрепровождение, то люди тогда предпочитали околачиваться на улице, стоя где-нибудь на углу или посреди пляжа в ожидании, не появится ли что-то из-за поворота. По вечерам, еще когда я не осознавал и не стеснялся сам себя, мы с полудюжиной приятелей собирались около аптеки Дозика и пели новомодные шлягеры, порой соревнуясь, кто споет лучше (за пару центов можно было купить по-пиратски размноженные на мимеографе слова какой-нибудь новейшей песенки). Когда мне исполнилось пятнадцать, это развлечение стало казаться детским, но в нашей компании я имел репутацию непревзойденного комика и импровизировал, подражая «Трем знаменитым конферансье», к которым даже тогда мы относились с некоторым пренебрежением, как бледной тени «Братьев Маркс». У нас была своя сыгранная футбольная команда, и один из полузащитников, громила с тяжелым подбородком по имени Изя Леновиц, с которым никто не любил связываться из-за его железных коленок, мог хлопнуть меня по тощей спине, попросив: «А ну, Арти, выдай-ка». И я отважно придумывал какой-нибудь монолог, обреченный просуществовать не более пяти минут. Не отдавая себе отчета, я не раздумывая отчуждался от самого себя и покидал толпу зрителей, чтобы встретиться с ними один на один.

За исключением мамы и брата, как я уже говорил, не помню, чтобы кто-нибудь добровольно брал в руки книгу, ибо в этом не было никакой насущной необходимости. Ребята по соседству интересовались совсем другим, в основном как бы заполучить какую-нибудь девчонку, невинную жертву мужского сластолюбия, — в то время в нашем районе обитала некая Мария Костильяно лет тридцати, с огромной грудью, похоже, немного

дурочка. Поговаривали, что, если прийти к ней с коробкой конфет от Уитмена, она на все соглашалась и все разрешала. Так это или нет, но на улице над нею хихикали, и она время от времени останавливалась и начинала кричать на какого-нибудь мальчишку-обидчика. Однажды в подвале я застал ребят из нашей футбольной команды, когда они занимались мастурбацией, но это противоречило идеалам, которые, на мой взгляд, нас объединяли, не говоря о том, что я был слишком застенчив, чтобы присоединиться к ним. Кроме того, я предпочитал мечтать о женщинах наедине.

Мама записала меня в среднюю школу на год раньше окончания начальной, и меня все время преследовала мысль, что я от всех отстаю, по крайней мере на один год. Наверное, для того, чтобы доказать обратное, я умудрился, несмотря на тощее, нескладное телосложение, попасть в старших классах школы имени Авраама Линкольна во второй состав футбольной команды. Я быстро бегал, а длинные руки помогали ловко ловить мяч. Но с весом в сто двадцать фунтов меня легко блокировали на поле ребята фунтов на пятьдесят потяжелее. Во время игры я боялся удара в лицо и специально тренировался, бросаясь на ногу противника, которую, по счастью, обычно не мог ухватить. Однажды во время серьезной потасовки с командой первого состава я, зажмурив глаза, бросился на нашего защитника номер один, невысокого гнусного проходимца, которому прочили большое футбольное будущее. Случайно уцепившись за ногу, я сильным ударом повалил его, что удивило не только всех остальных, но больше всего меня самого. Когда мы поднялись, он съездил мне по шее, но дать сдачи я не успел. Принимая через несколько минут пас, я был атакован, и меня повалили, так что порвалась связка, и колено долгие годы не разгибалось, невозможно было распрямить ногу без сильной, обжигающей боли. Из-за этой травмы меня через восемь лет освободили от службы в армии.

* * *

Я всегда был уверен, что я плотник и механик. В возрасте четырнадцати или пятнадцати лет я накупил на свои с трудом заработанные двенадцать долларов — за доставку хлеба мне платили по четыре доллара в неделю — строительных материалов и решил пристроить заднюю веранду к нашему небольшому дому на 3-й улице. За помощью я обратился к одному из своих дядюшек, которые в начале тридцатых годов

осели со своими семьями в Бруклине. В те времена район Мидвуда еще не был застроен, и они могли наблюдать, как их дети вышагивают за двенадцать кварталов по заросшему кустарником пустырю в школу. Мои родственники — Менни Ньюмен и Ли Болсем — были коммивояжеры и в отличие от нашей семьи имели каждый столярные инструменты, которыми орудовали по выходным у себя дома. Одолжить молоток, однако, мог только Ли, поскольку к подобной работе не относился серьезно. Менни придерживался иной точки зрения и вообще никому не одалживал своих инструментов. Эта принципиальность нередко приводила к тому, что он мог на глазах отречься от очевидного, вроде лопаты, висевшей за его спиной на стене гаража, где он любил, сидя в нижнем белье, в теплую погоду резаться с соседями в карты.

Ли Болсем, сама доброта, обладал мягким голосом и слабым сердцем, отчего двигался неспешно и осторожно. Мы засели за чертежи. Веранда получилась не сразу, а по окончании строительства стало ясно, что она не стыкуется с домом. Тем не менее мое сооружение простояло добрых два десятка лет, дюйм за дюймом медленно сползая в сторону от кухни. В те дни я впервые пережил лихорадку созидания: ложась спать, не мог дождаться утра. Это чувство вновь вернулось ко мне холодным апрельским утром 1948 года, когда я занялся постройкой мастерской рядом со своим первым домом в Коннектикуте, собираясь написать пьесу о коммивояжере. Мысль оставить после себя реальный след на земле никогда не теряла для меня своего очарования. Люди среднего достатка, как правило, пренебрежительно относятся к физическому труду, и мне не очень понятно мое собственное пристрастие к нему, так же как симпатия и уважение к его представителям.

В двадцатые годы, когда Миллеры на своем лимузине приезжали с Манхэттена навестить Ньюменов и Болсемов, найти их жилье не представляло труда: вместе с четырьмя другими сдвоенными деревянными домишками, покрытыми плоскими крышами, с крылечками в три ступени они составляли улочку, упиравшуюся в пустырь с высокими тополями, папоротниками и дикими розами, где множество протоптанных тропинок заменяли жителям асфальтированные улицы и тротуары. Ближайший магазин находился в двух милях, поэтому картошку закупали стофунтовыми мешками; сами консервировали выращенные на собственном участке помидоры; подвалы здесь в отличие от манхэттенских, с их неизменным запахом кошек, крыс и мочи, всегда пахли землей. До переезда в Бруклин обе семьи несколько лет жили в небольших городках на севере штата Нью-Йорк и

потому немного гнусавили и говорили с твердым раскатистым «р», что особенно было заметно у женщин. Они отличались от ньюйоркцев провинциальной размеренностью мысли, любовью к посиделкам и твердой уверенностью в том, что они настоящие американцы. Они дружно жили с соседями, среди которых было немало семей нееврейской национальности, и в отличие от манхэттенских евреев никогда не приглашали домой ни кровельщиков, ни водопроводчиков, справляясь с этой работой сами.

За порядком в доме у Ли и его жены Эстер следили до замужества три их дочери. Повязав головы пестрыми шелковыми платками, они, казалось, только и знали, что чистили свой небольшой дом, полировали мебель и драили ступени крыльца мыльной водой. Ньюмены, как могли, тоже поддерживали у себя порядок, но в их доме царила сумеречная атмосфера с налетом сексуальности и дремы, лжи, фантазии и какой-то противоречивой непредсказуемости.

Менни Ньюмен был смышлен и уродлив, как вылезший из-под земли Пан: низкорослый, шепелявый, с глубоко посаженными карими глазами, узловатым висячим носом, темной задубелой кожей и заскорузлыми руками. Когда я входил в их дом, он, стоя в рабочем комбинезоне с молотком, отверткой или коробкой из-под обуви, в которой хранился набор порнографических открыток, осматривал меня, словно видел впервые, а если встречался прежде, то не желал делать этого вновь. Он всегда соперничал во всем и со всеми. Ему казалось, что мы с братом составляем постоянную конкуренцию двум его сыновьям. У него было две дочери и два сына. Старшая, Изабелла, несмотря на то что пошла в отца, была настоящей красавицей, младшая, Марджи, хрупкая грустная девушка, отчаянно острая на язычок, сидела взаперти из-за мучившей ее гнойничковой сыпи. Но даже ей непозволительно было терять надежду, и в этом, как я понял позже, заключалась вся суть особого пути Америки: они постоянно жили в ожидании не просто чего-то хорошего, но фантастического, триумфального, в корне меняющего жизнь. В этом доме не знали иронии, его стены сотрясали радостные возгласы торжества по поводу побед, которых не было, но которые обязательно должны были быть. Мальчики станут «орлятами»-скаутами, круглыми отличниками, по утрам будут убирать постель, часто и вдохновенно рассуждать о чести семьи, что не мешало им вместе с Берни Кристаллом и Луисом Флейшманом тут же бежать в местную кондитерскую к Рубину и заговаривать ему зубы, пока их приятели не обчистят выставленную в витрине трехфунтовую круглую стеклянную вазу

с дешевыми сладостями. Или же по целым неделям сосредоточенно, как исследователи Южного полюса, будут готовиться к походу на Медвежью гору, чтобы в соответствии с высокими принципами скаутского движения где-то по дороге в харчевне подцепить старую проститутку и, проведя с ней в палатке ночь, утром отказаться платить за двоих, сказав, что как братья они сойдут за одного. Все им завидовали, особенно старшему, Бадди. Он играл в бейсбол, футбол, баскетбол, о нем дважды или трижды писала бруклинская «Игл», и ему требовалось два часа, чтобы собраться на свидание — набриолинить черные волосы, припудрить тальком лицо, ободряюще похлопать себя по животу и скорчить перед зеркалом гримасу, чтобы полюбоваться своими зубами. Как и отец, он был смугл, но чуть повыше ростом, косую сажень в плечах унаследовал от деда Барнета и своей матери Энни, самой подвижной из них, которая безропотно несла на себе весь крест житейских невзгод. Люди сочувствовали ей, когда она, спокойно, ободряюще улыбаясь, чтобы Менни не ощутил себя уязвленным, ласково уговаривала его отказаться от мысли покрасить дом в оранжевый цвет, несмотря на удачную сделку, которую ему удалось заключить во время распродажи на Фултон-стрит, приобретя несколько галлонов этой краски. С дочерьми, естественно, она была построже, год за годом направляя их, как корабли, давшие течь, в гавань замужества, разделяя с Марджи ее печальные заботы о коже и смиряя порывы Изабеллы раньше времени распрощаться с тем, что чуть позже можно будет пристроить повыгоднее.

С Менни я провел в своей жизни в общей сложности не больше двух часов. Однако он был так нелеп, так не вписывался в рамки земных представлений, вечно витал в облаках и со своей уродливой внешностью столь проникновенно-истово верил в то, что семья добьется славы и успеха, что покорил меня, и я жил, не расставаясь с его образом, до тех пор, пока не стал предугадывать реакцию Менни на то или иное событие, слово или жест. Его виртуозные манипуляции с фактами раскрепостили мое воображение, придав ему смелость и резвость. Хотя где-то в глубине всегда оставалась печаль. Менни и Энни считались неудачниками, однако о них судачили больше, чем о других, потому что они сохранили любовь. В свое время дед Барнет был против их брака, и молодые сбежали. Нетрудно было заметить, что они до сих пор волнуют друг друга — сильно раздавшаяся, крупная и широкогрудая тетушка Энни с громким раскатистым смехом и розовым пористым лицом, наливавшимся кровью при приступах гипертонии, от которой она умерла в шестьдесят лет, и

дядюшка Менни с огненным взглядом индейца, всегда наполовину витавший в несбыточных грезах. В канун Нового года они приглашали пар семь или десять на праздничный обед, все рассаживались в небольшой комнате первого этажа около топившейся углем печки и ждали, когда хозяин вынесет заветную коробку с открытками. При этом мальчиков отправляли наверх, будто Менни не догадывался, что мы вдоль и поперек давно изучили ее содержимое. Как всегда, такие вечеринки заканчивались игрой в карты. Когда Менни надоедало, он пристраивался, прикинувшись сосущим грудь младенцем, на широких коленях Энни, она смущалась, но не одергивала его. Казалось, их дом в отличие от нашего, Болсемов и других был пронизан чувственностью. У нас все было наполнено светом и воздухом. Ньюмены были тайно одержимы, как будто жили в непотребстве, — но это мои догадки, конечно.

Я был помешан на спорте, однако мои успехи не шли ни в какое сравнение с достижениями его сыновей. Я был долговяз, некрасив, и они относились ко мне свысока, вынуждая, когда бы я ни зашел, выслушивать язвительные замечания вроде того, что у меня в неполные шестнадцать лет нет никакого будущего. Однако это не лишало их дом притягательной и таинственной атмосферы, которой он был окутан в моих глазах. Я всегда приходил туда, ожидая чего-то необыкновенного, какой-то непристойной оргии или откровений иного рода.

Ни один нормальный человек не воспринимал любившего подурачиться Менни всерьез. При этом к нему нельзя было не испытывать симпатии: за сумасбродными фантазиями легко просматривалось отчаяние, скрывавшееся под напускным равнодушием. Сидя за картами у гаража возле висящей на стене за его спиной лопаты, он мог, глядя в глаза, заявить: «Нет у меня никакой лопаты!» Это было в порядке вещей. Именно так воспринимали Менни мой отец, Ли и все, кто играл с ним в карты, — никому бы и в голову не пришло уличать его во лжи. Все знали, что из любого трудного положения он всегда найдет выход, жонглируя фактами. Это вызывало восхищение и тайное желание поступать так же. За ироничным отношением к нему скрывалось если не уважение, то по крайней мере любопытство и зависть к той безудержной дерзости, с которой он пренебрегал общепринятыми нормами. Мне виделось в нем средоточие смыслов, тайных значений и тонких нюансов, редко встречавшихся у остальных: категоричный отказ дать лопату был выражением его сути, духа соперничества, помутившего разум. Своим поведением он говорил: «Почему бы твоему отцу самому не купить себе лопату? Ишь как он важничает и глядит

свысока. — Менни был уверен, что каждый консервативно настроенный человек смотрит на него сверху вниз. — С какой стати я должен одалживать ему свой инструмент? Он что, сам не может купить? Преуспел, и ему, видите ли, не до лопат. А чуть что, бегут со своим сынком ко мне разживаться. Лопата денег стоит. Поэтому для Миллеров у меня лопат нет». Самое забавное, что в этот момент он действительно забывал о висевшем у него за спиной инструменте.

От отца, дядюшки Ли и других членов нашей семьи я твердо усвоил, что Менни неудачник, но, как и все, не мог оторвать от него зачарованного взгляда. Игра в джин без него оставалась просто игрою в джин, сборищем за картами дюжины обывателей, обменивающихся новостями о чьих-то операциях, беременностях, затяжных дождях, засухе, о том, кого, когда, где изберут, кто сколотил состояние, кто промотал, сколько зарабатывают в неделю Бинг Кросби и Ли Руди Вэлли. Как правило, в первые же десять минут Менни задавал всему иной тон, бросая фразу, которая становилась темой разговоров на вечер. Однажды он обронил:

— Мой приятель из Провиденса говорит, ваш Вэлли побил все рекорды, за два последних представления взял тридцать миллионов.

— Как — тридцать миллионов?

— Так, тридцать миллионов, не считая дневных спектаклей.

Забыв о картах, все бросились подсчитывать возможное количество мест в партере, чтобы поделить на них тридцать миллионов, но устали, прежде чем кто-то заявил, что это явная несуразица и такого вообще быть не может. Однако Менни уже успел шуткой перевести разговор на другое, сопровождая доверительный тон такими уморительными гримасами, что зрители терялись в догадках, насколько серьезно им воспринимать происходящее. К концу игры за столом возникала атмосфера радостного возбуждения, что примиряло всех с этим непоседливым маленьким существом. Весь вечер светлая кожа его жены то вспыхивала, то бледнела в зависимости от того, замирала Энни или облегченно вздыхала, волнуясь, не слишком ли Менни корчит из себя дурака. Она знала, что расплачиваться за все придется ей, когда, оставшись наедине с собой, он будет судорожно бороться с собственной неуверенностью, пытаясь обрести внутреннее согласие. В такие моменты она садилась с ним в машину, которая еле обогревалась зимой, и они отправлялись по Новой Англии. Она всю дорогу болтала, стремясь хоть немного отвлечь его от тяжких мыслей. В те времена широких автомагистралей еще не существовало, и,

проезжая через провинциальные городки, им приходилось тормозить у каждого светофора. На случай, если придется разгребать сугроб, Менни возил в багажнике лопату на коротком черенке — покрышек с шипами не знали, а снег в городах убирали только после больших заносов.

Непредсказуемые выходки Менни создали вокруг него некий романтический ореол. Он нигде не служил, поскольку на официальной работе нельзя было мечтать сорвать большой куш. Менни жил надеждой и каждый раз, отправляясь в поездку, верил в ее счастливый исход, что еще больше отрывало его от действительности. Когда я через пятьдесят лет ставил «Смерть коммивояжера» в Пекине, Инг Руоченг, исполнитель роли Вилли, решил придать этому «роману надежды» китайское звучание — в Китае торговля не считалась достойным занятием и вряд ли могла послужить предметом для воспевания. Инг вспомнил, что в стародавние времена для сопровождения караванов и защиты от разграбления в стране существовала специальная верховая охрана. Жизнь этих людей была исполнена приключений и опасностей. Встречаясь, пестрая братия наемных стражников нередко тешила себя рассказами о былых победах и неудачах. С появлением железных дорог нужда в их услугах отпала, и они разбрелись по мелким ярмаркам, развлекая народ меткой стрельбой и заглатыванием сабель. Чтобы забыться, они тянулись к спиртному точно так же, как это произошло с прославленным американским охотником на бизонов Биллом Буффало, когда животные были истреблены.

Конечно, у Вилли Ломена был не один прототип. Я слишком мало знал Менни, даже в юности он был для меня полуявь, полусон. Однако встречаются натуры, чей образ, не обладая конкретностью, несет могучий осязаемый заряд, становясь источником творческого вдохновения.

Более яркое впечатление оставил его друг, коммивояжер, с которым он однажды вместе вернулся из поездки. Снедаемый любопытством узнать, что происходит в зачарованном доме, я в ходе очередной вылазки к Ньюменам столкнулся с ним на кухне. Его лицо запомнилось во время одной из былых встреч, однако я был уверен, что он едва ли вспомнит какого-то пацана.

— Как дела, Артур? — остановил он меня, не дав прошмыгнуть в гостиную.

Я замер и оглянулся. Две вещи в нем поражали меня: несмотря на солидный возраст, он не был женат и у него была деревянная нога, лежавшая в этот момент отдельно поперек стула. В отличие от Менни этот несуетливый угрюмый человек с насмешливыми карими глазами, поредевшей шевелюрой и

задумчивым взглядом умел слушать. Представив себе его культю, я испытал чувство боли и подумал, что у него, наверное, от этого такой усталый и измученный вид. Я знал, что ему нельзя водить машину и приходится ездить на поездах, стоически, как раненому солдату, борясь с чемоданами и носильщиками. Как и в любом коммивояжере, мне чудилось в нем что-то героическое, ибо он не сдавался на милость неудач, неизбежно сопутствующих бесконечным попыткам сбыть товар. Коммивояжеры в чем-то сродни актерам: как и артисты, они в первую очередь продают себя, мечтая о признании мира, который едва замечает их. Некоторым удается добиться своего, и по тоненькой ниточке грез, рожденных воображением, они взмывают на вершину успеха. Это происходит довольно часто, иначе не имело бы смысла вести игру.

— Все в порядке, — учтиво ответил я.

И замер, не зная, что делать, пока его усталые глаза изучали мое лицо. Испытывая неловкость, я старался отвести взгляд от его искусственной ноги, которая вместе с уставившимся в потолок ботинком лежала тут же на стуле.

— Ты изменился, — сказал он, — стал как-то серьезнее.

В одной фразе ему удалось определить суть всей моей жизни. Спеленутый временем, беспомощный, как листок на воде, я, как и все вокруг, был до этого некой застывшей данностью. «Изменился» означало, что я не тот, каким был. Это окрыляло, хотя я не знал почему. После этой встречи я еще долго прокручивал в голове его слова, пытаясь понять, в чем изменился. Я изучал свое отражение в зеркале ванной, стараясь угадать признаки этой серьезности, вспоминая, как выглядел, прежде чем они проступили на моем лице. Я забыл имя коммивояжера, но помню запавшие в душу слова, ибо они помогли разорвать оболочку иссушающей субъективности, в которую было погружено мое существование.

Менни удалось вырастить из своих сыновей двух рослых и самоуверенных мушкетеров, преданных друг другу и чести семьи. Им не хватило терпения или таланта закончить учебу, и они отказались от колледжа. Во время войны Бадди служил в инженерно-строительном батальоне ВВС «Морские пчелы», сваривая стальные листы для взлетных полос аэродромов на тихоокеанских островах, женился на женщине старше себя с детьми и в сорок лет умер от рака, едва успев открыть небольшое дело по обслуживанию механиков самолетов сандвичами, которыми торговал с нескольких фургонов, то ли купив, то ли арендовав их. Эбби воевал в пехоте и принимал участие в одной из самых слабо подготовленных операций в истории Второй

мировой войны — высадке десанта в Анцио. Немецкая артиллерия с береговых высот обстреляла его подразделение еще на воде. Если верить рассказам Эбби, он потерял рассудок и, выбравшись через иллюминатор, разгуливал по вздыбленному от снарядов берегу, не обращая внимания, что вокруг него все грохотало, но его не задел ни один осколок. Как во всех воспоминаниях Эбби, в этой истории были пробелы — отсутствие точных дат говорило, что в это время он мог быть где-то совсем в другом месте, однако, как все Ньюмены, вполне мог выкинуть то, о чем говорил: презрев опасность, и разгуливать под артиллерийским огнем.

В последний раз мы встретились незадолго до его смерти — он умер, как и его мать, от гипертонии, едва ему перевалило за сорок. Я позвонил Эбби, и он пригласил меня к себе в холостяцкую квартиру на Манхэттене. Мы не виделись с довоенной поры. Открыв дверь в шелковой голубой пижаме и в шлепанцах на босу ногу, он провел меня в небольшую гостиную, окна которой выходили на начало Лексингтон-авеню. Была суббота, далеко за полдень. На Бродвее шла пьеса «Все мои сыновья», пару лет назад я опубликовал роман «Фокус», женился и обзавелся двумя детьми. А его капитал появился из спальни: оттуда вышли две ошеломляюще красивые молодые женщины на тонких шпильках и, порывисто поцеловав его, задержались ровно на столько, чтобы кивнуть, когда он с чувством пасхальной безмятежности представил меня. Застегивая на ходу кофточки и поправляя чулки, они выпорхнули из квартиры, сказав, что опаздывают на работу. «Люблю, чтобы с двумя сразу», — усмехнулся Эбби, едва дверь за ними захлопнулась.

Он был похож на нашего давно умершего дядюшку Хаима по прозвищу Плевок — тот же орлиный нос, карие, исполненные острого вожделения глаза, темная волнистая шевелюра, ровный ряд зубов. Зачем ему надо было устраивать этот спектакль? Если Эбби хотелось вызвать у меня зависть, он, безусловно, преуспел. Мы договорились о встрече за три дня, и у него было достаточно времени, чтобы подготовиться. Теперь его расплывшееся в улыбке лицо выражало удовлетворение. Как ни нелепа была ситуация, я неожиданно понял, что все эти годы мы исподволь соперничали с ним. Потому он приурочил визит девиц к моему приходу. Его, должно быть, глубоко уязвил мой успех — одна из пьес к тому времени была удостоена премии. И он доказал, что если не владеет пером, то очень хорош в постели. Я знал, что сладостное чувство превосходства, написанное на его лице, недолговечно. Тем не менее такое самолюбование всегда сковывало меня: дружеское общение с подобными людьми требует отказа от

самого себя, ибо они жаждут постоянного восхищения. Вопрос только в том, зачем это надо и как скоро надоест.

У меня к нему было дело, о котором я пока молчал. Мы начали с военных воспоминаний, с того, как он свихнулся во время операции в Анцио.

— После прорыва меня перевели в военную полицию и предложили разыскивать грузовики, перевозившие покрышки, которые исчезали где-то под Римом, в районе Фоша. Я выследил этих ребят и нашел дорогу, по которой они загоняли грузовики в лес, разгружали, а затем отпускали. — Он утробно рассмеялся: — Вот где была пожива, но я, конечно, не стал рисковать.

Из этого я должен был сделать вывод, что он вернулся с войны не с пустым кошельком, хотя взяток не брал. В волшебном мире Ньюменов подобные вещи легко уживались. Бог знает, что было на самом деле, но он хотел доказать мне, что, несмотря ни на что, преуспел.

Наша беседа неожиданно свернула к философским размышлениям над неудачами.

— Как ты можешь жить с одной женщиной? Мне кажется, я бы не смог.

— А зачем тебе две?

— Ну так… — Он растерянно посмотрел в окно. — А вдруг я захочу ребенка? — И он, ошалевший, повернулся ко мне: — Как тебе это, а?

— Не знаю. Всем иногда хочется и того и другого.

— А вдруг надоест? Кстати, что ты делаешь в этом случае… Ну, если она надоест?

— Жду, когда это пройдет.

Он вздохнул:

— Так я и знал.

Тем не менее он успел жениться и обзавестись ребенком, прежде чем отойти в мир иной.

— О чем всегда мечтал твой отец? — спросил я. Этот вопрос был причиной моего визита.

Последнее время меня преследовали неясные, но захватывающие видения, что-то вроде стремительно прочерченной кривой — едва различимого повествования, без сквозного диалога или определенного места действия. Пьеса разворачивалась в сознании человека, что позволяло воспроизвести события одновременно, а не последовательно. К тому времени я знал о трех самоубийствах, два из которых были совершены коммивояжерами. И помнил, что у Менни был не совсем обычный конец. Лет десять назад, в колледже, я начал писать пьесу о коммивояжере и его семье, но потом бросил и

совершенно забыл о ней. Записная книжка, в которой я делал пометки, всплыла еще девять лет спустя, много позже премьеры «Смерти коммивояжера», когда я вывозил из бруклинского дома свои бумаги, поскольку мой первый брак распался.

— Скажи, чего он больше всего хотел, что его привлекало?

Мой кузен Эбби, в котором одновременно боролись чувство любви ко мне, раздражение соперника, презрение к поздним неудачам отца, сочувствие и любовь к нему, а также восхищение его истовостью, — мой смуглый статный кузен, сидевший напротив, недавно тоже вошел в мои сны, и, наверное, поэтому я снял трубку и позвонил ему.

Огромная лиловая равнина сливается у горизонта с оранжевой полосой заката. Я опускаю белую босую ступню в какую-то неглубокую яму, на дне которой немного кристально чистой воды и натянуты пять серебристых толстых струн, как у арфы. Я касаюсь их ногой, и воздух наполняется звуками музыки, от которых бежит рябь по воде. Внезапно где-то поблизости на лиловой равнине возникает белая цементная стена, и, приближаясь к ней, я различаю двух козлоногих фавнов, разгуливающих на задних ногах. Они играют у стены в ручной мяч. Это мои кузены Эбби и Бадди. Страшен звук удара плотного, тяжелого черного мяча, отлетающего от их передних копыт.

— Отец хотел, чтобы у нас было семейное дело. И мы были бы все вместе, — сказал Эбби. — Семейное дело для его мальчиков.

Это понятное земное желание, подобно электрическому разряду, выстроило хаотически разбросанные в моей голове железные опилки в определенном порядке. Безудержный прожектер Менни вдруг предстал человеком, у которого была цель: он мечтал о чуде, которое вознаградило бы его за многотрудную жизнь и искупило бесконечную ложь, безумные фантазии, безудержные желания, даже ту полуказарменную дисциплину, которой он донимал своих мальчиков. Все, как в фокусе, обрело смысл и форму. Бизнес был выражением его неистовой любви к самому себе, своим детям. Этот нелепый домосед до последнего боролся за победу в том обществе, которое не предоставило ему иных возможностей восстановить утраченное человеческое достоинство. Он избрал единственный путь: дать свое имя общему с сыновьями делу. Я вдруг понял его всем своим существом.

Вопрос, на который я искал ответ, возник у меня около года назад, после случайной встречи. Это было сразу же вслед за постановкой пьесы «Все мои сыновья» в Бостоне, когда я жил ожиданием скорой премьеры на Бродвее. В тот зимний день,

войдя в фойе старого бостонского «Колониэл-театр», я был немало удивлен, заметив среди последних зрителей, уходивших с дневного спектакля, Менни. Он нес перекинутое через руку добротное серое пальто, на голове красовалась жемчужно-серая шляпа, на ногах начищенные до блеска маленькие башмаки — он шел и плакал. Мы не виделись уже лет десять. Хотя мое имя светилось на афише над входом, он явно не ожидал этой встречи.

— Менни! Неужели ты? Как я рад тебя видеть!

Было видно, что он живет в дешевой гостинице, устал, добираясь на своей малолитражке из Нью-Йорка в Бостон, и торговля сегодня не приносит успеха. Не ответив на приветствие, Менни произнес:

— А у Бадди все превосходно.

И я увидел тень смущения на его лице, как будто он не всегда желал мне добра.

Мы немного поговорили, и он вышел из просторного фойе на улицу. Мне показалось, я знаю, о чем он думает — его сыновья проиграли в воображаемом споре. Глядя, как он растворяется в уличной толпе, я почувствовал, как непреодолимая тоска засосала под ложечкой. Годы спустя эта борьба за фантом победы или поражения покажется призрачной, но тогда, в холле театра, во мне взыграло что-то мальчишеское, то ли униженное в прошлом самолюбие, то ли смешанная с презрением зависть к мужской раскрепощенной чувственности Ньюменов… В Менни как бы сфокусировалась вся моя жизнь. И в то же время в отдаленном уголке сознания настойчиво билась мысль, что все это я про него придумал, а на самом деле он просто хвастун и нахальный мелкий торговец.

Больше всего меня поразила фраза о Бадди, которая появилась невесть откуда, — она говорила о возможностях новой формы, которая жила пока еще только в моей голове. Я был полностью увлечен текущей работой и не думал писать ни о каком коммивояжере. Однако хорошо было бы написать пьесу без всяких переходов, на одном диалоге, где каждая реплика — в строку, ни убавить, ни прибавить, все строго, как в природе, экономно, как в зеленом листе, и совершенно, как в муравье.

Главное, пьеса должна была делать со зрителем то же, что Менни сделал во время нашей неожиданной встречи со мной, — рассечь время, подобно тому как нож рассекает слоеный пирог или дорога, вскрывая геологические пласты, прорезает гору, и вместо логической цепи событий совместить прошлое с будущим как данности, каждая из которых бесконечна.

Прошлое я представлял крайне неясно, как некое туманное настоящее, ибо мы есть то, что в каждый отдельный момент

живет в нас. Какой фантастичной получится пьеса, если отразит свойственное мышлению единство времени, не позволяющее ничего «забыть» и заставляющее видеть настоящее сквозь призму прошлого, а прошлое сквозь настоящее. Независимо от содержания, смысла сама по себе форма обещала быть абсолютной, как абсолютно душевное движение или сам человек в фокусе своего общественного бытия. Казалось, Менни, растворяясь в толпе, уносит с собой мою молодость. И оттого, что я понимал это яснее, чем он, я в некотором роде уже создал его.

Однако больше всего меня в это время занимали «Все мои сыновья».

Пьеса шла в Нью-Хейвене и имела успех. Элиа Казан продолжал ежедневные репетиции, углубляя смысл ключевых сцен. Он разрабатывал пьесу как музыкальное произведение, то усиливая, то приглушая ее звучание. Чтобы не дать труппе привыкнуть к конфликтам, которые существуют в пьесе, он разжигал в актерах чувство здоровой конкуренции, делая вид, что кому-то симпатизирует больше, кому-то меньше. Сея зерна раздора, он вынуждал их завоевывать его благосклонность. Этот крепко сбитый невысокий человек, ходивший, чтобы казаться выше, на мысках, обладал дьявольской энергией и знал, как сценически выразить то, что автор и актер пытались сказать ему. Каждому артисту он умел внушить, что тот является его ближайшим другом. На мой взгляд, этот метод, если его позволено так скромно именовать, зиждется на том, что спектакль становится формой самовыражения актера. Не командуя, Казан направлял, позволяя исполнителям восторгаться своими открытиями и радостно отдавать их ему, как дети отдают родителям найденную игрушку. Он скорее уважал эту наивность, чем подтрунивал, зная, что театр — занятие не для взрослых и истоки актерских прозрений таятся в детстве. Он интуитивно чувствовал, что серьезное замечание лучше делать не прилюдно, а наедине, ибо то, что западает в душу, сокровенно. В отличие от Гарольда Клермана, который обожал поболтать и раскрепощал актеров тем, что на репетиции добродушно признавался в собственной беспомощности, Казан во время работы посмеивался или молчал: его мысли оставались тайной. И это заставляло актеров постоянно искать новые решения.

Он происходил из среды, отмеченной особой родовой сплоченностью. Этих людей отличала повышенная эмоциональность, чувство клановой солидарности и кланового соперничества, а также вера в то, что ничто человеческое никому не чуждо. Наиболее сильной стороной Казана, на мой взгляд,

было его стремление постичь и выявить органическую природу вещей. К этому времени я уверовал, что процесс создания пьесы носит сугубо биологический характер — природа не терпит избыточности и отсекает то, что не содействует активному существованию организма. Отчасти это объясняло, почему Казану был труден Шекспир и в какой-то степени Теннесси Уильямс, порой склонный к плетению словес во имя украшательства как такового. Казан знал, что в пьесе, как в жизни, созидание и разрушение диктуются потребностями людей, а не их заверениями. Точно так же он слушал музыку — джаз и классику, — стремясь постичь ее обнаженную суть как крик души ее создателя. На роль отца Келлера во «Всех моих сыновьях» он пригласил Эда Бегли и сделал это не только потому, что тот был хорошим актером (хотя к нему еще не пришла известность), но из-за того, что он только что излечился от алкоголизма и еще не изжил в себе чувства вины. Келлера, бесспорно, оно преследовало, хотя по другой причине — Казан здесь действительно что-то уловил. На роль Кейт Келлер он пригласил одну из известнейших актрис, которая долгое время сидела без работы. Бет Меррил была не только превосходной артисткой, но манерной претенциозной дамой: будучи последней «звездой» заморского гения Дэвида Беласко, она в свое время разъезжала на машине с шофером, которую он нанял специально ради того, чтобы Бет не появлялась на улице и оставалась таинственной и недоступной для толпы. В тот день, когда мы столкнулись с Менни, я шел в театр улаживать конфликт: актриса была уязвлена отсутствием должного внимания и собиралась отказаться от роли. Заглянув после дневного спектакля в гримерную, я нашел ее в чудесном расположении духа: комната утопала в цветах, которые в лучших традициях Беласко ей преподнес, как я узнал позже, Казан. Чувствуя, что в нашем окружении ей не хватает элегантности — сколь ни сомнительны в ее теперешнем положении были эти претензии, в них был резон, так как мы действительно одевались как кочегары, — он нацепил по этому случаю галстук и куртку. Придя на первую репетицию, она обвела взглядом коллег, похожих на компанию уличных бродяг, и с гримасой боли спросила Казана: «Это и есть ваша труппа?»

Казан был известен, но не знаменит — это таинство свершилось через год, после постановки «Трамвая „Желание“». Я же вообще был неизвестен, и мое имя не встречалось в театральных колонках газет. Несмотря на доброжелательные отзывы критики, огромный «Колониэл» так и не был ни разу забит. Бостонский зритель отличался, как я назвал это про себя,

тупой духовной пресыщенностью: в реакции публики ничего нельзя было разобрать. Как-то после спектакля я увидел в фойе высокого респектабельного господина, который стоял с покрасневшими от слез глазами. Казалось, он потрясен. На вопрос спутника, что тот думает о спектакле, джентльмен, почти не разжимая тонких губ, сказал: «Весьма сносно».

Пьеса не вписывалась в привычные рамки. Это впечатление, наверное, усиливали декорации Мордекая Горелика: атмосфера залитого солнцем, ничем не примечательного загородного дома, где первые десять минут царит радостное оживление, не предвещала неотвратимо надвигающейся беды. Зрители оказались не подготовленными к финалу: тихие американские дворики не ассоциировались — по крайней мере в 1947 году — с убийствами и самоубийствами. После просмотра спектакля в Нью-Хейвене Уорд Морхауз, театральный критик из «Нью-Йорк сан», пригласил нас с Казаном в бар и спросил в лоб: «О чем ваша пьеса?» За несколько месяцев до этого знаменитый режиссер Герман Шамлин уже сказал: «Я ничего в ней не понял», поэтому вопрос Морхауза озадачил меня, и я, как мог, объяснил то, что по крайней мере нам с Казаном казалось очевидным. Через несколько недель ко мне подошел агент театра по рекламе и ошеломил, попросив написать несколько строк для «Таймс», о чем пьеса и какой традиции я придерживался. Было неловко подсказывать критикам, о чем говорить, и в то же время возникало недоумение, почему они постоянно требуют, чтобы им все разъясняли.

После того как пьеса была поставлена, ее стало принято критиковать за излишнюю перегруженность сюжета, а также за неправдоподобные совпадения. Больше всего нареканий вызывало письмо пропавшего сына Келлера, Ларри, написанное им во время войны своей невесте Энни, в котором он сообщал о намерении покончить с собой в отчаянии, что дело отца, снабжавшего армию бракованными деталями для самолетов, получило широкую огласку. С одной стороны, письмо подтверждало, что Ларри умер, и давало Энни свободу выйти замуж за его брата Криса. С другой, доказывало, что Джо Келлер виновен не только в гибели неизвестных солдат, но и собственного сына. Письмо, несмотря на всю его оправданность, показалось современным критикам весьма условным. В связи с этим хотелось бы узнать, что они думают о пьесе, где обреченного на гибель младенца, брошенного на горном склоне из-за того, что, по предсказанию оракула, он должен убить собственного отца, спасает пастух и двадцать лет спустя юноша, вступив на дороге в пререкания с незнакомцем, во исполнение предсказания

убивает и царя и отца. Если миф, который лежит в основе «Эдипа», позволяет столь значительно раздвинуть рамки обыденных представлений о реальности, нельзя не видеть, что появление письма во «Всех моих сыновьях» вытекает из самой природы характера Энни и ситуации в целом, будучи намного более закономерным, чем любой другой удар судьбы. Меня же интересовало, насколько оба случая доказывают, что настоящее есть возвращение насильственно задушенного прошлого. Когда его костлявая рука появляется из могилы, ситуация представляется абсурдной и невероятной. Мы не очень-то склонны верить этому, ибо иначе надо признать, что хаос, который являет собой наша жизнь, есть проявление скрытого порядка. Именно об этом пьеса «Все мои сыновья» — о том, что порой эта связь становится очевидной.

С годами я понял, что зрителя будоражил отнюдь не сюжет, а скрытый смысл пьесы: легко узнаваемые провинциальные герои оказались носителями трагического начала — в широком смысле слова они бросали нравственный вызов человечеству, в том числе тем, кто сидел в зале. Мне стало ясно впервые в 1977 году, когда мы с моей женой Ингой Морат смотрели пьесу в Иерусалиме. Спектакль был захватывающим, у зрителей возникало чувство ужаса, которое явственно витало в зале. К тому времени «Все мои сыновья» побили в Израиле рекорд по количеству постановок среди популярных пьес. Справа от нас сидел президент страны Эфраим Кацир, слева — премьер-министр Ицхак Рабин, опоздавший на спектакль, ибо, как стало известно позже, в этот день он уступил место Менахему Бегину. Аплодисментам так и не удалось развеять почти религиозную тишину в зрительном зале, и я спросил Рабина, в чем дело. «Тема пьесы крайне актуальна для Израиля, где кое-кто хорошо греет руки, когда наша молодежь днем и ночью гибнет на земле и в воздухе. Сейчас это очень произраильская пьеса», — сказал он. К этому остается добавить, что успеху во многом способствовала игра Ханны Марон, великой актрисы, потерявшей ногу во время взрыва, устроенного террористами в самолете «Эль-Аль» в Цюрихе в 1972 году, печально известном резней во время мюнхенских Олимпийских игр. Возможно, я не прав, но мне показалось, что ее увечье, о котором едва можно было догадаться по легкой хромоте, хотя о нем знали все, придавало душевным страданиям ее героини по поводу иной войны и в иное время большую правдоподобность.

В центре постановки была Кейт Келлер, тогда как мы с Казаном на первый план выдвинули конфликт отца с сыном, оставив ее в тени. Подобное прочтение через несколько лет предложил Майкл Блейкмор, поставив в Лондоне спектакль с

Розмари Хэррис в роли матери и Колином Блейкли в роли отца. Это заставило меня задуматься о двойственности образа Кейт, которая в свое время смутила Шамлина и критика Морхауза. Как ни стремится Кейт оказаться непричастной к деятельности мужа, ей это не удается. Не желая мириться со смертью сына, она с ожесточением отрицает свою вину, и это в финале вынуждает ее покарать виновного, поставив мужа на колени и доведя в буквальном смысле до самоубийства.

В скобках надо заметить, что приезд Морхауза на просмотр пьесы за месяц до бродвейской премьеры, на которую он откликнулся статьей, был событием из ряда вон выходящим, если не уникальным. И свидетельствовал об особом отношении к театру у части критиков, чего теперь не сыскать. Мне кажется, раньше к писателям, актерам, режиссерам относились с б***о***льшим почтением, и даже рождались особые союзы, вроде дружбы между Джорджем Джином Натаном и Юджином О'Нилом. Но потом появилось мнение, будто критика — сама невинность, которую близко нельзя подпускать к вульгарному театру, и круг ее обязанностей сузился до пересказа впечатлений от спектакля. Все бы, однако, ничего, если бы хвала и хула воздавались заслуженно и объективно. Явное пристрастие к отдельным именам, темам, стилям сделало критику настолько же уязвимой и субъективной, как и произведения, которые обсуждались. Иначе откуда такое чопорное пренебрежение к проблемам загнивания театра? В конце концов, в демократическом обществе даже судьи признают, что судопроизводство не безупречно, и критикуют процедуры, в которых сами участвуют, допуская, что могут ошибаться и стать препятствием на пути торжества справедливости. Театр, который мы сегодня имеем, — это театр, который нам разрешили иметь критики, ибо именно они диктовали, что следует смотреть, устанавливая неписаные законы в области вкуса и идеологической чистоты содержания.

Однако так обстоят дела не везде. К примеру, в Англии критик просто обязан во всеуслышание заявлять о своих пристрастиях. Он непременно сообщит читателю, что питает отвращение к политическим пьесам, или не любит театр абсурда, или жаждет более романтического отношения к любви и сексу, или наоборот. Английский репортер выложит все карты на стол и не будет делать вид, что излагает истину в последней инстанции, не имея a priori никаких симпатий. Поэтому ему не приходится рядиться в тогу объективного наблюдателя, что чуждо восприятию искусства как такового. Возможно, такое отношение к личности является результатом иной социальной ситуации, чем наша. В Англии до настоящего времени существует конкуренция

между газетами, и, чтобы завоевать зрителя, критик, порой даже не осознавая этого, вынужден отстаивать оригинальность собственной позиции, тогда как в Нью-Йорке люди театра опускаются на колени перед любой мало-мальски крупной газетой, и очередной журналист, пишущий на эти темы, легко впадает в некий тон ex cathedra[7] и начинает напоминать механический автоответчик. Нам же, профессионалам, занимающимся этим идиотским делом, только остается ждать, пока он обратит на нас свое благосклонное внимание. Сто пятьдесят лет назад Токвиль отметил, что мы имеем застарелую привычку двигаться гуртом: американец хочет быть таким, как все, и если газета, которой он доверяет, ругает пьесу, то, значит, критик вкупе с немыслимыми ценами на билеты и баснословной стоимостью парковки подписывает ей смертный приговор. Репертуар современных американских театров формируется в Нью-Йорке и отражает в основном вкусы тех, кто пишет свои обзоры для «Нью-Йорк таймс», слегка сдабривая их чужими мнениями. Надо признаться, эта ситуация возникла не по вине «Таймс», но тем не менее здесь существует своя диктатура, не менее эффективная, чем любой другой механизм контроля над культурой в мире. Когда в Советском Союзе закрывают спектакль, то решение об этом, по крайней мере после смерти Сталина, принимает все-таки не один человек, а коллегия.

Монополия всегда зло, причем зло коварное. В 1967 году, вскоре после того, как закрылась «Геральд трибюн», Клифт Дэниел, в те времена главный исполнительный редактор «Таймс», собрал в ресторанчике в центре города человек сто журналистов, продюсеров, актеров поговорить, что делать газете, которая обрела непомерную власть, чреватую нездоровыми, недемократическими последствиями. Дэниель заметил, что «Таймс» не добивалась этого, но получила в наследство от прежних времен. Я вступил в разговор после первого обмена репликами, сказав, беда в том, что журналист может узурпировать престиж целой газеты и поставить его под удар неоправданным и несправедливым суждением. Возможно, нужно иметь не одного, а двух-трех критиков и какого-нибудь специалиста, предоставив ему место для изложения своих впечатлений. Как драматургу мне это грозило тем, что вместо одного я теперь мог получить в «Таймс» три плохих отзыва. Но я сознательно шел на это, только бы критика существовала в условиях консенсуса. К тому же интересно было бы прочесть сразу несколько разных откликов, а подписчики бы поняли наконец, сколь относительны суждения критика, которые отнюдь не являются истиной, а могут быть крайне субъективны. Дело не в

том, продолжал я, что критики знают больше других, а в том, что могут достаточно гладко выразить то немногое, что знают. Это стало бы ясно, опубликуй газета сразу несколько статей на одну и ту же тему.

Дэниел на минуту задумался, но отверг мое предложение. Я спросил почему и услышал: «Да, но кто будет говорить от лица „Нью-Йорк таймс“?» Двое-трое, не более, засмеялись — мы настолько смирились, что в каждой области неизбежна, а то и закономерна монополия на власть, что просто уже не замечаем этого. Я переспросил Дэниела, зачем он нас собирал, если не хочет думать, как ограничить влияние «Таймс». Разве его ответ не доказывал, что «Таймс» вовсе не собирается отказываться от доставшейся ей в наследство монополии? Наша беседа так и закончилась ничем.

И это при том, что «Таймс» всегда весьма благосклонно относилась к моей деятельности: если бы не Брукс Аткинсон, развернувший кампанию в защиту «Всех моих сыновей», что значительно продлило жизнь постановки, я бы не добился признания как драматург. Это нельзя доказать, но я уверен, одна из причин, почему он поддержал меня, была радость, что в нью-йоркском театре наконец появилась пьеса, содержание которой не исчерпывалось банальным социальным конфликтом. Конечно, не понравься пьеса, он бы не стал хвалить ее, но, на мой взгляд, он использовал ситуацию как отмычку, чтобы открыть дверь другим, тем, кто грядет. Во всяком случае, это был человек, который чувствовал ответственность за судьбу театра в целом.

И зрители подтвердили справедливость его оценки: к весне пьеса твердо обосновалась на Бродвее, получив премию Союза театральных критиков и другие. Как-то несколько недель спустя мы с Мэри сидели за столом и ужинали у себя на Бруклинских Высотах, как я вдруг подумал, что театр «Коронет» сегодня опять будет забит, люди заплатят деньги и мои слова обретут б***о***льшую власть, чем я сам. В этом было что-то жуткое, и в то же время я испытал неожиданный прилив сил. Меня уже узнавали на улице, провожая восторженным взглядом, — это было приятно, хотя я чувствовал себя напряженно и неестественно. Слава, отнимая право на неудачу, угрожала лишить жизнь ее нормального течения. Поэтому через несколько недель после премьеры «Всех моих сыновей» я отправился в нью-йоркское государственное бюро по трудоустройству с просьбой подыскать любую работу. Меня отправили на фабрику в Лонг-Айленд-Сити, где целый день на ногах я собирал за мизерную плату перегородки для ящиков с пивом. Претензия на анонимность была противоестественна и нелепа, и я быстро оставил свою затею, не найдя, однако,

решения, как сохранить связь с миром, который у людей театра называется публикой, — с теми, кто за стенами зрительного зала шьет штаны и ставит пломбы. И дело было не в том, что материал надо черпать из жизни, а в каких-то моральных обязательствах. Я еще не знал о Толстом, который в зените славы начал тачать себе сапоги, но испытывал схожие переживания.

Я не первый тяготился успехом (не говоря о том, что ощущение вины усиливалось от моих левых эгалитарных взглядов), но, подозревая, в чем соль, ничего не мог с собой поделать: чувство вины — своего рода защитная реакция, чтобы скрыть радость от того, что превзошел других, в том числе близких, брата, отца, друга. Своего рода плата в виде псевдораскаяния. Однако отнюдь не выдумка, ибо в душе осознаешь, что те, кого обошел, могут затаить месть, и в этом таится реальная угроза. А чувство вины как бы говорит: «Не отвергайте меня, я тоже неудачник». Придет время, и оно исчезнет, пьеса будет поставлена в Европе, «Фокус» выйдет в Англии, во Франции, в Германии, в Италии, но я всегда буду радоваться, что у «Всех моих сыновей» было так мало врагов и так много друзей, что удалось сохранить статус-кво.

В те времена мы обитали в перестроенном доме из железистого песчаника на Пиэрпонт-стрит. Однажды в холле раздались крики. Испугавшись, что кто-то подрался, я открыл дверь и увидел на ступеньках пару — невысокого парня в армейской форме и нашу красивую молодую соседку сверху. Увидев меня, они замолчали, и я, успокоившись, закрыл дверь. Через некоторое время молодой солдат, правда уже без формы, подошел ко мне на улице и представился: он писатель, его зовут — он назвался — Мейлер. Недавно видел мою пьесу. «Я запросто напишу такую», — резюмировал он. Его поведение было настолько плоско и глупо, что я рассмеялся, он же сохранял серьезность и в будущем на протяжении долгих лет неоднократно пытался осуществить задуманное. Я еще только завоевывал свое место под солнцем, у меня были друзья, но Мейлер поразил тем, что его интересовала не дружба, а желание подчинить себе. В силу этого наши сходные в целом (в моем возрасте следует быть снисходительным) устремления не совпадали. И хотя мы долгое время жили рядом, наши дороги редко пересекались.

III

По мере того как «Все мои сыновья» завоевывали признание, передо мной со всей очевидностью вставал извечный вопрос, что делать дальше. Хотя я твердо решил не менять образа жизни, было бессмысленно обрекать Мэри и двух наших малышей, Джейн с Робертом, на тесноту маленькой квартирки, и я купил красивый, но старый дом из двух сдвоенных квартир недалеко от реки, на Грейс-Корт. Мы заняли верхний этаж, а внизу продолжали обитать давние квартиросъемщики Дэвенпорты. Генри Дэвенпорт был президентом Бруклинского сберегательного банка. Каждый вечер они с женой отправлялись на званый обед: она в вечернем туалете, он румяный и стройный, в черном бархатном пиджаке и лакированных узконосых туфлях, похожий на гарвардского попечителя, каковым и являлся. Изредка они сами давали обеды, и тогда улица была запружена лимузинами, поджидавшими своих хозяев. При этом Генри Дэвенпорт обожал звонить наверх ко мне, обладателю премии театральных критиков, и сообщать о том, что у него не закрывается окно или течет водопроводный кран. Я не мог дождаться, когда продам дом и куплю другой, но для этого надо было написать еще какую-нибудь пьесу и, если повезет, получить побольше денег.

Три-четыре раза на дню я возвращался к мысли, что, даже если не буду работать, все равно получу кучу денег и к концу недели стану богаче, чем был вначале. Напряженно раздумывая, я старался привыкнуть к новому положению. Пойду гулять, а деньги все равно прибудут. Они прибудут, даже если я пойду в кино, лягу спать или с полчаса полистаю какой-нибудь идиотский журнальчик. Слово «отчисления» обрело конкретный смысл. Создавалось впечатление, как будто я тридцать один год смотрел в витрину дорогого магазина, а теперь, попав внутрь, с тоской взираю наружу, на ту жизнь, с которой кровно связаны мои произведения. В душе был неприятный холодок: вдруг как писатель я ничего более не смогу сказать?

И мир и я таили в себе, как всегда, массу проблем, но «Все мои сыновья» исчерпали мой длительный интерес к греко-ибсеновской традиции, как я ее понимал. Меня все больше занимала единовременность мыслей и чувств, их свободное взаимопроникновение. Я стал подумывать, не начать ли сочинять музыку, ибо только музыке подвластно выразить то, что меня увлекало. Слова не сложишь в аккорды, они всегда стоят в строке одно за другим.

Я много гулял, часто ходил через Бруклинский мост в центр

Манхэттена. Успех обострил ощущение внутренних противоречий, и я хотел разобраться в них с позиций достигнутого. Мне всюду виделась красота противостояний — сила гравитации прекрасно работала на сжатие стальных арок Бруклинского моста (это было до реконструкции, пока его не утяжелили грубыми фермами, разрушив летящие очертания, напоминавшие птицу в полете). Я становился богаче, а думать, несмотря на пробуждавшиеся внутренние запросы, старался проще, упорствуя в сурово-уничижительной оценке себя. Однако признание душевной смуты было своего рода отречением от узколобого пуританства, шагом навстречу чувственному переживанию мира и самого себя. Я понимал, что «Все мои сыновья» подарили мне свободу творить, и, стоя в самом центре моста под аркой так, чтобы океанский ветер дул прямо в лицо, стремился вобрать в себя мир, границы которого стали шире. Я еще не нашел тему, но у меня возникло непреодолимое ощущение новой формы, лаконичной и вместе с тем просторной и свободной. Будущее повествование должно было быть естественным, но необычным, чем-то таким, чего никто никогда не создавал. Размышления обостряли остроту желаний, любовь к жене и ко всем женщинам сразу. Я понял, что подлинное творчество подобно акту любви. Эффекта можно добиться искусственными приемами, но стилистические ухищрения не увлекали меня. Томило желание выплеснуть на сцену жизнь во всей ее вихреобразной стихийности, как она мне представлялась тогда. Вопрос со «Всеми моими сыновьями» заключался не в том, что пьеса оказалась слишком реалистичной, а в том, что в ней не было пространства и времени для той великой немоты, которая лежит в основе изрекаемой в слове правды. Однако это опять представляло собой нечто такое, что подвластно лишь музыке.

Я не скрываю, что в те времена являлся весьма опрометчивым моралистом. Это подтверждают мои интервью, где я наивно признавал, что безнравственное искусство для меня парадокс и что художник обязан указывать выход, если знает, где он. Не отдавая себе отчета, я принял эстафету от своих любимых русских, отказавшись, пожалуй, лишь от веры Толстого и Достоевского в Божественное провидение, чьи земные дела, как свидетельствует «Преступление и наказание», постижимы не разумом, а только душой. Я склонялся к вере в мистическую сверхреальность, где зло было преодолено, хотя сохранялись противоречия жизни. Эта картина была столь величественной, что не могла не «возвысить» атеистов и одновременно пристыдить священников и раввинов, надуманным «одухотворением» превративших религию в игрушку. Чем правдивее были характер

или дилемма, тем большую одухотворенность они обретали.

Мне постоянно казалось, что прогулки свидетельствуют о моей деградации. Я любил этот город, меня безумно интересовала здесь каждая судьба, но я страдал от стеснительности и не мог разорвать круг отрешенности и одиночества. Жизнь текла где-то мимо. Странно, но при этом я каждую неделю общался с тысячами зрителей, по вечерам заполнявших театр. И все еще многого не признавал и слишком многое проклинал. Однако, несмотря на всю наивность, отчетливо видел, что искусство и чувственность для меня нерасторжимы. Я не мог объяснить, почему защищал свои пьесы так же страстно, как и стыдился их, будто в подоплеке была любовная тайна. Во время прогулок меня иногда охватывали приступы самобичевания, которые свидетельствовали о ложности притязаний на моногамное удовлетворение чувств, когда тебя сжигает и дразнит вожделение. Порой казалось, что мои отношения с Мэри и другими женщинами сковывает необратимый страх. Хотя о Фрейде я знал понаслышке, нетрудно было понять, с чем я боролся: в глубине любовных переживаний лежала мысль об инцесте. Играючи, я иногда расставлял отца, мать, брата, сестру в виде фигур на шахматной доске: каждая обладала своим весом и собственной логикой ходов, будучи грозной и властной в одной ситуации и уязвимой и слабой в другой. Независимо от того, как складывалась игра, финал был всегда одинаков: убрав мать и сестру, выведя брата из зоны активных действий, я противостоял отцу. Отец мог двигаться по всей доске; в итоге ему всегда грозила смерть.

Пытаясь сохранить свою семью, которую в течение шести-семи лет подтачивала взаимная нетерпимость, я вынес из этой ситуации много меньше, чем хотелось бы. Отношения в семье, которых страшно касаться трезвым суждением, с детства были объектом моих наблюдений, и в отличие от тех, кто считает «греховным» сам факт их признания, я всегда легко разгадывал подоплеку. При этом они мало соотносились в моем сознании с непосредственным опытом жизни родных и близких, существуя в двух измерениях, реальном и метафорическом. Так, отец виделся безжалостным и грозным гонителем, каким был и в то же время не был. Мать являлась неким чувственным существом, неверным и в то же время по сути совершенно невинным, искушавшим меня увести ее от отца. Я страшно переживал эту раздвоенность, пока не начал писать, а когда научился переводить мучившие меня конфликты в иную плоскость — плоскость искусства, — сразу ощутил радость власти над ними. Тем не менее каждая премьера вызывала мучительный приступ стыда.

Однако радоваться, не имея темы, все равно что хлопать в ладоши одной рукой. И я продолжал прогулки, пытаясь отыскать дорогу в город, ведущую к самому себе. Как-то днем я неожиданно обратил внимание, что уже не первую неделю встречаю на стенах домов и тротуарах надписи «Dove Pete Panto?», что означает по-итальянски: «Где Пит Панто?» Загадочный вопрос чаще всего встречался в портовом районе, свидетельствуя, что у подножия мирных старомодных Бруклинских Высот кипит жизнь зловещих гангстерских синдикатов с убийствами, драками и тихими ночными всплесками воды в заливе, куда сбрасывают мертвые тела. Потом вопрос замелькал на станциях метро, меловыми надписями запестрели здания на улице Правосудия. Наконец, крик подняла либеральная пресса вместе с «Пост меридиан», ежедневной прогрессивной газеткой, которая просуществовала несколько лет после своего появления в годы Второй мировой войны. В прессе сообщалось, что Пит Панто был грузчиком, который пытался организовать сопротивление портовых рабочих засилью власти президента Международного синдиката портовых грузчиков и заправлявших там его подручных, в своем большинстве состоявших в мафии. Как-то вечером кто-то позвонил Панто по телефону и попросил выйти поговорить. С тех пор о нем никто ничего не слышал. Движение, которое он возглавлял, сошло на нет.

Я начал ходить по барам в портовой части города, чтобы что-либо разузнать. В то время героическое исчезло со сцен театров и вместе с ним пропал интерес к трагедии как таковой. Меня заинтересовала судьба молодого человека, восставшего против зла и, возможно, окончившего жизнь на дне реки в цементном блоке вместо гроба.

Хватило пары дней, чтобы понять, что люди в порту боятся говорить об этом. Большинство из них были итальянцы, многие родились в Европе и полностью зависели от благоволения своих работодателей. Побывав через год в Южной Италии и на Сицилии, я понял, что система найма в Бруклинском и Манхэттенском портах была заимствована оттуда. Здесь каждое утро на городскую площадь выезжает управляющий — представитель крупных местных латифундистов. Его ждет толпа крестьян, почтительно расступающихся по обе стороны. Он тычет хлыстом в приглянувшиеся ему лица работяг и, не проронив ни слова, важно уезжает прочь, чувствуя себя Господом Богом, избавившим на сегодняшний день несколько счастливчиков от голода. В смутные времена он появляется на площади в сопровождении вооруженного карабинера. Путешествуя по

Калабрии и Сицилии, я стал свидетелем того, как однажды полдюжины солдат с винтовками наперевес уверяли молчаливую толпу крестьян, что система найма останется такой вечно.

Но до этого было еще далеко, а пока зимой в четыре тридцать утра я неизменно приходил в Бруклинский порт, в тот район, что носит название Ред-Хук, и стоял в толпе грузчиков, прятавшихся от дождя в подъездах на Коламбиа-стрит, которая упирается прямехонько в портовые постройки. При появлении босса толпа устремлялась вперед и, замерев полукругом, напряженно ждала указующих жестов и медных номерков, гарантировавших работу на день. Сначала их получали «свои», те, кто беспрекословно платил оброк, а потом, «случайно» обнаружив пару лишних, он великодушно подбрасывал их над толпой. В неистовой суматохе люди хватали друг друга за руки, возникала свалка, а порой и драка. Унизительная процедура поразила меня как грубый акт произвола, но еще страшнее выглядела рабская покорность тех, кто участвовал в ней. Казалось, люди потеряли всякую надежду. Каждый раз в предрассветной мгле я вспоминал книгу итальянского писателя и художника Карло Леви, сосланного Муссолини в Богом забытый край за то, что был евреем, где он написал мемуары «Христос остановился в Эболи». «Америка, — думал я, — остановилась на Коламбиа-стрит».

По Бруклинскому мосту спокойно двигались вереницы машин, а внизу жизнь текла, без преувеличения, по законам Средневековья. Идея грузчиков восстать против всесилия мафии вызвала у меня глубочайшее уважение, особенно когда по безмятежным лицам фланирующих полицейских я понял, что тем, кто задумает изменить устоявшийся порядок, на помощь власть имущих в этом городе рассчитывать не приходится. Пит Панто стал для меня героем, но пару недель спустя я понял, что мне не преодолеть завесу молчания и страха, нависшую над портовым районом, находившимся всего в трех кварталах от моей уютной квартиры. Оставалось только отказаться от своей затеи, поскольку ее невозможно было осуществить. Через несколько месяцев, однако, у меня дома раздался телефонный звонок, и незнакомый человек предложил встретиться и поговорить.

Винценто Джеймс Лонги и его друг Митч Беренсон приехали ко мне в тот же день. С первых слов я понял, что Беренсон решил продолжить дело Пита и организовать в профсоюзе портовых рабочих оппозицию господству Райана. Он опирался на недавно возникшую в районе Ред-Хук ячейку Американской партии труда. Ту часть города, которую он избрал полем для своей деятельности, едва ли можно было назвать спокойной, поскольку весь портовый район контролировался мафией, способной легко

разделаться с ними. В консервативной атмосфере общественной жизни конца сороковых годов она скорее всего даже не понесла бы за это наказания. Образ этих двоих на десятилетия определил мое представление о современном радикале.

Беренсону было под тридцать, он оказался полноватым, округлым, крепко сбитым рабочим с отмеченным оспинами лицом, лысым, с кривым носом и высоким, напоминавшим бетховенский, лбом. О том, что этот внушительного вида человек беден, говорили стоптанные башмаки, обтрепанные манжеты рубашки, замызганный, помятый галстук и зажатая в зубах пятицентовая сигара. Дешевая еда вздула его живот над ремнем, при ходьбе он широко расставлял ноги — эдакий бочонок. Выглядел Беренсон закаленным и уверенным в себе, по его виду едва ли можно было предположить, в какие ему предстоит попасть передряги. Порой казалось, что в его голове проносятся странные поэтические видения.

Винни Лонги, новоиспеченный адвокат с политическими амбициями, был совершенно иным. Смуглый красавец около шести футов ростом, он обладал красноречием и, по крайней мере при мне, старался избегать уличных итальянских словечек, стремясь выглядеть покультурнее. Не отдавая себе отчета, сколь обаятелен он в своей экспансивности, Лонги чрезмерно бурно восхищался романом «Фокус» и пьесой «Все мои сыновья». Своей романтической восторженностью он напомнил одного из моих кузенов и некоторых однокашников по колледжу, постоянно снедаемых желанием уложить девчонку в постель. Слащавая чувственность невольно увлажняла его глаза. В тот день на нем была голубая рубашка, какие обычно носят адвокаты, манжеты обхватывали сильные и крепкие запястья. Казалось, этот человек не очень восприимчив к боли.

Они сказали, что «вместе с Питом» начинали антирайановское движение и знают наиболее влиятельных мошенников, вымогающих деньги у тех, кто вынужден платить гангстерам за рабочее место. В порту существовала специальная система магазинов и парикмахерских, где получавший десять долларов в день рабочий обязан был платить два доллара за бутылку вина и семьдесят пять центов за стрижку. Все это было похоже на жизнь в какой-то Богом забытой деревушке, управляемой феодалом, хотя поблизости пролегала автострада Бруклинского моста и виднелись взметнувшиеся ввысь небоскребы Манхэттена. Беренсон и Лонги добивались главным образом открытия официального бюро по найму рабочей силы, где каждый, зарегистрировавшись, мог рассчитывать на работу по принципу «кто первый пришел, тот получил». Эта опасная затея

могла не понравиться главарям местного рэкета, поскольку угрожала их неограниченному владычеству. Беренсон с Лонги начали кампанию по сбору средств в поддержку нового движения портовых грузчиков для борьбы с мафией. Я был первым в списке простачков-миллионеров, которые должны были им помочь: успех на Бродвее, с их точки зрения, свидетельствовал о моей состоятельности и причастности к определенным состоятельным кругам. На самом деле в театральном мире я был знаком всего лишь с несколькими малоизвестными актерами и подававшими надежды драматургами. Но если я не мог помочь им собрать необходимые средства, я мог написать об отверженных Нью-Йорка, тем более что материал просился на бумагу. Они жаждали открыть всю подноготную, благодаря чему я наконец нашел дорогу в тот загадочный, исполненный опасностей мир у кромки воды, которым никогда не интересовались ни драма, ни проза.

* * *

Только теперь, оглядываясь назад, я вижу, сколько непредсказуемого это решение внесло в мою жизнь: я написал сценарий фильма, который никогда не был поставлен, пьесу «Вид с моста», съездил в Голливуд, где познакомился с малоизвестной тогда еще молодой актрисой Мэрилин Монро и впервые столкнулся с тайным механизмом, который породил черные списки и оказывал идеологический нажим на сценаристов, актеров, режиссеров.

В тот момент я просто подчинился инстинкту, который подсказывал, что эта история трагична. При этом мои побуждения были неоднозначны: в 1947 году во мне жило ощущение грядущих перемен в собственной жизни и творчестве, и их последствия трудно было предсказать. Возможно, отчасти это было своего рода реакцией на разногласия в семье, городе, стране, где едва ли оставалось место героическому. Попав, как мне показалось, в среду цельных натур, стоически боровшихся против несправедливости власти, я бросал вызов собственной раздвоенности. Однако здесь меня тоже ожидало немало сюрпризов.

Вскоре выяснилось, что портовый район был своего рода Диким Западом, пустыней, неподвластной законам. На одном из бруклинских причалов однажды ночью с железнодорожной платформы исчез огромный, в два этажа, электрический генератор, стоивший миллионы и предназначенный для освещения какого-то города в Африке. Грабеж рабочих — своего

рода подоходный налог — составлял ничтожную долю доходов подпольных воротил, снимавших сливки с грузооборота крупнейшего порта мира. Это торжественно осенялось именем заправилы местного царства Тони Анастазии, или Крепыша Тони, как его величали.

Но и в этой бруклинской Византии все было отнюдь не так спокойно, как могло показаться. Выяснилось, что авторитет Крепыша Тони держался главным образом на том, что его брат Элберт возглавлял подпольный синдикат местных убийц и, по слухам, имел на своем счету около сотни жертв. Через девять-десять лет он совершил роковую ошибку, тайно вернувшись из Нью-Джерси, куда был сослан, в Нью-Йорк. Смерть настигла его в кресле у парикмахера, когда он сидел с теплым полотенцем на глазах на углу Седьмой авеню и 53-й улицы, — его прикончили двое неизвестных. Однако в те времена Элберт был жив и здоров, и Тони мог безмятежно нежиться в лучах кровавой славы брата, руководя местным отделением Международной ассоциации портовых грузчиков, которое вовсю верховодило в этой части города. Беренсон и Лонги прекрасно понимали, что рано или поздно Тони услышит о них, поскольку именно они подбивали тамошних грузчиков выступить против его всевластия, а заодно и против Джо Райана, который руководил с Манхэттена.

Как все диктаторы до и после него, Крепыш Тони искренне верил, что защищает интересы сирых и обездоленных грузчиков. В своих пламенных выступлениях он ставил их интересы выше интересов судовладельцев. При этом лица все понимающих слушателей хранил и хорошую мину, ибо поди усмехнись, когда из-под топорщившегося левого лацкана пиджака у Тони торчала рукоятка «смит-вессона» тридцать восьмого калибра, который специально пристегивался повыше. При этом он был весьма неординарной натурой, и Беренсон раздумывал, не использовать ли его для нагнетания недовольства среди простых членов профсоюза. За подобные мысли они с Винценто Лонги чуть было не поплатились жизнью.

В целом Беренсон как радикал, на мой взгляд, не очень типичен, поскольку происходил из рабочей среды и не был интеллигентом. Его отец, плотник, вместе со своей сестрой эмигрировали из России в годы реакции вслед за поражением революции 1905 года. Сам Беренсон с пятнадцати лет профессионально занимался политической деятельностью среди рабочих на предприятиях по пошиву дамской одежды. Помимо прочего, ему поручали задания, требовавшие недюжинных атлетических способностей. Взобравшись по водосточной трубе, он нередко взламывал отмычкой окно конторы, открывая

профсоюзным инспекторам доступ к счетным книгам босса, с тем чтобы они могли обнаружить что-нибудь скандальное. С помощью таких гимнастических трюков мальчишке Беренсону не раз доводилось спасать движение от разных тупиковых коллизий задолго до того, как профсоюзы обрели общественный статус.

По мере того как аресты повторялись все чаще, мысли Беренсона становились все глубже. Этому немало способствовала тетушка Рива, одна из тех необразованных, но мудрых женщин, которых выносит волна революционного движения. Она приобщила его к чтению романов и стихов, написанных емким русским словом, а заодно произведений Маркса, что позволило Беренсону значительно расширить свой кругозор. Примерно тогда же он влюбился в красивую художницу и, несмотря на невзрачную внешность, сумел покорить ее силой своего убеждения в том, что она принадлежит ему так же, как он сам принадлежит рабочему движению, которое преобразит Америку, — довольно смутная идея, тогда еще только вынашиваемая в чреве истории. Сам Беренсон понял это спустя года два или три, а тогда переживал решающий поворот в своей судьбе, поскольку решил занять место сброшенного в воды залива предшественника. На его лице не было ни тени страха, ибо он был непоколебимо уверен, что как деятель является закономерным и неизбежным порождением хода истории. С дешевой сигарой в зубах и неожиданными раскатами утробного смеха он расхаживал по причалу и всячески искал повода сразиться со спрутом.

Винни Лонги такая отстраненность давалась труднее. Возможно, он презирал в себе эту слабость, но в отличие от Беренсона не мог удержаться, чтобы не подражать заправилам местного синдиката, чьи претенциозные gravitas[8] напоминали пародию на правила средневекового итальянского этикета. Как большинство левых материалистов и марксистов, оба прикрывали свой романтизм догматической фразой, полагая, что в отличие от наивных буржуазных оппонентов, движимых исключительно корыстными интересами, их кругозор значительно шире. Те, кто отстаивал личную выгоду, не обладали той тактической гибкостью, которую левым даровало сознание исторической перспективы. Таким образом, захват власти радикалами — а то, что за ними пойдут, не вызывало никакого сомнения — мыслился в виде акушерской помощи истории, что давало душевное удовлетворение. В моральном отношении оба были пуритане, если не считать нескольких досадных промахов Лонги, но, в конце концов, он был слишком хорош собою.

На протяжении полугода я время от времени сопровождал то

одного, то обоих во время штурмов бастионов феодальной портовой власти. Лонги оказался красноречивым, пламенным оратором — в предрассветном тумане грузчики на Коламбиа-стрит, стоя в ожидании работы, каждый раз окружали его все более широким кольцом. Рассекая рукою воздух, как Ильич в фильме «Ленин в Октябре», он говорил на излюбленную тему — об унижении честных сынов Италии под гнетом несправедливой профсоюзной власти. Его аудитория, конечно, знала обо всем этом лучше его, но им было приятно послушать. Вскоре, однако, стало ясно, что они поверят только тому, кто противопоставит угнетавшей рабочих власти какую-либо иную. В этом направлении у Лонги не было никаких перспектив.

Тем временем я ходил по домам, завязывая знакомства с грузчиками и вслушиваясь в их мелодичное, пересыпанное английскими словами сицилианское bravura[9] с затаенными переливами модуляций и открытой эмоциональностью. Лонги как-то рассказал о грузчике, который донес иммиграционным властям на нелегально проживавших у него двух братьев, своих родственников, чтобы расторгнуть помолвку одного из них с племянницей. От доносчика все отвернулись, он исчез — по слухам, его убил оставшийся на воле брат. Тогда я пропустил эту историю мимо ушей, ибо меня интересовал только Пит Панто.

Я взялся писать киносценарий, бросил, стал снова наведываться в Ред-Хук, потом опять засел за работу, не понимая, что уже обладаю тем, что искал, — «Видом с моста».

Толчком к работе послужила весьма мелодраматическая ситуация — Тони Анастазия заявился на чердак в штаб к Беренсону выяснять отношения и пригрозил на месте разделаться с ними обоими. На улице тем временем собралась обычная для таких случаев толпа зевак поглазеть, что будет. Тони был разъярен, поскольку попал в комическую ситуацию. Крупная корпорация подрядила его доставить вверх по Гудзону на завод, все наземные подходы к которому были блокированы пикетами бастующих рабочих из Объединенного профсоюза электриков, две баржи с парой сотен штрейкбрехеров. При этом он попытался уговорить Беренсона и Лонги (в свою очередь прощупывавших, не готов ли Тони стать их союзником в борьбе против Райана и склонить на их сторону профсоюзных деятелей), чтобы они не мешали транспортировке рабочих. На эту немыслимую затею Беренсон с Лонги ответили пламенной речью о солидарности рабочего класса, после чего в голове у гангстеров все помутилось.

Массированную попытку захвата завода с реки предотвратили моторные катера, принадлежавшие профсоюзу. Между двумя армадами произошла недолгая перестрелка, и

капитаны судов со штрейкбрехерами, быстро сообразив, что ситуация складывается не в их пользу, отбуксировали баржи обратно в Бруклинский порт. Тони стал замечать вокруг себя на лицах ухмылки и вскоре услышал брошенную кем-то в свой адрес кличку Адмирал. Это переполнило чашу его терпения, и он, потеряв голову, среди бела дня отправился на чердак требовать сатисфакции за подрыв солидарности левых.

Припертым к стене Беренсону и Лонги ничего не оставалось, как удариться в красноречие: Тони был жаден послушать, а Лонги — мастер поговорить. Он обвинил Тони в том, что тот позорит светлую память своего отца, о котором любил вспоминать с неподдельной слезой во взоре как о человеке, лет сто, не меньше, гнувшем свою трудовую спину, сбивая мозолистыми руками эти самые доки, и на своем горбу поднявшем целую ораву детей. И вот теперь его достопочтенный отпрыск предает интересы рабочих, когда у него налицо все задатки истинно народного вождя страждущих итальянцев, не говоря уж об остальном человечестве. Расстались они если не друзьями, то достаточно мирно. Лучшим подтверждением было приглашение, которое Тони получил на спектакль «Все мои сыновья», — Беренсон с Лонги предложили ему два билета. Несколько дней спустя я ждал его в назначенное время у театра. Подъехав, он прочитал над входом светящуюся афишу, взглянул на меня, и пробормотав что-то невнятное, чем напомнил дядюшку Менни в Бостоне, сел на переднее сиденье и уехал, не посмотрев спектакля. Надо понимать, он хотел удостовериться, не было ли это приглашение очередным розыгрышем со стороны Беренсона и Лонги, чтобы еще больше ему досадить.

Суровая истина, которую я постиг, гласила, что жизнь порта столь же трагична, сколь и абсурдна. Доказательством ее абсурдности стала в том числе и наша совместная с Лонги поездка во Францию и в Италию, которая долго еще потом отзывалась в моей жизни.

К тому времени, когда мы встретились, за плечами у Беренсона и Лонги было уже немало бесплодных, безуспешных попыток организовать демократическое движение. В 1946 году стало ясно, что у рабочих отняли политические гарантии защиты их прав, в случае если они выступят против сращивания профсоюзов с мафией, и тут родилась идея выставить кандидатуру Лонги на выборах в конгресс. Демократическая партия в районе Ред-Хук была в руках конгрессмена Джона Руни, которого, в свою очередь, держал под каблуком Джозеф Райан. У Беренсона забрезжила немыслимая затея обратиться к республиканцам, которые всегда проигрывали в этом округе, с

предложением провести Лонги кандидатом от рабочего итальянского квартала.

Семеня на своих кривых ногах, Беренсон, прихватив Лонги, отправился на улицу Правосудия к лидеру местных республиканцев, этакому толковому шотландцу Джонни Крузу. Тот быстро сообразил, что кандидатура итальянца, пусть радикала, в итальянском квартале ниспослана самой судьбой в ответ на его молитвы. Предложение было принято незамедлительно.

Еще вчера они опасливо озирались, опасаясь, как бы их не сбросили в воду, а сегодня один из них имел на руках мандат депутата на выборах в конгресс. Абсурдность ситуации заставила обоих расхохотаться, хотя во всем был свой смысл. Время показало, что, войдя в офис Круза как политический авантюрист, Беренсон вышел оттуда кем-то другим. Что-то изменилось в их с Лонги отношении к миру и самим себе, последствия чего не замедлили сказаться. Сколь ни малы были шансы на успех, Винни вышел из сумрака холодной, мрачной жизни портового подземелья, вступив в яркую дневную американскую действительность, где могло случиться самое невероятное.

Для Джонни Круза Лонги скорее всего был подставной фигурой, с помощью которой тот хотел на несколько недель вывести из равновесия кандидата от противоборствующей партии. Однако Винни все воспринял всерьез, мечтая после победы на выборах сфотографироваться на ступенях Белого дома вместе с президентом и отправить фотокарточку с нарочным безумно обожавшей его матери. Став кандидатом от республиканцев, он заручился поддержкой Американской рабочей партии и без устали обходил двенадцатый избирательный округ, пламенно призывая к реформе. Джонни Руни обвинил республиканцев, что они поддерживают кандидатуру левого крыла, и схватка стала ожесточенной. Подсчет голосов показал, что Винни поддержала тридцать одна тысяча человек, тогда как за Руни проголосовало всего на пять тысяч больше — разница незначительная, если учесть, что при подведении итогов результаты легко могли быть подтасованы.

Вдохновленный первым успехом в большой политике, Лонги решил потягаться с Руни и на выборах 1948 года. На сей раз республиканцы вели себя чинно и поддерживали своего кандидата, а Лонги выдвинула Американская рабочая партия. Тут он всерьез обратился ко мне с просьбой помочь ему изыскать средства на свою избирательную кампанию, и я в первый и последний раз в жизни собирал пожертвования на политические цели. Поначалу я обратился к Теннесси Уильямсу, с которым

довольно часто общался в то время и даже как-то однажды рассказал о своем интересе к портовой жизни. Он жил на Манхэттене вместе с Фрэнки Мерло, сыном главаря мафии Нью-Джерси. Ребенком Фрэнки частенько сиживал на коленях у своего отца, когда тот во время сходок обсуждал и решал подобные дела, и потому, естественно, знал о жизни порта куда лучше меня. Он настоял, чтобы Теннесси подписал чек на пятьсот долларов — весьма приличная сумма по тем временам. Мне кажется, что как писателя Теннесси эта история мало заинтересовала, но что-то в ней трогало его, совпадая с его собственным ощущением мира как несправедливой и жестокой среды обитания. Слушая мои рассказы о гнусностях портовой жизни, он обычно играл со своим сварливым белоснежным мопсом, которого брал на колени, чтобы тот в очередной раз не сделал лужу в постель. Фрэнки Мерло, как крупному специалисту в области общественных отношений, удалось затронуть слабые струны в его душе, однако это касалось скорее конкретной ситуации, а не проблем человечества в целом.

Выяснилось, что, несмотря на все красноречие, Лонги вряд ли мог справиться с Руни, если не придумать что-нибудь сверхъестественное. И Винни придумал: он решил объехать Калабрию с Сицилией и навестить родственников тех, кто работал в нью-йоркском порту. По возвращении он должен был привезти весточки нескольким сотням семей грузчиков. Помимо явной, но действенной мелодраматичности, план обладал еще одним несомненным достоинством. Сотни итальянских грузчиков имели по две семьи — там и здесь, — то есть по две супруги и детей от разных браков. В большинстве случаев это не был обман ни той ни другой жены, тем более что первой по возможности высылались деньги. Первую семью навещать удавалось редко, и то чаще затем, чтобы завести еще одного ребенка. В силу финансовых трудностей поездки совершались всего раз в пять-шесть, а то и более лет. Поэтому, если кто-то привозил вести с родины, грузчики были у него в неоплатном долгу, а что может быть естественнее, чем вернуть долг, отдав на выборах голос за оказавшего тебе услугу кандидата.

Решение Винни отправиться в Италию подстегнуло меня. Америка была страной, где делались деньги, в то время как в Европе, по крайней мере так казалось издалека, рождались идеи. Америка все больше отрывалась от реальной почвы: здесь происходили странные метаморфозы. Так, предприимчивый подрядчик по фамилии Левит строил из прекрасных, относительно недорогих блочных домов два на шесть с двумя ванными и мезонином носивший его имя город, на фоне которого дома старшего поколения выглядели жалкими лачугами. Мои

давние друзья, атеисты, и кузены жертвовали деньги на так называемый храм, хотя перед войной нельзя было представить, чтобы кто-то из них еще хоть раз отправился в shul. В Европе же в это время получили известность имена Сартра и Камю, людей, вышедших из французского Сопротивления и теперь самостоятельно, трезво и политически независимо от Москвы осмысливавших сумрак европейских событий. Фашизм умер, и с ним, сколь ни иронично это звучит, умерла моя жизнь, какой она была в сопротивлении фашизму, — я жаждал новых ощущений. Великие начала бытия — инь и ян — взаимодействовали вяло. Италия же в 1947–1948 годах, обладая самой крупной после Советского Союза коммунистической партией, была средоточием мысли о завтрашнем дне Европы, и Винни с его итальянским мог бы мне там очень пригодиться.

Джейн только что пошла в школу, Бобу было и того меньше, путешествие за границу по тем временам было мероприятием достаточно непростым, поэтому стало ясно, что я уеду на три недели один. В расставании с пережитым есть что-то влекущее и дарующее обновление: порыв души в неизвестное требует внутренней сосредоточенности. При этом приходилось экономить, так как особых надежд на то, что я напишу еще одну пьесу, которой будет сопутствовать коммерческий успех, не было. Иными словами, жизнь стреножила меня, и, вырываясь, я устремился, как когда-то на велосипеде в Гарлеме, навстречу будущему.

Самым дешевым способом пересечь Атлантику было отправиться на пароходе «Америка», на две трети пустом и опасно вздымавшемся на разбушевавшихся волнах февральского моря. Я в полном одиночестве плавал в бассейне, воображая, будто это океан и мне таким образом удастся избежать морской болезни, но качка достигла такой силы, что бассейн закрыли, опасаясь, как бы я не разбился о выложенные кафелем стенки. Последние сутки мы провели в баре с Альбертом Шарпом, только что сорвавшим солидный куш за исполнение заглавной роли в «Радуге Файниана». Он получил столько денег, что их должно было хватить до конца его дней, которые он собирался провести в уединении в сельском коттедже в Ирландии. Всю ночь напролет я слушал его ирландские байки, а когда в иллюминаторах забрезжил рассвет, мы поднялись на палубу приветствовать окутанную туманом землю.

Первым впечатлением от Европы был шок по поводу разных мелких несуразностей. Большие бетонные сваи в Шербурге были частично повалены в воду, так что к временному причалу

пассажиров перевозили на катере. Причем это были не военные разрушения, что было особенно трудно понять. Я никогда не задумывался, насколько не искушен в жизни, и только теперь это понял. (Схожее чувство я еще раз пережил много лет спустя, когда шел по знакомой улице в Гарлеме среди сожженных и разрушенных домов.) У огромного, вытянутого в длину железнодорожного вокзала, явно девятнадцатого века, была разрушена напоминавшая собор сводчатая крыша из стеклянных перекрытий — на ее месте возвышался слепой остов. Чудовищные следы неприкрытого вандализма, ненависти, злобы не могут не вселять ужас в сердца людей.

С четверть часа молчавший с нами в купе молодой американец вдруг закричал: «Когда же все-таки начнется перестрелка!» Мы — несколько европейцев, Винни и я — смущенно улыбнулись подобной бестактности посреди полного разорения. К числу несуразностей надо также отнести то подобострастие, с которым к нам, Ubermenschen[10], относился проводник, — мы были пупы земли, американцы. Мне это было приятно, хотя, видя, как они смотрят на нас исполненными обиды и зависти глазами, я понимал, что мы этого не заслужили.

Казалось, над Парижем никогда не встает солнце. Зимнее небо напоминало стальной лист, отбрасывающий серый отсвет на руки и кожу лиц. Тяжелая, гнетущая тишина, редкие машины на улицах, случайные грузовики, работающие на деревянных чурках, пожилые женщины на доисторических велосипедах. Кто из них, попадавшихся мне на глаза, сотрудничал с фашистами, а кто с замиранием сердца прятался по подвалам? А что бы делал я сам? В «Министер», кафе напротив гостиницы, я заказал на завтрак апельсиновый сок, поджаренный хлеб и яичницу из двух яиц: женщина-администратор, повар и две официантки вышли в зал посмотреть, как я расправляюсь со столь невиданным количеством еды и, расплачиваясь, достаю из пачки дешевые франки. На консьерже в отеле «Понт Ройял» по улице Дю-Бак был фрак с обтрепанными обшлагами, а мелкие порезы на подбородке свидетельствовали, что при бритье он пользуется холодной водой. Для удобства постояльцев в холле разрешали сидеть голодного вида безвкусно одетой молодой женщине в черных кружевных чулках и в юбке с оторванной подпушкой — она невзыскующе провожала меня взглядом философа. Латунные перегородки на вращающихся дверях и вокруг них отсутствовали, так же как металлические набалдашники и масса других деталей, в пароксизме отчаяния вывезенных немцами в последние месяцы. Раз в день консьерж ездил покормить кроликов на другой конец города и обратно. Кроликами тогда спасались многие.

На улице нельзя было увидеть человека, у которого пиджак с брюками были бы в тон, многие носили на работу шарфы, стараясь скрыть, что у них нет рубашек. Повсюду были велосипеды — то же самое я через тридцать пять лет наблюдал в Пекине: люди гроздьями свисали с битком набитых автобусов, в которых воняло, как в городском транспорте в Каире. Позже многое в Китае, Египте, Венесуэле напоминало мне об этом Городе Света: европейский гений сам себя разбомбил, низведя до уровня того, что еще не получило названия «третьего мира». На тротуарах встречались букеты свежих цветов, они лежали около мемориальных плит на зданиях, где нацисты расстреливали участников Сопротивления — тоже европейцев, в конце концов. Может быть, в 1914-м и в 1939-м здесь разыгрывалось не что иное, как гражданские войны? Скучая по Мэри, я написал ей, что страна напоминает раненого зверя, которому не подняться, — с Францией было покончено. Говорили, что Сартр облюбовал бар «Монтана», но мне не довелось встретить его там. Судя по газетным статьям, в деле устройства новой жизни все надеялись на помощь Америки, как будто у нас было хоть малейшее представление, что делать с этим обреченным континентом. Все это производило гнетущее впечатление: если я собирался строить планы на будущее, надо было возвращаться домой, ибо здесь ничто не предвещало хорошего.

Веркор, основатель издательства «Минюи», где вышел на французском «Фокус», пригласил меня на reunion[11] писателей во дворце неподалеку от улицы Риволи. Католики, коммунисты, голлисты, партийные с беспартийными решили восстановить былое единство времен Сопротивления. В огромной парадной зале дворца восемнадцатого века, где сверху взирали офранцуженные бюсты слепого Эроса и полнотелых кудрявых любовников вроде Пирама с Фисбой, поэты и писатели читали стихи, произносились пламенные речи, а государственное радио вело прямую трансляцию с микрофонов. Несмотря на то что собралось человек двести мужчин, женщин и каждый получил по бокалу красного вина, стоять было холодно и ноги примерзали к мраморному полу. Трудно было понять, на что рассчитывали собравшиеся здесь интеллектуалы: «холодная война», набиравшая силу, нанесла сокрушительный удар по их духовному единству и политической терпимости времен оккупации.

Писатель и эссеист Веркор, один из самых прославленных героев Сопротивления, отнесся ко мне крайне дружелюбно и провел по тем улочкам, где развозил на велосипеде газеты и запрещенную литературу, стараясь не попадаться на глаза немцам. Если бы они — тоже ведь европейцы — тогда догадались,

чем он занимается, его расстреляли бы на месте. Казалось совершенно диким, что на этих прекрасных парижских бульварах охотились на французов, расстреливая их, как последних подонков. Я снова задумался, как бы сам повел себя в ситуации, когда мораль, литература, политика — все слилось воедино. В гулкой мраморной зале звучали тусклые, скучные речи, а Веркор шептал, что это, пожалуй, последняя попытка восстановить некое подобие единства французской культуры, которую скоро вконец разъест политическая фракционность. Он показал мне Луи Арагона с Эльзой Триоле, Камю, Сартра, Мориака и еще кое-кого из католических писателей. Я видел, что, закончив выступление, люди уходят.

Советский Союз все еще имел огромный авторитет. Считалось, что русская армия спасла Европу от тысячелетнего ига нацизма, и потому в рассказы о сталинском терроре трудно было поверить. Пред лицом этих фактов такие люди, как красавец Веркор, стройный, атлетически сложенный, терпимый, справедливый, умолкали, ибо они ставили под сомнение последние пятнадцать лет антифашистской борьбы. Манихейский мир, где ровный негасимый свет освещал окружавшую тьму, умирал на глазах. Реальность была как старый пейзаж, который висит на стенке, его и снимать не снимают, и смотреть не смотрят. Героизм Советов все еще бросал отблеск на близкое им левое движение. Во время войны, когда Мэри ждала нашего первенца Джейн, она в полузабытьи во время схваток шептала: «О, бедные югославы», — те отчаянно сражались против нацистов в своих заснеженных горах.

Больной Луи Жуве в шарфе и свитере весь вечер, не вставая с кресла, в выстуженном театре играл «Ондина» Жана Жирарду. Чтобы немного согреться, зрители шевелили пальцами ног, дышали на руки, сидели в пальто. Это был еще один трогательный эпизод в истории гибели страны — казалось, тепло никогда не вернется во французский театр, вокруг стояла разруха, чувствовалось, что люди действительно потерпели крушение. Но у Жуве возник какой-то внутренний контакт с залом, который мне никогда не доводилось видеть раньше. Он глубоко индивидуально общался с каждым из зрителей на его любимом языке. Я устал от потока речи и полного отсутствия всякого действия на сцене, но понимал, что язык врачует души, становясь целительнее от того, что люди внимают ему сообща. Это было последнее, что их связывало, единственная надежда. Меня тронуло, как зал тепло принимал Жуве, ибо я привык, что театр сражается со зрителями. Их нельзя было разделить, а ведь он то и дело позволял себе выходить из роли, смакуя тот или

иной авторский оборот, за что срывал восторженные аплодисменты. Еще одно поразило меня, хотя тогда показалось очередной несообразностью французов. Игра Жуве была конкретна, реалистична, предметна, но во всем присутствовал какой-то флер, висела призрачная загадочность. От этого каждое слово становилось событием, слово и его переживание. Это произвело сильное впечатление, и я выкинул несколько строк из «Всех моих сыновей», ибо они показались слишком броскими, слишком литературными в пределах новых представлений о естественности.

Не проходило дня, чтобы газеты не пестрели заголовками о плане Маршалла. Оба правительства, английское и французское, негодовали, что Америка окажет немцам материальную помощь и они начнут восстанавливать свою промышленность, не подняв из руин разрушенные фабрики и заводы в Англии и во Франции. Немцы, по-видимому, становились нашими новыми друзьями, тогда как спасители-русские оказывались отброшены в стан врагов. На мой взгляд, это было подлостью. Начинался новый виток — двадцать лет спустя Теодор Адорно, когда мы встретились во Франкфурте, рассказал мне, что в те далекие времена американцы настояли, чтобы из немецких учебников были выброшены все упоминания о Гитлере, и их заменили на новые, без единого слова о нацизме. Этот провал в представлении о собственной истории новое поколение немцев-радикалов еще припомнит Соединенным Штатам.

Со временем я понял, что быстрая смена ярлыков в отношении двух наций, мгновенный сдвиг в понятиях «добро» и «зло» нанесли непоправимый урон пусть абстрактному, но все же лелеемому представлению о порядочности мира. О каком добре и зле могла идти речь, если вчерашний друг сегодня оказывался врагом? С этого момента, лет восемь — десять спустя после смерти Гитлера, отличительной чертой мировой культуры стал нигилизм, хуже того, тупое безразличие к моральному императиву. Что касается меня, хотелось быть с теми, кто не отступил, и вовсе не потому, что я высоко ставил себя, а потому, что был убежден: эстетической формы вне нравственного содержания не существует, так, одна шелуха. Этого нельзя было доказать, но я был глубоко уверен в этом.

Знакомство с Италией началось с бутерброда, который мы купили в лавке на железнодорожном вокзале в Милане, — перченая prosciutto[12] на белой итальянской булке, вкуснее я ничего не едал. Среди итальянцев я чувствовал себя намного проще, чем во Франции, — здесь все казалось как-то не так серьезно.

Прозаик, автор рассказов Эцио Тедеи, писатель-анархист, отсидевший при Муссолини четырнадцать лет в тюрьме, теперь расхаживал по промозглому февральскому Риму в брюках, ботинках и видавшем лучшие времена твидовом пиджаке — ни рубашки, ни носков, ни белья у него не было. Он ночевал на открытом балконе палаццо, где когда-то обитал важный фашистский чин. Потом там поселились с полдюжины бедняцких семей, имевших в общей сложности человек двадцать детей, и с общего согласия они его там разместили. Я настоял, чтобы он взял у меня рубашку, шорты, лезвия, носки, но через несколько дней увидел его все в том же виде — Эцио признался, что раздал вещи тем, кто в этом действительно нуждался. Работал он прямо на балконе, не обращая внимания на бесконечные уходы и приходы окружающих, на шум и возню прямо над ухом. Его красивый стол, за которым он работал, был конфискован из чьей-то гостиной и обладал десятками выдвижных ящичков и отделений, где хлеб и крупы хранились вместе с рукописями Эцио и его драгоценной ручкой «Паркер».

Как-то во время прогулки по Риму я заметил, что во многих домах окна закрыты ставнями, которые скрепляет тяжелая цепь. Он объяснил, что этого требует закон о борделях. Мне очень захотелось зайти, и он повел меня в свое излюбленное заведение. У входа в некогда роскошные апартаменты дворца возвышалась колонна, увенчанная парой бронзовых любовников в порыве экстаза, причем у женщины волосы развевались, как на ветру. Туда, где раньше была большая парадная зала с барочными зеркалами от пола до потолка, вела мраморная лестница, устланная бордовым ковром. С потолка, украшенного богатой лепниной, свисало несметное количество тускло подсвеченного неяркими лампами хрусталя. Вдоль одной из стен расположились человек двадцать пять мужчин всех возрастов: кто читал газету, кто играл в шахматы, кто дремал, кто разглядывал женщин — их около дюжины выстроилось вдоль зеркальной стены напротив, одетых кто в мавританский наряд с кружевными шальварами, кто в белоснежное платье для конфирмации, кто в затрапезную домашнюю одежду, кто в трико с лифчиком, а то и без него; тут были и длинноволосые, и коротко стриженные, и с подколотыми волосами; босые, на высоких каблуках, в сандалиях, уличной обуви, туфлях с блестящими пряжками, сверкавшими, как настоящие бриллианты. Наш век — век лицедейства. Мы с Эцио уселись рядом с мужчинами и стали ждать. Кто-то продолжал играть в шахматы, кто-то сворачивал и разворачивал газету, а женщины стояли, будто на автобусной остановке. На всех лежала печать показного равнодушия. Наконец кто-то, как чайка, что

взмывает, отрываясь от стаи, поднялся, не выказывая явных намерений, пересек по паркету залу и подошел к женщине, которая тут же исчезла вместе с ним за дверью, будто пошла помочь примерять обувь. Это подействовало на всех, как на распродаже старой одежды. Я вспомнил Чехова, который писал, какое отвращение испытывал к себе после того, как однажды посетил подобное заведение. И свое собственное ощущение пустоты и отчужденности, когда брат с приятелями впервые взяли меня с собой на квартиру на Аппер-Вест-Сайд. Здесь же у меня не было никаких неприятных чувств. Тедеи посмеивался, как горделивый владелец одной из самых необыкновенных достопримечательностей родного города. Было видно, что секс, по крайней мере теперь, после двадцати пяти лет фашистского правления и жуткой войны, занимает людей много меньше, чем пропитание, крыша над головой и одежда. Женщины такого рода были необходимы, и им отдавали должное, как предмету первой необходимости, не более того. Чувственная потребность входила в круг жизни, погрязшей в нужде. Добывание пищи, поддержка семьи, дружба, человеческая солидарность — все слилось, что отразили великие неореалистические фильмы послевоенного итальянского кино, о которых тогда еще не было речи, — «Открытый город», «Похитители велосипедов» и другие. В 1948 году Италия не знала проблем перепроизводства, уж не говоря об избытке товаров, связанном с ростом притязаний непомерного эго. В запыленной бальной зале все стыдливо отдавали должное человеческой природе, и это было целомудренно.

Я зря уповал, что будущее западной цивилизации станет яснее, если из Бруклина перебраться в Европу. Хотя Итальянская коммунистическая партия была, пожалуй, самой большой на континенте, она ненавязчиво советовала избирателям отдать на выборах голоса за христианских демократов, ибо на русских надеяться нечего, а если победят красные, американцы прекратят поставки продовольствия и придет голод. Я жил тогда еще в тисках апокалипсического представления об истории, и приходилось настойчиво повторять себе, что люди в толпе и те, кого мы встречаем, отнюдь не невинные жертвы муссолиниевской глупости и чванливого честолюбия, но в своем большинстве поддерживали фашизм или по крайней мере не оказывали ему сопротивления. Таких, как Эцио Тедеи, было на удивление мало. Когда он представлял опасность, его изолировали, но даже теперь, в преддверии революции, признаков которой еще не было видно, производил впечатление человека в высшей степени простодушного, если не наивного.

Вокруг Рима существовало так называемое кольцо, где в

полутемных землянках, вырытых в стенах обрывов и отрогах холмов, ютились тысячи бездомных семей. Мы поднимались наверх к живым скелетам, которые обитали среди собственных нечистот, таская ведрами воду откуда-то издалека снизу. Кое-где из землянок открывался вид на новые жилые дома, которые росли по ту сторону шоссе, в то время как здесь февральский дождь хлестал людей по лицам. Это был Рим «Похитителей велосипедов». Едва ли можно было предположить, что через сорок лет в Нью-Йорке окажется бездомных больше, чем в послевоенном Риме. И я, как и все, примирюсь с этим, считая подобное не катастрофой, но печальными издержками жизни величественного Нью-Йорка, самого необыкновенного города в мире.

К югу от Фоджи над мэриями нередко развевалось красное знамя, и во время наших с Лонги бесед с крестьянами те частенько вытаскивали из-под кровати карты местных латифундий и показывали, как коммунисты разделят землю, стоит им победить на выборах. Наделы были расписаны по именам, а границы, которые, водя по карте заскорузлыми пальцами, радостно очерчивали крестьяне, были четко обозначены. Исколесив в ту зиму через три года после войны вдоль и поперек всю Италию, я неожиданно поймал себя на мысли, что ни разу не видел толстого итальянца. Куда подевались дородные мамаши и упитанные папаши? С ними было покончено. Нас нередко спрашивали, нельзя ли Италии стать сорок девятым штатом Америки, причем в вопросе не было никакой иронии.

И все-таки жизнь здесь текла веселее, чем во Франции, своей энергией итальянцы напоминали сорняки, которые растут, невзирая на обстоятельства. В небольшом городке на юго-востоке тетушка Винни, Эмилия, учительница и старая дева, которой перевалило за пятьдесят, ежедневно около четырех отправлялась на центральную площадь послушать у громкоговорителя очередное выступление христианских демократов, транслировавшееся из местного центра Фоджи. Из громкоговорителя напротив одновременно пламенно вещали из Рима коммунисты. Какофония стояла невообразимая. Эмилия, человек по натуре пылкий, прямой, всячески старалась, чтобы народ собирался у столба, где держали речь демократы, причем желательно, чтобы стоя спиной к столбу, откуда неслись призывы коммунистов. В половине шестого оба динамика умолкали — наступала пора вечерней прогулки. Ряды политических соперников таяли, и на площади появлялась праздная публика, совершая, как и тысячу лет, променады по кругу; молодежь на выданье останавливалась и болтала, оглядывая друг друга, как

пингвины. Эмилию поразило, что я еврей. Оказывается, она считала, что их давно не существует, и не потому, что они подверглись массовому истреблению, которому тогда еще не подобрали названия, а просто в ней сидело смутное ощущение, что после смерти Христа все евреи обратились в новую веру или растворились на страницах Библии. «Но вы ведь, конечно, верите в Христа». — Она ободряюще улыбнулась. Я не мог сказать ничего утешительного — казалось, ужас промелькнул в ее набожных глазах, хотя мы вскоре снова вели дружескую беседу. Она полагала, в жизни есть нечто непознаваемое, а я исходил из всевластия человеческого разума.

Как-то днем, остановив и без того не очень оживленное движение, по улице прошел крестный ход. Пережидая, пока мальчики-певчие пронесут позолоченный крест и фигуру святого, я подумал, так ли уж далеко отошла в прошлое былая жизнь, как многие полагают. Склонив голову и прижав шляпу к груди, перед нами стоял мужчина средних лет, и, когда процессия миновала, Лонги вежливо спросил его, по какому поводу торжества. «А черт его знает», — ответил тот, надевая шляпу, и поспешил на другую сторону улицы. Такой мне тогда открылась Италия: трогательный спектакль в соединении с циничной шуткой. Французы намного ближе к сердцу принимали то, что произошло со страной, как будто кто-то обманул их с победой или мучила совесть за пособничество фашистам. Итальянцы, похоже, понимали, что немного переборщили с Франко, но в любом случае больше ценили жизнь, чем смерть.

Совсем иную процессию можно было наблюдать около пяти вечера у прекрасного волнолома в Мола-ди-Бари на Адриатике, как раз под каблуком сапога. Лонги приехал сюда навестить несколько семей портовых рабочих и ходил по домам — своего рода Красный Крест в одном лице, — передавая новости из Бруклина, записывая, сколько ребятишкам лет и как поживают жены. Все знали, что в Америке существуют «другие» семьи, однако никто об этом не говорил. Женщины бились в тисках экономической нужды, но если некоторые из них были измучены и в возрасте, то попадались такие, которым было под тридцать. Их по-женски исполненные страха глаза кричали, что они боятся, как бы их не бросили. Винни как нельзя лучше подходил для взятой им на себя роли, мало чем пренебрегая в попытке ободрить женщин. И они платили ему восхищением — такому непривычно высокому среди итальянцев и откормленному хорошей, здоровой пищей.

В тот день около пяти мы увидели на набережной необычное скопление одиноких мужчин, которые размеренно прогуливались,

порой держась за руки. Однако по виду мало походили на итальянцев. Одетые в темные, по нью-йоркской моде, пальто и серые шляпы с загнутыми полями, они были в белых, застегнутых на все пуговицы рубашках без галстуков и остроносых, на тонкой подошве, до блеска начищенных городских ботинках. В кафе с видом на море мы подсели за столик к четверым, которые пили кофе. Сначала они разговаривали по-итальянски, но хитрая усмешка Винни заставила их понимающе улыбнуться, и они с облегчением перешли на бруклинский диалект. Они здесь просто пережидали, эти «мальчики» из Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Лос-Анджелеса, во избежание судебных преследований вынужденные бесцельно любоваться на восходы и закаты. Прекрасная, но утомительная ссылка тянулась до тех пор, пока их боссы не договорятся между собой, и тогда дорога в Штаты будет снова открыта.

Италия вдохновляла взяться за пьесу, которая вертелась в голове, — «Вид с моста», — но я не был уверен, достаточно ли чувствую эту жизнь, дабы позволить себе писать об итальянцах. Единственное, что я понял, — Америка и Европа по-разному относились к родовым связям. Европа была полна родственников, тогда как Америка потеряла интерес к кровным узам. В Риме Винни счел своим долгом нанести визит двоюродному брату, капитану армии, который работал в верхнем эшелоне военного ведомства Италии. У входа в своего рода Пентагон нас встретила традиционно одетая в высокие ботинки с белой перевязью, в белых перчатках охрана, стоявшая по-балетному разведя крест-накрест ноги. Каждый крепко сжимал перед собой винтовку. В небольшом справочном бюро Винни поинтересовался, нельзя ли ему повидаться с капитаном Франко Лонги, однако дежурный за тонкой перегородкой извинился, что вынужден отказать, ибо без предварительной заявки они никого не пускали.

— Капитан Лонги мой кузен.

Ни один мускул не дрогнул на лице человека за перегородкой.

— Ваш кузен?

— Да, я приехал из Америки, из Бруклина.

— Ах, из Бруклина!

Он схватил телефонную трубку, и мне показалось, его глаза увлажнились. Через минуту мы были в лифте, при выходе из которого нас уже встречали три-четыре полковника, два генерала и секретарши. Сложив под подбородком руки, они с умилением наблюдали, как капитан Лонги обнимает Винни, — итальянцы легко делятся на актеров и зрителей. И это в самом центре военного ведомства Италии. В течение получаса братья

обменивались семейными новостями: кто умер и в каком сражении, кто по возрасту, кто по болезни. Наконец генерал приказал капитану отвести нас пообедать и за салатом спросил, нет ли у Винни случайно своего человека в «Паркере», в американской компании по производству ручек: если что и пользовалось в Италии в 1948-м огромным спросом, так это прекрасные ручки «Паркер». В Неаполе наладили местное производство, но люди быстро разобрались, что к чему…

«Так наступает конец света», — вертелось у меня в голове, когда мы шли по набережной Неаполя, вдоль которой лежали поваленные в воду либо вывороченные во время бомбежки фонарные столбы барочного вида, а напротив, зазывая несуществующих посетителей, сверкали огнями рекламы гостиниц. Молоденькие проститутки, болтая, семенили группками, скользили рукой у нас между ног и хохотали, обзывая слабаками, когда мы отклоняли их предложения. Днем по многолюдным улицам у гостиниц фланировали женщины с корзинами белья на голове. Они навострились молниеносно срывать с прохожих шляпы, которые тут же засовывали в корзину, а человек в поисках исчезнувшего на глазах головного убора продолжал беспомощно озираться. Как-то я сидел в пролетке, поджидая, пока Винни поменяет деньги в ближайшем банке, когда ко мне подошел молодой парень и начал буквально из-под ног вытаскивать чемоданы, как будто мы с ним договорились. Я что-то сказал по-английски, он понимающе взглянул на меня и продолжал свое дело, пока я не ударил его по рукам каблуком. Тогда он еще раз посмотрел на меня, пожал плечами и пошел, как будто ничего не произошло. Это был еще один спектакль.

Стоит ли говорить о непристойных неаполитанских анекдотах. Приходской священник заглянул к одному из своих прихожан. На второй этаж тянулась длиннющая очередь соседей, с каждого из которых хозяин брал по центу, допуская в спальню посмотреть на свою юную незамужнюю дочь, которая родила чернокожего ребенка. В Неаполе были расквартированы американские войска, среди солдат попадалось немало негров, поэтому черный ребенок у белой женщины был явлением скандальным, но в то же время необычным, сродни чуду. Священник, конечно, возмутился. «Очень плохо, что ваша дочь не венчана, но еще хуже, что вы потеряли всякий стыд, набравшись наглости наживаться на ее несчастье!» На что незадачливый папаша, отозвав проповедника в сторону, прошептал: «Не бойтесь, падре, это не ее ребенок».

С Италией было покончено. На выезде из Рима на заднем дворике располагался импровизированный ресторанчик с

четырьмя-пятью хромыми столиками и зазывной рекламой: «Входите! Ешьте! Здесь еще никто не умирал!» Больше всего люди ценили, что выжили, а не умерли — некая аристократия уцелевших.

Совсем иной тип уцелевших обитал на продуваемой ветрами набережной Мола-ди-Бари. Мэр города рассказал нам, что в роскошных виллах на Адриатике, которые были построены ныне бежавшими или угодившими за решетку видными фашистскими чинами, проживали ebrei, евреи из немецких концентрационных лагерей. Винни разузнал, как туда попасть, о чем итальянцы говорили крайне неохотно, особенно с чужими, ибо англичане давили на правительство, чтобы оно запретило евреям из концлагерей въезд в страну или по крайней мере не выделяло средства для транспортировки в Палестину. Поэтому жители Мола-ди-Бари и Бари делали вид, что ничего не знают. Мы отправились туда вечером. Сотни беженцев ютились в двух десятках просторных палаццо, причем даже в коридорах люди жили чуть не на головах друг у друга. Войдя, я испытал чувство, которого не доводилось переживать, — в воздухе была разлита атмосфера враждебности, возникало ощущение, будто тебя нет или ты прозрачный. Женщины прятали глаза, делая вид, что занимаются ребятишками, мужчины и подростки проходили мимо, будто ты невидимка. Я понимал, что стоит сделать одно неосторожное движение, и от меня останется мокрое место. Подойдя к двум небритым, но опрятным парням, смотревшим на меня с нескрываемым опасением, я постарался объясниться с ними на английском. Винни перешел на итальянский, наконец, я вспомнил несколько слов на ломаном идише вперемежку с немецким и пожелал им всего наилучшего, признавшись, что сам еврей. Их не интересовали мои проблемы, а я ничем не мог им помочь. Они мечтали только попасть на корабль, отплывающий в Палестину, и навсегда покинуть европейское кладбище. Их недоверие, как кислота, брызнуло мне в лицо: я обращался к обуглившимся головешкам, железной окалине, скелетам с глазами. Долгие годы ушли, чтобы понять, почему я не бросился разделить их участь, ибо они были прямые жертвы катастрофы, которую я как писатель различными способами всю жизнь пытался предотвратить. Когда я вспоминаю этих не нужных ни одному цивилизованному государству людей на темной веранде, в ожидании корабля неотрывно смотрящих на горизонт и знающих, что их присутствие нелегально, а британские дипломаты угрожают нажать, у меня исчезает ощущение собственного тела, как будто я отрекаюсь от самого себя, и вновь возникает стыд, что я не понял, насколько мы родственны.

Такой же зияющей раной живет во мне первое известие о Хиросиме. Как я мог восторгаться этим? Радоваться, что война наконец окончена? Гордиться возможностями человеческого разума, читая о том, как продвигалась работа над атомной бомбой?

Откуда эта слепота? Придет день, и я пойму: мы смертны, ибо не способны к сопереживанию.

В сугубо итальянской фамильярной манере Винни поинтересовался у швейцара в гостинице, где бы мы могли пообедать. Иностранцы все еще были в диковинку в «Отель де Пальм», поэтому наш вопрос его озадачил. В Палермо работал один-единственный ресторан на другом конце города, да и тот открывался только по вечерам. В этом не было ничего удивительного, ибо даже здание нашей гостиницы стояло наполовину разрушенное — в него когда-то попала американская бомба. Европа напоминала не очень молодого консьержа во фраке со стоячим воротничком, замусоленным галстуком серого шелка и обломанными ногтями. Холл, причудливо украшенный полуарками на массивных колоннах, за которыми легко было назначать приятное свидание или вести сомнительные деловые переговоры, неожиданно упирался в большую плотную коричневую занавеску, которая отделяла разрушенную часть здания.

В разговор вступил морской капитан, человек помоложе и посовременнее. Он сказал, что обедом нас в ресторанчике, пожалуй, накормят, но его трудно найти, так как в окнах нет вывески. Держа ладони вертикально, он объяснил, как пройти по разрушенному городу. Если не считать чашки кофе на завтрак, мы не ели со вчерашнего дня, когда нас покормили сицилийские рабочие, с которыми мы плыли на пароходике через Мессинский пролив, благо у них оказалась с собой какая-то снедь.

С улицы гостиничные окна блестели так, что невозможно было смотреть. Это свидетельствовало о неукротимой тяге к жизни, хотя сбоку у стены лежала гора бута с обрывками дорогих обоев, а гипсовые виноградные лозы украшали заложенные кирпичом дверные проемы. При каждом шаге вздымалось облако цементной пыли, отчего брови становились седыми. Повсюду что-то строилось: люди сновали по лестницам вверх и вниз, таская бадьи или ведерки с раствором. В одном месте довелось увидеть, как по лестнице карабкался в белом фартуке официант с кофе и хлебом на подносе обслужить какого-то важного клиента. Нагруженный металлическими перекладинами осел норовил укусить за руку мальчишку, который понукал его переступить

через гору бута. Небольшой, отчаянно чихающий фиатовский грузовичок грозил вот-вот перевернуться, так он парусил, нагруженный сверху футов на двадцать. Всем командовали усатые дамы-регулировщицы в черном. Их хриплый баритон разносился по округе, особенно когда они распекали шестнадцатилетних девчонок, в виде наказания отсылая их навсегда домой. В окне второго этажа женщина держала в руках малыша, показывая городу одного из его обнаженных божков. В Палермо, в отличие от Неаполя, не было проституток. В развороченной гавани с торчавшими из воды обломками волноломов у поваленной пальмы трудился эскадрон коричневых крыс, которые не обратили на нас никакого внимания, будто у них было специальное разрешение муниципалитета. Солнце играло в воде, небо было безоблачно, поодаль стоял одинокий грузовой корабль, оттуда в барки сгружали мешки с американской пшеницей, за счет которой город только и жил. До всеобщих выборов оставались считанные недели, посему американский посол посетил здешние места и произнес речь, во время которой, рассказывали, взял пригоршню зерна и посыпал голову какому-то сияющему мальчонке, объяснив то, что все и так понимали: если победа достанется коммунистам, поставки будут прекращены. Лишнее доказательство того, что с Италией, попрошайкой и проституткой, было покончено, как таковая она перестала существовать. То тут, то там слышалось цоканье копыт — по мере того как страна все больше сползала в прошлое, из девяностых годов ушедшего столетия появилась carrozza, повозка. Люди неутомимо сновали по лестницам вверх и вниз, как будто у итальянцев было национальное пристрастие к жидкому цементу, которым они восстанавливали и отделывали на солнце стены.

Ресторан оказался единственным отстроенным зданием посреди разрушенной маленькой площади и действительно стоял без всякой вывески. Войдя с залитой солнцем улицы, мы поначалу решили, что все восемь или десять столиков, покрытые белыми скатертями, пусты. Хозяин, первый толстяк, которого довелось увидеть в Италии, вынырнул из-за голубой хлопчатобумажной занавески и вроде бы даже выразил удивление. Он нервно спросил, что мы собираемся есть, как будто мы у него были первые послевоенные посетители. Присев, я оглянулся и увидел, что около стены сдвинуто в ряд с дюжину столов, за которыми молчаливо восседают какие-то люди. Поразил их пестрый социальный состав: около крашеной платиновой блондинки из кабаре с глубоким волнующим вырезом приютилась шатенка, рядом восседала сицилианская матрона в черной косынке, румяный четырнадцатилетний пацан, трудяга крестьянского вида

в хлопчатобумажной рубахе, между плотным рабочим и бледным бизнесменом с густыми усами — худосочный очкарик, то ли журналист, то ли интеллектуал; два ухарского вида гангстера с холеными усиками и еще одна проститутка с жемчугом в волосах около интеллигентного вида мужчины, похожего на домашнего врача…

Кроме них, в ресторане никого не было, они бесцеремонно разглядывали нас в тишине. Все теперь поменялось: мы актеры, а сицилийцы — зрители. Меню тоже было не без сюрпризов: баранина с ягнятиной, чего ни разу не доводилось видеть по всей Италии. Даже в Риме и Неаполе самое большее, на что можно было рассчитывать, — это рыба и дичь. Хозяин с довольным видом привычным жестом потер руки, хотя во взгляде сквозило напряжение, повернулся и вышел — чуть было не написал «со сцены» — за занавеску.

Изучая меню, Винни побагровел, как свекла, и все никак не мог от него оторваться. Потом произнес почти одними губами:

— Не оборачивайся, не представляешь, кто за тобою!

— Муссолини.

— Хватит выпендриваться, это серьезно.

— Король Виктор Эммануил. Бальзак. Луис Мейер.

— Луки Лучано.

Как и все, кто читал газеты, я знал: прокурор по специальным делам Томас Дьюи предъявил ему обвинение в том, что он возглавляет мафию, совершил несколько тяжких убийств, содержит публичные, игорные дома, замешан в рэкете, и добился, чтобы его выслали в Италию. Поначалу казалось, у Дьюи ничего не получится, но когда он выиграл процесс, то стал национальным героем. Думали даже, что его вторично выдвинут кандидатом на пост президента от Республиканской партии и он сможет победить Трумэна. Лучано был королем воров, настоящим монстром, чудовищем с рогами.

— Не ешьте эту дрянь.

Услышав бруклинский акцент, я поднял голову и увидел знакомое по фотографиям лицо, которое не забудешь.

— Подай им мой обед, — бросил он хозяину, и тот, счастливый, что обстановка наконец разрядилась, бросился исполнять поручение, в то время как Лучано пододвинул стул и уселся за наш стол.

— Чолли! Неужто ты!.. — Винни протянул руку Лучано, которого звали Чарли, будто не зная, как справиться с охватившей его радостью. При этом на его лице выступила испарина.

— Откудова вас принесло?

— Из Америки, Чолли.

— Шо это из Америки?

— Из Бруклина, Чолли. Я — Винченцо Лонги, а это мой друг Миллер.

Я удостоился ничего не значащего кивка, так как явно не походил на итальянца. Сейчас его интересовал только Лонги, да и то потому, что прибыл из Бруклина. Вдруг до меня дошло, что Винни, наверное, оказался единственным итальянцем, о чьем приезде на Сицилию его не уведомили.

— А в Бруклине ты че?

— Я из Ред-Хука, Чолли. — Сказав это, Винни понимающе усмехнулся: — Родные места, а?

— Точно. Родные. Че поделываешь?

— Юрист.

Лучано понимающе кивнул и обратился ко мне:

— Тоже юрист?

— Нет, я писатель.

— Какая газета?

— Не, он пишет для театра… знаешь, всякие пьесы, Чолли.

Лучано неуверенно качнул головой.

— А сюда че? — И кивнул на кожаный футляр, где лежал мой восьмимиллиметровый «Кодак».

— Это моя кинокамера, — отозвался я.

— Гляну, а?

Я почувствовал, как за спиной у меня будто кто-то вырос из-под земли, и, оглянувшись, увидел, как над футляром склонилась фигура верзилы футов шесть ростом. Из-под топорщившегося пиджака торчал пистолет, судя по всему, тридцать восьмого калибра. Он дал мне возможность открыть футляр и достать камеру. Потом выхватил ее у меня из рук и, повернувшись чуть в сторону от хозяина, открыл и закрыл крышку. Вернув, бросил:

— В порядке!

Пока я смотрел, чем он занимается, краем глаза успел заметить, что люди у стенки куда-то исчезли, как будто испарились, без звука, не скрипнув стулом или половицей. Кроме нас, в ресторане никого не было.

Лучано несколько успокоился, усмехнувшись улыбкой усталого человека:

— Какого черта вас сюда принесло?

— Так, путешествуем, — сказал я.

Он чуть не рассмеялся, решив, что это шутка.

— В Палермо-то?

Приободренный хозяин накрывал на стол, в то время как Лонги посвящал Лучано в свои планы навестить семьи

бруклинских рабочих и выставить свою кандидатуру на выборах в конгресс. Как и Анастазия, Лучано всерьез отнесся к честолюбивым устремлениям молодого итальянца, одарил его долгим взглядом и несколько раз одобрительно кивнул. Я тем временем рассмотрел его — никогда не приходилось видеть лица, которое бы столь четко делилось на две половины. С правой стороны сумеречное, концы губ опущены, впалая щека. Это было лицо убийцы. Левый глаз, однако, потеплее, пытливый, умный, любознательный. Это было его общественное лицо, он чем-то смахивал на домашнего зубного врача. И носил старомодные очки без оправы. Единственный человек, лицо которого произвело на меня такое же двойственное впечатление, был Линкольн. По крайней мере я никого больше не мог припомнить.

— Ты с кем-нибудь там знаком? — спросил Лучано, и Винни не моргнув глазом начал перечислять всех мафиози сразу, хотя, думаю, едва ли знал кого-то лично. Их имена были золотыми буквами вписаны в историю итальянской общины как символ большого успеха. Как и Анастазия, Лучано пожаловался, что к нему несправедливо относятся, не позволяя наведываться на полуостров, не говоря о Неаполе, где, по его словам, умирала тетка матери, мечтавшая повидать его перед кончиной. Он настоял на том, что сам оплатит наш обед; не глядя, высыпал на стол кучу денег («Дерьмо, все одно они бешеные»), а когда я поднялся, сказав, что мы идем гулять, предложил, а потом потребовал, чтобы мы поехали в гостиницу на его машине, хотя у нас не было никакого желания возвращаться туда раньше вечера.

И тут меня осенило:

— Я хочу писать о Сицилии, мне надо было бы посмотреть окрестности.

— Нет-нет, у нас машина, и мы вас подвезем, — настойчиво повторил он, дав понять, что не собирается терять нас из виду. Раскланиваясь в пояс, хозяин отпер дверь, хотя я не заметил, когда он успел запереть ее.

— Прекрасная машина, — похвалил я его большую зеленую спортивную «ланцу». И устроился на переднем сиденье вместе с телохранителем, который вел машину, а они с Винни сзади.

— Да уж не хуже «шеви», — бросил он. И я почувствовал, как этот человек скучает по дому. В гостиницу нас доставили под строгим надзором. Меня начало раздражать это шутовство, однако, судя по нервозной приподнятости Винни, он относился ко всему серьезно.

Вслед за Винни я подошел к стойке за ключами. Лучано тоже получил ключ.

— Надо же, мы соседи! — произнес он, посмотрев мне прямо

в глаза. Ничего не оставалось, как согласиться, что, судя по жетончикам, мы действительно живем рядом. Он пропустил меня вперед, когда мы заходили в лифт, хотя я предполагал войти после него, ибо он был старше. В кабине ехали молча, он стоял, прижавшись спиной к стене. Около наших дверей, кивнув, расстались без единого слова — ничего не лезло в голову.

Сжав виски, Винни упал спиной на кровать.

— Боже! Так мы к тому же соседи!

Меня удивила его наивность.

— Вообрази, а вдруг мы агенты ФБР или они наняли нас проделать у него в голове дырку!

И я завалился спать, наверное, чтобы поскорее забыться, да и роскошный обед с непривычки сделал свое дело. Винни еще о чем-то болтал, но потом и его сморило. В те дни я еще не утратил былую веру во всемогущество американского паспорта, полагая, что он гарантирует некую мистическую защиту.

Мы проснулись от стука в дверь. Винни вскочил и прислушался. Снова стук. Он посмотрел на меня и сглотнул. Я рассмеялся, это передалось ему, и он весь сжался в пароксизме смеха. Постучали в третий раз. Винни выпрямился. Кто-то настойчиво рвался в наш номер, видимо заранее зная, что мы здесь. Это мог быть только Лучано или кто-нибудь от него. Винни открыл.

На пороге стоял высокий, необыкновенно красивый парень в морской бескозырке, опрятной шерстяной накидке и грубых крестьянских башмаках.

— Синьор Лонги, — улыбнувшись, сказал он, при этом все его существо излучало радостную готовность услужить. Это был юноша, для которого сотворен мир. — Если я правильно понял, — продолжал он, присаживаясь и снимая вязаный головной убор жестом человека, который владеет Италией к югу от Рима, — вы хотите посмотреть Сицилию.

— Верно, — откликнулся Винни, — но нам сказали, нет бензина. — Единственный, кто знал об этом пожелании, был Лучано.

— Почему, найдется, — ответил он.

— Да, но у нас нет машины, а напрокат едва ли возьмешь…

— Ну почему, и машина есть. Вы когда хотели поехать?

— Можно завтра.

— Договорились.

— У нас есть деньги, но немного, боюсь, не хватит. Сколько это будет стоить, вы не в курсе?

— Нисколько, вы наши гости. Может, у вас есть американские сигареты?

Конечно, они у нас были. Порывшись в чемодане, мы предложили ему четыре блока. Он взял три и засунул под мышку. Наше подношение расположило его, и в ответ на настойчивые расспросы Винни он поведал о своей жизни. У него были не зубы, а ровный ряд квадратных жемчужин, такие кулачищи, что он мог прибить лошадь, подтянутый, ловкий, словно молодец, которого судьба одарила всем сразу.

Сейчас ему стукнуло двадцать четыре. Когда пришли немцы, это был зеленый юнец, однако он сумел «навести мосты» с местным крестьянством, то есть вооружить их, и, расставив засады, полностью взял под контроль продовольственные поставки в Палермо. Вскоре в этот список попал и бензин, который привозили на остров баржами. В последний год — он озорно усмехнулся — немцы, поняв, что им не одолеть его ребят, которых прозвали бандитами, решили выплачивать ему мзду за каждый ввозимый в город бензовоз. Он принял их условия.

Закончив рассказ, он встал, пожал нам руки, поблагодарил за сигареты и ушел.

— Мы так и не узнали, как его зовут, — сказал я.

Решив все-таки совершить сорвавшуюся прогулку по полуразрушенному городу, мы вечером отправились в единственный ночной ресторан. Однако не успели завернуть за угол, как чуть было не столкнулись с невысоким мужчиной не более пяти футов в черном плаще, берете, при щеголеватых усах и с прогулочной тростью.

— Луи!

— Неужели это ты, Винни!

Приподняв его над землей, Винни расцеловал коротышку, с которым, как оказалось, был знаком по Нью-Йорку. Будучи сослан Муссолини в тридцатые годы, тот прожил там десять лет в ссылке. Вернулся с жаждой отмщения и был избран в сицилийский парламент, в сенат.

В ресторане с ним обошлись по-царски, и мы тут же оказались за столиком. Винни не терпелось рассказать сенатору о нашем приключении. Тот провел в застенках пять лет как политзаключенный и слушал жутковатую историю о Луки Лучано и о его загадочном подручном с каким-то, показалось, снисходительным презрением.

В двадцати футах за другим круглым столиком расселась небольшая компания. Мелькнула знакомая женщина с большой грудью и жемчугом в волосах, а рядом — неужели он, снова собственной персоной? — Лучано и парень-телохранитель с железными кулаками. Грозный убийца заметил Винни и слегка кивнул, опускаясь на стул. Я отвел глаза и как можно спокойнее

проговорил:

— Он здесь.

Винни бросил быстрый взгляд и опустил голову.

— Боже! Еще подумает, что мы следим за ним!

— За кем это? — спросил сенатор.

— Да за Лучано. Он опять здесь!

Сенатор-коротышка посмотрел в ту сторону, где сидел Лучано, полез во внутренний карман пиджака и не спеша извлек пистолет с глушителем и перламутровой ручкой, который положил на белую скатерть рядом с бокалом вина. Роскошные усы не могли скрыть презрительную усмешку, когда он громко, будто останавливая такси, произнес:

— Лучано! Да он болтается у меня, как х… между ногами!

Чем я не обладаю, так это рефлексом к бегству. В этот момент почему-то отказываюсь признать очевидное, все внутри холодеет, и я становлюсь как ватный.

Уставившись в тарелку, я начал изучать узор, краем глаза заметив, что ни Лучано, ни бравый хранитель, ни женщина с жемчугом в волосах и глазом не повели, официанты сновали, а метрдотель вел рассаживаться еще одну компанию.

Не убирая оружия, сенатор объяснил, что мафия недавно отправила к праотцам несколько социалистов и коммунистов, так что он был бы счастлив — и Лучано об этом отлично знает — разделаться с ним здесь же на месте. Нас с Лонги эта перспектива, конечно, не воодушевила, но вкусные спагетти с вареной рыбой под острым соусом, кажется, примирили всех, в том числе Лучано с его компанией, и ужин прошел спокойно.

— Мы полностью в его власти, — сказал я, когда мы отходили ко сну. — Не знаю, что делать завтра? Ехать или не ехать?

— Надеюсь, он сам передумает, — сказал Винни оптимистично. Плотный ужин вкупе с хорошим вкусным вином сделали свое дело, однако, засыпая, я подумал, что мы зря потеряли три упаковки сигарет.

На следующее утро, как и было условлено, у входа в гостиницу нас поджидал малолитражный «фиат» с водителем. Это был угрюмый мужчина средних лет в помятой пиджачной паре, без шляпы, в зеленом галстуке, который, казалось, погрызли мыши. Он с ходу понял, что нам хочется объехать остров, и мы тронулись в путь.

Гористый, пусть местами обезвоженный Эдем, Сицилия была во власти каких-то таинственных людей. Мы ехали по деревням, селениям, и всюду — дома ли, в поле — местные жители провожали нас таким взглядом, будто бы наша участь предрешена

и нас лучше не трогать. Но Винни целенаправленно продолжал свои розыски, произносил краткие речи, записывал имена тех, кто был жив и кто умер. В этом был налет цинизма, но в то же время сквозила трогательность. Ибо он преодолевал не только океанский простор, но безразличие к чужому одиночеству и восполнял насущную потребность людей в общении.

Среди них было много молодых, исполненных сил женщин. Поначалу они с недоверием встречали двух сомнительного вида мужчин, свалившихся к ним прямо с небес, ибо мало знали доброты от чужих. Однако все улаживалось, и они благоговейно внимали бодрым отчетам Винни о том, как в далеком Бруклине поживают их мужья, братья и сыновья. А он просто цвел от своей благородной миссии.

Меня смутило то, каким образом мы раздобыли бензин. Подъехав к бакалейной лавке на отшибе, где около дороги стояла заброшенная, покрытая слоем пыли колонка, водитель выключил двигатель и стал молчаливо ждать. Несколько минут не было никаких признаков жизни, затем появился человек, ни слова не говоря, подошел к шлангу, вставил его в наш бак, нажал на рычаг, потом снова завинтил крышку и ушел в дом, не получив ни лиры, не проронив ни звука.

Меня начало беспокоить, чт***о*** это за болото под названием «все бесплатно и обратного хода нет». Хотя Винни говорил по-итальянски, шофер упорно, час за часом, молчал. Только в Сиракузах, городке, который частично лежал в послевоенных руинах, он вдруг остановился, вылез, открыл дверцу и, сделав широкий жест, произнес: «Teatro».

Я вышел из машины: передо мной действительно лежали обнесенные металлической оградой остатки огромного древнегреческого театра. С чего он вдруг остановился здесь? Наверное, по поручению Лучано или молодого головореза, которые решили, что мне это будет интересно, раз я пишу пьесы. По каменным ступеням огромного, заросшего виноградником и источенного солнцем амфитеатра, который был вырублен прямо в скале, я спустился вниз и оказался на каменной сцене, которая обрывалась крутым спуском вниз к синему морю. Высоко над головой раскинулось небо. И мне стало стыдно за наш современный театр, каким он стал неоправданно личным, сколько потерял, отказавшись от космического переживания судьбы. Разве можно представить, не отрывая взгляда от того места, где я стоял, что здесь собиралось по четырнадцать тысяч зрителей? Как писались эти трагедии, если они держали такие толпы людей, тогда как сегодня зритель требует сплошной профанации. Если пьесы не воспринимались как религиозный

ритуал, то что охраняло их от банальной вульгарности большинства человеческих развлечений? Тем более что одной религией не объяснишь, почему архитектура, скульптура, те же пьесы оказались вечными, в чем секрет неиссякаемого напряжения между строгой линией замысла и его бурным разрешением, когда все проясняется и становится на свои места. Как ни странно, ощущение главенства прошлого над настоящим вселило в меня уверенность, что в этой колонии Греции, которая почти не знала мирного развития, будучи с конца каменного века завоевана чуть ли не каждым племенем Европы от Северной Африки и до Дании, царил порядок. Откуда среди такого хаоса подобная симметрия? Что удерживало их от отчаяния, почему во всех этих пьесах столько солнца? Разве они, как и мы, не знали, что человеческие надежды иллюзорны, что дети смертны? В переводе «Аякса», сделанном Эзрой Паундом, герой в предсмертной муке кричит: «Все пребывает во взаимной связи!» — и в этом находит оправдание жизни и даже предательству, смерти. Не является ли эта взаимосвязь высшим триумфом, проявлением определенной системности и тем самым общественным благословением? В то время как наша свобода выбора всего лишь утешение суетного одиночества души, лишенной родовых связей и озабоченной только самой собой. Одного не знали никогда эти стены — аплодисментов. Зрители уходили отсюда обновленные, чувствуя, что родственны солнцу и луне.

Около десяти лет спустя я оказался в самолете рядом с молодым режиссером Питером Бруком. Он собирался снимать фильм о том, как с помощью регулярных частей итальянской армии ловили страшного сицилийского мафиози Сальватторе Гильяно, и показывал мне вырезки из газет. Кончилось тем, что Гильяно застрелили во дворе сельского дома. К этому времени в Европе о нем ходили легенды. Журналисты не могли решить, ворует ли он у богатых и отдает бедным или, гнусный бездельник, тащит везде, где плохо лежит, безо всякой социальной идеи. Кто он, подставное лицо? Не похоже. Герой? Нет, слишком кровожаден. Говорят, женщины сходили по нему с ума, значит, что-то в нем было. Я перевернул страницу и увидел мертвое лицо, снятое крупным планом. Несмотря на зернистость изображения, я без труда узнал нашего приятеля в накидке.

Лонги проиграл на выборах, но на этот раз именно из-за своей национальности. Это было одним из доказательств того, что политический климат в стране изменился. Меня же закрутили совсем иные события: в голове громоздились леса новой пьесы о

коммивояжере.

Итальянские впечатления стоят перед глазами, как красочные полотна. Помню прекрасный зимний воскресный день в каком-то городке в Сицилии, название которого забылось, — на пыльной площади у колодца толпа, человек двенадцать мужчин. Каменщики и дровосеки от двадцати и до тридцати с небольшим. Жилистые, с тяжелыми руками — подкову согнут, — задубелой крестьянской кожей. Мы остановились в местной забегаловке выпить стакан сока и узнали, что каждый день к полудню у колодца собирается толпа в надежде, что кому-нибудь из управляющих местными латифундиями понадобятся к середине дня дополнительные рабочие руки, и люди слоняются по площади до темноты, лишь к ночи разбредаясь по домам. Вечно голодные, они предлагают себя, но питаются только временем. Эта картина неожиданно воссоединилась с рассказом Винни, который я слышал от него за несколько месяцев до этого, о каком-то грузчике из Ред-Хука, который предал своих нелегально прибывших в Америку родственников, а затем сам пропал. После того как я увидел толпу отчаявшихся безработных мужчин, которые, стараясь забыть о голоде, топтались около колодца на площади сицилийского городка, мне открылась страшная подоплека предательства тех, кому все-таки удалось спастись от медленной смерти на солнце. Эта история слилась в голове с театром в окрестностях Сиракуз, по которому я бродил. Но время этой темы еще не пришло.

Когда я вернулся в Нью-Йорк, стояла холодная зимняя погода. Как-то днем, завершив дела в городе, я шел к метро, мечтая немного согреться. Над одним из кинотеатров на 42-й улице висела афиша фильма «Завещание доктора Мабузе», и у меня возникло желание посмотреть его еще раз. Я уже когда-то видел эту ленту, и она мне даже порой снилась, став чем-то близким, как будто я придумал все это сам.

Невзрачный кинотеатр в три часа дня был пуст, и я испытал чувство неловкости, что сижу и смотрю фильм в рабочее время. Дома на столе остались первые наброски новой пьесы о коммивояжере, и мне более приличествовало быть там, а не здесь. Я еще не знал, удастся ли выстроить траекторию жизни Ломенов — так я назвал эту семью. Однажды вечером, когда я набрасывал первые строчки, сомневаясь, сможет ли этот сюжет стать основой будущей пьесы, фамилия сама появилась из-под пера. «Ломен» звучало так естественно, как будто такой человек действительно жил, хотя я никогда не встречал никого с подобной фамилией.

Теперь я смотрел старый фильм Фрица Ланга и, медленно восстанавливая его в памяти, погружался в замысловатый сюжет. В Париже происходит серия загадочных пожаров, крушений, взрывов. Шеф сыскной полиции сбивается с ног, расследуя причины катастроф, которые ему представляются далеко не случайными. Он не может понять, какие цели преследуют преступники, их внутренние побуждения и в поисках ответа отправляется к известному психиатру доктору Мабузе в его знаменитую клинику под Парижем. Врач признает: в том, что происходит, есть скрытая закономерность, всех участников роднит чувство неприятия цивилизации и желание покончить с ней. Застрельщиками могут быть кто угодно: клерк, домохозяйка, механик, юрист — любой парижанин независимо от сословия. Поэтому найти заговорщиков будет непросто: протест носит нравственно-психологический характер и не несет выгод тем, кто совершает поджоги.

Шеф полиции, которого играет Отто Вернике, — внушительных размеров мужчина, своей массивностью напоминающий Ли Кобба (с которым по чистой случайности я тогда еще не был знаком, хотя слышал немало), — посылает детективов наблюдать за толпой на месте преступления. У горящего сиротского приюта молодой полицейский обращает внимание на примелькавшееся лицо. Начинается преследование: после долгих метаний по городу подозрительный субъект и детектив ночью оказываются в здании огромной типографии. В эпизоде погони среди массивных печатных станков Лангу удается создать крайнее напряжение. Неизвестный скрывается за стальной дверью, полицейский бросается вслед за ним и, спустившись по винтовой лестнице, оказывается в подвале. Сидящие в полупустом помещении люди — самоуверенный бизнесмен, землекоп, лавочник, студент… — напряженно вслушиваются в звучащий из-за занавеса монотонный голос, который инструктирует их об очередном взрыве одной из парижских больниц. Сыщик бросается вперед и, сорвав занавеску, обнаруживает фонограф с пластинкой. Начинается погоня.

Спасаясь от преследований, полицейский проскальзывает в дверь кабинета и, включив свет, набирает номер шефа, которого играет Вернике. Камера крупным планом наплывает на искаженное отчаянием лицо молодого детектива, когда он, прижав трубку к уху, шепчет: «Алло! Это Ломан? Ломан?» Свет гаснет, экран темнеет, прежде чем он успевает что-либо сказать, и в следующий момент зритель видит его в психиатрической лечебнице: приложив к уху кулак, будто держит телефонную трубку, он с окаменевшим от ужаса лицом взывает: «Ломан?!

Ломан?! Ломан?!»

Я замер: так вот из каких глубин всплыло это имя. Последний раз я видел фильм лет пять назад, и если бы кто-нибудь спросил меня, как звали шефа сыскной полиции, я бы никогда не ответил. Позже меня не раз обескураживало, с какой самоуверенностью отдельные критики смаковали тяжеловесную символику «маленького человека», которую вычитывали в этимологии фамилии Ломен. Для меня это имя всегда ассоциировалось с образом насмерть перепуганного человека, безуспешно взывающего о помощи.

Память обычно приукрашивает события, заставляя реальность отступать, как боль. Изгнанные из Египта евреи, увидев, как расступившиеся перед ними воды моря сомкнулись над армией преследовавшего их фараона, уселись на берегу перевести дыхание и тут же забыли о годах междоусобиц и мелких раздоров.

Глядя на безмятежные голубые волны, они начали рассказывать своим детям, как хороша была жизнь при египтянах, ибо тогда евреи должны были помнить, что они евреи, должны были помогать друг другу и быть человечными. Не то что теперь, когда каждый сам за себя и все в таком роде… Ум врачует прошлое, как рану, — там всегда все лучше, чем теперь. Странно, но в шестидесятые годы считалось, что театр в Нью-Йорке в конце сороковых — начале пятидесятых был на подъеме. Я об этом ничего не знал. Театр для меня был храмом, который разъедала коррозия предпринимательства. Хорошие спектакли появлялись редко, да и то не без уступок массовому вкусу, когда на заглавную роль приглашалась какая-нибудь кинозвезда.

Мои слова требуют уточнения: в то время в театр ходил один и тот же зритель, будь то мюзиклы, развлекательные шоу или претендовавшие на оригинальность пьесы. Театральная аудитория не распалась, как это произошло к середине пятидесятых годов, на старых и молодых, бунтарей и консерваторов, а также левых, политически умеренных и правых. Поэтому в задачи драматурга не входило потакать интересам какой-нибудь группы — зрительным залом фактически была вся страна. Цены на билеты были доступны, поэтому автор писал для всех, и если этого не подтверждала статистика, то жизнь давала основания для подобного рода иллюзий. Никто не видел особой смелости в постановке «Вечеринки с коктейлем» Т. С. Элиота, или греческой трагедии с Лоренсом Оливье, или «Бесноватой из Шайо» Жирарду, или какой-нибудь другой пьесы в этом духе. Просто выходило, что их век короче, чем у ширпотреба. Это было понятно, ибо зритель хотел смеяться, а не плакать, предпочитая,

чтобы кого-то другого лупили надутым бычьим пузырем, а не его оглушали суровой правдой.

В силу сложившейся ситуации серьезные драматурги также претендовали на общение со всей Америкой, а не с отдельными категориями людей. Не задумываясь об успехе своих пьес, они апеллировали к целостности человеческого опыта. Для большой аудитории писал такой отчужденный гений, как О'Нил. Для нее творили Клиффорд Одетс и многие, от Уитмена и Мелвилла до Драйзера, Хемингуэя и других, кто хотел пророчествовать в собственном отечестве.

В европейской драматургии все обстояло по-иному. Общество было расколото на рабочий класс и его союзников, исповедовавших идеи социализма, а также буржуазию, которая рассматривала искусство как средство самоутверждения и отрешения от насущных проблем. (Первые американские пьесы, которые я видел, вызвали у меня глубокое недоумение — откуда берутся такие персонажи: на сцене загадочным образом всем был гарантирован твердый доход, тогда как люди, которых я знал, отчаянно боролись за жизнь. И хотя пьесы были «про любовь», в них напрочь отсутствовал секс, которым в Бруклине было пропитано все, по крайней мере у меня сложилось такое ощущение.) В Америке главенствовал средний класс, и этому не было никакой альтернативы, поэтому американский авангард не мог копировать Брехта или хотя бы Шоу, рассчитывая на интерес незначительной части ангажированного меньшинства, которое бы шло в театр, уже разделяя его установку. Таким путем изменить мир было нельзя.

Пьеса, которая могла бы потрясти американского зрителя, должна была быть рассчитана на тех, кто принимал мир таким, каков он есть: великая драма — это великие вопросы, иначе драматургия превращается в ремесло. Трудно представить, чтобы достойный своего времени театр не стремился к совершенствованию мира. Это все равно что ученого принудить доказывать то, что уже открыто наукой. Мои взгляды разделял только один из писателей, которых я знал, хотя его пьесы не имели ничего общего с моими. Это был Теннесси Уильямс.

Получив известность во времена, когда гомосексуализм подвергался общественному гонению, Уильямс, принадлежавший к меньшинству, на себе испытал оголтелую месть большинства, чьи законы игнорировал. Я пережил близкое этому чувство отчуждения, хотя оно диктовалось другими причинами. Уильямс для меня никогда не был эстетом в башне из слоновой кости, каким его считали многие. Можно козырять радикализмом у избирательной урны или стоя в линии пикета, а можно быть

радикалом в душе. То, что он не был активистом, отнюдь не свидетельствовало об отсутствии стремления к справедливости, так же как и о том, что театр для него стоит вне общества и политики. Ему нельзя было отказать в интересе к достопочтенной театральной традиции, восходящей к древнегреческой эстетике, которую он признавал.

Подлинный театр, в отличие от академического, всегда борется с присущей обществу скрытой инертностью в стремлении избежать изменений или приспособиться к ним. Однако именно в преодолении развивается мускулатура творчества. Лет через пятнадцать, в шестидесятые годы, зритель Уильямса утратил отличавшее его поначалу неприятие иного образа жизни, и у Теннесси появилась возможность существовать с меньшей затратой сил. Если бы это произошло раньше, то, на мой взгляд, он бы никогда не выразил себя с такой полнотой. Иными словами, никакого возрождения театра в сороковые годы в Америке не наблюдалось, однако существовало определенное равновесие между отчужденными и конформистами: обнаженный крик души мог стать риторическим приемом, но, превратившись в клише, должен был сохранять болевой нерв переживаний автора.

Когда Казан пригласил меня в Нью-Хейвен посмотреть постановку новой пьесы, заглавие которой — «Трамвай „Желание“» — показалось мне излишне броским и рассчитанным на публику, я испытал завистливое любопытство, поскольку никак не мог засесть за пьесу о коммивояжере и бродил вокруг да около. В то же время я искренне верил, что пьеса, которую увижу, будет удачной. Это не говорило о моем личном благородстве — я разделял господствовавшее в те времена мнение, что чем больше будет на Бродвее хороших пьес, тем больше выиграет каждый из нас. Мы все в той или иной мере считали себя причастными к театральной культуре: чем выше были ее достижения, тем больше была слава, которая выпадала на долю каждого из нас. В театре в те времена царил драматург, а не актер-звезда или режиссер-постановщик. О продюсере или владельце театра, как это теперь принято, вообще не приходилось говорить. (Не так давно, показывая по телевидению церемонию присуждения престижной театральной награды — премии Тони, — публике не представили ни одного драматурга, но, выражая особую признательность, показали двух адвокатов, владеющих целой группой театров. Это напомнило мне Калигулу, сделавшего сенатором свою лошадь.)

Премьера пьесы «Трамвай „Желание“», вызвавшая своей искренностью бурю восторгов у зрителей и у актеров, открыла для меня нечто совершенно новое. Меня не столько поразил сюжет, идея или постановка, сколько свободная игра слов,

радость, с которой художник владеет ими, и яркая выразительность композиции. Спектакль перекинул мостик в Европу, к постановкам Жуве в «Одеоне», к традиции раскрепощенного радостного слова, к которой, за исключением Одетса, наша драматургия была глуха, а в лице Максвелла Андерсона вообще считала чем-то архаичным, как будто красноречие оправданно только в рамках сентиментального романтизма.

Вернувшись в Нью-Йорк, я почувствовал, что обуреваем жаждой писать. Казалось, «Трамвай „Желание“» позволил наконец заговорить во весь голос, и это придавало силы взяться за Вилли Ломена — коммивояжера, который был переполнен словами, более того, подобно Адаму, постоянно стремился дать имя себе вкупе со всем, что его окружало. С самого начала было ясно, что пьеса не уложится в рамки реалистических традиций, поскольку прошлое жило в Вилли не менее отчетливо, чем настоящее. Порою оно настолько захлестывало его, что он терял здравый смысл. Прежде мне казалось возможным воплотить эту зыбкость в самой композиции пьесы, но теперь я понял, что это должно быть сделано на уровне слов. Я знал, что речь Вилли будет ярко индивидуальной, но теперь ощутил, что в ней должно сквозить его подсознание. Пьеса была попыткой сыновей, жены и самого Ломена разобраться в том, что же его убивает. Понять означало воплотить пережитое в спонтанно формирующемся потоке раскрепощенной и свободной речи, а не прибегать к избитым драматическим приемам в виде намеков и оговорок, претендующих на «подлинную» жизнь. Если структура пьесы и отражала психологию, то это была психология зажатого в тиски деловой жизни человека, который продолжал верить в правоту того, чем жил. Пьеса должна была показать неразрывную связь индивидуума и общества, которые всегда воспринимались мною как единое целое.

В апреле 1948 года я почувствовал, что нашел эту форму, и по какому-то странному наитию понял, что смогу воплотить ее за один присест, днем ли, ночью — не знаю, но сразу. Я покончил с набросками и как-то утром, выйдя из дома на Грейс-Корт на Бруклинских Высотах, отправился за город, где за год до этого мы купили участок земли. Прошлое лето мы прожили здесь в старом фермерском доме, который его прежний хозяин — изготовитель визитных карточек Филипп Яффе, издававший вдобавок тонкий журнал для специалистов-синологов под названием «Амеразия», — основательно обновил. Мэри была одним из его секретарей и первая узнала, что он собирается продавать свой участок. Около двух лет Яффе находился под следствием по делу

о публикации без санкции государственного департамента докладов экспертов из «Джон Стюарт сервис», которые вместе с рядом других специалистов предсказали неизбежную победу Мао и предложили Америке отказаться от бесплодной поддержки своего любимца Чан Кайши. «Амеразия» была никчемным изданием, чье существование оправдывалось стремлением Яффе оставить свой след в истории, однако он достойно встретил ярость китайского лобби, которая обрушивалась на всех, кто позволял себе усомниться в непогрешимости Чан Кайши. Правительство представило в суд записи бесед, которые, по утверждению Яффе, он вел, гуляя по проселочным дорогам в окрестностях загородного дома. Таким образом, они могли быть сделаны только с помощью подслушивающих микрофонов дальнего радиуса действия. В итоге государственный департамент отказался от услуг «Джон Стюарт сервис», что способствовало сохранению идеологической непорочности этого учреждения, лишившегося, однако, возможности реально оценивать китайские события.

Все это нисколько не занимало меня в тот день, когда я приехал выбирать место под мастерскую, чтобы, построив ее, полностью отключиться от мира и сосредоточиться на том, что пока едва брезжило в моей голове. Недалеко от дома в лесу я нашел невысокий холм, вернулся в Нью-Йорк и вместо того, чтобы сесть за работу, носился с планами будущего строительства, имея, правда, весьма смутные представления о том, как строятся дома. Двое плотников возвели бы строение десять на двенадцать футов за пару дней. Однако у меня было ощущение, что я должен все сделать сам — построить на земле жилище, настелить пол и, усевшись, отправиться в рискованное путешествие в глубь самого себя. Пока за душой у меня были две первые реплики: «Вилли!» — «Все в порядке. Я вернулся», — а также сцена смерти главного персонажа. На большее я не мог и не имел оснований рассчитывать, пока у меня не будет собственной мастерской с четырьмя стенами, двумя окнами, полом, крышей и дверью.

«Все в порядке. Я вернулся» снова и снова прокручивалось в голове, пока я пытался понять, как без посторонней помощи соединить на весу стропила. Наконец я их пригнал на земле и, крепко сколотив, поднял наверх. Когда дом был подведен под крышу, это показалось чудом, как будто я подчинил себе дождь или остудил солнце. И все-таки внутри скребло, что я не смогу одолеть двух первых фраз. Писать я начал с утра — мастерская стояла некрашеной, в ней пахло сырой древесиной и опилками,

пакеты с гвоздями были свалены вместе с инструментом в углу. Апрельское солнце набрело на окно и залило комнату светом; на диких яблонях появились первые бледно-голубоватые листочки. Я писал до темноты, пообедал, вернулся за стол и продолжал работать до какого-то неопределенного предрассветного часа между полуночью и четырьмя. Я пропускал куски, которые мне казались достаточно легкими, и переходил к частям, которые требовали работы, чтобы вписаться в целое. К утру из двух действий одно было готово — я написал половину пьесы. Ложась спать, я неожиданно понял, что плакал, — глаза сильно щипало, горло першило от того, что я кричал и смеялся, проговаривая реплики вслух. Проснулся я совершенно разбитым, с таким ощущением, как будто, отыграв четыре часа в футбол или теннис, должен был встать и снова играть. Второе действие я писал шесть недель.

Во время работы я почти все время посмеивался над Вилли, который находился в столь непримиримом противоречии с самим собой, что, развеселившись, я однажды придумал название пьесы — «Смерть коммивояжера». Смерть всегда придавала заглавиям возвышенность и строгость: «Смерть приходит за епископом», «Смерть и Девушка»… Теперь к ней будет взывать недотепа, шут, не человек, а скопище нелепостей: в этом было что-то забавное и в то же время напоминавшее бельмо в глазу. При этом где-то глубоко, в отдаленном уголке сознания, таилась политическая подоплека: в воздухе попахивало новой «Американской империей», ибо Европа, что не вызывало сомнений, если не умерла, то умирала. И мне захотелось показать нашим новым кормчим и самоуверенным магнатам труп их правоверного приверженца. На премьере женщина, чье имя я хочу сохранить втайне, назвала пьесу «бомбой замедленного действия, подложенной под американский капитализм». Надеюсь, это так, по крайней мере она была подложена под всю ложь, псевдожизнь капитализма, вообразившего, что, взобравшись на холодильник, можно дотянуться до облаков и победно помахать Луне оплаченной закладной.

Тридцать пять лет спустя реакция китайской публики на постановку «Смерти коммивояжера» подтвердила то, что с десятилетиями становилось все очевиднее по мере появления сотен постановок в различных уголках света. Вилли Ломен при всех системах оказывался типичным представителем нас самих. Китайцы осуждали его за ложь, за обманчивое самопревознесение, за аморальное поведение, но при этом не могли не узнавать себя. И секрет заключался не в том, что Вилли олицетворял определенный тип человека, а в том, чего он хотел.

Он хотел преодолеть безликость и бессмысленность, любить и быть любимым и превыше всего хотел, чтобы с ним считались. Когда он рычал: «Я вам не какая-нибудь дешевка! Я Вилли Ломен, а ты Бифф Ломен!», это звучало в китайском театре после тридцати четырех лет бесконечной нивелировки людей как революционная декларация. (Пьеса была ровесницей китайской революции.) В 1948 году в Коннектикуте трудно было предположить, что я отправляю послание возрождающейся человеческой личности в Китае 1983 года. Особенно если учесть, что революция казалась тогда историческим завершением эпохи хаотического эгоцентризма и самодовольных восхвалений и открывала долгожданную эру торжества Разума. Ах да, я забыл рассказать об одном молодом студенте-китайце, который прямо в фойе театра в интервью компании Си-би-эс сказал: «Эта пьеса трогает нас, потому что мы тоже хотим быть первыми, богатыми и удачливыми». Что это, как не человеческая непредсказуемость, которая бежит тенет несвободы?

После того как отправил пьесу Казану, я старался не отходить от телефона. На исходе вторых суток я был готов выслушать от него что угодно — что это сыро, вещь непрописана, несценична, что это — чушь. Когда Казан позвонил, его голос был на удивление мрачным.

— Я прочитал твою пьесу. — Казалось, он не знал, как сообщить мне дурные вести. — Боже, какая она печальная.

— Так и было задумано.

— Только что кончил. Не знаю, что тебе и сказать. Мой отец… — Его прорвало — он был первым из великого множества мужчин и женщин, которые скажут мне, что Вилли Ломен — это их отец. Я еще сомневался, не было ли это вежливой формой отказа. — Ты написал великую пьесу, Арти. Я начну ее репетировать осенью или зимой. А пока буду подбирать состав.

Он говорил так, как будто кто-то, кого мы оба знали, только что умер, и это наполняло меня ощущением счастья. Таково искусство. В ожидании ответа Казана я впервые за долгие месяцы взглянул на жизнь своей семьи со стороны. В свойственной ей манере Мэри восприняла новость со сдержанным достоинством: как если бы опасалась, что бурное выражение чувств может навредить мне. Я тоже делал вид, что ничего не изменилось и я остаюсь таким же безвестным, как был (хотя подумывал о приобретении нового «студебеккера» с раздвижной крышей по проекту Реймонда Лоуи, в то время самой красивой американской машины, которую купил вскоре после премьеры). Ту неделю с нами жила мать Мэри, которую я крайне обескуражил. «Как, еще одна пьеса?» — сказала она, как будто

«Всех моих сыновей» мне должно было хватить до скончания века. Не отдавая себе отчета, она сама подарила мне замысел этой пьесы, когда рассказала сплетню, как молодая девица где-то в центре Огайо сделала отца заложником ФБР за то, что во время войны он выпускал дефектные запчасти к самолетам.

Кто, однако, сможет поставить «Смерть коммивояжера»? Мы с Казаном шли по Бродвею вниз от Центрального парка, обсуждая, в каком стиле следует ставить пьесу. Казан недавно рассорился с Гарольдом Клерманом, а у меня на примете не было ни одного продюсера. Он вспомнил о Черил Крофорд, с которой я был едва знаком, потом о Кермите Блумгардене, в прошлом бухгалтере, которого мне последний раз довелось видеть пару лет назад, когда он колдовал во время постановки «Всех моих сыновей» Германа Шамлина над счетами. Я никогда не видел, чтобы Блумгарден улыбался, но Казан знал его еще с тех времен, когда тот работал в «Групп-театр». Немаловажную роль сыграло то, что мы оказались в двух шагах от его офиса, и Казан предложил: «Давай зайдем поздороваемся». Стоя напротив его конторки, я увидел, как при словах Казана, что он принес ему почитать мою пьесу, Блумгарден выдавил из себя мрачное подобие улыбки или по крайней мере того, с чем собирался встретить нас через неделю.

Такое неожиданное преображение человека напомнило, как однажды мы с Казаном точно так же прогуливались по городу, после того как он только что поставил свой старый «понтиак» на ремонт в гараж на 26-й улице. Он громко размышлял вслух, кого бы пригласить директором в новую Студию актерского мастерства, которую они задумали открыть вместе с Кермитом, Робертом Льюисом и Черил Крофорд. Все четверо были слишком загружены, чтобы взять это на себя: Казан, Клерман и Льюис находились в зените режиссерской карьеры, Крофорд была преуспевающим продюсером. «Наверное, лучше Ли Страсберга никого не найти. У него как раз есть время заняться этим». Со временем Страсберг не только возглавил Студию актерского мастерства, но стал ее воплощением, а в глазах общественности еще и создателем. Этим он, однако, был обязан тому, что вовремя оказался безработным. Однако, если подумать, такой способ взойти на Олимп мировой славы ничуть не хуже других.

Мне казалось, что Вилли должен быть невысокого роста, но вскоре пришлось признать, что ни Ромэн Бонен, ни Эрнст Трукс, ни другие хорошие актеры не соответствуют роли по масштабу, хотя и подходят по внешним данным. Текст послали Ли Коббу, актеру, который запомнился по пьесе Ирвина Шоу, где этот

неуклюжий медведь, вечный делец-неудачник, сидя, закутавшись в полотенце, в турецкой бане, шумно покряхтывал: «Хо-хо!» По своей инициативе он прилетел с другого конца страны на собственном двухмоторном самолете, уселся напротив меня в конторе Блумгардена и заявил: «Это моя роль. Ее больше никто не сыграет. Я знаю этого человека». И я не смог ему возразить, когда чуть позже внизу в кафе увидел, как он посмотрел на молодую официантку и победно улыбнулся, будто стремясь оказаться в ее нежных объятиях до того, как она, забыв обо всех других, страстно бросится выполнять его заказ — сандвич по-турецки и кофе, — непременно сопроводив безутешным поцелуем кусочек пикулей на его бутерброде.

Я доверял его профессионализму и опыту Казана, однако убедился в правоте выбора, когда однажды вечером Ли, будучи у нас в гостях на Грейс-Корт, посмотрел на ползавшего по полу в гостиной Боба и я услышал, как он рассмеялся в ответ на его смешной детский лепет. Меня глубоко поразил и задел его печальный смех: в этом интонационно удивительно богатом баритональном голосе звучала безысходная грусть и одновременно радость. Тронуло, что такой большой, красивый человек хочет чувствовать себя по-свойски там, куда он никак не вписывался.

— Знаешь, да что говорить, ты сам понимаешь, — сказал мне Ли за неделю до репетиций в кабинете у Блумгардена, — твоя пьеса — водораздел: американский театр уже никогда не будет таким, как прежде.

Я только вздохнул и молчаливо кивнул, отдавая должное его авторитету, однако опасаясь, что постановка от этого может стать слишком высокопарной. В то же время я был счастлив, что в любом случае жизнь в Вилли вдохнет именно он.

Репетиции шли своим чередом в небольшом временно пустовавшем театрике на кишевшей крысами крыше «Нью-Амстердам» на 42-й улице, где в двадцатые годы Зигфилд ставил весьма фривольные шоу, а Ли, бормоча под нос реплики, все бродил, напоминая потрясенного бизона в состоянии транса, безумно медленно переходя от одной мизансцены к другой, и был похож на человека, которого ударили чем-то тяжелым по голове. «Это он так учит роль», — не очень уверенно объяснил мне Казан на третий или четвертый день. Прошла неделя, затем десять дней, а от Ли Кобба можно было услышать только невнятное бормотание. Актеры мало-помалу обретали форму, но, когда дело доходило до диалогов с Ли, ритм сбивался и все кончалось плачевно. Казан потерял былую уверенность и старался не отходить от Ли, накачивая его. Ли не вдавался в объяснения, а я

подумал, что, может, он и впрямь так вживается в образ человека, одной ногой стоящего в могиле. Между собой мы с Казаном прозвали его «моржом».

На двенадцатый день Ли в присутствии нашего осветителя Эдди Кука, администратора по связям с прессой Джимми Проктора, не говоря о нас с Казаном, сидевших в зале, встал, как обычно, во время сцены в спальне со стула и, обернувшись к Милдред Даннок, крикнул, показывая в сторону пустого задника, где еще не нарисовали окно: «Нет, здесь должно быть много народу!» И у меня вдруг возникло ощущение городской скученности: если до этого пахло ароматами земли, то теперь воздух наполнился кислыми кухонными запахами. Ли как-то неуверенно передвигался по сцене и делал это с такой щемящей выразительностью, что сдавило грудь. Действие продолжало идти своим чередом, и я оглянулся посмотреть, какое впечатление это произвело на остальных. Джим Проктор, уткнувшись в ладони, плакал, на лице сидевшего сзади Казана блуждала рассеянная улыбка, он потирал двумя руками виски. Все вдруг почувствовали: свершилось. По пустому театру прошла волна живой жизни, волна протеста и боли Вилли. И я заплакал, хотя ничего особенно печального на сцене не произошло, просто, наверное, из чувства гордости за наше искусство, за волшебную способность Ли вобрать и воплотить каждое движение жизни, начиная от Книги Бытия. Он возвышался подобно великану, который сдвигает горы.

В конце первого действия из-за кулис вышел наш милейший, хотя очень трезвый в суждениях, бесконечно преданный и компетентный помощник режиссера Дель Хьюз. Его удивленные глаза заставили нас всех рассмеяться. Я подбежал к Ли и расцеловал его, а он сделал вид, что не понял. «Ты что, ожидал чего-то другого, Артур?» — произнес он, в то время как в его глазах стояло наигранное тщеславие. Боже, подумал я, да ведь он настоящий Вилли! В метро по дороге домой во всем теле стояла какая-то ноющая боль, во время репетиции мускулы сковало такое напряжение, как тогда, когда я писал пьесу. Позже я понял, что долгое присматривание Ли к роли было в чем-то сродни моему многомесячному приготовлению к тому, чтобы сесть за стол.

Постановка, на мой взгляд, в целом отличалась необычной свободой — каждый из актеров искал свою правду. На сцене шел постоянный, непрекращающийся обмен мыслями. В пьесе было много такого, чего никто никогда раньше не делал, и это придавало особое воодушевление нашим дискуссиям о том, что поймет и чего не поймет зритель. Я хотел, чтобы вместо

декораций были три пустые платформы, минимум мебели в кухне и двух спальнях, а сцены в гостиничном номере в Бостоне и в офисе Ховарда вовсе разыгрывались на авансцене. Джо Майелзинер взял за основу идею платформ и окружил их романтическим, как во сне, ореолом, однако на всем лежала печать жизни малообеспеченной семьи. Его декорации, если кратко, символизировали неизбывную тоску Вилли по несбывшимся надеждам, с которыми настоящее беспрестанно вступало в конфликт. В них было что-то лиричное и в то же время щемящее. Единственным просчетом оказалась газовая колонка для подогрева воды, которую Джо поместил в центре кухни. Казан в конце концов отказался от нее, решив, что это опасно. Балансируя на грани правдоподобия, Джо, однако, в соответствии с текстом расширил границы реальности, как это сделал Казан, сбив ритм речи актеров. Он заставил Милдред Даннок произносить в первом действии обращенные к сыновьям длиннющие монологи вдвое быстрее нормы, затем удвоил темп и достиг того, что она, в недавнем прошлом педагог по речи, выпаливала их с такой скоростью, как только поворачивался язык. После этого он позволил ей говорить медленно. Однако это упражнение раскрепостило ее, и Линда в исполнении Милдред не столько вызывала жалость и недоумение, сколько была воплощением гневного протеста. Для того чтобы передать внутреннее напряжение пьесы, в отдельных местах речь исполнителей то убыстрялась, то замедлялась.

Самым слабым местом оказалась схватка Вилли с сыновьями в ресторане, когда все чуть было не расползлось по швам. В пьесе была сцена, когда Бифф должен сказать отцу, что его бывший босс, у которого тот намеревался занять денег и начать свое дело, не только отказался принять его, но даже не помнит, что Бифф несколько лет назад работал в его фирме. Встретившись с отцом и братом в ресторане, он понимает, что Вилли в плохой форме. Это не позволяет ему открыто сообщить отцу катастрофическую новость, и он начинает хитрить. Первоначально сцена строилась на бесконечных переходах от правды к полуправде, почти лжи, а потом снова к правде. Такой умный актер, как Артур Кеннеди, быстро проговаривая короткие фразы, не мог справиться с ней. Целый день три исполнителя под неусыпным наблюдением Казана бились над одной мизансценой, но ничего не получалось. «Не знаю, справятся ли они, — обронил Казан, когда мы вечером выходили из театра. — Может, ты ее чуточку упростишь?» Я просидел всю ночь, практически переписав сцену заново; она стала более игровой и в таком варианте окончательно вошла в пьесу.

Были еще кое-какие изменения, но я с удовольствием вносил их; они касались не столько сокращения или переработки текста, сколько добавления отдельных строк. В первом действии Вилли сидит на кухне, разговаривая с самим собой, и по мере того как его одолевают воспоминания, освещение становится ярче, дом, как прежде, утопает в тени деревьев, появляются, будто они еще подростки, сыновья, окликающие его по-юношески ломкими голосами. Актерам надо было в тесноте подняться со своих кроватей, спуститься вниз на лифте, сменить пижамы на свитера и теннисные туфли, поэтому мне пришлось несколько удлинить монолог Вилли. Это было нетрудно, ибо он любил разговаривать сам с собой о своих сыновьях, о том, какими он их видит.

Погружение и выход из настоящего должны были быть решены не просто чисто внешними средствами, но как пластическая трансформация, которую зритель не только видит, но ощущает и приходит в ужас от того, насколько воспоминания прошлого, не отпуская Вилли, все больше приближают его конец. Освещение при этом играло решающую роль, и Майелзинер, который отвечал еще и за свет, вместе с Эдди Куком однажды провозились полдня, подыскивая решение для одного-единственного кресла.

В кабинете босса Вилли ведет себя слишком эмоционально, и Ховард выходит, оставляя его одного. Вилли оборачивается к креслу босса, в котором когда-то восседал отец Ховарда Фрэнк, в награду за честную службу посуливший ему часть акций фирмы, и в тот момент, когда он произносит: «Фрэнк, Фрэнк, неужели ты не помнишь, что обещал мне?», кресло оживает, как будто в нем сидит его бывший босс. При этом оно не столько попадало в луч света, сколько само начинало излучать его. И дело было не в театральном приеме, но в том, чтобы проникнуть внутрь мироощущения Вилли, посмотреть на мир его глазами, сохраняя, однако, дистанцию и собственное критическое отношение к жизни.

Чтобы выделить кресло и заставить его заиграть, надо было незаметно приглушить все освещение. Этим занимался Эдди Кук, которого так увлекла работа над пьесой, что он на время прекратил посещать место своей основной службы в «Сенчери лайтинг компани». Как-то, обернувшись ко мне, он сказал: «Вы спрашивали, почему у нас так много ламп. (Их действительно было больше, чем обычно в мюзиклах.) Результат налицо — чтобы создать темноту, надо много света». Если бы осветительных приборов было меньше, их пришлось бы сильнее приглушать, резкий переход был бы заметен, а так он лишь слегка убирал накал, и оставалось неясно, как он добивался эффекта.

Премьера «Смерти коммивояжера» состоялась в Филадельфии в театре на Локаст-стрит. Днем Казан отправил Ли Кобба послушать Седьмую симфонию Бетховена, которую в концертном зале напротив театра исполнял Филадельфийский оркестр. Казану хотелось, чтобы музыка вдохновила этого тяжелого на подъем человека, с которым сегодня были связаны все наши надежды. Трое из нас были в сговоре, условившись следить за его текстом попеременно. Роль Ломена оказалась одной из самых длинных в мировом репертуаре, и по отдельным признакам нетрудно было догадаться, что Ли временами устает от нее. Сидя в ложе по обе стороны от Кобба, мы предложили выпить за героическую музыку, которая вечером должна была помочь ему полностью отдаться игре. Это говорило о том, что мы все еще мыслили категориями неувядающего прошлого.

Как потом случалось не раз, на премьере после спектакля воцарилась тишина. Что-то странное происходило с залом. Когда занавес опустился, часть зрителей встали, чтобы надеть пальто, потом снова сели. Мужчины прятали глаза, закрывая лицо руками, многие, не стесняясь, плакали. Люди подходили друг к другу, стояли, тихо разговаривая между собой. Казалось, прошла вечность, прежде чем кто-то вспомнил, что надо похлопать. Шквалу аплодисментов не было конца. Из заднего ряда я видел, как по проходу почтительно провели представительного пожилого мужчину, который что-то возбужденно говорил на ухо сопровождающему, возможно секретарю или помощнику. Это был Бернард Гимбел, владелец сети универсальных магазинов, прямо в зале, как я позже узнал, отдавший распоряжение никого из своих работников не увольнять по возрасту.

После этого начался парад посещений спектакля театральными деятелями Нью-Йорка. Я помню, как приехали Курт Вейль с супругой и Лотта Ленья с Мэб, женой Максвелла Андерсона. Мы отправились в кафе по соседству выпить чашечку кофе. Курт Вейль все поглядывал на меня и покачивал головой, а Мэб сказала: «Это лучшая пьеса в мире». Я повторяю эту фразу, потому что она часто звучала в последующие месяцы и изменила мою судьбу.

После нью-йоркской премьеры две вещи остались в памяти. Мы с Казаном сидели в глубине уютного зала театра «Мороско», со временем погибшего от алчности местных торговцев недвижимостью и равнодушия муниципалитета. Пристроившись на ступенях лестницы на балкон, мы услышали, как Ли говорит: «…к тому же он умер смертью коммивояжера». Все шло прекрасно, если не считать, что я бесконечно устал, повторяя за актерами про себя их роли. И вдруг Ли занесло — вместо

Хартфорда поезд пошел у него через Хейвен: «…в спальном вагоне по пути из Нью-Йорка через Нью-Хейвен…» Я замер, ожидая взрыва смеха, но в зале стояла мертвая тишина. К финалу воцарилась атмосфера напряженного ожидания, которая после Филадельфии уже не была для меня неожиданностью. По окончании спектакля толпа поклонников устремилась в гримерные, заполнив все коридоры. Впервые на моей премьере присутствовали звезды кино, но я был неизвестен и, воспользовавшись этим, мог спокойно наблюдать за ними из своего угла. Люсиль Болл и Дэзи Арназ, Фредерик и Флоренс Марч, имена и лица, которые давно уже стерлись в памяти, свидетельствовали о том, что отныне благодаря успеху и славе я был накрепко привязан к шоу-бизнесу. Парадоксально, но возник неприятный осадок оттого, что материальное и конкретное соседствовало с чем-то тончайшим и неуловимым.

В надежде где-нибудь отдохнуть я пробрался на сцену, и тут, как в волшебной грезе, где чудесным образом воздается за труды и тяжкие испытания, передо мной возник огромный, стоявший вдоль задника банкетный стол. Вокруг него, расставляя тарелки и раскладывая серебро, в куртках густо-малинового цвета бесшумно сновали официанты от Луи Шерри. На белой полотняной скатерти стояли серебряные супницы, красовались блюда с мясом, дичью и морскими деликатесами, в ведерках со льдом поблескивало шампанское. Кому могла прийти в голову такая блистательная идея? Так триумфально завершить вечер! Предвкушая легкое головокружение от глотка холодного шампанского, я протянул руку к сверкающему бокалу, как вдруг будто из-под земли вырос официант и вежливо, но решительно сообщил, что ужин заказан господином Даулингом для его гостей. Роберт Даулинг, владелец «Сити инвестинг компани», которому, помимо «Мороско», принадлежал еще ряд театров на Бродвее, был общительным человеком лет шестидесяти. Не так давно он совершил заплыв вокруг Манхэттена и теперь ходил грудь колесом, всем видом напоминая окружающим об этом героическом поступке. Мне импонировали его непосредственность и деловитость. Я заверил официанта, что господин Даулинг не позволил бы себе в преддверии банкета отказать автору пьесы в честно заработанном им бокале вина, но официант, который, по-видимому, был специально проинструктирован на этот счет, оказался непреклонен. Я был ошеломлен и решил, что это чья-то шутка. Однако, когда мы с Мэри и актерами покидали театр, то невольно остановились за кулисами и, с трудом сдерживая полуистерический смех, минуту-другую созерцали пышно обставленный в «убогой бруклинской

квартире Вилли» торжественный ужин, сидящих в изысканных вечерних туалетах дам, мужчин в парадных фраках и ловко фланирующих с блюдами в руках под мерный гул беседы, скорее приличествующей «Пьер-отелю», чем «Мороско», официантов. Гости, разумеется, не обратили внимания на группу веселых, отпускающих шутки актеров. Это напомнило мне сцены из советских фильмов о последних безумных днях царского двора. Даулинг, по натуре человек, в общем, широкий, продемонстрировал милую сытость собственника, нечто такое, что со временем все чаще стало встречаться на Бродвее, однако редко с таким абсурдным размахом и безупречной элегантностью.

Это задело меня, но впереди было много приятного, способного утешить оскорбленное самолюбие. Где-то через час, в разгар устроенной нами по поводу премьеры пирушки, ко мне подлетел Джим Проктор и, схватив за руку, потащил к телефону. На том конце я услышал приглушенный голос журналиста Сэма Золотова, законодателя театральных вкусов из «Таймс». Он по слогам читал рецензию Брукса Аткинсона, которую тот при нем отбивал в завтрашний номер, — в трубке был слышен треск пишущей машинки. Сэм восторженно диктовал: «Артур Миллер написал превосходную драму. Она совершенна во всех отношениях…» — его голос, по мере того как один панегирик сменялся другим, становился все теплее и эмоциональнее. Казалось, Сэм вот-вот дотянется и обнимет меня. Помимо Казана, актеров, Майелзинера и кое-кого еще, к таинству, которое свершилось, оказались причастными Золотов, Аткинсон и «Таймс» — возникло некое сообщество, члены которого искренне радовались тому, что стали свидетелями торжества здравого смысла, не чуждого, как выяснилось, их эпохе.

Возвращаясь домой часа в три утра, мы с Мэри ехали в машине молча. По радио только что закончился обзор утренних газет с ошеломляюще восторженными отзывами о пьесе. Бесконечно повторяемое, мое имя отделилось от меня и стало принадлежать кому-то другому, возможно моему двойнику. Как будто с тугой тетивы спустили стрелу, и лук после долгого напряжения был наконец ослаблен. Я шел к этой победе всю жизнь, но имел поразительно мало общего с человеком, который купался сейчас в лучах славы, — так же как и он со мною.

Я мог поклясться, что не изменился, изменилось все вокруг, но это была первая иллюзия успеха. Мне потребовалось время, чтобы понять: известность накладывает печать отчуждения, даруя реальную власть осуществлять заветные желания. Возникает ненасытная жажда жизни и раздражительность в общении со старыми друзьями, которые остались такими, какими были.

Художник, следуя своему нюху, продвигается вперед на ощупь. Наткнувшись на препятствие, он выявляет его скрытую форму и только тогда начинает теоретизировать и объяснять то, что необъяснимо. Я был приверженцем рационалистической традиции и, поднявшись на гребень успеха, должен был разобраться, что к чему.

В какой-то момент захотелось признаться, что не знаю, как написал то, что получилось, хотя многим обязан учебе и книгам. Я понимал, что это сотворилось как молитва, ибо драматической формой либо владеешь, либо нет, так же как это бывает с драматической и литературной речью: первая сражает зрителя наповал, во втором случае слова проплывают куда-то мимо, и никогда не спутать одного с другим. Однако вместо того, чтобы признаться в этом, я давал обширные интервью и делал авторитетные заявления. Но больше всего в новом положении меня донимали завистники. Когда краб вылезает из ведра, оставшиеся крабы прилагают неимоверные усилия, чтобы вернуть его обратно. Так заведено у этих животных.

В душе опять появился страх, что ничего больше не напишу. Ехали молча, но в какой-то момент я уловил между нами холодок отчуждения. Мне и в голову не могло прийти, что эта суета заставит Мэри, жену и проверенного в испытаниях друга, пережить потребность в самоутверждении. Я верил, что она тоньше и совершеннее меня. Но сейчас нам обоим было тягостно и не хватало счастья. Я не знал, каким оно должно быть, но ощущал, что его нет, как будто призрак еще не названного чувственного переживания известности пришел и уселся между нами в машине.

И тут же, как если бы я попал в опасную зону артиллерийского обстрела, вдруг захотелось бежать и обрести благословенную неизвестность. Жизнь потеряла свою естественность. Оборотной стороной славы оказались одиночество и не-имеющие-разрешения-противоречия: трудно быть известным и оставаться самим собой. Это все равно что соединить в единое целое двух разных людей, живущих в тебе каждый своей обособленной жизнью. Они могли бы навещать друг друга и даже устраивать совместные выходы в свет, но при условии, что тот, кто слоняется без дела, предоставил бы другому, угрюмому и нервному писателю, побольше времени сидеть за столом и работать. Я не искал той власти, которую обрел. В ней было что-то «ненастоящее». Но что тогда настоящее?

Сколь ни был нелеп устроенный Даулингом в квартире Ломена ужин, он был достаточно символичен: боль, любовь, протест, пронизывающие пьесу, без особого труда могли быть

превращены в брызги шампанского. Мои давние сны обрели плоть, но реальность не смогла вместить их, оказавшись недостойной затраченных усилий.

Время от времени я в течение нескольких месяцев ходил смотреть спектакль, пытаясь разобраться, что меня смущает. Постановка была удивительно эффектна, хотя Ли порой выдерживал такие паузы, что хотелось проехаться по сцене на грузовике, ибо они свидетельствовали о его избыточном потворстве своим желаниям. Поскольку Казан отбыл ставить новый спектакль, Ли несколько изменил рисунок ролей Артура Кеннеди и Камерона Митчела и скорее получал удовольствие от роли, чем мучался страданиями своего героя. Однако все это только убеждало, что в постановке сгладились не без моего участия многие углы весьма жесткого исходного рисунка. Я ничего не знал о Брехте и других театральных теориях, просто чувствовал, что Ли слишком сливается с образом, слишком много плачет и от этого теряется ирония пьесы. Приходилось напоминать себе, что она писалась всего лишь для трех черных пустых платформ и флейты, без всяких смягчающих переходов — одна жесткая конструкция, и больше ничего. В то же время нельзя было отрицать, что я питаю к персонажам теплые чувства.

Я засел за работу над сценарием «Хука» о безуспешной попытке Панто побороть феодальные гангстерские порядки в нью-йоркском порту. Прочитав, Казан согласился делать фильм, но для начала предложил съездить в Голливуд, чтобы заручиться поддержкой какой-нибудь крупной киностудии. У него был контракт с «ХХ век Фокс», но они едва ли могли клюнуть на столь мрачную историю с печальным исходом. Поэтому среди других мы остановились на Гарри Коэне, президенте «Коламбиа пикчерс», который сам прошел суровую выучку в районе Пяти Застав в нижней части манхэттенского порта и знал, что к чему.

Сев весной 1950 года в вагон фирменного «Супершефа», мы с Казаном вновь оказались в подполье, два представителя меньшинства, задумавшие завоевать экраны Америки нелицеприятной правдой. То, что мы устарели и страна со всем пылом идеализма собиралась бороться с коммунизмом в Корее, нас нисколько не беспокоило. Я несколько месяцев не виделся с Беренсоном и Лонги и только через полгода узнал, что их убрали из порта под предлогом организации новой системы охраны безопасности побережья, для чего вход на территорию порта сделали по пропускам.

«Супершеф» несся на запад, а мы сидели над рукописью, разложив ее на коленях. Казан считал, что в кино следует

развивать традицию «Открытого города» и других неореалистических фильмов итальянского кино. Но разве можно было всерьез рассчитывать, что какая-нибудь киностудия вложит деньги в фильм, который основательно подрывал сами традиции развлекательности?

Что касается Голливуда, там появлялись социальные фильмы, но проблемы эти ставились только в общих чертах и с бесконечными проявлениями чьей-то доброй воли. Наш фильм не был проблемным, скорее ближе к документальному кино, ибо профсоюз, о котором шла речь, был не чем иным, как Международным союзом рабочих, порт, где происходило действие, находился в Нью-Йорке, а слепые и глухие ко всему полицейские были блюстителями его порядка. Все говорило против нас, но если бы мы каким-то образом ухитрились снять фильм, то, возможно, заслужили бы признание и хотя бы немного приблизили будущее. В 1950 году его наступление было куда более проблематичным, чем прежде, но мы все равно принадлежали ему, как обвисшие слабые паруса все равно принадлежат ветру.

IV

Поездка в Италию подарила много новых впечатлений о жизни грузчиков, прояснив европейские корни ситуации. К тому же во время войны я около двух лет работал на бруклинской судоверфи, где в основном были одни итальянцы. Мы все вместе трудились с четырех пополудни до четырех утра с одним выходным раз в две недели, и я узнал, что они очень семейственны. Хотя это не исключало коварства, и на верфи разыгрывалось немало сицилийских драм: то кто-то, застав кого-то в объятиях своей жены, заставлял его удирать по крышам, то парень из-под носа увел у приятеля подружку, ненавязчиво потеснив того в сторону. Моим начальником был Шепелявый Майк, прозванный так за то, что спереди у него не было верхних зубов. Он заламывал кепку набок, уминал во время полуночного перерыва по шесть сандвичей со шпинатом на мягком белом дешевом хлебе (который к этому времени успевал позеленеть и стать мокрым) и бесконечно болтал по телефону со своими подружками, одна из которых работала упаковщицей в ночную смену у «Мейси». Мне нередко приходилось отправляться туда, чтобы вызвать ее и уладить очередную размолвку. Из ее жарких объятий он торопился к жене, которая поджидала его в постели, а во время обеда иногда обхаживал третью — какую-нибудь продавщицу из «Абрахама и Штрауса». Майк был занятым человеком, не говоря о том, что при этом он помогал выиграть Вторую мировую войну.

На жену у него была глубокая обида. Несколько лет назад его заставил жениться на ней его дед — иммигрант, приехавший из Калабрии с чемоданом денег — состоянием, которое он, говорили, выручил, распродав перед отъездом все, что имел. Он пообещал внуку приданое, если вместо обожаемой ирландской потаскушки, «оторвы», которую дед на дух не выносил, тот женится на приличной респектабельной женщине. В брачную ночь Майк обнаружил, что толстенные пачки лир в дедовом чемодане тянут не больше чем на триста пять американских долларов, и отказался от любовных «сношений». Тогда дед устроился на ночь в гостиной, чтобы она сама доложила ему, когда Майк лишит ее невинности. И тому ничего не оставалось, если он не хотел быть битым, ибо дед был «шилач» с железными кулаками и великий собственник. У Майка кулаки тоже были что надо, но кто будет воевать со своим собственным дедом.

Как и сотни других, кто работал на судоверфи, Майк умел ловко увиливать от работы. Стоило направить нас на военный

корабль, как он тут же находил Богом забытый уголок и заваливался спать. В этом сквозила достаточно реалистичная оценка необходимости собственных услуг для нужд флота, хотя и наплевательского отношения тоже хватало. На судоверфи был переизбыток рабочей силы, планировалось все из рук вон плохо, поэтому одним человеком больше или меньше ничего не решало. Однажды какой-то умник пристроился отдыхать в темноте на верхотуре в машинном отделении на военном крейсере и поутру вместо того, чтобы отправиться домой, обнаружил, что корабль вышел в открытое море. Ему пришлось путешествовать полтора месяца, прежде чем он смог вернуться в Ред-Хук и засесть за азартные игры.

Но у Майка были свои устои, и когда он видел, что из него не тянут жилы, то становился неистощим в работе, особенно если нас бросали на ремонт кораблей на реке Гудзон, которые должны были уходить в море, несмотря на сновавшие за пределами Сэнди-Хука немецкие подводные лодки. Не обращая внимания на шквальный ветер, зимой хлеставший прямо в лицо, мы выпрямляли стальные листы и сваривали на глубинных платформах поврежденные стойки, но я никогда не слышал от него жалоб. Мы подружились, ибо приходилось страховать друг друга, чтобы не сорваться в ледяную воду, но это вовсе не означало, что я когда-нибудь могу рассчитывать на почетное право стать сицилийцем. К тому же Майка, похоже, смущало, что я умалчиваю, чем занимался до судоверфи. А что поделаешь, если ни он, ни кто другой в нашей ремонтной бригаде не поверил бы, что я отказался от такой вроде непыльной работы — сочинять пьесы для радио, — чтобы мерзнуть на реке на борту корабля.

Третьим в нашей компании был Сэмми Казалино, мой ровесник и по положению равный, с которым я подружился и уже не особенно скрывал, чем занимался раньше, учитывая, что поползли слухи, будто я несколько лет отсидел в тюрьме. В конце концов я признался Сэмми, что я писатель. Он окончил школу и считал, что кое-что смыслит в культуре и искусстве, бунтарь из тех, кто мог жениться на еврейской девушке. «Ненавижу расовые предрассудки», — говорил он, не одобряя не только широко бытовавшие на верфи антисемитские разговоры, но также имевшие место избиения английских моряков американскими рабочими-итальянцами, которые по ночам не раз нападали на них на Адамс-стрит за то, что англичане «предали» Италию, объявив ей войну. То, что эти ребята одновременно ремонтировали и строили корабли, предназначенные воевать против Италии, доказывало лишь, сколь непросто зарабатывать себе на жизнь в этом подлунном мире. Суть вопроса заключалась в том, что, хотя

происхождение связывало их с Муссолини, они глубоко симпатизировали Рузвельту и Америке, с которыми дуче находился в состоянии войны. Казалось, мир охватила анархия, что то и дело проявлялось в абсурдности жизни. Так, начальник верфи вывесил объявление, в котором просил, чтобы рабочие поэкономнее расходовали кадмий, который с большим риском и за большие деньги доставлялся из-за океана. Муфты из кадмия и флюс для сварки использовались для подводных частей, поскольку кадмий не ржавел. На следующую ночь можно было наблюдать, как, склонившись, мужчины сосредоточенно вытачивали из муфт кольца для своих подруг, ибо, если их хорошенько отшлифовать, они блестели, как серебро. Из стержней с флюсом для сварки делали браслеты.

Нас с Сэмми сближало отвращение к одним и тем же вещам, и как-то в полночь, когда мы в перерыве жевали свои бутерброды, он рассказал мне озадачивший его сон. «Вхожу в спальню к своей двоюродной сестре Рите, она лежит на кровати и смотрит на меня. Вдруг — представляешь! — как бухнусь на нее. И лежу прямо на ней! Проснулся, чувствую, взмок, как поросенок! Вот скажи, что это должно означать?» Я ненавязчиво предположил, что, возможно, ему нравится его двоюродная сестра. «Да, точно, она мне всегда очень нравилась». А может быть, в глубине души он мечтает о романе? «С ней? Боже, ты что, не слышал — она же моя кузина». Этим было все сказано.

Как и надо было ожидать, известие, что я писатель, только укрепило Сэмми в том, что я скрываю отсиженный срок. Поэтому я перестал открещиваться от своего прошлого и начал рьяно уверять его, что все это было в самом деле. Случилось, что в понедельник вечером, когда у нас был выходной, по радио в серии «Американская кавалькада Дюпонов» должны были передать мою пьесу о летчице по имени Амелия Эрхарт, которая несколько лет назад погибла в южной части Тихого океана при загадочных обстоятельствах. Ее роль исполняла звезда кино Мадлен Кэрол. Когда мы утром в начале пятого в понедельник выходили с работы, я сказал ему в проходной, миновав морских пехотинцев:

— Сегодня вечером, Сэмми, по радио будет моя пьеса. И ты услышишь, что назовут мое имя.

Он одарил меня взглядом, в котором сквозило подозрение, что я слишком наивен, и в то же время страх, не издеваются ли над ним.

— Серьезно? — спросил он.

— Вполне, — ответил я, — по Эн-би-си в восемь. Но только меня назовут в конце.

Придя во вторник на работу, я, как обычно, нашел Сэмми на борту поврежденного крейсера, куда нас откомандировали, но напрасно ждал, пока он вспомнит про передачу. Так прошло несколько часов, пока, истомившись, я не спросил, не забыл ли он про нее.

— Но ведь это все было на самом деле, — посетовал он.

— Что значит «на самом деле»?

— Ну эта история. Только никто не знает, что было в конце, как и куда она подевалась. Я так понял, что именно это ты и написал.

— Да нет. Я написал все от начала до конца, Сэмми. Конечно, факты известны, но кто-то должен был написать текст, чтобы его прочитали по ролям актеры в студии на Манхэттене. В конце концов, Мадлен Кэрол ведь не Амелия Эрхарт.

— О Боже, неужели ты думаешь, что я этого не знаю.

Он хмуро уставился перед собой — «писать» означало выдумывать. Похоже, в этот момент он действительно понял, что принял Мадлен Кэрол за Амелию Эрхарт, но этого не могло быть, ибо Эрхарт погибла. Путаница усиливалась от того, что я добровольно пошел работать на судоверфь, чтобы внести лепту в борьбу с фашизмом, когда мог намного больше зарабатывать на радио, не говоря о престиже. Он почувствовал себя обманутым и охладел ко мне, но ровно до тех пор, пока мог вытерпеть, чтобы не рассказать следующий сон с кузиной Ритой, которая на этот раз вынесла помойное ведро на обочину дороги перед домом и, наклонившись, «распахнула на себе купальный халат». В другой раз она взбиралась по лестнице, которую он держал, и начала раскачивать ее так, что «я вынужден был поднять глаза, и… о Боже!». Каждый день без четверти четыре он возникал во дворе судоверфи в своих форменных ботинках с мысами, подбитыми металлическими пластинами, с высоко поднятым воротником потерявшего цвет макинтоша, так что виднелись только мочки ушей, и показывал дежурившему на проходной морячку жестяную коробку с перекусом, точно так же, как это делали шестьдесят тысяч других рабочих, каждый из которых имел свою жестяную коробку с бутербродами и свои неповторимые заветные сны.

Когда в сухой док впускали наконец воду и корабль, вместо того чтобы затонуть, спокойно выходил в гавань, а потом в залив, я, как и многие, воспринимал это как чудо: несмотря на весь хаос и некомпетентность, путаницу и неразбериху, кражи и стоический труд на ветру, нам все-таки удавалось отремонтировать судно. Глядя, как корабль исчезает в утренней дымке, уходя на войну, многие, обращаясь друг к другу, вопрошали: «Черт, как нам это все-таки удалось?»

То, что меня не взяли на военную службу, я решил искупить тем, что стал писать для радио военные патриотические пьесы, причем в основном для программ, спонсорами которых выступали Дюпон и «Ю. С. Стил». Все мы были одна большая семья, которая сражалась с общим врагом, но чем больше я набирался опыта, тем меньше меня удовлетворяло то, что я создавал. Это походило скорее на какой-то вопль, чем на литературу. И все же радиопьесы были относительно легким заработком, предоставляя возможность работать для себя над пьесами и рассказами, ибо если бы я преподавал или занимался иным трудом, это отнимало бы больше времени. Студии Баттена, Бартона, Дерстина и Осборна, расположенные на М-авеню, где заправлял Хоумер Фикет, обрюзгший блондин необъятных размеров, продюсер и постановщик радиосериала «Кавалькада», наверное, были по тем временам самым большим агентством. Это был глас корпоративной Америки, которая всячески пыталась завуалировать вопрос о получении доходов, представив все это в высоконравственном ключе. Брюс Бартон дошел до того, что даже Иисуса Христа объявил величайшим торговцем, по-видимому предполагая, что агенты по рекламе — его переодетые миссионеры, а Би-би-ди-энд-О — современная семинария для обучения этому делу. Секретарши умывались только «грушевым мылом», а румяные щечки Хоумера вспыхивали всякий раз, когда он от страха, что какой-нибудь гладко выбритый тип заметит у меня в руках «Нейшн», «Нью мэссис», а то и «Партизан ревью», заставлял прятать их в карман пиджака.

Хоумер никак не мог обойтись без меня. Я стал его правой рукой, человеком, которому в случае необходимости можно было позвонить и он за один день мог набросать и слепить какой-нибудь получасовой сценарий. Два-три раза в год случалось, что, запустив в работу сценарий, он за день-другой до эфира решал, что материал не тянет на уровень «Кавалькады», и тогда у меня дома раздавался телефонный звонок и, вняв его отчаянным мольбам, я получал с курьером очередную книгу, связанную с историей Америки. Прочитав ее в среду, я успевал сварганить получасовой сценарий в четверг и вернуть то и другое на М-авеню в пятницу утром. Ко вторнику актеры были уже подобраны, спектакль отрепетирован и подготовлен в эфир. Паузы заполнял оркестр из тридцати инструментов. Это приносило мне пятьсот долларов, что по тем временам составляло приличную сумму, ибо мой подержанный «нэш-лафайет» стоил двести пятьдесят долларов, а дом на Грейс-Корт оценивался в двадцать восемь тысяч. (По последней оценке, я знаю, он в шестидесятые годы

стоил уже три четверти миллиона.)

Однако временами попадалось кое-что стоящее, вроде истории о вожде мексиканского освободительного движения девятнадцатого века Бенито Хуаресе. У Дюпона было немало заводов к югу от границы, где он активно вел свои дела, и я решил, что Би-би-ди-энд-О должна будет обязательно ухватиться за эту идею. На сей раз у меня было время, и я решил поразвлечься, написав пьесу в стихах, чтобы как можно ярче изобразить бурную, захватывающую биографию Хуареса.

Хуарес, крестьянин-революционер, известный своими на редкость демократическими убеждениями, был современником Линкольна, которого боготворил. На этот раз я работал с большим подъемом. Форма увлекла меня своей новизной, да к тому же требовалось недюжинное воображение, чтобы за двадцать восемь минут рассказать об этой эпической судьбе. Закончив сценарий, я решил пройтись до Манхэттена, чтобы показать Хоумеру рукопись, прежде чем ее печатать.

Из огромной студии 8-А на Эн-би-си обычно шли в эфир самые важные передачи. Открыв звуконепроницаемые двери, я очутился в необъятном помещении размером с баскетбольную площадку, где кто-то громко басил, причем голос показался знакомым. Я даже подумал, что, наверное, репетируют какую-то эмоциональную сцену, но, подойдя ближе, заметил, что шесть-восемь актеров стоят, смущенно потупившись, а разглагольствует не кто иной, как махина Орсон Уэллс.

Было не до игры. Он зычно ругался в сторону кабины звукозаписи, из глубины которой кто-то пытался в микрофон возражать, причем эти судорожные усилия обнаруживались, только когда он делал краткую передышку, чтобы набрать воздуха. Разбушевавшуюся кинозвезду из кабины пытался утихомирить Хоумер Фикет.

— Послушай, Орсон, ну перестань, это не так уж плохо.

Уэллс потряс кулаками.

— Да это форменное издевательство, чистая ложь, злостная, намеренная подтасовка хорошо известных фактов, попытка оправдать то, чему нет оправдания.

— Послушай, Орсон… — бедняга Хоумер слабо пытался урезонить его, однако напрасно. В студии присутствовала почти вся труппа театра «Меркурий»: Эверет Слоун, Джо Коттен, Мерседес Маккембридж были не в силах пошевелиться. Выяснилось, что свой гнев Уэллс обрушил на сидевшего в той же кабине йельского историка, профессора Монаэна, который обычно давал «добро» на сценарии из американской истории, отвечая за их достоверность. Уэллс уверял, что он либо пьян,

либо совсем продался, так как оставил в тексте все, что там передернуто и против чего возражал актер. Уэллс имел особые основания, чтобы позволить себе так громко негодовать, ибо секретарем морской экспедиции в Латинскую Америку, которая преподносилась в сценарии как великое завоевание, был кто-то из его предков и на деле все кончилось поражением.

Поостынув, Уэллс замолчал, а Хоумер, выйдя из кабины, увещевал его не срывать репетицию. Уэллс снова наотрез отказался. Хоумер побледнел: оставалось день-два до эфира и дело попахивало судом. Уэллс не уступал.

Хоумер наконец увидел меня, и я жестом отозвал его в уголок огромной студии. В кармане пиджака лежал свернутый в трубочку сценарий о Хуаресе. Я прошептал, что Уэллс был бы прекрасным Хуаресом, потому что у него великолепная дикция. Хоумер, смахивавший в этот момент на выброшенного на берег морского льва, глянул на разрозненные странички и, подойдя к Уэллсу, переадресовал ему эту кипу, пробормотав несколько слов обо мне. Уэллс недоверчиво посмотрел на карандашом набросанный диалог. Его, видимо, заинтересовал и удивил своей длиной монолог в стихах на первой странице. Актеры молчаливо ждали, пока он прочтет текст про себя. Его губы зашевелились, как бы примериваясь к словам, и он, не взглянув в мою сторону, подошел к микрофону и прочитал начальную страницу, чеканя слоги как бы специально в упрек профессору, который все еще находился в кабине звукозаписи. Все актеры с облегчением столпились у одного микрофона и, передавая друг другу страницы, заглядывая через плечо, стали разыгрывать пьесу. Я вместе с Хоумером пошел в кабину и восторженно слушал, как гениально Уэллс работал у микрофона. Казалось, он забрался туда внутрь, выговаривая каждое слово так, что оно западало в душу. При работе с микрофоном ни один актер не мог создать такого впечатления интимности и присутствия. Он вдруг стал подвижным молодым парнем, которому, как и мне, было где-то едва за двадцать, но у него был глубокий утробный смех и благородный вид идальго. Когда по окончании чтения я вышел из кабины, он притянул меня к себе в теплом объятии, и я с триумфом отправился на подземке домой.

Не успел я войти в дверь и рассказать Мэри о своем невероятном успехе, которому она порадовалась не меньше меня, как позвонил Хоумер и сказал, что для того, чтобы со стороны Дюпона не было никаких вопросов, я должен на следующее утро обсудить свой сценарий с небольшой комиссией от имени компании.

На одном из верхних этажей здания на М-авеню меня

поджидали три-четыре человека, специально прибывших из Делавэра, чтобы поговорить со мной накануне грядущей на следующий день или через день передачи. Комиссию возглавлял Расс Эплгейт, седой уравновешенный мужчина с твердым характером, ответственный за внешние сношения компании. Им не понравилось выражение «там летали попугаи», ибо в джунглях, где Хуарес скрывался от преследования, таких птиц не водилось. Я с готовностью согласился подыскать другие слова, но моя покладистость произвела на председателя странное впечатление, и он на целый час ударился в разглагольствования о джунглях, где когда-то побывал туристом. Меня потрясло, что ради этого балагана взрослые люди проделали такой путь из Делавэра — и все только чтобы я изменил одну фразу. Но оказалось, что это были цветочки.

В книге, которую мне прислали с Би-би-ди-энд-О, был эпизод, когда войска Хуареса ночью пересекли Рио-Гранде, чтобы на земле Соединенных Штатов получить оружие, которое для них было оставлено по приказу Линкольна, поддерживавшего Хуареса в борьбе против императора Максимилиана, габсбургского князька, сделанного французами марионеточным правителем этой страны. Эту сцену надо было убрать.

— Да, но я взял ее из книги, которую вы мне сами прислали, к тому же эта сцена удалась. В ней ничего нет, кроме того, что Соединенные Штаты поддерживали мексиканскую революцию, а Хуарес глубоко верил Линкольну.

Выяснилось, что спектакль готовился в эфир в день праздника обеих Америк, и Би-би-ди-энд-О решила отметить эту дату. Эплгейт был непреклонен. Сцена должна была быть снята. Я не соглашался. Ее невозможно было заменить за оставшиеся полдня. К тому же в голове не было ничего подходящего. Я попытался понять, что же их все-таки не устраивает.

Поборов легкое смущение, Эплгейт признался, что им бы не хотелось, чтобы Дюпона снова обвинили в снабжении оружием Латинской Америки.

— Да, но ведь оружие поставлялось по приказу Линкольна, а не Дюпона.

— Это были винтовки фирмы «Ремингтон», — заметил Эплгейт, — а фирма Дюпона входит в эту корпорацию.

С тех пор прошло более сорока лет, трудно вспомнить, как я поступил с этой сценой, хотя склонен думать, что она осталась, несмотря на то что они побаивались возможных последствий — как многие, кто здесь или в других странах обладает реальной властью и нередко принимает странные и неадекватные решения. В другой раз мне заказали сценарий о братьях Меррит, снабдив

двумя документальными фолиантами, где излагалась самая жестокая и грабительская история обогащения. Если говорить кратко, братья Меррит в конце прошлого века были шахтерами, которым индеец — хотя они утверждали, что это было провидение, — показал выход на поверхность земли железной руды, знаменитый хребет Месаби. Новости быстро долетели до Нью-Йорка, и первый из Рокфеллеров, Джон, немедленно снарядил к братьям своего священника-баптиста, чтобы они продали ему свои права, ибо Джон Рокфеллер был религиозный человек, а агенты информировали его, что братья Меррит были глубоко верующими. Однако они не хотели ничего продавать, надеясь, что им удастся открыть свою шахту и делить выручку с индейцами и бедняками — мысль, которая до глубины души поразила своим благородством Рокфеллера. Незадачливые братья, возведя предварительные сооружения, вскоре обанкротились, и тут снова возник священник Рокфеллера, на этот раз предложивший им финансовую поддержку для оказания помощи беднякам. Мало-помалу Рокфеллер все больше поддавался искушению, скупая их акции, так что в один прекрасный день братья Меррит проснулись, поняв, как свидетельствовали два года спустя в сенатской комиссии по расследованию этой истории, что «Рокфеллер является владельцем „Месаби“, а у них нету даже пяти центов, чтобы проехаться на трамвае по Дулуту». Обладание неисчерпаемыми залежами руды положило начало «Ю. С. Стил корпорейшн» по ту сторону озера и вызвало настоящий промышленный бум в таких городках Среднего Запада, как Мичиган и Огайо. Это была прекрасная сказка, и Дюпон не только финансировал постановку, но по ее окончании в тот вечер, когда она транслировалась, дал по всей стране в честь высшего руководства и части сотрудников фирмы торжественные ужины.

Я позвонил Хоумеру узнать, знает ли он, о чем пойдет речь. Да, он вполне представлял это.

— Неужели они действительно дадут это в эфир? — спросил я.

— Ты пиши, а там разберемся.

Я так и сделал, стараясь держаться как можно ближе к оригиналу. Сценарий получил одобрение, сделали спектакль, и он пошел в эфир, очень понравившись клеркам, работавшим у Дюпона. И, как оказалось, привел в восторг членов этой семьи, многие из которых страдали от глухоты и поэтому вынуждены были присоединить к радио специальные слуховые аппараты.

Я спросил Хоумера, в чем дело.

— Они воспринимают это совсем по-иному, чем мы, — сказал

он. — На их взгляд, эта история только доказывает, какой сообразительный и проницательный оказался Рокфеллер, открывший одно из крупнейших — если не самое крупное — горнодобывающее предприятие и поставивший его на службу человечеству. Для них это лучшее доказательство, что предпринимателю необходима смекалка.

— Да, но священник Джона Рокфеллера надул Мерритов, — возразил я, — он обещал, что тот раздаст эти богатства бедным, ну и так далее. А на самом деле обманул этих ребят. Комиссия сената была в ярости.

— Правильно, — ответил Хоумер, — но они этого не замечают. Братьям Меррит несподручно было управиться с полученным состоянием, поэтому в интересах страны, в интересах человечества оно должно было перейти к тому, кто сумел бы им распорядиться должным образом.

— Другими словами, к некоему пророку в своем отечестве.

— Называй его хоть бесом.

Мы видим лишь то, что хотим увидеть, — это еще раз драматически подтвердилось несколько лет спустя, когда я приехал на родину Дюпонов в Уилмингтон в штате Делавэр на премьеру своего спектакля «Человек, которому всегда везло», готовившегося к постановке на Бродвее. Роль Дэвида Бивза исполнял Карл Свенсон, который не один год проработал ведущим актером в «Кавалькаде», и Расс Эплгейт по этому случаю пригласил нас перед спектаклем выпить в отель «Дюпон».

Он появился вместе с женой и двумя подчиненными, тоже с женами, не скрывая удовлетворения, что мы, бывшие питомцы радиошоу Дюпона, теперь попали не куда-нибудь, а на Бродвей.

Разговор неизбежно коснулся политики, ибо Рузвельт четвертый раз выставлял свою кандидатуру, несмотря на отчаянную предвыборную борьбу Томаса Дьюи. Эплгейт, глаза и душа Дюпона в вопросах внешних сношений, обернулся к Свенсону, который, как очень состоятельный актер, непременно должен был быть республиканцем, и, заранее предвкушая ответ, спросил: «Карл, как вам видятся эти выборы?»

Свенсон, в душе демократ, сделал вид, что раздумывает. В те дни банковские клерки вынуждены были глубоко прятать свои прорузвельтовские симпатии, когда находились в стенах своих учреждений. К тому же Дюпон оказывал финансовую поддержку Лиге свободы, группе давления ультраправого крыла. В вопросе Эплгейта читался ответ, настолько уверенной улыбкой это сопровождалось.

— Что я могу сказать? — в раздумье начал Свенсон, откидывая со лба платиновую прядь и сверкая ослепительной

улыбкой. — Думаю, не погрешу, если скажу, что большинство отдаст свои голоса за Рузвельта.

— Как — за Рузвельта, — едва не вскричал Эплгейт, и его глаза сузились от возмущения. — Нет, это невозможно, в нашем окружении никто за него не проголосует!

И он посмотрел на двух подчиненных, ища поддержки, которую те не преминули выразить. Конечно, Рузвельт одержал внушительную победу.

Я не сомневался, Эплгейт стал столь комичной фигурой в силу того, что слепо следовал своим интересам и идеологическим указаниям. Он ненавидел Рузвельта и его «Новый курс» с почти религиозным фетишизмом, но это никогда не проскальзывало ни в рекламе компании, ни в ее заявлениях, ни в каждодневном деловом общении. Исповедуя иную идеологию, я, однако, во многом вел себя так же, как и он. Подобная двойственность — смирение перед гражданским кодексом поведения — внушала ощущение ирреальности. Наверное, чувство гражданственности во мне оказалось так развито в связи с войной и победой. С уходом Рузвельта, когда Соединенные Штаты стали мощнейшей в мире и единственной кредитоспособной державой, это сдерживающее начало было отринуто и пришла эпоха разнузданной, а то и эйфорической кампании общественных обвинений: годы деятельности Комиссии конгресса по расследованию политической деятельности, торжество маккартизма, принятие неприкрытого антидемократического закона вроде акта Маккарти — Уолтера, согласно которому проверке на политическую лояльность подлежал каждый иностранец, пусть даже он ехал просто посмотреть страну. В последующие годы не раз приходилось вспоминать незадачливый разговор, когда люди нашего круга наконец взяли реванш за два десятилетия политической и культурной изоляции, в которой оказались благодаря торжеству либеральных левых представлений о реальном и истинном. Однако комичная недальновидность Расса Эплгейта в один прекрасный день вдруг очень напомнила мне мою собственную.

О чем еще я мог написать свою первую пьесу, как не о производственном конфликте, историю об отце и двух сыновьях, одно из самых автобиографичных моих произведений. Я нацелился на Хопвудовскую премию, которая среди студентов Мичигана приравнивалась к Нобелевской. Во время учебы приходилось подрабатывать сразу в двух местах. Я устроился трижды в день мыть посуду и кормить мышей, клетки с которыми громоздились в три этажа в университетской лаборатории

генетики, расположенной в лесу на окраине города. А вечером, едва добравшись до кровати, сразу валился с ног. Иного выхода не было, поскольку за год я истратил почти все, что накопил для поступления, — чтобы допустили к занятиям, надо было иметь на счету в банке не менее пятисот долларов, тем самым доказывая, что ты не обездоленный и не нуждаешься в государственном попечительстве. Теперь основным источником доходов стала кормежка мышей: из субсидии, которую университет получал на содержание студенческих рабочих мест от Национального фонда помощи молодежи имени Рузвельта, мне платили пятнадцать долларов в месяц. Ежедневно в четыре часа я отправлялся пешком за две мили. Вместе с Карлом Бейтсом, тоже студентом, мы вскрывали ящики с подгнившими овощами, собранными по лавкам зеленщиков в Энн-Арборе. Содержимое раскладывалось по сотням проволочных клеток, набитых от пола до потолка. В каждой жило свое семейство, о чем гласила металлическая бирка. Едва мы входили в тихое, расположенное в роще помещение, как мыши начинали метаться, и от бренчания пластин о сетку возникало неприятное ощущение в позвоночнике. На нижнем этаже в крошечной комнате работали двое генетиков в белых халатах, молодые мужчина и женщина, никогда, казалось, не разговаривавшие друг с другом. Они проводили долгосрочный эксперимент, требовавший строжайшей изоляции каждого мышиного семейства, которое было помечено особой дыркой в ушах, что давало возможность следить за ними. Стоило какому-нибудь зверьку вырваться на свободу, как тут же надо было нажать кнопку электрического звонка и подать пронзительный сигнал тревоги, возвещая, что усилия годового эксперимента на грани срыва, ибо животное могло забраться в соседний вольер. Естественно, я тут же решил придумать мышеловку, которая бы не наносила животным вреда, но, провозившись с паяльником половину семестра, отказался от собственной затеи. Мыши отличались необыкновенным разнообразием — некоторые были столь малы, что проволока не реагировала на их вес, и воротца не закрывались. Сооруди я мышеловку в расчете на них, это было бы опасно для крупных, которые в лучшем случае лишались бы хвоста, а в худшем воротца обрушивались бы им на шею.

Кроме того, там происходили иные происшествия, вроде случайных совокуплений двух молчаливых генетиков на столе в маленькой лаборатории, что поразительно напоминало то, чем, судя по легкому позвякиванию металлических бирок, постоянно занимались мыши. Раз в неделю я относил клетку с отработанными зверьками в сарай, стоявший за лабораторией. В этом небольшом, невысоком строений без окон всегда было

темно. Там жили две совы, которые, стоило только внести поживу, начинали пощелкивать клювами, угрожающе гудеть и ухать. Расправляя крылья и переступая с ноги на ногу, они с нетерпением ждали, когда я выпущу мышей, что было не так-то просто, поскольку те цеплялись за проволочную клетку и ее надо было сильно встряхнуть, чтобы они вывалились на застланный сеном пол. При этом в поисках защиты мыши норовили залезть мне на ногу. Выбираясь из сарая, я проделывал сложные пируэты, стараясь не наступить на какое-нибудь обезумевшее животное и одновременно не выпустить сов, убеждая себя, что все это имеет серьезное научное значение. Раз в неделю приходил аспирант, который разгребал сено и подсчитывал количество оставшихся в живых тварей. В его задачу входило определить, какая окраска служит наилучшей защитой. Он аккуратно записывал, что белые, рыжие и палевые, то есть мыши светлого цвета, обычно бывали съедены, тогда как серые с темно-коричневыми имели больше шансов выжить. Выводы были ясны и так, но я испытывал восторг перед служителями науки, которые все заносят в реестр. Что-то в этом было такое, чего с ходу, я думал, не разберешь. Хотя на самом деле ничего в этом не было.

Обычно, когда я появлялся в виварии, в бетонном кубе мышиного царства на опушке густого леса было безлюдно. Я шел и думал о тысячах грызунов, которые сидят по клеткам и в меру отпущенных им природой способностей соображают, как бы удрать. Кроме них здесь был еще только Карл Бейтс, который ужасал меня тем, что срезал испорченные части грейпфрутов, моркови, салата и делал себе из остатков обед. Ему не на что было жить, и он экономил каждый цент, чтобы еженедельно отправлять домой по два доллара. У него была угреватая кожа, но человек он был на удивление жизнерадостный, что я относил на счет воспитания — он вырос на картофельной ферме в северной части Мичигана, где дни, казалось, были долгими и безмолвными. Он не был похож ни на кого, с кем мне доводилось общаться, — ни на ветреных ньюйоркцев, ни на евреев. В сдержанности его глубоких переживаний я открыл для себя нечто новое. Старший брат Карла перешел в христианскую науку и, как-то сильно придавив на занятии в инженерной школе сорвавшимся автомобильным двигателем большой палец правой руки, лечил его одними молитвами. Навещая больного брата, Карл однажды прихватил и меня. Он кротко увещевал его отправиться в больницу, потому что на палец страшно было смотреть, а брат тем временем перелистывал книжку Мэри Бейкер Эдди, не обращая на его слова никакого внимания. Через неделю палец начал подживать, но нас с Карлом, как материалистов, это не

убедило. В 1935 году Америку можно было спасти молитвой так же, как починить ею рухнувший мост.

На весенние каникулы я решил не уезжать домой, а остаться в Энн-Арборе и за неделю написать пьесу. Я не знал, почему именно пьесу, а не рассказ или роман, но разница виделась мне настолько очевидной, как для художника между скульптурой и рисунком. Пьесу можно было обойти со всех сторон, она восхищала, как архитектурное сооружение, чего нельзя было сказать о прозе. Возможно, в этом сказалась моя любовь к пародии, к воспроизведению чужих голосов и звуков — как большинство драматургов, я немного актер.

Если не считать студенческой постановки «Генриха VIII», где я играл роль епископа, к счастью, без слов, так как мой герой только важно кивал головой в ответ на чужие реплики, я видел всего несколько спектаклей, да и те еще в Гарлеме. В то время я снимал комнату у Доллов в доме четыреста одиннадцать по Норм-Стейт-стрит. Один из двух сыновей Доллов, Джим, жил в комнате напротив. Я знал его — он шил для студенческого театра костюмы, которые делал по собственным эскизам. Он сострочил нам великолепные возрожденческие наряды для «Генриха VIII», а королю смастерил из крючков для штор, купленных по случаю в соседней галантерейной лавке и покрашенных в желтый цвет, знаменитую золотую цепь со звеньями в виде буквы S. В первый день каникул я спросил Джима, сколько обычно длится первый акт. Он сказал: около получаса, и я засел за работу. Сутки не вставая из-за стола, я за один присест написал то, что, на мой взгляд, можно было считать первым актом. Поставив будильник, чтобы он прозвенел ровно через тридцать минут, я вслух прочитал написанное. К моему удивлению, будильник прозвенел как раз в тот момент, когда опустился занавес. Столь строгое отношение к форме было обычным в те времена. Много позже я узнал о Стриндберге, скорее мистическом, чем социальном, реформаторе послеибсеновской поры, и о немецких импрессионистах. Малочисленные авангардистские театральные журналы, которые я читал, были в основном левой ориентации и печатали одноактные «пьесы протеста» о шахтерах и портовых грузчиках. Однако ничто не могло сравниться с пьесами Клиффорда Одетса, единственного, на мой взгляд, истинного поэта театра социального протеста, да и вообще всего нью-йоркского театра. Дело в том, что настоящий драматический театр в те времена существовал только в Нью-Йорке, все остальные повторяли то, что имело успех на Бродвее, чаще всего комедии. В театрах, известных серьезными намерениями, время от времени ставили какую-нибудь древнегреческую трагедию или

Шекспира, но во время спектаклей зритель обычно дремал.

С самого начала было ясно, что будущая пьеса станет выражением моего представления о себе. Создание пьесы сродни акту саморазоблачения — я воспринял этот процесс как возможность сказать сокровенное, поэтому всегда краснел за то, что пишу. В то же время не покидало ощущение полета, вольного парения на расправленных крыльях. То, что я пишу, то, что происходит во мне, небезразлично окружающим — я стал относиться к этому как к общественному делу. И тем самым как бы благословил себя. Прошло время, и благословение было снято, но до этого пришлось еще многое пережить.

Всю неделю я работал с утра до ночи, лишь изредка позволяя себе забыться коротким сном. Через пять дней пьеса была готова и отдана Джиму. Я устал, боялся, что он ничего не поймет, но в то же время испытывал радостное возбуждение, как будто оторвался от пола и воспарил. Отдав рукопись, я, так же как и мой отец после тяжелых стрессов, лег и заснул. Меня разбудил чей-то смех. От смешанного чувства ужаса и надежды внутри все похолодело.

Джим, как и вся семья Доллов, отец, мать и его брат, был махина шести футов и восьми дюймов роста; им всем приходилось сгибаться, чтобы пройти в дверь собственного небольшого дома, построенного лет сто назад в типичном для Среднего Запада стиле. Я очень привязался к Джиму, поскольку он был первым театральным практиком, попавшимся на моем пути. Когда он говорил о пьесах, многое из прочитанного теряло свою монументальность и значительность, открывались изъяны и недостатки. Он был первым гомосексуалистом, с которым меня свела судьба, и испытываемые им страдания, усиленные тем, что он жил на Среднем Западе, как-то сдружили нас. Он превосходно разбирался в европейской драматургии и открыл мне много новых имен, в том числе Чехова, которого боготворил.

Я услышал, как он отворил дверь, потом пересек коридор, вошел и отдал мне рукопись. Переживания, связанные с эстетическим наслаждением, делают лицо человека открытым — удлиненное скуластое лицо Джима выглядело по-детски наивным, несмотря на неестественную улыбку: пытаясь скрыть отсутствие передних зубов, что по тем временам было несчастьем довольно распространенным, он приспускал левый краешек верхней губы. «Здорово, что тут сказать, настоящая пьеса. — Он рассмеялся с простодушием, какого я никогда за ним не замечал. — Удивительно у тебя развивается действие, все подчиняет себе и в то же время не растекается. Такой студенческой пьесы я еще не читал». Его лицо озарилось

любовью: невероятно, но на нем появилось что-то похожее на чувство благодарности.

Как обычно, в недолгие дни весенних каникул ночной Энн-Арбор был пустынен. Не хотелось спешить, но ноги сами несли вперед. Ощутив упругую силу мышц, я побежал вверх к центру, пересек площадь Правосудия и потом устремился вниз по Норт-Юниверсити. Голова кружилась от счастья: я не просто рассмешил Джима, но заставил его взглянуть на меня так, как он никогда не смотрел. Закорючки, которые я выводил на бумаге, обрели магическую власть — овладев другим человеком, они заставили его увидеть и услышать то же, что я. Значит, я оставил след на земле.

А что, если я получу Хопвудовскую премию! Трудно вообразить! Двести пятьдесят долларов за неделю работы! Я все еще относился к себе как к чернорабочему, и неудивительно, поскольку пятьсот долларов, необходимые для поступления в Мичиганский университет, стоили мне двух лет ежедневных — утром, вечером, в холод и зной — поездок на метро на склад автомобильных запчастей, где я работал.

Склад «Чэдик-Деламатер», на месте которого на углу 63-й улицы и Десятой авеню сейчас стоит «Метрополитен-опера», распахнул передо мной двери большого мира, не связанного с домом и школой. Старая, солидная фирма «Чэдик-Деламатер» снабжала всю розничную торговлю восточного побережья гаражами и запасными деталями. Они лежали повсюду, в ящиках и на полках, возвышаясь пятью рядами стеллажей. Здесь было все, от запчастей для давно забытых марок легковых машин и грузовиков, выпускавшихся до Первой мировой войны, до автомобилей последних моделей.

Мой однокашник по школе Линкольна Джо Шепс был сыном владельца автомастерских в конце 59-й Бридж-стрит на Лонг-Айленде, где ремонтировали бензовозы. Сам Шепс был давним клиентом «Чэдик-Деламатер». Несколько месяцев по окончании школы я проработал у него водителем грузовика и кое-чему научился, хотя доставлял немало неприятностей, имея обыкновение по нескольку раз на дню путать адреса. Летом 1932 года Депрессия достигла своего апогея, и мастерские Сэма практически закрылись. Все было очень просто — ни у кого не было денег. Республиканская администрация — последняя, как показало будущее, — целых двадцать лет находилась в плачевном состоянии, не имея ни идей, ни хотя бы риторических ухищрений для таких обездоленных, как мы. В моих воспоминаниях этот год связан с бесконечными разъездами из Бронкса в Бруклин — через мост и обратно, — когда я наблюдал, как под слоем пыли, словно

зачарованный, исчезает город и в немытых витринах опустевших магазинов все чаще появляются таблички: «Сдается внаем». В тот год выстраивались очереди за хлебом и часто можно было видеть, как, стоя рядами по шесть-восемь человек, здоровые мужчины подпирали стену какого-нибудь склада в ожидании миски похлебки или куска хлеба, которые раздавали стихийно возникшие в городе благотворительные организации вроде Армии спасения или церковных комитетов.

Люди на улице обменивались грустными взглядами, как бы вопрошая: «У вас есть еще силы терпеть? Как это удается? Может быть, вам посчастливилось найти работу? Вы не поможете мне? Когда все это кончится?» В рабочих районах города типа Лонг-Айленда отзывчивость чувствовалась острее, но ожесточение тоже встречалось. Все были пассажирами на корабле, который сел на мель, но, расхаживая по палубе, продолжали вглядываться в горизонт, который изо дня в день оставался неизменным. Вот тогда Сэму пришлось уволить меня. Он был невысок ростом, добродушен и всю жизнь оставался убежденным республиканцем, поддерживая Гувера, хотя со временем устал оправдывать своего президента. Как большинство, Сэм в 1932 году просто перестал говорить о политике — слишком неприглядна была окружающая действительность с чередой катастроф, которым не было конца.

Я слонялся по дому, без особой надежды просматривая по утрам колонки рекламных объявлений в «Таймс». По тем временам они привычно пестрели пометами: «белый», «нееврей», «христианин». Глаза быстро приучились отмечать то, что меня интересовало. Быть евреем означало быть немного негром: эти группы людей тогда еще хорошо понимали друг друга. Встречались пометы «протестант» или «убежденный католик», как будто в городе враждовали различные кланы, которые отстаивали чистоту своих убеждений. Возможно, из чувства протеста против этой вакханалии я позже женился на девушке нееврейской национальности.

Как-то утром я наткнулся на объявление без оговорок. Требовался клерк на склад запчастей в Манхэттене с окладом пятнадцать долларов в неделю. Номер телефона и адрес были до боли знакомы: «Чэдик-Деламатер». Я позвонил Сэму Шепсу, чтобы тот позволил сослаться на него. Он, разумеется, не возражал. «Только обязательно перезвони и скажи, что тебе ответят». Я не понял, что он имел в виду.

С менеджером Уэсли Моултером мы были знакомы, поскольку я часто заезжал к ним за деталями. На этот раз я пришел начищенный, надев единственный галстук, присел к его столу, плотно прижав подошвы башмаков к полу, чтобы он не

заметил дырку, и начал рассказывать, что работал у Шепса. Моултер, которому было всего тридцать лет, уже заведовал складом и получал тридцать шесть долларов в неделю. Чтобы подчеркнуть свое административное положение, он тщательно застегивал рубашку на все пуговицы вплоть до воротничка, носил галстук в полоску и, в отличие от остальных, закатывал рукава чуть выше запястья, в то время как рабочие закатывали их выше локтя. И не выглядел унылым, этот серьезный человек с густыми рыжеватыми курчавыми волосами, квадратным плоским лицом и толстой шеей. Его стол стоял у окна, чуть поодаль склонились над бумагами бухгалтеры, три женщины и мужчина. Контора, где работали представители армии «белых воротничков», была отделена от торгового зала перегородкой из голых цементных плит — разговаривая с Моултером, я обнаружил на стыках щели. Он уделил мне ровно пять минут, дав рассказать про Сэма Шепса, пару раз кивнул головой, взял номер телефона и сказал, что позвонит, когда будет нужно.

Весь следующий день я слонялся по столовой, пока телефон, подобно любому предмету, если на него долго смотреть, не стал казаться одушевленным, живым воплощением насмешливого упрямого молчания. Жажда найти работу донимала меня как зуд, но я старался не думать об этом. Пятнадцать долларов в неделю было не просто втрое больше, чем обычно платили «мальчику на побегушках», но говорило о престиже фирмы. Как водителя грузовика, меня всегда восхищало то, как она торговала лучшими запчастями — системами зажигания фирмы «Беар», подшипниками «Тимкен», распредвалами из Детройта, коробками передач «Браун энд Лайп», проводкой «Паккард-Лекард», престонскими антифризами, сальниками, шлангами «Гейтс», поршневыми кольцами и пальцами «Перфект серкл», — внушительный список солидных фирм говорил сам за себя. Пол в «Чэдик-Деламатер», в отличие от деревянного настила на других складах, был цементным. Здесь всегда было аккуратно подметено, чинно, как в банке, вроде бруклинского отделения «Юнион газ», куда мы каждый месяц ходили оплачивать счета. Предлагая пятнадцать долларов вместо двенадцати, фирма давала понять, что возлагает на будущего работника надежды, и я, стоя у стартовой черты, готов был рвануться в свое восемнадцатилетие. Но телефон молчал.

Если трезво подумать, все было ясно, кажется, нечего особенно огорчаться: такое было в порядке вещей и еще не носило названия «дискриминация». Просто надо было попытаться завоевать свое место в Америке другим путем.

Вечером позвонил Сэм Шепс и спросил, устроился ли я на

работу. Узнав, что мне это не удалось, сказал: «Все равно возьмут. Им не найти для этого дела мальчишку толковее тебя. Ты — еврей, поэтому они думают. Но у них почти вся клиентура евреи. Завтра утром я с ними переговорю, а ты будь наготове, слышишь?»

Моултер позвонил до полудня, и я не заставил себя ждать. На троллейбусе по Грейвсенд-авеню до метро, от Чёрч подземкой до Таймс-сквер, пересадка на местную линию до 66-й улицы, а там по железной лестнице вверх — и вошел в тихое прохладное помещение. За исключением Моултера и еще кого-то одного, здесь все были ирландцами. Пробираясь к своему месту, я вдруг почувствовал, что лучше бы мне было постоять и дать им привыкнуть к себе. До меня в этом офисе никто такой не служил.

Первыми ко мне расположились три бухгалтерши, одна из них, Дора, подошла, когда я разбирал кучу распредвалов. Худобой и прозрачностью запястий эта старая дева напоминала баронессу Бликсен, с которой мне как-то довелось провести вечер четверть века спустя. У нее были кроличьи зубы, и она говорила в нос, страдая, как я позже узнал, хроническим насморком. Она зашептала, что мне здесь очень понравится и лучшей работы не найти. Я был ей благодарен, но уже успел понять, что справлюсь с обязанностями, только если разберусь в этом многоярусном лабиринте и сумею быстро находить детали, обозначенные в накладных, наколотых на гвоздь, торчавший на столе у кладовщика Гаса, шестидесятипятилетнего старика с мохнатыми седыми бровями, усами как у кайзера Вильгельма и плотным брюшком, напоминавшим мячик для лечебной гимнастики. Радушие, с которым меня приняли, быстро иссякло, по мере того как люди уставали от бесконечных вопросов. В четверть шестого все ушли, а я откатил стремянку в дальний конец бокового прохода и, взобравшись, стал изучать содержимое ящиков. Меня отвлек звук шагов по бетонному полу, и, посмотрев вниз, я увидел Уэсли Моултера, который с перекинутым через руку полотенцем огибал подножие лестницы, направляясь к умывальнику. Я приветливо кивнул, решив объяснить свое достойное похвалы рвение, но не успел открыть рот, услышав сказанное с усмешкой: «Примериваешься, как бы прибрать к рукам?» И бросив на меня исполненный равнодушия взгляд, он направился к туалету.

Ощущение холода в животе не проходило, пока я не проехал полдороги до дома. Конечно, не надо было давать им повод выразить свою неприязнь, которая, как я понял, их переполняла. До меня дошел смысл краткого визита Доры: она хотела сказать, что не такая, как все, но что это был за союзник! За обедом я

промолчал, дабы не испортить радостного оживления по поводу моего трудоустройства. Кермит, всегда восторженно относившийся к бизнесу, считал, что мне сказочно повезло — я попал в столь солидную фирму! Конечно, все понимали, что без вмешательства Сэма Шепса меня бы туда никто не взял. Но срабатывала защитная психологическая реакция. Я страстно хотел работать в «Чэдик-Деламатер», боясь разболтаться, подобно многим соседским ребятам, у которых не было денег, чтобы продолжать учебу. Жизнь вынуждала защищаться, и, отогнав мысль, что босс Уэсли Моултер ненавидит меня, я на следующее утро, рьяно выполняя поручения, радостно приветствовал каждого, кто хоть немного был приветлив со мной. В моменты кратких передышек, пока не поступили новые заказы, все собирались в конце торгового зала около упаковочного стола, и, пристроившись с краю, я быстро научился смотреть и слушать, не задавая лишних вопросов, чтобы не возникало впечатления, будто я напрашиваюсь на дружбу или заискиваю.

Через несколько недель я уже легко шутил со всеми. Поняв, что я ничуть не умнее их и отличаюсь разве что молчаливостью, они успокоились, ибо евреев боятся за их загадочный искусительный ум, способный обольстить и обмануть простодушного человека. Страх перед евреями — это страх перед людьми, которые живут по своим законам, что в такой же мере относится к представлению евреев о неевреях. В «Чэдик-Деламатер» я узнал, как утешить человека, у которого в нетопленой квартире в Уихокене ночью едва не умер ребенок. Когда до него дошло, что могло произойти, его затрясло и лицо, как от паралича, исказила страшная гримаса. Это произошло с Хьюи, двадцативосьмилетним блондином, клерком на складе. Он и так всегда был в подавленном состоянии, пытаясь на восемнадцать долларов в неделю прокормить четверых детей.

Шло время, в тусклом окне отдела упаковки, выходившем на задний двор, где росли все те же китайские ясени, зима сменялась летом. Напротив построили пятиэтажный бордель, и теперь по утрам можно было помахать голым молоденьким проституткам, которые, усевшись на кровати по-восточному скрестив ноги, принимали солнечные ванны. Я все больше восхищался терпением и дисциплинированностью работников склада, хотя больше не питал иллюзий, будто мы «одинаковые». Добираясь по утрам полтора часа с пересадками от Бруклина до работы, я обычно читал какой-нибудь роман или «Таймс», газету, в которую они с недоверчивым любопытством заглядывали в краткие перерывы, переворачивая страницы кончиками пальцев, будто те были атласные. А когда Дора, которой я доверился,

проговорилась, что я коплю деньги на колледж, они сделали вывод, что евреи с зарплаты не пьют, и это еще раз подчеркнуло, какие мы разные. Мое намерение продолжить учебу было воспринято как стремление избежать общей участи и утвердиться в своем превосходстве над ними. Однако, расспрашивая о моем непонятном народе, они в основном интересовались укладом нашей семьи: их удивляло и обескураживало, как такому молодому здоровому парню позволяют копить деньги на учебу, а не отдавать их в семейный бюджет. Почти каждую неделю я из пятнадцати долларов откладывал тринадцать, рассчитывая, что накоплю необходимую сумму к июлю или августу 1934 года, началу учебных занятий в Мичиганском университете.

Гримаса неприязни, если это можно так назвать, проскользнула только однажды. Стоя посреди прохода, я, как всегда, искал по ящикам какие-то детали и не расслышал за спиной шагов Хьюи. Двигая стремянку, я угодил колесиком ему по большому пальцу. Этот грузный человек с опущенными плечами страдал плоскостопием и для того, чтобы легче было ходить, бритвой прорезал носки ботинок. Взвыв от боли, он ударил меня кулаком в нос: «Ты, вонючий…» Уклоняясь от удара, я почти расслышал оскорбление. Он врезался кулаком в какой-то ящик, и руку пришлось высвобождать. Суставы кровоточили от неглубоких порезов. Обмотав руку носовым платком, он ушел раздраженный, и мы никогда больше не говорили об этом.

Покидая в августе 1934 года «Чэдик-Деламатер», я пристроил на свое место двух ребят — сицилийца Питера Дамоне, первого итальянца в этом заведении, и Дэниса Макмаона. Питер был серьезным, подтянутым, неулыбчивым молодым человеком, которого, в отличие от меня, посвященного в какие-то тайны, не посвятили ни в одну. Денис, только что сошедший с корабля молодой верзила с приятным ирландским акцентом, тут же стал заклеивать упаковочной бумагой окна, выходившие на бордель, дабы не видеть каждый божий день проституток. Вскоре оба уже старались не спиться, что по понятным причинам происходило с большинством рабочих, ибо, с одной стороны, не было особых перспектив и продвижения, с другой — в такое время счастьем было иметь хоть такую работу. Закипающее раздражение иногда прорывалось наружу.

Зная о бесконечных змеящихся очередях безработных, где каждый был готов занять твое место, бессмысленно было жаловаться на условия труда, и мы научились смиряться. Когда выпадал заказ на тормозные колодки, их надо было подогнать по заданному образцу на хрупком и твердом, как кирпич, шлифовальном круге, у которого приходилось работать без очков

и без маски. Вокруг поднималось облако вонючей пыли, которая проникала даже в контору. Иногда шлифовальный круг рассыпался, и острые, как битое стекло, осколки разлетались во все стороны. Однако никто не задумывался, чем это грозило. Как-то осколок попал мне в грудь. По счастью, стояла зима, в помещении было холодно — температура не поднималась выше 60° по Фаренгейту, — поэтому поверх свитера на мне была надета штормовка, и, не обратив внимания на осколок, я приладил новый круг, чтобы закончить работу. В газетах писали о появлении на производствах новых профсоюзов, но когда я намекнул об этом Хьюи и другим, они с большой опаской отнеслись к перспективе ссоры с хозяином (в пьесе, написанной двадцать лет спустя, я назвал его господином Иглом, так как не помнил настоящего имени). Мы слишком хорошо знали, что нам, как неквалифицированным рабочим, легко найти замену. На самом деле всем — и неквалифицированным, и квалифицированным — не хватало чувства гордости за свой труд. Если бы кто-нибудь надумал создать профсоюз, мы бы решили, что недостойны стать его членами.

Поскольку господин Игл владел несколькими фирмами, он заезжал к нам раза два в неделю. Со слов Доры я знал, что он окончил Принстон и был яхтсменом, о чем нетрудно было догадаться, взглянув сквозь единственное чистое на складе стекло, отгораживающее небольшой офис у входа. На стене висела внушительных размеров гравюра с изображением парусника в открытом море. Это казалось насмешкой, когда находившийся тут же около стойки огромный, три фута длиной, термометр фирмы «Престон», название которой красовалось синими и красными буквами, в жару показывал на 90° по Фаренгейту, а у нас не было ни кондиционера, ни даже вентилятора. Никому и в голову не приходило попросить Моултера переговорить об этом с хозяином. Вместо этого мимо стола упаковок с видом на бордель, около которого находился единственный туалет, взад-вперед сновали люди, чтобы над грязно-бурой раковиной, которой пользовался и сам господин Игл, ополоснуть лицо теплой водой. Нам казалось оскорбительным, когда вежливая и очаровательная госпожа Игл, молодая особа, даже днем неизменно одетая словно для званого вечера, отправлялась на несколько часов по магазинам, оставляя нам двух огромных глупых спрингер-спаниелей, которых привязывала к массивным напольным весам. Под весами обитала колония почтенных серых мышей, насчитывающая несколько десятков особей. Привязанные к стойке собаки вели себя, как им велел инстинкт, исходя лаем и в охотничьем рвении атакуя

железную платформу. При этом кобель оставлял на весах лужу, предоставляя нам решать, кто ее вытрет. Наш протест выражался в том, что мы, не сговариваясь, молчаливо ждали, пока она высохнет сама. И получали удовольствие, когда госпожа Игл вынуждена была как-то реагировать на это, отвязывая собак и выражая нам благодарность за то, что мы за ними присмотрели, поскольку городская жизнь для них казалась непривычной.

В середине шестидесятых я попытался воссоздать эту картину в одноактной пьесе «Воспоминание о двух понедельниках», которая имела успех только за границей — в Латинской Америке, Италии, Чехословакии и других небогатых странах Европы, где по-прежнему сохранялся ручной труд или хотя бы воспоминания о нем. На нью-йоркской бирже курс доллара в 1955 году резко поднялся, он стал самой твердой валютой в мире, и спектакль о рабочих здесь был ни к чему. К этому времени пять моих пьес уже шли на Бродвее, но, несмотря на успех, я чувствовал, что американское общество так называемой эйзенхауэрской эпохи не приемлет меня. Отстаивая иные приоритеты, кроме ценности денег, моя пьеса воспевала человеческую солидарность, пусть даже как воспоминание о давно ушедших днях. Однако ностальгия, мне кажется, чувство, которое связано с чем-то приятным, а не болезненным или просто имевшим место.

Как бы там ни было, но в конце лета 1934 года я навсегда покинул «Чэдик-Деламатер». Казалось, это заметила одна Дора, так же как за два года до этого она единственная отреагировала на мое появление. Даже Дэнис, мой ближайший приятель, и то едва взглянул на меня, заворачивая распредвал, когда я подошел попрощаться. Мимо с прилипшей к шамкающему рту сигарой просеменил, запрокинув голову, чтобы сквозь двусторонние линзы сподручней было разобраться с квитанцией, восьмидесятилетний Джимми Смит, когда-то занимавшийся индийской борьбой. Джонни Дроун, с тем же, как и два года назад, усиженным черными точками носом, в одном из трех своих окаменевших от грязи темно-синих галстуков, сказал, переминаясь с ноги на ногу, будто стоял на раскаленной жаровне: «Не забудь заглянуть в бухгалтерию». Там теперь работали два новеньких клерка, с которыми я так толком и не познакомился, поскольку их почти никогда не было на месте — они часами пропадали в грузовом лифте, играя в кости с какими-нибудь простофилями с улицы. Желая позлить наивного чистого Дэниса, который, правда, давно потерял свой цветущий румянец, эти двое как-то однажды уселись на его упаковочный стол и давай громко с подробностями рассказывать, как в выходной они забрали по дороге домой после танцев с собой девчонку и по очереди

издевались над ней, подменяя друг друга за рулем взятого напрокат грузовика. Дэнис пришел в ярость, и я в первый и последний раз видел здесь драку, когда он послал одного из них в нокдаун. Из офиса у входа тут же прилетел Уэсли Моултер, страшным голосом вопя на Роуча, одного из двух клерков, который лупил Дэниса по животу, в то время как я пытался сдержать его, а Дора и еще двое женщин истошно вопили, грозя вызвать полицию. Потребовалось время, чтобы восстановить привычную тишину.

Как-то в середине сороковых, лет через десять после того, как я навсегда оставил это место, чтобы отправиться в Мичиган, я оказался поблизости и впервые за долгое время, не без любопытства вспомнив о своих отношениях с этими людьми, испытал сентиментальное желание нанести визит. Свернув с Бродвея, я поднялся по ступенькам, толкнул тяжелую металлическую дверь и удивился, попав в совершенно иную атмосферу. Стойка, отделанная темной клееной фанерой, что свидетельствовало о новых замашках, теперь отделяла заказчика от стеллажей с запчастями, а также от бухгалтерии, которая, должно быть, была где-то в глубине. У стойки стояли двое механиков, ожидая, пока их обслужат, и тут из внутренней двери появился полный блондин и подошел к ним. Это был Хьюи, за десять лет растолстевший и какой-то обрюзгший для своего возраста. На нем были модная рубашка и галстук, а рукава аккуратно засучены выше запястья, как это принято у приказчиков, и, хотя я не видел его башмаков, можно было с уверенностью сказать, что он больше не делает на них прорезей. Забрав упакованные запчасти, механики ушли, а я сделал шаг вперед и поприветствовал его. Он ждал заказа, а я сказал: «Как дела, Хьюи?»

Он не узнал меня, в его глазах проскользнуло недоумение. Я смутился, поскольку пришлось называть себя. Он сделал вид, что занят, и спросил: «Что вы хотите?» — будто все еще ожидал заказа. Пришлось напомнить, что я когда-то работал с ним здесь в течение двух лет. Как и Депрессия, работа в «Чэдик-Деламатер» теперь казалась сном. Он не просто не помнил меня, но, делая вид, что раздражен, не понимал, зачем я явился. Полное отсутствие интереса, желания поговорить повергли меня в состояние шока. Разговор не клеился, и через пару минут я ушел, теперь уже навсегда закрыв за собой стальную дверь. Меня опять преследовал какой-то металлический запах, который я впервые ощутил, когда пришел сюда, а теперь — когда уходил. Он напомнил о судоверфи и фабриках, вызвав прилив сил, ибо говорил об общности созидателей и строителей, но в конце

концов человек все-таки всегда кончает так, как и начинает, — в одиночестве.

Выйдя из «Чэдик-Деламатер», я задумался, чего все-таки ожидал от возвращения сюда. Может быть, хотел продемонстрировать, что успел чего-то добиться и стал писателем, автором провалившейся на Бродвее пьесы и романа «Фокус», который, удивительно, но кто-то все-таки покупал. Да, но в этом было что-то еще кроме бахвальства. Я захотел остановить время, а может быть, даже украсть у него то, что оно крало у нас, но отказ — или нежелание — Хьюи что-либо вспоминать вновь вернул меня туда, где я был. Странно, что я так отчетливо помнил их, тогда как они меня дружно забыли. Неужели Хьюи не помнил, как я успокаивал его, держа за руку, когда до него неожиданно дошло, что их малыш чуть не умер ночью в холодной квартире, или как он бросился на меня с кулаками. Может быть, именно для этого, подумал я, существует литература, чтобы побороть забвение. Это нужно не только тому, кто пишет, но также всем, кто плавает на глубине, куда никогда не проникают лучи культуры.

Купив газету, я шел по Бродвею, на ходу просматривая ее. Россия исходила кровью, однако война постепенно оборачивалась против Германии. Поговаривали, что если мы вскоре нападем на Японию, то потеряем никак не меньше полумиллиона американцев. Брат воевал где-то в Европе. Однако город, казалось, жил совершенно иными заботами. Кому нужна была эта кровавая бойня? Если мой брат погибнет, что от этого изменится? Как комиссованный, я имел возможность раздумывать над такими проблемами. Мне казалось, в глубине души людей волнует вопрос о смысле происходящего. Но им не хватает воли признаться в этом. И поэтому они поддерживают официальную версию, что у нации есть единая цель, которая, придет день, все оправдает. Я хотел разговаривать именно с этими людьми и говорить то, что они сами не могли выразить, не обладая искусством речи.

В 1936 году, через восемь лет после получения первой Хопвудовской премии, я был автором четырех или пяти многоактных пьес, романа, написанного по пьесе «Человек, которому всегда везло», книги репортажей «Ситуация нормальная» о военной подготовке в армии, в которую вошли материалы, собранные для киносценария «История пехотинца Джо», а также около двух дюжин радиопьес, которые меня кормили. Я ходил по военному городу, постоянно испытывая чувство неловкости за то, что жив. И даже попытался устроиться в Комитет по военной информации — агентство пропаганды и

разведки, — но со своим знанием французского на школьном уровне и отсутствием связей не представлял для них никакого интереса, и мне отказали. Выяснилось, что я ни к кому не принадлежу, за мной нет ни класса, ни влиятельной группы. Это напомнило последние годы в школе, когда по совету учителей все записывались в кружки и участвовали в разных мероприятиях, а я все старался понять, что происходит. Единственное, что я знал наверняка: писать — не значит выдумывать. Я не был Диккенсом из «Книги знаний», чья голова красовалась в окружении медальонов с персонажами, неким волшебным образом появившимися из нее. Город, который я знал, жил очень по-разному, но его несвязная речь имела большое значение для тех, о ком как о павших ежедневно писали газеты. По-видимому, неизбежно, чтобы я — молодой, крепкий мужчина, которого не взяли на войну, где умирали другие, и тем обреченный на пожизненное самоистязание, порой переходящее в патологическое чувство ответственности, — навсегда сохранил воспоминание о том, как эгоизм, мошенничество, коммерческая алчность соседствовали на домашнем фронте с солдатскими жертвами и святым делом союзников. Я был натянутой струной, готовой вот-вот оборваться, и жил, как выяснилось, в ожидании «Всех моих сыновей», пьесы, как я писал, подсказанной мне человеком, от которого я менее всего мог ожидать воодушевления, — матерью Мэри, миссис Слеттери.

Даже самое захудалое произведение не может быть сведено к какому-нибудь одному источнику, точно так же, как чисто психологически человек не может пребывать только в одном месте. Толстой утверждал, что в любой работе мы хотим прочесть душу самого художника, поэтому он должен принести себя в жертву и замереть, позируя для автопортрета. Я стремился дух сделать фактом, рассматривая его как залог всеобщей тоски по смыслу. Хотелось написать пьесу, которая была бы на сцене как упавший с неба камень — неотвратима, как факт.

В тот день, когда весной 1936 года я был назван перед участниками и гостями церемонии лауреатом Хопвудовской премии, я испытал смешанное чувство удовлетворения и смущения, молясь, чтобы все поскорее забыли о моей слабой пьесе во имя другой, которую я напишу и которая обязательно будет лучше.

Я тут же позвонил маме; она, вскрикнув от радости, бросила телефонную трубку и побежала оповещать родственников с соседями, что начинается новая жизнь, в то время как мое только что обретенное состояние утекало в кошелек телефонной

компании. Я тут же прославился на всю 3-ю улицу: теперь можно было не опасаться, что придется всю жизнь гонять по двору мяч, нет ничего, что может быть приятнее такой славы. Но если говорить конкретно, то эта премия удовлетворила мое чувство мести к женщине, тетушке Бетти, вдове маминого брата Гарри, самозваной гадалке, которая читала по картам и предсказывала будущее. Мама попросила ее погадать мне на картах накануне моего отъезда в Мичиган, за два года до этого. Бетти была полногрудая красивая женщина, когда-то танцевавшая в кабаре. В связи с рождением сына, похожего на монголоида, она ударилась в религию и настороженно косилась по сторонам в ожидании привидений, одновременно обтирая бедному Карлу подбородок. Рассердившись, она могла вспылить, устроив ему взбучку и в лицо высмеяв его комканую речь, но одевала в дорогие костюмы с галстуками и гордо гуляла с ним, обучая, как лучше держать ее под ручку, дабы он походил на настоящего джентльмена.

Вечером накануне моего отъезда на Запад Бетти усадила меня за обеденный стол и разложила карты. Мама уселась поодаль, чтобы не мешать и не посылать свои флюиды вдогонку моим, опасаясь, как бы они не смешались. В гостиной отец подшучивал над Карлом:

— Значит, тебе нравится Мэй Уэст, Карл?

— Ой, я люблю его.

— За что же ты его так любишь?

— А ён красивый.

Сестра Джоан, достигшая отрочества, скорее всего была наверху, где они с ее лучшей подружкой Ритой примеряли мамины наряды. Я подозревал Риту в мелком воровстве, и, как оказалось, не напрасно. Больше всего ее интересовали мамины дешевые украшения для платья, среди которых было несколько небольших ценных безделушек с бриллиантами. Кермит был где-нибудь на свидании или писал мне в спальне одно из своих прочувствованных наставительных писем, по стилю напоминавших победные реляции дядюшки Мойши с фронта. Я же собирался их всех покинуть — Иосиф, готовившийся в один прекрасный день пересечь пустыню. Я знал, что последний вечер дома был гребнем одной из небольших волн в моей жизни.

Когда Бетти аккуратно сдала по масти последние карты в ряд и начала, разложив стопочками, уточнять их соответствие арканам, наступила напряженная тишина. Пауза. При всеобщем безмолвии она еще раз разложила карты, когда на пороге возникла невероятная чистюля тетушка Эстер — та тоже пришла попрощаться и пожелать мне удачи. Не дав ей произнести ни слова, мама зашипела: «Ш-ш-ш». Тетушка Эстер благоговейно

затихла, смахивая со своей почти несуществующей груди кусочки перхоти и не отводя взгляда от рук Бетти.

Тут Бетти несколько раз скорбно покачала головой. «Учиться будет неважно. Через несколько месяцев выгонят». В глазах у мамы промелькнуло чувство ужаса. Бетти посмотрела на меня и сочувственно коснулась рукой: «Лучше побереги деньги, оставайся дома. Нет никакого смысла ехать».

Как я ни был наивен, но, глядя в ее исполненное сочувствия лицо, почему-то подумал, что это скорее связано не столько с умением гадать, сколько с завистью, хотя тут же отогнал от себя дурные мысли. В конце концов, мы все были одна семья — как она могла желать мне дурного. Беда в том, что она высказала мои самые сокровенные опасения и повергла в расстройство, огласив то, чего я сам больше всего боялся. Самоотверженно от всего отмахнувшись, мама тут же пошла молоть кофе и подала одну из своих крепко замешанных на дрожжах сдоб, превратив вечер в праздник — известие о появлении сдобы вызвало массу добрых напутствий мне на дорогу. Утром Кермит с отцом отправились проводить меня на автобусную остановку, как будто я отправлялся в глухие районы Азии. В последний момент Кермит, которому очень шли шляпы, сдернул свою с головы и нахлобучил на меня как прощальный подарок. Я проходил в ней четыре года и потерял в последние каникулы, когда добирался автостопом домой, где-то в пшеничном поле около Онионты в штате Нью-Йорк, погожим весенним днем, когда порыв ветра неожиданно сорвал ее с головы и унес, как детский воздушный шарик, а я не мог броситься вслед, так как в этот момент на пустынном шоссе по моей просьбе остановилась машина.

Получив весной 1936 года Хопвудовскую премию, я перестал бояться, что меня отчислят, но очень хотелось, чтобы это было отмечено Бетти, и тогда бы я до конца поверил в то, что произошло, ибо в тот самый вечер она всего лишь выразила мои собственные опасения. Эта победа отчасти была обещанием грядущих перемен. Стоило наличными деньгами получить Хопвудовскую премию, как сразу появилось опасение, с которым я прожил всю жизнь: смогу ли еще что-нибудь написать. В первой пьесе я изложил все, что знал о семье, а во всем другом был сведущ и того меньше. К тому же основной темой была атака на отца, предпринятая старшим сыном за то, что тот недостойно повел себя во время забастовки на заводе. Однако, унизив выдуманного отца, я получил удовлетворение, завоевав одобрение своего собственного. Отпала необходимость притворяться, что я учусь журналистике, серьезной профессии с начальником и зарплатой. Что касается Кермита, перед которым

у меня было некоторое чувство вины, ибо я оставил на его попечение семью, в то время как сам, будучи младшим, отправился учиться в колледж, премия должна была дать понять, что его жертва не напрасна, хотя втайне он, наверное, удивлялся, почему она тоже не досталась ему. Но он состоял на службе у идеализированного отца, тогда как я был призван развенчать этот образ.

Премия повлекла за собой целый ряд приятных неожиданностей. Она доставила мне удовольствие услышать, как профессор Эрих Уолтер разбирал мою пьесу у себя на семинаре по эссеистике, что само по себе было достаточно невероятно, приведя ее как пример того, что он назвал емкостью языка. Этот рассеянный человек был всеобщим любимцем, несмотря на то что галстук у него нередко выглядывал откуда-то сбоку из-под воротничка рубашки, а пальто обычно соскальзывало на пол, когда он, войдя в класс, шел от двери к столу; спустя полчаса он замечал, что оно находится не там, где ему положено, и, внимательно глядя на него сквозь толстые стекла без оправы, размышлял, как оно могло соскочить с крючка. Эрих Уолтер прочитал мой нью-йоркский диалог на своем гнусавом диалекте Среднего Запада, чего мои уши никак не могли вынести. Вместо «о'кей» он произносил «о'ей», однако в его ужасном произношении было свое очарование, и, когда какая-нибудь строка вызывала смех, он отрывал взгляд от текста и победно смотрел в мою сторону на другой конец длинного стола, а его округлые щечки сияли. Незадолго до этого, в начале семестра, он, к моему удивлению, как-то пригласил меня прогуляться после занятий. Я боготворил своих преподавателей-профессоров, поэтому его внимание заставило меня, второкурсника-невежду, возомнить о себе Бог знает что еще до беседы. Он сказал, что в моих эссе чувствуется критический склад ума, а если я проучусь еще, скажем, лет десять, то из меня, возможно, получится неплохой критик. Ничего себе, десять лет! Значит, мне будет тридцать, когда я наконец стану критиком! Я мрачно кивнул, приняв это к сведению, втайне понадеявшись, что как драматург смогу состояться через год, максимум два, но уж, конечно, не через девять, как это выходило. Уолтер отослал меня к Кеннету Роу, который вел семинар по драматургии и разрешил мне посещать свои занятия. Роу вскоре стал для меня суровым судьей и наперсником. Помимо дружеского расположения, которое много значило в моей ситуации, особую роль в моем развитии сыграл его интерес к динамике построения пьесы, что обычно не входило в программу университетского курса. Его профессионализм и поддержка значили очень много, а когда он

стал консультантом театральной гильдии и рецензировал новые пьесы, профессиональное признание придало вес его мастерству.

Это был тот самый Эрих Уолтер, который провел меня в свой кабинет в новом административном мини-небоскребе, чтобы помочь со статьей, когда я в начале пятидесятых годов приехал от «Холидея». Он стал деканом, был одет в хорошо сшитый костюм со спокойного цвета галстуком, который уже не торчал сбоку из-под воротничка рубашки, а послушно лежал где положено, обзавелся парой секретарш около кабинета, но все так же пришепетывал, имел те же розовые щечки и внимательно слушал собеседника, готовый к восторгам. Он сказал, что надеется, я затрону в своей статье вопрос о маккартизме, параноидальный дух которого отравлял отношения на факультете и к тому же, если учесть жесткий отбор выпускников на выпускных экзаменах корпорациями, сеял в молодых душах покорность и беспринципность. Главным для студентов, с его точки зрения, стало соответствовать корпоративной Америке, а не заниматься профессиональным совершенствованием, чтобы отличить правду от лжи. «Они теперь специалисты, как делать карьеру, какой там идеализм, в душе ничего нет, только бы ухватить кусочек послаще», да и какой смысл рассуждать о несовершенстве мира, о том, как его исправить, если это не интересует и не может заинтересовать тех, кто берет тебя на работу. Это был тот самый Уолтер, который послал меня к профессору, отвечавшему за ориентацию умов на факультете, и тот в полной наивности, без всяких задних мыслей, сообщил, что заставляет студентов докладывать о радикальных профессорах, одновременно требуя, чтобы те доносили на студентов, позволяющих себе вольные мысли. Тень безликого стукача не подчинила себе в пятидесятые годы всю университетскую жизнь полностью, однако декан был всерьез обеспокоен будущим.

Получив в 1936 году Хопвудовскую премию, вдохнувшую в меня новые силы, я мысленно противопоставил себя когорте драматургов, царивших на Бродвее, — в первую очередь Клиффорду Одетсу, Максвеллу Андерсону, С. Н. Берману, Сидни Ховарду, Сидни Кингсли, Филипу Барри, а также дюжине других, чьи имена растаяли в дымке сезонов. Но мне казалось, что никто из них, за исключением Клиффорда Одетса и в какой-то мере Андерсона, который, на мой взгляд, пытался преодолеть обветшалый бродвейский натурализм, не работали в моем ключе. В пьесах Андерсона, однако, была некая искусственная вычурность, и они вскоре перестали меня удовлетворять.

Что касается Юджина О’Нила, его пьесы, обильно сдобренные

сленгом двадцатых, с их бесконечными повторами, над которыми я засыпал, и оттенком нарочито привнесенного величия казались в середине тридцатых годов безнадежно устаревшими. Каждая эпоха судит писателя по своим законам, и мне О'Нил представлялся певцом мистического богатства высшего общества, этаким типичным представителем театральной гильдии и эскапистской «культуры». Должно было пройти немало времени, прежде чем я открыл в нем нечто совершенно противоположное, поняв, что его неприятие действительности было непреклоннее и абсолютнее, чем у Одетса, который в те времена казался единственным истинным носителем революционных идей и света. Это было связано с глубокой преданностью Одетса идеям социализма и его идеализацией Советов, что было очень модно на Западе, а также с поэзией надежды и отчаяния, пронизывающей его пьесы. В тот момент, когда началось стремительное восхождение Одетса, О'Нил замолчал на десять лет, что на первый взгляд подтверждало: на смену закоснелому индивидуализму и похоронной тоске по личному спасению, которыми отличались сильно попахивающие алкоголем двадцатые, пришел эмоциональный товарищеский призыв Одетса, направленный против невыносимой действительности. Как нередко случается, мы оценивали писателя по его общественной позиции, забывая о том, что, собственно, им было создано, и попадали в ловушку противопоставления художественных достоинств произведения их критическому заряду.

Только в конце сороковых, совсем в другую эпоху, я понял, что ошибался. Несмотря на то что премьера пьесы О'Нила «Продавец льда грядет», состоявшаяся в 1956 году, в один сезон со «Всеми моими сыновьями», была крайне неудачной, он потряс меня глубиной своего неприятия буржуазной действительности, несопоставимого с настроениями Одетса. Если разобраться, то персонажи пьес Одетса не вписывались в существующую систему, поскольку были чужды ей, тогда как герои О'Нила не вписывались в нее, испытывая необоримую потребность освободиться, отринув откровенное самодовольство самой системы с благочестивыми притязаниями на духовность, когда на деле она порождала пустых, незрячих людей, сраженных неизбывным отчаянием. Если мерилом радикализма были не столько клишированные журналистские ярлыки типа «католический», «еврейский», «трагический» или «классовое сознание», сколько само их содержание, то из всех писателей наиболее последовательным противником капитализма был именно О'Нил. Одетс лишь подновил его, привнеся некоторую дозу социализма. О'Нил же не видел в этом учении никаких

перспектив и в отличие от Одетса не принадлежал, по крайней мере в юности, ни к каким политическим движениям. О'Нил писал о рабочих, проститутках, других социально отверженных, даже о неграх, существующих среди белых, но он не был марксистом, и поэтому его пьесы никогда не рассматривались как критика капитализма, хотя были таковыми по сути.

Одетс в те времена тоже был не совсем тем, за кого пытался себя выдавать. Размахивая красным флагом, он еще какое-то время получал удовольствие от того, что стал широко известен как «буревестник рабочего класса», однако это была лишь поза, необходимая для обретения заветной точки опоры, которую, как впоследствии оказалось, он так и не нашел. Будучи американским романтиком настолько, насколько и пролетарским лидером, он в наибольшей степени оставался бродвейским парнем. Его можно упрекнуть в непоследовательности, но именно здесь он был энергичен, несмотря на страдания, которые это ему доставляло. Однажды его ближайший друг, режиссер Гарольд Клерман, процитировал в разговоре свое собственное высказывание: «Голливуд для Одетса — грехопадение» — и рассмеялся этой мысли. «Что тут смешного? Оно так и есть», — отреагировал Одетс, как человек, который сбросил с себя бремя моральных обязательств.

Его также легко упрекнуть в том, что он растратил себя на сценарии, которые в основном оказались не реализованы. Но какому театру он должен был хранить верность? Коммерческий театр Бродвея не ценит тех, кто предан ему: в последние годы жизни Одетс был осмеян и выброшен за борт так же, как Уильямс и О'Нил. Мне тоже пришлось пережить, хотя и менее болезненно, это горькое чувство. Я никогда особенно не доверял иллюзии успеха — ибо был воспитан так, что несостоятельность брака между коммерцией и искусством меня не удивляла. Жизнь американских драматургов до жути однообразна — признание сменяется забвением, и этого нельзя избежать, если ты позволяешь себе рисковать, а не повторяться.

В середине тридцатых годов за пьесой Клермана «В ожидании левых», которую он сам окрестил «плакатной», последовала «Проснись и пой!» Одетса. Они положили начало новому явлению: театру, бросавшему системе вызов слева. На сцену неожиданно ворвался поэт, который начал кричать, вопить, браниться в лицо добропорядочной публике, как это случается на улицах Манхэттена. Впервые на сцене Америки язык драматурга звучал ярко и оригинально, и это в условиях всеобщего засилья аполитичного, лишенного поэзии театра, где успех выпадал на долю таких однодневок, как «Обед в восемь вечера», «Дверь на

сцену», «Детский час», «Окаменелый лес» и «Филадельфийская история». Пьеса «Наш городок» была тоньше других, но по языку, на фоне произведений Одетса, выглядела еще весьма робкой попыткой. Одетс казался неограненным алмазом, при том что он постоянно был раздираем моральными и социальными противоречиями, в которых так и не смог разобраться до конца жизни. Его призванием в мире поп-культуры, требующей постоянного, легкого развлечения, было искусство, а не реальная или мнимая радикальность. Далекий от политики Ф. Скотт Фицджеральд столкнулся с той же проблемой, которую Одетс воплотил в образе Джо Бонапарта из «Золотого мальчика», взяв, по словам Клермана, в качестве прообраза самого себя, человека, раздираемого противоречием между приверженностью быстротечной и сомнительной бродвейско-голливудской славе и игрой на скрипке, выражавшей жизнь души.

Вернувшись на каникулы в Нью-Йорк, я был потрясен великолепием постановок «Групп-театр». Моему неукротимому стремлению идеализировать все, что бросало вызов системе, включая условность бродвейского театра, импонировала яркая зрелищность этих спектаклей с декорациями и освещением в исполнении Бориса Аронсона и Мордекая Горелика и той особой атмосферой, которая окутывала актеров, казавшихся одновременно земными и нереальными. Я до сих пор помню прекрасные сцены в исполнении Лютера и Стеллы Адлер (детей Джейкоба, которого любил мой отец), Эдди Казана, Бобби Льюса, Сэнфорда Мейснера и других. Каждого помню, где и как он стоял на сцене пятьдесят лет назад, и в этом не столько заслуга памяти, сколько дань таланту актеров, их умению завораживать зрителя, воистину жить на сцене. Когда я их вспоминаю, время останавливается, кажется, у них на сцене никогда не было ни одного незначительного жеста. Из всего, что я видел, это можно сравнить только с «Юноной и Павлином» с Сарой Олгуд и Барри Фитцджеральдом в постановке «Эбби-театр», перед игрой которых душа смирялась, как перед непреложной истиной. Многое я помню в цвете — Горелик и Аронсон, как художники, использовали цвет прихотливо, в согласии с субъективным восприятием, а не адекватно реальности. Позже я узнал, что «Групп-театр» разъедали вражда, себялюбие, непомерные амбиции, у актеров бывали нервные срывы. Но с галерки, куда билет стоил пять центов, он казался волшебной реальностью, где царило высшее единение целей и художественных средств, как это порою бывает. Не впервые искусство оказалось выше актера.

Никто из нас, молодых драматургов, не видел страстного неприятия действительности в пьесах Лилиан Хеллман. Она

вскрывала несостоятельность духовных притязаний средней буржуазии, та, однако, хотя и выглядела под ее пером убого, но казалась несокрушимой. Я удивился, когда узнал, что Хеллман принадлежит к левым. От театра протеста, который в то время был дерзок и впечатляющ, ее отличала изысканность диалогов, нарочитость повествования, повторяемость сюжетов — все это, как нам казалось, делало ее на Бродвее своей в доску. Мы были слишком молоды и беспечны, чтобы толком во всем разобраться. Нам не хотелось постепенного прозрения, нас обуревал очистительный огонь праведного гнева. К тому же Голливуд был символом разложения, а она слишком преуспевала там, чтобы мы связывали с ней какие-то надежды. С другой стороны, это говорило о том, что как бунтовщики мы отказывались идеализировать преуспевающих людей, ибо подлинный просветитель, на наш взгляд, вряд ли бы стал тратить время на Сэма Голдвина и других торгашей.

В тридцатые годы я был еще настолько девственно наивен, что, получив после окончания колледжа в 1939 году работу с оплатой двадцать три доллара в неделю в Федеральном бюро по театрам — организации, как выяснилось, дышавшей на ладан, — не раздумывая отказался от двухсот пятидесяти долларов в неделю, предложенных полковником Джоем, представителем «XX век Фокс», который пригласил меня вместе с десятками других молодых драматургов для работы на киностудии. Злые языки поговаривали, что тех, кто согласился, отправили в Голливуд в фургонах для скота. Правда, в честь отъезда части из них, в основном представителей левого крыла, был устроен прием. Некоторые из приглашенных уже печатались на литературной страничке в «Нью мэссиз», двое писали, на мой взгляд, неплохие пьесы, хотя их еще не ставили. Я поинтересовался, почему они решили оставить театр, и услышал: «Разве ты не знаешь, сколько народу смотрит кино? Мы хотим общаться с массами». Да, но каким образом? Было известно, под каким давлением цензуры находится производство фильмов. Но мой собеседник, по-видимому, не замечал противоречия между своими общественными устремлениями и тягой к Голливуду, поэтому я уточнил: «Скажи, а как бы ты рассуждал, если бы „XX век Фокс“ платил тебе тридцать пять долларов в неделю?» Мне все еще было непонято, почему люди так легко соглашаются потерять свою независимость. От одной мысли, что, редактируя мою пьесу, кто-то изменит в ней хоть слово, по коже ползли мурашки. Я не мог представить себе, что продюсер будет иметь право на мой текст еще до того, как я его напишу. Мне претила мысль о возможности зарабатывать на искусстве. Где-то до конца

сороковых меня шокировало желание некоторых актеров иметь своего маклера. Надо же, чтобы у художника был свой маклер! И еще какой-нибудь финансист!

Конечно, я не отбрасывал полностью мысль о признании и власти, которая этому сопутствует, о власти, приносящей благосостояние и славу. Но успех имел смысл только в том случае, если ради него не надо было жертвовать независимостью, понятием, которое имело на театре особый смысл.

Ходили слухи, что Одетс переехал в дом номер один по Пятой авеню, одно из самых роскошных зданий, и у него сотни граммофонных пластинок. Я не мог пройти по улицам Уиллиджа, чтобы не взглянуть на этот прекрасный дом с окнами на площадь Вашингтона и не представить себе на мгновение квартиру Одетса, заставленную полками с пластинками с классической музыкой, где на кушетках непременно возлежат красивые актрисы, а он с копною вьющихся волос меланхолично взирает с верхнего этажа на распростершийся внизу город, который, прислушиваясь к треску его пишущей машинки, замер в ожидании завораживающих и спасительных пьес. Каждое произведение Одетса воспринималось как сенсация, будто он открывал нам самих себя и говорил, что ***о*** делать дальше. Тогда, на подъеме тридцатых, авторитет коммунистов был столь высок, что, по слухам, аналитики с Уолл-стрит советовались с интеллектуалами от коммунистической партии, как преодолеть очередной кризис. Марксизм наделялся некой магической силой. Одетс, казалось, держал в руках волшебную палочку — это был немыслимый трюк левитации, который, конечно, не мог продолжаться долго.

В течение четырех-пяти лет не было другого писателя, кто бы так отчетливо воплотил неповторимое своеобразие этого времени. О'Нил вышел из Иеремии, Одетс — из Исайи: будучи пророками, оба имели политические привязанности, а не просто писали для театра.

Конечно, мои впечатления во многом зависели от того, что до последнего этажа дома номер один по Пятой авеню было высоко, а от Нью-Йорка до Энн-Арбора, где я весь семестр, помимо учебы и работы, трудился над многоактной пьесой, было далеко. Столкнувшись с трудностями, я по-иному начал читать европейскую драму, воображая, будто пьесы Чехова, Еврипида или Эрнста Толлера только что написаны, а то и вообще не завершены, а потому их можно переделывать и улучшать — при этом я искал решения, которые бы не совпадали с авторскими. Отказавшись принимать их за мраморные изваяния, я относился к классике как к незавершенным и заброшенным произведениям. Считая их заготовками, я не находил в древнегреческих пьесах того единства, о котором писал Аристотель: «Аякс», к примеру, по своей природе значительно отличался от «Эдипа в Колоне»; общим было лишь то, о чем я и так уже знал, — основой пьесы было повествование, а напряжение поддерживалось за счет разработки внутренней темы или парадокса. Меня увлекала фундаментальность древнегреческой концепции прошлого, восходящей к мифу, когда оно, повергая героев на сцене в изумление или преисполняя их благоговением, вдруг всплывало в настоящем и только неожиданная последовательность случайных совпадений слегка приоткрывала эту связь. Что такое обладание прошлым, как не обретение смысла в настоящем! От выявления этой закономерности зависела неповторимость каждого из персонажей: самобытность личности парадоксально скрывала связь одного с судьбою всех.

Задача в целом заключалась в том, чтобы доказать неотвратимость возмездия невидимых сил, неизменно настигавших тех, кто нарушал нравственный закон. А чем он был, как не священной обязанностью человека на пути общественного выживания? Акт кары был прекрасен, ибо доказывал, что кто-то вне нас печется об этом. Злые воющие Эринии — полиция богов — были пущены в мир, чтобы поддерживать гармонию бесконечного процесса самосовершенствования природы, чуждой разрушающей человека бесплодности.

Ничего подобного не было в произведениях Одетса, где отдельные сильные сцены не оказывали серьезного влияния на целое, за исключением его единственного шедевра — «Ракеты на Луну», — где центральный образ-символ обладал отнюдь не

риторической, а весьма органической цельностью. Интересно, что, будучи ортодоксом, Одетс, подобно О'Нилу, выступал против ортодоксии, но, в то время как О'Нил уже освободился от католицизма, идеи марксизма в тридцатые годы еще вынуждали Одетса совершать опрометчивые поступки.

Мое знакомство с Одетсом в 1940 году состоялось в букинистической лавке у Добера и Пайна на углу Пятой авеню и 12-й улицы. Я увидел его, случайно оторвав взгляд от книги, которую в тот момент листал. Одетс выглядел более хрупким, чем я ожидал или нежели это можно было представить по фотографиям. Собираясь уходить, он прижимал к груди два толстенных фолианта. Поскольку мои радиопьесы не приносили денег, я заглянул сюда просто так и поэтому без сожаления вышел за ним, совершив поступок, на который никогда бы раньше не отважился. У него были редкие, мягкие волосы, на удлиненном лице застыло удивленное выражение. Я был настолько неопытен, что представился драматургом, и это раз и навсегда перечеркнуло всякую возможность сближения между нами. Мне было невдомек, как до оскомины часто ему приходилось выслушивать подобные фразы: я по наивности поинтересовался, над чем он сейчас работает. Взвешивая на руке только что купленные книги, Одетс ответил: «Пишу пьесу о Вудро Вильсоне».

Через восемнадцать лет, встретив нас в Голливуде с Мэрилин Монро, он пригласил нас на обед, но до этого наши дороги еще раз пересеклись — в гостинице «Уолдорф-Астория» на конференции, посвященной борьбе деятелей культуры и науки за мир. На крутом повороте истории мы оба оказались в одной комиссии по искусству.

Каждый, кто решил принять участие в конференции, с тем чтобы отстоять перед лицом нараставшей угрозы «холодной войны» сложившийся в военное время альянс с Советским Союзом, знал, что это небезопасно. Для меня это выглядело попыткой поддержать добрую традицию, которая в настоящее время была на грани срыва. Четыре года военного содружества наших стран в борьбе против держав оси Берлин — Рим были временной передышкой в давней вражде, начавшейся с революции 1917 года и возобновившейся после разгрома гитлеровской армии. Не вызывало сомнения, что без оказанного Советами сопротивления нацизм завоевал бы Европу и Англию, а Соединенные Штаты в лучшем случае заняли бы позицию нейтралитета, в худшем — согласились бы на опасное, однако в конечном счете весьма удобное пособничество фашизму. Так по

крайней мере я это себе представлял. Резкий послевоенный поворот в сторону конфронтации с Советами и поддержки Германии, до конца не освободившейся от нацизма, казался не просто предательством, но был чреват новой войной, которая могла погубить и Россию, и нашу демократию. Воздух накалялся от воинственности. Я понимал, что надо либо выступить против, либо поступиться честью и правом жаловаться на что-либо в будущем.

Как ни парадоксально, но, если бы не повсеместный успех «Смерти коммивояжера», я не рискнул бы возглавить работу одной из комиссий конференции. Мне придавало уверенности то, что я не принадлежу исключительно к шоу-бизнесу, и, получив приглашение, я его принял.

По мере приближения конференции становилось ясно, что ее участникам грозят неприятности. Помимо явных либералов — гарвардского астронома Харлоу Шейпли, композитора Арона Копленда, художника Филипа Эвергуда — в ней должны были принять участие известнейшие писатели — Лилиан Хеллман, Норман Мейлер, Марк ван Дорен, Луис Унтермейер, Норман Казинс — и еще около двух десятков других. С речью собирался выступить радикально настроенный Одетс, ожидался приезд советской делегации в составе композитора Дмитрия Шостаковича и писателя Александра Фадеева.

К тому времени Комиссия палаты представителей по контролю за антиамериканской деятельностью открыла в Голливуде свое отделение по надзору за инакомыслящими. Пару раз ее члены вылетали в Нью-Йорк, чтобы обрушить свой гнев на нескольких известных театральных актеров. Приезд стольких знаменитостей, без сомнения, должен был их заинтересовать. К тому же накануне открытия журнал «Лайф» опубликовал на развороте несколько десятков фотографий тех, кто сочувствовал встрече и поддерживал ее. Публикация напоминала галерею портретов преступников из полицейского досье. Через несколько месяцев слова «сторонник» или «участник Уолдорфской конференции» стали синонимом нелояльности. А пока в прессе с большой помпой сообщалось, что все подходы к «Уолдорф-Астории» блокируются рядами монашенок, которые будут молиться за души поддавшихся сатанинскому искушению участников конференции. В день открытия я действительно вынужден был пройти между парой кротких сестер, молящихся на коленях перед гостиницей. Было неловко смотреть на этот спектакль условных жестов и заклинаний.

Благодаря витавшим в воздухе угрозам аудитория той секции, где я председательствовал, была крайне малочисленной.

В мои обязанности входило объявлять имена выступавших и давать желающим возможность высказаться. В зале присутствовало не более двадцати — тридцати человек, восемь или десять из которых были откровенно враждебно настроены к происходящему. Я заметил Мэри Маккарти и композитора Николая Набокова, с которым позже мы стали друзьями, нескольких интеллектуалов, принадлежащих к антикоммунистическому и троцкистскому блокам. Я никогда не участвовал в подобных мероприятиях и не знал, чего ожидать. Двое выступавших сделали заявление, призывавшее мир не допустить разрыва советско-американского альянса военного времени. Невысокий, хрупкий, близорукий Дмитрий Шостакович, напряженно, как кукла, застывший на трибуне, ни разу не оторвал глаз от формально написанного заявления, подтверждавшего миролюбивую позицию Советов. Окончив, он сел на место и устремил взгляд поверх голов — робот, к которому нельзя подойти. Сопровождавший его человек даже не сделал попытки представить Шостаковича аудитории. Я не помню, что говорили антисоветски настроенные участники, за исключением того, что трое или четверо из них, адресовав свои выступления Шостаковичу, подняли вопрос о преследовании в СССР деятелей культуры и о русской оккупации Восточной Европы. В ответ великий композитор, в тот момент находившийся в смертельном противостоянии со Сталиным, о чем я тогда не подозревал, промолчал. Дискуссии не получилось, и конференция не имела успеха, если не считать того, что она усилила антагонизм двух лагерей в начавшейся «холодной войне». Никто не ожидал, что встреча писателей и художников может вызвать подобную поляризацию мнений, — это было совершенно неожиданным и новым в послевоенной жизни.

Даже сейчас, сорок лет спустя, что-то мрачное и темное встает в памяти при воспоминании об этом событии. Те, кто сидел в зале, напоминали персонажей с рисунка Сола Стенберга, где у каждого над головой — пузырь с не поддающимися расшифровке каракулями. И мы, собравшиеся на конференции талантливые люди, среди которых были гении, действительно напоминали их. Если оглянуться назад, станет видно, что ни одна из сторон не была права — ни апологеты Советов, ни их рьяные противники. Проще говоря, политика — это выбор, но нередко выбирать не из чего: на шахматной доске патовая ситуация.

Наступила очередь Одетса. Он уже около десяти лет жил в Голливуде, продолжая, однако, утверждать, что будет писать пьесы, и через несколько лет действительно написал последнюю — «Цветущий персик». Утром вместо приветствия я получил от

него холодный кивок и решил, что он не признает меня из чувства соперничества. Бродвей единственный раз выразил протест против антикоммунистической истерии, поставив моих «Салемских ведьм», но до этого было еще четыре года. Одетс в разговоре с Казаном обругал пьесу, назвав ее «историей о неудавшемся браке». Немного теплее отозвалась Лилиан Хеллман. После прогона в Уилмингтоне, штат Делавэр, — за неделю до премьеры на Бродвее — мы минут двадцать молча прогуливались с ней, пока она не обронила: «Хорошая пьеса». Если мы, левые, были в сговоре, как об этом почти ежедневно кричала пресса, то это не гарантировало взаимного снисхождения и поддержки. В том, что я не испытывал к кому-либо враждебных чувств, не было особой заслуги — возможно, я интуитивно чувствовал себя победителем в нашем споре. Однако неприятие левых задевало сильнее, чем вражда со стороны коллег-писателей: несомненно, и я и они были слишком тщеславны.

Зал затих. Я не знал, о чем собирался говорить Одетс и каково в настоящее время его отношение к Советскому Союзу, как, впрочем, до конца не осознавал и свое, за исключением твердой убежденности в необходимости воспрепятствовать новому крестовому походу против Советов.

Он казался растерянным, встав с места в рубашке с расстегнутым воротом, без галстука, в спортивной куртке нараспашку. Я вспомнил, как когда-то представлял его себе непримиримым борцом, — сегодня он выглядел беззащитным и по-детски ранимым. Какие только роли не играем мы! Стараясь придать своему выступлению значительность, Одетс произнес на удивление высокопарную речь, которую невозможно забыть, так же как возникшее чувство отчаяния, что история всего лишь досужий плод случайных усилий.

Шел 1949 год, прошло более пятнадцати лет после бурного восстания Одетса на театре против погрязшей в Депрессии Америки. Но он все еще продолжал оставаться символом тех лет, несмотря на десятилетие роскошной голливудской жизни, и, по-видимому, полагал, что в «Уолдорф-Астории» должен говорить так же, как в 1935 году. Беспомощный перед лицом собственного прошлого, он сам себе хотел доказать, что он тот самый *Одетс*.

А я? Если не уверен в прочности своих позиций, зачем согласился председательствовать на заседании, понимая, что рискую свободой как никогда?

Пару лет до этого я предпринял попытку философски определить свое отношение к марксизму. «Все мои сыновья» завоевали признание, но наряду с этим был высказан ряд критических замечаний, что могло отрицательно сказаться на

дальнейшей судьбе пьесы. В «Дейли уоркер» появились хвалебные статьи, в которых, однако, подчеркивалось, что реалистичность драмы обрекает ее на коммерческий провал. Стоило Бруксу Аткинсону парой статей в «Таймс» придать пьесе широкую известность, как «Дейли уоркер» пересмотрела свою точку зрения и нашла, что она является весьма благовидной апологией капитализма — в конце концов, вместо того чтобы стать революционером, Крис Келлер, сын босса, поставлявшего в армию бракованные детали для истребителей, решил унаследовать отцовское дело. Это навело меня на мысль, что для левых лучшим доказательством художественных достоинств произведения является его провал.

Для того чтобы прояснить свою позицию в этом вопросе, я написал статью, в которой доказывал, что если марксизм действительно является наукой об обществе, то писатель-марксист не имеет права не замечать многогранности социальной жизни и отказываться от своих наблюдений ради доказательства заданного пропагандистского тезиса. Иными словами, Крис Келлер не мог стать в жизни революционером, да и пьеса была не о том. Предвзятое мнение несовместимо с наукой. Я прочитал свою статью на расширенном собрании писателей в одном из театров в центре города, где она вызвала всеобщее замешательство, ибо то, о чем я говорил, означало, что искусство — по крайней мере хорошее искусство — не зависит от идеологии и пропаганды: писатель не может выдумывать правду, он должен искать ее. Поэтому в первую очередь обязан считаться с тем, что есть, или отказаться от попытки обнажить скрытые закономерности, согласно которым живет его эпоха. Марксизм не лучше и не хуже католицизма, буддизма или любой другой религии, которая может содействовать художественному открытию правды. Философия только в том случае помогает художнику, если, оберегая от тривиальности, возвышает его талант.

Выступая перед писательской аудиторией, которая в своем большинстве была левой ориентации и восторженно приняла «Всех моих сыновей», я подчеркнул, что не написал бы пьесы, если бы догматически придерживался линии партии, ибо во время войны коммунисты критиковали все, что не способствовало единству нации, о забастовках нельзя было и заикнуться — социальная борьба на военный период была прекращена. Как и все, я знал, что это глупо: военные прибыли угрожающе росли и высокие нравственные цели антифашистского альянса, если их признавать, надо было противопоставить тому, что происходило в обществе. Несмотря на то что работа над «Всеми моими

сыновьями» продолжалась более двух лет, я надеялся, что пьеса будет поставлена до того, как окончится война. Она должна была взорвать спокойствие деловых людей с их широко афишируемым и прибыльным патриотизмом, а также спокойствие коммунистов.

Через несколько недель после премьеры в «Таймс» пришло письмо от какого-то инженера, который категорично утверждал, что с технической точки зрения сюжет не выдерживает никакой критики, ибо части для двигателей самолетов проходят проверку рентгеном на выявление скрытых дефектов, которые Джо Келлеру якобы удается утаить от армейской службы контроля. Автор письма демагогически обвинял меня в коммунистической пропаганде. Через семь месяцев после премьеры, в августе 1947-го, по настоятельному протесту группы «Солдаты-католики, ветераны войны» пьеса была запрещена к показу перед американскими войсками в Германии. Руководитель, некто Макс Соренсен, признался, что пьесы не видел, ибо «слишком занят, чтобы ходить в театр», но предал «Всех моих сыновей» анафеме за «пропаганду линии коммунистической партии» и потребовал установить, «кто из военного ведомства в ответе за это возмутительное мероприятие». (До прихода Джо Маккарти еще было пять лет, но первые бравурные аккорды уже звучали в воздухе.) К Соренсену вскоре присоединилась социалистическая «Нью лидер» — жесткая антисталинская позиция не позволяла ей признавать в американской реальности того, о чем повествовала пьеса.

По счастливой случайности мне не пришлось отвечать на обвинения — сенатская комиссия предала гласности дело Корпорации аэронавтики братьев Райт из штата Огайо, которая попросту меняла на неисправных двигателях штамп «забраковано» на «разрешено к отправке» и, в сговоре с подкупленными армейскими инспекторами, поставила Вооруженным Силам сотни неисправных машин. Как подчеркнул Брукс Аткинсон в одной из статей в защиту пьесы, Корпорация «преуспела в том, что путем фальсификации данных о проверке, подделки счетов и использования дефектных заготовок вынудила правительство принимать бракованные моторы». Аткинсон как в воду глядел: те, кто нападал на меня, писал он, «работают на введение цензуры, понимая, что их жизнь будет спокойнее, если искусство станет беззубым и не будет касаться реальных проблем». По делу о Корпорации несколько официальных лиц попали в тюрьму, тогда как мой бедный, загнанный сознанием собственной вины герой Джо Келлер пустил себе пулю в лоб. Больше того, братья Райт вряд ли обанкротились, если бы отказались от использования неисправных двигателей, тогда как

небольшая фирма Джо Келлера разорилась бы уже от одного ремонта дефектных изделий, не говоря о затратах на их транспортировку.

Своей статьей я попал в болевую точку, но она не вызвала дискуссий в левом крыле, лишь кое-что прояснив в моих представлениях о жизни.

На «просоветской» Уолдорфской конференции, где мне довелось быть председателем секции искусства, антикоммунистически настроенная фракция левых тут же заклеймила меня как убежденного сталиниста. И все-таки самым ярким воспоминанием дня остался Шостакович — какой это был маскарад! Будучи одной из главных мишеней сталинской кампании по борьбе с «формализмом», «космополитизмом» и прочими «измами», якобы извращавшими официальную линию, он вынужден был на родине униженно обещать исправиться. Не было ли его формальное заявление и молчание на конференции дополнительной платой за то, чтобы избежать худшего наказания? Картина физических мук и душевных терзаний, выпавших на его долю при сталинском режиме, который он представлял в Уолдорфе, стала известна лишь тридцать лет спустя. Бог знает, о чем думал, сидя в зале, этот человек, в какие бездны низвергался его дух, какой крик рвался наружу и какое самообладание подавляло его, с тем чтобы не дать пищу зарождавшимся в Америке враждебным настроениям к его стране — стране, сделавшей его жизнь адом!

Несмотря на то что ортодоксальный марксизм вызывал у меня опасения, я был далек от того, чтобы присоединиться к антисоветскому крестовому походу, особенно когда это влекло за собой развенчание и фальсификацию прогрессивного прошлого Америки — по крайней мере того, которое я знал и сам пережил. Не имея под рукой готового ответа, я интуитивно все упорнее сопротивлялся подувшим ветрам. Пребывая в сомнениях, я ожидал выступления Одетса, понимая, что от удара все равно не уйти и надо выстоять.

Тишина, наступившая в зале, заставила умолкнуть даже антикоммунистов, сидевших в сторонке отдельной группкой, отгороженной пустыми стульями. Тихо, так что его слова едва можно было разобрать, Одетс начал:

— Откуда могла возникнуть угроза новой войны?

Тишина стала еще напряженнее, он выдержал паузу. У меня промелькнула мысль, что он может перегнуть палку, впав в излишнюю мелодраматичность. Но он захватил аудиторию.

— Почему, — продолжал он почти шепотом, — мы, художники, философы, понимаем друг друга, а политики не

могут договориться, чтобы наши страны не воевали? В чем дело? Откуда могла возникнуть угроза новой войны?

Вопрос повис в воздухе, и люди напряженно застыли, ожидая, что он им скажет. Медленно подняв руку, он сжал ее над головой в кулак и высоким, срывающимся от гнева фальцетом выкрикнул:

— Деньги!

Зал замер от удивления. На лицах появились усмешки, но в целом его внутренняя страстность возымела свое действие.

И снова пауза, затем опять вопросы и еще раз крик:

— Деньги!

На четвертый или пятый раз в зале захихикали. Хуже всего было то, что Одетс, переступив грань дозволенного, не понимал, что стал смешон. Я слушал и про себя возражал ему: зачем он разменял свой талант на деньги? Был ли этот cri de coeur[13] воплем преданного театру человека или жестом отчаяния художника, которого обманул Голливуд, так и не позволив сказать правдивого слова? Почему в Америке так мало уважаемых людей, чья репутация неподкупна? Этот вопрос был, конечно, выше его понимания. Но не от нашего ли потребительского отношения зависит то, что эти люди, глашатаи правды, так и не могут встать на ноги? Странный, неуместный поступок Одетса все же вызывал уважение, так как требовал мужества, особенно когда могущественная голливудская пресса жаждала крови левых.

В 1958 году, готовясь к съемкам фильма «Некоторые любят погорячее», Мэрилин, встретив Одетса, отдала ему мой сценарий «Неприкаянных». Он пригласил ее поужинать, чтобы все обсудить и, что важнее, поговорить о своем сценарии, где ей была отведена заглавная роль. Я работал над пьесой и старался по возможности помогать Мэрилин, разрываясь между Коннектикутом и Калифорнией. В назначенный час Одетс подъехал к нашему коттеджу в гостинице «Беверли-Хиллз», чтобы окончательно договориться о месте и времени, однако я вынужден был извиниться, сказав, что Мэрилин не сможет сегодня поехать ужинать — у нее выходной и она решила выспаться, поскольку плохо спала накануне. В течение пяти лет нашей совместной жизни я наблюдал мучения, которыми сопровождались для нее съемки фильма. К тому моменту они достигли апогея. Но она с симпатией относилась к Одетсу и решила сгладить неловкость, попросив меня поехать вместо нее. Он отнесся к этому без энтузиазма, я же предвкушал спокойную беседу с человеком, который был для меня воплощением противоречий театра своего времени.

Выйдя из гостиницы, я уселся в его старый пропыленный

«линкольн». Казалось, Одетс несколько постарел за десять лет, которые мы не виделись после Уолдорфской конференции, но в его облике было что-то трогательно-наивное, несмотря на нескрываемое разочарование от перспективы провести вечер в моем обществе. Я был на девять лет моложе его, но сейчас чувствовал себя старше и увереннее, что неожиданно подтвердилось, когда он задал в машине вопрос: «Где вы хотите поужинать?»

Поскольку он жил здесь уже двадцать лет, я предоставил это на его усмотрение, но он настаивал: «Я не настолько хорошо знаю город». Нарочитое недружелюбие, высказанное столь по-детски открыто и неумело, делало его каким-то беззащитным. У меня промелькнула мысль, уж не хочет ли он показать, что сохранил себя посреди этой киношной индустрии, которую, по его словам, презирал. Когда я поджидал его в гостинице, то решил ему рассказать, какое значение для меня, студента, имели в тридцатые годы его пьесы. Но сейчас он был настолько болезненно агрессивен, что язык не поворачивался хвалить его прошлое.

Поразмыслив, он наконец выбрал какой-то ресторан, но долго плутал по улицам, вглядываясь в вывески с названиями, как будто был здесь впервые. Идея ужина умерла до того, как он состоялся, ибо мой сценарий, как я и предполагал, не интересовал его. Природная теплота проступила в нем, только когда разговор зашел о Мэрилин, и он, забыв о своей агрессивности, с восторженно горящими глазами начал жадно задавать вопросы. «Она что-нибудь читает?» — спросил он, как будто Мэрилин была получившая приз газель или ученая обезьяна. Я сказал, что читает, если ему так хочется. Хотя за все время нашего общения видел у нее в руках только «Шери» Колетт и еще какие-то рассказы. Да и зачем ей было читать, когда она не без основания полагала, что может схватить идею, пролистав всего несколько страниц. При этом большинство книг в сопоставлении с ее собственным опытом казались ей ненужными или лживыми. Не претендуя на образованность, она не испытывала потребности отвлекаться на то, что не интересовало ее, и не могла преодолеть своего недоверия к художественной прозе, требуя от литературы правды, которой обладает документ. Так, рассказ Бернарда Маламуда не понравился ей, поскольку автор не воспринимал совращение как нечто трагическое и унизительное. «Если не знает, что это такое, лучше бы не писал!» Я возразил, что это, возможно, сделано специально, чтобы заставить читателя глубже пережить драму. Но ее оскорбленное чувство не допускало литературной иронии по отношению к

унижению, которое она сама пережила. Как только дело доходило до исполненных драматизма образов, чувство юмора покидало ее. Несмотря на внешнюю беспечность и остроумие, за Мэрилин по пятам следовала смерть, и, возможно, ее неосознанное присутствие придавало этой женщине особую прелесть, вынуждая балансировать на грани небытия.

В этом она была прирожденная фрейдистка: в ее речи не было случайностей или оговорок, каждое слово или движение свидетельствовало об осознанном или бессознательном внутреннем побуждении, и сделанное ею на первый взгляд невинное замечание могло нести в себе мрачную угрозу. Я, напротив, стремился не обращать внимания на враждебность, чтобы как-то справиться с жизнью. Уже тогда это приводило к серьезным недоразумениям в наших отношениях. Златовласая девушка, искрящаяся на экране как брызги шампанского и даже у такого тонкого и восприимчивого писателя, как Одетс, вызывавшая удивление способностью читать, была человеком совершенно иного склада. Для Одетса, как и для большинства людей погрубее, она казалась истинным воплощением лучезарного счастья. Когда мы сидели с ним за десертом с кофе в напоминавшем заурядные нью-йоркские рестораны заведении с итальянской кухней, я подумал, что в Одетсе есть та же беспредельная наивность, которая отличала Мэрилин: подобно ей, он был большим ребенком, безжалостно отдававшим себя на заклание жизни, рассеянно отбрасывая со лба волосы пистолетом со взведенным курком.

К 1958 году Одетс уже в течение шести лет «сотрудничал» с сенатской Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, за отказ иметь дело с которой я за два года до этого был приговорен к тюрьме. Однако его выступления в Вашингтоне воспринимались мною скорее как некая патетическая кода, нежели кульминация. Я уже тогда догадывался, что дело заключалось в животной ненависти Комиссии к творческой интеллигенции, в снедавшей ее зависти к способности своих жертв быть в центре общественного внимания и, помимо прочего, зарабатывать хорошие деньги. Одетс для своего поколения был не просто личностью — в нем воплотился образ американского художника так называемой Великой эпохи. Даже в том, что погубило его, было что-то бесконечно американское — он решил заполучить все сразу. Его давний друг, театральный художник Борис Аронсон, как-то, задумавшись, сказал: «У Одетса один недостаток: ему надо всех во всем превзойти. Быть самым пылким любовником и самым добропорядочным семьянином; ближайшим другом Билли Роуза и своим в доску с боссами от

коммунистической партии; выдающимся экспериментатором на театре и наиболее дорогостоящим сценаристом в кино. Как тут не разорваться? Чего в нем нет, так это желания обидеть другого. В его положении это уже немало».

Давая показания в Комиссии, Одетс мог обрушиться на нее, и, не меняя негодующего тона, тут же назвать имена тех, кого знал по партии. Обостренное чувство реальности не покидало его даже на смертном одре. Измученный опухолью, он вдруг взметнул в воздух кулак и, попытавшись приподняться на постели, выдохнул в лицо сидевшему рядом другу: «Одетс вернется! Одетс еще начнет все сначала!» Америка была для него воплощением бесконечных возможностей, и Одетс скупал их все на имевшиеся у него средства.

Гарольд Клерман, человек с более трезвым взглядом на жизнь, но, как и Одетс, порою витавший в облаках, часто уговаривал его покинуть Голливуд и «возвратиться», как будто речь шла о вере, в пределах которой он мог возродить свой дух. Одетсу некуда было возвращаться — не было ни театра, ни сценической культуры, один шоу-бизнес да несколько обветшалых театральных залов под угрозой сноса — безвкусные отели и гостиницы теснили их, превращая в груду кирпича. Мораль в американском театре до скуки однообразна: самый быстрый путь к падению — это успех, и, если вы не торопитесь, есть масса людей, которые с радостью подтолкнут вас.

Пьеса, даже когда она сердитая и критическая, всегда есть любовное послание к миру, от которого с нетерпением ждешь признательного ответа, и неизвестно, как пережить отказ, вернуться к работе и засесть за новое сочинение, адресованное тому же лицу. Понятно, что такое занятие скорее подходит юноше или человеку, крепко укорененному в саду Нарцисса. За два года после окончания Мичиганского университета я написал шесть пьес, причем одна из них — трагедия в высоком стиле о Монтесуме и Кортесе. Однако их не взял ни один продюсер, которые в те времена водились только на Бродвее. «Групп-театр», куда я их посылал, даже не удостоил меня ответом.

Мне было уже под тридцать, и, добавив к списку непоставленных пьес еще две или три, я решил предпринять последнюю попытку на ниве драматургии и засел за «Всех моих сыновей». Я знал драматургов, которым было под сорок, а они еще ждали своего часа. Жизнь, однако, была слишком увлекательна, чтобы обивать пороги продюсеров, и я дал зарок: напишу пьесу, где каждая страница будет как лыко в строку, а если она не пройдет, брошу театр и буду писать в других жанрах.

Просидев два года над «Всеми моими сыновьями», я, будучи, если так можно выразиться, американским драматургом-дарвинистом, который не ждал милостей от природы (хотя в глубине души лелеял надежду их получить), в 1947 году послал пьесу моему агенту Лиленду Хейварду.

Быть драматургом в сороковые годы было на зависть престижным занятием. Журнал «Тайм» величал создававших модные пьески драматургов «снайперами», предполагая нечто вроде интенсивной прицельной стрельбы, когда за попадание в цель выдавалась премия в виде большой денежной суммы, и никаких литературных слюнтяйств, все пригнано — поденная работа с сигарой во рту для ремесленников, которые, согласно мифу своего времени, обслуживали народ.

Зрители не любили длинных речей и не реагировали на литературные реминисценции, будучи безжалостны к проигравшим, как толпа, борющаяся за награду и заискивающая перед победителями, — публика, которая при слове «культура» хваталась за шляпу. Конечно, среди них были свои ценители, но предполагалось, что пьеса пишется, дабы захватить всех без исключения. Единственным положительным следствием того, что делалось в угоду вкусу аудитории, реальной или воображаемой, были завоевавшие сцену многоактные пьесы с обилием персонажей и сюжетных ходов, где было мало слов и драматизм нагнетался за счет действия. Реплики были короткими, в пьесах было мало рефлексии, но много динамики. Какие мы ни были разные с Теннесси Уильямсом, оба выиграли от этих взыскательных требований. Времена, когда персонаж, сидя на одном месте, мог позволить себе произнести монолог на несколько страниц, тогда как другие актеры, неподвижно стоя вокруг, ожидали, когда он закончит, давно канули в прошлое. (О'Нила же, у которого главенствовало повествование, такая уступка привела к фиаско.) И было еще далеко до того момента, когда налет простой скуки стал восприниматься как свидетельство того, что на сцене происходит что-то очень важное. Так, революционная новизна «Стеклянного зверинца» заключалась в его особой поэтичности, но поэтическое решение пьесе придавала лежащая в ее основе жесткая драматическая конструкция. Поэтичность на театре не может или по крайней мере не должна являться причиной, но только следствием: внутренняя структура и образность сделали эту глубоко личностную пьесу доступной каждому, кто сохранил хоть мало-мальскую способность сопереживать.

Придет время, и повествовательная манера покажется устаревшей: атомная бомба навсегда развеяла веру во всякого

рода протяженности. Мир кончится не взрывом и не слезами, но кучей шлака, на которой двое людей будут безуспешно пытаться понять друг друга. И хотя с этим трудно было не согласиться, я все равно не мог пройти по Нью-Йорку, не столкнувшись с кем-нибудь из тех, кого не видел десятилетиями и кто так или иначе оставил след в нашей жизни — моей, отца, брата. Город, как и прежде, казалось, построен из времени, времени, которое увядало и изменялось, как это было всегда.

Когда я сейчас иду по 47-й улице и Шестой авеню, они такие же грязные, как и в 1938 году. В те времена на первом этаже четырехэтажного дома без лифта располагался древний табачный магазинчик с немытыми витринами, где были выставлены трубки, с которых годами не стирали пыль. Я поднимался по темной лестнице, а со второго этажа, перегнувшись вниз, мне, как всегда приветливо и рассеянно, помахал мистер Фрэнкс. Я только что окончил университет и пытался устроиться на работу в Бюро по театрам при Комиссии по социальному обеспечению.

— Ну вот и хорошо, — прокашлял он, протягивая руку и приглашая пройти в небольшую квартирку. — Сидни нет, но он с минуты на минуту будет. Ему тут недалеко надо было съездить забрать свою форму.

Он всегда звал его Сидни, хотя все остальные были Берни, Дэни, Арти или Сэм, и держал себя в форме, не отказываясь ни от крахмальных воротничков, ни от шелковых галстуков. Он со старомодной вежливостью усадил меня в потертое кресло, жестом человека, который рад, что кто-то пришел, ибо устал целыми днями находиться в одиночестве. Я помнил это элегантное кресло с детства, когда мы с Сидом играли у них дома на 110-й улице, а внизу находился таинственный, загадочный парк, куда мы, свесившись из окон шестого этажа, в сумерках выпускали наловленных светляков.

Пока мистер Фрэнкс не начинал говорить, он выглядел этаким здоровячком с округлым безмятежным лицом, мягкой сдержанной улыбкой, аккуратно завязанным темно-синим галстуком, выглядывавшим из-под жесткого воротничка, и золотыми запонками, которые блестели даже в сероватом свете выходившего на задний двор немытого окна. Квартира походила на склад мебели, которую свезли из их бывших двенадцатикомнатных апартаментов. Свернутые в рулоны ковры, как колонны, стояли посреди нагроможденных под потолок коробок и чемоданов.

Я спросил, не приходил ли инспектор.

— Нет, еще не был. Может, сегодня будет.

— Я подожду?

— Конечно, мы тебе всегда рады. Хочешь чаю?

Это было единственное, что он научился готовить за семь лет, которые они прожили здесь с 1931 года.

Хотя мы виделись не далее как вчера, я удивился, насколько за эти годы он стал похож на куклу; сидел внутренне подавленный, готовый ждать, пока я не заговорю, или хранить молчание. Я забыл, что его любимым выражением было «ну вот и хорошо», которому он придавал бесчисленное множество оттенков.

— Говорят, лето будет очень жарким.

— Ну вот и хорошо. (Надо, стало быть, этого ожидать.)

— Хотя перебоев с водой не будет.

— Ну вот и хорошо. (Легкое удивление.)

— Кажется, в экономике кое-что потихоньку налаживается.

— Ну вот и хорошо. (Покашливание в знак недоверия.)

С годами он все больше становился само воплощение пережитого в период кризиса. До 1930 года это был процветавший банкир в окружении милой жизнерадостной семьи. В течение нескольких месяцев вклады в банке растаяли, жена умерла, а дочь покончила самоубийством. Когда он вот так сидел передо мной, улыбаясь, показывая, как безмятежно рад мне, возникало только одно желание — исчезнуть, не видеть, избежать этого мрачного предсказания самого наихудшего. Я ежедневно приходил сюда из Бруклина, где мы жили, с тем чтобы убедить инспектора из отдела социального обеспечения, будто обитаю здесь, в надежде, что это поможет устроиться на работу в Бюро по театрам при Комиссии по социальному обеспечению. Надо было попасть в список малоимущих, то есть оказаться бездомным и безо всяких средств к существованию. Для осуществления этой бюрократической процедуры я для начала привел в отдел социального обеспечения, который арендовал помещение бывшего склада на реке Гудзон, отца, и мы небезуспешно разыграли сцену сыновнего бунта и праведного отцовского гнева. Инспектор счел представление, которое должно было объяснить ему, почему я не могу ночевать в родительском доме, достаточно убедительным и вздохнул, понимая, что за этим вряд ли кроется что-нибудь, кроме экономической безысходности. Ему оставалось только неожиданно нагрянуть ко мне, чтобы проверить, действительно ли я живу у людей, которые не являются моими родственниками. Кровать, на которой якобы я спал, стояла около окна, на вешалке над ключом газовой горелки висело мое зимнее пальто. Из-под кровати очень трогательно выглядывали тапочки, тем более что к этому времени у меня оставалась всего одна пара кожаных ботинок.

Поскольку мистер Фрэнкс был не способен поддерживать разговор, беседа прекращалась сама собой. После 1930 года ему не о чем было больше говорить. На полке в нише за его головой стоял на подставке диплом Сидни об окончании Колумбийского университета, а рядом свидетельство об отличии — удостоверение cum laude. Сейчас Сидни со своей формой ехал на метро домой из магазина около полицейского участка на Центральной улице. Я обратил внимание, что мистер Фрэнкс бросил курить, и вспомнил, как, пыхтя вставленной в трубку обрезанной сигарой, он каждое утро выходил из подъезда нашего дома на 110-й улице, поджидаемый Альфредом, своим шофером, и садился в бежевый спортивный автомобиль, чтобы отправиться на Уолл-стрит.

Было слышно, как кто-то поднимается по лестнице, шагая через две ступеньки. Сидни появился быстрее, чем мистер Фрэнкс успел встать с кресла; под мышкой у него торчала длинная картонная коробка. «Привет!» Мы хохотали, пока он развязывал бечевку и вынимал синий китель. Сид был высокого роста с волосами цвета воронова крыла, черными глазами, длинными ресницами и причудливо изогнутой линией губ. У него было подвижное лицо любознательного, легко реагирующего на шутку человека, в глазах светился ум. Он привернул к куртке нагрудный знак и замер, чтобы мы могли оглядеть его, сам изучая себя в напольном наклонном зеркале в раме из красного дерева. Потом обернулся ко мне, и мы со смехом стали расхаживать по комнате. Воротник кителя болтался на шее, рукава были длинноваты. Я заставил его померить фуражку — между головой и внутренним ободом оказался зазор.

— Что же ты, черт побери, будешь делать, если что-то случится?

— Слава Богу, у меня есть свисток — позову полицейского.

Кто-то постучал в дверь. Мы притихли. Никто из посторонних к ним не ходил. Это мог быть только инспектор. Сид пошел открывать. Вошедший с порога спросил обо мне — было видно, что он привык быть незваным гостем, но форменный китель Сида нарушил угрюмую сосредоточенность, хотя он не совсем понял, при чем здесь легкие коричневые брюки. Это насторожило его, и он попросил показать, где я сплю и где лежат мои вещи. Ему все показали, даже мое полотенце в крохотной ванной. Он ушел, неожиданно оборвав меня на полуфразе. Когда за ним захлопнулась дверь, мистер Фрэнкс обернулся ко мне. «Ну вот и хорошо!» (Надо же, чтобы все так удачно обернулось!)

Сид повесил форму на вешалку и, вынув из бумаги новенький револьвер, зарядил его. Мистер Фрэнкс наблюдал за ним. «Ну вот

и хорошо», — печально произнес он, как бы признавая, что в судьбе сына произошли серьезные изменения. Когда Сид заряжал оружие, с его лица сползла улыбка. Теперь я увидел, что это действительно полицейский.

За последние два года после окончания университета в его жизни произошли перемены, которые в тот период происходили со всеми. Вопрос, как жить, превратился в аналитическую проблему, как найти себе применение в обществе, чтобы приостановить инфляцию. Он мыслил именно такими объективными абстракциями. В производственной сфере рабочих мест не было, а на рекламу, слова (он называл это «дерьмом») был большой спрос. Сид отправился в библиотеку на 42-й улице, чтобы подыскать что-нибудь подходящее, прослушал несколько разных курсов и для практики проанализировал, как поставлена реклама нижнего белья в фирме «Фрут оф зе лум», попытавшись найти оригинальное решение. Из этого ничего не вышло, и он устроился разносчиком продавать по домам пылесосы. Освоившись с этим делом, Сид быстро поднялся до главного оптовика компании, получив в свое распоряжение группу, которая обслуживала весь юго-запад Бронкса. Он верил, что своим успехом обязан умению выявить некую объективную закономерность, почему женщины покупают у него пылесосы, которые им нужны не более, чем дырка в голове.

Переходя от двери к двери, Сид понял, что любой человек, особенно женщины, предпочитает не ссориться с незнакомым человеком, а решать вопрос полюбовно. Таким образом, суть дела состояла в том, чтобы задавать вопросы, на которые можно дать только положительный ответ.

— Это квартира девять, дом десять по Феарвью-авеню?

— Да.

— Вы миссис Браун?

— Да.

— У вас есть какие-нибудь ковры или циновки?

— Конечно, есть.

И все в таком роде.

— Когда дело доходило до пылесосов, они так привыкали соглашаться, что их нельзя было остановить. Тут я подключал комплекс вины. Снимаешь с агрегата коробку — причем обязательно новую, пылесос новый — и прямо при клиенте вскрываешь. Когда для тебя открывают коробку, возникает чувство, что ты обязан, если к тому же разворачивают новую вещь, ты просто в долгу, а если еще опробовать пылесос на какой-нибудь циновке, считай, хозяйка попалась. Ты поработал — они задолжали, ведь ты потратил на них драгоценное время…

Не прошло и года, как им овладело глубокое отвращение. Он попал в высший эшелон руководства фирмы, стал принимать участие в конференциях в Олбани, где располагался один из ее центров, и бывал приглашен на обед с вице-президентом. Кажется, это только больше испугало его, и, проанализировав свое положение, Сид вынужден был признаться самому себе, что ровно шесть дней в неделю лжет, создавая потребность там, где ее, собственно, не существует. Он бросил курить, но не оттого, что в этом была угроза здоровью, о чем в те времена мало задумывались, но в пику рекламе сигарет. И перешел на сигары, но без ярлычков, которые в табачной лавке внизу шли без всякой рекламы. К тому времени, когда Сид сдал экзамен на полицейского, он пришел к неким глобальным неопровержимым выводам. Мы сидели на углу в кафе-автомате, взяв по булочке с черникой и по чашке кофе, и он мне рассказывал о себе:

— У меня нет особых талантов, хотя я знаю, что мог бы стать неплохим инженером, но сейчас они гроша ломаного не стоят. И так будет, пока не грянет какая-нибудь новая война. Работая полицейским, я поднакоплю денег, чтобы к тому времени переучиться на инженера. Не терплю двух вещей — ненадежности и лажи. Инженер — это настоящее, но сейчас не получится, а работа полицейского дает кое-какие гарантии и, похоже, там меньше лажи.

Мы так смеялись, когда он первый раз надел форму, наверное, потому, что это был откровенный маскарад, простое переодевание, абсурд и детскость, но оборвали смех, когда Сид начал заряжать револьвер. Сразу стало понятно, что он — это он.

В начале сороковых мы еще встречались с ним раза два-три в год. На первых порах казалось, что он действительно смотрит на это как на временную работу, но, стоило ему жениться, все разговоры прекратились сами собой. А когда началась война, Сид решил, что не важно, какую он носит форму: в него уже не один раз стреляли в Гарлеме и запросто могли убить в армии.

Прошло какое-то время, и я понял, что мы встречаемся в основном по моей инициативе. Грустно было признать, что наши пути расходились по мере того, как я становился известным писателем, а он все более непримиримо относился к коррупции среди руководства стражей порядка, которых традиционно считают честными либералами. Он все меньше шутил, когда я говорил о цинизме Рузвельта, а во время последней, четвертой кампании по его избранию неожиданно заявил, что вообще решил больше не голосовать. Я совсем перестал понимать, как он мыслит будущее страны и свое собственное.

Однажды вечером мы пили пиво в ирландском баре на

Третьей авеню, около его участка. Паузы в беседе затягивались. Некое неумолимое всеотрицание отдаляло его от меня. Я вдруг вспомнил, каким он был в детстве: невысокий, с лучистыми глазами, один из немногих, кому хватало ума сохранять стеклянные шарики от лета до лета. Он ответил: «Когда в темном переулке ловлю какого-нибудь подонка, мне наплевать, что он получил дерьмовое воспитание и у него было тяжелое детство». С другой стороны, у Сида не было друзей среди полицейских. «Утром я приношу сюда свое тело, вечером — забираю домой». По его словам, в полиции служили одни неисправимые консерваторы, антисемиты и равнодушные люди. Мысль о том, чтобы завершить образование, исчезла сама собой. «Мои дела идут под гору, я хочу заработать на пенсию, и все. Потом буду решать — стать инженером или сидеть дома, резать бумажных кукол, — не знаю».

Единственно, когда в нем проступало что-то от прежней жизни, это при встрече с моими родителями. Тут он любил посидеть и поговорить о своих детях, о том, как мы жили до Кризиса. Во время этих визитов он напоминал сироту. Мама, умевшая подвести разговор к самым деликатным темам, выудила из него, что отказ от компромиссов не дал ему возможности существовать в профессиональной сфере менее ложно и двойственно. По воскресеньям они вдвоем усаживались на нашей веранде, выходившей в сад, где разрослись купленные мною по случаю, по тридцать пять центов за штуку, в 1930 году на Скотланд-стрит саженцы груш и яблонь, и Сид забрасывал ноги на балюстраду, где и покоились его каблуки, а сбоку из-под расстегнутой поплиновой куртки торчала кобура. Он обязательно раз в несколько месяцев навещал мою мать, чтобы послушать, как она рассказывает о его матери, которую, как ни старался, так и не мог вспомнить. Это его особенно угнетало. «О, она была очень элегантная и хорошенькая. Только начнет накрапывать дождь, она тут же хватала галоши и отправлялась встречать тебя в школу. А как же, ведь это ее Сидни! Ни о чем другом она и думать не могла». В такие моменты его лицо смягчалось и даже озарялось светом. Как будто голос моей матери возвращал ему его собственную. Сид обожал мою мать, ибо эти воспоминания привносили в его жизнь какие-то забытые чувства, хотя она постоянно настаивала, чтобы он сменил работу.

— Ну что делать, если у человека нет особых талантов… — в который раз урезонивал он ее.

— Боже, о чем ты говоришь, Сидни, начинается бум, а это — время для молодых. С твоей головой да чтоб не сделать карьеру!

Я заметил, что в глазах у него мелькнуло искушение, и вдруг

понял, что он может восстать против своей жизни назло тому, что мать покинула его в своей смерти. Его визиты кончались тем, что он садился во внутреннем дворике, пожевывая дешевую сигару, и смотрел в одну точку, а мне казалось, я вижу то, что открывается его внутреннему взору, — не бум, который грядет, а катастрофа, которая будет ему сопутствовать. Депрессия оставила в его душе незаживающую рану. Когда он уходил, мама обязательно должна была притянуть к себе его голову и ласково поцеловать в закрытые глаза, как будто это ребенок, которого она укладывает спать.

Мы перестали видеться где-то с середины сороковых. Так получалось, что он всегда был занят в тот вечер, когда я предлагал встретиться, и я перестал звонить. Как-то в 1955-м я шел по Лексингтон-авеню, и мне вдруг показалось, что я вижу его среди полицейских, которые группой, человек восемь — десять, шли впереди в легких куртках на молниях и рубашках без рукавов. Смеркалось. Стоял чудный весенний вечер, когда все окрашено в лиловые тона, тот час, которого мы дожидались, чтобы выпустить своих светлячков.

Уже три или четыре недели подряд «Уорлд телеграм» в унисон с херстовским «Джорнел американ», Уолтер Уинчелл и Эдди Салливан с его колонкой в «Дейли ньюс» вели против меня ура-патриотическую кампанию за мои левые взгляды. Я же провел половину лета на раскаленных улицах Бей-Риджа, собирая материал о враждующих между собой молодежных группировках — тогда это называлось преступностью среди несовершеннолетних — для фильма, который снимался при содействии муниципалитета. В связи с этим Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, как я позже узнал, прислала из Вашингтона некую Долорес Скотти, в обязанности которой вменялось доверительно сообщить сотрудничавшим со мной и поддерживавшим проект городским властям, что Комиссия склонна полагать, будто я член коммунистической партии, и, хотя у них не клеилось с доказательствами, они советовали порвать со мной всякие связи. Поднятая по тревоге пресса, поддерживавшая Комиссию, устроила такой шум, что городским властям пришлось расторгнуть контракт. Проект в итоге был похоронен. Это были времена, когда повсюду ходили черные списки и карьера многих из моих друзей, актеров, оказалась загубленной. Трудно было найти эффективную форму сопротивления этому бескровному американскому фашизму.

Оживленно болтая, группа полицейских шла в сторону участка на 67-й улице в стороне от Лексингтон-авеню. На углу

около остановки они замедлили шаг, и я нагнал их. Мы давно не виделись с Сидом, и я был рад встрече. Между нами было ярдов десять, когда я окликнул его по имени.

Он, конечно, не мог не узнать мой голос, но лишь слегка обернулся; я подошел, протягивая руку. Он ответил легким рукопожатием с натянутой улыбкой и тут же отвернулся, чтобы нагнать своих. Они ушли на квартал вперед и оглянулись посмотреть на нас. «Я должен сдать дежурство», — бросил Сид, устремляясь им вслед, так как они исчезли, свернув к участку за угол.

Я вспомнил, что мое фото за последние недели дважды появлялось в «Дейли ньюс», а за несколько дней до этого по моему поводу в «Уорлд телеграм» выступил главный редактор, призвав все-таки позволить мне закончить сценарий. Как-никак это была либеральная газета, хотя они и требовали, чтобы мое имя не упоминалось в титрах будущего фильма. Эта типично советская манера обращения с несговорчивыми писателями тогда не получила никакого отпора.

Стоило мне в последующие тридцать лет оказаться в районе этого полицейского участка, меня одолевал вопрос, неужели Сид испугался, что я брошу на него тень, или просто стал истовым приверженцем новой веры — этакий неоперившийся новообращенный консерватор. Я помню, что дошел тогда до угла и увидел, как он поднимается на крыльцо. У входа с двух сторон было по зеленому круглому фонарю, и на ступенях было хорошо видно молодых полицейских. Сид увлеченно беседовал с одним из них, и я подумал, что у него наконец, похоже, завелись здесь друзья.

Его недружелюбие все еще жгло лицо, но я вспомнил, как он вытряхивал из своей банки светлячков на 110-й улице. Я шел вниз по Лексингтон-авеню и размышлял, не острее ли, чем раньше, мы стали переживать подобные стечения обстоятельств, предпочитая такой ход вещей постепенному развитию событий. И это вызвало к жизни новые формы в искусстве. Что касается моей работы, я испытывал потребность переходить от кульминации к кульминации, как это бывает при монтаже фильма или в джойсовской прозе с ее прочерченными траекториями словесных фейерверков и в фигурах Пикассо, когда совмещаются несколько ракурсов и сжимается время. Сама жизнь казалась непрерывным, сплошным разоблачением. Возможно, это впечатление возникало оттого, что все быстро менялось, а истина все так же оставалась не столько фактом, сколько процессом. Не потому ли, по крайней мере в Америке, все жили в напряженном ожидании и так стесненно?

Арабы называют крестоносцев «проклятые», так же как в средневековой Европе их называли те, кто истреблялся ими на пути к освобождению города Господня Иерусалима, — евреи, тогда как у христиан образ крестоносца является воплощением благородства, своего рода неким идеалом. Какая из этих точек зрения принадлежит истории? Время — опыт пережитого. Так вошел в мою жизнь майор в отставке Смедли Батлер, в 1935 году приехавший к нам в Энн-Арбор прочитать лекцию. Я отправился к нему в номер брать интервью для «Дейли». Это был невысокий широкогрудый крепыш, которому в свое время пришлось подрасти на дюйм, чтобы его взяли служить во флот. Сочетание уличной грубости с недюжинной сметкой обеспечило ему продвижение от рядового до одного из самых высоких чинов. Несколько лет он возглавлял морские экспедиции в Никарагуа, на Гаити, Кубу, в Доминиканскую Республику и Гондурас для подавления восстаний против проамериканских режимов. И как подобает полицейскому, не сомневался в том, что защищает мир во имя блага большинства. Однако случилось так, что он получил приказ высадить десант в Мексике, где по прибытии в порт его встретил некий джентльмен, отрекомендовавшийся представителем местного отделения «Нэшнл сити бэнк». По воспоминаниям генерала, в городе, когда они ехали с представителем банка в машине, было спокойно и мирно. Его пригласили во внутренний офис, где их поджидали несколько важных персон. Во весь стол была расстелена карта страны, на которой были отмечены предполагаемые месторождения нефти. Жители этих районов отказались подчиняться государственным указам, требовавшим их отселения, чтобы освободить место для буровых скважин. По словам банкира, это противоречило конституции, согласно которой вся земля была национализирована государством. К тому же в этих местах появились вооруженные формирования, которые атаковали регулярные войска, поэтому для подавления партизан потребовалась морская пехота.

Предвидя потери в связи с тем, что, по сути, придется начать войну, генерал сказал, что должен проконсультироваться в американском посольстве. Среди присутствующих нашелся высокий чин, который заверил, что посол разделяет точку зрения представителя «Нэшнл сити бэнк» и полностью санкционирует акцию.

Лекция Батлера в тот вечер в общем и целом свелась к тому, о чем он уже писал. «В Мексике, особенно в Тампико, я отстаивал нефтяные интересы Америки… На Гаити и Кубе помогал „Нэшнл

сити бэнк“ превратить эти страны в стабильный источник доходов… В Никарагуа в 1909–1912 годах расчищал поле деятельности международному банку братьев Браун. В Доминиканской Республике в 1916-м осуществлял культурную миссию во имя интересов американских сахарных трестов. А Гондурасу в 1903-м помог „поправеть“ на благо американских фруктовых корпораций». Черту под этого рода деятельностью подвело в его сознании неприкрытое использование войск в интересах банка, когда на алтарь чьих-то прибылей оказались положены жизни американских солдат.

Ему принадлежала идея конституционной поправки, согласно которой ни одно американское морское судно не должно было покидать двенадцатимильную прибрежную зону. Эта точная и краткая формулировка клала предел имперским и милитаристским амбициям Америки. Затянувшись сигарой, он сидел передо мной, прямой, неулыбчивый, скуластый. Я и тогда понимал, что его мечта неосуществима, но поддержал ее. В тот день он всего лишь еще раз подтвердил, что нашими жизнями распоряжаются те, у кого есть деньги.

На его лекцию в Хилл-аудиториум собралось едва ползала. Мой репортаж с подробным изложением его планов «Дейли» сопроводила его же фотографиями. Кажется, я никогда больше не слышал о генерал-майоре Смедли Батлере, но часто вспоминаю о нем, особенно в последнее время, когда в очередной раз слышу, что наши корабли отправились к берегам Латинской Америки, и внимаю заверениям о добрых и человеколюбивых политических намерениях. Если за последние полвека сопротивление таким вещам усилилось, то лишь потому, что противоречивее стала сама реальность. В отличие от 1935 года теперь не так легко сбросить со счетов коммунизм и Советы, хотя, по сути, проблемы остались те же — бедность и плохое правление в Центральной Америке, сопротивление и твердая установка, что любые фундаментальные изменения возможны только в тех случаях, если это в интересах Америки.

Хотя Батлер был далек от политики и не являлся радикалом, его искреннее негодование по поводу того, что жизни американских солдат приносились в жертву чьей-то прибыли, говорило в том, что мир должен развиваться независимо от диктата частного капитала. В тот момент, когда в 1935 году он выступал со своей незатейливой историей перед студентами в Хилл-аудиториум в Нью-Йорке, на спектакле по пьесе Одетса «В ожидании левых» зрители вскакивали со своих мест и, потрясая в воздухе кулаками, поддерживали актеров возгласами «Забастовка! Забастовка!», как будто забастовка таксистов была

неким ключом ко всеобщей свободе. Таковы были времена. Поэтому, когда Одетс четырнадцать лет спустя возопил «ДЕНЬГИ-И-И!», увидев в них источник советско-американских разногласий, это могло показаться политическим упрощением, но для меня свидетельствовало о том, что наше сознание нисколько не изменилось. Да и разве могло быть иначе. В 1949 году не было ни одной страны, где коммунисты пришли к власти в результате свободных выборов; все знали, что даже в Чехословакии имевшая большое количество сторонников коммунистическая партия и то недавно совершила переворот, чтобы сбросить законное демократическое правительство.

В тридцатые годы будущее еще что-то сулило. Но с окончанием войны, появлением атомной бомбы, усилением противостояния между Востоком и Западом, казалось, не оставалось ничего, кроме как прислушаться к биению собственного сердца. Поверить в политическую философию означало согласиться без достаточно веских оснований на то, чтобы тебе удалили все зубы, ампутировали часть тела или вынули глаз. Однако невозможно жить в полной неопределенности, и люди, относясь ко всему с подозрением, отрицали очевидное и вместо фактов предпочитали говорить о том, что не согласны потерять веру.

Такова была атмосфера, когда Лилиан Хеллман как-то за год до этого пригласила меня отужинать с двумя молодыми югославами, представлявшими свою страну в Организации Объединенных Наций. Она полагала, это даст нам редкую возможность понять, что же все-таки привело к изгнанию Югославии из Коминтерна — событию, разразившемуся как гром среди ясного неба. Это была первая трещина в недавно созданном русскими вдоль всей границы послевоенном блоке коммунистических государств, которая вызвала такой шок, что многие сомневались, не хитрость ли это. Так же как несколько лет спустя люди не могли поверить, что китайские коммунисты всерьез рассорились с русскими. Обе стороны, как просоветски, так и антисоветски настроенные, полагали, что все коммунисты кровью повязаны со Сталиным, этаким Люцифером, осуществлявшим абсолютный контроль над подвластными ему колдунами, которые тут же растаяли бы в клубах дыма, стоило какой-нибудь антирусской мысли промелькнуть в их порабощенном сознании. Вместо этого на сцену вышла сила, в праве на существование которой уже отказали и марксисты, и теоретики капитализма, — национализм чистейшей воды.

Я был удивлен, что оба делегата оказались так молоды — им едва стукнуло тридцать. Они сидели за элегантно сервированным

Лилиан столиком, с квадратными неулыбчивыми славянскими лицами, на которых было написано горячее желание не разочаровать хозяйку, как будто оба попали на школьный экзамен, и говорили осторожно, ни разу не бросив упрека в адрес Сталина или русских, но с прискорбием констатируя, что Тито был вынужден заявить о защите национального суверенитета от попечительства русских. Насколько им было известно, Советы в буквальном смысле обескровили Югославию, вывозя технику и все, что возможно, при этом навязывая такие экономические соглашения, которые никак не были выгодны Югославии, но только России. Согласно теории, за отступничество от которой Тито был заклеймен и обвинен, повсеместно строить социализм можно было только после того, как его в первую очередь построят в России, великой защитнице обездоленных.

В тот вечер им помимо их воли очень хотелось убедить Лилиан, что Югославия отнюдь не является антисоветским государством. Все, что произошло, было отчаянным шагом во имя национального спасения, и они не теряли надежды, что придет день, когда снова встанут бок о бок с Советами, но не как колония, а на равных.

Изредка задавая вопросы, Лилиан была непривычно молчалива и, казалось, застыла в облаке сигаретного дыма. Она была глубоко потрясена тем, что рассказывали эти люди. Ведь это были не разочарованные в практике социалистического строительства интеллектуалы среднего класса, но партизаны, сражавшиеся в горах с фашистами. Они говорили, а пламя билось, мерцало, грозило потухнуть. Их рассказ повествовал о том, как развалился союз государств, после тысячелетий взаимных войн объединившихся для взаимной поддержки и мирного развития на социалистической основе. Такова была родившаяся в чреве самой страшной из европейских войн мечта, и вот теперь эти два молодых ветерана рассказывали о том, что Россия ведет себя точно так же, как какая-нибудь Британская империя, эксплуатирующая Малайзию или Индию.

Будучи в первую очередь югославами, а потом коммунистами, они уповали теперь на национализм — опору левых и традиционное прибежище правых, полагая, что он не только приличествует красным, но служит последним оплотом защиты малых наций против ненасытных великих держав, среди которых Советский Союз, видимо, занимал первое место. Короче, старик Адам вернулся и правил миром, как он правил им до войны, ничему не научившись и ничего реально не изменив. Ситуация поражала тщетностью усилий и не поддавалась никакому разумению. То, что одно социалистическое государство

могло эксплуатировать другое социалистическое государство, особенно такое, как прославившаяся героической антифашистской борьбой Югославия, казалось вопиющим недоразумением.

Любое серьезное начинание стремится облагородить себя, и страшные жертвы, понесенные русскими в войне, все еще пока затмевали проблему преследования диссидентов и слухи об антисемитизме. Оказалось, что даже Оруэлл сего предубежденностью против Советов не смог додуматься до ГУЛАГа ни с точки зрения обширности его владений, ни в плане изуверств и жестокости, выдав тем самым Сталину некий кредит доверия.

И тем не менее нельзя было отмахнуться от двух молодых людей, которые, завершив рассказ, ждали от Лилиан какой-то реакции. В плохо сшитых костюмах, узких для их коренастых фигур, с неглаженными воротничками рубашек и обветренными лицами, они скорее напоминали загримированных крестьян, которые пришли в эту богато убранную гостиную в надежде вымолить благоволение гранд-дамы. Я тоже посмотрел на Лилиан, не понимая, почему ее мнение так важно для них. Год назад, побывав во Франции и в Италии, я впервые столкнулся с тем, с каким поразительным благоговением европейцы относятся к писателям. Но, даже учитывая это, казалось странным, что двое профессиональных политиков придают такое значение тому, что думает обо всем этом Лилиан Хеллман.

Она сидела напротив нас на диване, в раздумье играя бокалом, царственная голова в упрямом движении откинута назад. Я был на десять лет моложе ее, и для меня она была окружена мистическим ореолом, патрицианка с Юга, придерживавшаяся просоветских взглядов. У нее было что-то вроде салона, где можно было встретить сильных мира сего, от радикально настроенных юристов, профсоюзных лидеров, теоретиков марксизма вроде Лео Губермана до ее спутника Дэшила Хэммета, известнейших хирургов, прославленных психиатров, государственных деятелей, дипломатов ООН, состоятельных бизнесменов, писателей всех мастей, голливудских продюсеров со сценаристами и, конечно, деятелей с Бродвея, на которых она опиралась. Я всегда чувствовал себя здесь не в своей тарелке, наверное, оттого, что мне трудно было находиться в присутствии стольких знаменитостей, где сам воздух был пропитан иерархичностью, которой определялся всеобщий интерес к тому, кто в данный момент находился в центре внимания. На ее светских раутах надо было блеснуть тонким замечанием или рассказать новый анекдот, не выходя, однако, за

рамки приличий, принятых в этом изысканном обществе. Попав в столь избранный круг, я замолкал и выглядел угловато, за самоуверенностью скрывая нежелание быть втянутым во всякого рода конкуренцию. В тот вечер, однако, все было по-иному. Как будто в непривычно пустую гостиную с длинными велюровыми драпировками, резными украшениями, серебряной отделкой по краю полированных столов красного дерева и фотографией молодой Лилиан с длинными рассыпавшимися по плечам волосами ворвался холодный ветер с вершин югославских гор. Рассказ подходил к концу — на диване сидела подавленная Лилиан, какой я ее никогда не видел. У нее всегда наготове был острый ответ, надтреснутый смешок, откровенное суждение, входившие в арсенал средств ведения постоянной войны с лицемерами. Ей казалось, что люди всегда знают больше, чем осмеливаются говорить, и жизнь не столько загадка, сколько сознательный самообман, чтобы избежать ответственности. В те времена для нее жизненно важно было сообщать людям то, что они уже знали, не имея, однако, смелости признаться в этом. Она была нетерпима к оправданию любых неосознанных поступков, так же как не могла терпеть проявления простодушия, что вовсе не означало, что она не видела собственных недостатков, к которым относилась несколько по-иному. Иногда она казалась себе некой поэтической натурой, этакой неискушенной молодой особой, которой приходится мириться со своим огромным авторитетом, не чувствуя права обладать им. Понуждаемая к этому окружением, в основном из слабых мужчин, которым недоставало отваги и воли, а также исполненных малодушия легкомысленных кокетливых женщин, она вынуждена была брать румпель в свои руки и дерзко вести корабль в сторону рифов неправды. Пребывая в хрупком женственном образе, она, казалось, взывала о лидере, господине, подобно своенравной кобылке, которая, закидывая ноги, мчится к объездчику, останавливаясь как вкопанная, чтобы тут же ринуться прочь, стоит к ней прикоснуться. Но Лилиан могла легко отказаться от наигранной девичьей наивности и посмеяться над собственной попыткой отказаться от самой себя, той самой, которая едва ли могла устоять перед искушением эффектно исполнять роль лидера, если не претендовала на более серьезное господство.

Югославы ждали, а она обернулась ко мне, и в ее взгляде я, по-моему, впервые прочел растерянность от того, что она не знала, что сказать. Мне же казалось, главным было ее мнение, а не мое: что я знал о Балканах и о высокой политике, за исключением того, о чем писали газеты? Она же знала эту кухню.

Я только отчетливо запомнил, как югославы уходили. Оба

нервно теребили в руках совершенно одинаковые серые фетровые шляпы, купленные по случаю где-то в Нью-Йорке, и без конца раскланивались в дверях, в то время как в глазах застыла глубокая неуверенность. Они ушли, а мы вернулись в гостиную, Лилиан настояла, чтобы мы еще что-нибудь выпили. Помолчали, пока она разливала. Потом Лилиан опустилась на диван и, не скрывая сомнения, которое мешало ей говорить, спросила: «Ты веришь им?»

Я услышал, как вагоны, клацая, берут лагерь в кольцо и на баррикадах лязгают сваленные в кучу логические объяснения. Я верил этим людям, абсолютно им верил, одновременно не желая расставаться со своим прошлым, с антифашистскими, просоветскими симпатиями былых лет. Мы отнюдь не искали истину, но защищали осажденную распадавшуюся ортодоксию, где, несмотря на великое смятение, все же покоилась некая священная правда. За проявленную лояльность позже я много строже спрашивал с себя, чем с Лилиан, ибо в отличие от нее уже тогда был снедаем противоречивыми чувствами, не только предполагая, но кое-что зная, в то время как она еще пребывала в иллюзиях. Поэтому если она заблуждалась глубже, чем я, то была, наверное, в этом честнее, потому что проще отметала смущающие ум противоречия, угрожавшие поколебать убеждения. Единственное, чего она боялась больше, чем неправды, был страх. Главным для нее было бросить вызов обществу. Верность просоветским симпатиям была для нее в своем роде тем же, что верность другу. Обладать внутренней целостностью означало находиться на борту корабля, даже если его разворачивало в непредсказуемом направлении и это грозило погубить пассажиров. Преданность воистину была ее самой трогательной чертой, что доказала бессменная дружба с Дэшилом Хэмметом и Дороти Паркер, продолжавшаяся даже в годы их тяжелой старости.

Отвечая на вопрос, я сказал, что рассказ прозвучал весьма правдиво. Она обронила что-то вроде того, что если так, то все может взлететь на воздух — если, конечно, Тито не окажется американским агентом. В этом она, однако, была не нова, повторив то, о чем тогда говорили повсюду.

Двадцать лет спустя, когда мы с женой посетили Россию, мне довелось беседовать с Эренбургом и другими советскими писателями, пережившими сталинский режим. В те времена, когда у Лилиан состоялся ужин, они жили под угрозой тюрьмы или, что хуже, были духовно распяты. «Мы спали, одним ухом прислушиваясь, не едет ли в три утра лифт, и, затаив дыхание, ждали, когда он минует наш этаж», — рассказывал Эренбург

Инге. Вспомнить в этот момент о вечерах вроде того, который состоялся у Лилиан, было все равно что погрузиться в сюрреальное: из этого далека мы казались шутами истории, блохами в гриве скачущей лошади, чей путь надеялись определять в согласии с тем, во что верили или не верили.

Надевая в прихожей у Лилиан пальто, я не осмелился сказать ей и признаться себе, насколько был подавлен. Но когда на прощание мы пожали друг другу руки, я заметил, что она как будто сбросила давивший ее груз и опять выглядит сильной, распрямленной и гордой, как будто уже все решила. И тогда я впервые отчетливо осознал, что не хотел бы когда-нибудь попасться ей поперек дороги. Она не знала, что такое чувство вины, которое меня никогда не покидало. Поэтому обычно обвиняла других, а не себя. Однако стать близкими друзьями нам помешало все-таки не это, а соперничество на театре. Я чувствовал, знал, что в глубине души она отказывает мне в успехе, — возможно, тут сыграло роль некое родовое чувство неприятия людей высшего круга с их амбициями, унаследованное мною от застенчивого отца, экстравертных Ньюменов и им подобных. И наконец, как многие мужчины, я испытывал бесконечный страх перед женщинами, которые быстро обращают любой вопрос в моральную сентенцию. «Недопустимо!» — это слово так легко срывалось с ее губ, что она сама могла рассмеяться над тем, насколько становится непримиримой ко все более часто встречавшимся в пятидесятые годы отклонениям от устоявшихся истин, в то время как простота, в которой мы прожили два предыдущих десятилетия, обретала неузнаваемо чуждые формы.

Короче, если быть снисходительным, то самообольщения, а то и обыкновенной непорядочности хватало в годы великого исторического перелома по обе стороны. Все приложили к этому руку.

* * *

Мое поколение невозможно понять вне его отношения к марксизму как «развенчанному Богу», однако я пришел к мысли, что это выражение не точно. Марксизм был не Богом, но идолом. Он утверждал веру в однозначность, тогда как Бог предоставляет право выбора, который каждый осуществляет сам. И в этом кроется весьма существенное отличие: если перед идолом люди навсегда остаются зависимыми детьми, то перед ликом Господним на них возлагается бремя, но предоставляется свобода самим принимать решения в бесконечном процессе созидания. Эта дилемма содержит множество аспектов, и сейчас мы приблизились к ее решению не более, чем в начале тридцатых годов, не говоря о перспективах на будущее, ибо западное общество все глубже погружается в состояние духовной разобщенности. Лишенные радости бытия и культуры, люди устремляются к поиску высшей воли, которая распорядилась бы их судьбой.

О Боге и об идоле я еще раз вспомнил в 1985 году в Турции, куда мы с Гарольдом Пинтером отправились по линии международного ПЕН-клуба и Хельсинкской наблюдательной комиссии. С тридцатых годов утекло немало воды, но мои разговоры с турецкими писателями вернули меня на пять десятилетий назад, в Бруклин, Энн-Арбор, Нью-Йорк. Подобные беседы могли иметь место где угодно, от Пекина и до Гаваны и Нью-Йорка, от Москвы и до Пномпеня и Праги.

Многие из писателей, с которыми довелось встретиться, пострадали за принадлежность к миролюбивой организации, выступавшей за независимость Турции от Соединенных Штатов и Советского Союза, и прошли сквозь жестокие пытки в мрачных турецких казематах. Их, как большинство образованной интеллигенции в странах «третьего мира», можно было с большей или меньшей долей условности считать левыми. Они с недоверием относились к притязаниям Америки на демократию, поскольку знали о нас в основном лишь то, что мы повсеместно поддерживаем правые диктатуры, включая военное правительство, бросившее их за решетку.

В нашу честь был устроен прием. В ресторане собралось человек двадцать, но за столом, уставленным напитками и яствами, возникла атмосфера недружелюбия; это трудно было понять, если вспомнить, что мы приехали привлечь внимание мировой общественности к их положению. Встав, один из

писателей насмешливо поглядел на нас и, подняв бокал, провозгласил: «Пусть наступит то время, когда мы, разбогатев, сможем съездить в Америку, чтобы проверить, как там соблюдаются гражданские права!» Позже я поговорил с ним, но так и не понял, то ли это был агент реакционного правительства, стремившегося дискредитировать нашу миссию, то ли коммунист, напавший на меня за то, что я американец, то есть архивраг.

Другой писатель, рядом со мной, сказал, оторвав от стола одурманенную водкой голову: «Если меня еще раз арестуют, уеду. Больше не выдержу пыток». На нем был клетчатый спортивный пиджак, широкие брюки и красный галстук, волосы коротко подстрижены, как стриглись студенты пятидесятых годов.

— Вы марксист? — неожиданно сказал он.

— Что такое марксист? — переспросил я.

Он недоуменно посмотрел на меня:

— Как — что такое марксист? Марксист — это марксист! — В его голосе слышалась скорее боль, чем раздражение.

— Вы полагаете, что в то время, когда на советско-китайской границе две самые большие армии в мире стоят в полной боевой готовности, китайский марксист то же самое, что и советский? Два миллиона человек, и с каждой стороны портрет Маркса, прибитый к палке. А что думать о китайском марксисте, который сражается с вьетнамским у его границ? Не говоря о вьетнамском и камбоджийском марксистах, которые борются не на жизнь, а на смерть. О камбоджийском прополпотовском марксисте, воюющем против камбоджийского провьетнамского марксиста. Или об израильском и сирийском.

Я почувствовал, что задел его за живое, так как он не хотел думать об этом в подобном ключе. Его вид выражал отчаяние, ибо тело хранило следы пыток, перенесенных во имя единой и неделимой веры, в существовании которой я с такой легкостью позволил себе усомниться. Он взорвался.

— Нет, нет и нет! Марксизм един! — чуть ли не выкрикнул он, перекрывая звуки играющей рядом мандолины и приятный голос певца, исполняющего народные песни.

Я промолчал, но подумал о «едином христианстве», доказавшем свою несостоятельность в Ирландии, и о «едином исламе» в Ливане. Я вспомнил о Тридцатилетней войне в семнадцатом веке, в ходе которой именем Христа была практически разрушена Европа. И о «едином иудаизме» в Израиле, где ненавидят и убивают друг друга ортодоксальные и мирские евреи.

— А что, если мир возвращается к родоплеменному укладу? — сказал я. — Одна за другой от долгого сна

пробуждаются остатки древних цивилизаций, и марксизм является современным обоснованием атавистического образа жизни…

В разговор вступил новый собеседник. Это был Азиз Несин, автор огромного количества юмористических и поэтических сборников, марксист со дней своей юности, ставший теперь социалистом. Он неоднократно сидел в тюрьме и недавно пробыл за решеткой шесть месяцев по обвинению в оскорблении в одном из рассказов шаха Ирана. Нет турка, который бы не знал его имени и не помнил истории его жизни — бросив военное училище, он начал бороться против проамериканских диктатур своих бывших однокашников. Ему было под пятьдесят. Это был невысокий человек, исполненный чувства собственного достоинства. Поговаривали, что он состоятелен.

— Сразу после войны Сталин попытался отобрать у нас Босфор и Восточную провинцию, — сказал Несин, — да и теперь Россия еще претендует на огромную часть территории по эту сторону от границы.

Я был смущен — удивительно, что человек левых взглядов в разговоре с американцем резко критикует Советский Союз. Я ответил, что марксизм, по-видимому, не может сдержать русского экспансионизма, по крайней мере в этой части света, и он с грустью согласился, а в глазах мелькнула растерянность.

Прошедший сквозь пытки собеседник в спортивном пиджаке тоже скорбно кивнул и, не меняя темы, добавил:

— Да, американские империалисты понастроили десятки ракетных баз вдоль нашей границы!

Поскольку он затронул вопрос американского военного присутствия в Турции, проблема захвата Советами турецкой провинции отпала сама собой. Пытаясь понять ход их мыслей, я спросил:

— Как, будучи марксистами, вы расцениваете свое положение меж двух сверхдержав? Ведь обе угрожают независимости Турции, разве не так?

Они посмотрели на меня в полной растерянности. Их взгляд не отрицал, но и не подтверждал того, что они находятся между молотом и не менее достойной порицания наковальней, в некоем подвешенном метафизическом состоянии, в точке пересечения между логикой аргумента и неприемлемостью вытекающих из нее выводов. Я соприкоснулся с тайной отчуждения, феноменом, поразившим в послевоенные годы многих.

Люди принципа, поняв ложность своих убеждений, стараются спастись от отчаяния, утверждаясь в них еще глубже. Потерять надежду — значит погибнуть. В нескольких часах езды от

советской границы передо мной сидели два марксиста, которые знали, что русские хотят продвинуться в южном направлении на территорию их страны, и в то же время всю силу гнева обрушивали на Соединенные Штаты. Не важно, какова советская реальность. Россия была врагом их врага, и этого было достаточно, чтобы вдохновить их на борьбу с окружавшим со всех сторон противником.

Я понимал их отчаяние, ибо, если фактом пренебречь как ненужной деталью, ценой рассуждений о нравственности становится отчуждение, и больше ничего.

В начале пятидесятых в Америке ожили правые, сенатор Маккарти пошел в атаку на устои либерального общества, началась охота на инакомыслящих — конформизм поразительно быстро вошел в моду.

Вскоре стало известно, что появились драматурги, которые не могут найти продюсеров для постановки своих пьес на радио. Им отказывали под предлогом прокоммунистических симпатий, даже если они не состояли в партии. Общество ограждало себя на всякий случай. Америка испытала первую водородную бомбу — с одной стороны, многие осуждали это событие за безнравственность, с другой — опасались, как бы она вскоре не появилась у русских. Мао Цзэдун изгнал Чан Кайши — прочные основы либерализма расползались подобно тесту, которое вот-вот грозило превратиться в суфле. Нечто подобное произошло в один прекрасный день на Бруклинских Высотах.

Луису Унтермейеру, поэту, известному составителю многочисленных антологий, было за шестьдесят. Большой аристократический нос и страсть к разговорам, особенно о писателях, их творчестве, дополняли колоритный образ старого ньюйоркца. Сорок лет назад он отказался унаследовать фамильное ювелирное дело и предпочел стать поэтом. За это время Луис успел четырежды жениться, причем дважды на одной и той же женщине, поэтессе Джин Старр, преподавал, писал, издавал, а благодаря быстрому взлету телевидения стал национальным героем, выступив в роли ведущего телепередачи «Угадай мою профессию». Это была одна из первых популярных шоу-программ, где он перед телекамерой вместе с фельетонисткой Дороти Килгаллен, издателем Беннетом Серфом и Арлиной Фрэнсис с помощью незамысловатых вопросов, для ответов на которые почти не отводилось времени, должен был угадать, чем занимается тот или иной человек. Все это сопровождалось остротами, на которые, имея отменную память на каламбуры и анекдоты, он был большой мастер.

Луис любил поэзию и молоденьких женщин, не всегда, впрочем, соблюдая в своих пристрастиях эту последовательность. В день своего восьмидесятилетия он заметил: «Я все еще бегаю за ними, хотя сам не знаю зачем». Среди его закадычных друзей было много крупнейших американских поэтов, включая Уильяма Карлоса Уильямса, Роберта Фроста, Эдну Сент-Винсент Миллей и Марианну Мур. Он мог полдня радостно болтать с близким по духу человеком. Я был свидетелем тому, как величественный Роберт Фрост, много старше его, затаив дыхание, завороженно воспринимал из его уст лекцию по этимологии. В тот день у нас случилась неприятность. Мой спрингер-спаниель Рыжик — не поддавшаяся дрессировке молодая псина, которую позже все-таки пришлось отдать моему агенту по торговле «фордами», — вырвавшись, стремглав вылетел из дверей нашего дома на Уиллоу-стрит и, скатившись по ступеням, со всего размаху врезался в бок проезжавшей мимо машины. Оглушенный ударом, он рванул по улице так, что мне едва удалось догнать его в верхней части Борроу-Холл. Выслушав мой рассказ, Фрост, напоминавший одно из изваяний на горе Рашмор, посмотрел на меня и произнес: «Похоже, забавный песик».

Луис очень любил жизнь, особенно теперь, когда она улыбнулась ему, подарив всеобщее признание и возможность хорошо зарабатывать на телевидении. Его нынешняя и последняя жена Брайна, названная родителями-популистами в честь Уильяма Дженнингса Брайана, была редактором журнала «Мадемуазель» и обладала утонченным остроумием, в котором могла поспорить с мужем. Однако ей было трудно соперничать с его неуемной энергией: шутки сыпались из него как из рога изобилия, и она могла остановить этот поток, только зажав уши руками и громко закричав. В наступавшей тишине он шел к пианино и исполнял несколько бравурных пассажей из произведений Бетховена. Оба были милые, симпатичные люди, регулярно получавшие чек на солидную сумму и обитавшие в уютной запущенной квартире на Бруклинских Высотах.

Будучи уверен в собственном совершенстве, Луис потерял всякое критическое отношение к себе. Когда ему перевалило за девяносто, я единственный раз услышал, как он упрекнул себя в том, что, «пожалуй, слишком много писал», и порою, надо добавить, весьма поверхностно. Именно эта самоуверенность, на мой взгляд, погубила его — он оказался совершенно неподготовлен к удару, который получил, придя как-то за четыре часа до начала передачи в студию и услышав, что телевидение отказывается от его услуг. Незадолго до этого имя Луиса появилось в журнале «Лайф», в списке спонсоров Уолдорфской

конференции, и кому-то понадобилось раздуть кампанию, организовав письма против его участия в программе «Угадай мою профессию». Рекламодатели испугались, и телевидению пришлось ему отказать.

Драматизм ситуации усугублялся тем, что режиссер передачи был в свое время его студентом и прослушал у него курс по литературе. Изгнание мэтра его крайне огорчило, ибо это была его идея — пригласить Луиса на роль ведущего. Оправившись от шока, Луис позже вспоминал, как его ученик оправдывался: «Все знают, что вы никогда не были связаны с левыми, но отнекиваться бесполезно, вам все равно не поверят, только поймут, что вы не желаете быть правоверным американцем».

И Луис заперся дома. Как правило, мы встречались на улице не реже двух раз в неделю. Или раз в месяц созванивались. Теперь он пропал. И Брайна неопределенно отвечала, что он не хочет подходить к телефону, надеясь, что мы скоро увидимся. Я редко смотрел телевизор и пребывал в абсолютном неведении относительно исчезновения Луиса с экрана. Мне казалось, что он, если захочет, то позвонит.

Луис просидел дома не менее полутора лет. Его парализовал страх. Он испугался не столько политической ситуации, сколько хрупкости человеческих отношений. Это ужаснуло его. Он любил людей, и люди отвечали ему тем же — остроумие Луиса как ведущего вызывало всеобщий восторг. И вот результат — он оказался выброшен на улицу, забыт и никому не нужен. Впечатления от этой истории легли в основу пьесы «После грехопадения», которую я написал десять лет спустя.

Такой человек, как Луис Унтермейер, думаю, не выдержал не только по личным причинам, но в силу исторических обстоятельств — привычные в прошлом гарантии оказались неожиданно выбиты из-под ног. Вопрос в том, существовали ли они когда-нибудь вообще.

Именно в этом, на мой взгляд, в тридцатые годы заключалась провинциальная прелесть Энн-Арбора в сравнении с Нью-Йорком, где процветал дух взаимопожирания, когда на Пятой авеню часами мог лежать умирающий человек, дожидаясь, пока к нему подойдут узнать, что происходит. Минуло всего каких-нибудь десять — двадцать лет, и люди стали ностальгически оглядываться на тридцатые годы как на время взаимного понимания и поддержки. Когда возникла мысль, что тогда существовала солидарность и ее исчезновение обернулось злом? Порою кажется, нищенские тридцатые — некая высокая устоявшаяся отметка, относительно которой идет отсчет всего,

что было позже. Это известно даже молодым — от родителей или понаслышке. Дело не в том, что люди были более альтруистичны, но около 36-го года наступил момент, что даже те, кто не занимался политикой, задумались об объединении усилий для выхода из тяжелейшего кризиса. Взрыв массового тред-юнионизма был порожден суровой необходимостью, так же как первые плановые программы федерального правительства по облегчению положения населения в виде возрождения кооперативного движения в сельской местности, проекта администрации долины Теннесси, других общественных начинаний, которые обеспечивали рабочие места, одновременно помогая электрифицировать огромные территории, ремонтировать и возводить новые мосты, акведуки, осуществлять массовое восстановление больших лесных массивов, финансировать студенческие работы и исследования по краеведению. Впервые были собраны и опубликованы народные песни и сказания. Этот взрыв всякого рода активности породил ощущение, что правительство, несмотря на все просчеты и растраты, стоит на стороне народа. Хемингуэй писал: «У человека-одиночки нет… твою мать, ни одного шанса» — удивительное признание со стороны профессионала-одиночки, свидетельствовавшее, что на сцену вышел новый герой, человек, чье чувство собственного достоинства требовало солидарности со своими собратьями. Какое-то время казалось, что каждый ученик в школе готовился стать общественным деятелем.

В 1936-м, ко второму курсу, у меня сложилось достаточное представление о жизни на дне, чтобы не испытывать сентиментальных иллюзий. Толкая вручную тележку в нью-йоркском Центре верхней одежды, что было одним из моих летних приработков, приходилось постоянно бороться за место в очереди на почте с разными пройдохами и мошенниками, которые так и норовили, оттеснив тебя, успеть влезть в последний момент перед закрытием окошка, где принимали почтовые посылки. А чего стоил мой девятичасовой рабочий день водителя грузовика у Сэма Шепса, в городской толчее, в бесконечной борьбе за то, где припарковать машину и как въехать на мост. Не говоря уже о волнении, как бы не обокрали машину, пока я отношу или забираю запчасти. Ложность пафоса популярных песен, пьес театра и кино тех лет даже тогда была очевидна. Можно допустить, что сцена в стейнбековских «Гроздьях гнева», когда хозяин лавчонки бесплатно дает голодной семье буханку хлеба, вызывает взрыв чувств, но она совершенно не соответствовала действительности — я говорю о той реальности, которую знал.

Поэтому, когда первый день 1937 года я приехал из Энн-Арбора во Флинт, штат Мичиган писать для «Дейли» статью о сидячей забастовке на фишеровском заводе № 1 «Дженерал моторс», мои симпатии были на стороне бастующих. Однако, исходя из собственного рабочего стажа, я испытал глубокое удивление перед той неизвестной мне ранее солидарностью, которая связывала их. Трудно было представить, чтобы сотни простых заводских рабочих, завербованных в южных штатах, где к профсоюзам относились особенно враждебно, в один прекрасный день разом остановили машины, заперлись в здании и отказались покидать помещение, пока их профсоюз не получит юридического статуса.

Я приехал где-то в середине дня. Из Энн-Арбора меня подбросил молодой парень-шофер, который испытывал «форды». Его работа заключалась в том, что он накручивал километры на новой двухместной модели, которая модернизировалась раз в два года, и по телефону докладывал, если у машины что-то где-то ломалось. На заводах Форда к профсоюзам относились, конечно, так, как нигде, и, обрадовавшись, что у него есть попутчик, парнишка с Юга по дороге на Север, во Флинт, рассказывал, что Генри Форд, о чем было известно, приказал закачать в специальную систему разбрызгивателей слезоточивый газ, если рабочие надумают устроить сидячую забастовку. «Так что, слышь, если они устроят забастовку, я ноги в руки и домой; там обязательно кого-нибудь прикончат», — весело заявил он. В те годы дух фашизма обладал удивительной жизнеспособностью, однако события во Флинте, казалось, противостояли этому.

Здание завода Фишера растянулось вдоль широкого шоссе напротив административного здания «Дженерал моторс», где находились его штаб-квартира и управленческий аппарат. Оба здания через улицу соединял крытый переход. Боясь оказаться замешанным в какую-нибудь историю с профсоюзами, водитель «форда», быстро окинув взглядом улицу, уехал, оставив меня на тротуаре. У моих ног оказались трое национальных гвардейцев, двое — на корточках, один — растянувшись на животе, они устанавливали на треноге ручной пулемет, развернув его в ту сторону, куда ложилась тень от двухэтажного здания завода. Позже я узнал, что они стреляли по трем рабочим, которые вышли на крышу подышать, и ранили одного из них. Солдаты бесшумно сновали по улице с винтовками наперевес, а два армейских грузовика с новобранцами перекрыли оба въезда на улицу. Две полицейские машины стояли под странным углом колесами вверх, перевернутые мощной струей из шлангов, которые рабочие подсоединили к кранам с горячей водой,

пытаясь сдержать полицию и солдат. Для того чтобы никто не проник через крытый переход, его завалили кузовами «шевроле», поставленными на попа. Шел третий день забастовки. На улице стояла тишина, которую нарушали приглушенные звуки саксофона откуда-то изнутри здания, где импровизированная джаз-группа время от времени исполняла несколько тактов и замолкала. Кажется, в этот момент саксофонист упражнялся, играя соло. К окну второго этажа прильнуло множество голов, поскольку во дворе появилось несколько женщин с коробками с едой, которые рабочие подняли на веревках к себе наверх, обмениваясь шутками. Жены помахали мужьям и ушли. Мне объяснили, что там, внутри, люди сидят и спят на сиденьях машин, но обращаются с ними бережно, даже прикрывают бумагой. Как ни странно, право собственности все еще оставалось для них священно.

Местное отделение профсоюза я нашел на соседней улице и поднялся по лестнице наверх, в комнатушку над пустым магазином, откуда, по слухам, двое братьев командовали забастовкой. Молодой человек в бейсбольной шапочке смотрел в окно. Взглянув на меня, он представился как Уолтер Рейтер (поговаривали, его брат Виктор ездил в Советский Союз и был социалистом). Я спросил Уолтера, как обстоят дела. Этот бледный, задумчивый рыжеволосый мужчина отнесся ко мне, студенту-репортеру из университетской многотиражки, с уважительным вниманием, в котором сквозили простота и открытость. Я никак этого не ожидал, предполагая увидеть бравого молодца, равнодушного к моим проблемам.

— Ну что же, давайте посмотрим, — сказал он, откидываясь на стуле, — думаю, сейчас у нас не меньше трехсот членов…

Триста! Эта цифра показалась невероятной. В прессе было немало шума, что вся заварушка — пустое дело и все быстро закончится, ибо разве можно объединить в союз разнорабочих — ведь это не машинисты, не инструментальщики, не столяры, чьи зарекомендовавшие себя тред-юнионы возникли в начале века.

— И людей прибывает.

— Думаете, вам удастся добиться регистрации профсоюза? Сколько они смогут продержаться — пока не надоест?

— Думаю, столько, сколько надо.

— Скажите, что ими движет?

Он слегка усмехнулся.

— А чего, им там нравится.

Мы оба рассмеялись.

— Знаете, они пообтерлись. Проснулась какая-то гордость. Там вообще особая атмосфера.

Разговаривая с Уолтером Рейтером, я понял, что он отнюдь не считает, будто командует, — в лучшем случае руководит, направляя эмоции, которые рвутся наружу. Ходили слухи, будто к организации забастовки были причастны коммунисты, но никто не знал, где их можно найти, и мне так и не удалось поговорить с ними.

Я вернулся на занятия ко дню Победы, 11 февраля 1937 года, после того как руководство сдалось и был учрежден профсоюз автомобильных рабочих. Это вселяло теплое чувство от пребывания на земле; как и у многих, кто в то время писал или был причастен к искусству, возникло ощущение, будто присутствуешь при рождении какой-то доселе невиданной красоты. И было невдомек, что появилась новая форма понуждения, которая не часто, но все-таки будет демонстрировать миру свое циничное гангстерское лицо и при случае наложит запрет на сценарий моего фильма — однако это случилось только через пятнадцать лет. Надо признать, что профсоюз автомобильных рабочих все-таки всегда отличался особым демократизмом.

Подмена смыслов продолжалась. То был дух тридцатых годов, который выветрился к 49-му, когда Одетс попытался вызвать его из могилы своими заклинаниями на Уолдорфской конференции. Я помню монашек со сморщенными, перепуганными лицами, мимо которых тогда пришлось пробираться на заседание, и, когда через сорок лет читаю о том, что в странах «третьего мира» католические священники, вместо того чтобы обслуживать богатую верхушку, проповедуют бедным, а то и возглавляют революции, прихожу к мысли, что мир все-таки меняется. Особенно когда Совет католических епископов Америки осуждает бесперспективность федеральной политики, попустительствующей неграмотности, расизму и голоду среди значительных групп населения. И представляю, насколько впустую было бы обсуждать подобные вопросы с коленопреклоненными сестрами у входа в отель перед началом Уолдорфской конференции. В конце концов, и они и я смотрели на один и тот же мир, но я изменился не меньше, чем они.

Просидев два года над «Всеми моими сыновьями», я послал пьесу Герману Шамлину, продюсеру и режиссеру Лилиан Хеллман. Через три-четыре дня мне передали, что он «не понял» ее. Герман был самый престижный продюсер на Бродвее, весьма крутой человек, придерживавшийся жестких принципов, но вежливый и крайне обходительный, пока, по слухам, не выйдет из себя. По-видимому, он все-таки повздорил с Лилиан, и они

разошлись. Несмотря на то что ему позарез был нужен новый драматург с общественной тематикой, мою пьесу он не воспринял. Я не мог понять, что его смутило, но для меня это был крах, я потерпел фиаско, ибо самым серьезным образом работал над пьесой около двух лет, да еще дав зарок бросить драматургию, если «Все мои сыновья» не получат признания.

Кончал писать пьесу я на отделанном плиткой кухонном столике в нашем доме на Лонг-Айленде, неподалеку от Порт-Джефферсона, куда мы с Мэри и нашим первенцем Джейн выезжали на лето. И дал прочитать старинному другу и соседу по даче Ралфу Беллу, с которым когда-то вместе учился в Мичигане, а теперь он работал актером и записывался на радио. Его жена Перт Келтон, которая была старше Ралфа, выросла в театральной семье, работала в «Зигфелд фоллиз», пела в опере и одновременно выступала в комедийных ролях на Бродвее. Это она была исполнительницей роли миссис Крамден, первой жены Джекки Глисона в его телешоу «Молодожены». Прочитав пьесу, Перт сказала, что она большая, «как опера», и этот комплимент вместе с ее широко открытыми от изумления глазами убедили меня, что суждения Шамлина не стоит полностью принимать на веру. Тем более что в двадцатые годы в знак признания ее мастерства ей подарил свой знаменитый котелок с тросточкой сам Чарли Чаплин, которого Перт пародировала в шоу в «Фоллиз». У нее был грубоватый закулисный юмор и язвительный смех. Она изучала христианскую науку, пытаясь найти средство от эпилептических приступов. Летом 1946 года едва ли можно было предположить, что через четыре или пять лет, находясь в больнице в Чикаго, национальная телезвезда популярнейшей шоу-программы получит телеграфное извещение о том, что телевидение не нуждается больше в ее услугах.

В результате бесконечных запросов удалось выяснить, что причиной отставки явилось давешнее участие Ралфа в каком-то первомайском параде. Я знал, что Ралф никогда не был связан с левыми и тогда просто присоединился к протестовавшей неизвестно против чего группе актеров; что касается Перт, она вообще ни разу в жизни не голосовала.

То, что случилось с ней, было очень похоже на ситуацию с Унтермейером — беспощадная жестокость, с которой разделались с Перт и которой не выдержал бы и камень, поселила глубокий страх в ее душе. Хотя и на театре, и в кино, где она еще долго играла после того, как сгинуло проклятие с черными списками, ее карьера сложилась весьма успешно. В 1946 году трудно было вообразить какие-то списки, которые будут определять человеческую жизнь и карьеру, отключая питающую их энергию.

Я уже говорил, что один экземпляр рукописи отослал блистательному Лиленду Хейварду, по крайней мере номинально считавшемуся моим агентом, но тот не ответил. Примерно через неделю я зашел к нему в офис узнать, что случилось. Как выяснилось, пьесы он вообще не читал, находился в это время в Калифорнии и с ним невозможно было связаться. Тогда я заявил его обеспокоенному секретарю, что желаю получить назад все свои старые рукописи и разрываю всякие отношения. Пишу об этом, ибо взыгравшее ретивое свидетельствовало о появившейся внутренней уверенности, что меня уже ничто не остановит. Возможно, это была гордость отчаяния, но я забрал у него все свои ранние пьесы и с тем ушел. Успев, однако, уступить настойчивым просьбам секретаря оставить почитать мою новую пьесу мисс Браун.

Кей Браун стала моим агентом почти на все последующие сорок лет. Она дозвонилась мне на следующий день в Порт-Джефферсон сказать, что пьеса превосходна и для нее будет большой честью заняться ее судьбой. У Кей были кое-какие соображения, куда стоит отослать пьесу, учитывая отказ Шамлина. В тот день мы с Джейн и Мэри переезжали с дачи в Нью-Йорк. Я выжал педаль газа у нашего старенького, битком набитого детскими вещами, игрушками и другим скарбом двухдверного «нэш-лафайета», но стоило свернуть с Сазерн-Стейт-Парквей, как я проколол шину. Однако — знак добрых перемен — в двадцати ярдах оказался магазин запчастей, где за двенадцать долларов — растрата, которую едва можно было себе позволить, — приобрел новую покрышку.

Я слышал об Элиа Казане и, конечно, Гарольде Клермане, одном из руководителей «Групп-театр» и его самой заметной фигуре. «Групп-театр» распался за пять лет до этого, и эти двое недавно заключили союз, чтобы заниматься коммерческими постановками. Кей решила, что их можно попробовать заинтересовать, также как и Театральную гильдию. Через пару дней и те и другие затребовали пьесу для постановки.

Гильдию возглавляла Тереза Хелбурн, не без основания претендовавшая в данной ситуации на приоритет, ибо она возглавляла Бюро новых пьес, когда они в 1937 году выдвинули мою пьесу на национальную премию. Гильдия была первым постановщиком О'Нила, хотя в последние годы прослыла слишком «академичной», чтобы я мог чувствовать себя свободно.

В свою очередь, Казан и Клерман принадлежали к числу создателей театра тридцатых годов, замешенного на Станиславском и на социальном протесте. Вот уж что представлялось, на мой взгляд, истинно академичным.

Остановить свой выбор на них не составляло труда, но надо было предпочесть кого-то одного в качестве режиссера-постановщика. На мой взгляд, Клерман был мозговым центром «Групп-театр». В тридцатые годы он ставил всего Одетса и для людей со стороны, вроде меня, был легендарной фигурой. О Казане говорили, что как режиссер он был агрессивнее и напористее своего учителя Клермана, хотя младше его и не имел такого признания. К этому времени я был знаком со многими актерами, и о Клермане говорили, что как режиссер он может увлечься и часто промахивается, тогда как Казан, хоть и коварен, одним ударом умеет разрубить узел, дойдя с актерами до сути.

Побеседовав с каждым из них в его кабинете, сделать окончательный выбор было, естественно, нелегкой задачей. Если в режиссуре и существуют эксперты, то это были два непревзойденных мастера. После первых пяти тяжелейших минут я, кажется, влюбился и в того и в другого. Оба расточали пьесе комплименты и были благодарны, что я предпочел их Гильдии, что само по себе было победой их нового предприятия. В воздухе чувствовалось огромное напряжение. Казан, по-бойцовски откинув голову, кривил ухмылкой рот под нависшим носом. Клерман, прислонясь к спинке кресла, потирал руки, будто в ожидании жареной индюшки. Оба были счастливы и нетерпеливы. В те времена еще казалось, что, не считая врача, который спасает чужие жизни, написать достойную пьесу было самым большим делом, на которое мог сподвигнуться человек.

Это было как раз лет десять спустя после того, как я выяснял у Джима Долла, жившего напротив по коридору, сколько длится по времени один акт. В годы Депрессии Гарольд Клерман выступил проповедником нового театра, который кричал о несправедливости и врачевал занедуживший национальный дух. Казан играл в пьесе «В ожидании левых», а в «Золотом мальчике» исполнял роль Фюзели, гангстера, который в дверях гимнастического зала наблюдает, как Лютер Адлер подбрасывает в воздух портфель, а затем, не отрывая каблуков от пола, угрожающе наклоняется к нему и говорит: «Я рассчитываю на часть этого мальчика». Ах, с каким блеском это тогда игралось, какими точными и яркими мазками писался театральный образ! И вот теперь они оба горели желанием ставить мою пьесу. Дожил!

Я вел все тот же замкнутый образ жизни, время от времени перебиваясь случайной радиопьесой, чтобы оплатить счета, и не покладая рук работал над «Всеми моими сыновьями», пока пьеса не зазвучала как натянутый барабан. Все пьянило, как это всегда бывает в первый раз, даже когда я по утрам приходил в репетиционный зал на 57-ю улицу смотреть, как Клерман с

Казаном отбирают актеров. Конечно, ни один из них не напоминал «живых» людей, с которых я писал образы. Молодые женщины были чересчур красивы, а молодые люди чересчур привлекательны. Даже когда они выглядели как обычные люди, в них чувствовался особый актерский заряд энергии, которого не бывает у простых людей. Я боялся, как бы все не захлестнула волна искусственности. За эти пять или шесть недель я, похоже, узнал о театре больше, чем за все предшествующее время.

Способность Казана выявлять актерские индивидуальности воистину граничила с упражнениями по клинической психологии. Он мог казаться нежным и заботливо-участливым к актеру и, обернувшись, тут же дать оценку, которая у него сложилась от исполнения роли. Тех, кого отобрали, он в основном знал по сцене или когда-то видел, поэтому как такового настоящего конкурса не было. Клерман, от которого пахло как в парикмахерской, взялся проводить отбор среди дам — изнурительная каждодневная работа, придававшая ему пикантности и наполнявшая счастьем, хотя, в сущности, все это пена. Казалось, он не видит у них недостатков, только сильные стороны — дама могла оказаться обладательницей двух пар ушей, но зато у нее были прекрасные ноги, неотразимые глаза или очаровательная улыбка. На это наслаивалось страстное ожидание удачного спектакля. Будучи не в состоянии остаться равнодушным к параду дефилировавших перед его столом актрис, Уолтер Фрид, директор-распорядитель, не выпускавший сигары изо рта, шепелявым голосом молился на Клермана, который, когда помещение пустело, радостно потирая руки и пошловато смеясь, позволял своей молоденькой секретарше, одной из его восторженных почитательниц, драить ему ботинки, тем временем наказывая самому Господу: «Мне нужен забойный спектакль! Забойный спектакль!»

Подобный диктат в 1947 году имел свое историческое значение, ибо отталкивался от воспоминания о вечно бедствовавшем «Групп-театр», с которым будет покончено раз навсегда, как только осуществится эта коммерческая постановка. Теперь предпочтение при распределении ролей отдавалось наиболее подходящим по внешним, профессиональным данным актерам, а не участникам «Групп-театр», что порой делалось скорее по необходимости, нежели по желанию. При этом Клерман открыл еще одну неизвестную грань театральной жизни: пьеса не должна была никем субсидироваться, чтобы избежать давления в виде скучных натяжек в ущерб художественной и социальной направленности. Несмотря на то что его разочаровало мое решение — так по крайней мере мне показалось, — Клерман в

порыве одного из внезапных приливов энтузиазма ударил ладонью по столу и, встав, воскликнул: «Все, черт подери! Пьеса, считайте, сделана!»

Казан, начинавший в «Групп-театр» режиссером у Клермана и продолжавший взирать на него как на отца-учителя, тоже горячился, предчувствуя удачный спектакль, но все просчитывал, стремясь любой ценой к объективности. Он уповал, без скидок и авансов, только на реакцию публики. Клерман же бессознательно ориентировался на высокий суд культуры, к стопам которой приносил свое художественное творение. Если у него что-то не получалось, он мог найти утешение в некоем трансцендентном суждении, которое, даже если тебя не приемлет весь мир, перевешивает все остальное. Казан же взирал на небеса, только чтобы узнать, какая погода, а вовсе не затем, чтобы обрести внутреннюю уверенность, и его работа с актерами в основном сводилась не к режиссуре, а к тренингу. Остановив свой выбор на актере, он начинал расхаживать с ним по сцене, обхватив за плечи стальным объятием мягкой руки. «Правильно подобрать актеров — считай, на девяносто пять процентов поставить спектакль, — говорил он, — ибо зритель знает лишь то, что видит, и то, что слышит, а не то, что автор с режиссером хотели донести до него». Он без конца гонял актеров на репетициях «Всех моих сыновей», как я гонял себя, когда писал пьесу. Один раз он исподволь довел Карла Молдона, игравшего роль оскорбленного сына юриста — партнера Джо Келлера, незаслуженно посаженного им в тюрьму, до полного исступления, так что тот, выйдя на сцену к Луиз Уилер, исполнявшей роль его сестры, замер в мелких судорогах, потеряв дар речи, и чуть не упал в обморок. Казан был очень доволен тем, что ему удалось вывести Молдона из себя.

Точно так же он работал с Артуром Кеннеди. По мере продвижения от первого акта к кульминации второго его наивный идеализм должен был сменяться убийственным взрывом гнева в той сцене, которая, по мнению Казана, должна была либо возвеличить, либо погубить пьесу. Согласно его замыслу, Эд Бегли, виновный отец, сидел, в отчаянии опустив голову на руки, а Кеннеди подходил и обрушивал ему на спину свой кулак. После нескольких репетиций спина у Бегли ныла, и он вынужден был приспособить под пиджак резиновую прокладку, чтобы как-то оградить себя, настолько живы были эмоции во время работы над спектаклем.

Казан вошел в форму, и земля горела у него под ногами. Он работал уверенно, обстоятельно и попросил убрать из текста монолог соседа-врача о расставании с юношескими идеалами. Я

поначалу не согласился, но вскоре вслед за Казаном понял, что он скорее являлся авторским упражнением в красноречии, чем моментом внутреннего развития образа. В таких вопросах Казан полагался на особое чутье своей жены Молли, хотя, возможно, не в такой степени, как об этом ходили слухи. Мой опыт свидетельствует, что она действительно отлично улавливала основные линии пьесы и внутреннюю структуру образов, но иногда пыталась снять напряжение с узлов, близких к нерву пьесы. Казан был много поэтичнее, но иногда не знал, стоит ли давать волю прихотливому развитию пьесы, и старался «обезопасить» себя, строго придерживаясь сюжета. В каком-то смысле, причем не только в отношении театра, Молли воплощала его сознательное начало, была человеком, на которого он опирался, стараясь, однако, при случае улизнуть.

В постановке Казана жизнь выглядела, я уже говорил, словно подернутая завесой тайны. Причем эта таинственность была направлена не только против современного театра, но и против общества, капитализма — короче, всего, что не относилось к постановке. К нему все время кто-то подходил и что-то шептал на ухо, актеры также шептались между собой, бросая взгляды по сторонам. Для меня все выглядело ново и крайне интригующе. Я не очень понимал, что происходит, но испытывал любовь к этому человеку с его настойчивым стремлением сделать все безукоризненно. Чувствовалось, что ты играешь в первоклассной команде, у которой есть шанс на победу, и поэтому любые предосторожности казались оправданными. Зритель выступал как враг, которого надо ошеломить и овладеть им, как женщиной, и только потом полюбить. Успех был предопределен тем, насколько четко выявлена идея пьесы, обосновано ее право на существование, подобраны хорошие актеры и необычайно талантливый режиссер. Но Казан был не просто виртуозным профессионалом: опыт «Групп-театр», а также русские и европейские корни открыли ему, что спектакль — это срез толщи культуры, которая питает его, и взывает не только к зрителю, но и ко многим другим пьесам, живописи, танцу, музыке, а также всем остальным формам выражения человека, по которым в любой момент узнается эпоха. Поэтому одного актера он посылал слушать джаз, другому предлагал прочитать роман, третьего отправлял к психиатру, четвертого мог просто расцеловать. Он никогда не апеллировал ни к каким политическим идеям и личностям, но как-то само собой получалось, что он сторонник идеализма левых, сердцем и разумом разделяет симпатии к простому народу, рабочим и беднякам. Подобно Одетсу, в сороковые — пятидесятые он одевался в потертую одежду по

моде тридцатых — воспоминание об антифашистской культуре, в свое время сплотившей художников земного шара. Уже в 1947-м было ясно, что из-за своей внутренней позиции Казан находится в одиночестве. Его давний друг и содиректор Клерман, человек близких воззрений на жизнь и театр, вне его стен никогда не навязывал ему свою дружбу или политические взгляды. Гарольд тактично давал понять, что едет с вами до тех пор, пока это совпадает с его интересами, в противном случае он может сойти на остановку или две раньше. Как ни странно, Казан на сцене был внимателен и спокоен, а Гарольд мог разразиться тирадой, кричать, выходить из себя по пустякам, но, войдя в раж, никогда не забывал пойти пообедать. При этом, ни слова не говоря, мог поехать навестить больного или впавшего в депрессию актера и просидеть с ним пару часов, не выпуская его руки из своих. Однако работа для него всегда оставалась работой, и он старался не обещать больше того, что мог дать, лучше уж меньше. Короче, Клерман также не скрывал ни своего себялюбия, ни душевности.

Спектакль Казана доказал мне, какую красоту таит в себе единство всех выразительных средств постановки. Когда на сцене наконец установили декорации, меня озадачил выросший посередине травянистого внутреннего дворика бугорок, который актерам приходилось обходить, чтобы не споткнуться и не упасть. Особенно это мучило женщин, ибо они постоянно цеплялись за него каблуками. Стараясь подавить скрытую усмешку, я спросил Казана, зачем он понадобился. Казан спокойно ответил:

— Это могила.

— При чем здесь могила? Это же внутренний дворик.

— Декорации изображают кладбище. Не знаю, может быть, Макс и прав. Пойди расспроси его, потом расскажешь, что он сказал.

Мордекай Горелик, которого все звали Максом, тоже был ветераном «Групп-театр», «холерическим» гением, — оформляя спектакль, он мог в зависимости от метафоры, в которой для него выразилась идея пьесы, превратить сцену в кабинет дантиста, гимнастический зал или во что угодно. Я подошел к Максу выразить опасения, как бы актеры не споткнулись о его гениальность и не провалили пьесу. Это был безбородый Авраам, истовый фанатик с убеждениями террориста и улыбкой окропленного кровью ангела-мстителя, когда он своим аргументом сражает оппонента наповал.

— Споткнулись? Что-то я не заметил, чтобы кто-то споткнулся.

— По счастливой случайности никто не упал, но это вызывает у них неуверенность.

— Ну, с этим обратись к режиссеру, неуверенность по его части.

— Макс, ну зачем тебе этот бугор посреди сцены?

— Ты написал кладбищенскую пьесу, — отчеканил он, как будто каждое слово было написано огненными буквами в глубине моих глаз, — а не семейную хронику. Действие происходит на кладбище, здесь похоронен их сын, а вместе с ним их совесть, которая достает их из-под земли. И пусть кому-то не очень удобно, но что-то должно, черт подери, говорить, о чем пьеса. Так что бугор я не уберу.

Мне пришлось согласиться, что каким-то необъяснимым образом пригорок объединил пьесу вокруг некоего высшего действа, обладавшего определенной властью. А если кто-то из актеров случайно спотыкался, это в самом деле напоминало, что пьеса о больной совести. В конце концов, независимо от того, сыграл бугорок свою роль или нет, Макс настолько затерроризировал меня, Казана и всех остальных, что мы поверили ему. В противном случае с ним надо было конфликтовать — а это было самоубийство.

Казан, Клерман, Горелик, Артур Кеннеди, Карл Молдон — все это были люди, связанные с уже прекратившим к тому времени существование «Групп-театр», который пусть неоднозначно и опосредованно, но все-таки продолжал оказывать влияние на развитие театра, в том числе и за пределами Соединенных Штатов. Понятно, что к их идеализму я относился серьезнее, чем они сами, но я не был актером и мог позволить себе огорчаться, когда они ударились в отступничество: им надо было жить, и, стоило появиться вагону с деньгами, многие поторопились, пока он не исчез, вскочить на подножку. На репетициях, помогая друг другу, критикуя, давая советы, они напоминали футбольную команду, ибо идеал «Групп-театр» состоял в том, что они суть нечто большее, чем талантливые одиночки. Индивидуализм у них считался признаком актерского цинизма.

Первое исполнение пьесы в Нью-Хейвене захватило зрителей и пробудило потускневший идеализм военных лет. То, что такая серьезная работа может рассчитывать на широкое признание, повергло актеров в напряженнейший поиск новых нюансов, чтобы все, даже самая незначительная деталь, работало на общее впечатление. И на премьере в Бостоне и в Нью-Йорке спектакль напоминал четко прочерченную пулей траекторию, которая вдавливала зрителя в кресло.

Потребовалось немало времени, пока я понял, что известность была оборотной стороной одиночества. Особенно в те годы, когда драматургия считалась не столько искусством,

сколько ремеслом, и серьезная пьеса, способная завоевать Бродвей, вызывала зависть, ибо большинство попыток подобного рода кончалось провалом. Перестав быть только зрителем и став отчасти объектом созерцания, я все еще не мог свыкнуться с мыслью, что в моей жизни неизбежны перемены. И наверное, чтобы подтвердить свою неразрывность с прошлым, я через месяц-два после бродвейской премьеры «Всех моих сыновей» устроился на фабрику на Лонг-Айленде. Всю неделю, изо дня в день, в полном молчании приходилось стоять у вращающегося барабана вместе с шестью или восемью рабочими, мужчинами и женщинами, как отбывающим свой срок заключенным, — мы вставляли перегородки в деревянные коробки для пива. Пьеса приносила около двух тысяч долларов в неделю, а здесь я был самым низкооплачиваемым, получая сорок центов в час. Состояния ирреального отчуждения, в котором я оказался, пытаясь уйти от себя и одновременно обрести себя, мне хватило на несколько дней, все оказалось пустой тратой сил, и я взял расчет. Если не вдаваться во всякого рода рассуждения, то, видимо, это была попытка остаться одним из многих, тогда как известность подталкивала к тому, чтобы формально согласиться на одиночество. На самом деле никакой особой общности не было: рабочие, с которыми свела судьба, никогда в жизни в театр не ходили и едва ли собирались это сделать. Так что, если я в каком-то высшем смысле воображал, будто говорю от их имени, это было моим заблуждением, которого они бы не поддержали.

В то же время это была реакция на то, что я одержал верх, и мое былое соперничество с братом, в чем нельзя было прилюдно признаться и от чего нельзя отречься, разгорелось с новой силой. Я желал и в то же время не желал превзойти брата, точнее, это относилось к тому маленькому мальчику, который все еще жил во мне, тем более что я ведь знал, как Кермит мною гордится. Первый храм, однако, возникает в голове, и Бог в нем двуликий. Во всяком случае, возложив к ногам идола месяц низкооплачиваемой и отупляющей работы, я вернулся домой и засел за работу. Пьеса «Все мои сыновья» оказалась платой и по другим векселям, ибо это была первая крепко сбитая пьеса после семи или восьми других, более свободных по форме и велеречиво поэтичных. Теперь я вознамерился приоткрыть ту сторону жизни души, которая бы дала возможность взглянуть на царивший там хаос.

Работа на картонажной фабрике была не первой попыткой избегнуть одиночества писательского бытия. Именно стремление ко всеобщему единению подвигло меня почти год по доброй воле отработать во время войны на судоверфи. И надо сказать, тот

вклад, что я внес, ремонтируя корабли, в помощь тем, кто сражался, вероятно, едва ли может сравниться с моей работой на радио по заказам различных ведомств и учреждений. Я уволился с судоверфи в начале 1943-го, когда Герман Шамлин порекомендовал меня Лестеру Коуэну, продюсеру из Голливуда, искавшему начинающего писателя для сценария фильма «Вот вам ваша война» по материалам колонки популярнейшего военного корреспондента Эрни Пайла из «Юнайтед пресс». До премьеры пьесы «Человек, которому всегда везло» оставалось еще два года, я был неизвестен, но авторитет Шамлина как продюсера и режиссера убедил Коуэна, и он предложил мне семьсот пятьдесят долларов в неделю, чтобы я написал сценарий по книге Пайла. Много воды утекло, прежде чем эта идея воплотилась в фильме «История пехотинца Джо», но для этого над моим сценарием о роте пехоты на войне успели поработать, переиначивая и переделывая его, четыре или пять авторов.

Во мне жило предубеждение против сценария как своего рода искусства, он казался порождением волевого решения, а не внутреннего побуждения, и мне трудно было отрешиться от ощущения — единственное, что здесь требуется, — это высокий профессионализм. Однако за последующие несколько месяцев, когда я побывал в Форт-Беннинге, Кэмп-Кэмпбелле и посетил с полдюжины армейских лагерей, пытаясь взглянуть на войну так, как ее пока еще видела только горстка вернувшихся с поля боя военных, я узнал много больше, чем ожидал. На европейском театре военных действий наше присутствие было связано с Северной Африкой, где в сражении у Кассерина немцы нанесли нам ощутимый удар.

Не помню, чтобы в отличие от будущих войн в Корее и Вьетнаме кого-нибудь из танкистов, планеристов, десантников-парашютистов, пехотинцев в этих армейских лагерях посещало сомнение в нашей победе, безоговорочность которой была лишь вопросом времени. Многим армия давала возможность продвинуться вверх из пучины Депрессии, возвращения которой большинство ожидало по окончании войны. Я хотел понять, какие идеологические установки их вдохновляют, однако война не многим отличалась от игры в футбол: и там и здесь победа прежде всего была нужна, чтобы утолить честолюбие. И все-таки я написал документальную книгу «Ситуация нормальная», первую, которую удалось опубликовать, где попытался разобраться, чт***о*** за высшие цели движут этими людьми. Даже то меньшинство, которое хотело постичь смысл происходящего, не удовлетворялось объяснением, что война — это американский ответ на японский удар, считая, что решение вопроса зависело от

чего-то другого, но и тут нельзя было заметить и следа нигилизма, что станет характерным для вьетнамской и даже корейской войны. Будучи не в состоянии объяснить происходящее, они знали, что в этой величайшей в истории бойне на карту была поставлена порядочность. Иными словами, война шла повсюду — на всех континентах, в воздухе над их головами, в морских глубинах.

В сценарии нашло отражение мое прирожденное неприятие звездной болезни: каждого из солдат я пытался показать в эпицентре войны, перед лицом которой все равны. Я проработал в одиночестве дома над рукописью в течение пяти или шести недель, когда меня попросили привезти показать в Голливуд готовые полторы сотни страниц. До этого мне пришлось съездить с Коуэном в Вашингтон на встречу с командующими армейскими наземными силами, чтобы рассказать им о нашем фильме, ибо без мощной поддержки армии, без ее снаряжения, не говоря уж о нескольких подводных лодках и небольшой морской эскадре, фильм не мог быть поставлен. При этом невозможно было взять в толк, зачем все это, если у меня нет ни одной сцены на море. Пути Коуэна, однако, были неисповедимы. Этот невысокий человек с приплюснутым носом и ухмылкой, напоминавшей дольку мускусной дыни, в прошлом был баскетбольным тренером в Огайо.

Я провел трое суток в Вашингтоне в полном недоумении, ибо, судя по всему, каждый из высоких армейских чинов, генералов и полковников, которым меня попеременно представляли, был уверен, что фильм прославит на весь мир лично его. Я скромно молчал, что в сценарии нет ни одного действующего лица их ранга. В мире бушевала война, а Коуэну было достаточно снять трубку, чтобы собрать группу высших офицерских чинов, и они приехали слушать о фильме, основное достоинство которого, как он не уставал повторять, заключалось в том, что в центре будет «обыкновенный солдат с передовой». Единственное, что можно было выказать в ответ на эту сногсшибательную по новизне идею, так это патриотическое согласие. Я скрежетал зубами, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться.

Однако поездка в Вашингтон все-таки оказалась неслучайной. Меня пригласил поужинать мой друг Джо Лисс, литератор, писавший для радио и в те времена подвизавшийся в отделе фольклора в Библиотеке Конгресса. Кроме меня они с женой пригласили одну знакомую молодую женщину, несколько месяцев назад получившую извещение, что ее муж пропал без вести во время перехода кораблей в Мурманск. Его эсминец получил пробоину или затонул, сопровождая в Россию торговые

корабли с грузом по ленд-лизу. Когда я взглянул на ее расстроенное лицо, война неожиданно стала для меня реальностью. Она почти каждый день ходила в морское ведомство справляться о муже, не в силах поверить, что его не стало. Мы танцевали. Она сказала, что теперь спит с молодыми матросами. Меня поразило ее признание, но в то же время в нем было что-то трогательное; я понял, что таким образом она пытается сохранить связь со стихией, которая погубила ее суженого. Мне захотелось провести с ней ночь. Меня влекло не столько тело, сколько поэтичность идеи, ибо на самом деле она нисколько не отвечала моему представлению о красоте. Дыхание смерти обострило ее переживание жизни и секса, придав ему трагическое ощущение. Она возбудила мою чувственность, которую я так старательно подавлял, и стало понятно, что я отнюдь не тот высокомудрствующий педант, каковым себя считал.

Я был настолько погружен в свои мысли, что, когда мы ехали на поезде через всю Америку в Голливуд, имел неосторожность поделиться с Мэри, сказав, что меня увлекла эта женщина и, не будь я женат, наверное, переспал бы с ней. В моих словах не было ничего вызывающего. В контексте иной культуры они прозвучали бы как еще одно доказательство мужской легкомысленности или просто проявление человеческой природы. Но она восприняла это с чувством нескрываемого отвращения и омерзения, как будто я воспользовался зубной щеткой, найденной в туалетной комнате вагона, — и что-то надломилось в нашем обоюдном доверии друг к другу. Хотя ее реакция была неадекватной и глупой, она почувствовала суть: я заявил, что во мне не все принадлежит нашему браку. Как любые признания подобного рода, это шрамом легло на мое лицо, и наше прибытие в Голливуд оказалось натянутым и печальным.

Однако я был столь неистовым приверженцем брака, что со свойственным мне оптимизмом вскоре отогнал прочь это облако. Таков я был в двадцать пять с небольшим, и среди моих друзей тоже не было разведенных. На брак в Америке еще не смотрели как на нечто преходящее, и меня угнетало, что я потряс основы нашего союза, причем глупо, безо всякой нужды.

Между тем я работал, вернее пытался это делать, в отведенной мне комнате в «Дженерал сервиз студиоз», одноэтажном строении с окнами на широкую лужайку и огромные площадки звукозаписи, где одновременно снималось два или три фильма. Мой сценарий разослали режиссерам, один из которых участвовал в рискованной операции высадки десанта совместно с английским диверсионным отрядом в Дьепе. Он ежедневно наведывался, о чем-то конфиденциально беседуя с

Лестером, и через несколько недель, отозвав меня в сторону, спросил, заплатили ли мне, ибо ему не заплатили ничего. У него первого высосали идеи и после выкинули как отработанный материал.

Тем временем Лестер договорился, чтобы ко мне одного за другим присылали злополучных ребят-пехотинцев, которые делились военными воспоминаниями, ни одно из которых я так толком не смог включить в текст. В конце концов стало стыдно смотреть на них, воодушевленных перспективой попасть в кино, по целому дню томившихся в приемной, с тем чтобы превратиться в отработанный материал.

Наконец как-то вечером появился сам Лоренс Столлингс, известнейший сценарист, в числе прочих участвовавший в создании фильма «Какова цена славы?» вместе с Максвеллом Андерсоном, автор фильмов о войне, включая обожаемый мною с детства «Большой парад». На первой мировой Столлингс потерял ногу и ходил, сильно прихрамывая, что в моих глазах усиливало его военный авторитет. Шофер торжественно вез нас по сумеречному Голливуду, а я испытывал чувство гордости, что заслужил право на такую жизнь и такую работу, которая позволяет направить свой талант на службу антифашизму.

Столлингс говорил вкрадчивым, даже добрым голосом:

— Твой сценарий на редкость удачен, особенно если учесть, что ты не был на фронте. Здорово, что в фильме нет главного героя, а постепенно вырисовывается образ роты, а то и армии. Такого еще никогда не было.

Купаясь в его похвалах, я объяснил, что уделил всем равное внимание, хотел символически выразить демократические идеалы войны. И пошел дальше, указав на представлявшийся невероятным поворот событий на Восточном фронте, где русские, похоже, стали действовать так, что, казалось, вот-вот начнут теснить немцев, по техническому превосходству и военному потенциалу все еще считавшихся непобедимыми. Это стало возможным только благодаря вере русских в их идеологию, заключил я.

— Не совсем так, — ответил Столлингс с легкой усмешкой, взглянув на меня, как старший на младшего. — Они сделали упор на гвардейские дивизии, а солдат-гвардеец не думает ни о каком социализме, у него усы, особая униформа, и он никогда не отступает, никогда, он — гвардеец. Вот, пожалуй, на что тебе надо обратить внимание в сценарии. Не придавай слишком много значения теориям. Люди никогда не борются за веру или идею, а просто встречаются два здоровых парня, например ты с приятелем, и каждый хочет доказать, что он не трус и не дерьмо.

Война — это когда весь мир как пьяница в баре. Да, и еще одно.

Тут до меня дошло, что его прислал Лестер и это была не праздная болтовня. Речь шла о моем будущем, о фильме, и работа, которой я отдал несколько месяцев, вдруг оказалась подвешенной в воздухе. Столлингс произнес:

— Они никогда не будут снимать фильм по такому сценарию.

Я был потрясен. Почему, ведь он так нравится Лестеру?

— А с чего бы он должен ему не нравиться? Все фильмы про войну, Артур, пишутся одинаково. Есть хороший герой и плохой, причем они должны различаться по виду — один высокий, другой маленький, — чтобы не путать в пылу сражения. И обязательно девушка; она достанется не тому, кого любит, но в конце концов кто возьмет реванш. В финале ее оба бросают, потому что она иностранка, а зритель рыдает. Одного должны ранить, лучше в руку, или пускай у него будет повязка на голове.

Машина притормозила около дома, где мы остановились. Столлингс положил руку мне на колено.

— У тебя обязательно выйдет. Попробуй.

Я смотрел, как его машина растворяется в вечерней синеве. Стоя посреди сексуальных испарений Голливуда, я был растерян. Столько сил и надежд положено зря, и нет никакого желания писать сценарий вроде еще одного большого парада, который он мне только что пересказал. Не говоря об остальном, просто перед Эрни Пайлом я не имел права окутывать романтической дымкой его или тех, кого он любил, не имел права делать то, к чему меня склонял Столлингс, предлагая в качестве образца свой собственный фильм.

Право на постановку фильма «Вот вам ваша война» пытались приобрести все крупные кинокомпании. Но Коуэн единственный пообещал Пайлу, что в главной роли будет простой солдат, и, таким образом, оказался независимым обладателем прав, поначалу, как я потом узнал, получив только предварительное согласие. Пайл занимал в общественном сознании особое место. Его репортажи, которым доверяли больше, чем всем другим, ежедневно читали в солдатских семьях, где с нетерпением ожидали новостей, а Пайл всегда приводил имена и координаты тех, с кем его свела судьба на театре военных действий за океаном. Он не просто разделял с солдатами тяготы войны, но прошел больше боев, чем каждый из них, ибо оставался даже там, где то или иное соединение отводилось в тыл для передышки.

Пайл не искал ярких личностей и героев. То, что люди убивают людей, было катастрофой для человечества по обе стороны от линии фронта. До войны они ездили с женой по Среднему Западу на крошечном «форде» и он брал интервью

прямо на главной улице провинциальных городков, собирая для своих публикаций обыденные рассказы и ничем не выдающиеся истории. Его ежедневная колонка отличалась задушевностью, теплым юмором, некой атмосферой провинциальности. Война была такой же главной улицей, только теперь на ней были убитые.

Я не знал, что Пайл отказался подписывать с Коуэном контракт до того, как увидит сценарий, пока не приехал к нему в Альбукерк в штате Нью-Мексико. Но в тот момент, за несколько месяцев до решающей беседы со Столлингсом, мне особенно нечего было ему показать, кроме нескольких едва намеченных линий и разработок к сценам, которые были еще не написаны. Сидя у него в гостиной в Альбукерке, я понял, что меня послали к самому любимому репортеру Америки убедить его в серьезности намерений Коуэна, решившего поставить первоклассный фильм. Выступая в роли деревенского дурачка, я должен был обвести вокруг пальца высокие армейские чины, а теперь наступил черед Пайла. Куда как нелепая задача, когда само слово «Голливуд» означало для меня мошенничество.

Перелет на С-47, на котором я добирался из Голливуда, закончился страшной рвотой. Рвало не только меня, но и около двух дюжин пилотов морских бомбардировщиков, которые летели в отпуск с Тихого океана. Самолет попал в горах в такую болтанку, что каждую секунду то падал на несколько сот футов, то набирал высоту. Было видно, как дрожат крылья и как он почти ползет брюхом по макушкам деревьев, когда мы летели вдоль горного склона. Единственная, кого ничто не брало, — женщина лет около семидесяти; она сидела нога на ногу в одиночном кресле в правом ряду и, читая газету почти вверх тормашками, грызла шоколадку «Хёршес» с миндалем. Испытание оказалось настолько серьезным, что пилотов, когда они спускались, пришлось поддерживать. Почувствовав под ногами землю, я, как и они, на полусогнутых побрел в зал ожидания небольшого местного аэропорта и уселся, дожидаясь заказанного Пайлом такси, которое должно было прибыть за мной. Не успел я в гостинице улечься на кровати на спину, как ноги сами собой поднялись вертикально вверх. Я сел, потом попытался снова потихонечку лечь на спину, но ноги опять взмыли вверх, так что в конце концов пришлось лечь набок и дать им возможность самим найти удобное положение по отношению к телу. Когда я через неделю улетал в Нью-Йорк, Пайл представил меня в аэропорту, пока мы ждали самолета, женщине из сувенирного киоска, и она узнала меня. «Я боялась, как бы с вами не случился удар. Хотела вызывать „скорую“, когда за вами пришел водитель такси.

Невозможно было представить, что вы подниметесь и пойдете. На вас лица не было».

Как это нередко бывает в Америке с героями, Пайл оказался истерзанным, неуверенным в себе человеком с комплексом вины. Глядя на этого хрупкого, начинающего лысеть мужчину с пшеничными волосами, старающегося держаться в тени, невозможно было вообразить, что он добровольно стремится на поле боя. Они жили вдвоем с женой, которая в тот момент проходила курс лечения от алкоголизма, и он не скрывал этого. У них был небольшой дом с участком земли, одна из двадцати или тридцати новостроек на окраине города. Место казалось неуютным и душным, но с веранды открывался вид на столовую гору, на бесконечные просторы Нью-Мексико с его необыкновенной гаммой красок, меняющихся и вечно новых. После обеда мы прогуливались, любуясь на закат, по главной улице. Она была пуста, и случайная машина лишь подчеркивала поразительную тишину этого провинциального городка. Как-то вечером мы увидели на перекрестке одинокого индейца с узелком под мышкой. Он стоял и смотрел на заходящее солнце. Я думал, он ждет, когда переключат светофор, но он долго оставался недвижим. Через много-много лет я включил его в свой сценарий «Неприкаянных», но Джону Хьюстону не понравился этот символ американца, оторванного от своих корней, и он снял его общим планом, никак не выделив. Наверное, символ в человеческом облике — это что-то слишком личное, чтобы быть значимым для других.

Во время одной из таких вечерних прогулок в голубоватых сумерках я понял, что Коуэн решил использовать меня, чтобы я уговорил Эрни подписать контракт. Поэтому я счел необходимым предупредить его, что не могу ручаться за окончательный вариант сценария и он не должен руководствоваться своим хорошим отношением ко мне. Но им владело такое желание обессмертить простого американского солдата, что он уговорил себя, будто бы мое участие не даст превратить сценарий в дешевку. Я был настолько недальновиден, что поддался этим надеждам, и мы оба пребывали в счастливой иллюзии.

Как-то вечером я рассказал ему сюжет своей пьесы «Человек, которому всегда везло». Ее собирались ставить на следующий год. По ходу дела я разыграл у камелька в полупустой гостиной целый спектакль, заметив, что удивление на его лице сменилось восторгом. «Откуда ты взял этот сюжет?» Я сказал, что придумал, хотя на самом деле когда-то слышал рассказ родственницы жены. «Это история моей жизни», — признался он.

И рассказал, как был застенчив и скромен, так что нельзя

было вообразить, будто он станет королем репортеров. Погруженность в себя подтолкнула его писать репортажи, путешествуя с женой по провинции, и это принесло ему славу. Он же всего лишь стремился избежать необходимости писать по горячим следам и докучать людям расспросами, без чего немыслима журналистская деятельность. Ему удалось создать романтический образ супругов-соратников, воплотивших в себе черты вечных добродетелей невоспетого американского большинства. Он всю жизнь считал, что ему необыкновенно везет, и все-таки не мог взять в толк, почему профессиональная карьера сложилась настолько удачно. Где-то в глубине души его не покидало сомнение, что несчастье нагрянет, когда он меньше всего будет этого ожидать.

Мы пили, подогретые интересом к своим оказавшимся столь необычными судьбам, когда он, глядя в огонь, начал долгий рассказ о том, что пережил в Италии. Прошло несколько месяцев, как он натолкнулся там на груду мертвых тел — то были итальянцы и немцы. Все были свалены в кучу, по-видимому, погибли одновременно; они лежали, тронутые rigor mortis[14], с выпиравшими раздутыми мужскими членами. У некоторых так прямо из-под пуговиц. Их было человек двести, уставившихся в облака. Я вспомнил, что читал у него об этом, но, конечно, без мужских членов. Пряча глаза, он сказал: «Со мной такое бывало в детстве…» И оборвал фразу, ибо и так все было понятно.

Теперь наступил мой черед делать признание, и я, сам удивляясь этому, рассказал про женщину в Вашингтоне, чей муж-моряк пропал без вести. Но он опередил меня, прервав словами: «Никогда не делай таких глупостей. Брак — это все. Секс — пустое и до добра не доведет. Кажется, вроде без него никак, а на самом деле чушь. Ты сам говорил, что у тебя чудная жена…» Меня больше всего поразили глубина и откровенность его переживаний, в которых почудилась зависть к моей хорошей физической форме.

Но главное, что я понял в те вечера, он был не способен ненавидеть солдат противника, людей, как и наши, попавших в ловушку бойни. Через это высокое драматическое видение человеческого несчастья, стоящего над всеми политическими распрями, мне впервые открылась его трагическая натура. И потому я не мог обмануть его надежд на серьезный фильм, который никак не укладывался в рамки повествования о хорошем и плохом солдатах вместе с их девушками.

Я вернулся в Бруклин. Через несколько дней позвонил Лестер сообщить, что Эрни подписал контракт и с фильмом наконец все «определилось», — это прозвучало так, как будто он когда-то

говорил мне что-то иное. По этому случаю «Юнайтед пресс», где Эрни был звездой, давала прием, куда меня пригласили лично от имени главы этого ведомства Ли Миллера. В надежде увидеться с Пайлом я отправился туда на метро, пытаясь не думать о Столлингсе с его давешней трезвостью суждений.

Было уже около десяти вечера, когда во время приема в офисе «Юнайтед пресс» наступила пауза, во время которой десять или двенадцать из нас смогли ускользнуть на ужин в «21». Банкетная зала была наполовину пуста, а за столом, собирая в рот крошки от разломанного куска хлеба, одиноко восседал еще один герой Америки, Джон Стейнбек. Выяснилось, что он был давним другом Миллера, за счет которого в свое время в качестве корреспондента ездил в Россию и по всему свету. Ничего не оставалось, как присоединиться к нему.

Я никогда не встречался со Стейнбеком, но меня поразило, что, как и Эрни Пайл, он легко краснел. Однако в отличие от Пайла стремился укрепить себя физически, став воплощением сильного, мужественного и душевного человека с Запада. При этом он скрывал природную эмоциональность и обостренную чувствительность под агрессивно-циничным остроумием, граничащим с жестокостью. Он был автором «Красной лошадки», «О мышах и людях», рассказа «Дочь» и, конечно, «Гроздьев гнева», произведений, сцены из которых оказались впечатаны в Америку, как профиль индейца на пятицентовой монете, и у меня возникло легкое разочарование, что я увидел его в этом злачном месте. Я сел, как мне и полагалось, в конце стола и не участвовал в беседе. Пайл не ел и не пил, и я подумал, что у него, наверное, есть веские основания особо не ликовать по поводу этого торжества. Когда подали чек, Стейнбек схватил его и только после того, как Ли Миллер возразил, сказав, что за все платит «Юнайтед пресс», милостиво согласился решить вопрос подбрасыванием монетки. Проиграл и заплатил несколько сот долларов, которые стоил ужин. Его жест выглядел настолько нелепо, что все испытали неприятное чувство, когда он расплачивался с официантом.

На улице Пайл отвел меня в сторону: «Я надеюсь, вы не отдадите им все на откуп и доведете до конца, ладно?» Я пообещал сделать все, что будет в моих силах, а он сказал, что мы наверняка не увидимся до выхода фильма, поскольку он снова улетает за океан. И это несмотря на заявление Ли Миллера, что он больше, чем кто-либо, рисковал собой и теперь может до конца дней своих заниматься в «Юнайтед пресс» чем только ему заблагорассудится. Но в глубине его глаз можно было прочесть, что он глубоко несчастлив — это было особенно заметно после неискреннего ночного веселья. Мы пожали друг другу руки. В

1945-м во время сражения за какой-то небольшой островок около Японии его в одиночном окопе настигла прошившая навылет пуля. Ему просто перестало везти. А может, он не мог пережить своих мертвых или свое время.

Мы шли со Стейнбеком по Шестой авеню по направлению к его дому. В нервозности и неудовлетворенности этого человека собой было что-то почти маниакальное. Его жена, алкоголичка, недавно упала с балкона, и он страдал от особого раздвоения личности, присущего известным людям, — желания довериться и неверия ко всем доверенным лицам. Он был похож на нескладного провинциала, типичного представителя своего слоя. И с чеком тоже вышло как у провинциала. Ни один нью-йоркский писатель не додумался бы платить за десятерых, которых не приглашал на ужин, что свидетельствовало скорее о внутренней неуверенности, чем о присущем ему благородстве. Было прохладно, мы шли без пальто и, приблизившись к парку, с радостью вдыхали бодрящий воздух. Он напоминал скованного исполина, которому пристало жить на земле и радоваться воде и солнцу, а не ходить по тротуару среди обычных людей. Его лицо перестало покрываться от смущения пятнами, он прекратил сардонически хохотать над жестокими откровениями человеческой природы — в ресторане он был сама разгулявшаяся ирония, — но все равно оставался нервным, беспокойным и несчастным. Я не знал, что он только что разошелся с женой. И никак не мог допустить, что автор такой ясной и красочной прозы может мучиться от неуверенности в себе.

Я пожелал Стейнбеку спокойной ночи и отправился в метро. Двери почти пустого вагона уже закрывались, когда вошел классического вида старый еврей, прижимая к груди обязательный узелок, завернутый в коричневую бумагу и перевязанный. У него была длинная белая борода, широкополая черная шляпа, традиционные пейсы и внутреннее напряжение человека, который уцелел. Такие люди мне всегда казались атавизмом, ископаемыми давно минувших дней. Отец сталкивался с евреями-ортодоксами в легкой промышленности. Их образ жизни озадачивал его: они либо просили милостыню, либо сильно ловчили в бизнесе — обвинение, с которым я тоже с трудом мирился.

Казалось, оглядывая цепким взглядом немногочисленных пассажиров, старик взопрел от беспокойства. Наконец решился сесть около меня. Его раскрасневшиеся щеки напоминали залитое румянцем лицо Стейнбека в ресторане. Весь вечер меня преследовали нервные люди. Он неожиданно наклонился и прошептал мне на ухо:

— Вы еврей?

— Да.

— Так вы еврей? — переспросил он, требуя дополнительных доказательств, чтобы убедиться, что не ошибся.

— Я сказал «да».

Его глаза понимающе расширились, и старик решил рискнуть:

— Он остановится на Чэнел-стрит?

Я чуть было не рассмеялся, но утвердительно кивнул, мол, обязательно остановится. Он, казалось, удовлетворенно затих. Я тоже испытал облегчение. Сквозь рукав пиджака чувствовалось тепло его тела. То, что таких людей преследовали как диких зверей, в который раз показалось невероятным. Я решил, что буду сражаться за сценарий до последнего, чтобы оказать поддержку нашим, тем, кто сейчас воевал, а для этого каждому в фильме дам высказать свою точку зрения и проявить себя.

Вернувшись через несколько недель в Голливуд, я был обескуражен, встретив в кабинете Коуэна еще одного потенциального режиссера фильма, которому не заплатили за работу. Как-то днем я загляделся от нечего делать в окно, как вдруг на зеленой лужайке, словно во сне, возникли двадцать прекрасно сложенных танцовщиц кордебалета, все с одинаковыми металлическими коробочками для завтрака в руках. Расположившись под невысокой белой греческой аркой на дорических колоннах, оставшейся, видимо, от других декораций, они принялись за еду. Их лица были раскрашены наполовину в белый, наполовину в зеленый цвет, так же как трико и чулки с туфлями. Одна из них поднялась на длинных красивых ногах, напоминая человекоподобную газель, и подошла к другой поболтать. Они были вдалеке, и тишина усиливала впечатление галлюцинации. Приехал трактор, тащивший за собой вагончик бродячего цирка с огромным бурым медведем за решеткой, и остановился в толпе девушек, которые смеялись и радостно махали медведю, а он взирал на них с таким видом, как будто для него это было тоже как во сне.

Откуда ни возьмись на лужайке появилась нескладная старомодная прогулочная «минерва» с откинутым верхом и шофером в униформе. Подъехав к пестрой компании, автомобиль затормозил возле клетки. Это был один из тех роскошных лимузинов, которыми мы когда-то любовались с Сидом Фрэнксом. С заднего сиденья поднялась медсестра в белом халате и помогла встать пожилому господину, передав его с рук на руки торопливо выскочившим навстречу машине откуда-то из-за

павильонов двум молодцам, опустившим джентльмена на землю. Я понял, что это приехал У. Филдс.

Около клетки поставили раздвижную лестницу, и великий комик, который, несмотря на прохладную погоду, был в соломенной шляпе, поднялся на три-четыре ступеньки на платформу вровень с полом клетки, где уже примостился фотограф, наводивший свой «Графлекс». Филдсу дали яблоко, и он, просунув его сквозь прутья клетки, пытался заставить медведя подняться. Медведь моргал, не проявляя к яблоку никакого интереса. Филдс бросил его ему, и медведь жадно проглотил, но не поднялся. Филдс взял другое яблоко и поднял его высоко между прутьями, но снова безрезультатно. Неожиданно, без видимых причин медведь поднялся и сгреб прутья гигантскими лапами, вытянув морду к яблоку, которое Филдс держал уже далеко. Последовала вспышка: на фотографии Филдс вышел в нескольких дюймах от медведя, причем его лицо, когда он обменивался с животным взглядами, было удивительно похоже на морду медведя.

Медведь все еще тянулся к яблоку. И тогда Филдс осторожным движением вытащил из кармана водяной пистолет и с выражением безграничной злобной радости выстрелил прямо в изумленную морду животного. Тот отпрянул, чуть было не завалившись на спину, Филдс с поразительным проворством поспешил вниз и уселся в машину, которая тут же рванула с места, в то время как медсестра укутывала его колени пледом.

Трудно было заставить себя вернуться мыслями к эпосу о Второй мировой войне, лежавшему на моем столе. Я исчерпал свои возможности и только переставлял сцены местами, хотя Коуэн загадочно намекал, что текст требует доработки. Есть ли всему предел и где он? Меня настолько угнетала несовместимость святости жертв войны с абсурдностью Голливуда, что воображение отказывалось работать. Девушки ушли, медведя увезли вместе с клеткой, осталась плоская одинокая греческая арка. Тут я услышал под окном рев мотоцикла. С черной машины соскочил затянутый в черную кожу мотоциклист в черной каске с нашлепками и гербами, в блестящих перчатках и кожаных крагах. Типичный посланец в духе Голливуда, подумал я и попытался сосредоточиться на тексте, но кто-то постучал в дверь. Открыв, я увидел мотоциклиста с каской под мышкой, который сдергивал с руки перчатку. Я никак не ожидал, что это мужчина средних лет, да еще в очках, и решил, что он привез послание от Коуэна, который находился в Вашингтоне, скорее всего утрясая вопрос, как бы заполучить сто тысяч танков и не меньше миллиона солдат.

— Вы Миллер?

— Да. — Я ждал, что он вручит мне письмо.

— Моя фамилия Лемей, я ваш соавтор.

— Какой соавтор?

— Что, Лестер не сказал вам? Он хочет, чтобы мы писали вместе.

— Нет, ничего не говорил. Проходите, садитесь.

Не раздумывая, я тут же решил, не ссорясь, отказаться от этой работы. Однако стоило разобраться, как у них здесь все это делается.

Мы уселись за пустой стол. Элан Лемей, чье имя, как мне удалось вспомнить, мелькало в титрах каких-то приключенческих фильмов, был опытный профессионал и радовался возможности взяться за интересную работу. Он вытащил из кармана пачку чистых карточек и разложил на столе.

— Для начала, думаю, надо написать имя каждого персонажа на карточке.

— А потом?

— Перетасуем, сократим их количество. На каждое имя напишем его историю и посмотрим, нельзя ли приписать кому-нибудь одному несколько ситуаций, три, а может, четыре.

— Понятно. Это для того… ну чтобы один плохой, а другой хороший?

— Их не обязательно будет два, может быть три, четыре. Но один главный, а другой неудачник. Без этого не обойтись. Вы сегодня уже обедали?

— Нет еще. А что, может, прокатимся на вашем мотоцикле?

— Отлично. Я знаю одно местечко в миле отсюда.

Выходя из комнаты, я вдруг впервые за время пребывания в Голливуде ощутил, что у меня на душе спокойно. Проходя мимо секретарши Коуэна, я попросил ее послать ему в Вашингтон телеграмму с благодарностью за предоставленную мне возможность работать над фильмом, и с напоминанием, что никогда не соглашался ни на каких соавторов и потому считаю свои обязательства выполненными.

Лемей оказался великолепным шофером, и ехать на заднем сиденье его «бритиш траймф» было сплошным удовольствием. На поворотах нас заносило в сторону, и мы внезапно и так изысканно затормозили у ресторана, что я чуть было не перелетел, заскользив по его кожанке, через его голову.

Лемей наверняка внес свою лепту в сценарий, потом его сменил кто-то другой, затем третий. Выйдя на экраны, фильм «История пехотинца Джо» все же оказался на редкость удачным. Конечно, в нем почти невозможно было угадать исходный

сценарий, так как он превратился в незатейливую историю о заботливом капитане-пехотинце (в этой роли снялся Роберт Митчем), которого в конце убивали. Это была трогательная история, ни в профессиональном, ни в человеческом плане не представлявшая для меня никакого интереса. Роль Эрни исполнял молодой лирический актер Берджес Мередит с типично американским интеллигентным мягким лицом. Однако меня не покидало ощущение, что в нем нет масштабности Пайла, и не оттого, что он так играл, а оттого, что в сценарии все было выхолощено. Только через десять лет, в разгар вьетнамской войны, я по-настоящему оценил мысль Пайла, что всякая война — это гражданская война между братьями и никакая слава не может искупить братоубийство, ставя под сомнение смысл жизни как таковой. В фильме же воевали враги, ибо в те времена невозможно было приравнять немцев к тем, кто сражался против них. Пайлу языком простых людей с главной улицы американской глубинки удалось показать войну как подлинную трагедию, хотя он наверняка отказался бы от этого слова как слишком вычурного. И если Коуэн все-таки создал нечто достойное Пайла и американцев, этот портрет был недостаточно глубок по сравнению с тем, чего они заслуживали. Моего имени в титрах, конечно, не было. Но лет через шесть, когда я был автором «Всех моих сыновей» и «Смерти коммивояжера», Коуэн, к моему несказанному удивлению, позвонил и тем же ясным голосом с рокочущей усмешкой предложил, чтобы мое имя было восстановлено в титрах возобновлявшегося к повторному показу на экранах фильма. Я ответил, что больше не считаю этот сценарий своим.

— Артур, но там полно твоего материала. Я бы даже сказал, все лучшее в фильме — твое.

— Да неужели? Вот уж не знал, хотя, может, вы правы. — И наполовину шутя, но только наполовину, добавил: — Послушайте, Лестер, если вам так неймется поставить мое имя в титры, то придется заплатить мне тысяч двадцать, не меньше.

Он расхохотался. Я тоже. Так для меня закончилась «История пехотинца Джо».

V

И вот я снова в Альбукерке, хотя Пайла пять лет как нет и прошло около десяти лет с тех пор, как мы, болтая о том о сем, бродили по пустынной главной улочке, залитой лунным светом. Теперь «Супершеф» стоял на солнцепеке у перрона, дожидаясь, пока зальют воду. Прогуливаясь, я дошел до последнего вагона и встал, глядя, как по песчаной земле Нью-Мексико убегают вдаль рельсы. Тишина всегда вселяла в меня какое-то благоговейное чувство. Огромное небо было чистым и голубым, как в день сотворения мира. В свои тридцать пять я не знал ничего, кроме работы, и у меня, как у героя «Свахи» Торнтона Уайлдера, хватало приключений, но не было никакого опыта. Интересно, думал я, когда же наконец кончится работа и начнется жизнь.

Меня не покидало ощущение, что время уходит, а я не в силах ничего сделать, будучи не в состоянии объять величие американской жизни, которая течет вокруг на этом преследующем меня видениями континенте. Я гордился тем, что написал «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера», мне вспомнился одинокий индеец, которого мы с Эрни видели на закате на перекрестке в Альбукерке. Как ни странно, захотелось увидеть его снова, и даже показалось, стоит найти перекресток, как он будет стоять все там же и смотреть на закат в позе, от которой исходила великая грусть. В моем воображении он стал частью ландшафта.

Я испытывал воодушевление от того, что завтра буду в Голливуде. На этот раз я ехал туда как автор двух нашумевших пьес и вез необычный сценарий, которым, независимо от того, будет поставлен фильм или нет, имел основание гордиться. К тому же это была попытка проложить дорогу к сердцу Америки, точке созидания, за которой пустота.

Присев у железнодорожных путей на забытый кем-то ящик из-под пива, я попытался представить, что живу здесь и просто пришел посмотреть на проходящие поезда — искушение стать не самим собой, растворившись в этой самой Америке. Что-то в моей жизни было не так. Наверное, я слишком рано женился.

Казан сидел в купе и читал мой сценарий о портовой жизни. Это было достоверное повествование, но я никогда не жил той жизнью и поэтому не очень-то себе доверял.

Из-под поезда появился серый кот и уставился на меня. С его точки зрения, я наверняка смахивал на кого-то из местных. Плоский, как веер, он с удовольствием выгнул спину, прислонившись к нагретому солнцем колесу. Стоит мне сейчас

отстать от своего поезда, я окажусь совершенно один, потому что в Нью-Мексико у меня никого нет. Возникло ощущение полной свободы и неограниченных возможностей.

И все-таки я вспомнил, что в Нью-Мексико у меня был знакомый. Единственный из всех, кого я знал, он носил очки в восьмигранной оправе и зачесывал волосы на прямой пробор. У него был курносый нос и крепкая кряжистая фигура. В 1950-м американцам было непросто объяснить, почему Ралф Нифус весной 1937 года в возрасте двадцати трех лет должен был уйти из жизни, причем добровольно. Он вырос на ранчо в Нью-Мексико и до того, как попал в Мичиганский университет, никогда не уезжал на восток дальше Миссисипи. С виду похожий на учителя, он был одним из тех жителей Запада, которые говорят тихим голосом и медлительны в принятии решений, но потом от них не отступают. Мы почти не говорили с ним о политике, бок о бок из месяца в месяц занимаясь мытьем тарелок в кооперативном кафе. Да и о чем было говорить в связи с Испанией — у нас не было никакого сомнения, что фашистов надо остановить. Я никогда не спрашивал, коммунист ли он: тогда это ничего особо не значило, не говоря о том, что все добровольцы были членами партии.

Мы ехали с ним на восток через весь Огайо в моей крошечной двухместной малолитражке 1927 года выпуска, в которой едва помещались два человека — я недавно купил ее у одного из выпускников за двадцать два доллара, — и меня снедал неразрешенный вопрос, граничащий с ощущением собственной греховности. Я то хотел бросить все и вместе с ним записаться в испанскую бригаду имени Авраама Линкольна, то приходил в ужас от того, что так и не напишу великую пьесу. Хуже всего было то, что я не мог представить себе, как сообщу об этом маме. В моем представлении, уезжая на войну, я не мог возвратиться. Точно так же я относился к сидевшему рядом со мной Ралфу, который под ровный стрекот автомобиля молчал, как сам Нью-Мексико, — для меня его уже не было в живых. Стемнело. Накрапывал дождь. Мы ехали по шоссе к востоку от Буффало, поднимаясь в горы. Единственный дворник работал только вручную, и любая кочка грозила лишить машину управления, если не вцепиться в руль, пока другой рукой манипулируешь дворником. Дождь хлестал все сильнее и сильнее, пока вообще не пропала всякая видимость, и, аккуратно съехав на обочину, я почувствовал под колесами землю. Решив, что мы где-нибудь в поле, я остановился, выключив двигатель и подсветку. Налетая волнами, дождь барабанил по матерчатой крыше как шрапнель.

Сидя в темноте плечом к плечу и согревая друг друга, я впервые спросил, как вступают в бригаду. У него был какой-то

адрес в центре Нью-Йорка. Партия обеспечивала его документами на отъезд. Он не знал, выдают ли в бригаде форму, полагая, что скорее всего не выдают, и собирался идти в бой в своем обычном костюме. «Я хорошо стреляю из винтовки», — было его первым и единственным замечанием о себе, но меня не удивило, что, придерживаясь левых взглядов, он подавлял в себе всякие личные чувства. В конце концов, по сравнению с долгом они не играли никакой роли. В этом было что-то от психологии священнослужителя. Я решил расспросить его: сообщил ли он обо всем этом своим родителям.

— Да, — сказал он и замолчал.

— Как они отнеслись?

В полной темноте я почувствовал, как он повернулся в мою сторону и посмотрел с удивлением.

— Не знаю, — ответил он, как будто никогда не задумывался над этим. Он обручился с войной.

В грядущие полстолетия над всеми освободительными войнами будет витать тень Испании и долгий окрыленный верой взгляд Ралфа Нифуса будет осенять Китай и Вьетнам, маки и алжирский ФНО, все войны, где необученные фанатичные люди будут воевать против регулярных армий.

Дождь не утихал, а я провел весь день за рулем. Мы не могли разместиться в машине вдвоем, и я уступил ее Ралфу, вытащил из чемодана непромокаемый желтый плащ и растянулся на влажной земле, подложив руку под щеку. И тут же провалился в сон, а дождь все лил над моей головой.

Меня разбудило солнце. Я увидел перед собой пару женских ботинок, толстые икры и чьи-то ноги. Сверху на меня взирала рассерженная женщина средних лет. Невдалеке стоял дом. Оказывается, мы заехали на ее заливной луг — следы от колес впечатались глубоко в землю. Я что-то пробормотал, но она была так разгневана, что оставалось только поскорее убраться.

Через несколько миль приводной ремень планетарной передачи начал соскакивать, и, открыв коробку передач, я подтянул его. Теперь мотор ревел изо всех сил, но, доехав до середины горы, мы остановились. Пришлось разворачивать машину и подавать задом. Обгонявшие нас шоферы, видя, что мы едем вниз по чужой полосе, во избежание аварии жали на тормоза, аккуратно пристраивались в хвост и обгоняли, немилосердно ругаясь через стекло, только один или два весело поддержали. Потом сел аккумулятор и отказали тормоза. Поэтому, минуя какой-нибудь городок, приходилось включать передачу заднего хода, чтобы притормозить, в то время как, высунувшись из окон, мы колотили по дверям и кричали, чтобы

предупредить народ. У меня было около трех долларов, Ралф, выделив четыре, согласился взять на себя половину оплаты стоимости бензина, поэтому ни о каком ремонте речь идти не могла. Мы должны были во что бы то ни стало добраться до Нью-Йорка, чтобы Ралф попал на войну в Испанию и погиб, и все это на машине, которая была в самом плачевном состоянии. В душе я уже скорбел о нем. В моих глазах он стал красавцем, чего на самом деле нельзя было сказать о его слегка вздернутом носе, задумчивом взгляде и невероятно прямой шее, которая почему-то выглядела как-то наивно.

Когда мы наконец въехали на мост Джорджа Вашингтона, передние колеса начали выделывать такие антраша, какие выписывает шуточный автомобиль в цирке. Я едва успевал выкручивать рулевое колесо. Солнце над Гудзоном в этот божественный июньский день тоже выписывало схожие кренделя. Стоило нам съехать с моста и въехать в Нью-Йорк, как невесть откуда взявшийся полицейский лениво сделал нам знак рукой. Для того чтобы не наехать на него, пришлось нажимать на передачу заднего хода. Машина взревела, как обычно бывает, но остановилась, тяжело вздыхая. Направившись к нам привычной размеренной походкой, полицейский подошел к моему окну и внимательно оглядел машину. Тоже наивный тип.

— Надеюсь, вы не собираетесь разъезжать на этой штуковине по городу, так ведь и задавить кого-нибудь можно. Это большой город, здесь много людей, машин.

Наши мичиганские номера, видимо, убедили его, что мы какие-нибудь провинциалы из городка, где не больше двух улиц.

— Да нет, нам только до Бруклина, а там я ее поставлю…

Он не знал, как быть и что сказать, но я решил прикинуться дурачком и спросил, как проехать до Риверсайд-Драйв. Мичиганские номера и два привязанных веревками со стороны Ралфа чемодана, очевидно, взывали о снисхождении, и, указав на фонарный столб, полицейский сказал:

— Видишь вот этот знак?

— Ага, — ответил я, стараясь работать под провинциала.

— Это указатель на 169-ю улицу, понял? Свернешь направо, а дальше на каждом углу ищи указатель на 168-ю, 167-ю, 166-ю, 165-ю…

— Понял. Это улицы.

— Во-о-о-т точно, улицы. Доедешь до 164-й, свернешь направо, там начинается Риверсайд, Только не гони, слышишь? Не торопись. В Бруклине будешь через час. Так что давай потише. Счастливой дороги.

— Спасибо большое.

— Постарайся ни на кого не наехать.

Ралфу захотелось посмотреть на 42-ю улицу, мы свернули и поехали через весь город. На углу Бродвея он в первый и последний раз зачарованно взирал на жизнь нью-йоркских улиц. Бродвей еще не попал во власть кокаинового и героинового угара. Но уже ярко вспыхивали на солнце огни театральных реклам, и неприятный душок саморекламы был таким же лживо жизнерадостным, как и всегда. Сновала полуденная толпа гуляк, молодежь из Бруклина или Бронкса пришла посмотреть в «Парамаунте» или «Паласе» последнюю новинку кино. Они аппетитно жевали пятицентовые бутерброды с сосиской, наслаждаясь великолепием этих дворцов кино, столь отличных от серых непритязательных зданий расположенных по соседству театров.

Стоило выехать на Оушен-Паркуей, моя модель «Т», как конь, почуявший конюшню, перестала выписывать кренделя и прекрасно вела себя, так что мы вздохнули свободней на этой почти пустынной улице. Ралфа весьма озадачили лошади на маршруте для верховой езды, ибо он с трудом мог вообразить, что люди тратят деньги на то, чтобы поездить верхом, да еще для праздного развлечения. Я признался, что нередко сам занимался этим за два доллара в час. Он наклонился к переднему стеклу, внимательно разглядывая растянувшуюся на милю застройку из аккуратных домиков на одну семью, как человек, который попал за границу. Дома мама очень обрадовалась нашему приезду и постелила ему на диване. Но услышав, куда он едет, вся как-то подобралась, опасаясь, что своим примером он может заразить и меня. Ее глаза угрожающе потемнели, когда я заговорил о его грядущем отъезде в Испанию. Поскольку в бригаду имени Линкольна набор добровольцев шел нелегально, Ралф хранил молчание. Накануне отъезда, в третий вечер по прибытии, он, несмотря на наши неуклюжие попытки его разговорить, окончательно замолчал. Я почувствовал ненависть к матери за ее безудержный эгоизм в отношении меня и напомнил себе, что мне исполнился двадцать один год и я в состоянии сам принимать решения. Однако нашел отговорку, что Ралф получил диплом, а мне оставался год — как будто для того, чтобы умереть на войне, нужно быть обязательно дипломированным специалистом. Нельзя сказать, что я очень боялся смерти, разве в двадцать один или двадцать два можно по-настоящему умереть, особенно если у тебя отменное здоровье. Конечно, не говоря о Ралфе. Но как ни крути, я не мог подвигнуть себя на это, а Ралф, по-видимому, смог. За ужином накануне отъезда уже никто не пытался поддерживать вежливый разговор, ибо Ралф выглядел так, как будто отделил

себя какой-то завесой, своего рода отчуждением приговоренных. Возможно, он крепился, опасаясь, как бы что-то не дрогнуло в нем, но за эти несколько дней, которые мы провели вместе, я почувствовал, как он все больше отдаляется от обыденной жизни.

На следующее утро я проводил его за три квартала до убегающей вверх Калфер-Лайн, по которой два года ездил на работу в магазин запчастей. Здесь все еще ходили первые опытные образцы старых деревянных вагончиков, где вокруг металлических печек, которые топились углем, в зимнее время присаживались замерзшие пассажиры, грея вытянутые пальцы в перчатках. Пока мы шли, мне захотелось преодолеть отчуждение между нами, ибо оно превратилось в своего рода недоверие; в конце концов, он занимался нелегальным делом. Я еще не знал слова «судьба», но в то утро твердо понял, что не поеду в Испанию, ибо мне предназначено двигаться в другом направлении. У пропускной вертушки Ралф оглянулся и, прежде чем войти в обшарпанный поезд, молча, сдержанно помахал. Тяжелый чемодан, в котором уместилось все, чем он владел в этом мире, бил его по ноге. Он был настолько погружен в себя, что показалось, в этот момент мог не задумываясь расстаться с жизнью. Я спустился по длинной железной лестнице вниз и побрел домой, по дороге миновав две стоянки для автомашин, где мы когда-то играли в футбол. Радуясь весеннему солнцу, ясному голубому небу, чистой уютной полуденной тишине Бруклина, я с воодушевлением ощущал, что во мне растет какая-то сила, и, свернув с М-авеню на 3-ю улицу, что есть мочи бросился бежать, с колотившимся сердцем остановившись у домашнего порога. Войдя в дом, я застал маму у плиты на кухне. Одержав победу, она кротко взглянула на меня. Я глубоко возмутился, но еще больше от своих сложных взаимоотношений с ней. Не в состоянии находиться с мамой в одной комнате, открыл заднюю дверь и вышел на невзрачную веранду, ту самую, которую сколотил семь лет назад и которая с каждым годом продолжала — о чем догадывался я один — отъезжать от дома на дюйм.

Когда после каникул я вернулся на последнем курсе в университет, весь студенческий городок был взбудоражен тем, что Ралф Нифус попал в плен. Значит, спасен! Я был бесконечно рад, будто с меня сняли обвинение. А через две недели пришло сообщение, что североафриканские части Франко расстреляли всех пленных, среди которых был и он. Я сохранил в душе этот внутренний долг как одно из многочисленных обязательств, источник невидимой силы, более чем через десять лет заставившей меня пройти мимо монашек около «Уолдорфа». Такими сокровенными обязательствами дорожат все те, кто

пережил эпоху консенсуса коалиции, иными словами, состояние антифашизма. Возможно, это было не состояние, но атмосфера отчуждения от того, что представлялось мировым сдвигом, который Одён фон Хорвей назвал «эпохой рыб», когда оскал, убийство и набивание живота стали единственными признаками человеческой жизни.

Голливуд навсегда останется для меня смесью причудливых ароматов. Пряный запах любовной влаги в чистых складках женской плоти, как я для себя определил, соседствовал с запахом моря, неповторимые ароматы путешествия по воде с мертвым озоном киносъемочной, выхлопные газы с душистой губной помадой, хлор в бассейне с лишенными благоухания пластиковыми рододендронами и олеандрами, которые вместо того, чтобы произрастать в горах, красовались своей вечнозеленой искусственной листвой в этой рукотворной пустыне, подчеркивая давящее совершенство Лос-Анджелеса.

На станции нас встретил представитель «XX век Фокс», который тут же исчез, едва кивнув головой и вручив Казану ключи от небольшого черного «линкольна». Несмотря на то что мне было за тридцать, я все еще смотрел на мир глазами подростка. Голливуд в 1950-м не был лишен очарования, успеха и тайны, как казалось когда-то мальчишкам из бруклинской школы. Однако, добираясь из Лос-Анджелеса в Беверли-Хиллз, я понял, что чувствую себя здесь теперь по-иному, чем восемь лет назад, когда, никому не известный, приезжал работать над фильмом Коуэна: теперь я знал, что многое могу и должен реализовать власть, завоеванную признанием моих произведений. Под палящим солнцем, при отсутствии малейшего ветерка, я вдруг почувствовал, что становлюсь серьезным, как мальчишка, ощутивший вкус возмужания, и меня обуревает желание поставить фильм. Студия процветала, в ее павильонах и речи не могло быть о том, чтобы автор распоряжался своим сценарием, а режиссер — собственным фильмом. Я знал, что нам не уйти от сражения с первых же дней, но результат должен был окупить все с лихвой: мы собирались правдиво рассказать о мрачном подземелье, притаившемся за вывеской Американской Мечты. Меня раздирали внутренние и внешние противоречия. К тому же наши отношения с Казаном были далеко не однозначны.

Так же, как и все, кто с ним когда-нибудь работал, я ощущал, что мы единомышленники. Однако не позволял себе забывать, что это иллюзия, поскольку работа над фильмом или спектаклем предполагает общение людей не из любви или уважения друг к другу, но в качестве деталей одного механизма. Казану было

около сорока лет, он активно делал карьеру, я никогда не видел, чтобы он болтал попусту или позволял себе необоснованные замечания. Если говорить о природе его дарования, оно было сродни таланту писателя, вечно стремящегося преодолеть бессмысленность попыток соприкоснуться с тайной бытия, которая творится в хаосе таинственных отблесков света.

Мы въехали в Беверли-Хиллз, покоривший своим совершенством. По обе стороны стояли уютные особняки разных звезд и богачей, поражавшие мое честолюбивое воображение, и наводили на тягостные размышления. Все вокруг подавляло своей ухоженностью — возможно, это действительно и есть предел желаний. Живая изгородь отделяла тюдоровский замок от типичной деревенской постройки Новой Англии, с которой соседствовал французский провинциальный домик, стоявший по ту сторону шоссе. Здесь каждый жил в своем сне, за исключением невысокого молчаливого японца-садовника, который вместе с сыном ходил по безупречно подстриженным лужайкам, подбирая потемневшую опавшую пальмовую ветвь или сухой ломкий лист необычной формы, в то время как все вокруг было неподвижно, безжизненно и безмолвно; каждый дом был погружен в свою дрему бесконечного преуспеяния и защищен от разрушения — все было слишком совершенно, чтобы погибнуть. И в эту благословенную тишину я вез свой сценарий о жизни обветшалого порта, где солнце светит сквозь пыль, а воздух наполнен миазмами, о трущобах, где не встретишь ни одной совершенной линии, где все или разбито, или разваливается. По первому впечатлению Беверли-Хиллз, казалось, застыл в вечном покое. Внутри домов, однако, разыгрывались свои бесконечные драмы, но мне об этом пока еще было неизвестно.

Я приехал на неделю. Мы поселились в доме у Чарлза Фельдмана, в прошлом агента, в настоящее время — одного из ведущих продюсеров (его последний фильм «Трамвай „Желание“» ставил Казан). Этому красивому обходительному господину было под пятьдесят; он страстно желал быть полезным Казану. Я правил сценарий, пытаясь сократить его, хотя Казан считал, он выстроен так, что съемки, если его утвердят, можно начинать хоть завтра. Один экземпляр был заранее выслан директору «Коламбиа» Гарри Коэну. У меня оставалась еще пара дней, прежде чем он примет решение.

Собраться с мыслями не было никакой возможности. Сидя за стеклянным столиком около фельдмановского бассейна, я чувствовал, что картины из жизни порта тают сами собой в лучах играющего на глазунье «Бенедикт» солнца. Сама идея вызвать их в памяти отдавала фальшью. В конце концов я сдался и,

растянувшись, стал смотреть вверх на листву деревьев, где не было ни единой пичуги, размышляя, не это ли означает быть «принятым» в этот круг. Я так никогда и не определил, не есть ли Голливуд оживший рисунок Эшера, за которым ничего нет. Здесь все, кого бы я ни встречал, считали, что они посторонние, напоминая политических деятелей в Вашингтоне, которые присутствуют там лишь временно.

Каждый вечер устраивались «приемы». Фельдман к тому времени то ли был разведен, то ли разъехался со своей молодой женой, чьи фотографии были развешаны по всему дому. Обычно на ужин приезжали от восьми до десяти человек. Местные нравы восхищали и озадачивали. Даже когда гости являлись парами, выяснялось, они едва знакомы, иногда не более часа. Большинство женщин было охвачено «звездной болезнью», и, приезжая, они часто подолгу оставались в своих машинах. Мне потребовалось время понять, что некоторые из них предназначались для меня. Позже в стихотворении «Несколько строк из Калифорнии» я написал, что для успеха в Голливуде женщине нужна машина. После ужина компания устраивалась в обставленной роскошной низкой мебелью комнате или же отправлялась для более интимных бесед в бассейн, кто хотел, танцевал под музыку хороших джазов. Однажды я танцевал с элегантной высокой молодой дамой, которая, как мне сказали, получив большое наследство, приехала в Голливуд, чтобы стать кинозвездой. Трудно понять, чем было вызвано ее непроницаемое молчание: то ли презрением, то ли восторгом, то ли неожиданностью свалившегося на нее состояния. Однажды приехал Джек Уорнер и, сидя на стуле с высокой спинкой, широко улыбался, рассказывая бесконечные анекдоты, что, видимо, составляло своеобразный ритуал голливудских вечеринок. Он удивительно напоминал одного из героев фильма «Тебя пою», комичного, слабохарактерного кандидата в президенты Уинтергрина, которого играл Виктор Мур. Однако братья Уорнер отличались чуть большей социальной проницательностью, чем владельцы других киностудий, поставив несколько неплохих тематических и биографических фильмов. В какой-то момент я подумал, не становлюсь ли снобом, стараясь подавить в себе навязчивые симпатии к этому типу людей, напоминавших моего отца, чудом не оказавшегося среди них, ибо он в свое время отказался дать взаймы Биллу Фоксу.

Было заметно, что всерьез Уорнера интересует только Казан, с которым он хотел работать, невзирая на то, что тот придерживался левых взглядов. Выступая, однако, вскоре в качестве свидетеля в Комиссии по расследованию

антиамериканской деятельности, он не моргнув глазом заявил, что всегда «не раздумывая отказывал всем, кто имел хоть какое-то отношение к красным». (Четверть века спустя это помогло мне понять жестокость остракизма китайской «культурной революции».)

Разговоры на вечеринках исчерпывались двумя темами — сексом и работой. Спустя годы я по зрелом размышлении сравнил это с челночной суетой при дворе Людовика XIV, когда люди изо всех сил стремятся предугадать траекторию изменения власти. В Версале, однако, нередко правили женщины, тогда как в Голливуде они имели возможность едва прикоснуться к власти, с тем чтобы в старости тешить себя воспоминаниями. Еще сохранившаяся во мне наивность вызвала немало насмешек со стороны актеров, мужчин и женщин, которых до этого приходилось видеть лишь на экране, и режиссеров, чьи имена были у всех на слуху. Ожидая ответа от Гарри Коэна, я почувствовал, как втягиваюсь в эту круговерть и живу в ожидании вечеринок с их необычными гостями. Мне привычнее было сидеть в четырех стенах за машинкой — здешняя жизнь казалась нереальной, но захватывающей, и разговоры были не такие уж плоские. Политическая ситуация в стране непосредственно влияла на выбор сценариев, и к тому, что проглядывало за газетными заголовками, существовал живой, неподдельный интерес. Здесь, как нигде, нуждались во внутреннем допинге. Я никогда раньше не видел, чтобы секс так привычно рассматривался как награда за успех: извечное право власть имущих выбирать себе женщину по вкусу, которым не пренебрегал никто из мужчин от Даррила Занука до Мао Цзэдуна, было возведено здесь в ранг непреложной необходимости, что, однако, не лишало ситуацию провоцирующей пикантности.

Как-то на одной вечеринке в центре внимания оказалась молодая женщина, которую мне незадолго до этого представил Казан. На лицах присутствующих я заметил легкую усмешку. Ее покровитель и друг Джонни Хайд недавно умер, успев обеспечить ей несколько небольших ролей, после чего она снялась у Джона Хьюстона в «Асфальтовых джунглях», сыграв роль любовницы Луиса Келхерна. Роль была почти без слов, но актриса запомнилась — я с легкостью восстановил в памяти этот фильм: она была очень естественна, никакого наигрыша и как-то незаметно, иронично оттеняла фальшивую добропорядочность Келхерна вкупе с общественным могуществом — таинственная, молчаливая блондинка в руках у испорченного светского героя.

В комнате толпились актрисы и жены влиятельных чиновников, нарядами и поведением всячески стремясь

подчеркнуть, что они — само воплощение женственности. На этом фоне Мэрилин Монро казалась до невероятности пикантной, какой-то странной птицей в вольере. Возможно, это впечатление возникало от ее плотно облегающего фигуру платья, скорее подчеркивавшего, чем скрывавшего красоту линий тела, с которой здесь не мог поспорить никто. Она выглядела моложе, чем когда я впервые увидел ее, совсем девочка. Предвзятость женщин по отношению к ней делалась на приеме у Фельдмана все заметнее. Единственная, кто не разделял ее, была актриса Эвелин Киз, бывшая жена Хьюстона, которая разорвала этот круг, усевшись поболтать с Мэрилин на диване. Глядя позже, как она с кем-то танцует, Эвелин тихо сказала мне: «Они съедят ее живьем». Бесплодно во время танца взгляд пытался отыскать хотя бы малейший изъян в очертаниях ее тела. Такое совершенство настойчиво требовало какого-то несоответствия, чтобы быть вписанным в общий круг. И вызывало острое желание защитить, хотя при этом трудно было отрешиться от мысли, сколько этой женщине пришлось пережить, чтобы не только удержаться здесь, но добиться относительного успеха. В тот момент она, однако, была совершенно одинока.

За несколько дней до этого мы с Казаном, у которого был контракт с «XX век Фокс» и масса знакомых режиссеров, отправились в павильон на звуковую съемочную площадку студии. Один из них, бывший монтажер его фильма, снимал кинокомедию «Каждый молод, пока чувствует себя молодым», где главную роль играл ненавидимый моим отцом Монти Вули, а в одной из эпизодических появлялась Мэрилин. Кино все еще представлялось мне исполненным тайн загадочным фантастическим царством. Мы приехали в тот момент, когда шли съемки сцены в ночном клубе и Мэрилин в черном открытом ажурном платье должна была пройти, обратив на себя внимание сидящего поодаль с безразличным видом бородатого Вули. Камера снимала ее сзади, с тем чтобы подчеркнуть покачивающееся движение бедер, настолько нарочитое, что могло показаться смешным. Однако она действительно так ходила, на пляже оставалась ровная цепочка следов, когда пятка ложится впритык к отпечатку пальцев, при этом таз постоянно был в движении.

В перерыве между съемками она подошла к Казану, который познакомился с ней как-то в один из прошлых визитов, когда она еще была с Хайдом. С того места в нескольких ярдах, где я стоял, на фоне яркого света она виделась в профиль с высоко подколотыми волосами. И плакала, поднимая черную кружевную вуаль, чтобы смахнуть слезу. Мы поздоровались за руку, и сквозь

меня прошла ее волна — чувство странное, поскольку оно контрастировало с ее грустью посреди технологического великолепия и назойливой суматохи во время смены декорации для следующего кадра. Позже она рассказала, что плакала, вспоминая, как Хайд перед смертью звал ее, но его родные не разрешили войти к нему в палату. Она слышала его голос в коридоре и ушла, как всегда, одинокая.

Так как роль была небольшая, Мэрилин быстро освободилась и на следующий день отправилась с нами к Гарри Коэну на «Коламбиа пикчерс». Офис представлял собой огромный кабинет, но что-то в дешевой отделке морёными деревянными панелями говорило о несгибаемой прямолинейности хозяина, выходца из портовых трущоб Манхэттена. Стойкий мечтатель, он гордился тем, что отказывался быть держателем крупных акций, являясь вместе с Джеком Уорнером и парой других одним из последних представителей той породы людей, к которой принадлежал мой отец. Он не сводил взгляда с Мэрилин, пытаясь вспомнить, где видел ее, и вышагивал перед ней, подтягивая штаны, как готовящийся к драке заправский манхэттенский таксист. Его лицо выражало напряженную работу мысли, что, однако, не умерило откровенной навязчивости и пристрастности поведения. Он громко произнес: «Знам, чья ты буш», в то время как она сидела в очень характерной для нее позе, полная недоумения и смущения. В падающих сквозь прорези в коричневых венецианских жалюзи лучах солнечного света ее лицо казалось рябым и некрасивым, но она не могла двинуться, чтобы сердце не защемило от совершенства изысканной линии.

«Гроша ломанава за фильм не дам», — воинственно объявил Коэн, усаживаясь за стол на свое место. При этом, казалось, он не прекращал жить жизнью студии и в какой-то момент, оборвав самого себя, нажал кнопку селектора и вызвал из приемной секретаря. Он знал каждую пядь своего хозяйства, досконально помня, где что происходит, и продолжал разговаривать с нами, посылая вовне, за барочного вида стены, распоряжения и команды.

— Я сам из этих низов, слышь, — продолжал он, тыча волосатым пальцем в текст сценария. — Та шо знаю, шо почем. Гроша ломанава фильм не стоит, но я войду в долю, только шоб без авансов, пусть фильм все окупит. Я помогу, но шоб наперед, — он обернулся и ткнул пальцем в Казана, — ты потом мне буш ставить.

Тут он резко повернулся к Мэрилин и сказал: «Вспомнил!» Видимо, воспоминание было не из приятных: он пригласил ее как-то покататься на лодке, но она согласилась ехать только

вместе с его женой. Раздражение от нанесенного оскорбления вызвало резкий прилив крови к его лицу.

Он быстро повернулся к кнопкам и, склонившись к селектору, зарычал: «А ну, Страха ко мне!» Замер, что-то подсчитывая, распалился пуще прежнего и, нажав на кнопку, снова взревел: «Страха, я сказал! Срочно!»

За дверью послышались торопливые шаги, и на пороге появился невысокий мужчина за шестьдесят в рубашке с крахмальным воротничком, при галстуке и запонках. Это был Джо Страх, мажордом Коэна. Видимо, ему действительно пришлось бежать, ибо он был в испарине и задыхался.

— Слушаю, господин Коэн, — сказал он, переводя дыхание, стоя с красными щеками и побелевшей лысиной.

Не скрывая презрения настолько, что неловко было присутствовать при этой сцене, Коэн дал ему пустячное распоряжение, отвернулся и спокойно продолжил нашу беседу с того места, где мы остановились. Он все еще буравил Мэрилин взглядом, а она сидела потупив глаза и не проронила ни слова. Страх, сыграв роль жертвы коэновского властолюбия и продемонстрировав, что нам грозит в будущем, тихо удалился.

— Ну шо, подписано? Ни копейки, пока нет прибылей, если вы, мать вашу, такие идеалисты, а?

Его ликующая ухмылка не обещала ничего хорошего, однако условия казались приемлемыми: он ставит на карту деньги и павильоны студии, я — свой сценарий, Казан — работу.

Как только мы договорились, Коэн объявил, что сценарий надо согласовать с профсоюзным лидером, поскольку речь в фильме идет о профсоюзе. Мне это показалось странным, но здесь все было ново, и у меня не было оснований отказывать ему. Коэн прорычал в аппарат, чтобы вызвали нужного человека, и тот не замедлил явиться — этакий представитель армии белых воротничков, несколько странно смотрящийся здесь в накрахмаленной рубашке, при галстуке и строгом пиджаке, напомнивших о респектабельной жизни Восточного побережья. Он отвечал по профсоюзной линии за контракты, подписываемые «Коламбиа». С выражением готовности на невозмутимом, типично американском лице, он производил впечатление неглупого человека, который не растрачивает эмоций на ветер, изредка позволяя легкой усмешке тронуть губы или блеску в глазах оттенить какую-то мысль. За день до этого Коэн дал ему прочитать сценарий, и теперь в ответ на его вопрос он сказал, что текст очень сильный и, с его точки зрения, реалистично отражает жизнь в портовом районе Нью-Йорка. На Коэна это произвело впечатление, впервые он посмотрел на меня с почтением,

поскольку похвала исходила не просто от неуча-невежды из шоу-бизнеса, но от высокообразованного специалиста.

Казалось, Коэн немного успокоился, и было с чего: он воображал, что преуспел, обведя нас с Казаном вокруг пальца, да еще в перспективе получив возможность поставить небывалый по реалистичности фильм по одному из больных социальных вопросов, который на студии не поднимался ни разу. Довольный собой, он вытащил из ящика стола какую-то книгу и протянул, попросив посмотреть, нельзя ли из нее сделать сценарий. В мои планы не входило наниматься к нему на работу, однако я согласился. Мне все еще хотелось верить, что мы добились того, зачем приехали, и в результате договоренности появится возможность показать жизнь портовых грузчиков как она есть: начавшийся с граффити на стенах домов на Бруклинских Высотах круг, надеялся я, замкнется. Поймав взгляд Мэрилин, я посмотрел на нее, она заговорщицки улыбнулась, но так, чтобы не привлекать внимания Коэна. Казан между тем оговаривал условия работы и настаивал на необычайно долгих сроках, с тем чтобы спокойно ставить фильм. Меня безумно тянуло к ней, и я решил, чтобы справиться с собой, в тот же день, если получится, уехать.

— Осталось утрясти дело с ФБР, — донесся до меня хрипловатый голос Коэна, а я никак не мог сообразить, что он собирается увязывать с ФБР. Оказалось, мой сценарий.

Я решил, он смеется.

— А что там увязывать?

Коэн пожал плечами.

— У них тут свой человек. Так вообще ничего, вполне — пусть посмотрит. Как-никак о портовом районе.

Я шел под лучами палящего солнца и думал: зачем все-таки мы к нему приходили? Если нас с Казаном проверяют на благонадежность, то вряд ли нужно было читать сценарий. Ситуация, в которую я попал, угрожала оказаться самым кратковременным триумфом в моей жизни, но хотелось надеяться на лучшее.

Поскольку мы не получили окончательного ответа от Коэна, я решил задержаться на пару дней, пока ФБР не вынесет своего решения. Втроем мы отправились по гостям навещать приятелей Казана. Среди ночи подняли Роберта Ардриса, выпили с музыкальным директором «Трамвая „Желание“» Алфредом Ньюменом, весело похохотав над глупостью собственных реплик, вдохновленные не только красотой, но и, казалось, неприкаянностью Мэрилин, по-особому накалявшей атмосферу вокруг себя. Ей в буквальном смысле некуда и не к кому было

идти.

Мы забрели втроем в книжный магазин, и Мэрилин захотела купить «Смерть коммивояжера». Передавая ей книжку, которую нашел на полке драматургии, я заметил у соседнего прилавка какого-то китайца или японца, который неотрывно смотрел на нее, нервно массируя спереди свои брюки. Я быстро отвел ее в сторону, чтобы она не заметила этого. Она была очень просто одета, но воздух вокруг нее всегда был наэлектризован, даже когда, увлеченная чем-то, она забывала о себе. До этого она сказала, что любит поэзию, и мы купили Фроста, Уитмена и Э. Э. Каммингса. Было странно смотреть, как она шевелит губами, читая про себя Каммингса, — что открывалось ей в его поэзии, столь простой и сложной одновременно? Я никак не мог вписать ее в рамки привычных представлений. Подобно поплавку на океанской волне, она могла приплыть из чужеземных далей, а могла вынырнуть откуда-то здесь, рядом, в заливе, в сотне ярдов от берега. Начав читать, она лукавством, вспыхнувшим в глазах, напомнила студентку, которая боится, как бы ее не застигли врасплох. Но вдруг непринужденно рассмеялась необычному повороту мысли в стихотворении о хромом продавце шаров — «и к тому же весна!». Ее собственное удивление, что она с такой легкостью воспринимает замысловатые поэтические обороты, высекло между нами искру взаимопонимания. «И к тому же весна!» — повторяла она, пока мы шли к машине, смеясь, будто ей кто-то сделал подарок. Вот бы порадовался Каммингс, подумал я, такому непосредственному переживанию его стихов, вновь утверждаясь в мысли, что мне нужно как можно скорее уехать из Калифорнии.

Коэн, однако, хранил молчание. Трудно было работать над сценарием, который постепенно растворялся в череде дней, благодатно проведенных у кромки бассейна. Я бороздил его из конца в конец, стараясь исцелиться от страсти, которую во мне вызывало необъяснимое неземное очарование этой молодой женщины. Не прикасаясь друг к другу, мы как будто вступили в некий тайный сговор, дарующий сокровенную надежду каждому из нас. Пытаясь трезво оценить ситуацию, я говорил себе: это все оттого, что ей, наверное, никто никогда не дарил свои книги, — и в то же время в который раз назначал дату отъезда.

В аэропорту мы втроем — Казан, Мэрилин и я — ждали посадки. Близился вечер. Я подошел к стойке регистрации, чтобы проверить время отправления рейса, который вот-вот должны были объявить. Мэрилин пошла вместе со мной, но так как дежурного не оказалось на месте, она отправилась его искать, а затем вернулась. Человек двенадцать поодаль, в ожидании

вылета, не спускали с нее глаз. Она была в бежевой юбке и белой атласной блузке, волосы, зачесанные на левую сторону, падали до плеч. Что-то в ней причиняло мне боль, и я понял, что должен отдаться судьбе без размышлений. При всей лучезарности облика, ее окружало облако тьмы, и это смущало меня. Я не мог предположить, что в моей застенчивости ей видится спасение как освобождение от одинокой бессмысленной беззащитной жизни, которую она вела. Я проклинал себя за известную робость, понимая, что поздно что-либо менять. Прощаясь, я поцеловал ее в щеку, и от удивления она глубоко вздохнула. Я пошутил, что она превосходно играет, но что-то в ее глазах заставило меня раскаяться в своих словах и поспешить к самолету. К этому взывал не только долг — надо было скрыться от ее детской ненасытности, напоминавшей мне мою собственную неутомимую потребность в удовлетворении желаний, которая, с одной стороны, составляла основу творчества, с другой — давила кошмаром безответственности. Однако если в этом и была какая-то угроза, то нравственным устоям, а не подлинности. Улетая, я хранил на ладонях ее аромат, отчетливо сознавая, что мое целомудрие условно. Это омрачало душу, но вселяло надежду, что чувственные переживания все-таки имеют надо мной власть. Открывшаяся тайна пронзила, подобно световому лучу, и я воспринял это как доказательство того, что все-таки буду писать. Причем не только серую нудятину под названием «киносценарии», где нет простора для мыслей и чувств, а просто надо демонстрировать, что знаешь. Я ощущал, во мне зарождается новая пьеса, и этой пьесой была моя жизнь.

Вернувшись в Бруклин, я поздравил себя с тем, что избежал крушения, не переставая удивляться, почему все-таки уехал. Прошел день-другой, от Казана не было ни слуху ни духу, и я почувствовал облегчение. Скорее всего Коэн изменил решение и не было нужды ехать в Голливуд снова. Сочинительство, похоже, слишком чувственное занятие, чтобы его честно делать за деньги. Мэри безошибочно угадала характер моих переживаний и не могла мне этого простить, как я не мог простить себе этого сам. Наконец раздался звонок, это был Казан. Он говорил вкрадчиво, как будто звонил из кабинета, где было полно народу. Возможно, это было не так, и я просто уловил дурное предзнаменование грядущих событий.

Коэн настаивал на некоторых изменениях — если я соглашусь, фильм может пойти, сказал он. Основное требование заключалось в том, чтобы все отрицательные герои — профсоюзные боссы и их покровители из мафии — стали коммунистами. Я рассмеялся, несмотря на то что внутри все

похолодело. Казан сказал, что он дословно передает то, чего от него потребовал Коэн. В ситуацию втянули Роя Бруэра, председателя голливудского профсоюза, — скорее всего это было дело рук ФБР. Прочитав мой сценарий, он решительно заявил, что все это ложь, что Джо Райан, президент Международной ассоциации портовых рабочих, — его личный друг и что ничего похожего на то, что я описал, в доках не бывает. В довершение он пригрозил Коэну, что, если фильм будет поставлен, он организует по всей стране забастовку киномехаников и его все равно никому не покажут. В свою очередь, ФБР увидело особую опасность в том, что фильм может вызвать беспорядки в американских портах, в то время как война с Кореей требовала бесперебойных поставок солдат и оружия. Таким образом, пока я не сделаю Тони Анастазию коммунистом, фильм будет рассматриваться как акт антиамериканской деятельности, близкой к государственной измене.

Едва не потеряв дар речи, я возразил, что абсолютно уверен в отсутствии в бруклинском порту каких-либо коммунистов и поэтому изображать восстание рабочих против мафии как восстание против коммунистов — просто идиотизм. После этого я от стыда не смогу пройти мимо бруклинских доков. Бесстрастным и ровным голосом Казан повторил, что независимо оттого, идиотизм это или нет, Коэн, Бруэр и ФБР настаивают на этом. Через час или полтора я послал Гарри Коэну телеграмму, поставив его в известность о том, что не в силах выполнить его требований и забираю сценарий. На следующее утро мальчишка-разносчик принес по моему бруклинскому адресу телеграмму: «УДИВЛЯЕМСЯ ОТКАЗУ ПОПЫТКЕ СДЕЛАТЬ СЦЕНАРИЙ ПРОАМЕРИКАНСКИМ ГАРРИ КОЭН».

И вот я снова брожу в окрестностях Бруклинских Высот; пешком или на велосипеде пересекаю мост, ведущий в царство свободы, спускаюсь к Бэттери и смотрю на тех, кто садится на паром, отплывающий к Статуе Свободы. Стена моросящего дождя смыла за эти годы граффити «Dove Pete Panto», и я знаю, что мне уже никогда не спасти этого незнакомого мне человека от его судьбы — стать кормом для рыб на дне залива. В том, что идея создания профсоюзов, с которой у моего поколения было связано немало утопических надежд, оказалась очередным обманом, не было ничего удивительного. Однако стоило поразмыслить, почему ее с таким упорством защищали от побережья до побережья, прикрывая личиной патриотизма. Вопрос заключался не просто в моей правоте: существование в порту коррупции документально подтвердила республиканская «Нью-Йорк сан». Толковому журналисту Малколму Джонсону удалось собрать и

вынести на суд общественности материалы, размотав клубок хитросплетений из сфер влияния различных рэкетов. Он был удостоен Пулицеровской премии, которую мы с ним получали одновременно, поскольку ею же была отмечена «Смерть коммивояжера». А Джо Райан за преступления, совершенные во время пребывания на посту президента Международной ассоциации портовых рабочих, был вскоре заключен в тюрьму Синг-Синг. Необходимость взывать к общественности отпала. С этим было покончено. Машины не задерживаясь, слепыми волнами катились через мост, не замечая той жизни, которую я описал в своем киносценарии, а Джонсон — с такой беспощадностью в своих статьях. Страна прекрасно уживалась с коррупцией, отправляя своих сыновей воевать куда-то за восемь тысяч миль в Корею.

Я видел, что наступают смутные времена. Годы спустя из разговоров с молодыми друзьями, в том числе Уильямом Стайроном и Джеймсом Джоунсом, чья юность пришлась на начало пятидесятых, я понял, что не все разделяли такие взгляды. Им представлялось, что Америке уготована роль кормчего, который поведет за собою мир. У тех, кто, считая себя наследниками великой победы, жил и писал в Риме, Лондоне или Париже, не было никаких сомнений, что Америка, пережив тяжелые дни, вопреки всему останется оплотом свободы.

С моста, по которому я любил гулять, все выглядело по-иному. Я подумал: не написать ли статью о незадачливом голливудском приключении, чтобы показать истинное положение дел в свободной Америке. Однако затея была обречена на провал, грозя обернуться жалобным стенанием, если Бруэр после разоблачений Джонсона все равно мог позволить себе обозвать мой сценарий ложью и, прикрываясь американским флагом, заставить несговорчивого Гарри Коэна отказаться от фильма. Если уж говорить о чем-то во всеуслышание, рассуждал я сам с собою, то надо сделать это так, чтобы никто не смог отмахнуться, отбросив и забыв, как вчерашнюю газету. Кого могло удивить, что чей-то сценарий отвергли? Скорее наоборот. Не исключено, что на меня обрушились бы с новыми нападками из-за того, что статья могла помешать бесперебойным поставкам оружия в Корею. Таковы были времена. Как и многие, я был одинок, не в состоянии вскочить на подножку поезда под названием «Век Америки», который несся в никуда по рельсам, обрывавшимся в пустыне, где в нищенских условиях обитала б***о***льшая часть человечества.

Однако чувство отчаяния, безысходности возникло не на

пустом месте. Я вспомнил, как год назад редактор издательства «Саймон и Шустер» Джек Гудмен пригласил меня к себе на традиционную вечеринку. Разговор шел о роли писателей в борьбе с набиравшей размах истерией по поводу любого высказывания, отдававшего либеральными или просоветскими настроениями. Страна на полном скаку неслась к рубежу, когда один из американских сенаторов смог безнаказанно обвинить секретаря по обороне Джорджа Маршалла, бывшего армейского генерала и государственного секретаря, в принадлежности к коммунистической партии и пособничестве Сталину.

По вторникам в уютной обшарпанной квартире Джека на первом этаже в Гринич-Виллидж собиралось человек двадцать разного рода знаменитостей — журналисты, писатели. Тон задавали Эдгар Сноу, в то время редактор «Сетердей ивнинг пост», Джек Белден, прозаик и журналист по Китаю, писатель Джон Херси, связанный с «Нью-Йоркером», Ричард Лотербах из «Лайфа», прозаик Айра Вулферт, сотрудничавший в «Ридерс дайджест», Джо Барнз, редактор иностранного отдела «Геральд трибюн», и фотограф Роберт Капа. Помимо них бывали юристы и бизнесмены, люди, которые хотели разобраться, что происходит в стране. Все мы, человек двадцать — тридцать, удобно рассаживались, курили, пили и спорили о том, как в средствах массовой информации создать оппозицию пропаганде справа. Читали статьи, обсуждали проблемы, кто-то предложил обратиться к литераторам, жившим в провинции. Но прозаик Луис Бромфилд из Огайо, занимавшийся у себя на ферме научной обработкой земли, сердито написал в ответ, что мы заговорщики-коммунисты. Таковы были времена.

В течение нескольких месяцев мы пытались поместить в печати хотя бы отклик на развернувшуюся кампанию истерии, но ни у кого из нас не взяли ни строки. Это удручало и угнетало, ибо, какая ни была у каждого из нас репутация, было известно, что мы не принадлежали к числу обычных журналистов. Повсеместно прошли массовые увольнения учителей по обвинению в истинной или ложной принадлежности к профсоюзам. В связи с неблагонадежностью увольняли ученых, дипломатов, почтовых работников, актеров, администраторов, писателей. Создавалось впечатление, что «истинная» Америка восстала против всего, что требовало работы мысли, было или казалось иностранным и хотя бы в малейшей степени посягало на чистоту и величие страны в море греха и порока, в которых погряз весь остальной мир. И от этого нельзя было спастись. Возникало ощущение, что живешь в оккупированной стране, где каждый может быть обвинен, что он иностранный шпион. И

действительно, через несколько месяцев Гудмена вызвали в сенатскую Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Он избежал прямого обвинения в пособничестве коммунизму, но был вынужден объясняться по поводу наших еженедельных сборищ, на которые, не будучи «красным», приглашал весь цвет писателей и редакторов, что было расценено как потворство акциям, направленным на подрыв авторитета страны. Так мы узнали, что в нашей изрядно пьющей компании был доносчик, ибо у Комиссии оказался полный список имен.

Десять, двадцать, тридцать лет спустя стало понятно, что в основе этой организованной в масштабах страны кампании лежало весьма продуманное решение. Выдвинутое крылом республиканской партии, отошедшей от власти почти уже двадцать лет, оно было направлено на то, чтобы увязать вопрос о политической нелояльности с основными идеями «нового курса». Позже его молчаливо поддержали демократы, увидев в этом для себя определенные перспективы. Большинству же все происходящее представлялось закономерным, чем-то вроде явления природы, как, скажем, непрекращающееся политическое землетрясение. Демократы не оказали Маккарти организованного сопротивления, и вскоре он назвал эпоху Рузвельта — Трумэна «двадцатилетием измены». Основы «Нового курса» были окончательно развенчаны лишь к началу восьмидесятых, в эпоху Рейгана, и то осторожно, чтобы не ввергнуть страну в пучину банкротства.

Моей жене Инге, с которой мы тогда еще не были знакомы, приехавшей в 1951 году фотожурналистом в краткосрочную командировку в Голливуд, пришлось столкнуться в Иммиграционной службе с бесцеремонным допросом, когда инспектор заподозрил ее в прокоммунистических симпатиях, обнаружив в чемодане роман, выпущенный лондонским Клубом левых книголюбов. Всю войну она прожила в нацистской Германии и была вынуждена участвовать в принудительных работах под бомбежками в берлинском аэропорту Темплгоф, и теперь, едва сдерживая себя, с присущей ей вежливостью спросила, достаточно ли хорошо этот человек представляет себе гитлеровскую Германию, если думает, что там могли уцелеть коммунисты. Кстати, никто никогда не поинтересовался ее отношением к фашизму. Америка в те годы была занята иным — по откровенно подложным паспортам здесь принимали военных преступников — мужчин и женщин. Позже их все-таки выдали Европе, где они предстали перед судом за совершенные во время войны преступления. Таковы были времена.

Я жил негодуя, но никак не мог выразить своих чувств.

Насколько помнится, была всего одна газета, где в обход требований антикоммунистической пропаганды поднимались серьезные вопросы, — этот информационный бюллетень в четыре страницы еженедельно выпускался И. Ф. Стоуном. Кроме него, не было журналиста, который бы не подчинился ветрам, дувшим с самого верха. Соединенные Штаты, имея наиболее малочисленную коммунистическую партию в мире, вели себя так, как будто страна была на грани кровавой революции. Как-то в офисе у своего юриста я вне всякой связи с политикой обронил, что бродвейский театр становится «продажным», поскольку его захлестывает коммерческий дух. Один из поверенных, оторвавшись от бумаг, возразил: «Вы стоите на прокоммунистических позициях». Я оторопел, но не от страха, а от удивления — надо же, как прочно подозрительность успела проникнуть в повседневное человеческое общение. Оставалось строго контролировать себя, избегая говорить о «коммерциализации» Бродвея, где театр изживал себя уже в те времена, о чем свидетельствует его сегодняшняя серость.

Чувство возмущения уживалось с ощущением вины: все отрицая, своим скепсисом как бы предаешь доверительное отношение людей. Хотя из опасения общественного поношения приходилось защищаться, я ненавидел себя за это. Вдобавок к этой неразберихе существовал иной уровень бытия, где я, известный драматург, имел признание и получил титул «Лучшего отца года» — более чем сомнительная честь, когда, находясь в полном разладе с самим собой и с Мэри, я мечтал сбросить старый ненужный панцирь. Пора было перестать делать вид, что я не замечаю открывшихся передо мной возможностей, и, не забывая, что расплата обернется тяжким ударом не только для меня, но и для близких, отдаться на волю чувств, которые до этого были скованы условностями. Откуда-то из глубины всплыло то, что Фрейд назвал «подавленными влечениями». Раз или два я осторожно, по крайней мере так казалось, позволил таинственной благостной женственности захлестнуть меня. Этого было достаточно, чтобы разрушить остатки веры в то, что социальные институты, включая брак, могут предотвратить неизбежное. Время и случай размыли последние нравственные и юридические преграды. Мы оказались мифотворцами, которые, не осознавая того, творили собственные судьбы с не меньшим упорством и изобретательностью, чем произведения искусства.

Я заметил, что благопристойность отторгается от политики так же легко, как крылышки насекомых и птиц в руках злых детей: на глазах у всех известным уважаемым людям приклеивали ярлыки предателей, но это никого не возмущало.

Неписаные законы терпимости перестали работать. Пожалуй, единственное, что оставалось в такой ситуации, — постараться сохранить свою общественную позицию — вот все, что оказалось подвластно мне в Америке. Но это не успокаивало. Пробуждаясь от долгого сна, молодость брала свое, требуя чувственного благословения как созидательного начала — того вечно женственного, сокровенного, непреходящего и необоримого, как небо, благословения, что дарует блаженство сердцу мужчины. Подобно огромному языку пламени, вбирающему кислород, успех, казалось, сжег ту любовь, которая окружала меня с детства. Но если я когда-нибудь позволил упрекнуть себя, жену или смущавшую меня своей обольстительностью мать, то это произошло много позже, когда воспоминания возвратились из прошлого как расплата за то, что было пережито.

Если попытаться понять, почему я тогда «полевел» вместо того, чтобы «поправеть», придется признать, что это было связано с тем же стремлением отказаться от прежнего себя и утвердиться в новом качестве. Респектабельность убивала мечту, я устал бояться жизни, самого себя и нескончаемого шествия бодрых, не знающих сомнения ура-патриотов.

Несколько раз я побывал на собраниях писателей-коммунистов на частных квартирах, однако и там меня не покидало ощущение нереальности бытия, которое я испытывал в своем одиночестве. Сходились добропорядочные люди среднего класса, искавшие, по-видимому, какую-то возможность проявить себя, — позже они пришли к проповеди самосовершенствования по примеру различных религиозных групп. Стремление к самоочищению было неизбежно связано в те времена с принесением настоящего в жертву лучезарному социалистическому будущему; это должно было помочь человеку преодолеть опустошенность, двойственность, противоречивость и обрести четкую нравственную позицию. Хотя я не мог осознать глубину разъедавших меня противоречий, я чувствовал, что они не уживаются с самодовольством и взаимными похвалами, которые расточали друг другу «левые». Один из парадоксов заключался в том, что, призывая людей к единению и солидарности, я сам не мог примкнуть ни к какой организации, будучи не в состоянии стать таким, как все. Поняв, что возврата к прошлому нет, я увлекся философией человека, стоящего вне политики, условно говоря, «ибсеновского» или «чеховского» героя. Казалось, на смену благородству всех уровней — от личности до нации и государства — пришло тактическое и стратегическое маневрирование. Позже я попытался осмыслить это через характерное для эпохи отрицание трансцендентного, но

в тот момент политика еще не стала для меня формой бегства от реальности, оставаясь ее закономерным проявлением, которым нельзя пренебречь. Если я тогда и отвернулся от нее, то исключительно из-за глубокой неудовлетворенности собой и разочарования в людях.

К тому времени — началу пятидесятых — джунгли Америки кишели бывшими радикалами, разочарованными не только в Советах и демократии, но даже в возможностях науки возвысить дух. Евреи ударились в католицизм, социалисты, под видом охоты на ведьм забыв всяческие заботы о соблюдении свобод, примкнули к травле коммунистов, а убежденные пацифисты били в барабаны «холодной войны». Все это представлялось очередной попыткой уйти от решения сложных нравственных проблем, в образе которых представала жизнь. Время поощряло разного рода перерождения, поэтому наиболее беспринципные приняли участие в воскрешении антисоветских настроений бывших радикалов. Меня при этом еще угнетала непоколебимость собственных пристрастий, а также вновь нахлынувший страх, преследовавший с детства, что я слишком эгоистичен. И все же вопрос заключался не в модном очернительстве Советов, но в том, за что ты сам выступал. Как социальные перемены повлияли на жизнь людей, удалось ли вознести их над мертвой равниной, где они прозябали в своем большинстве? Левые, перебирая четки, молились вечно туманному будущему бесклассового справедливого общества, а новые ортодоксы требовали безоговорочно принять американский образ жизни, с чем я едва ли мог смириться, помня об отложенном в долгий ящик стола запрещенном киносценарии, что свидетельствовало не только о массовом притеснении тех, кто жил под Бруклинским мостом, но и о репрессивной мощи правого крыла профсоюзов, распространивших свою власть на всю страну вплоть до павильона «Коламбиа пикчерс».

Черпая силу в заключительной фразе ибсеновского «Врага народа»: «Тот сильнее, кто более одинок», — мне следовало бы ликовать по поводу своего одиночества. Но моя еврейская кровь восставала против идеи личного спасения, считая это близким к греху. Собственным пониманием правды человек обязан способствовать становлению социальной справедливости и милосердия, так же как он должен вносить лепту в облагораживание жизни своего города, чей безудержный рев доносился до меня с обоих концов моста.

В начале пятидесятых так называемый театр абсурда еще не получил никакого признания, и мне многое в нем казалось

фальшивым, но каждое поколение писателей присовокупляет к достигнутому что-то новое и непременно отстаивает свои завоевания. Однако стоило повнимательнее приглядеться к логике современной жизни, как я сам должен был стать абсурдистом, ибо большую часть времени приходилось покачивать головой, глядя на то, что происходило вокруг, и сдерживать ухмылку скептического недоумения.

Право на постановку фильма по пьесе «Смерть коммивояжера» я продал Стэнли Крамеру, который собирался ставить ее на «Коламбиа пикчерс». После этого ничего не оставалось, как сетовать, что из сценария оказались выброшены все кульминационные сцены, вроде той, что с машинкой для стрижки газонов, и фильм получился вялый. Это было трудно понять, особенно после того, как пьеса продемонстрировала, сколь сильно способна захватить зрителя в театре. Я помню свой разговор со Стэнли Робертсом, автором киносценария, который специально прилетел ко мне на Восточное побережье объясняться. Это может прояснить ситуацию.

В первом действии Линда просит сыновей обращаться с отцом помягче, и, соглашаясь, Бифф решает остаться и подыскать работу в Нью-Йорке, обещая поменьше попадаться ему на глаза. Линду это не может удовлетворить, она считает, что сын должен психологически поддержать отца. Это означает, что Биффу надо менять свои взгляды, как строить собственную жизнь, и он взрывается: «Я ненавижу этот город, но остаюсь в нем. Чего тебе еще от меня надо?» На что Линда отвечает: «Он умирает, Бифф», — и говорит, что Вилли хочет покончить с собой.

Этот небольшой, но важный в плане нарастания кульминации эпизод оказался пропущен, что заинтриговало меня. «Ну что вы, — объяснил Робертс, — разве можно позволить ему так кричать на свою мать?»

Однако это было еще полбеды, ибо с фильмом, как со всей голливудской продукцией, получилось и того хуже. Фредерику Марчу предложили сыграть Вилли психопатом, который не отвечает за свои действия, практически не соотнося их с реальностью. Марч был первым кандидатом на эту роль в театре, хотя позже уверил себя, что не получал официального приглашения. Идея как таковая могла помочь оживить роль в фильме, однако, будь Вилли действительно психопат, его конец был бы известен заранее. Новое прочтение концепции ослабляло напряжение в отношениях между человеком и обществом, в социальном плане делая пьесу беззубой, уничтожая ее суть. Если Вилли был не в своем уме, то едва ли его можно было рассматривать как выразителя каких-то настроений. Все равно

что Лир никогда бы не обладал реальной властью, а только воображал, что был королем.

Но таковы были времена, что даже усеченный вариант пьесы показался слишком радикальным. Для начала, потрафляя Американскому легиону, отдел рекламы «Коламбиа пикчерс» попросил меня сделать антикоммунистическое заявление, предупредив, что, если я не помещу рекламу фильма в «Верайети», где — своего рода знамение времени — бичевались красные, это может обернуться бойкотом в масштабах страны. Я отклонил предложение, после чего получил приглашение на «Коламбиа пикчерс» для просмотра только что отснятого двадцатиминутного ролика, который в будущем должен был предварять все показы фильма «Смерть коммивояжера».

Короткометражный шедевр был отснят в студенческом городке школы бизнеса при нью-йоркском городском колледже. В основном это были интервью с профессурой, которая самоуверенно заявляла, что Вилли совершенно нетипичен для современного общества, своего рода ископаемое тех времен, когда у коммивояжеров была действительно тяжкая жизнь. В наши дни торговля стала отличной профессией, которая гарантирует не только безграничное удовлетворение духовных потребностей, но и финансовое положение. На самом деле эти пресыщенные собственным преуспеянием люди, которым за участие в прекрасно обставленном мероприятии по толкованию моего текста «Коламбиа пикчерс» отвалила щедрые чаевые, были теми же Вилли Ломенами, но только с дипломом. Когда в просмотровом зале на Седьмой авеню зажегся свет, двое-трое представителей компании, смотревших фильм вместе со мной, застыли, как мне показалось, в затаенно враждебной, если не агрессивной, тишине зала, ожидая моей реакции.

Сидя бок о бок с этими высокооплачиваемыми чиновниками, я испытал весьма противоречивые чувства, но над всей этой шарадой довлел непередаваемый страх. В комнате незримо витала угроза ура-патриотов сорвать коммерческий успех фильма, организовав против меня разнузданную кампанию. Страх правил бал, в чем, однако, нельзя было признаться. Вместо этого надо было согласиться, что ролик получился неплохо и «поможет продать картину». Хотя никто, наверное, включая самого Гарри Коэна, не верил, что я представляю какую-то угрозу для страны, не говоря уж о фильме.

— Какого черта вы взялись снимать его, если так стыдитесь содержания? — спросил я. — Если это и впрямь такая устаревшая и глупая пьеса, почему в театре люди не уходят со спектакля?

Не знаю, может быть, показалось, но в моих словах они

нашли облегчение, и я даже пробормотал, что подам на кинокомпанию в суд за нанесение дискредитирующим роликом ущерба моей собственности.

Услышав в их словах пораженческие нотки, я подумал, что, наверное, в душе они разделяют мою позицию. Если все обстояло действительно как они говорили, тем хуже было не только для них или для меня, но и для всей страны, где мы разыгрывали это массовое представление. И если я испытывал тот же страх, что и они, то мое чувство гордости было им неведомо, а я гордился своей пьесой, которую не мог предать, ибо в конечном счете она была моим якорем, иначе я должен был признать, что в нравственном смысле «Смерть коммивояжера» — бессмыслица, недостойная внимания, история, рассказанная идиотом. И тогда легко было ответить отказом. Мы расстались вежливо, по-доброму, и если ролик все-таки демонстрировали, то мне об этом ничего не известно. Они выполнили свой долг и теперь могли доложить, что я собираюсь подавать на «Коламбиа» в суд. Этого оказалось достаточно, чтобы киностудия расквиталась с Легионом — похоже, в этом крылась подоплека истории с роликом, стоившей «Коламбиа» пару сотен тысяч долларов.

Хотя у меня оставалось несколько ходов в игре под названием «убьемте Миллера», я не сомневался, что меня держат на мушке весьма влиятельные боссы, выжидая, когда нажать на курок. Единственным спасением было обо всем забыть и работать, несмотря на леденящее душу давление. Порою доходило до курьезов. Однажды мне позвонил неизвестный человек и, представившись офицером из бригады имени Линкольна, сказал, что в Испании знал Ралфа Нифуса и хочет переговорить по важному делу. Я подумал, что он наверняка влип в какую-нибудь политическую историю и безо всяких оснований считает, что мой авторитет достаточно высок, чтобы помочь ему, — подобные заблуждения порой случались в то время. Придя, он уселся в гостиной на диван и, водрузив на колени черный портфель, несколько неуверенно, однако жизнерадостно сообщил, что хочет продать мне акции нескольких нефтяных скважин в Техасе. Тут я понял, что времена изменились. Он сказал, что занялся этим, когда по черному списку его уволили с профсоюзной работы, но теперь втянулся и даже зарабатывает приличные деньги. А затем произнес одну из тех фраз, в которых отражается эпоха.

— Не надо забывать, — он был совершенно серьезен, — что как только рабочие возьмут власть в свои руки, им тут же понадобится нефть, причем много больше, чем сейчас, поскольку при социализме будет расширенное воспроизводство.

Кальвинизм бессмертен и возрождается в самых

неожиданных местах: главное — знать, что своим деянием ты осчастливишь другого.

Это происходило как раз тогда, когда испуганный и отчаявшийся Луис Унтермейер заперся у себя на Ромсен-стрит и не выходил из дома около года. Охватившая Америку паранойя поразительно напоминала ситуацию в другой части света, о чем тридцать лет спустя я узнал от Гаррисона Солсбери, журналиста из «Нью-Йорк таймс». Сталинская цензура так основательно закрутила все гайки, что из Москвы можно было передавать лишь тексты официальных сообщений. Не видя перспектив, большинство западных агентств свернули свою деятельность, отдав ситуацию на откуп горстке репортеров. Солсбери, аккредитованный в Москве при «Нью-Йорк таймс», остался, делая все возможное, чтобы проникнуть за плотную завесу сковывающего все советского террора. Для того чтобы собирать и передавать информацию, он вынужден был прибегать к совершенно фантастическим экспромтам. В Америке ситуация была не столь драматична лишь в силу конституционных гарантий, но по обе стороны океана в центре политических дискуссий стоял вопрос о лояльности. Уже в восьмидесятые годы, благодаря Закону о свободе информации, Солсбери узнал, что его решение остаться в Москве после отъезда большинства иностранных журналистов вызвало у ФБР подозрение, не стал ли он агентом красных. Таковы были времена.

Однако как рассказать об этом? В какую форму облечь крик души? Лишь в некоторых романах можно было ощутить намек на грядущую катастрофу, театр об этом молчал, а кино в вихре танца увлекало людей в страну иллюзий. Под мостом, однако, никто не сомневался, что времена послевоенной эйфории миновали и связи с прошлым порваны и порушены.

Шла война в Корее, и в порт, по новым правилам, теперь можно было попасть только по пропуску береговой охраны. Митч Беренсон потерял возможность туда частенько наведываться, и ему пришлось искать работу на частном предприятии. Имея за плечами только одну профессию — профсоюзного организатора, — Митч впервые в сознательной жизни напрямую столкнулся с невероятным обществом, где каждый норовит сожрать другого, к чему оказался совершенно неподготовленным, все равно что отказавшийся принять сан семинарист. Это было действительно так: он не знал истории развития общества и не имел ни рабочего стажа, ни страхового полиса, так что, оказавшись выброшенным в ревущий поток конкуренции, должен был либо тут же научиться плавать, либо пойти ко дну.

Поняв, что жизнь растрачена впустую, ибо откуда ему было

знать, что через несколько лет не без их с Лонги влияния Тони Анастазия откроет первую больницу для грузчиков под названием «Клиника имени Анастазии», он тем не менее был, как ни странно, полон кипучей энергии. Не имея опыта выживания в условиях конкуренции, Митч с безграничным удивлением обнаружил, что деятельность организатора имела определенное сходство с деятельностью антрепренера. Оба с утра решали, что им предстоит делать, с кем увидеться, переговорить, иными словами, сами распоряжались своим временем. Рутина была ненавистна Митчу, как любому капиталисту, живущему на грани риска, и тут открылась ужасная правда, что торговля революцией ничем не отличается от любой другой сделки.

Когда Митч был профсоюзным организатором, то зарабатывал по двадцать долларов в неделю, если, конечно, платили. Пустые карманы выработали в нем некое аристократическое пренебрежение к деньгам, которые он не собирался копить, и потому они не обладали над его душой никакой властью. Попав в безвыходную ситуацию, он всегда мог обратиться к кому-нибудь из разбросанных по всему городу приятелей или, тем, с кем годами проворачивал свои профсоюзные дела.

Теперь ему надо было найти работу, и он понял, что единственным, к кому он может непосредственно обратиться, был Краус, владелец фабрики по производству свитеров на Лоуер-Ист-Сайд, однако тот ненавидел его: лет десять назад Митч организовал на его предприятии длительную забастовку. Год и два месяца он каждое утро маршировал во главе распевавших песни рабочих перед ветхим зданием фабрики, а Краус с трудом прокладывал себе дорогу через толпу и ежедневно, подняв кулаки, грозил Беренсону со словами: «Чертов большевик, чтоб ты сгнил в аду и кошки расцарапали тебе задницу!» Широко раскинув руки, Беренсон весело отвечал: «Как скажешь, Берни, так и будет!»

Теперь он шел на фабрику не без некоторого смущения, однако, открыв дверь, неожиданно задохнулся от запаха паленой шерсти и угара. Посреди всего этого зловония и луж восседал Берни Краус: ему перевалило за пятьдесят, он рано состарился, растолстел, облысел и выглядел бледным как смерть. Однако стоило ему увидеть Беренсона, как в его глазах вспыхнуло былое негодование.

— Обожди, Краус, не распаляйся. Я пришел выяснить, не возьмешь ли ты меня на работу?

— Ах на работу! Ему, видите ли, вздумалось, чтобы я взял его на работу? — Краус чуть было не подскочил, его сдержало лишь

то, что на фабрике случился пожар и страховая компания отказывалась выплачивать страховку полностью, утверждая, что значительная часть имущества не пострадала. Он был в подавленном состоянии.

К концу дня Беренсон уже состоял у Крауса коммивояжером, а вскоре тот предложил ему стать партнером. Для начала Беренсон полил из огнетушителя свитера, которые недостаточно пострадали, и поставил об этом в известность пожарное отделение, выразившее ему благодарность за гашение вновь занявшегося огня. Тут уж он потребовал от страховой компании всю сумму полностью. Затем отгрузил по списку товары для сети магазинов Гимбелса в Филадельфии, а когда те, пылая праведным гневом, отказались, что было обычным делом, сам лично отправился туда и произнес речь, исполненную такого пафоса, что ошеломил руководство, которое не только восстановило контракт — что в деле торговли свитерами не представляло ничего особенного, — но предложило ему перейти на работу к Гимбелсу.

За пять лет Беренсон нажил не один миллион, занявшись проектированием домов для престарелых, получивших широкое признание. При этом он продолжал жевать самые дешевые сигары, ездил на развалюхе и заправлял делами, обитая в какой-то деревушке, куда перебрался жить. «Я понял, — сказал он мне однажды, — все дело в демократии. В конце концов каждый сам принимает решение. Кто-то потратит на это кучу времени, кто-то останется в дураках, но это работа! Вот что прекрасно!»

Он не мог не удариться в мистицизм, почувствовав свою силу и растеряв согревающий душу марксистский провиденциализм с неизбежными искупительными обещаниями. Завоевав мир, он потерял веру и стал обычным удачливым человеком с беспокойным характером.

Читая нам на втором курсе заключительную лекцию по психологии, почтенный профессор Уолтер Бауэрс Пилсбери, взглянув на наши лица, выдержал паузу. Он был большим авторитетом в своей области, уважаемым автором учебника, по которому мы занимались, но меня более всего занимало то, что он сам несколько лет находился в клинике. Высокий, седой, с трагически обостренным чувством собственного достоинства, доставшимся ему в наследство от первопроходцев Америки, он носил темные галстуки и накрахмаленные воротнички, буквально пронзая взглядом человека. В наступившей тишине стало понятно, что профессор прощается не только с нами, но со своей карьерой, поскольку достиг пенсионного возраста. Он произнес:

«Я не собираюсь давать вам советы, как сохранить душевное здоровье, но есть одна истина, которой необходимо придерживаться: никогда не задумывайтесь над чем-либо слишком долго».

В 1935 году, когда я размышлял над выбором профессии, а страна легкомысленно смотрела в лицо жутким проблемам, его совет показался неуместным. Но сейчас, спустя пятнадцать лет, в начале пятидесятых, слова этого пожилого человека не выходили у меня из головы. Ибо я понял, что не мог справиться с мыслями о своем браке и о работе. Набухшие почки любви и надежды на наше с Мэри будущее сменило отчаянное неприятие всего и вся, когда меня вовсю осуждали и безнадежно проклинали. Пытаясь вырваться из этого круга, я начал ходить к психоаналитику Рудольфу Лоуэнстайну, верному последователю Фрейда, которому, однако, я так и не смог открыть душу, обнажив творческие проблемы. Он же был достаточно тактичен, делая вид, что ничего не понимает, тем самым оставляя мой внутренний мир в неприкосновенности, чтобы избежать разрушительных последствий. Таким образом, я не прошел серьезного психоаналитического курса, хотя обрел настоящую мужскую дружбу и вдобавок — способность анализировать человеческое поведение более бесстрастно, чем раньше. Я не мог освободиться от страха обескровить себя и принести в жертву многообещающей, но холодной объективности, которая, возможно, хороша для критиков, но не годится для писателей, берущих энергию в хаосе внутренней интуитивной жизни.

Я никогда не верил, что психоанализ может ответить на все вопросы, в частности, по двум причинам. Я обратился к нему, чтобы спасти свой брак, но эта неверная посылка привела к тому, что, сохраняя согласие в браке, я усомнился в самом себе. При этом меня мучило то, как обстояли дела в стране. Америка, радостно ликуя, казалось, впала с помощью Джо Маккарти в доморощенную паранойю, а я все больше запутывался в собственной паутине, которая была не чем иным, как потворством своим желаниям, хотя надеялся, что это скоро пройдет. Точно так же на общественном поприще я не мог отмежеваться от стада либералов и левых, с восторгом признававших за психоанализом многообещающе пугающее будущее, делавшее нас беззащитными перед космосом. Мои проблемы носили глубоко личный характер, но я подозревал, что психоанализ был всего лишь новой формой отчуждения, пришедшей на смену марксизму и разного рода социальной активности. Другими словами, голова не поспевала за моим общим развитием.

Нью-Йорк, подобно реке, вбирающей бесчисленные потоки

культур, бурлил как при паводке. Левые с их неистовой верой в социальный прогресс и самоутверждением на переднем крае истории в силу приверженности безошибочной политической линии суетливо выбирались вместе с либералами из-под груды обломков попавшего под бомбежку старого храма самоотречения. Однако американской натуре с ее зацикленностью на пуританизме требовался нравственный кодекс. Поскольку учение Маркса к тому времени утратило былой авторитет, на смену пришла теория Фрейда, вселявшая в своих приверженцев то же самодовольство. Так что теперь таким заблудшим, как я, уже невозможно было встать в линию пикета или отправиться в Испанию в составе интернациональных бригад — оставалось только признать, что ты тщеславный глупец, который ничего не смыслит в любви. Вероятно, оттого, что приходилось отступать, отстаивая сужавшееся пространство, где я существовал как писатель, мне так и не удалось понять, предполагает ли психоанализ некий высший союз чувственности и ответственности, в единении которых таится подлинное раскрепощение. Пока мои взгляды на жизнь не изменились, приходилось защищаться от общества, которое не оставляло меня в покое.

Пищу для сомнений давали не только газеты. Когда в Нью-Йорке собрались ставить новую пьесу Шона О'Кейси «Дендипетух», деятели из Американского легиона пригрозили выставить около театра свои пикеты. Уже одно это должно было заставить любого продюсера задуматься о коммерческой стороне дела, прежде чем браться за постановку. К тому же госпожа Пегги Калмен, которая ее финансировала, незадолго до этого перешла в католичество и, перечитав пьесу, решила отказать в поддержке, считая ее антикатолической. Произведение, однако, носило скорее антиклерикальный, чем антикатолический характер. Но Американский легион, похоже, волновало отнюдь не это, а значок на лацкане помятого пиджака О'Кейси с изображением серпа и молота. Писатель не скрывал, что коммунистические идеи покорили его ирландское сердце. Он говорил об этом так, как никогда не доводилось слышать ни от одного коммуниста. Я подозреваю, это делалось не без умысла подразнить консерваторов, причем в первую очередь британских, которые оставались вызывающе равнодушны к подобным выходкам. В Ирландии же, стоило ему уехать, постарались сделать вид, что забыли об О'Кейси, как до этого забыли о Джойсе, озабоченные исключительно тем, как бы самим поскорее эмигрировать. Потрясенный силой некоторых пьес О'Кейси и его замечательной автобиографией, я был возмущен тем, что такого гения подло

травят бандиты из Легиона. Поэтому, откликнувшись на обращение продюсера к Гильдии драматургов в связи с резким сокращением источников финансирования постановки, набросал ряд предложений и как-то днем зашел в офис, чтобы показать их коллегам. В комнате находились Моуз Харт, наш рафинированный председатель, который курил на зависть красивые трубки, на мой вкус, излишне маленькие и вычурные, Оскар Хаммерстайн-второй, чья ростовщическая внешность противоречила его глубоко вольнодумным взглядам, и драматург Роберт Шервуд. Последний писал речи Рузвельту и активно выступал как защитник социальных свобод, открыто заявив в своих ранних трудах, что каток современной цивилизации нивелирует отдельную личность. Остальных я не помню, кроме Артура Шварца, человека редкого остроумия и тончайшего обаяния, автора и постановщика множества нашумевших мюзиклов вроде «Маленького шоу», «Музыкального вагона», «Воздушных красок» и «Растет в Бруклине дерево».

Я предложил немедленно выступить с заявлением: если молодчики из Американского легиона появятся перед театром, мы выставим свой пикет, ибо на примере пьесы О'Кейси необходимо было отстоять свободу театра в выборе репертуара. Повисло тягостное молчание. Один Хаммерстайн, казалось, заинтересовался моим предложением. И хотя никто не бросился маршировать с плакатами по Шуберт-Элли, все вроде бы осознали необходимость выработки единодушного решения в поддержку пьесы О'Кейси. Но тут Артур Шварц, заметно взволнованный, о чем свидетельствовала его излишняя горячность, заявил, что, если хотя бы один цент из фондов Гильдии пойдет на защиту коммунистов, он первый покинет союз и создаст новую ассоциацию драматургов. Угроза раскола сделала бессмысленными дальнейшие разговоры, и мое предложение было похоронено раз и навсегда. Стало очевидно, что если Американский легион надумает пикетировать мои новые пьесы, то на поддержку коллег рассчитывать нечего. Ибо входившие в Гильдию театральные знаменитости были настолько напуганы и растеряны, что потеряли всякую способность действовать. Таковы были времена. Стало понятно, что у Американского легиона существовал влиятельный мозговой трест, следивший за всеми новинками и принимавший решения, что допускать на нью-йоркскую сцену, а что нет. Мне уже пришлось испытать на себе силу давления этой организации. Они не только грозились сорвать постановку «Смерти коммивояжера», но в двух или трех городах помешали гастролям ирландского театра с Томасом Митчелом в роли Вилли, Дарреном Макгавеном в роли

Счастливчика, Кевином Маккарти, игравшим Биффа, и Джун Уолкер — Линду. Причем, если верить бостонским критикам, это была лучшая из ирландских постановок. В одном из городов штата Иллинойс они добились, что в зале остался единственный зритель, но Митчелл настоял, чтобы спектакль был сыгран, и мне остается сожалеть, что я так и не узнал мнения этого театрального завсегдатая.

Я, наверное, был напуган более остальных, опасаясь поддаться собственному страху. В силу особенностей натуры и под влиянием общей атмосферы у меня сложилось странное представление, что драматург — это глашатай истины, который пытается факелом ослепить чудовище по имени Хаос. Драматургия представлялась квинтэссенцией искусств, которая погибала, как только к ней примешивалась ложь, и возрождалась, соприкасаясь с истоками человеческого бытия. Взвалив на себя это великое и проклятое бремя, невозможно было мечтать о том, чтобы, живя отшельником, избегнуть предначертанного.

Когда ко мне обратился Бобби Льюис, предложив сделать новую редакцию пьесы Ибсена «Враг народа», в которой чету Стокман должны были играть Фредерик Марч и его супруга Флоренс Элдридж, я понял, что даже ветераны сцены (а уж их никак нельзя было заподозрить в симпатиях к радикалам) почувствовали опасность. И действительно, вскоре узнал, что Марчи подали в суд на чиновника, обозвавшего их коммунистами. Обвинение стоило им нескольких киношных ролей, так что они ощутили себя в шкуре Стокманов, которые в мучениях были распяты толпой. Бобби Льюис был одним из основателей «Групп-театр», и я помнил, с каким неподдельным восторгом смотрел его исполненную мягкой поэтичности постановку сарояновской пьесы «В горах мое сердце». Под остроумием он скрывал беспристрастность, удерживавшую его от ярко выраженных политических симпатий. Поэтому я серьезно отнесся к предложению столь искушенного в шоу-бизнесе человека, хотя интуиция подсказывала, что в результате мы окажемся еще более лакомой приманкой для тех, кто охотился за красными.

Я перечитал пьесу, и она показалась мне по тем временам несколько устаревшей, хотя в ней описывались события, весьма созвучные современности. Сын шведского парламентария, процветающий молодой бизнесмен Ларс Норденсон, который финансировал постановку, уговорил меня самого взяться за перевод, считая, что в Соединенных Штатах набирают силу профашистские тенденции. Работая над подстрочником с норвежского, он утверждал, что живой, пластичный язык Ибсена

полон сленга и неожиданностей и не имеет ничего общего с топорными фразами, которыми отличались предыдущие переводы. Известно, что Ибсен был в ярости, когда писал пьесу, и закончил ее в необычайно сжатые сроки. Получив от Норденсона первые страницы подстрочника, лишенного всякой литературной обработки, я взялся за дело и вскоре почувствовал, что мне, пожалуй, удастся передать дух Ибсена, который пронизывает пьесу.

Как это обычно бывает со мной, я постигал собственные сомнения и убеждения, претворяя их в художественное произведение. Погружаясь в пьесу, я испытывал все большее раздражение от одного или двух ее внутренних посылов. Так, не может не вызвать восхищения стойкость, с которой доктор Стокман отстаивает право каждого иметь собственное мнение, однако при этом он ратует за существование некой элиты, которая должна предписывать обществу, во что верить. Демократу нелегко переварить подобное, хотя я вспомнил, что на одном из марксистских собраний за несколько лет до этого утверждал, что художник обязан открывать новые горизонты, что, следуя линии коммунистической партии или внимая гласу американской прессы, сам никогда бы не написал «Всех моих сыновей», которых теперь превозносили за смелость, прозорливость и правду. Так что Ибсен в образе Стокмана отстаивал вечное право художника открывать неизведанное.

И все же в демократическом обществе невозможно допустить существование избранной самозваной группы, обладающей неким особым знанием, хотя в жизни такое бывает. Ибсен впадает в еще большее противоречие, когда говорит об естественном отборе и предлагает вывести особую породу людей. Позже, выступая перед враждебно настроенной толпой представителей какого-то норвежского профсоюза, этому великому человеку пришлось отказаться от им самим заложенных в пьесе идей социального дарвинизма. Он вынужден был признать, что имел в виду только духовный авангард с его особым правом выдвигать новые идеи и делать открытия, не испрашивая согласия большинства. Однако в пьесе, на мой взгляд, эта мысль была выражена недостаточно четко.

Поэтому я начал с того, что попытался приблизить пьесу к конкретной ситуации — сопротивление конформизму стало для Америки если не святым правом, то насущной необходимостью. Спектакль получился серьезный, с хорошими декорациями. Фреди Марч во всем блеске демонстрировал свое мастерство, привнося в игру оттенок личного негодования. Элдридж, как могла, старалась оживить свою бесцветную героиню — верную и

усталую супругу Стокмана. Если Льюиса и можно было упрекнуть, так только в том, что, потакая собственному вкусу, он привнес в постановку избыточную красивость, особенно в сцене, где Марч возвышался над толпой с распростертыми руками, подобно распятому Христу, что было лишним в такой назидательной пьесе. Однако это мои личные впечатления. В целом же спектакль получился хороший и доходчивый. В дальнейшем мой перевод не раз вызывал зрительский интерес и только на Бродвее прошел без успеха.

Ибсен писал «Врага народа» как отповедь. Это был негодующий отклик на поношение, которому подверглась вызвавшая в печати и обществе скандал его предыдущая пьеса «Привидения». Джордж Кауфман когда-то предупреждал, что у бродвейского театра аллергия на всякое морализаторство и, если автор задумал сказать что-то серьезное, лучше сразу нести свое произведение куда-нибудь еще. Мне же казалось, что пьеса сама находит своего зрителя — в данном случае это были те немногие, кто отказался подчиниться гнетущей атмосфере страха. Однако пресса заняла оборонительную позицию, как будто угрожали ее невинности. Некоторые критики — ох уж эти умники — утверждали, будто свои антиамериканские взгляды я выразил в словах грубоватого капитана, ближайшего сподвижника Стокмана, который, стоя посреди их разоренной квартиры, советует: «Может, вам податься в Америку». За океаном жизнь свободнее. Согласно мнению этих специалистов, привнесенная Миллером ирония оскорбляла канонизированный авторский текст, бросая тень на стремление Америки к процветанию гражданских свобод. Очень хотелось возразить, что я всего лишь воспроизвел строку оригинала, однако пришлось воздержаться, ибо невозможно было опровергнуть мнение, будто я использовал Ибсена для поддержки красных. Критики наперебой защищали непорочность автора, не удосужившись перечитать его, что лишний раз говорило о гнетущей атмосфере страха, против которой и был направлен спектакль.

Неудача с «Врагом народа» в 1950 году вновь ввергла меня в пучину сомнений, и, как обычно, пытаясь разобраться в себе, я погрузился в работу. Несколько месяцев ушло на «Итальянскую трагедию» — пьесу, которая осталась незавершенной. Судя по наброскам тех времен, в истории с Винни Лонги меня больше всего интересовала загадка инцеста — подавляя в себе это чувство, мой герой кончал жизнь самоубийством. Я не понимал, почему взялся писать об этом. Видимо, мне не хватало света, и я пытался открыть все окна, чтобы впустить его. Внутри шел болезненный процесс перерождения, возможно, нового

возмужания. Я стал чужим самому себе и всем, кем неосознанно населил собственный мир. Интерес к пьесе угас, прежде чем я успел ее закончить, — это было еще одно поражение. Минуло пять лет, прежде чем она воскресла как «Вид с моста» в первом, одноактном варианте. А затем еще десять, прежде чем я узнал в ней самого себя, впервые наблюдая за игрой молодого Роберта Дюваля в великолепном спектакле Улу Гросбарда на одной из нью-йоркских сцен Бродвея. Глядя на его Эдди Карбоне, я испытал одно из самых сильных потрясений, воскресивших во мне то обожание, с которым отец относился к моей сестре, и через этот эмоциональный всплеск я вновь пережил собственные чувства. Во время работы над пьесой меня не покидало мучительное ощущение, как будто продираюсь сквозь чащу тяжелых и недозволенных переживаний. Но что-то неумолимо толкало вперед, пока во мне не открылось нечто новое, выплеснувшись на бумагу в сценах, словах, мыслях.

К не завершенным в 1950 году пьесам относятся наброски истории о группе врачей-исследователей. Они работают на состоятельного фармацевта, финансирующего фундаментальные изыскания, которые последний использует в корыстных целях. Играя на самолюбии ученых, он постепенно прибирает их к рукам. В свою очередь, они, иронизируя над стяжательством хозяина, выкачивают из него деньги — вполне знакомая для меня ситуация художника-творца, стреноженного путами жизни.

В их компании появляется любовница доктора Тиббетса Лоррейн, отдаленно напоминающая Мэрилин, о которой я тогда почти ничего не знал. Эта открыто сексуальная, по-детски непосредственная, не связанная условностями женщина несет в себе роковое предощущение бытия. Ее жизнь исподволь направлена на разрушение респектабельности встречающихся на пути мужчин. Каждого из них она ввергает в катаклизмы — кто-то, боясь потерять социальное положение, соглашается на брак без любви, кто-то бросает семью, с тем чтобы самому оказаться брошенным, как только на смену ему придет другой. Подобно слепой силе Божественного провидения с ее созидательной жестокостью, чувственность Лоррейн кажется единственным проявлением высших природных начал, подлинно животворящим бытием. Встреча с ней подчеркивает ложность рутинных социальных связей, которые опутывают души ее поклонников. Но и в самой Лоррейн нет покоя и веры, поэтому манящая свобода, которую сулит общение с ней, оказывается иллюзорной.

В подоплеке этой истории лежит крах идеалистического представления о науке как о искупительной силе, который переживают персонажи пьесы, утрачивающие веру в то, чем

занимаются. Они дети эпохи эгоцентризма: идеалы повержены, и нет веры, которая бы примирила своих адептов с цивилизацией, где чувственность отчуждена от социального бытия и оба начала противостоят друг другу.

Пьеса осталась незавершенной, ибо я не мог согласиться на тот пессимистический финал, который неумолимо вытекал из событий. Я принимал его как писатель, но бунтовал как человек. Трудно было предположить, что в ближайшие годы мне придется пережить многое из того, о чем сам написал. Я взялся за перевод ибсеновской пьесы, потому что она открыто бросала вызов конформизму и утверждала веру в целостность человеческой личности. К тому же там не было никакой чувственности. Во всем этом отразилось мое внутреннее смятение, когда я, с одной стороны, стремился сохранить семью и был отцом двоих детей, с другой, все отчетливее понимал, что семья, общество, эти «роли» — не более чем условность, которая привязывает меня к конкретному, мешая естественному развитию взглядов и чувств. То, что я подавлял в себе, бумерангом вернулось, и меня не случайно преследовало ощущение, что я лицемер. Глубоко внутри жила потребность предельно обнажить собственное «я» перед глубинами своего искусства, которые таились не только в жене или семье, но в чувственном женском благословении, существовавшем, казалось, в каких-то других пределах. Возможно, в некоем упрощенном понимании это было жаждой сексуальных переживаний, но в силу своей природы касалось не только меня, но в широком смысле всех, кто приходил смотреть мои пьесы. Хотелось обрести внутреннюю целостность, преодолеть разлад и говорить на одном языке с собой и со всеми. Я не мог понять, почему семья и брак опутывают тончайшими нитями самоконтроля, подготавливая разрыв и толкая к предательству. Мне не хватало мужества во всеуслышание заявить, что во мне нет былой призрачной гармонии и я не знаю, как жить. Я погрузился в молчание, потеряв представление о том, что можно и чего нельзя говорить, ибо, выйдя за рамки привычных представлений, нарушил границы допустимого в отношении близких. Жизнь потеряла нормальные очертания, приступы безудержной любви переходили в безграничную ненависть, приливы надежды сменялись порывами отчаяния.

К этому времени я провел с Мэрилин считанные часы, но она вошла в мое воображение, став источником жизни, который способен неожиданно озарить огромное сумеречное пространство. Я стремился сохранить семью и в то же время понять, откуда возникло ощущение, будто меня лишили благорасположения, которое сопутствовало с детства. Зачем и для

кого я пишу? Я искал благословения, но вокруг все казалось тленом, как будто я потерял высшую цель, ради которой только и стоило работать. Я научился подолгу оставаться в одиночестве, но меня не покидало ощущение, что кто-то невидимый следит за мной. Конечно, это была мама — мой первый собеседник, вернее, интуитивный образ ее, знакомый лишь сыну — полулюбовнику, полумятежнику, который, восставая против ее власти, несет этот образ в своей крови как родовое начало. Между тем в повседневности мама хотела того же, что и все, — чтобы ее сын был удачлив. Но это было слишком прозаично, дабы удержать меня в тенетах былого послушания. Ее любовь была конкретна, в ней отчетливо присутствовало суетное деловое начало. Я же не мог жить — не говоря о счастье — без мифов детства, которые изначально питают наше вечное становление, веру в себя и мир. Муза всегда являлась мне женщиной, дарующей благословение, да поможет ей Господь. Теперь она покинула меня.

Вконец устав от роли домовладельца, особенно при таком квартиросъемщике, как Генри Давенпорт, я наконец продал дом на Грейс-Корт и приобрел небольшое строение середины XIX века на одну семью неподалеку на Уиллоу-стрит, в квартале от реки. Пытаясь сохранить видимость брака, целую неделю настилал на веранде черный пол, потом пробковый паркет, придумал массу ухищрений для кухни — иными словами, делал все, что делает человек, предполагая, что будет жить с семьей в новом доме. Однако легкость, которую рождает взаимное доверие, упорхнула как птица, и новая клетка, так же как и старая, где никто не пел, была пуста.

Мэрилин с оказией прислала обрадовавшее меня письмецо. Оно было написано корявым, слегка наклонным почерком, двумя или тремя чернилами, которые местами сменял карандаш, строчки в конце строки ползли вниз или загибались кверху, забегая на соседнюю страничку. Она писала, что хочет увидеться, надеясь выбраться на Восточное побережье по делам, а потом без обиняков предлагала, если я не буду против, приехать. Я послал ей туманный, сдержанный ответ, что я не тот человек, который может помочь ей устроить жизнь, как она того бы хотела, и пожелал всего наилучшего. Однако нередко по вечерам обжигала такая тоска, что впору было развернуть машину на Запад и выжать до отказа педаль. Увы! Я не из тех, кто способен на это.

Пока я пребывал в душевном смятении, до театральной общественности докатились слухи о неблаговидных делах Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Однако черные списки еще не появились, ибо никто из известных продюсеров не соглашался, как это вошло в практику в

Голливуде, шпионить за актерами. Театр финансировался десятками вкладчиков, и большинство продюсеров были временными людьми под куполами шатров, которые натягивались и снимались после каждого представления. К тому же театральные актеры, за небольшим исключением, не пользовались широкой известностью, а Комиссия не скрывала, что ее не устраивают «дела», публикации о которых появлялись бы на последней странице рядом с кроссвордами. Однако в Нью-Йорке прошло несколько выездных заседаний и поговаривали, что наиболее предприимчивые из свидетелей, стремясь доказать свою лояльность, заранее договаривались давать показания друг на друга. Были и такие, кто отказывался от подобных игр, и тогда их имена всплывали сами собой. Причем отсутствие поддержки только укрепляло новообращенных в стремлении заклеймить бывших единомышленников как твердолобых коммунистов.

На меня весь этот спектакль производил удручающее впечатление, и не только в силу очевидных причин. Конечно, те, кто пресмыкался перед сомнительным авторитетом витийствующих «охотников за голосами», вызывали неприязнь, но я испытывал не только жалость к ним, но и раздражение. Волновало, что с каждым днем становилось все труднее высказывать свое мнение, сколь недостойно все, что творилось вокруг. По крайней мере с точки зрения тех, кого в 1950–1951 годах могли обвинить в симпатиях к русской революции, которую они в конце тридцатых — начале сороковых воспринимали в порыве понятного идеализма как будущее человечества, с тех пор, однако, полностью удалившись от всякой политической активности. Комиссии удалось создать общественное мнение, что они преследуют тех, кто занимается подпольной деятельностью. Но даже в этом случае ее действия были незаконны, ибо коммунистическая партия была на легальном положении, так же как ее отдельные фракции, порою стоявшие на либеральных позициях, далеких от социалистических целей.

Шумиха, сопровождавшая процессы, вызывала недоумение, которое невозможно было рассеять даже апелляцией к истории. Так, группа воинственно настроенных актеров, сославшись на пятую поправку, бросила Комиссии вызов, вообразив себя последователями Георгия Димитрова, который в нацистском застенке, несмотря на угрозу пыток и казни, бросил нацистам обвинение в том, что они сами подожгли рейхстаг, как на самом деле и было. (Поразительно, но он остался жив и после войны стал первым секретарем Болгарской коммунистической партии.) В тридцатые годы об этом дерзком поступке слагали легенды, Димитров для всего левого движения стал образцом

противостояния фашизму. Одна из особенностей нью-йоркской Комиссии заключалась в том, что ее члены были избраны демократическим путем и не помышляли устанавливать откровенный террор. На некоторых из них оказала влияние недавняя победа красных в Китае, испытание русскими атомной бомбы и расширение советских границ в Восточной Европе. Трудно было распутать клубок чьей-то искренней наивности, здравых опасений и беспринципной болтовни, тем более что публичное выступление группы актеров, годами не связанных между собой политическими интересами, все равно не освободило бы Запретный город от красных и не заставило бы ни одного русского уйти из Варшавы или Будапешта.

Однако неприятнее всего была сгущавшаяся атмосфера подозрительности, которая захлестнула не только радио, телевидение, киностудии, но даже церковь Святой Троицы на Бруклинских Высотах. В результате антикоммунистической истерии, внесшей раскол в среду ее прихожан, священник преподобный Уильям Говард Мелиш оказался вместе с семьей на улице. Их вышвырнули, несмотря на то что в доме на втором этаже лежал прикованный к постели, в прошлом обворожительный, его старик отец Джон Говард Мелиш, любимый паствой священник этого огромного, прекрасного епископального храма, десятилетиями приводивший к присяге мэров Нью-Йорка. Когда-то он возглавлял «Общество помощи русским в войне» и по наивности проникся верой если не в систему, то в цели, которыми руководствовались Советы. Никто не сомневался в том, что он благочестивый христианин, в том числе в те долгие месяцы, пока этот человек пытался отстоять свои права. Однако когда дело дошло до гражданского суда, тот подтвердил право епископа на его увольнение. Все это укрепляло в мысли, что страна стремится к некой идейной монолитности, когда будет преследоваться любое независимое мнение. Я к тому времени завершил «Врага народа» — сюжет пьесы поразительно напоминал историю Мелиша, вплоть до излишнего упрямства главных действующих лиц, — однако это никак не повлияло на ситуацию.

Я не осознавал происходящего со всей отчетливостью, но искал метафору, некий обобщающий образ, который, возникнув из самых глубин, вобрал бы и прояснил все сразу, — камертон, звуки которого проникли бы в толщу этого болота. Ибо если процесс разложения затянется, в чем не было особых оснований сомневаться, мы перестанем быть демократией, так как она зиждется на твердой вере в существование устоев.

Впервые о салемских ведьмах я узнал из курса истории в

Мичиганском университете и с тех пор воспринимал это как таинственную мистификацию далекого прошлого, когда люди верили, что дух может покидать тело и в этом нет ничего удивительного. Мама, возможно, в какой-то мере верила в это и по сей день, я же, подобно многим, только втайне допускал такое. Наверное, само провидение вложило мне в руки книгу Мерион Старки «Дьявол в Массачусетсе», и странная история, сохранившаяся в памяти, обросла яркими подробностями.

Сначала я не думал писать никакой пьесы. Здравый смысл подсказывал, что я слишком рассудителен, чтобы погрузиться в необузданную стихию иррационального, связанную с салемской историей. Пьеса не может описывать переживание, она должна стать им. Однако исподволь, по прошествии нескольких недель, я увидел непосредственную связь между мной и Салемом, Салемом и Вашингтоном, ибо, чем бы ни были слушания в Вашингтоне, они носили откровенно ритуальный характер. Практически в каждом случае Комиссия заранее знала, какие показания ей нужны: она требовала имен, хотя агенты ФБР, просочившись в партийные ряды, давно составили списки тех, кто принимал участие в митингах. Как и в Салеме в семнадцатом веке, целью было добиться публичного раскаяния. Обвиняемого заставляли отречься от сообщников и наставника-магистра, чтобы отказом подтвердить безграничную преданность новой вере и тем самым пополнить ряды истинно благонамеренных. И там и здесь подоплекой была одна и та же обрядовая процедура — акт раскаяния совершался не в тайне одиночества, но прилюдно. При этом салемский процесс имел б*о*льшую юридическую полномочность, ибо те, кто обвинялся в близости с «нечистой силой», преступали закон, запрещающий практику колдовства, что являлось нарушением гражданского и религиозного кодексов. В свою очередь, тем, кому вменялось оскорбление Комиссии, не могли предъявить ничего иного, кроме отказа от верноподданнических чувств и поддержки враждебной идеологии. При этом на человека навешивался ярлык, что не могло не сказаться на его будущей карьере.

Сама процедура опиралась на правительственный декрет о моральной ответственности. Все обвинения легко снимались, как только произносилась чисто ритуальная речь, назывались имена соратников и человек отрекался от своих убеждений. Последнее во всем этом фарсе было, пожалуй, печальнее всего, хотя и весьма закономерно. К началу пятидесятых лишь незначительная часть людей еще сохранила веру в Советы — доля деятелей искусства среди них была невелика.

Меня же в этом интересовало то, что было сокрыто от

взгляда, — акт невидимого духовного перерождения личности. Процедуры обвинения и покаяния были организованы по хорошо известным законам инквизиции, только в роли потерпевшего теперь выступал не Господь со своими служителями, а Комиссия Конгресса. (К тому же ряд ее членов отличался вопиющей аморальностью, вроде Дж. Томаса, чья ненависть к коммунизму соперничала с его корыстолюбием, за что он вскоре оказался в федеральной тюрьме, где рядом с ним отбывал срок Ринг Ларднер-младший, попавший за решетку за оскорбление Конгресса, то есть за отказ отвечать на вопросы того же самого Томаса.) Мы вступили в область антропологии и сновидений, где политические лозунги не имели никакой силы. Политика слишком рассудочна, чтобы рассеять сумрак подземелья общественного сознания, где над затянутым паутиной пространством предательства и неистовой злобы довлеют тайные необъяснимые низменные страхи. Волна маккартизма только поднималась, и трудно было предположить, что она выйдет из-под контроля президента и будет нарастать до тех пор, пока Маккарти не посягнет на авторитет достопочтенных генералов и армия не свергнет его самого.

Я никак не мог решить, стоит ли писать пьесу о салемских процессах. Сдерживал ряд конкретных вопросов, связанных со знанием материала, а также ощущение, что я могу навлечь на себя неприятности не только политического, но и личного характера. В салемской истории меня больше всего занимал образ одного из ее главных участников — снедаемого чувством вины Джона Проктора, который, переспав со своей молоденькой служанкой, вдруг с ужасом узнает, что, возглавив толпу односельчан в охоте за ведьмами, она остановила указующий перст на его жене, которую он сам же и предал. Основные линии пьесы были не до конца ясны, но интуиция, как это часто бывает со мной, подсказывала, что не успокоюсь, пока не выплесну все на бумагу. И чтобы немного поработать, я решил отправиться в Салем, городок в штате Массачусетс, где сохранились архивы тех исторических событий. Не без волнения я устремился на север и одновременно в глубь самого себя. За день до отъезда позвонил Казан и попросил заехать к нему.

Поскольку он не любил пустых разговоров, во всяком случае со мной, а это был уже второй или третий звонок за последние несколько недель, я понял, что с ним творится что-то неладное, и заподозрил в этом Комиссию. Проклиная наступившие времена, я выехал серым промозглым коннектикутским утром в начале апреля 1952 года из дома, уже по дороге догадавшись, что скорее всего он принял предложение сотрудничать с Комиссией. Лет

пятнадцать назад Казан состоял членом коммунистической партии, о чем как-то сказал мне, но, в общем, всегда был далек от политики, по крайней мере те пять лет, что мы были знакомы. Я чувствовал, как во мне закипает негодование, но не против него — его я любил как брата, — а против Комиссии, которая представляла собой свору политических дельцов с весьма сомнительной репутацией, вроде той, что у Тони Анастазии, или похлеще.

Ненадолго выглянуло солнце, и мы пошли прогуляться по мокрому лесу, вдыхая густой весенний аромат, насыщенный запахами прошлого и настоящего, как это бывает за городом после раннего дождя. Было заметно, что Казан старается выглядеть спокойным, как человек, принявший удачное решение. Его безыскусный рассказ, к тому времени уже достаточно банальный, занял немного времени. Получив предложение помочь Комиссии, он поначалу отказался, потом передумал и на закрытом заседании назвал несколько десятков фамилий тех, с кем успел познакомиться во время недолгого пребывания в партии. Теперь он испытывал чувство облегчения, все стало проще. Однако он продолжал на что-то надеяться, будто ничего не произошло. И искал поддержки: в конце концов, почему, потеряв симпатии к коммунистам, он должен страдать из-за своих былых пристрастий. Ситуация казалась настолько невероятной, что я никак не мог воспринять ее. Я никогда не задумывался, кем был для него, он же вошел в мои сны как брат, и там мы обменялись улыбкой взаимопонимания, которая отделила нас ото всех остальных. Теперь же, слушая его, я испытывал чувство ужаса. В том, что он говорил, была своя мрачная логика: если он не выйдет сухим из воды, то должен будет полностью отказаться от надежд когда-либо снять в Америке фильм, достойный его дарования. Более того, ему могли отказать в выдаче паспорта, что напрочь лишало возможности работать за границей. Конечно, оставался театр. Но это был пройденный этап, к тому же ему безумно хотелось работать в кинематографе, к которому он прикипел душой. Однако его старый покровитель и друг Спирос Скурас, президент кинокомпании «XX век Фокс», весьма недвусмысленно намекнул, что они не смогут предоставить ему работу, если он не поладит с Комиссией. Казан все продолжал говорить, а я поймал себя на мысли, что кому-то менее одаренному, чем он, было бы наплевать на все это, но он, на мой взгляд, был гением театра, где актеры и текст нуждаются в провидце, который придает всему неповторимый оттенок. Лишиться своего métier[15], оказаться выброшенным на улицу — такое не могло присниться ему даже в страшном сне. Он относил

себя к породе победителей, и его жизненным принципом было уцелеть. Казан старался говорить как можно убедительнее, а я там, в лесу, переживал настоящую драму, ибо, испытывая к нему глубочайшую симпатию, понимал, что боюсь его. Принадлежи я к его поколению, он, без сомнения, и меня отдал бы на заклание. Эта мысль затмила все остальные, и я никак не мог избавиться от нее.

Избавиться от ощущения, что в конечном счете любые человеческие отношения приносят радость обретения или горечь утраты. Что все возвращается на круги своя и этим никого не удивишь. Что каждый сопротивляется, покуда ему это выгодно, и верит, покуда удобно. Все мы напоминали рыб, которые с застывшим взором ловят брошенные в аквариум крохи. Единственное, что я мог сказать в этой ситуации, — все пройдет, не может не пройти, ибо в противном случае страна потеряет единство и лишится возможности нормального развития. Я сказал, что наши страхи разжигают не красные, а кто-то совсем иной. Что безнаказанно это не кончится — придет день, и терпение нации лопнет. И тогда, возможно, придется сожалеть об этих временах. Меня отрезвляла мысль, как бы нелепо она ни звучала, что я тоже мог оказаться в его списке, если бы Казан знал, что я посещал собрания писателей-коммунистов и даже однажды выступил на одном из них. Я чувствовал, как между нами возникает немота, наполненная потоками невидимых вибраций, гнетущих, подобно низкой скорбной ноте, что не дает ни говорить, ни слышать. То была мертвенная и тягостная печаль. Вот до чего мы дожили. Разве Казан обязан был быть сильнее самого себя — правительство не имело права требовать от человека, чтобы он оказался выносливее отпущенного ему. Однако наши руководители не разделяли подобного взгляда, и я испытал такое чувство горечи за свою страну, которого раньше не знал, ненависть к ее глупости и добровольному отказу от завоеванных свобод. Кому и для чего понадобилось, чтобы этот человек в своей человеческой слабости испытал такое унижение? Какая истина открылась в этом страдании?

Я садился в машину, когда на пороге дома появилась Молли Казан. Опять начал накрапывать дождь, и я подумал: кто, как не она, знает, насколько все это грустно. Невозможно было смотреть в ее смятенные глаза. Жизнь порою заставляет пережить такие минуты, которые не изгладятся до гробовой доски. Молли питала склонность к нравоучениям и обладала особым даром — безошибочно определять, где пьеса теряет стержневую нить или авторский темперамент уводит ее от основного конфликта. Задолго до начала репетиций «Смерти коммивояжера» она

настойчиво советовала мне убрать дядюшку Бена и все ретроспективные сцены. На мой взгляд, это был поразительный случай психоаналитической редукции по принципу «ничего, кроме», когда из пережитого убирается все, за исключением очевидного и легко узнаваемого, как будто цвет, интонация или настроение не могут повлиять на судьбу.

Я уже был в машине, но Молли задала вопрос, которого не забыть: в курсе ли я, что объединенный профсоюз электриков находится в руках коммунистов. Стоя под моросящим дождем, эта женщина, спасая карьеру мужа, казалось, вся сосредоточилась на вопросе, который в более спокойные времена заставил бы ее рассмеяться, настолько он был нелеп в свете стоявших перед нами проблем. Я пробормотал, что давно ничего об этом не слышал. Она махнула рукой в сторону дороги, заметив, что я отстал от жизни, ибо все, кто проживает по соседству, поддерживают и одобряют деятельность Комиссии. Я не нашелся, что ответить, чтобы преодолеть разверзшуюся между нами пропасть. Тягостное прощание затягивалось, и в ответ на мои слова, что я не могу принять их позицию, она поинтересовалась, не возвращаюсь ли я к себе — мой дом был в получасе езды от них. Я ответил, что еду в Салем. Она сразу поняла, что это значит, ее глаза расширились от внезапной догадки, а может быть, гнева. «Не надо сравнивать это с ведьмами!» — сказала она. Я заверил ее, что еще не решил, буду ли писать пьесу, и еду просто покопаться в архивах. Мы грустно помахали друг другу, когда я отъезжал.

Выехав на дорогу, ведущую на север, я подумал, что Молли, пожалуй, была права, говоря о людях, живущих в уютных домиках у шоссе, и испытал такое чувство, будто сам нахожусь по другую сторону. Странное ощущение усиливалось оттого, что внутри привычно боролись противоречивые настроения: я по-прежнему любил Казана как брата, хотя отчетливо сознавал, что он пожертвовал бы мною, если бы ему это было надо.

В каком-то смысле я ехал в Салем совершенно безоружным, будучи еще не в силах смириться с самым заурядным опытом человечества: борьба интересов делает смертельными врагами даже супругов, а родителей превращает в бездушных надзирателей, если не мучителей собственных детей, и этому нет ни конца ни края.

Я уже понял из того, что успел прочесть: настоящая беда старого Салема заключалась в том, что эти люди отказали друг другу в милосердии. Капли моросящего дождя стекали с ветрового стекла прямо мне в душу.

Салем в те времена был заштатным провинциальным городком. Он возник на соляных копях к югу от Плимута и во время всеобщей индустриальной модернизации, предпринятой в предыдущем поколении, оказался обойден. Омываемый холодным заливом, он в тот студеный с непроглядной изморосью день сползал к воде как брошенная собака. Мне он понравился, понравилась его угрюмая таинственность. Я отправился в здание суда и попросил из городского архива тома за 1692 год. Пришлось несколько минут подождать, пока дежурный выдавал точно такие же тома за последние три-четыре года двум агентам по недвижимости, искавшим акты какой-то сделки. В комнате было тихо, и, пристроившись около высокого окна, сквозь которое падал неяркий свет, я засмотрелся на воду — по крайней мере так мне теперь вспоминается, — тяжелую воду стального цвета, на которую точно так же, наверное, смотрели приговоренные около виселиц на горе Ведьм — том месте, о котором почти не сохранилось сведений.

Я мало что надеялся почерпнуть из судебных бумаг, но было интересно окунуться в язык, на котором велись допросы, в ту неприкрашенную манеру разговора, которая поразила слух и через десять лет стала предметом переписки с Лоренсом Оливье, в своей превосходной лондонской постановке «Салемских ведьм» попытавшимся придать речи актеров особую окраску. После долгих сомнений он остановился на нортумберлендском диалекте, на котором говорят не разжимая рта. Я слышал его, читая судебные реестры, где орфография запечатлела отрывистую речь на шотландский манер. В импровизированной стенографии присяжных со священниками, которые вели записи, слова оказались весьма точно зафиксированы фонетически. И, просидев, проговаривая их, несколько часов, я воспрял духом, поняв, что это можно использовать в пьесе, и полюбил этот язык, напоминавший твердое отполированное дерево. Я даже придумал несколько грамматических форм вроде двойного отрицания, встречавшегося в судебных записях много реже, чем в моей пьесе.

«Еду мимо его дома, вдруг телега прям сама останавливается, — свидетельствовал истец. — Вижу, он стоит у окна и смотрит; отвернулся, и колеса сами поехали». Заколдованная взглядом телега. И масса других ярких эпизодов, которые вставали как кадры: на постели человек; приподняв голову, он видит, как в комнату вплывает через окно женщина, чтобы возлечь на него не иначе как всем телом. Читать эти показания на берегу залива было совсем не то, что в Нью-Йорке. Легче верилось, что все это происходило на самом деле. Здание суда закрывалось в пять часов, и в провинциальной глуши ничего

не оставалось, как побродить по улицам городка. Смеркалось, когда я подошел к кондитерской, около которой гурьбой стояли подростки, и услышал их заразительный смех — из-за угла верхом на метле вприпрыжку появились две девчонки. Подумалось: откуда они узнали, что я здесь? В те времена Салем не любил вспоминать о ведовстве, не видя в этом особого предмета для гордости. Только после появления «Салемских ведьм» эта тема начала активно использоваться для привлечения туристов. Улицы запестрели указателями: вот здание суда, где проходил процесс, тут был арестован тот-то, там были допросы, здесь обвиненные были повешены.

Однако в те времена, когда я совершал вечерние прогулки по городу, массачусетские законодатели не удосужились выразить сожаления по поводу невинно убиенных и два с половиной века спустя взирали на подобное предложение как на оскорбление чести штата. В них говорила та же гордыня, что когда-то не дала салемскому суду признать правду как она есть. Все шло на пользу пьесе, ибо ложилось одно к одному.

Как любые судебные материалы, документы провоцировали массу недоказуемых предположений о так называемых закулисных отношениях. На следующий день я отправился в крошечное здание местного Исторического общества, где распугал тишину и озадачил двух ветхих старушек-хранительниц, сурово посмотревших на меня с плохо скрытым изумлением: у них почти не было посетителей. Я раскопал написанную вполне в духе девятнадцатого века книгу Чарлза Апема «Салемское ведовство», где на другой день нашел описание печальной истории, ставшей стержнем моей пьесы: развал брака Проктора и показания против Элизабет некой Абигейл Уильямс, желавшей ее смерти, чтобы воссоединиться с Джоном, с которым, как я понял, она спала, будучи до того, как ее выгнали, служанкой в доме Элизабет.

«Когда Элизабет Проктор вызвали в суд, Абигейл Уильямс и Энн Патнам хотели ударить ее, но сжатая в кулак рука Абигейл разжалась сама собой и, приблизившись к капюшону вышеозначенной Проктор, лишь слегка коснулась его сильно растопыренными пальцами. Тут же Абигейл вскрикнула, что она обожгла пальцы, пальцы, свои пальцы…»

Ирония этого восхитительного отрывка таится в том, что он принадлежит перу преподобного Пэрриса, того самого, который старался доказать, что поразивший девочек недуг серьезен, а потому люди вроде Элизабет Проктор очень опасны.

Однако когда сознанием овладевает страх, ирония, будучи парализована, исчезает. Ирония действительно величайший дар

примирения. Стало понятно, что Пэррис написал о девочке-подростке, которая, испытывая радостное возбуждение убийцы перед ударом, обернулась взглянуть в лицо бывшей хозяйке, замахнувшись не просто на, свою жертву, жену любовника, пытающегося откреститься от нее, но на общество, которое, аплодируя, наблюдало за поступком этой безудержной отваги, освобождавшей его от грязных грехов. Больше всего меня поразил рикошет идеи «очищения», когда, пытаясь избавиться от собственной низости, человек проецирует ее на других и хочет смыть их кровью. В частной переписке тех времен мне несколько раз попадалась фраза: «Теперь никто не может чувствовать себя в безопасности».

Идея превратить это множество человеческих трагедий не в рассказ, а в пьесу заворожила меня. Единственное, чего я опасался, так это не умалить драматизма событий, представших подлинно библейской историей. Я то укреплялся в этом решении, то сомневался, ибо уяснил для себя только внутреннюю связь событий, не найдя тему и не выстроив композицию, а одного желания написать пьесу, как известно, достаточно лишь для того, чтобы обречь ее на провал. К тому же у меня не было никакого желания поучать: я понимал, что во всем этом сквозил голос не только эпохи, но моей собственной жизни.

Как-то днем, просидев несколько часов над рукописями в Историческом обществе, где, кроме меня, никто не нарушал полудрему двух старых хранительниц, я встал, чтобы уйти, и тут заметил на стене несколько окантованных гравюр с изображением процесса над ведьмами. Судя по всему, художник, который их делал, был очевидцем событий. На одной из них сквозь высоко расположенное под сводами окно свет падал на бледное, без кровинки, лицо судьи с длинной, до пояса, бородой и воздетыми в ужасе руками, будто он защищался от судорожно бьющихся у его ног девушек, в которых вселились бесы, а они кричали и царапались в схватке с невидимыми мучителями. На заднем плане можно было различить несколько темных фигур, среди которых угадывались отшатнувшиеся в праведном гневе мужчины с такими же, как у судьи, бородами. На меня вдруг нахлынули воспоминания о танцевавших в синагоге на 114-й улице стариках, за которыми я подглядывал сквозь пальцы: и там и здесь то же хаотическое движение тел. На картине — испуганно отпрянувшие при виде сверхъестественного события взрослые, в моей памяти — более радостное, но не менее глубокое переживание; а в сущности, оба пугающе тесно связаны со всевластием Бога. Я тут же увидел их связь: неистовый фанатизм

евреев и клановая оборона от любых посягательств извне. В этом прозрении мне открылась трагедия Салема, ставшая моею собственной. Я не знал, смогу ли преобразовать эту груду разношерстного материала в пьесу, но он стал моим, и можно было начинать ходить по кругу, внутри которого должна была подняться конструкция пьесы.

Я покинул Салем во второй половине дня ближе к вечеру, когда шестичасовой выпуск новостей по радио совпал с наступлением темноты, балахоном опустившейся на лобовое стекло машины. Дождь моросил не переставая. Диктор сообщил, что Элиа Казан дал показания в сенатской Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, и зачитал имена тех, с кем он был прежде связан, — среди них не было никого из знакомых. Я успел забыть о Казане, погрузившись в историю давно минувших дней. Голос диктора бесцеремонно, назойливо возвращал к тому, что и так причиняло боль. Я подумал, что этому делу стараются придать политическую окраску, хотя оно было чем-то совсем иным, чему я не мог найти названия.

Я ехал в Нью-Йорк, возвращаясь в большой мир. Все во мне оцепенело. Через полчаса по радио повторили сообщение об Элиа Казане. Лучше бы они помолчали. Стало неловко не только за него, но за всех нас, кто знал это чувство, которому сейчас так трудно было подыскать название, — пожалуй, солидарность как своего рода реакция на отчуждение. Политическая подоплека не играла здесь почти никакой роли. Мы поклонялись одним и тем же героям, одним и тем же мифическим борцам. Возможно, в этом заключалась вся суть: мы отождествляли лучшее в себе с храбрыми мужчинами и женщинами, начиная от героев испанской войны и кончая немецкими и итальянскими антифашистами — людьми, ставшими жертвами своего времени.

То, что являлось никчемной комедией, преподносилось как высокая драма. Поскольку Комиссия знала имена, не было необходимости ничего рассекречивать — разыгрывалось некое условное действо, в котором никого не посылали на виселицу и не лишали жизни. Все оставалось на своих местах, только дышать стало труднее и жизнь катастрофически теряла смысл — отрекаясь от дружбы, люди предавали тех, кого продолжали любить.

Подъезжая к Нью-Йорку, я, как всегда, ощутил, что приближаюсь к чему-то эфемерному и в то же время сверхреальному. Я катил по мокрому блестящему асфальту к Бруклинскому мосту, когда, бросив взгляд на спидометр, заметил, что еду все медленнее, словно боясь расплескать, потерять ту правду, которая скопилась внутри. Я понял, что пьеса целиком захватила меня, и где-то по пути между Салемом и Нью-Йорком решил, что напишу ее.

Острая реакция Молли на аналогию с Салемом, как я теперь понимал, должна была стать серьезным возражением против подобной пьесы. Эта мысль возникнет еще не раз: «Ведьм не было, а коммунисты есть». Спорить было без толку, взятые

обязательства касались только меня и избранного материала. Я боялся, чтобы он не увел от темы, по крайней мере до того, как я во всем разберусь. Пока же удалось одно: собрать множество фактов о том, как общество погубили недоверие и паранойя, — это не было выдумкой, ибо около ста лет никто не покупал дом*а* повешенных, опасаясь проклятия.

Значит, неправда, что «ведьм не было». Я нисколько не сомневался в том, что Титуба, служанка преподобного отца Перриса, черная рабыня с Барбадоса, колдовала вместе с деревенскими девушками, но главное, в этом не сомневались лучшие умы своего времени, верующие и неверующие, в Америке и в Европе, которые возмутились бы, скажи им, что ведьм нет, когда Писание трижды предостерегает от сношений с ними. И Эддисон, и доктор Джонсон, и король Яков, и вся иерархия англиканской церкви разделяли взгляд Блекстоуна, глашатая самой британской юриспруденции: «Не признавать или отрицать ведовство — не что иное, как вступать в противоборство с богооткровенным словом Ветхого и Нового Завета. Это истина, о которой всякий народ должен свидетельствовать либо наглядными и достоверными примерами, либо законами, в которых запрещался бы любой сговор со злыми духами, тем самым подтверждающий их существование». Эту мысль подытожил Джон Уэсли: «Отрицая ведовство, мы, по сути, отрицаем Писание». Как всегда, подобные утверждения возникли не на пустом месте — их породил взрыв так называемого «неверия», иными словами — сомнение, деизм, если не атеизм. В конечном счете колдовство было высшим глумлением над Богом. Охота на ведьм была своего рода призывом: «Все должны собраться в лоне церкви, ибо она одна стоит между людьми и дьяволом, который правит миром». Тогда, как и теперь, за высокопарными рассуждениями скрывалась жажда обладания старой знакомой по имени Власть. В Европе за колдовство лишили жизни несколько тысяч человек, поэтому вряд ли разумно настаивать, что явление существовало исключительно в чьем-то воображении.

Но тема — еще не идея. Это — действие, непрерывный процесс, развивающийся, подобно эмбриону или даже опухоли; это разрушительная сила, которая меняет, созидает, убивает; это парадокс, который, претерпев трансформацию, изживает себя, с тем чтобы в нужное время выявить ситуацию в целом. Несколько недель я подступался к материалу с разных сторон, писал сцены то в традиционном, то в экспериментальном ключе, пока не обнаружил параллели между скрытыми пружинами салемской истории и сегодняшним днем, набросав основную линию сюжета.

Меня волновало, можно ли было как-то предотвратить ситуацию взаимной травли людей.

Почти каждое признание, которое попадалось мне в руки, так или иначе касалось прелюбодеяния. Дьявол всегда оказывался негром, попавшим в общество белых людей, и черную рабыню Титубу, конечно же, вынудили признаться, что именно он воспламеняет чувственность, что убедило многих — Салем в осаде Люцифера. При этом мужчины редко околдовывали мужчин, тогда как женщины постоянно становились жертвами колдуна-искусителя. Совращение с пути истинного происходило обычно ночью: десятки людей, лежа в постели, наяву наблюдали, как в комнату через окно или в дверь проникал призрак. Залезая под одеяло, он вынуждал их к непристойности вроде поцелуя или требовал расписаться в «Книге дьявола» — списке тайного общества отверженных. Тот, кто сдался, переживал острое наслаждение. На суде же прилюдно требовали подробностей о проведенной неизвестно с кем ночи — милостью наместников Божьих призрак обретал плоть и кровь.

В этом заключалась вся соль — в подавленной чувственности. (Достопочтенные судьи Новой Англии, несмотря на богоугодную миссию, и впрямь стали заигрывать с невинными девочками-свидетельницами, приглашая их в местную таверну выпить кружечку пива. Это было, конечно, грешно, но прощалось тем, кто самозабвенно сражался с адом во имя Господне.) Ничего бы не произошло, если бы душу не мучило чувство вины, а культ и культура репрессий насаждались менее рьяно. Тогда бы Джон Проктор принял на себя не выдуманную, а подлинную вину, сознавшись, что переспал со служанкой. Салем могло спасти только чистосердечное признание, но все скрывали подспудный страх, и это грозило вопреки внешней благопристойности всеобщей гибелью.

Поэтому политический вопрос, можно ли равнять коммунистов с ведьмами, отпадал сам собой. Несмотря на разницу в два столетия, в том и в другом случае нашло выражение затаенное, подавленное отрицание конформистского, или «дневного», как его называли наиболее рьяные адепты, общества.

Если бы этого не произошло, тем, кто охотился в 1950 году за красными, никогда бы не удалось сосредоточить в своих руках такую власть. Любые либеральные поползновения, хотя бы отдаленно созвучные марксизму, были пресечены, ибо марксизм подвергся не только политическому, но и моральному остракизму. Бывший коммунист был виноват уже тем, что верил, будто Советы — прообраз будущего, где нет угнетения и не

расходуют деньги впустую. Даже простодушие тех, кто видел в России духовное благо, а не земную державу, вменялось в вину, провоцируя чувство стыда.

Сенатская Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности была создана в 1938 году, но в те времена, когда Рузвельт со своим «Новым курсом» открыто и широко занимался общественным строительством, опираясь на методы, близкие методам социалистов, чувство вины было не так распространено. Однако в конце сороковых, как в свое время в Салеме, законы общественной жизни неожиданно изменились, а может быть, их кто-то изменил, и обычное неприятие капитализма, истеблишмента стало считаться чем-то недостойным, безнравственным, если не явным, то скрытым предательством. Америка всегда была религиозной страной.

Я долго искал трагического героя и, кажется, наконец обрел его. От салемской истории невозможно было отойти. Чем дальше продвигалась работа, тем больше я убеждался, что, как ни странно, бывают моменты, когда совесть отдельного человека может спасти от гибели мир.

К июлю я обрел решение: Проктор перебарывает сомнение, будто недостоин «взойти на виселицу как святой», — это были его слова. Отказываясь от сделанных признаний, он бросает судьям вызов и сам вершит над собою суд. Все сразу стало на свои места. А я открыл для себя нечто новое в древнегреческой трагедии: ее целебное воздействие заключалось в том, что, показывая не имеющую оправдания жестокость клана, она ставила вопрос о необходимости переосмыслить и преодолеть ее в рамках новых установлений при помощи закона, которым Афина положила конец нескончаемой родовой вендетте.

Джордж Кауфман как-то сказал: «Для драматурга прожить без Джеда Харриса все равно что не переболеть корью». После того как Казан, с которым нас связывали схожие взгляды на пьесы и на жизнь, поставил два моих спектакля, нелегко было искать нового режиссера. И тут Джим Проктор, отвечавший за рекламу «Всех моих сыновей» и «Смерти коммивояжера», заговорил о Харрисе — в отличие от меня он помнил его триумф в конце двадцатых — начале тридцатых годов, когда, как это случается на Бродвее, где до сих пор одновременно идут десятки похожих пьес, вдруг появляется имя режиссера, который составляет эпоху, годами, десятилетиями с успехом ставя и списывая в расход различные шоу. Харрис был продюсером «Кокетки», где в роли инженю выступила Элен Хейз, «Бродвея», «Королевского семейства», «Передовицы», поставил «Дядю Ваню», «Генерал-инспектора», «Кукольный дом», «Наш городок», сартровские «Красные

перчатки» и многое другое, но к пятидесяти годам все это подзабылось. Однако за пару лет до этого он всплыл — спас неудачное шоу «Поворот винта», получившее успех как «Площадь Вашингтона». У него был сын от Руфи Гордон, а сам он успел перессориться практически со всеми, кто был хоть мало-мальски известен на Бродвее. Однако я ничего этого не знал, когда Джимми представил меня ему на роскошной моторной яхте шестидесяти футов в длину в гавани Уэст-порта в Коннектикуте.

У облысевшего Джимми Проктора был приплюснутый нос, заплывшая шея и косолапая поступь близорукого борца, ибо он занимался борьбой, когда учился в середине двадцатых в Корнельском университете. Он шепелявил и, как большинство журналистов своего времени, страдал неизбывным сентиментализмом, особенно когда речь заходила о каком-нибудь гении, будь то канатоходец или драматург.

В детстве отец не баловал его вниманием, наведываясь домой только после какой-нибудь очередной революции в Южной Америке или экспедиции в золотоносный район джунглей. И Джимми с ранних лет начал воспринимать людей в некоем романтическом экзотическом ключе — как выяснилось, именно в этом плане Джед Харрис был одной из выдающихся личностей двадцатого века. В редкий момент прозрения Джимми предупредил меня: «Куча людей будет говорить тебе о Джеде всякую ерунду, но он гений, а это просто так не дается».

Потом выяснилось, что Харрис не является владельцем яхты, безукоризненно надраенного судна, которое вроде бы собирался купить (но не за деньги, конечно, ибо их у него не было); на тех же условиях, похоже, на борту находилась и молчаливая миловидная молодая женщина. Я сразу понял, что достоинства Джеда суть его недостатки, неуемная физическая энергия и запросы, которые нельзя не удовлетворить. Если он в воскресенье утверждал, что на дворе вторник, и его кто-нибудь поправлял, Джед насмешливо улыбался, выдвигая вперед тяжелую нижнюю челюсть, и произносил: «Я никогда не спорю с талантом». С самого начала я подозревал, для меня это был режиссер слишком высокого полета, что должно было повлечь за собой только неприятности, однако он хорошо знал театр, актеров, а самого себя считал признанным знатоком поэзии и литературы. Это был человек, который после совместного ужина мог оставить у вас впечатление, что был близким другом Уинстона Черчилля, Махатмы Ганди и даже Гертруды Стайн. Джед умел пускать пыль в глаза, что само по себе подозрительно, особенно когда делается не развлечения ради, а всерьез.

Как все люди такого плана, он имел слабину и порою

выглядел наивно. Мы ехали в Бостон на моем «форде» и только миновали шлагбаум, где я уплатил подорожную пошлину, как он вдруг закричал. От неожиданности я затормозил выяснить, что случилось. Тыча в сторону диспетчера, Джед возмутился: «Ты же не дал ему на чай!» Для знакомства с будущим режиссером собственного спектакля это был дурной знак, свидетельствующий о неадекватности наших реакций на действительность. Но это было еще не все. В Бостон мы ехали смотреть Артура Кеннеди в новом спектакле. Кеннеди играл в двух моих пьесах, и я представлял его в роли Джона Проктора. Но Джед с ходу отмел эту идею.

— Откуда он родом? — прозвучал его вопрос.

— Из Уорчестера в Массачусетсе.

— Все понятно. Потому у него и ноги такие.

— Какие?

— А такие! Он у тебя в двух спектаклях играл, а ты, можно подумать, не знаешь, какие у него ноги.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

Вечером во время спектакля Джед толкнул меня в бок и показал на сцену, где играл Кеннеди: «Вон, полюбуйся на своего! Да он просто говно, твой картофельный фермер! Видишь, ногу ставит, как по грязи идет: плюх-плюх-плюх».

На обратном пути в Нью-Йорк я всю дорогу объяснял ему, что Кеннеди актер глубоко лирический, и нам удалось договориться, что он все-таки будет играть. Но смехотворное заявление о его ногах говорило, что Джед ничего не понял в моей пьесе, хотя с присущим мне оптимизмом я тогда просто не воспринял это всерьез.

На его взгляд, Кеннеди выглядел достаточно заурядно, однако он забывал, что Джон Проктор не актер, а салемский крестьянин. Харрису же спектакль виделся как картина в духе старых голландцев, строгая пьеса, поставленная в классическом ключе, — своего рода приглашение зрителю подремать. В остальном подбор актеров, на мой взгляд, оказался прекрасным: роль Данфорда блистательно исполнил восьмидесятичетырехлетний Уолтер Хампден; в роли Готорна был занят Филипп Кулидж, актер с узкой, как нож, линией рта, роль преподобного Хейла сыграл Э. Маршалл, Элизабет — Беатрис Стрейт, а восьмидесятилетнего крестьянина Джайлза Кори, которого за отказ дать показания в суде односельчане забрасывают камнями, — Джозеф Суини, пожилой актер водевильного жанра, известный своим едким остроумием.

Но то, что получилось, несмотря на превосходный состав, после десяти дней репетиции, выглядело в высшей степени

невыразительно и мертво. Мне даже вспомнился старый афоризм, что в пуританских костюмах в театре успеха не добиться (на эту мысль натолкнули слова Макса Гордона: «Зарекаюсь ставить пьесы, где герой пишет пером», — сказанные после провала его спектакля о Наполеоне). На репетициях почти никто не импровизировал, ибо, как я понял, боялись Харриса; он мог позволить себе взлететь на сцену и в оскорбительной манере пародировать актера, если тот отступил от заданного рисунка, или передразнить, произнеся реплику с акцентом не на ту гласную, или расставить актеров так, что они играли, не видя друг друга. Все это делалось для традиционного отчуждения артиста от роли, на чем упорно настаивал Джед. Его дикие упражнения способствовали не столько пробуждению чувств, сколько насаждению дисциплины. Но все это не сработало, и однажды утром Джед вообще не явился на репетицию.

Я позвонил ему на Сентрал-Парк-Саут, где он снимал квартиру, и не на шутку испугался, услышав в трубке после затянувшейся почти полминутной паузы:

— Артур, я умираю.

— Что сказал врач? — через несколько минут выяснял я, влетая в его комнату.

Джед удрученно покачал головой.

— Не может понять, — произнес он. Впору было догадаться, что любое заболевание Джеда будет вне компетенции современной науки.

— Слушай, проведи репетицию за меня, — прошептал он, не попадая зубом на зуб. После чего, высунув из-под одеяла волосатую руку, сгреб мою и торжественно заключил: — Ты отличный парень! — как будто нам не суждено было больше встретиться.

Заверив, что его выздоровления все будут ждать с нетерпением — ложь, которую себе тут же простил, — я вернулся на репетицию, а через полчаса увидел, что он сидит у меня за спиной. Джед был в пальто с поднятым воротником и все так же клацал зубами — этакая жертва искусства. Не прошло и часа, как он снова очутился на сцене и стал учить Кеннеди, куда и как ступать медвежьими лапищами и как повернуться, произнося ту или иную реплику.

Единственным из актеров, которых в спектакле было занято немало, кто не боялся Джеда, был Э. Маршалл. На вечернюю репетицию, когда преподобный Хейл заставляет Проктора прочитать десять заповедей в доказательство его набожности, Маршалл приехал с бутылкой виски и отказался вынимать ее из кармана, выйдя на сцену. Он молча ждал, пока Кеннеди отбубнит

катехизис, как вдруг около них появился Джед, попросив его встать чуть в сторону. В ответ на это Маршалл достал бутылку, опустошил ее и с размаху со смаком запустил над оркестром в темноту балкона, откуда послышался звон. Затем повернулся к Джеду и, облизав губы, спросил: «Так что мне еще надо сделать?» Насколько я помню, Джед больше ни разу не осмеливался его поправлять.

Это был милейший человек, который, однако, постоянно находился на грани срыва. Возможно, именно на этом зиждился его авторитет, ибо мы склонны подчиняться сумасшедшим. Тем не менее Джед был очень забавен. Как-то днем я зашел к нему и застал на диване с толстенной книгой в руках. Такой фолиант сейчас редко увидишь, заметил я, на что он сказал: «Толстая, а неинтересная». У него были жуткие перепады настроения. Через несколько минут мы стояли на площадке в ожидании лифта и болтали. Ни с того ни с сего он начал бешено колотить по гулкой металлической двери и кричать: «А ну давай, пошевеливайся!» Это продолжалось пару минут, пока из распахнувшейся двери лифта не появился, пытаясь объяснить причину задержки, испуганный сухонький старичок лет эдак за семьдесят. Не владея собой, Джед сгреб его за лацканы пиджака и заорал: «Сколько я, по-твоему, должен звонить!» И прежде чем я успел вмешаться, со всего размаха притиснул его к задней стенке лифта. Когда мы выходили из парадной двери, он уже вполне успокоился и делился мыслями, что хочет купить подержанный «крайслер» со стеклом-перегородкой, отделяющей шофера от пассажиров. Было ясно, что у него нет денег приобрести машину с шофером, однако по дороге в театр он настоял, чтобы мы заглянули в автосалон на Бродвее. Залезая в кабины и хлопая дверцами, он осмотрел пару машин, создав у продавца впечатление, что какую-нибудь обязательно купит.

Приближалась премьера в Уилмингтоне, в штате Делавэр, а Джед, похоже понимая, что не нашел ключа к пьесе, в последние дни творил что-то невообразимое, вплоть до того, что выгнал кого-то из актеров. Тогда наконец продюсер Кермит Блумгарден решил с ним расстаться. Предложение явно пришлось Джеду по душе, однако за то, что уйдет, он потребовал львиную долю будущей прибыли.

Премьера в Уилмингтоне, на родине империи Дюпона, прошла успешно. Я был в этом городке лет девять назад со спектаклем «Человек, которому всегда везло», и он показался мне весьма заштатным. Тогда зрители были как в летнем театре, чужие и равнодушные, теперь же они повскакали с мест и дружно вызывали автора на сцену. Недовольный общей скованностью

постановки и неуверенный в том, какая участь ждет ее в Нью-Йорке, я стоял в глубине зала вместе с Лилиан Хеллман и Блумгарденом, как вдруг между изумленным Кеннеди и приоткрывшим от неожиданности рот Э. Маршаллом на сцену выскочил Джед и начал раскланиваться. Хотя в его лице я выглядел лет на десять, если не на двадцать старше, чем на фотографии в утреннем выпуске местной газеты, только занавес смог унять бурные восторги зала. Лилиан, которой нравился Джед, задыхалась от беззвучного смеха, а Блумгарден, подхватив ее словечко, все повторял: «Потрясающе! Потрясающе!» Джед не заставил себя долго ждать и, подойдя, протянул мне руку, показывая обрывки каких-то ниток на пиджаке. «Актеры вытащили на сцену… Гляди, все пуговицы оборвали!» — пустился он в объяснения, поняв, казалось, что сыграл роль не блестяще. Я усмехнулся и похлопал его по плечу, а он повернулся к Лилиан и Кермиту, чтобы еще раз продемонстрировать свой пиджак и пуговицу в доказательство исключительного собственного благородства. Никто, ни Кеннеди, ни Маршалл, конечно, на сцену его не вытаскивал.

Я всегда спокойно относился к тому, как примут пьесу в Нью-Йорке, и от премьеры в «Мартин Бек», где за четыре года до этого шла «Смерть коммивояжера», ничего особенного не ждал. Было ясно, что мы приглушили остроту пьесы и она не вызовет серьезного отклика. Действие развивалось чисто внешне, внутренние пружины оставались не выявлены. Джед не раз говорил, что ему претит чрезмерная эмоциональность постановок Казана и он будет ставить «Салемских ведьм» по-своему. Но я не понял, почему ньюйоркцы восприняли в штыки самое пьесу — зал сковала ледяная корка, такая толстая, хоть катайся на коньках. В фойе после спектакля люди, с которыми меня связывали добрые профессиональные отношения, проходили, не здороваясь, будто я невидимка.

Отзывы в прессе оказались лучше, чем можно было ожидать. Когда «Таймс», однако, назвала пьесу холодной, я вспомнил, как Джед, репетируя «Наш городок» Уайлдера, порывался пригласить на обед Брукса Аткинсона, чтобы в его лице обрести поддержку революционной по тем временам идее постановки без декораций. «Я пригласил его на репетицию — пусть, думаю, посмотрит, что к чему. Так и сказал: „Брукс, вы ничего не смыслите в театре, может, мы вам кое-что объясним?“» Он хмыкнул, согласился. Но разве можно надеяться на критика из «Таймс»! Аткинсон в своей рецензии на «Салемских ведьм» и впрямь не сумел отделить пьесу от маловыразительной постановки.

Спектакль, как и следовало ожидать, через месяц начал

разваливаться, а Кеннеди с Беатрис Стрейт заторопились на съемки. Однако те, кто остался, настаивали, чтобы он сохранился в репертуаре независимо от того, сколько им будут платить и вообще будут ли. Их потрясло, когда зал встал в момент смерти Джона Проктора и минуты две все стояли молча с опущенными головами. В тот день в Синг-Синг был приведен в исполнение смертный приговор Розенбергам, которых посадили на электрический стул. Глядя на скорбно застывших людей, кое-кто из актеров в первый момент не понял, что происходит, пока им шепотом не разъяснили соседи. После этого пьеса стала для труппы своего рода актом протеста. Я кое-что изменил, ввел Морин Стейплтон на роль жены Проктора, а Э. Маршалла поставил вместо Кеннеди. Чтобы меньше платить рабочим сцены, пришлось отказаться от декораций — все задрапировали черным и свет сделали фиксированным: он падал на одно место. Мне казалось, чем проще, тем сильнее впечатление. В таком виде спектакль просуществовал еще несколько недель, пока сборы совсем не упали. Когда занавес опустился в последний раз, я поднялся на сцену, сел напротив актеров и поблагодарил их, они, в свою очередь, поблагодарили меня. Мы помолчали. Кто-то всхлипнул, потом другой — тяготы последних месяцев навалились на меня плюс год работы над пьесой, потом ее переделка, все сразу встало перед глазами. Я вышел в темноту кулис, чтобы скрыть слезы, и через несколько минут вернулся сказать: «Прощайте».

Как нередко бывает в Америке, менее чем за два года многое изменилось. Маккартизм пошел на убыль, но рубцы от нанесенных ран еще не затянулись, когда Поль Либин поставил «Салемских ведьм» в отеле «Мартиник», открыв серию внебродвейских постановок пьесы в Нью-Йорке. В спектакле в основном была занята молодежь, в труппе было много новичков, поэтому игре не хватало блеска, которым обладала премьера. Однако новая постановка гораздо более соответствовала дерзкому и мятежному духу пьесы. Спектакль продержался около двух лет. Кое-кто из критиков не преминул заметить, что я переписал текст, хотя в нем не изменилось ни слова, просто настали другие времена и все сожалели о том, что творилось в годы охоты за красными. И критика наконец заметила метафору тайных, но вечных сил, дремлющих, но готовых в любой момент вырваться наружу.

Со временем «Салемские ведьмы» стали самой популярной из моих пьес в Америке и за границей. В разное время в разных местах она звучала по-разному. Я даже научился угадывать, какова политическая ситуация в стране, где пьеса получала

шумное признание: там либо надвигалась тирания, либо ее только что пережили. Не так давно, зимой 1986 года, труппа Королевского шекспировского театра, обкатав спектакль в соборах и на площадях Англии, неделю играла «Салемских ведьм» на английском в двух городках Польши. Среди публики сидели важные государственные чины, что придало остроту идее сопротивления диктатуре, которой эти люди вынуждены были служить. В Шанхае в 1980 году пьеса прозвучала метафорой «культурной революции» эпохи Мао — десятилетий страха, облыжных обвинений, ложных наветов и уничтожения собственной интеллигенции. Писательница Ниен Ченг, шесть с половиной лет просидевшая в одиночке и потерявшая дочь, которую убили хунвейбины, рассказывала, что на спектакле в Шанхае не могла поверить, будто пьесу написал иностранец. «На допросах мне задавали те же вопросы», — объяснила она. А я вдруг с ужасом понял то, о чем не задумывался: в обоих случаях тиранами были юнцы.

В конце пятидесятых французский режиссер Раймон Руло снял по пьесе трогательный фильм с Симоной Синьоре и Ивом Монтаном. Считается, что он во многом повлиял на сценическую судьбу этой вещи. (Я так и не увидел его тогда, поскольку Государственный департамент не выпустил меня за границу.) Сценарий, написанный Жан-Полем Сартром, был, на мой взгляд, весьма спорной попыткой дать этой истории марксистское истолкование, что повлекло за собой ряд нелепостей. Сартр рассматривал охоту за ведьмами как выражение борьбы между богатыми и бедными крестьянами, хотя такие из ее жертв, как Ребекка Нерс, принадлежали к зажиточной земельной буржуазии, да и Прокторы были не из бедных. Меня позабавило, что на стенах деревенских домов висели распятия, которые даже во Франции встречаются лишь у католиков, а не у протестантов. Однако Симона Синьоре была очень трогательна, фильм отличался благородным величием, а Салем и Прокторы — истинно французской утонченной чувственностью, подавление которой грозило обернуться неминуемым бедствием.

В 1965 году на спектакле, поставленном Оливье, я испытал редкое удовлетворение, услышав, как после второго действия сидевшая впереди меня молодая женщина сказала, обращаясь к своему спутнику: «Это, кажется, о том американском сенаторе — как его звали?» Оторвавшись от своих корней, пьеса стала произведением искусства, спектаклем о страстях человеческих. Услышав эти слова, я почувствовал, как будто восстаю из мертвых. Это было приятно.

В те времена, однако, «Салемские ведьмы» оказались очередным поражением. Но я не сокрушался, так как сказал свое слово. Между тем многие решили, что я претендую на лидерство, а поскольку это было не так, я воспользовался подвернувшейся возможностью и по просьбе Гильдии журналистов прокомментировал сделанное Джоном Фостером Даллесом заявление, что Госдеп имеет законное право не выдавать журналистам паспорта в Китай: «Если правительство отказывается санкционировать сотрудничество бизнесменов с китайскими коммунистами, то почему оно должно делать исключение для писателей?» Похоже, он полагал, что стоит только наложить запрет на информацию об этой стране, как целая нация выпадет из мировой истории. Перефразируя высказывание Гитлера о войне, я назвал это «тотальной дипломатией», и «Тайм» удостоил мои рассуждения обстоятельным разбором. Но надо было быть идиотом, чтобы думать, будто американский народ был не согласен с Даллесом. Мне все чаще вспоминались слова Хьюи Лонга: «Фашизм приходит, как и антифашизм». Мы все дальше отступали от общепринятых норм, поскольку право покупать-продавать никоим образом нельзя приравнивать к праву на информацию. Я не обманывался, полагая, что каждое подобное высказывание ложится в мое досье у Гувера. Выступая в Национальном совете по искусствам, наукам и профессиям перед псевдорадикально настроенной аудиторией, я предостерег: Америка стоит перед серьезной дилеммой внутренней цензуры, если кино, пьесы, книги молчат о черных списках и атаке на гражданские свободы. От речей тогда, как и теперь, оставалось ощущение пустоты, тщетности усилий. Смысл можно было обрести только в работе, ее результаты были ощутимы, речи же забывались.

Нелегко было заставить себя сесть за стол, ибо, несмотря на коммерческий провал, я понимал, что «Салемские ведьмы» удались. В 1953–1954 годах не покидало ощущение, что время уходит впустую, причем не только для меня, но для подлинной культуры Америки. Все более удручало собственное одиночество и в театре, и в жизни.

Как-то позвонил Монтгомери Клифт и пригласил посмотреть «Чайку», которую они с Кевином Маккарти репетировали в «Фениксе». Их затея мне не понравилась, поскольку у спектакля не было режиссера и не хватало сфокусированности, несмотря на то что роль Дорна играл Сэм Джаффе. Дня два в беседах с актерами я пытался найти внутреннюю метафору спектакля, но ничего не нашел, кроме единственного хода, который Монти потом эксплуатировал годами, использовав даже семь лет спустя

во время съемок «Неприкаянных». Играя Треплева, он не мог взять в толк, почему его герой кончает жизнь самоубийством. Я предположил, что, приставляя дуло пистолета к виску, он целится в свою мать Аркадину. Ему понравилось это решение, и он настоял, чтобы самоубийство происходило на сцене, а не за кулисами.

Но все это было не более чем забава. Я не хотел быть режиссером хотя бы уже потому, что надо было постоянно находиться среди людей, принося в жертву актерскому самолюбию свой нарциссизм. К тому же написанное пером обладает благословенной возможностью путешествовать дальше, чем многое другое, исполнясь непредсказуемым смыслом, о котором и сам автор порой не подозревает. Это подтвердила история, случившаяся однажды вечером, когда мы вместе с Монти и Кевином вышли после репетиции из театра.

На улице шел проливной дождь, и Вторую авеню затопило. В фойе театра в это время обычно никого не было, но сейчас стоял, прижимая сбоку мокрый зонт, молодой человек странной наружности в галошах, в белой рубашке с черным галстуком, в черном плаще, черном пиджаке, с черными глазами и вьющейся копной волос цвета воронова крыла. Он подошел. У него был возбужденный взгляд фанатика и в уголках губ пена.

Он сказал, что звонил мне несколько недель назад, желая встретиться, и я вспомнил, что он студент из Аргентины со второго курса Колумбийского университета, хотел поговорить о «Салемских ведьмах». Я предложил ему сесть в машину, думая, что так будет быстрее, чем если беседовать дома, тем более что у него был странный вид и он производил тяжелое впечатление.

Дождь шквал за шквалом накатывал на пустынную улицу. Он чинно уселся, поставив зонт между ног, и я заметил у него на пальце большой бриллиантовый перстень. После нескольких общих фраз об искусстве — оказалось, что он художник, — я поинтересовался, что его привело ко мне, и тогда он задал вопрос:

— Может ли человек своим влиянием предопределять поступки другого?

Я подумал, что он имеет в виду литературу или живопись, и сказал, что на меня лично многие писатели оказали влияние. Но его волновало нечто совсем иное.

— Я не о том. Как вы думаете, может ли один человек… — Он замолчал в нерешительности.

— Контролировать другого?

— Да-да, именно.

— Вас что, контролируют?

— Да, постоянно.

— И вы знаете кто?

— Да, моя тетушка.

Эта дама, по его словам, практически воспитала его в своем офомном родовом особняке, купала, учила, одевала и раздевала, пока в тринадцать-четырнадцать лет он не догадался, что она тайно мечтает убить его.

— Тетушка обладала надо мной такой властью, что я чувствовал ее приближение за пять кварталов от дома.

Здесь, в Нью-Йорке, ему, казалось, нечего опасаться. Как бы не так. Стоило на прошлой неделе на вечеринке подойти к однокурснице, которая ему нравилась, как что-то внезапно толкнуло его на пианино, и он разбил верхнюю губу, потеряв два передних зуба. Развернув окровавленный платок, он показал обломки.

— Кто вас толкнул?

— Это тетушкины проделки. Она не хочет, чтобы у меня была девушка.

— Она может это сделать прямо из Аргентины?

— Расстояние не играет никакой роли, она находится там, где захочет.

— Я думаю, вам стоит обратиться к врачу.

— Я обращался, они ничего не знают.

— Почему вы пришли ко мне?

— Но ведь вы написали «Салемских ведьм».

Я был потрясен.

— А что, разве в «Салемских ведьмах»…

— А как же девочки, которых мучают ведьмы?

— Вот оно что. Понятно. Но я ведь не верю, что они говорили правду.

— Конечно, правду.

По спине поползли мурашки — я, как мог, попытался разубедить несчастного парня.

— Когда я посмотрел вашу пьесу в Буэнос-Айресе, то сразу понял, что вы в этом разбираетесь.

Так или иначе, но он не оставлял меня в покое на протяжении лета, пока не попал в клинику, ибо психиатрия оказалась бессильна перед его галлюцинациями. И открыл мне в пьесе новое измерение, доказав, что там существует то, о чем я не подозревал.

Будучи на распутье, я отринул сомнения и принял приглашение из Ардена поставить в Делавэре в летнем театре «Всех моих сыновей». Криса и Джо Келлеров должны были играть Кевин Маккарти и Лари Гейтс, моя сестра Джоан Коупленд

(ставшая талантливой актрисой и сыгравшая немало ролей на Бродвее, в том числе в «Детективной истории» и «Дневнике Анны Франк») была занята в роли Энн. Я чувствовал себя не в своей тарелке, переживая провал «Салемских ведьм» глубже, чем ожидал, и было боязно, что подведу актеров, которые вверили мне свою судьбу. До этого я не понимал, насколько уязвимы, беззащитны актеры на сцене, как просто их подчинить своей воле и стать в их глазах всем.

В целом я занимался не своим делом, вовсе не желая быть режиссером и внушать уверенность, которой сам не обладал. Идея казаться кому-то авторитетом внушала ужас. Кажется, я преступил ту черту, когда одиночество можно с кем-нибудь разделить. В этом не было недовольства жизнью, то было признание простейших истин. Из головы не выходила ибсеновская фраза: «Тот сильнее, кто более одинок».

Звонок Мартина Ритта, одного из самых молодых представителей «Групп-театр», с которым мы не были знакомы, подарил радужную надежду выйти из одиночества. Он был занят в поздней, как оказалось, последней пьесе Одетса «Цветущий персик», которая должна была идти еще с месяц-другой, но продюсер Роберт Уайтхед согласился, чтобы по воскресеньям актеры показывали что-нибудь свое. Ритта интересовало, нет ли у меня какой-нибудь одноактной пьесы, которую они могли бы сыграть.

Воодушевленный тем, что пишу для студийной группы, а не Бродвея, я за две недели набросал «Воспоминание о двух понедельниках» — элегию о годах работы на складе автозапчастей. К этому взывала реальность, которую, в отличие от летевшей вперед на всех парусах поглупевшей Америки, я понимал по-иному. В более спокойные времена это обернулось бы благословенным эскапизмом, которого я избежал, обратившись к таким непопулярным темам, как Депрессия и борьба за выживание.

Жизнерадостному крепышу Ритту, удачливому игроку в покер и на бегах, новая одноактовка понравилась. Однако он предложил написать еще одну пьесу, которая бы предваряла ее, разыгрывалась перед занавесом. И тогда получился бы целый вечер. Я радовался, что смогу поставить настоящую пьесу, и раздавая роли, наслаждался, что не надо думать о коммерческом успехе — это омрачило бы радость работы. К тому же на Бродвее никогда не ставили одноактовок, которые вообще в Америке можно было увидеть не часто. Это придавало запал работе. Тем более что по воскресеньям в театр ходят не бизнесмены, а

истинные ценители. Если в ставке на aficionados[16] и крылось некое противоречие моим демократическим убеждениям, то оно искупалось радостью, которую давала работа над пьесой.

Несколько дней я расхаживал взад-вперед в раздумье, как бы сочинить что-нибудь настоящее, интересное, пока не вспомнил о своей давней «итальянской» трагедии — одноактной пьесе с единой сюжетной канвой и драматической развязкой в финале. В силу того что ситуация, в которой она создавалась, была далеко не ординарной, «Вид с моста», к которому я не мог подступиться годами, был закончен за десять дней. Читая пьесу, Мартин удовлетворенно рассмеялся: пьеса, которая писалась как вводная перед началом спектакля, стала гвоздем программы.

Но жизнь внесла свои коррективы: «Цветущий персик» увял быстрее, чем ожидалось, и связанные с ним планы провалились. Однако идея поставить две одноактовки с одним составом неожиданно нашла на Бродвее поддержку, и мне нелегко было решить, чему отдать предпочтение: то ли первоначальному замыслу, то ли энтузиазму, с которым Кермит Блумгарден брался за дело. Я интуитивно побаивался Бродвея, чувствуя, что это не «его» пьеса, но честолюбие одержало верх. В пользу этого решения говорила возможность привлечь к бродвейскому спектаклю прекрасных актеров, что было проблематичнее с менее престижной постановкой в любом другом театре города. Система внебродвейских театров в 1955 году еще не сложилась.

И все-таки с подбором актеров судьба взяла свое: «Вид с моста» был замешен на портовых волноломах и моей поездке в Калабрию и на Сицилию, а кончилось тем, что в спектакле оказались заняты актеры, чьи предки были выходцами из Англии, белое протестантское меньшинство. Среди них только Джек Уорден владел жаргоном и понимал, что к чему. Все эти упущения надо списать на мой счет, ибо в мою жизнь самым решительным образом вошла Мэрилин Монро, и мне было не до актеров. Внутреннюю смуту по поводу распавшегося брака я пытался преодолеть восторгом перед Мэрилин. И решил, что хорошие актеры, несмотря на внешний типаж, смогут все преодолеть. Оказалось, нет. Вана Хефлина, сына дантиста из Оклахомы, настолько пугала перспектива сыграть итальянского грузчика, что он попросил меня сводить его в Ред-Хук и познакомить с такими людьми. Он изучал их речь, как иностранный язык, и, к сожалению, именно так она звучала у него со сцены. Хефлин был настолько озабочен акцентом и манерой поведения, что к финалу почти совсем забывал про роль.

В спектакле был также занят Дж. Кэррол Нэш, актер, десятилетиями снимавшийся в Голливуде в острохарактерных

ролях национальных героев. И сколько Ритт ни бился, чтобы придать его персонажам реальные черты, но так и не смог отказаться от своего амплуа. Играя Гасса, толстого, как бочка, кладовщика из магазина автозапчастей в «Воспоминании о двух понедельниках», Нэш вложил в башмаки восьмифунтовые грузила и смешно ходил, по-обезьяньи переваливаясь с ноги на ногу. Однако в роли юриста, от лица которого идет повествование в «Виде с моста», он так и не смог найти уловку, за которую бы спрятался, и, как жонглер, балансировал от строки к строке, то и дело не в состоянии справиться с булавами. В одном месте он назвал некогда знаменитого гангстера Фрэнки Йейла, грозу мрачных закоулков Ред-Хука, именем известного эстрадного шансонье Френки Лейна и был так доволен собой, что скомкал весь остаток длинного монолога.

В том, что тридцать лет спустя «Вид с моста» обрел на мировых подмостках известность, не было заслуги первой постановки, в которой пьеса выглядела как заурядная история мести. И в этом некого было винить, кроме самого себя, что делало ситуацию еще более тяжелой. Поглощенный отношениями с Мэрилин, я парил в эмпиреях, в то же время опасаясь скатиться куда-то в чуждую мне жизнь. Мне будто отказала воля, и я следовал в фарватере устремлений Блумгардена, который хотел сделать из пьесы настоящее бродвейское шоу. Однако эта простая, незатейливая и страшная в своей неотвратимости история была написана в ином ключе. Мартин Ритт, добившийся успеха как режиссер фильмов «Городская окраина», «Долгое жаркое лето», «Скорлупа», впервые работал на театре и вместо того, чтобы отстаивать собственное видение, старался во всем следовать тексту. Короче, спектакль оказался лишен изюминки, того личностного начала, которое магическим образом слепляет воедино разрозненные находки.

Когда я смотрел его, меня не покидало ощущение, что это что-то очень далекое от меня, как будто я зашел в театр как простой зритель. Даже в такой элегической пьесе, как «Воспоминание о двух понедельниках», чувствовалась скорее установка на эффект, а не стремление воссоздать панораму того времени. Меньше чем через два года Питер Брук осуществил в Лондоне новую постановку пьесы «Вид с моста», которую я переработал и превратил в двухактовку. Мне запомнились его слова, сказанные перед премьерой в «Комеди-театр» в ответ на мой вопрос, как воспримут пьесу англичане. Он сказал: «Неумолимость хода событий может разозлить их. Англичане не любят Ибсена и греческую трагедию, все то, что свидетельствует о наличии неотвратимой логики жизни, о том, что все

взаимосвязано и вытекает одно из другого. Если бы они отнеслись к этому всерьез, им надо было бы срочно покидать страну, ибо, как известно, у нее нет будущего. Живя здесь, мы полагаемся только на счастливый случай, а „Вид с моста“ совсем о другом».

Действительно, мой интерес к пьесе был связан с процессом развертывания неумолимой логики жизни. Ибо вокруг я ощущал лишь праздное блуждание ума и духа, древо жизни стало похоже на ползучую виноградную лозу. «Конец идеологии», который шумно приветствовался частью влиятельных в прошлом марксистов, приложивших к этому руку, представлялся процессом, в котором растворилась отдельная человеческая судьба. В итоге люди оказывались предоставлены своему одиночеству, каждый сам за себя и для себя, что сделало жизнь еще более грустной, хотя кто-то и нашел в этом возможность отстоять себя и начать делать деньги. Движение битников, давшее наименование и образ еще не изреченному в нашем бытии и неоформленному, тому, что только зарождалось в Америке, не вызывало у меня симпатии. Вопрос, как жить и как отдыхать, не сводился к одной проблеме, особенно если у вас росли дети и не покидало странное беспокойство, что к американскому духу примешалась какая-то насмешка над жизнью, что-то низменное, что можно было преодолеть только с помощью искусства. Прошло время, прежде чем я понял, что битники выслеживали того же зверя, только охоту на него вели совсем по-другому.

«Вид с моста» оказался принят лучше, чем, как я понимаю теперь, мне показалось в то время. Но я еще не встречал художника, который бы не думал, что критика в сговоре против него. Возможно, впечатления были навеяны тягостными переживаниями перед премьерой — она была на носу, а я все еще был не доволен пьесой. И никак не мог обрести точку опоры, ибо внутри все находилось в состоянии хаоса, что по-своему отозвалось в разладе между строго классической формой и обостренно чувственным содержанием пьесы, в основе которого лежал инцест с неизбежным предательством. Я не мог понять, чего хочу, — конечно, не развала семьи, однако представить, что Мэрилин надо навсегда вычеркнуть и забыть, было невыносимо. Казалось, жизнь борется сама с собой, прошлое горело у меня под ногами. И вдобавок я снова попал под обстрел.

Первый шквал обрушился в 1953 году. Бельгийско-американская Ассоциация бизнесменов прислала телеграмму с приглашением на премьеру «Салемских ведьм» в Брюсселе, гарантируя оплату расходов. Это была первая европейская постановка «Салемских ведьм», и мне очень хотелось, чтобы пьеса

доказала свою жизнеспособность. Ответив согласием, я обнаружил, что срок действия моего паспорта истек. И по дороге на репетицию «Чайки» на Вторую авеню, что на другом конце города, мы с Монти Клифтом заехали в центр, на Уолл-стрит, в паспортное бюро. Я попросил оформить все побыстрее — был понедельник, а в Брюссель надо было вылетать в пятницу, чтобы в субботу успеть на премьеру.

Прошло два дня — никакого ответа. Я позвонил своему юристу Джону Уортону. Он связался с коллегой в Вашингтоне Джорджем Рохом-младшим, и тому наконец в четверг удалось узнать, что, с точки зрения заведующей паспортным отделом Государственного департамента миссис Рут Шипли, моя поездка за границу «не отвечает национальным интересам» и поэтому она не собиралась продлевать документ. Это напомнило мне королеву из «Алисы в Стране чудес» — попробуй я обжаловать ее слова, дело затянулось бы на недели, месяцы, а то и годы. Я дал телеграмму в Национальный Бельгийский театр, что не приеду, поскольку не получил паспорт в срок. Ясно, что у миссис Шипли было на меня досье, где множество документов свидетельствовало о моих левых взглядах — от петиций, которые я подписывал, до списка собраний, на которых бывал, а также материалы о скандальном разрыве с Казаном, получившем широкую огласку в прессе.

Однако брюссельские газеты успели сообщить о моем приезде, и по окончании спектакля публика бурно требовала автора на сцену. Шквал не утихал, пока из первых рядов не поднялся человек и не стал благодарить за теплый прием. Зрители, естественно, сердечно приветствовали его, приняв за автора пьесы. Это был американский посол, приехавший, по-видимому, на спектакль из уважения к спонсорам — проамериканской деловой Ассоциации. Недоразумение выплыло наружу, и газеты развернули кампанию против американской политики, используя факт моего вынужденного отсутствия на премьере как подтверждение антимаккартистской направленности пьесы. История имела свое продолжение, ибо двадцать пять лет спустя, в конце семидесятых, я оказался в американском посольстве в Бельгии на приеме, устроенном в мою честь. В 1953 году надо было быть сумасшедшим, чтобы представить, что меня будут встречать здесь овациями.

Репетиции «Вида с моста» шли полным ходом, когда меня постиг еще один удар. Даже по тем временам трудно было смириться со столь непредвиденными поворотами судьбы. Мы с Мэрилин жили высоко в башне отеля «Уолдорф» у нее в номере, а внизу на улице продавали пестревшие ее сногшибательными

фотографиями «Дейли ньюс», «Уорлд-телеграм», «Джорнел американ», в которых она фигурировала столько раз в неделю, сколько журналистам удавалось ее подловить, а рядом — возмущенные призывы к мэру Вагнеру и городскому муниципалитету выгнать меня из страны за нелояльное поведение.

Между тем я увлеченно работал над фильмом о преступности среди подростков — два месяца собирал на улицах Бруклина материал и теперь был готов сесть за стол. Еще весной мы обговорили с Блумгарденом и Риттом основной состав «Вида с моста», но репетиции отложили до осени, так что у меня оставалась уйма времени. Какой-то начинающий режиссер предложил написать сценарий по следам недавней вспышки вражды между нью-йоркскими бандами подростков, и теперь мне предстояло разобраться во внутренних причинах происшедшего. Он заключил с муниципальными властями договор об отчислении им пяти процентов от будущего проката фильма за помощь, на которую рассчитывал в ходе съемок, — речь шла о допуске в полицейские участки. Условия договора были вполне приемлемыми. Особым подспорьем оказалось сотрудничество с недавно созданной организацией «Мобилизация молодежи», которая внедряла своих членов, молодых ребят с улицы, в банды, надеясь таким образом вернуть подростков в лоно цивилизации. Мне доводилось отказываться от более соблазнительных предложений в кино, но тут меня заинтересовала тема, и я получил гонорар — несколько тысяч долларов — с перспективой иметь проценты от проката фильма, если он будет иметь успех.

Проведя несколько месяцев среди мальчишек, я был полон идей, некоторые из которых, помимо прочего, участливо поддерживала Организация по обеспечению благосостояния католиков, чье давнее внимание к проблемам молодежи из необеспеченных кварталов города давало ей приоритет в определении первоочередных задач по борьбе с явлением подросткового бандитизма. Однако проекту не суждено было осуществиться: в Нью-Йорк нагрянула инспектор сенатской Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности миссис Скотти с целью предупредить городскую администрацию, что любые контакты со мной чреваты неприятностями и меня постигнет заслуженная кара. При этом она едва не совершила роковую ошибку, решив начать с председателя «Мобилизации молодежи», чье имя и положение не вызывало у нее сомнений в его политических пристрастиях. Однако Джеймс Маккарти, достойный выпускник ирландского Нотр-Дама, питал отвращение к антидемократической деятельности своего однофамильца и,

будучи непосредственным свидетелем того, каких трудов мне стоило собрать материал, поддерживал мое начинание.

На заседании специальной сессии поименно созванного Совета «Мобилизации молодежи», который никогда не собирался в таком полном составе, мне устроили проверку на политическую лояльность. В Совет входили начальники отделов муниципалитета, включая водоснабжение и канализацию, не имевшие ни малейшего представления о работе на социальном поприще. Их собрали, чтобы, задав мне ряд вопросов, они решили, достоин я писать сценарий или нет. В огромном зале заседаний муниципалитета, где это происходило, мне, человеку достаточно оптимистичному и даже способному донкихотствовать, показалось, будто многие были смущены тем, что вынуждены принимать решение по вопросу, в котором ничего не смыслят. В этот момент какая-то неопрятная женщина истеричного вида в теннисных тапочках закричала, размахивая толстой папкой, дюйма четыре толщиной, набитой, по ее словам, документами, обвинявшими меня в государственной измене, — воистину бесценным вкладом миссис Скотти в копилку мировой цивилизации, — что Артур Миллер — это тот, кто убивал их сыновей в Корее. Я позволил себе заметить: вопрос о сценарии касается моей квалификации, и я не намерен обсуждать здесь свои политические взгляды, чтобы получить право заниматься тем, что мне отпущено от природы. Решение принималось тайным голосованием, и мне не хватило поддержки одного человека. Удачный и весьма обнадеживающий исход в тот момент истории. Таковы были времена.

Ощущение надвигающейся катастрофы было как бы разлито в воздухе и преследовало нас в «Уолдорфе». Мэрилин уехала из Голливуда, устроила своего рода демарш, требуя изменить условия контракта с «XX век Фокс», чтобы создать совместно со своим компаньоном Милтоном Грином кинокомпанию «Мэрилин Монро продакшнз». Она хотела получить возможность снимать свои собственные фильмы. И очень верила в проект, обещавший достойные роли и стабильное положение. Этого ей не могли простить тогдашние кинокритики, считавшие, что такая пустышка и непрофессионал не может требовать творческой свободы, ставя условия солидной и уважаемой компании «XX век Фокс».

Она тем временем начала ходить на занятия в студию к Ли Страсбергу, где сидела, не открывая рта, так он заворожил ее своим авторитетом, да и вообще актерская жизнь в Нью-Йорке отличалась от голливудской, где профессионализму предпочитали щекотливый интерес к размерам чужих носов и

грудей. Я практически не был знаком со Страсбергом, если не считать случайного рукопожатия и кивка головы, которыми мы однажды обменялись, да широко циркулировавших слухов о его неистовом темпераменте, чем он прославился в «Групп-театр», однажды в раздражении сбросив актера со сцены. Среди уважаемых мною актеров были такие, как моя сестра Джоан, которые боготворили его, хотя один из корифеев, Монти Клифт, называл его шарлатаном. Вначале, когда мы с Мэрилин познакомились, я считал, что ее отношения со Страсбергом меня не касаются, списывая благоговейный трепет, с которым она произносила его имя, на потребность обрести веру, выкарабкавшись из болота голливудского цинизма. Идеализация чревата потерей иллюзий, но без идеала нельзя прожить. Я тогда не понимал, что вопреки всем моим человеческим слабостям меня тоже идеализировали.

Она же была для меня живительным источником света, вся загадка, влекущая тайна, то уличный подкидыш, то остро чувствующее, поэтичное существо, сохранившее такую непосредственность, о которой можно только мечтать, переступив порог юности. Порою казалось, все мужчины для нее — мальчики, дети, которых обуревает желание, и она может его удовлетворить, а ее взрослое «я» наблюдает со стороны за происходящим. Мужчины были ее насущной и в то же время святой заботой. Она могла увлеченно рассказывать, как на какой-нибудь вечеринке двое пытались затащить ее в кровать, но, по ее словам, она избежала этой участи. Сюжет, весьма банальный сам по себе, был малоинтересен, но поражала ее необычная способность смотреть на себя со стороны. При этом она не осуждала и не проклинала своих обидчиков. Быть рядом с ней означало быть своего рода «избранным», как будто тебя осенял божественный свет иной жизни, где подозрительность никак нельзя было считать здравым смыслом. Она вообще им не обладала, но чем-то высшим, святым, каким-то особенным всепроницанием, втайне осознавая: люди — сама нужда и боль. Менее всего она хотела быть судией, мечтая завоевать у ослепленных ее красотой и поэтому глухих к ее человечности мужчин признание своей сентиментальной и жестокой профессии. Она была королевой и бродягой, то молилась на свое тело, то впадала в отчаяние от обладания им. «Но ведь столько красивых девушек!» — восклицала она в ответ на чью-то восхищенную немоту, как будто ее красота была непреодолимым препятствием серьезного отношения к ней самой. Все это было неподвластно суду разума — меня затянул водоворот, где ни опоры, ни передышки. В результате она стала моей единственной реальностью. Я мало что знал о ее прошлом,

но оно и так было понятно. Мне даже казалось, что я чувствую ее боль острее, чем она сама. Ибо меня не примиряла с жизнью тихая гордость за то, что я пережил.

Это было какое-то необыкновенное лето, так оно и запомнилось. Утро начиналось с того, что мы с Мартином и Блумгарденом обсуждали постановку и просматривали актеров на имевшиеся вакансии. Или же я отправлялся к Борису и Лизе Аронсон, которые жили на Сентрал-Парк-Уэст, где мы погружались в бесконечные варианты декораций к обеим пьесам. При этом моя душа жила половинчато, наслаждаясь и испытывая угрызения, в голове все перемешалось и был полный сумбур от пьянящей красоты бытия. Днем я отправлялся в Бруклин, где в перегретой буксе в Бей-Ридже Винченцо Риччо обучал меня искусству выжить в этом самом бандитском из городских районов. Летние ночи как нельзя лучше подходили для всяких драк, и бессмыслица происходящего делала мои скромные притязания на упорядоченную жизнь более осязаемыми.

Та часть Бей-Риджа, где обитал Риччо, оказалась трущобами. Здесь жили в основном белые иммигранты, ирландцы, итальянцы, семьи выходцев из Германии и Норвегии. С улицы дома выглядели сносно. Неподалеку располагалось большое негритянское гетто Бедфорд-Стейвисант, но конфликтов на расовой почве не возникало. Более того, ребята-негры, когда дома наблюдалось временное затишье, могли отправиться на метро на другой конец города, чтобы ввязаться в какую-нибудь драку между белыми бандами. Негритянские группировки враждовали между собой не меньше и по тем же самым причинам. Казалось, своей непримиримостью вражда была отчасти обязана полной бессмысленности. Высокий приличный восемнадцатилетний паренек-негр, сын врача из Бронкса, специально приезжавший в Бей-Ридж подраться, на мой вопрос, что его привело сюда, пожал плечами, бросив на меня недоуменный взгляд, в котором читалось презрение, как я мог быть настолько глуп, чтобы не понять его. Бессмысленность драк была некой формой самоутверждения, насмешкой над общепринятыми представлениями, что есть победа, а что поражение. Логика духа оборачивалась непостижимостью сознания.

Рядом с Риччо жизнь этих джунглей, скрытая за семью печатями, становилась понятнее. Я увидел, что родовые кланы, которыми руководили все те же подростки, заменяли им слабых или несостоявшихся отцов. Ребята были в том возрасте, когда душа требует рыцарских поступков, и в их головах перемешалось все, что они когда-либо об этом слышали. Но их поведению был свойствен свой пафос. У каждой банды был президент и военный

министр — правительство в миниатюре, авторитет которого, особенно лидеров, опирался скорее на уважение, чем на какие-то формы принуждения. Эти американские парни ни во что не верили и ни в чем не сомневались. Они могли неожиданно сорваться и отправиться на Фултон-стрит ограбить прохожего, но в этом случае каждый действовал на свой страх и риск, не прибегая к помощи банды. Как члены единого союза они представляли нечто вроде военизированного объединения и отстаивали то, что ими понималось как честь, — то есть высокие трофеи победы.

Я понял, что, борясь с бандами, общество исходит из того, что единственным мотивом поведения человека служит нажива, в то время как банда неким весьма неординарным образом рассматривала себя как общественную подмогу. Объединяясь в банду, ребята утверждались в чувстве собственного достоинства, в то время как деньги зарабатывали в одиночку. Как с любым проявлением идеализма, трудно было понять, чего они на самом деле хотят и как можно удовлетворить их запросы.

Риччо, дитя трущоб, младший в семье, где был двадцать один ребенок, рос в бедности и хорошо понимал эти проблемы. В свои двадцать пять с небольшим он окончил колледж св. Иоанна, университет подземки и, не имея престижных дипломов или перспективы получить их, ощущал себя в некоем приниженном положении по отношению к более образованному руководству «Мобилизации молодежи», которая проводила программу «вживления» своих ребят в организованные группировки. Во время службы на флоте, где, по его словам, «заработал вставные челюсти», Риччо боксировал в легком весе и тем уважением, с которым к нему относились пацаны, во многом был обязан своим ловким увесистым кулакам. Он не затруднял себя теорией: «Они безотцовщина, поэтому я для них образец. Они ищут уязвимое место, чтобы я поддался угрозам или встал на сторону другой группировки, одновременно мечтая, чтобы я выдюжил. Это все равно что стать хорошим, когда ты не перестал быть плохим». В их отношениях действительно было какое-то постоянное напряжение: легкий налет цинизма и трогательная надежда на спасение его примером и помощью. Риччо нашел правильный тон, оставаясь общественным лицом и в то же время доверенным человеком подростков. Полиция так и не согласилась на предложение «Мобилизации молодежи» разрешить ее уличным организаторам не доносить, если они узнают о преступлении, хотя по этому щекотливому вопросу кое-кто высказывал сожаление. Полиция хотела, чтобы они работали как осведомители, что подорвало бы их авторитет в глазах

подростков. Кое-кто из полицейских соглашался на то, чтобы они работали конфиденциально, но большинство отвергало это, тем самым разрушая идею программы. Это явилось одной из причин, почему она постепенно сошла на нет.

Нельзя было не заметить, что в 1955 году события начали принимать иной оборот, ибо в трущобах впервые было отмечено появление наркотиков. Мне кажется, это стало симптомом более широкого и не до конца изученного явления общей потери ориентации, связанного не только с бандитскими группировками. Как-то, во время ужина с Джимом Маккарти и главным идеологом «Мобилизации молодежи» Ричардом Клоуардом из Школы организации социальной работы при Колумбийском университете, зашел разговор, чем отличается современная молодежь от своих сверстников тридцатых годов. Мы сидели в итальянском ресторанчике на Лоуер-Ист-Сайд, недалеко от жилого массива, который славился тем, что там происходили какие-то дикие истории: то поджигали подъезды, то блокировали лифты, то били стекла, то отколупывали плитку, но на людей никто не нападал. Полиция недоумевала и вызвала Маккарти как специального представителя мэра Вагнера по решению проблем молодежи приехать и разобраться.

Высокий, располневший, жизнерадостный Маккарти, которого легко было обнаружить в толпе среди пацанов в его неизменной бейсбольной шапочке, был смешлив, но в доверчивых ирландских глазах постоянно сквозила серьезность. Слушая, он обычно кивал головой: «Верно, верно». Акты вандализма приписывал событиям, которые в последние месяцы разыгрались в жилом массиве. Здесь возник жилищный комитет, члены которого отвечали за порядок на этажах, посещали семьи неблагополучных подростков и выступали третейскими судьями при разрешении конфликтов. Все шло своим чередом, пока районное начальство не заподозрило комитет в симпатиях к Красному фронту, и его быстро распустили, запугав всех, кто в него входил. Джим считал, что как политическая организация комитет поднимал моральный дух и чувство ответственности у жильцов, среди которых было много неквалифицированных рабочих и безработных. Вкушая спагетти, мы понимали, что городская организация «Мобилизация молодежи» не могла выступить в защиту жилищного комитета, который и впрямь мог оказаться организацией левого толка, играя при этом общественно полезную роль. К тому же что можно было предложить взамен? Демократы с республиканцами едва ли стали бы заниматься организацией комитетов по месту жительства. Это было не в их духе. Одним словом, акты вандализма, как и многое

другое, были жестом отчаяния, неверия в свои силы.

Такая деполитизация жизни района заставляла задуматься над глобальным вопросом: какие общественные идеалы будут владеть умами в ближайшем будущем? Пятидесятые были полны разочарования и, насколько можно было судить, не имели четких тенденций и форм. Мы все трое выросли в годы Депрессии, когда человек не мыслил себя вне общества. И появление самостийного жилищного комитета казалось возвратом к нормальной жизни в духе тридцатых годов, когда проблемы решались всем миром, то есть общими усилиями и при общей ответственности. Возможно, за комитетом действительно стояли коммунисты, но если коллективные усилия как таковые ставились вне закона, то это касалось и коллективной ответственности. Все неизбежно сводилось к тому, что каждый отвечал только за себя, телефоны в полиции разрывались от звонков, но на мольбы и просьбы там делали удивленную мину либо вовсе не реагировали.

Казалось, мы стоим у залива, который необходимо переплыть.

— Если людям запретить общественные выступления, то куда пойдет эволюция? — спросил я Клоуарда, который лучше нас с Маккарти разбирался в теории.

— Мерилом станет стиль жизни, — ответил он. Я ничего не слышал об этом.

— Что ты имеешь в виду?

— Начнется конкуренция стилей жизни. Особую роль будут играть разного рода условности, ничего не значащие различия в одежде, манере говорить, еде, машинах и так далее. Классовая борьба, по-видимому, изжила себя вместе с идеей партии. Люди все меньше заинтересованы предпринимать коллективные усилия, которые теперь нередко кажутся странными, а то и бессмысленными. Они все больше будут выражать себя в стиле и все дальше отходить от политики. Сознание будет ориентировано не на классы, а на стили.

Мысль показалась досужей, но всплыла в памяти, когда июльским днем знакомый парнишка Билли вдруг как подкошенный рухнул на моих глазах в дверях своего дома в Бей-Ридже. Он был одним из шестерых детей в семье портового грузчика Томми Флэрти, которая обитала над баром. Отец не вышел ростом и любил, стоя у дверей, приглашать каждого, кто бы ни проходил, пробежать пешеходный марафон вокруг квартала. И никому не уступал, даже молодым. Быстрые ноги были его гордостью. Не единожды приходилось наблюдать, как Билли со старшими братьями втаскивали отца против его воли наверх, стесняясь его детскости и защищая мать, нянчившую

шестого ребенка, неописуемо обворожительную женщину, державшуюся с большим достоинством. Голубоглазые, с соломенного цвета шевелюрой, все в этой семье были хороши собой: стройные, высокие пацаны и Маргарет, их мать, горделивая женщина, которой едва перевалило за сорок. Билли был ее любимцем, он никогда не воровал, не попадал в тюрьму, казалось, ему, с его тонкими руками и писаными чертами лица, уготована особая судьба, что-нибудь вроде карьеры его дядюшки Раймонда, преуспевающего биржевого маклера с Уолл-стрит, сверкавшие небоскребы которой виднелись в просвете улицы на другом берегу залива.

Меня, как и его друзей, в последние недели смущало поведение Билли: он стал скрытным, с отсутствующим взглядом, и никто не мог понять, что с ним происходит. Несколько раз он не пришел, когда его приятели отправлялись драться. Пока наконец не стало понятно, что это наркотики. Как только выяснялось, что кто-то пристрастился к ним, банда ставила на нем крест. Пиво — другое дело, оно позволяло расслабиться, а от героина человек полностью замыкался в себе. Конечно, это не означало, что ребята осуждают наркотики. Но считалось, что в этом случае банда теряла боевую единицу. Между тем наркотики угрожали внутренней структуре организации, которая зиждилась на предельном самоограничении, и они это понимали. Я помню, как в шестидесятые годы, узнав, что «новые левые», эпатируя общество, вовсю пропагандируют наркотики как дорогу к свободе, я долго не мог прийти в себя, настолько это казалось абсурдным.

Билли умер от слишком большой дозы, приняв ее то ли по незнанию, то ли в порыве отчаяния. Однако вряд ли из чувства протеста, хотя финал был настолько неожиданным, что трудно было сказать что-либо однозначно. В моей голове эта бессмысленная смерть соединилась со словами Клоуарда о стиле жизни, хотя я еще не до конца во всем разобрался. Красавица мать Билли сидела на его поминках в крошечной комнатушке над баром с малышом на руках, безучастно глядя перед собой с бессмысленно застывшей улыбкой. В ее глазах не было ни отчаяния, ни гнева, она уже все пережила. Разодетые братья Билли явно скучали; по их виду было понятно, что они не дадут мать в обиду, тогда как отец фиглярничал, не в силах подавить актерский талант. Он демонстрировал горстке гостей, около дюжины человек, приобретенный по случаю новый галстук. Поглаживая его, он наклонился ко мне: «Как тебе галстук, Арти?» Его шутовство отозвалось на лицах сыновей гримасой безысходной боли. В открытом гробу Билли был прежним, все с

тем же выражением удивления. Гладкая кожа была слишком хороша, чтобы его хоронить, и по лицу едва можно было догадаться, что ему стукнуло восемнадцать. Я еще не понимал, что это лишь первая жертва постигшей нас кары.

Проведя три-четыре недели с ребятами, я почувствовал, что, похоже, смогу написать сценарий, хотя бы потому, что мне нравился их ломаный английский. Среди пацанов выделялся крепыш-итальянец по прозвищу Лохматый, мягкий, беспрестанно возбуждавший сам себя. К своему огромных размеров члену он относился как с бесценному дару, случайно полученному от кого-то в метро, и показывал его всем без разбору. Весной их человек тридцать отправили на автобусах под Пикскил отдыхать в лагере, принадлежавшем Христианскому союзу молодых людей, и они впервые оказались на природе. За городом ребята вроде бы должны были чувствовать себя в большей безопасности, чем в городе, а они испугались одиночества и потребовали, чтобы их положили спать по нескольку человек в комнате. Один Лохматый был всем доволен, как будто компанию ему заменял пенис, и наслаждался природой, то застывая перед пичужкой, то заглядевшись в звонкий ручей. Он поймал большую разноцветную черепаху и, привязав ей на шею нитку, выгуливал как собачонку, терпеливо дожидаясь, пока она поползет. Заметив меня, он объяснил: «Хочу общнуться с природой».

Ранней весной лагерь Христианского союза молодых людей обычно пустовал; воспользовавшись отсутствием детей и предупредив персонал, его предоставили на выходные неблагополучным подросткам. В двадцатые годы в Гарлеме контингент таких банд составляли дюжие силачи, а у этих, стоило кому-нибудь из них ударить по бейсбольному мячу, тут же сбивалось дыхание, и, добежав до первой линии, они ложились передохнуть. Бултыхаясь в озере, боялись зайти с головой, а если надо было ловить штрафной, то становились в ряд, опасаясь пропустить с лету, чтобы не засмеяли. Они никогда не выдавали того, кто пропустил мяч, и в этом случае тоже толклись как гуси.

Ни с того ни с сего прибыл автобус со старшеклассницами из какой-то манхэттенской школы, и администратор, оперативно разыскав Риччо, потребовал, чтобы мальчишек тотчас же вывезли.

Риччо заверил, что все будет тихо и мирно, в чем я усомнился, увидев, что девушки появились у кромки бассейна в купальных костюмах, из которых, казалось, давно выросли. Изнасилования были в бандах привычным делом, и я оглянулся, опасаясь возможных эксцессов. Но мужское население куда-то запропастилось, предоставив бассейн прибывшим гостьям. Я испугался, не удалились бы мальчишки на военный совет, и

отправился их искать. Каково же было мое удивление, когда я заметил их в кустах, где они, притаившись, словно горстка аборигенов, сквозь листву наблюдали за нашествием неизвестных пришельцев. Мне никогда не приходилось видеть их такими серьезными и восхищенными, как в тот момент, когда девушки, одна за другой описав в воздухе дугу, прыгали, входя под углом в воду, наперегонки и на время переплывая бассейн туда и обратно. Так столкнулись две цивилизации, одна — с поставленным дыханием и те, кто едва тянул: сытые и тренированные против униженных и оскорбленных.

Жизнь улицы была отделена от Мэрилин, жившей в башне отеля «Уолдорф», огромным пространством, однако оно не было непроходимой пропастью. Конечно, меня забавляло, когда я смотрел, как мальчишки пожирают глазами ее фото в последнем номере «Ньюс» в витрине какой-нибудь кондитерской в Бей-Ридже, и я знал, что, вернувшись домой, вечером расскажу ей об этом. Но она не была далека от той жизни, которая протекала внизу. Ставки кинозвезд резко подскочили, и Мэрилин, работавшую по старым контрактам, обуревало негодование. В изнурительной борьбе с «XX век Фокс» она восстала против эксплуатации студией ее стремительно возросшей за последние два года популярности и отстаивала право на постановку собственных фильмов. Это было глубоко созвучно тому, о чем мечтали, сражаясь, уличные подростки, — они требовали уважения к себе в том мире, который их ни во что не ставил. Даже когда о ней писали восторженно, обязательно должна была проскочить какая-нибудь снисходительная фраза — казалось, статьи пишут продажные бумагомаратели, которые не могут не посмаковать, будто бы своей откровенной чувственностью Мэрилин немногим отличается от непотребной девки, да еще бессловесной.

Познакомившись с ней, я стал смотреть на мир ее глазами — это было особое видение, в котором таилась своя опасность. Стояла середина пятидесятых, Америка блюла девственность, упорствуя в соблюдении норм морали и настойчиво отрицая потаенные сны. И вдруг — цветной календарь с фотографиями обнаженной Мэрилин. Фотостудия, отчаянно защищаясь от обрушившихся на нее нападок, дошла до того, что потребовала, чтобы Мэрилин призналась, будто бы это не она была их моделью. Она же спокойно отвечала, будто ей нужны деньги, а прекрасное тело — единственное и самое дорогое ее достояние. Страсти улеглись. Кое-кто по достоинству оценил ее самообладание, однако Мэрилин уже невозможно было разубедить, что она живет среди лицемеров, избравших ее своей

мишенью.

Она понимала, что ей нет места среди условностей этого общества, что этот мир всегда будет отторгать ее. И не ждала ничего другого. Мы познакомились, когда она только начала вызывать всеобщий интерес, даже теплоту — и на какое-то время поверила, что обретет респектабельную достойную жизнь. Ее опорой была самая заурядная прослойка — рабочие, парни из баров, озверевшие от неоплаченных счетов домохозяйки, ютившиеся со своими семьями в автофургонах, юнцы, которые никак не возьмут в толк, что скрывается за туманными рассуждениями по волнующим их вопросам, — иными словами, люди невежественные, которых, ей казалось, постоянно обманывают. Она хотела, чтобы каждый из них, взглянув на ее фотографию, ощутил, что истратил свои деньги не зря.

«Характер есть обстоятельства, которыми нельзя пренебречь, — отметил я в записной книжке. — Пренебрежешь — замучают угрызения совести».

Единственное, чего я по неопытности недоучел, так это всесильной власти прошлого, которое заливает плотину установленных правил и подминает под себя выбор. На улицах Бей-Риджа жизнь брала реванш у общепринятых норм, и жестокая вражда между группировками служила выражением недоверия ребят к тем нравственным устоям, которые им навязывали и родители и школа. Между тем я все больше склонялся к тому романтическому видению жизни, когда она не отрицает самое себя, но развивается изнутри. Отрешаясь от своего прошлого, я все явственнее воспринимал его как бесконечную смену ролей. И все отчетливее осознавал, что втянут в общий водоворот отказа от старых символов веры и установок, необъяснимым образом связанный с дикими приступами политической паранойи, сотрясавшей страну. Правила были отменены, канаты на ринге разрублены, и борьба выплеснулась в самую гущу толпы. Таково было мое тогдашнее ощущение жизни.

Поздним вечером Риччо собрал на пустыре, откуда виднелись крыши зданий на Уолл-стрит, две банды, чтобы они выяснили отношения по новой системе. Обе группировки находились в состоянии войны, обмен любезностями давно произошел, сатисфакции не последовало, и Риччо (как на рыцарских турнирах, где от каждой стороны выставлялось по всаднику — традиция, о которой он не подозревал) предложил главарям выставить по силачу, чтобы они сразились в «честной схватке». Переговоры заняли несколько недель и завершились тем, что ночью около пятидесяти пацанов от двенадцати до восемнадцати

собрались на разбитом молу. Договорились, что будут выяснять отношения без оружия, в ход пускать только кулаки и ноги. Несколько человек неплохо боксировали — это были заводилы уличных драк, привыкшие использовать цепи, ножи, а то и сумку со стальными болванками.

Стояла безлунная ночь, но даже у реки не чувствовалось прохлады. На рейде на одном из судов звучало пуэрториканское радио — звуки далеко разносились по воде. «Я слышал музыку, она скользила по воде», — чуть переврав, некстати вспомнил я замечательную строку, столь несозвучную наступившим отвратительным временам. По толпе пробежали огни полицейского катера, не заставившего себя ждать, и выхватили худощавую фигурку экспансивного шестнадцатилетнего Кинни Костелло, прекрасного гитариста, уже знавшего, что такое тюрьма, который научился играть, случайно украв инструмент в ломбарде на Фултон-стрит. Отделившись от группы, он, пританцовывая, шел навстречу неуклюжему сопернику, итальянцу, намного превосходившему его по весу, чье имя я забыл, а Риччо выступал в качестве судьи. Костелло нанес серию быстрых точных ударов, будто разворошил пчелиное гнездо, так что дюжий детина завалился на спину, и драка закончилась быстрее, чем через минуту. Обе стороны с облегчением вздохнули, будто решился серьезный вопрос, хотя на самом деле было неясно, что же все-таки решилось. Риччо произнес пламенную речь, начинавшуюся словами: «Ну, пацаны, долж***о***н сказать — я вами горжуся», — и поздравил их с тем, что у них теперь есть способ разрешения конфликтов, которого мир не знал. Призвав лидеров пожать друг другу руки, он похвалил их за мудрость в деле защиты чести своих банд и, пресекая всякий намек на недовольство со стороны разочарованных молодых драчунов, пообещал нечто невиданное — оплаченную муниципалитетом автобусную поездку на Кони-Айленд, где каждому обещали по бутерброду с горячей сосиской и содовую, а может быть, и еще что-нибудь, если останутся деньги.

Катер, развернувшись, величественно удалился в темноту, но я успел обратить внимание, что двое полицейских не выразили удивления, что Риччо взял на себя выполнение их обязанностей. Этот район давно патрулировался, и, увидев стайку ребят на углу, они обычно причаливали и начинали орудовать дубинками, устраивая себе разминку под видом того, что «разгоняют неорганизованную толпу».

Именно тогда на тех же углах стали появляться сомнительные личности, которых полиция не замечала. Любознательному парнишке предлагалось пройти в соседнюю

аллею, где ему давали побаловаться порошком. Содержимое пакетиков из пергамина могло в корне изменить взгляд на организованную преступность тех лет — эпоху культа здоровья и торжества чувства собственного достоинства, которого эти окраины уже никогда не узнают.

То были заброшенные мальчишки, до которых никому не было дела, и они отлично это понимали. Лишние люди, эти ребята, выбравшись из тюрьмы, проводили все время в барах, горделиво кичась друг перед другом газетными вырезками о своих арестах и судебных решениях, которые бережно хранили сложенными в конверте, подобно тому как актеры берегут вырезки о своих выступлениях. Реклама решала все: попадешь в газету, считай, ты есть, а если еще и фотография на первой странице — значит, приобщился к бессмертию и, выбравшись из клоаки безвестности, перестал быть ничем.

Я еще не был разведен, а Мэрилин и носа не давали показать из номера, чтобы не запечатлеть на фотографии, так что мы были вынуждены проводить много времени в неспешных беседах, о чем едва ли можно было мечтать, будь каждый из нас посвободнее. Молчание опутывало узами не менее прочными и загадочными, чем острота чувственных переживаний. Глядя вниз на огни ночного города, трудно было отрешиться от мысли, что все это не сон. Отношения были хрупкими, мы явно не подходили друг другу, как будто из разных климатических зон. Но за этой несхожестью простиралось темное пространство безмолвного бытия, где мы оба были на воле. Каждый видел другого неясно, как бы со стороны, образы расплывались. Мы вглядывались сначала из любопытства, потом с надеждой что-либо изменить друг в друге. Нас взаимно притягивало, как свет к мраку, а мрак к свету. Долгие годы спустя о молчаливой смятенности чувств в эти вечера, когда не было ни прошлого, ни будущего, одна сиюминутная радость бытия, мне напомнили полнотелые богини с венценосными головами, чьи каменные рельефы с застывшим взором и всезнающей неуловимой улыбкой украшали храмы Ангкор-Ват в Камбодже.

В один из таких моментов я сказал: «Ты самая грустная девушка из всех, кого я встречал».

Она обиделась, как-то обмолвившись, что мужчины любят счастливых. Но потом вдруг поняла и слегка улыбнулась: «Мне никто никогда такого не говорил».

Как это бывает в любви, мы предлагали друг другу новые роли, заново переосмысливая мир, подобно народившемуся человеку. Расстилавшийся за окнами город, казалось, был создан по волшебству. На улице я испытывал к незнакомым людям

неизъяснимое чувство, похожее на нежность, с которой вез из роддома своих малышей, стараясь как можно осторожнее вести в общем потоке машину, когда все, сидевшие за рулем, казалось, были излишне беспечны.

Я то развенчивал ее, то обожествлял и, убегая от чего-то животного, спасался в ее наивности.

Часто то и другое нельзя было разделить. «Это не я придумала, будто я сирота. Бену Хехту заказали написать про меня, он пришел, говорит: „Давай, валяй о себе что-нибудь эдакое“. А что я могу? Одна скукота. Дай, думаю, выложу, как меня упекли в приют. Ему понравилось, он идею раскрутил, и получилось вроде, что это главное». Конечно, она не была сиротой в полном смысле этого слова — у нее была мать, а может быть, и отец, как у многих детей, которых сиротами не называют. В приют она попала, когда мать забрали в психиатрическую лечебницу, а девочку некуда было деть. Не без помощи Хехта сиротство прочно вошло в ее биографию. Она действительно пережила удар, когда поняла, куда ее привезли, и, упершись, кричала: «Я не сирота! Я ведь не сирота!» Она испугалась, что мать отказалась от нее и отдала чужим людям! Я не сразу понял, почему она постоянно нуждается в покровительстве психически неустойчивой женщины и находит глубокое необъяснимое удовлетворение в том, что ее эксплуатируют. Это была одна из ее отличительных черт. Но я тогда еще не знал этого.

Она много рассказывала о причудливом призрачном мирке Южной Калифорнии, от безжизненного пейзажа которой, полного солнца и миазмов, сбежала. Сидя каждый день по шесть часов на репетиции «Вида с моста» в пыльном полуразрушенном театре «Нью-Амстердам» на 42-й улице, где в свое время шла «Смерть коммивояжера», я, глядя на Вана Хефлина в роли Эдди Карбоне, пытающегося обуздать проснувшуюся в нем страсть, видел перед собой выставленное в фойе театра знаменитое фото улыбающейся Мэрилин в полный рост из фильма «Семь лет страсти», где она стоит над решеткой метро со взметнувшейся в воздух юбкой. Как, поднявшись на сцену, было описать Вану это чувство растворения в небытии, полной потери воли и одновременно какого-то страха? Постановка была лишена подобных переживаний, но, может быть, упрек следует отнести к пьесе, которая была написана в другой период. Что это за чувство, когда тянет к тому, от чего бежишь?

Я не помню, как произошло, что Мэрилин стала для меня эталоном подлинности. Мужчины при одном взгляде на нее теряли самообладание, женщин душила злая досада, житейские компромиссы расползались по швам, а ее тело становилось светлым лучом правды. Она знала, что, появись в любой

компании, обязательно вызовет переполох, улыбкой разрушит самый благопристойный союз, и упивалась своею властью, не забывая, однако, старую мрачную истину: ничто не вечно. Эта власть поглотила и ее самое, но не тогда, а позже.

Трудно было понять, чего она хочет, ибо внешне желала только, чтобы мирно истек сегодняшний день. С ее появлением будущее исчезало — казалось, она ничего не ждет, и это было похоже на свободу. С другой стороны, во всем присутствовала какая-то загадочность, что придавало нашим отношениям привкус неизвестности.

Как-то вечером мы сидели, глядя вниз на вечерний город, и она вдруг вспомнила про свою старенькую «тетушку» Энн. Мэрилин было четырнадцать или пятнадцать лет, когда эта умная, добрая женщина, исповедовавшая христианскую науку, заболела и умерла. Полюбив девочку, она какое-то время была ее добровольным опекуном, и Мэрилин привыкла к ее поддержке. Известие о смерти потрясло, хотя к тому времени Мэрилин уже не жила с ней. «На следующий день я пришла к ней в квартиру, легла в кровать, где она умерла… Просто взяла и полежала на ее подушке. Потом отправилась на кладбище. Могильщики как раз рыли могилу, стояли в яме. Я говорю, можно мне туда, они разрешили, я спустилась, легла на землю, смотрю на облака. Ну и вид, никогда не забуду. Земля снизу холодит. Мужики стали валять дурака, ну, я выбралась, прежде чем они меня сцапали. Люди попались хорошие, все шутили, пока я не ушла».

Как ни странно, казалось, она не ведает страха. Сомнения, преследовавшие ее с детства, отступали, как только она брала себя в руки и приступала к делу. Страсберг предложил ей роль Анны в «Анне Кристи» О'Нила, которую она решила вечером прочитать со мной. Я впервые столкнулся с ее внутренним миром, когда она по слогам разбирала вслух текст: это скорее напоминало молитву, чем актерскую игру. Расплывшись в улыбке, она неожиданно произнесла: «Надо же, чем я занимаюсь». Прошлое не отпускало ее даже тогда, когда она отдавала себе отчет, сколь много ей удалось добиться. Воспоминания были тяжелы. Казалось, голос осекся от чувства вины.

И дело было не только в пагубном влиянии матери, страдавшей паранойей и лечившейся от шизофрении, которая в свое время пыталась задушить дочь в кроватке. Над Мэрилин тяготело церковное осуждение, вселившее в нее чувство неизбывной вины, которую нельзя было искупить, как проклятие.

По желанию приемных родителей она в возрасте пяти или шести лет должна была участвовать в религиозном празднестве, устроенном фундаменталистами. Несколько сот детей одели в

праздничные костюмчики — девочки в белых платьицах, мальчики в синих брючках и белых рубашках — и выстроили рядами в огромном естественном амфитеатре под открытым небом в горах недалеко от Лос-Анджелеса, где все и происходило. Вдобавок девочкам выдали белые с красным пелеринки, которые поначалу надо было накинуть красной стороной вверх. Во время пения в честь Христова Воскресения их надо было перевернуть, сменив исполненный греха пурпур на целомудренную белизну, знак спасенных. Будто по волшебству, чаша амфитеатра стала белоснежной, только одно пятнышко выделялось на общем фоне. Теперь она весело смеялась над той маленькой девочкой, которую тогда уличили в оплошности. «У меня напрочь отшибло память. Было так интересно, когда все стали их переворачивать, я так волновалась, чтобы никто не забыл, что сама все забыла!»

Она согнулась, заливаясь смехом, будто это произошло не двадцать пять лет назад, а вчера. Однако ей здорово досталось за невнимание: ей сказали, что ее проклял Господь. Причем это был тот особый случай, когда божественный гнев нельзя искупить. «Я-то думала, Иисус милосердный. А по-ихнему, чуть зазевался — он так и норовит огреть тебя по голове». Конечно, это было смешно, но почему-то глаза ее говорили обратное.

Все завертелось. Бостонская постановка оказалась теплее, чем я ожидал, но не покидало сомнение, тот ли был выбран тон. В номере гостиницы я перечитал первое действие «Гамлета» и неожиданно для себя понял, что за его видимым помешательством стоит не сумасшествие, а безысходность, как бывает, когда ситуация очевидна и в то же время неразрешима. Он должен отомстить за отца, но испытывает радость при мысли, что займет его место. Что делать? Остается посмеяться. Он знает, что все вокруг лгут, знает, что сам не до конца честен. Боится открыто и ясно выражать свои чувства, опасаясь предательства, хотя уже едва помнит, с чем все это изначально связано. Единственное, в чем он уверен, что сам честнее других. Но в душе не может не признать за собой определенную двойственность. Все больше порывая с семьей, я разделял его самоосуждение и неприятие себя, глубочайшую ненависть по отношению к неискупленной вине и невозможность выйти из этого круга.

Несколько дней подряд Марти Ритт брал меня с собой на скачки и учил делать ставки, используя тайно раздобытую информацию о лошадях. Я преуспел, и мы выиграли несколько долларов. Его мать играла на бегах профессионально. И он тоже всегда выигрывал, хотя бы немного. Я не знал, что лошади на бегах такие изящные, как будто игрушечные.

В работе он, как режиссер, был почти незаметен, напоминая Казана и сильно отличаясь от Джеда с его бахвальством. Мне кажется, Марти считал, что режиссер — это приводной ремень, который является помощником Бога, но не самим Боссом. Основное для него было понять текст, а не продемонстрировать, что он думает по этому поводу. Для такого читающего человека, как он, Марти был удивительно ограничен в своих эстетических пристрастиях. В работе доверял не только голове, но и телу, опасаясь заставлять актеров много думать в ущерб инстинктивному ощущению роли и мизансцен. В этом он тоже походил на Казана: мне кажется, их заземленность объяснялась тем, что оба в прошлом были актерами.

Тридцать лет спустя Дастин Хофман скажет: «Для того чтобы получилось, надо сыграть кишками», чего не скажешь о первой постановке «Вида с моста», которая тянула не больше чем на «весьма сносно». В 1965 году дух пьесы на удивление полно выразил во внебродвейской постановке Улу Гросбард. Помимо особого везения этому способствовал прекрасный подбор актеров. В роли Эдди и Родольфо он занял двух неизвестных молодых актеров Роберта Дюваля и Йона Войта. Трудно было предположить, что вне Бродвея в театре встречаются такие мощные дарования, как Дюваль. За кулисами он позже представил меня своим родителям: его отец оказался адмиралом в белом строгом кителе, а сам Дюваль говорил на прекрасном английском. Мимо нас сновал молодой ассистент режиссера, у которого был такой нос, будто у него аденоиды. Гросбард незаметно кивнул в его сторону, посоветовав обратить внимание на исполнителя роли Вилли Ломена в будущем. При всем уважении к Гросбарду, я усомнился, ибо Дастин Хофман с заложенным носом был настолько нелеп, что я посочувствовал этому бедняге, как ему пришло в голову стать артистом. Гросбард же видел в нем не Хофмана, а актера, самый дух его. Обостренное восприятие отличало его отношения со всеми исполнителями спектакля, что придавало особую неповторимость. Спектакль шел уже не один раз, когда актеры заметили, что каждый вечер в одном из первых рядов сидит один и тот же человек. Растроганный финалом, он обычно покидал театр среди последних. Как-то после спектакля кто-то из актеров подошел к нему, и они разговорились. «Я знал эту семью, — сказал тот, утирая слезы. — Они из Бронкса. Здесь все правда, только конец другой». Как же было на самом деле? «Эдди вздремнул, а девушка, войдя, прикончила его ударом в сердце». Конечно, я слыхом не слыхивал ни о какой семье из Бронкса, но каков финал!

Мэрилин вырвалась на денек в Бостон. Чтобы ее не узнали, она надвинула на лоб глубокую белую вязаную шляпу, надела толстый свитер, шерстяную в черно-белую клетку юбку и мокасины. В свои двадцать девять она смахивала на старшеклассницу. Погода была серая, облачная, и несколько человек на улице обратили внимание на ее темные солнцезащитные очки. Мы долго бродили, посмотрели в каком-то кинотеатре только что вышедший на экраны фильм «Марти» и отправились поужинать. Она произвела магическое впечатление на официантку, та без конца обращалась к ней, интуитивно ощущая ее исключительность даже в таком нелепом наряде.

Мэрилин рассказала, что ассоциация подиатристов обратилась к ней с просьбой снять слепки ступней, настолько они безупречны по форме, а какая-то стоматологическая школа мечтала получить слепок рта и зубов без единого изъяна. С каким-то неизбывным страхом мы сидели друг против друга в ожидании, когда приблизится будущее.

— Никак не могу приучить себя к мысли, — сказал я, — что могу потерять тебя.

Ее лицо исполнилось беспокойством.

— А почему ты должен терять меня?

И она сняла очки с неуверенной улыбкой.

Проходя мимо нашего столика, официантка, крашеная блондинка средних лет, услышала слова Мэрилин и узнала ее. Открыв от удивления рот, она обернулась ко мне выразить свое удивление, возмущение, даже негодование по поводу того, что я мог оказаться настолько глуп и жесток, чтобы причинить боль ее идолу. Не будучи знакома с Мэрилин, она неожиданно предъявила на нее свои права. И тут же, вернувшись, протянула листок для автографа.

По дороге в гостиницу Мэрилин почувствовала, что я подавлен.

— Что с тобой?

— Такое ощущение, будто ты ей принадлежишь. — Я оборвал себя, недоговорив.

— Что за чушь.

Но на пустынной улице мы были уже не одни.

VI

В 1956 году окрестности Пирамидального озера в Неваде напоминали лунный ландшафт: таинственное очарование безлюдного места не нарушалось возведенной вдоль берега эспланадой, ларьками с горячими сосисками и ревом моторок. Соленое серное озеро растянулось на мили в индейской резервации Пайют, суровом красивом крае, который время от времени облюбовывали киношники, снимая фантастические фильмы о космических пришельцах. Я должен был прожить здесь не менее полутора месяцев, чтобы по закону штата оформить развод, поскольку в штате Нью-Йорк для этого все еще требовалось доказать адюльтер. По той же причине здесь находился Сол Беллоу, с которым у нас был общий издатель Паскаль Ковичи из «Вайкинг пресс», — он и попросил его подыскать для меня место. Беллоу жил в одном из двух коттеджей на берегу. Я занял другой. Он работал над романом «Хендерсон — король дождя». Я обживал местность, куда попал, разрушив свою жизнь.

Так получилось, что моим пристанищем оказалась Невада, приют бездомных, бродяг, неприкаянных. До ближайшего городка Рино в сорока милях можно было позвонить только из одинокой телефонной будки у обочины шоссе, по которому днем проезжало не больше трех машин, а ночью и вовсе никого не было. Рядом пустовали домики заброшенного мотеля для таких, как я, желающих развестись. В них сейчас никого не было, кроме владельцев, неблагополучной семьи, глава которой, похоже, был работяга-коннозаводчик, поскольку около озера вольно паслись шесть породистых лошадей. Если, случалось, нам кто-то звонил из ставших такими далекими Соединенных Штатов, он, жена или наемный работник мчались позвать нас в телефонную будку. Местность окружала гряда невысоких, стального цвета гор, в безмолвной череде дней постоянно менявших свой красноватый оттенок. Сол порой отправлялся на полчаса погулять, и тогда откуда-нибудь из-за холма в полумиле тишину прорезал оглушительный рев — он прочищал легкие, восстанавливая, как мне казалось, таким упражнением внутреннее равновесие. Это становилось главным событием дня. У него, однако, скопилась приличная библиотека, которой мог бы позавидовать небольшой колледж.

В миле от берега лежал остров, полный, как нам говорили, гремучих змей, но воздух был так прозрачен, что он казался всего в сотне ярдов. Индейцы, в надежде заловить какого-нибудь

рыбака из Рино, отважившегося забраться в высоких охотничьих сапогах подальше, передвигали предупредительные знаки, расставленные федеральным правительством вдоль берега посреди зыбучих песков. Однако сюда редко кто заглядывал, и потому, как говорили, мало кто пострадал. Тела погибших могли на милю погружаться в топкую жижу, питаемую озером, а затем, месяцы или годы спустя, всплывать, чтобы снова исчезнуть в глубинах кружившего по часовой стрелке течения. В озере обитали странные рыбы с широким ртом и усами, отвратительный, отталкивающий реликтовый подвид, будто бы обитающий только здесь и в Индии. Я представил, как индийский орел, перелетев через океан, обронил тут бесценную икринку.

Раз в неделю мы с Солом отправлялись на его «шевроле» в Рино, в бакалейную лавку и прачечную. На протяжении сорока миль нас ни разу никто не обгонял и мы никого не обгоняли. Это было прекрасное место, где при желании можно было уединиться; огромное пространство способствовало мечтаниям, безлюдье — отчаянию. Физически и духовно я вступил в неизведанную для себя область, а неизвестное — всегда тьма, пока она не озарится светом.

Сейчас были лишь проблески. Я достаточно оптимистично смотрел на свой развод, считая, что обрету себя и перестану растрачиваться впустую. Но нам не дано уйти от того, что мы есть, — когда черепаха тянется вверх за вкусной почкой, ее панцирь не становится от этого легче. Порой охватывало сомнение, действительно ли мне удастся убежать от себя и утвердиться. Мэрилин снималась в «Автобусной остановке» у Джошуа Логана, и по ее торопливо нацарапанным записочкам чувствовалось, что она тоже опустошена. Одноименная пьеса имела колоссальный успех, и роль, казалось, была написана прямо для нее. Несмотря на постоянные сомнения, она с радостью работала с Логаном, известным постановщиком бесчисленных бродвейских мюзиклов, включая «Южнее Тихого океана» и «Мистера Робертса». Пугало, что я ничем не мог подбодрить ее, хотя надежда на совместную жизнь придавала ей силы, она говорила, что смотрит в будущее по-иному, чем прежде.

Разбудив среди ночи, хозяин мотеля позвал меня к телефону. Было далеко за одиннадцать, время, когда Мэрилин на съемках уже давно спала. Грузовик трясся по песчаной дороге, пока мы не подъехали к телефонной будке, залитой зеленоватым лунным светом. Небо было усеяно звездами, и каждая отчетливо виднелась в его глубине. Из-под двери будки тянуло холодом, я почувствовал это голыми ногами.

Ее мягкий с придыханием голос едва можно было разобрать:

— Я не могу, не могу так работать. О пап*а*, не могу.

Она звала меня так поначалу в шутку, потом это перешло в привычку, но сейчас ей было не до игры. Она была в отчаянии, только что не рыдала, и говорила без местоимений, странно и сокровенно, как будто сама с собой.

— Говорит, сыграла вульгарно. А что такое сестра-сиделка? Просто боится женщин, все они боятся, на дух не переносят, вся их компашка. Вульгарно! Не может как следует дернуть, ну за хвост, ну, там у меня торчит сзади, дернуть со злостью, поиздеваться, чтобы я могла среагировать! А он так, еле-еле, и не заметишь. Дергай, говорю, изо всех сил, со всей злостью, чтобы я могла дать реакцию, ну и пошло-поехало, какое там, боятся, зритель, видите ли, не то подумает, ты меня понимаешь? Но я же не профессиональная актриса, я не умею притворяться, когда все понарошку. Я могу только по-настоящему! Я не умею не по-настоящему! А он говорит, вульгарно, потому что я ему все высказываю! И ненавидит меня! Ненавидит! Представляешь, мне выбегать на родео, а тут соскочила туфля, смотрю, он собирается остановить съемку, а потом видит, все засмеялись, тут он понял, дал мне вернуться, я надела туфлю и продолжаю сцену. Он бы обязательно остановил, если б я не настояла. У меня чутье, только чуть что-нибудь, я уже знаю, что выйдет, а он ничего не понимает.

Все это было бурливой пеной, под которой вздымалось море печали, — ее голос зазвучал возвышенно и вдохновенно:

— Я не могу, я хочу жить спокойно, я ненавижу это, мне так не надо, хочу жить в глуши и ждать, когда ты придешь. Не могу больше за себя бороться.

Я спросил, не может ли ей помочь партнер Милтон Грин, но она зашептала по-заговорщицки, что он был в павильоне, но побоялся вступиться за нее перед Лоуганом.

Надо сказать, сами по себе ее жалобы на Лоугана, напоминавшие обычные актерские пересуды, меня мало интересовали, но поразило невесть откуда взявшееся чувство страха в одиноком голосе, взывавшем к глухим небесам. Я испытал отчаяние, что нас разделяют безмолвные мили. Что бы ни было с Лоуганом, ее искренность не вызывала сомнений, ибо она балансировала на краю пропасти, падение в которую исключало надежду на спасение. Впервые в ее голосе звучал такой неприкрытый страх, что я почувствовал, насколько безоглядно она доверяет мне. До этого она скрывала свою привязанность, и тут до меня дошло, что я — это все, что у нее есть. Я вспомнил, как несколько месяцев назад она сказала, что тянет с подписанием договора о собственной кинокомпании, на

чем настаивал Грин с поверенным, ибо он получит пятьдесят один процент акций, а она сорок девять. Свою долю он обещал компенсировать поиском материала и сценариев, которые бы не требовали ее участия, в то время как основной капитал составляла она сама и заработанные ею деньги.

Она не хотела ни во что вникать, предпочитая не видеть скрытого предательства, и даже теперь, с горечью поведав о том, что Грин не защитил ее перед Лоуганом, не позволила себе открыто возмутиться. Я же со своей стороны хотел, чтобы она могла доверять ему: едва выкраивая время для работы, я почти не вникал в ее дела, оставив их на усмотрение юристов и финансистов. К тому же я был едва знаком с Грином: главное, к чему я стремился, не отдавая себе отчета, так это чтобы ее вера не сменилась разочарованием.

Я успокаивал ее, но она ускользала куда-то, куда мне не дано было проникнуть. Голос стал еще глуше. Я не мог удержать ее. Она исчезала вместе с партнером и друзьями, которые были рядом. «О пап***а***, я не могу, не могу так!» Я вдруг представил, что она может покончить с собой, чего раньше и в мыслях не допускал. И попытался вспомнить, нет ли у меня кого-нибудь в Голливуде, кто мог бы пойти навестить ее, но никого не нашел. Как вдруг почувствовал, что задыхаюсь, в голове все поплыло, колени подогнулись, и я ощутил, что сползаю вниз на пол будки, трубка выскользнула из рук. Я пришел в себя через несколько секунд, ее голос из трубки еще что-то шептал прямо над головой. Взяв себя в руки, я заставил ее спуститься с небес на землю. Завтра она постарается ни на что не обращать внимания, будет просто выполнять то, что надо, и ни на что не реагировать. У меня в глазах все еще сверкали искры. Мы обязательно поженимся и начнем новую настоящую жизнь, как только она закончит съемки. «Я больше так не хочу, пап***а***, я не могу одна с ними справиться. Я хочу, чтобы мы жили где-нибудь в глуши, я буду хорошей женой, только, если мне предложат какой-нибудь замечательный фильм, тогда…» Да, да и еще раз да. На этом мы порешили, и над пустыней снова повисла целительная тишина, которая все накрыла собою.

Шоссе осталось позади, я шел по направлению к двум коттеджам и низкой луне. Мне никогда раньше не доводилось падать в обморок. Тяжесть ушла, но дышать было трудно, как будто я долго плакал. Наступило исцеление, будто я преодолел внутренний рубикон и попал в зону покоя, когда все во мне примирилось. Я любил ее так, как будто любил всю жизнь. Ее боль стала моею. Моя кровь наконец заговорила. Я был счастлив, как будто кто-то вдохнул жизнь в это мертвое закоченелое

пространство — невысокие освещенные луной горы за моим окном, нависшую над безжизненной, но величественной природой тишину, хмурое озеро с доисторической рыбой, обреченной вечно искать обратную дорогу в Индию. Я попытался вспомнить какую-нибудь пьесу о людях, которые страдают, но не сдаются, и мне вдруг открылось невыразимое счастье, таящееся в трагедии. Мне вдруг стал ясен скрытый порядок, насмешка, которую таит в себе непрерывность жизни. Я пережил в ту ночь ощущение, как будто во мне от рождения жило и развивалось ее существо. Все происшедшее за последний год, чувство вины перед детьми и отказ от своих корней показались неизбежной платой за то, что, возможно, заслуженно ожидало впереди, — творческая жизнь в полном внутреннем единении с самим собой. Впервые за долгие месяцы, а может быть, годы в голове возник какой-то мощный интенсивный импульс, знак того, что пора писать, но что-то такое же простое и подлинное, как пережитая ночь, когда все едино, все — чувственность и интеллект, аппетит и справедливость. Весь наш театр — включая, конечно, и мой, но других мастеров тоже — показался таким ничтожным по сравнению с неограниченностью человеческих возможностей. Ведь все драматурги, по сути, были несчастные люди: Ибсен, параноик, которого мучила тайная страсть к молодым женщинам; Чехов, смертельно больной и покинутый неверной женой; Стриндберг, которого преследовал страх кастрации. Где было величественное мраморное воплощение древнегреческого пророчества, искрометная целостность здорового благородного противостояния катастрофе? Не отдавая себе отчета, она, вопреки своим заблуждениям и ошибкам, олицетворяла именно это начало. С давних пор она приняла на себя роль изгоя и даже щеголяла этим, сначала как жертва пуританского лицемерия, затем как восторжествовавшая новая реальность, начиная от отказа носить лифчик до лукавого признания, что на календарях были именно ее фото, — во всем сквозила обворожительная искренность, такая неамериканская, особенно сейчас, когда новая империя собиралась возглавить искалеченный войной Запад. Во всем чувствовалось здоровье, сила человека, который отбросил иллюзии о строгой упорядоченности жизни. Несмотря на скрытую боль, она вызывала зависть, заставляя отдаться раскрепощению и его радостям. Цветок на навозе. И впереди удивительная жизнь…

Неваду легко описать, но трудно понять. Слева от шоссе в Рино возвышалась на сваях обмотанная толем черная коробка около двадцати футов высотой. Вниз спускалась грубо сколоченная лестница, исчезавшая в яме. Рядом стоял пыльный

новенький «кадиллак». Его владельцем оказался жизнерадостный невысокий мужчина в ботинках, джинсах и пропитанной потом широкополой шляпе. Когда ему нужны были деньги, он спускался по лестнице из комнаты, где жил, в яму, которая служила серебряными копями. Все было очень просто, хотя не очень понятно, особенно когда я узнал, что в доме на сваях есть рояль и он играет на нем примитивные пьески. Невадцы, однако, ко всему этому относились очень спокойно.

Пропутешествовав по пустыне около недели вместе с двумя ковбоями с родео, охотниками на диких мустангов, с которыми судьба свела в Рино — к тому же у них оказалось свободное время, — мы наткнулись на невесть когда покинутую лачугу, ветхое строение, сооруженное одиноко забредшим фермером, служившее теперь прибежищем всем, кого сюда заносило. Единственное окно было без стекол, дверь висела на одной петле. Вокруг валялись сотни журналов. В основном двух видов — «Плейбой» и ему подобные, а также вестерны. Они были сложены в углах кипами высотой до фута. Сотни ковбоев, которые здесь отдыхали, мечтали, читали, натаскали их сюда за долгие годы. Мои попутчики не могли взять в толк, почему меня удивляло, что эти люди, которые годами живут не слезая с лошади, с таким наслаждением смотрели на воссозданных по их образу и подобию героев и не могли вообразить лучшей участи, чем сняться в кино: вот где ковбои настоящие, а они — поддельные. Окончательная победа искусства, по крайней мере этого вида, заключалась в том, чтобы человек почувствовал себя менее реальным, чем художественный образ.

Прошло четыре года, и один из этих людей появился у нас на съемках «Неприкаянных». Нам пришлось о многом переговорить, прежде чем он погрузился в воспоминания и, встав возле камеры, посмотрел съемку сцены, которая была взята из его жизни, — когда Кларк Гейбл рассказывает Мэрилин о прошлом своего героя. Сцену отсняли, и он, повернувшись ко мне, восторженно покачал головой, удовлетворенно заметив: «Черт, звучит, будто было на самом деле». По его виду было совершенно ясно: он не понял, что это его судьба, и не мог допустить, что такие метаморфозы возможны. Таким образом, Невада стала для меня зеркалом, но в нем, однако, реально не отражалось ничего, кроме огромного неба.

В глубинке, где уже не встретишь след грузовика, можно было наткнуться на признаки подземной жизни. Посреди шалфея и песка сушились на солнце надетые на палку шорты или футболка. Мои приятели предпочитали обходить такие места

стороной, хотя говорили, что знают некоторых из обитателей подземных нор. Обычно там скрывались люди, разыскиваемые законом, чаще всего за убийство. Полиция знала, что они здесь, но никого не интересовало, почему их не разыскивают. Однако расплата была неизбежна.

Наезжая раз в неделю в Рино за покупками и в прачечную, мы воспринимали этот городок по-иному, чем его видят туристы, приезжающие развлекаться: через несколько дней круговерть игорного дела начинала действовать угнетающе. Стоя около стойки, женщины, держа на руках малышей, то и дело опускали в игральные автоматы мелочь, но по их лишенным выражения лицам было видно, что никаких надежд на выигрыш у них нет. Это было так же безрадостно и затрапезно, как привычным усталым жестом не глядя выбросить из окна машины бумажную салфетку. Уйма женщин в джинсах и рваных теннисках просто приезжали сюда потратить деньги.

* * *

Как-то в сумерки, к вечеру, мы с моими приятелями-ковбоями купили на выезде из маленького городка — восемь — десять домов — в крошечной бакалейной лавке на единственной застроенной улочке жилистые бифштексы. Бакалейщик подошел к мясной туше, которая висела за кассой, и отрезал нам мяса. Мы раскошелились на длинный ноздреватый батон белого хлеба и немного соли, чуть отошли и, разведя костер из веток сухого шалфея, поджарили на палочках мясо. Сдобренный шалфеем сок пропитал хлеб. Каждый из нас съел, наверное, по нескольку фунтов говядины — я ничего вкуснее в жизни не едал. Сытые, мы расположились около огня: встала луна, и оба приятеля приветствовали ее появление, как будто она была женщиной — с блуждающей улыбкой, которая свидетельствует, что человек пребывает в грезе.

Выпадали недели, когда они путешествовали в этих местах по кругу, обслуживая двух или трех женщин, которые их ждали в разных кроватях. Их отношение к ним почти всегда отличалось почтительностью. Эта земля была удобной лазейкой для тех, кто, слетаясь из разных штатов, собирался разводиться, и моих приятелей восхищало великое разнообразие людей. Будучи разведены, они сочувствовали тем, кто испытывал трудности в браке. Под этим небом, посреди вечных гор они научились понимать погоду, животных, друг друга. Но женщины всегда оставались загадкой. Уилл Бингем, ковбой, которому едва перевалило за сорок, оставил жену и шестилетнюю дочь, которую время от времени навещал, наезжая в небольшой городок на севере штата. Он вел замкнутый, независимый образ жизни, если не идеальный, то удовлетворявший его, но не переставал испытывать чувство вины за то, что бросил ребенка. В чувствительности некоторых из этих крепких мускулистых мужчин было что-то такое, что вселяло надежду. Я никогда о таком не читал, за исключением нескольких отрывков в забытом шедевре Фрэнка Норриса «Мактиг».

У меня кончились кое-какие продукты, и вместо того, чтобы ехать в такую даль, как Рино, я решил разыскать неподалеку в резервации индейский магазинчик. Он притаился в ущелье, в нескольких милях от озера. Это был универсальный магазин, перед которым возвышалась груда ржавеющего хлама, вплоть до перевернутых купальных будок, погнутых велосипедов,

стиральных машин и остатков автомобилей от другой цивилизации. У пыльной дороги расположилась одинокая бензозаправка. Внутри пустого магазина у прилавка с едой индианка средних лет расставляла рядом с сыром, маслом и молоком самодельные мокасины. Я спросил, нельзя ли купить молока, хлеба, масла. Когда она задубелыми крестьянскими руками заворачивала мои покупки, из задней комнаты вышел индеец средних лет с брюшком, в мягкой широкополой шляпе, надетой задом наперед, и поинтересовался, все ли я купил, что хотел. Услышав ответ, он вскинул брови и спросил с радостной ухмылкой:

— Вы из какой части Бруклина будете?

Он двадцать лет прожил на Атлантик-авеню, работая маляром-высотником на мостах Джорджа Вашингтона, Нью-Йоркском и других; скопил денег и, вернувшись, открыл свою лавочку. Но почему-то чувствовал себя здесь не в своей тарелке и не находил места.

— Народ очень вялый. Ничего не хотят делать, чтобы им стало лучше, — озадаченно сокрушался он, выйдя проводить меня к машине, в которую я садился.

Прощаясь, я спросил, как его зовут.

— Мойша.

— Разве это индейское имя?

— Нет, но мое настоящее имя никто не мог выговорить, и в Бруклине меня все звали Мойшей. Поэтому магазин так и называется — Мойшин. Даже вывеску хочу сделать.

Неспешно отъезжая, я заметил в зеркале заднего вида, что из магазина вышла женщина и он, показывая на пыльную дорогу, стал что-то говорить обо мне — еще одном бруклинце. Он был возбужден, но, войдя в дом, наверное, опечалился, что покинул оживленную Атлантик-авеню. В Неваде чувствовалась всеобщая бездомность, в чем-то прекрасная, возможно, оттого, что накладывала на людей отпечаток пытливого любопытства, вместо самодовольства, характерного для таких тихих мест. Мне захотелось написать об этом.

* * *

Поскольку в Неваде я был обречен прожить безвыездно полтора месяца, то раз в неделю нелегально летал в Лос-Анджелес. Риск стоил того, ибо процедура была не более чем пустой формальностью, тщательно продуманной с целью заманить желающих побыстрее развестись и выкачать из них для местных юристов деньги.

Напряжение не покидало Мэрилин во время съемок «Автобусной остановки», но она стала помягче к Лоугану, проявляя чуть большую заинтересованность в том, чтобы сыграть удачно. Я весьма эгоистично полагал, что она справится с этим превосходно, и считал, что зря волнуется. Ее наставница Паула, жена Ли Страсберга, жила с ней в соседней комнате в «Шато Марон» и вела себя как доверенное лицо, ежедневно сообщая мужу в Нью-Йорк о тех трудностях, с которыми сталкивалась Мэрилин.

Паула показалась мне комическим персонажем мольеровского типа, но ее порой опасно заносило на поворотах. Она считала, что каждый актер, пусть, он всего лишь пару раз заглянул к Ли из любопытства или годами слушал у него курс, принадлежит Страсбергу, как выпускник Кембриджа навсегда остается его студентом. «Вы можете встретить наших повсюду», — заверила она меня, подразумевая, что их актеры снимаются по всему белу свету, хотя среди них, насколько я знал, были такие, кто провел в студии несколько часов. Дело дошло до того, что она назвала «одним из наших» знаменитого киношного художника по костюмам Жана Луиса, видимо полагая, что владеть иглой он научился у Ли.

Во время одного из моих приездов она крепко взяла меня под руку и потребовала, чтобы я прослушал пленку с записью лекции ее супруга об Элеоноре Дузе, легендарной итальянской актрисе, чью память он почтил незадолго до этого по случаю годовщины то ли рождения, то ли смерти. Она слушала голос, доносившийся из магнитофона, стоя рядом со мной с благоговейно сложенными руками, подняв подбородок и устремив взгляд в пространство.

— Большинство из ныне живущих полагают, что мы ценим Дузе как великую актрису, — начал Ли с ноткой тревожного напряжения. — Но мы поклоняемся ей совсем не за то.

Наступила долгая пауза.

«Действительно, за что мы поклоняемся Дузе?» — подумал я.

— Отнюдь не за то, — повторил он. — Есть много великих

актрис, живых и почивших, отечественных и зарубежных. Многие актрисы создали на театральных подмостках образы, которым не угаснуть вовек. Это англичанки и шведки, немки и итальянки, голландки, испанки, француженки, актеры и актрисы разных стран и поколений.

В ожидании ответа на поставленный вопрос я действительно начал размышлять на тему, почему мы почитаем Элеонору Дузе. Бесчисленные вводные слова плодились, текли, разливались во всех направлениях, пока вопрос не увяз настолько, что потребовалось физическое усилие вспомнить: речь идет о Дузе. Лекция продолжалась минут двадцать.

Мэрилин слушала, затаив дыхание, ее благоговейный взгляд стал загадочно отрешенным. Разве можно было всерьез высказать, что я думаю о ее обожаемом учителе, который в моих глазах был воплощением виллиломеновской неуверенности в себе и пытался скрыть это, манипулируя фактами. Ее зависимость от него была слишком велика, чтобы я мог открыто выказать свое несогласие с его авторитетом: выдерни я у нее сейчас этот костыль, она бы рухнула. Да и кто я такой, со своими суждениями, когда весьма неплохие и умные актеры полностью доверяли ему? Единственное, что оставалось, — вслушиваться в бульканье звуков на пленке и не смеяться над Паулой, стоявшей навытяжку, пока мы пребывали в ожидании ответа на вопрос, за что все-таки любим Дузе. В этот момент меня тоже идеализировали, что было тяжело, как в свое время отсутствие оного, так что я вынужден был промолчать. Мы с Мэрилин все еще полагали, что мне не следует вмешиваться в ее дела, — в этом, казалось, не было необходимости, поскольку Грин отвечал за финансы, а Ли помогал ей обрести уверенность как актрисе. В их отношениях с Грином наступил просвет: они наконец договорились, что ей будет принадлежать пятьдесят один процент акций «Мэрилин Монро продакшнз», а ему — сорок девять. Это гарантировало ей контроль над выпуском продукции. К тому же Грин, чтобы разгрузить Мэрилин, занялся поиском новых проектов без ее непосредственного участия — это было нелишне, так как она решила поправить финансовые дела, выплачивая «Интернел ревеню сервис» налоги не со своих доходов, а с доходов фирмы. Ее снедала боязнь, что популярности хватит ненадолго.

Первой из запланированных работ новой кинокомпании был фильм с участием Лоренса Оливье в роли постановщика и главного исполнителя. Выбор пал на веселую комедию «Принц и хористка» по пьесе Теренца Реттигана «Спящий принц». Съемки должны были начаться в Англии вскоре после нашей свадьбы, намеченной на июнь. По счастливой случайности Бинки Бомонт,

известнейший режиссер процветавшего, хотя весьма посредственного тогда английского театра, вздумал ставить «Вид с моста» и пригласил Питера Брука. Время репетиций и съемок совпадало. К тому же я решил расширить одноактную пьесу. И мечтал, что мы будем работать бок о бок, занимаясь каждый своим делом и черпая друг в друге силы, — сон, казалось, наконец становится явью.

На пресс-конференции в Нью-Йорке, где было сделано заявление об их сотрудничестве, Оливье, стоя рядом с Мэрилин, олицетворял, с точки зрения большинства журналистов, одну из самых невероятных комбинаций в кино: он — представитель высокого искусства, она — откуда-то из низов, близких к порнографическому ремеслу. У нее на плече неожиданно лопнула бретелька от платья, вызвав радостный вздох зала, замершего в ожидании дальнейших откровений. Но вместо того чтобы наигранно стыдливо покраснеть и уйти, Мэрилин спокойно спросила, нет ли у кого лишней булавки. Журнал «Тайм» решил, что все это было подстроено. Кто-то поинтересовался, действительно ли она собирается сниматься в «Братьях Карамазовых» и в какой роли. Эта блестящая провокация повергла присутствующих в восторг, как будто, наклеив бороду, Мэрилин решила сыграть одного из братьев. Она ответила, что хотела бы сыграть Грушеньку, и добавила: «Она ведь девушка». Ее оборвал шквал смеха, не дав во всеуслышание предположить, что большинство присутствующих, в свое время, по-видимому, старательно учившихся на факультетах журналистики, так и не успели прочитать роман. Один из этой когорты гениев попросил ее по буквам произнести «Грушенька», и от Мэрилин, конечно, не ускользнул намек: даже когда рядом с ней стоял сэр Лоренс, переплывший ради совместной пресс-конференции через Атлантику, ей отказывали в праве на скромное достоинство, которым обладает каждый, кто решается открыть собственное дело. Секс и серьезность не могли уживаться в одной женщине — эта американская болезнь еще долго не будет изжита, по крайней мере так казалось тогда. Идея сделать фильм с Оливье принадлежала Мэрилин, но вряд ли она стремилась к рекламе: ее популярность была и так велика. Сама возможность дуэта внушала надежду, что при удачном подборе пьесы из этого мог выйти толк. А если бы это придало ее облику в прессе большую респектабельность, ну что же, тем лучше.

Срок моего пребывания в Неваде истекал, и я все больше раздумывал, как бы избежать лавины всеобщего интереса, которая обрушится на нас в связи со свадьбой. И все-таки недооценил ситуацию, пока перед моим домом на берегу как-то

утром не затормозил грузовик со съемочной группой и журналист не задал мне с дюжину вопросов о наших планах на будущее. Я еще не знал, что в отдельных случаях человек может стать общественной собственностью в полном смысле этого слова. Единственное объяснение этому, оглядываясь назад, я вижу в том, что к тому времени посмотрел не более чем полдюжины передач, — как и у многих, у меня в 1956 году не было своего телевизора. Явная бесцеремонность приезжих задела. И в то же время льстило, что меня связывают с Мэрилин, хотя налетом сенсационности мы были обязаны именно несходству наших индивидуальностей.

Однако я надеялся, что средства массовой информации быстро устанут и через несколько недель переключатся на что-нибудь новенькое. На сорок вторые сутки пребывания на озере я с утра пораньше сложил в чемодан свой нехитрый скарб, упаковал пишущую машинку, попрощался с Солом и ровно в десять был в Рино, в офисе у адвоката Эдвина Хилза. В далеком Нью-Йорке мне его порекомендовал Джон Уортон, обещая, что тот проведет мой развод через препоны судебной экспертизы. До Рино меня подбросил на своем пикапе хозяин мотеля, и всю дорогу я не мог оторвать взгляда от скалистых холмов, думая, что навсегда прощаюсь с ними. В глубине души оставалось сожалеть о тишине, в которой просыпался по утрам, и о красках горного пейзажа, столь непохожих на рассвете и в сумерках. Впереди меня ожидал только шум и гам — уж не совершал ли я ошибку? Отогнав эту мысль, я заклеймил себя за гордыню.

Лишенная вычурности большая приемная адвоката приятно поражала простотой. Окна выходили на гостиницу «Мейпс» на другой стороне улицы, стены были обиты дешевой клееной фанерой под красное дерево, с которой нелепо соседствовал кондиционер в окне. Перевернутая бутылка в охладителе в этот ранний час была еще полна. На кушетке, обитой черным блестящим дерматином, сидел человек — наверное, клиент, подумал я. Он равнодушно смотрел перед собой и курил. Не успел я опустить чемодан и машинку, как из кабинета появился Хилз, попросил меня подождать и снова исчез, так что я даже толком не разглядел его лица.

Над дверью, за которой он скрылся, висела голова быка с толстенными, как дымоход, рогами не менее десяти футов в длину, торчащими прямо в мою сторону. На одной из стен красовалось более двадцати почетных грамот, дипломов, разных благодарностей. Заслуги господина Хилза были отмечены не только такими организациями, как Американский легион,

Ветераны войн за рубежами Америки, Ветераны войны — католики, но и Национальной ассоциацией стрелков, организацией любителей стрельбы из пистолетов, ассоциациями фермеров, бизнесменов, Рыцарями Колумба, Орденом огнестрельного оружия и Сынами Белой Розы. Тут же висела благодарность от ассоциации «Коннозаводчики за кастрацию лошадей», а также личное послание с выражением признательности за достойную службу Отечеству невадского сенатора Пэта Маккарена (соавтора тогдашнего председателя Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Уолтера по акту Маккарена — Уолтера о высылке «замеченных в подрывной деятельности» за пределы страны), сенатора Джозефа Маккарти и члена палаты представителей Ричарда Никсона, каждого из которых господин Хилз в разное время и в разных местах потряс своим рвением в деле защиты американских ценностей. Тихим утром накануне развода я попал как раз туда, куда нужно. И даже испытал острое наслаждение от того, что несколько организаций из числа воздавших должное моему адвокату в свое время не раз бойкотировали мои пьесы. Бесплодная ирония стала своего рода причастием Америки, диетой, на которой она сидела в эту эпоху.

Опустившись на стул неподалеку от одинокого посетителя, я задумался, не хочет ли Хилз своим озабоченным видом показать, что его, как истинного патриота, не прельщает перспектива защиты моих интересов. С другой стороны, Джон Уортон отзывался о нем как о превосходном профессионале, поэтому, вполне возможно, он действительно был просто очень занят. К тому же его дожидался не я один — парень, смахивающий на богатого ковбоя, явно был из другого политического лагеря. Присмотревшись, я заметил, что он удивительно похож на Джона Уэйна — у него был такой же напряженно-агрессивный вид. Одетый по моде Западного побережья в костюм серо-сизого отлива, он был не менее шести футов ростом, под отутюженными прекрасного полотна рубашкой и дорогими брюками вырисовывались крепкие, как у кобры, мускулы. Его ботинки стоили, наверное, не меньше пятисот долларов, а мягкая серая ковбойская шляпа, покоившаяся на диване, казалось, смотрела на меня недружелюбно. Странно, но когда наши взгляды встретились, его глаза потеплели, однако я не мог позволить себе ни на минуту расслабиться в этой цитадели оголтелого национализма.

Хилз торопливо вышел из кабинета и поманил меня пальцем. Мы отошли к окну, выходившему на пустынную улочку Рино, казалось, погруженную в дрему от немилосердной

девяностоградусной[17] жары. Он не мог подавить волнения, когда начал говорить. Ему было за шестьдесят, редкие пряди волос на розовой лысине он зачесывал на правый бок, носил толстые очки без оправы, костюм в тонкую голубую полоску и узкий блестящий серебристый галстук, который был бы очень на месте, вздумай он появиться на коне на каком-нибудь ура-патриотическом параде. Во взгляде была нарочитая безмятежность, как у какого-нибудь морского ангела, проплывающего мимо маски ловца рыбы. Крепко ухватив меня за локоть большим и указательным пальцами, он прошептал так, что я едва расслышал:

— Он вас нашел?

— Кто?

— Как, неужели не нашел? — переспросил он с надеждой.

— Кого вы имеете в виду?

За толстыми линзами блеснул острый взгляд, он еще крепче впился в мой локоть.

— Вас разыскивал инспектор из Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, чтобы вручить повестку в суд.

Ожидая реакции, он замер с полуоткрытым ртом. Все прояснилось, и я облегченно вздохнул: судьба свершила свой круг, занесенный топор опустился.

— У них что, могут быть основания? — с трогательной наивностью спросил Хилз.

Ковбой в костюме серо-сизого отлива повернул голову в нашу сторону. Вопрос о моем разводе как-то сам собой перерос в вопрос о моем линчевании.

— Не знаю, трудно сказать… — начал было я, но осекся, не в силах объяснить этой путаной истории. Активность Комиссии шла на убыль, и если они годами не трогали меня, когда в политическом плане я был намного заметнее, то зачем это понадобилось сейчас, когда у меня пропал всякий интерес к политике? Исторически в этот момент мы были в тисках между грандиозным внутриполитическим походом на коммунистов и не менее «благородной» войной во Вьетнаме, грянувшей через семь лет.

— Он знает, что вы сегодня будете здесь, и сказал, что зайдет попозже.

— Ну что ж, зайдет так зайдет.

— Вы что, хотите получить повестку?

— Не понимаю, о чем вы.

Я неожиданно осознал, что Хилз настолько представляет страну своей вотчиной, что для него не обязательно выполнять законы.

— У меня здесь есть черный ход. Вы можете подождать в кабинете, я попрошу судью подойти, чтобы вам не появляться в суде. Этот человек, я думаю, будет дожидаться вас именно там.

Я никак не ожидал такого поворота событий и испытал прилив благодарности. Стало понятно, что взятые в рамку грамоты свидетельствуют не о чем ином, как о подлинно американском анархизме Хилза, к которому я в последние годы проникся уважением как к последнему противнику профашистской респектабельности. Он понял, что я пребываю в растерянности, и сказал, что пойдет позвонит и скоро вернется.

Бросив взгляд в окно, я оглядел безлюдную улочку. В голове было пусто. Усталость сковала ноги, я сел, в последний момент сообразив, что выбрал стул напротив ковбоя в костюме серо-сизого отлива. Челюсти проступали у него на лице металлическими угольниками. Он смотрел мне прямо в глаза.

— Меня зовут Карл Ройс. Я знаю, кто вы.

Не скрывая удивления, я поприветствовал его, а он, резко нагнувшись вперед, рассек разделявшее нас пространство и пожал мою руку. Его натруженная ладонь была такой задубелой, что ею можно было забивать гвозди. В углу на подставке, украшенной двуглавым орлом, я заметил огромный американский флаг, в котором почудилась угроза. В наступившей тишине оставалось ждать, пока в голове не появятся хоть какие-то мысли.

— Как вы собираетесь поступить?

Он говорил совершенно бесстрастно. Мне надо было соблюдать осторожность.

— Пока еще не решил, — увернулся я. Что ему было надо? Кто он такой?

— Надеюсь, вы не собираетесь отчитываться перед этими ублюдками.

Стало не до шуток — в его небесно-голубых глазах сверкнула ярость.

Он, наверное, заметил мое удивление. Я все еще медлил, соблюдая осторожность. Неуместная доверительность могла повлечь за собой непредсказуемые последствия.

— Я всегда был против Комиссии.

— Вы не знакомы с Дэшилом Хэмметом?

— Ну как же, знаю. Интересно, какого черта радикал вроде Хэммета мог связаться с Джоном Уэйном?

— Он был моим сержантом, когда я служил на Алеутах, и мы два года провели в одной палатке. Я обязан ему всем, что знаю.

Это известие ошеломило меня. Несколько лет назад Хэммет попал в тюрьму за отказ назвать имена тех, кто тайно финансировал организацию «Конгресс за гражданские права».

Я никогда не был близок с Хэмметом, возможно, потому, что он очень редко выступал — порою сдержанность может служить стратегией, которая заставляет людей защищаться от странно молчаливого человека с удивленно поднятыми бровями. Это была редкая личность со своим кодексом правил, которые невозможно было не уважать, и при этом он прекрасно писал. Хотя у него была репутация человека действия, я нередко задумывался, отчего он так болезненно скрытен. Казалось, все новое, что появлялось в послевоенной жизни, он воспринимал с надменной усмешкой, как будто прошлое ждало за углом и с настоящим нечего было церемониться. Как и Лилиан Хеллман, с которой он долгое время жил, Хэммет, несмотря на свои демократические взгляды, был псевдоаристократом. Но высмеивая политическую незрелость и разные оплошности Фицджеральда и Хемингуэя, он все же тяготел не столько к писателям левого крыла, сколько к ним. Его можно было понять, если вспомнить атмосферу двадцатых годов с их восторженным поклонением таланту и интересом к эксцентричным богачам. При общении бросалась в глаза его полная индифферентность к характеру человеческих отношений.

У меня сразу просветлело в голове, как только я понял, что Ройс присоединился к нашему союзу.

— Я здесь покупаю скотину, сам из Техаса, через полтора часа могу забрать вас с собою — самолет с пилотом ждет в аэропорту. У меня две тысячи акров и несколько домов, один в центре пустует. Вас там никогда не найдут. Спокойно можете переждать, пока все не уляжется. В этом доме жил Дэш, но он сглупил, поторопился уехать, и они его сцапали, а то бы никогда не попал в тюрьму. Живите там сколько угодно, может, поработаете пару месяцев. И забудьте о них.

— Боюсь, как бы не получилось, будто я скрываюсь от повестки. Они могут раздуть все во сто крат.

Но Ройс отмел мои опасения — имея несколько тысяч акров, смешно волноваться, что о тебе думают другие.

— А, бросьте, главное — не попасться им в руки. Вы для них только лакомая приманка.

В этот момент Хилз вышел из кабинета и сказал ему, что дело улажено и бумаги о покупке скота надо подписать в соседней конторе вниз по улице. Мы все вместе пошли к входной двери.

— У меня «чесна баррон», красный с белыми крыльями, а проще, спросите «чесну» Ройса. Пилота зовут Билл Сисли. Я позвоню, чтобы предупредить его. Так что решайте. Я думаю, это стоит того. Где-то через час-полтора я освобожусь. Вы можете подождать меня в самолете, там вас пальцем никто не тронет.

Идите через черный ход, — добавил Хилз. — Машина с шофером стоит внизу, я предупрежу его, и, если что, он отвезет вас в аэропорт. Судья будет минут через двадцать, я договорился, чтобы вам не идти в суд.

— Не знаю, как и быть, — пробормотал я.

Ройс сгреб мою руку, одарив открытым взглядом, в котором сквозила поддержка, повернулся и вышел.

— Дайте мне знать, как решили, — сказал Хилз на пороге своего кабинета.

Я стоял у окна, пытаясь трезво оценить ситуацию. Мое исчезновение вызовет невероятный переполох, особенно теперь, когда стало известно, что мы с Мэрилин решили пожениться, и основной удар придется по ней. Еще одна печальная страница в ее жизни, к тому же не преминут поставить под сомнение ее политическую лояльность. А как объяснить это своим детям? Однако заброшенный дом посреди огромных просторов манил покоем. Может быть, я и впрямь начал бы там писать…

Надо было размяться, тело затекло. Я подошел к лифту и вызвал его. Видно было, как ползет вверх открытая, затянутая сеткой кабина. Там кто-то был. Дверь распахнулась, человек окинул меня взглядом и направился в сторону приемной Хилза. Не успев подумать, я выпалил:

— Это не вы меня разыскиваете?

Он обернулся и подошел: приятный мужчина, на вид из пригорода, лет эдак под пятьдесят, почти моего роста, уравновешенный, в скромном хлопчатобумажном спортивном пиджаке розоватого оттенка, в широких брюках и с аккуратной модельной стрижкой. Мне показалось, у него в глазах промелькнула растерянность, как будто его застигли врасплох. Наверное, поэтому я окликнул его, вместо того чтобы спуститься вниз и улететь в Техас. Не хотелось бежать ни от самого себя, ни от кого другого, и я не позволил себе испугаться.

Переспросив, действительно ли моя фамилия Миллер, он, изо всех сил стараясь казаться вежливым, достал из нагрудного кармана какую-то бумажку, по цвету напоминавшую луковичную шелуху, и сунул ее мне. Я пробежал повестку глазами и ничего не разобрал. Он, взяв себя в руки, пригласил пойти выпить кофе. Мы оба опять стали обычными гражданами своей страны. Я согласился из любопытства, и мы спустились в подвальчик «Мейпс», небольшое кафе напротив. Он представился: Уильямс Уилер. Его имя прозвучало как гром среди ясного неба. Мне доводилось читать об этом дьявольски искушенном следователе, прославившемся своими успехами на поприще спасения заблудших киношников. Интересно было узнать, как

обрабатывают своих подопечных такие профессионалы. К этому, наверное, прибавилась потребность ощутить реальность происходящего и выйти из состояния отрешенности, увидев в качестве палача не просто обрывок бумаги, а нечто более существенное.

Обменявшись несколькими нарочито незначительными фразами о погоде и об особенностях местного общества, в котором преобладали заядлые почитатели азартных игр, к чему он относился крайне неодобрительно, Уилер сказал:

— Мне бы хотелось поговорить с вами. Но так, чтобы это осталось между нами.

Я молча кивнул, давая согласие.

— Кстати, — как бы невзначай обронил он, будто эта мысль только что пришла ему в голову, хотя сыграл не очень удачно, — мы близкие друзья с Ли Коббом. Не встречаетесь с ним?

— Нет, он, если не ошибаюсь, живет в Калифорнии.

— Это я так, к слову. Он от вас без ума.

По-видимому, это была одна из его искусных уловок, чтобы выведать мое отношение к Ли, который три года назад дал показания в Комиссии, совершив нечто достойное сожаления. Уилер, наверное, ждал, что, насупив брови, я ринусь осуждать это предательство. Но Ли действительно оказался здесь к слову — главное, как поведу себя в Комиссии я — буду покладистой лошадкой или начну сотрясать ее основы. Было приятно, что я не дал Уилеру ответа с первых же фраз. Дело в том, что о своем первом Вилли Ломене я думал не как о негодяе, а как о несчастной жертве. Большой, неуклюжий, он был актером, а не героем, что лишний раз подтверждало бессмысленную жестокость Комиссии по отношению к артистам. В политическом отношении Ли Кобб, одна из бесчисленных пылинок, в тридцатые годы увлеченных вихрем всеобщей идеализации Советов, спровоцированной на Западе Великой депрессией, был не активнее подметки моего башмака.

— Что вы думаете о нем как об актере?

— Это был мой любимый Вилли Ломен.

Похвала, казалось, удивила его — он, наверное, ждал морального осуждения доносчика, а я решил воскурить ему фимиам и добавил:

— Он первый, кому я предложил сыграть Эдди Карбоне в «Виде с моста».

Уилер был явно сконфужен и не мог скрыть этого, что заметно разочаровало меня в его талантах. Неужели этот утонченный профессионал и есть тот Свенгали, который обратил в свою веру столько актеров и режиссеров?

— Я ничего не слышал об этом, — весьма скептично заметил он.

— Вы можете справиться у его агента.

— Это было официальное предложение?

— Ну конечно.

— И вы лично разговаривали с ним?

— Нет, через Блумгардена, который связался с его агентом. Дело в том, — продолжал я, — что никто не может сыграть Эдди Карбоне так, как он. А поскольку я не верю ни в какие черные списки, даже когда это касается тех, с кем я расхожусь во взглядах, то попросил Блумгардена официально переговорить с ним. К тому же Мартин Ритт тоже не возражал, — добавил я, думая, что он знает, как негодовал Ритт, когда его давний товарищ дал показания в Комиссии.

Уилер промолчал. Похоже, он не знал, что сказать.

— Я представлял вас совсем другим, — выдавил он из себя.

— Вы можете справиться об этом у агента Ли.

— Он был бы очень хорош в этой роли.

— О чем речь. Да он и сам очень хотел сыграть. Его агент передал Блумгардену, что Ли боится участвовать в моих пьесах, чтобы ребята из Американского легиона снова не прижали его.

Вряд ли стоило напоминать Уилеру, что «Вид с моста» — пьеса о человеке, который выдал иммиграционным властям своих родных. Не знаю, может быть, это прозвучит цинично, но я подумал, что Ли теперь намного лучше сыграл бы загнанного жизнью в тупик грузчика — перевоплощение было бы не только результатом сознательного погружения в образ.

— Если вам захочется встретиться со мной еще раз, — сказал Уилер, — я к вашим услугам. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

— Все, что будет необходимо, я передам через своих адвокатов.

— Понятно. — Он хотел что-то добавить, но передумал. — Ну что ж, прощайте. Иными словами, Комиссия сама с вами разберется.

Мы встали из-за стола, и я попрощался с ним без улыбки. Он вышел в холл, где, несмотря на ранний час, уже вовсю работали игральные автоматы. Смешно, но, наблюдая, как он растворился в толпе, я поймал себя на том, что хочу понять, зачем он приезжал в Рино, было ли это его личным желанием или он в очередной раз прокатился из Лос-Анджелеса за государственный счет, чтобы по возвращении набросать небольшой отчет и со спокойным сердцем отправиться играть в гольф. Однако не все так измельчали. Люди не могут жить без веры. Я помню, во время нашей краткой беседы ни слова не было о том, что я нарушил какие-то законы. Речь шла

о публичном покаянии: я должен был выказать раболепие перед государством — единственным истинным богом этого века, повинившись, что в прошлом меня посещали тайные мысли и я встречался с близкими по духу писателями, раздумывая над идеей социализма, или, скорее, братства людей, правда весьма туманно и неясно представляя средства для его осуществления. Все это было далеким прошлым, в Америке от левых не осталось и следа, поэтому не имело смысла сохранять лояльность или проявлять негативизм. Все ушло, кроме высоких порывов молодости, которым, несмотря на их полную несостоятельность, нельзя было отказать в благородстве. И вот теперь надо было их предать, дезавуировать, посмеяться над ними. Твердо зная, что тот марксизм, который я исповедовал, для меня уже неприемлем, я проявлял скорее моральную, чем политическую солидарность с теми, кто не преуспел в жизни, и, отрицая власть в противовес прагматическому стремлению к ней, искупал свою вину. Точно так же, как через несколько дней после успешной премьеры «Вида с моста» я устроился через бюро по найму чернорабочим, не выдержав этого и недели, я время от времени окунался в жизнь различных политических партий, пребывая в них до тех пор, пока не убеждался в полной несостоятельности подобной деятельности. По счастью, к 1956 году я умерил свои притязания на разрешение всех конфликтов в уравнительном ключе и от проблем морального и политического преобразования общества вернулся к застарелому конфликту с братом и неграмотным отцом, метафорического отмщения которого за победы можно было избежать, только если встать в ряд с последним гражданином страны, ежедневно в поте лица зарабатывавшим славу и честь, которые мне даровало творчество.

Через двадцать два года мне довелось услышать свою собственную историю из уст китайских писателей, которые прошли ссылку. Их страдания нельзя было сравнить с моими, однако пережитое помогло понять, что выпало на их долю.

В Нью-Йорк я летел в полупустом самолете и, вытянув ноги, занял несколько кресел. Теперь можно было дать волю своему страху, но не столько относительно ближайшего будущего, сколько относительно необходимости отстаивать в суде собственную благонадежность, хотя я не очень хорошо понимал, что это такое. Наступил один из тех моментов, когда прошлое наплывает обрывками нерешенных и неразрешимых проблем. Может быть, я конформист, а вовсе не радикал, который боится, что сопутствующий левым успех может поставить их авторитет под сомнение, показав, что в американской жизни все же осталось

какое-то здравое начало. Так, я давно понял, почему коммунисты не приняли «Смерть коммивояжера» и «Всех моих сыновей». Успех пьес, исполненных критического заряда, ставил под сомнение тайное заклятие, будто американский театр не допускает социально значимых постановок. Правдивое повествование о жизни обречено на неуспех. Левые жили в преддверии второго пришествия, что создавало убаюкивающую атмосферу для пассивного моралиста, которому достаточно было познать истину, чтобы спастись, — эта дилемма стара, как теология Павла, и искусительна, как оправдание верой. Будучи художником, я знал, что созидание требует движения вперед, наступления на нерадивый сон мирового разума. Вся моя жизнь была борьбой между действием и бездействием, творчеством и отчужденной созерцательностью. Летя в Нью-Йорк, я в самолете записал сон, который мне привиделся за несколько лет до этого: я смотрю в театре свой собственный спектакль и неожиданно замечаю, что лица зрителей безжизненны, как сама смерть. Оглянувшись, я вижу, что здесь родные, друзья, все, кого довелось встретить, и кричу: «Боже, я ведь их всех убил!» Как будто для того, чтобы запечатлеть чей-то образ, у живого человека надо похитить дух. И в то же время испытываю чувство недозволенной радости, ибо, нарушив волю Господню, сотворил свой мир.

Вспомнилось, как по окончании Мичиганского университета я в течение шести месяцев работал в Бюро по театрам при Комиссии по социальному обеспечению, где в 1939 году сотрудничали до сорока — пятидесяти драматургов, за двадцать два доллара и семьдесят семь центов в неделю переделывавшие пьесы. Большинство из них, на мой взгляд, были скверные и совершенно непрофессиональные специалисты — я действительно никогда не слышал ни одного из этих имен после того, как Бюро в преддверии войны было закрыто. Не признаваясь, насколько далек от этой малоталантливой плеяды, я считал себя жертвой коммерциализованного Бродвея с его презрением к подлинному искусству, полагая, что те из драматургов, кто обладал хоть малой толикой одаренности, были просто слишком ленивы, чтобы по-настоящему использовать свой талант, и предпочитали обвинять систему в неряшливости и неотделанности собственного письма. В конце концов все упиралось в то, что я всегда жил с верой — стоящий человек пробьется, будь то капитализм или некапитализм.

Однако повестка в кармане была слишком грубым инструментом, чтобы допустить возможность тонких нюансов. Защищая себя, я должен был загнать Комиссию в тупик. Ситуация, в которой я, давно потеряв последнюю йоту доверия к

советской системе, все равно должен был выглядеть просоветским, и больше того — что было особенно неприятно и болезненно для меня, — примириться с тем, что общество оказалось наводнено творческими посредственностями и неудачниками, сентиментальными бездельниками от левой литературы, с которыми я когда-то навечно размежевался. У меня, конечно, не было ни малейшего сомнения, что я не назову Комиссии ни одного имени, имея в виду писателей-коммунистов. Это не касалось никого, кроме меня самого; я имел все основания подчиниться моде того времени, за исключением одного немаловажного обстоятельства: я просто не мог поверить, что хоть кто-то из тех, кого знал, представлял угрозу демократии в Америке. Я смотрел на американских коммунистов как на секту людей, которые с таким же успехом могли молиться где-нибудь в Гималаях, столь ничтожно было их влияние на американскую жизнь. Но мне лично они не причинили никакого вреда, и меня не снедала жажда мести или потребность в громком разрыве с теми, кто был просто непоследователен, с людьми, купившими лотерейный билет и теперь бесцельно слонявшимися по платформе в ожидании поезда под названием «Искупление».

Однако как довести это до сознания страны, особенно такой растревоженной и в высшей степени самодовольной, — мне было неясно. Я был уверен, что провал «Воспоминания о двух понедельниках» и «Вида с моста» отчасти был обусловлен тем, что я показал нужду, доходившую до отчаяния. Как всегда, Америка отрицала свои невзгоды, у нее не было памяти. Такая же нечленораздельность отличала диалог шестидесятников с равнодушным молодым поколением, которому они, современники войны во Вьетнаме, не могли передать своего ощущения наступившего катаклизма. Маклиш был прав: Америка — это упование, какой смысл был говорить о том, что оказалось невыполненным.

Вдобавок новости о грядущей свадьбе стали достоянием общественности. Иначе зачем бы Уилер приехал в Неваду, если не убедиться, что от этой шумихи перепадет и Комиссии, позарез нуждавшейся в рекламе в опасное время отлива.

Бывает, от страха вдруг успокаиваешься. Поскольку я был обречен, то за Мэрилин волновался больше, чем за себя. Все представлялось таким нереальным и несерьезным, что смятение отступало. Рядом со мной теперь сидел в своем роскошном ковбойском наряде серо-сизого отлива Карл Ройс. Он, наверное, к этому времени уже приземлился у себя в Техасе, но его здравый мужской скептицизм, чисто американский благословенный анархизм души теперь жили во мне. Откуда-то из глубины,

возможно, из нашего двухтысячелетнего опыта обитания на краю бездны, я унаследовал спасительную способность замирать перед лицом опасности и теперь полностью доверился инерции земли. В конце концов, я был американцем, аборигеном неизведанного острова, общества «подъемов и спадов». Кто знает? Может быть, впереди ожидало что-то хорошее? Или все-таки стоило взглянуть реальности в лицо и улететь в Техас?

Перефразируя слова Уинстона Черчилля о немцах, пресса, писавшая о Мэрилин Монро, была либо у ее ног, либо у горла. Газеты вроде нью-йоркской «Дейли ньюс», в те времена пребывавшей в ультраправом угаре, были возмущены моим появлением на сцене, но, даже если оставить в стороне этот неблаговидный ляпсус, они не могли простить ей, что распадалась, по их мнению, образцовая американская пара, которую она составляла с Джо ди Маджо. Таким образом, после ее возвращения со съемок «Автобусной остановки» развернулась кампания с тем, чтобы заклеймить ее и дезавуировать ее красоту, тем более что она, как никогда раньше, была близка осуществить свою мечту сниматься с Оливье. Вместо того чтобы пополнить список выбившихся в люди бесчисленных восходящих звезд с претензиями на подлинную одаренность, она вскоре после нашей свадьбы улетела в Англию, на съемки фильма «Принц и хористка», и с этим нельзя было не считаться.

Мы временно снимали квартиру на Саттон-Плейс, где каждое утро с восьми у подъезда собиралась толпа фотокорреспондентов. Поначалу я было решил, что это дань ее невероятной популярности, но после того, как нам обоим пришлось тут же на тротуаре устроить импровизированную пресс-конференцию в надежде, что они успокоятся и исчезнут, репортеры из «Ньюс» и «Пост», в те времена стоявших на либеральных позициях, стали поджидать нас каждое утро с первыми лучами солнца. Зачем? — недоумевали мы. Ответ пришел сам собой, когда однажды утром Мэрилин, заметив их в холле, вернулась и спустилась в цокольный этаж, чтобы выйти через черный ход. Она была без косметики, одета в свитер, который был ей великоват, на голове платочек в горошек, завязанный под подбородок, как будто у нее болит зуб, — костюм, в котором она нередко ездила к своему психоаналитику, чтобы оставаться незамеченной, когда приходилось добираться через весь город.

В своем рвении представители прессы догнали ее на улице, окружили около какой-то мусорной свалки и сфотографировали, получив тот самый снимок, которого дожидались не один день. Причем «Ньюс» отдала под него всю первую полосу газеты. Вот

она, так называемая красавица, которую боготворит вся Америка, непричесанная, с опухшими глазами, угрожающе замахивается на читателя, как помешанная нищенка, грязно ругающаяся где-то на свалке на ни в чем не повинного прохожего. Спустя шесть лет те же газеты посвятили ей целый номер, скорбя о ее кончине.

Так получилось, что моя судьба еще раз загадочно переплелась с «XX век Фокс»: накануне моего отлета в Вашингтон к нам в гости неожиданно пожаловал Спайрос Скурас, пытаясь уговорить меня сотрудничать с Комиссией. Он позвонил из Голливуда, попросив у Мэрилин разрешения заглянуть, когда будет в Нью-Йорке. Было понятно, что президент «XX век Фокс» не принадлежит к числу любителей летать в гости на самолете, во всяком случае для того, чтобы увидеться с Мэрилин, когда его кинокомпания не утрясла своих отношений с ней. Ему надо было уговорить меня избежать грядущего тюремного заключения за оскорбление Конгресса. Сам по себе я не интересовал его, однако, если бы слухи о нашем браке подтвердились, ура-патриотические силы могли бы начать кампанию пикетирования фильмов с ее участием. Таковы были времена. Если его звонок и удивил, то, наверное, тем, что не раздался раньше. Было известно, что ему удалось уломать немало актеров и режиссеров, пуская в ход беспроигрышный набор средств — убежденность, отеческую заботливость и обычную в шоу-бизнесе угрозу плохой рекламы.

Поговорив с ним по телефону, она вернулась ко мне и, поняв по моему виду, что имя Скураса не вызвало особого энтузиазма, скороговоркой выпалила, что просит меня не отказывать ему. Это уже было забавно.

Мэрилин относилась к нему по-разному, то обижалась, то ненавидела, то отзывалась тепло, как о единственном друге на киностудии. И хотя ее возмущало, что он не оказывал ей должного внимания, как звезде той величины, какой она к тому времени, без сомнения, стала, — не давал лучших гримерных, не согласовывал выбор оператора, режиссера, отказывая в особом положении как любимице публики, — он все-таки подкупал ее тем, что беспрестанно повторял, порою со слезой во взоре, что она ему дороже, чем обожаемая дочь. Она была уверена, что актрисой номер один на «XX век Фокс» он отказывался признать ее лишь из простого упрямства.

Кинокомпания настаивала, чтобы она работала по старому контракту с оплатой сто пятьдесят тысяч долларов за фильм — малая толика ее рыночной стоимости даже в те времена. Эта цифра была установлена задолго до того, как сложился ее феноменальный культ и доходы от фильмов с ее участием взмыли

вверх. Но несмотря ни на что, из нее как будто выпускали пар, когда Скурас брал ее за руку и говорил: «Ты моя дочка». Меня радовало, когда она теплела к нему душой: мы собирались пожениться, и я приветствовал любые добрые проявления в отношении ее, только бы ее ничто не огорчало. Во всяком случае, как разговаривать со Скурасом, касалось только меня. Тут не возникало сомнений, хотя его визит увеличивал опасение, как бы мое публичное осуждение не отразилось на ее карьере.

Спайрос Скурас, как я убедился, мог быть угрем, но оставался неплохим человеком, ибо лавировал так, что его нельзя было воспринимать всерьез. Его позиция не вызывала сомнений. Он всегда стоял рядом с властью. И если пламенно произносил высокопарные речи о чести, сострадании, правде, то делал это в средиземноморской, просто античной традиции с избытком красноречия, в котором утопали все значительные события жизни вроде обручения или рождения, особенно если это были мальчики, а также самые невероятные предательства, без которых время от времени не обходится ни одна власть. Я встречался со Скурасом несколько раз, но только однажды видел его во всем блеске витийства, и это невозможно было забыть.

Как-то днем за пять лет до этого я столкнулся с Казаном в нескольких ярдах от административного здания «XX век Фокс» на 46-й улице, куда он шел к Скурасу. И пригласил меня зайти вместе с ним. У меня не было особых дел, и я согласился. Казан только начинал карьеру кинорежиссера и относился к этой работе с восторгом. Грек Скурас был его другом, боссом и крестным отцом.

Кабинет Скураса был размером с корт для сквоша, где на фоне стены, полностью занятой картой мира, возвышался похожий на гроб рабочий стол. Латинская Америка занимала на карте около десяти футов в длину, остальные континенты соответственно, все в больших красных звездах, там, где у Фокса были свои офисы. На столе одиноко стояла низкая статуэтка бежевого мрамора в стиле барокко, из которой торчали золотая ручка и карандаш.

На подушечке около стола сидел Джордж Джессел, которому тогда было за пятьдесят. Он радостно поприветствовал нас с Казаном, при этом страстно обхватывая каждого за плечи. Небрежным жестом Скурас предложил нам сесть на бежевые диванчики. С их глубоких низких подушек почти невозможно было подняться. Сидя за столом, он неожиданно, без всяких видимых причин разразился тирадой против Франклина Рузвельта, который шесть лет как умер. Причем говорил надсадным голосом, как будто обращался сразу к тысячам людей.

Хлопая для вящей убедительности ладонью по мраморной доске стола, демонстративно откидывая назад голову, а то и потрясая, похоже, в виде реприманда пальцем перед Казаном, он говорил о последнем президенте как о человеке, лишенном чести, благородства, отваги.

— Он был невыносим! — неожиданно подал голос Джессел со своей подушечки около стола.

— Не то что невыносим, а просто черт знает что, сукин сын!

— Ублюдок, — подтвердил Джессел, сердито покачав головой, и бросил взгляд на нас с Казаном, как будто против этого гнусного злодея надо было срочно принимать меры. — Я тебе такого могу понарассказать, Спайрос, что у тебя…

— Да что ты знаешь! Вот я расскажу.

— Я знаю, что ты знаешь, Спайрос, но я однажды оказался в Де-Муанее, когда он…

— Не надо никаких твоих Де-Муанеев, — гневно оборвал Скурас. — Этот человек запродал Сталину мильон наших. Это был сталинский агент! Как пить дать. — И он хватанул по столу.

— Да что агент, бери круче! — взвизгнул Джессел, явно накручивая самого себя.

Потом, не меняя тона или интонации, Скурас, гордо откинув голову, объявил:

— Если бы не Франклин Рузвельт, революция в Соединенных Штатах произошла бы гораздо раньше. Он просто спас Америку.

— Верно, черт побери! — закричал Джессел, так же, не моргнув глазом, сменив тему. — Боже, — начал он развивать эту мысль в жалостливом ключе, — ведь люди голодали, умирали на улицах…

Скурас впал в восхваление Рузвельта, произнося панегирик, достойный надгробного слова; у Джессела заблестели на глазах слезы, и он, кивнув головой, добавил несколько теплых слов о безупречных качествах умершего президента, его юморе и великодушии. Потребовалось несколько недель, прежде чем я понял, что Скурас разыграл этот спектакль, дабы показать Казану, а может быть, и мне, что его могущество столь велико, что он может противоречить самому себе, ни на йоту не потеряв при этом власти над нами. Это был неповоротливый морж на берегу, с радостным ревом возвещавший солнцу о том, что он радуется жизни.

Когда я открыл дверь, чтобы впустить Скураса, то увидел старого утомленного человека. Возможно, он перед этим хватанул лишнего. Вяло пожал мне руку и скользнул взглядом по моему лицу без обычного энергичного напора, как будто не возлагал на вечер особых надежд. Этот лысый человек со впалой грудью и

толстой шеей стоял, слегка отбросив тело назад, с прямой спиной и прижатым, как у боксера, подбородком. Он умел расплыться в улыбке, в то время как его глаза напряженно искали признаков враждебности. Мэрилин тут же вышла в прихожую, они обнялись, да так, что у него едва слезы не навернулись, возможно, от того, сколько ему пришлось ей отказывать. «Об'жаемая, об'жаемая», — повторял он с закрытыми глазами, уткнувшись носом в ее волосы.

Она растрогалась, просто на удивление. Я еще не знал, что пожилые люди пробуждают в ней глубокую уверенность в ее силах, которая переходит в жалость и даже любовь. Ее присутствие порой доводило пожилых мужчин до физической дрожи, и это вселяло в нее больше уверенности, чем набитый деньгами кошелек или рукоплещущий театр. Поднеся ее руку к губам, Скурас подвел Мэрилин к дивану и уселся рядом с ней. Она тут же вскочила, настояв, чтобы он выпил коньяку, который ему, несмотря на астматические протесты, пришлось пригубить. Потом она снова уселась рядом с ним, высоко подняв колени, и не сводила с него глаз, лишь верхняя губка иногда вздрагивала, как у взнузданной лошади, — гордый тик выдержки и самообладания. Он не мог не отреагировать на ее красоту, когда она сидела в бежевой сатиновой кофточке с высоким байроновским воротничком, узкой белой юбке и сверкающих белизной роскошной кожи туфельках-шпильках. Он не видел ее несколько месяцев, достаточное время, чтобы забыть то властное воздействие, которое, казалось, производила ее красота.

Пристроившись с краю, как неуклюжий цирковой медведь, он все время сползал с диванной подушки, в то же время почти с юношеской очаровательной хрипотцой рассказывая о болезнях и смертях общих голливудских знакомых, о проблемах, связанных с его собственным владением в Райе, и переменах в жизни дочери. Мэрилин была в восторге, просто счастлива, отдавшись, как она это умела, на волю чувств и почти не обращая внимания на враждебный или благожелательный смысл его речей, ибо только в чувстве таилась правда. Невероятно, но он начал уговаривать ее отказаться от своей собственной кинокомпании и вернуться в «XX век Фокс», хотя все было давно оговорено в контракте годовой давности. Но она уловила происшедшую перемену — он приехал сказать что-то такое, что ему выговорить было непросто, и это хождение вокруг да около, сколь ни казалось абсурдным, свидетельствовало об особом почтении, что заставляло ее вслушиваться и реагировать на его слова так, как будто он говорил о чем-то дельном.

— Все к ч'рту, д'рогая, я пекусь только о тебе лично. Не могу вспомнить, как нек't'рые об'рщались с тобой в последние годы.

К’нечно, я не могу г’рить за весь «ХХ век Фокс», я только пр’зидент, но это от чистого сердца, обещаю, ты будешь снова счастлива у нас. Я с’ер’шенно серьезно, Мэрилин, крошка, ты с’вершаешь большую ошибку, вернись к нам. Кроме нас, у тебя никого нету. Мы т’бе и папа и мама. — И все в таком духе, подобно рыбе, которая выделяет щелочь, прежде чем метать икру в кислых водах. Теперь он перешел к храму, который соорудил в Лос-Анджелесе для греческой православной церкви, — гордость всей его жизни. Можно было не принимать Спайроса, но ему нельзя было не симпатизировать, хотя бы за ту наивность, с которой он жонглировал правдой, вернее, делал ставку не на холодный расчет, а упирая на эмоции. Он всегда подразумевал то, что говорил, в тот момент, когда говорил это. Как бы ненароком взяв Мэрилин за руку, он доверительно, как говорят очень близкие люди, спросил:

— Ты влюблена, моя крошка?

От переизбытка чувств у нее, казалось, перехватило дыхание, и она согласно кивнула.

— Ты уверена?

Испытывая некое чувство вины, она посмотрела ему прямо в глаза — человеку, который знал историю ее жизни насквозь, — и еще раз кивнула.

— Да благ’словит тебя Г’сподь, моя куколка, — сказал он, возложив на нее руку с отеческим благословением. Если это брак по любви, и притом действительно брак, то он никак не мог совершиться без вмешательства свыше и пора было кончать этот балаган. Скурас, покачиваясь и что-то старательно соображая, сидел, внимательно изучая свой небольшой черный ботинок на ковре. Обернувшись ко мне, он произнес:

— Бл’гсл’ит тебя Г’сподь. Арт’р, детка, я знаю, ты хороший человек и будешь как следует заботиться об этой малышке. Она мне как дочка родная, клянусь Богом.

Удостоверившись, что все серьезно, он осознал, что над его киностудией сгустились мрачные тучи. Она должна была сняться у них в двух картинах, прежде чем они предоставят ей полную свободу, и замужество было совсем ни к чему, ибо разрушало образ сексуально доступной героини, а брак со мной в такой ситуации был вообще сплошное несчастье.

Он вздохнул:

— Арт’р, я могу надеяться, что ты не ввяжешься в эту идиотскую историю с Комиссией?

У меня не было оснований сомневаться, что он в точности передаст каждое мое слово, поэтому я пожал плечами и пробормотал нечто вроде того, что поступлю, как сочту нужным.

Он окончательно протрезвел и внимательно посмотрел на меня.

— Я хорошо знаю этих конгрессменов, Арт'р, мы с ними добрые друзья. Это неплохие ребята, они вполне могут понять. Лично я думаю, Арт'р, что они пригласят тебя на закрытое заседание без свидетелей, понимаешь? Кому надо, чтобы все это было прилюдно. Вообще, если надо, скажи.

На языке того времени это означало, что меня будут допрашивать не на открытом заседании, а при закрытых дверях, и тогда вопреки правилам мне не придется публично благодарить Комиссию, что она вернула меня в лоно Америки, — в принципе всего лишь за то, что, спасая себя, назову чьи-то имена.

— Я вообще против этой Комиссии, Спайрос. Какая тут может быть благодарность?

Перебив меня, он пробурчал что-то невнятное, я расслышал слово «Сократ», а потом он спросил:

— Ты наверняка читал его книги?

— Сократ! Сократа, Спайрос, приговорила к смерти точно такая же комиссия…

— Да, но ему хватило мужества сказать, что он думает, Арт'р.

На мгновение эта мысль ошеломила меня, пока я не понял, что он предлагает мне использовать слушание, чтобы открыто признать мои расхождения с левыми либералами. Своего рода атака с моей стороны, которая полностью передаст инициативу в руки Комиссии. В какой-то мере мне предлагалось сделать то, к чему принудили Одетса, заставив сожалеть об этом до последних дней жизни.

— Мне не нужна сенатская Комиссия, чтобы раскритиковать левых, Спайрос. Я вполне могу справиться с ними безо всяких помощников.

В глубине души я возблагодарил небеса, что работаю в театре, где не было черных списков. Будь я сценаристом, мне бы пришлось распрощаться с карьерой.

Поднявшись с дивана, он воздел указательный палец к потолку и постарался сделать вид, что сжигаем гневным осуждением, но, так как все было не впервой, его речь была лишена подлинного пафоса.

— Сталин, — завелся он, — распял греч'ский народ, Арт'р. Я знаю, о чем говорю! Греч'ская коммунистическая партия развязала гражданскую войну, пытки, убийства.

И он начал в сжатом виде излагать послевоенную политическую катастрофу Греции с ее конфликтами между правыми и левыми, во всем обвинив последних и все хорошее приписав первым. Но даже если бы я и знал в те времена о

жестокости левых, это не изменило бы моего взгляда на проблему, которая в 1956 году стояла в центре событий: Комиссия попирала основные права американского народа, и с этим никак нельзя было смириться.

— Давай больше не будем на эту тему, Спайрос, я все равно не смогу это сделать. Мне несимпатичны эти ребята.

Не помню, что тогда привело меня в ярость и послужило спусковым крючком, но в его напористости было нечто, что заставило меня почувствовать, будто он загнал меня в угол. Вроде как пытался установить контроль над моей работой, а это было невыносимо. Я успел произнести одно или два предложения, как он все понял и, воздев руки вверх, пошел к своему плащу, переброшенному через спинку стула, пробормотав как это ни прозвучало невероятно: «Вот ты и есть Сократ». Он еще раз обнял Мэрилин, но теперь уже действительно печально, и я пошел проводить его до лифта. Когда двери открылись, он снова был полусонным существом, и последний взгляд, который он бросил на меня, прежде чем его глаза снова закрылись, был рассеянным, будто я случайный прохожий, повстречавшийся ему в коридоре, а он был не из тех, кто тратит эмоции впустую.

Когда я вернулся, Мэрилин потягивала виски, пребывая в некоторой неуверенности. Я почувствовал, что он растрогал ее, не столько доводами, сколько сочувствием, ибо в каком-то совершенно невероятном смысле действительно заботился о ней. Через несколько лет Скурас пригласил ее за главный столик, когда Никита Хрущев был в гостях на его киностудии, и представил ее как величайшую кинозвезду. Советский руководитель не скрывал, что очарован ею, и тоже понравился ей своей открытостью. Спайрос не преминул тогда в тысячный раз поведать эпическую историю о том, как они с братьями приехали в Америку, прихватив с собой несколько ковров, их единственный капитал. А теперь он стал президентом «XX век Фокс». Такова Америка, где у каждого есть свой шанс. На что Хрущев, поднявшись, парировал, что он, сын бедного шахтера, теперь стоит во главе всего Советского Союза. Мэрилин пришла в восторг от его ответа: Хрущев, как и она, был человеком со странностями.

Мы с мамой и Мэрилин сидели на скамеечке на станции Пен в ожидании вашингтонского поезда. Меня беспокоило, что поездка может стоить слишком дорого. Одних только официальных штрафов предстояло выплатить несколько тысяч долларов — б*о*льшую часть этих денег мне ссудили мои адвокаты и друзья, работавшие в конторах у Поля, Вейса, Уортона и

Гаррисона. Мэрилин вела себя очень светски и независимо. Глядя на нее, я тоже старался держаться, поэтому мы оба вели себя неестественно, скрывая грусть, что часу не принадлежали друг другу с тех пор, как решили пожениться. Я вдруг возненавидел себя за то, что вверг ее в эту беду. Мама тоже изо всех сил старалась показать, что ничего не происходит, и обсуждала с Мэрилин ее наряды, отчего, я думаю, могла показаться ей бесчувственной. С пожилыми женщинами у Мэрилин складывались сложные и неустойчивые отношения: она то сентиментально боготворила, то по-черному подозревала их, улавливая недоверие к себе. К маме она относилась с нежностью, но сейчас между ними пробежала кошка и возникло какое-то глубокое темное раздражение. Однако, обернувшись с подножки вагона, чтобы помахать, я увидел их стоящими рука об руку, как неразлучная пара. Мэрилин помахала в ответ, придерживая высоко поднятый воротничок норкового пальто, чтобы защититься от зевак, готовых тут же превратиться в толпу. Ее жест напомнил о нашем стремлении уцелеть, существуя в двух непересекающихся плоскостях, — она могла быть серьезной, только когда принадлежала себе. Стоило ей попасть в фокус чьего-то внимания, она тут же начинала смеяться — этакая счастливая беззаботная блондинка.

В ожидании обеда мы пили аперитив в гостиной у Раухов в Вашингтоне, когда Оли, жена Джо, позвала его к телефону. Вернувшись, он рассмеялся задорнее, чем обычно. Гигант огромных размеров, он выглядел еще крупнее и выше из-за того, что носил галстук-бабочку. Джо Раух как адвокат, обладавший несомненными бойцовскими качествами, в свое время возглавлял организацию «Американцы в защиту демократии», своего рода либеральное лобби, куда входили такие люди, как Губерт Хэмфри и Эдлай Стивенсон. Джо — антикоммунист только потому, что страстно любит демократию. Идеология и даже философия интересуют его постольку, поскольку способствуют защите прав человека или пренебрегают ими. Он сторонник расширения американского влияния за рубежом, однако без двойственного подхода к «нашим» и просоветским диктаторам в отличие от тех, кто закрывает глаза на преступления одних и раздувает истерию по поводу других. Он непоколебимо верит в Билль о правах как гарантию демократических основ американского образа жизни. В его конторе по защите общественных интересов существует специальный отдел, где можно увидеть, сколько он потерял, пренебрегая коммерческой практикой.

Теперь он рухнул на обтянутый мебельным ситцем стул и,

стараясь придать лицу серьезное выражение, сказал: «А что, если тебе завтра вообще не ходить ни в какую Комиссию?» И поведал, что только что звонил некий Фрэнсис Уолтер из Пенсильвании, член Палаты представителей, который завтра будет председательствовать в Комиссии, и предложил все отменить, если Мэрилин согласна обменяться с ним перед камерой рукопожатием.

Я рассмеялся, ибо, не знаю почему, не воспринял это всерьез. Хотя мог бы избежать многих печалей. Мы грустно покачали головами — насколько все в политике незатейливо. Прямо как в шоу-бизнесе — все не важно, была бы реклама.

Как бывает после приступа ярости, мне трудно собрать воедино впечатления от заседаний Комиссии.

Помню стоявший за спинами ее членов свернутый в трубочку американский флаг. Сидя на возвышении, они взирали на нас, меня, Джо и Ллойда Гаррисона, адвоката с патрицианским взглядом, восседавшего позади. Это не ускользнуло от председательствующего Уолтера. Флаг здесь скорее подбадривал, чем пугал, как было в Неваде. Будь это другой флаг в другой стране, по тому же самому обвинению мне могли вынести смертный приговор.

Помню, на столе лежала кипа бумаг. Обвинитель Ричард Аренс брал их одну за другой и зачитывал обращения, подписанные мною давным-давно — казалось, в другой жизни (протесты, требования освободить, воззвания к дружбе с Советами — по настоянию Джо все это в том же порядке передавалось ему). При этом он оглашал подписи, в том числе и госпожи Рузвельт. Помню, я ужаснулся, не собирается ли Аренс зачитывать все подряд, каждую бумагу сопровождая вопросом «Вы это подписывали?». Да, конечно, я все подписывал, а после того как процедура повторилась с дюжину раз, стал отвечать «да» прежде, чем он успевал прочесть документ.

Через несколько лет мне довелось узнать, что позже Аренса выгнали, ибо оказалось, что он связан с расистской организацией, где выступал в роли советника, памфлетиста и эксперта по вопросам генетической неполноценности черных. Я не удивился этому. Невысокий бритоголовый мужлан с квадратными боксерскими челюстями выглядел так, как будто жизнь по всем статьям обманула его. Говорили, что, будучи холостяком, он разводил цветы и имел прекрасный сад во внутреннем дворике у себя в Вашингтоне.

Помню охватившее меня ощущение пустоты, когда я принимал из его рук для опознания когда-то подписанные мною

протесты. Помню удивление — сколь ничтожно мало я оказался способен повлиять на собственную судьбу. Я едва мог припомнить большинство тех организаций, в поддержку которых выступал, не говоря о причинах, побудивших меня к этому. Но хуже всего, что, несмотря на сочувствие Аренса к моей биографии, я не мог ни о чем говорить всерьез, даже если бы это было позволено. Когда-то я действительно страстно верил, что марксизм олицетворяет надежду человечества и торжество разума как такового, — это позволило выстоять в изнурительной борьбе с проявлением человеческой ничтожности, в том числе моей собственной. Даже если бы мне сейчас показали мою подпись на несуществующем партийном билете, я бы ответил «да», ибо тогда, как большинство людей моего поколения, в тот день и час, неистово верил, что только так можно выстоять против фашизма внутри страны и за ее пределами. В романах, пьесах о героизме участников гражданской войны в Испании, о позабытых бойцах немецкого Сопротивления — своего рода литургии по всему левому крылу тех лет — быть красным означало держать в объятиях надежду, которая на деле оказалась опасно лживой. Но тогда у нас не было никаких сомнений. Все изменилось после моей поездки в Советский Союз, а также в Восточную Европу и Китай. Как ни парадоксально, в основе марксизма лежит глубоко пассивное отношение к истории, ибо отрицается роль индивидуума и все права отдаются коллективу. Поэтому личность оказывается не защищенной перед лицом государства, как набожный верующий перед лицом Господа. В дореволюционном сознании пассивность объясняется верой в наступление Судного дня независимо от человеческой воли. После революции ее порождает Новый Закон, постулирующий растворение частного в общем.

История прихотлива: исходя из опыта общения с Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в пятидесятые годы, я в шестидесятые смог глубже понять страх и отчаяние диссидентов из социалистического лагеря.

Помню председательствовавшего Уолтера в коричневых с белым башмаках в мелкую дырочку по обеим сторонам мыска, в голубой спортивной рубашке и костюме, скорее подходившем для какой-нибудь брачной церемонии в Скрэнтоне, в Пенсильвании. Появившись среди восседавших с каменными лицами членов Комиссии, он любезно кивнул в мою сторону, не скрывая заинтересованного изумления по поводу наплыва репортеров (включая небезызвестного И. Ф. Стоуна, возможно самого работящего и талантливого из всей вашингтонской братии) и невиданного количества иностранных журналистов — их приехало более двадцати, — устроившихся за длинным столом

неподалеку. Такого здесь еще не видывали. В отличие от моих пьес американская драматургия была в Европе редкой гостьей. И я возблагодарил свою правую руку за многолетний труд. Под сенью ощутимого могущества американского флага восседали члены Комиссии, в лице которых иностранные журналисты воочию могли увидеть силу, погубившую европейскую культуру. И мне захотелось, чтобы эта история не повторилась, по крайней мере здесь и сейчас.

Помню пару обескураживающих перепалок с членами Комиссии. Вскоре после войны мне довелось вместе с другими писателями отвечать на вопросы журнала «Нью мэссиз», как поступить с арестованным Эзрой Паундом. Аренс зачитал мой ответ. Он гласил, что я считаю предательством его выступление по радио и сотрудничество с Муссолини в целях деморализации американских войск, сражавшихся в Германии и в Италии, поэтому он заслуживает, чтобы с ним поступили так, как с любым, кто совершил подобное преступление.

Аренс увидел в этом заявлении противоречие с моим собственным требованием свободы слова. Тему поддержал конгрессмен от Цинциннати Гордон Шерер. В связи с вопросом о Паунде он резко спросил, обладает ли поэт-коммунист правом призывать в своих произведениях или стихах к свержению правительства вооруженным и насильственным путем.

Я признался, что оставляю за каждым право иметь свое мнение, удивившись провинциальной недалекости Шерера, не придумавшего ничего, кроме как обвинить поэзию в разжигании нездоровых страстей. Наверное, он не знал, что поэзию в Америке никто не читает, за исключением самих поэтов или студентов, когда это входит в обязательную программу. Поэтому лучше бы он сослался на такие влиятельные жанры, как кино или роман.

Когда я подтвердил, что признаю за поэтом право написать агитационную поэму, господин Шерер, всплеснув руками, повернулся к членам Комиссии, как бы поясняя: «Ну о чем еще говорить?»

Хуже было, когда такой прожженный профессионал, как Аренс, спросил, почему в этом случае я отказываю в свободе слова Паунду. Как можно поставить поэта, написавшего бунтарское стихотворение в Америке в мирное время, рядом с писателем, долгие месяцы изо дня в день вещавшим американским солдатам, подрывая их боевой дух на поле боя? Помимо теоретических рассуждений, к этому примешивались личные переживания.

Я был одним из немногих американцев, кому довелось слушать речи Эзры Паунда из Италии, входившей в блок Берлин

— Рим. Сердце замирало от ужаса. Во время войны я купил у своего приятеля Ирвинга Аранова прекрасный новенький приемник «Скотт». Друг, работавший в скупке мебели при большом универсальном магазине «Эй-энд-Эс» в Бруклине, предложил приобрести его по своей цене, хотя это и было дорого. Приемник отлично работал на коротких волнах. Включив его как-то вечером дома на Уиллоу-стрит, я услышал американскую речь с отчетливым акцентом человека со Среднего Запада. Я было решил, что поймал американскую волну, пока диктор не начал рассуждать о необходимости истребления евреев. Это было так дико, а он так спокойно говорил об этом, что я воспринял все как неудачную репризу бездарного комика, однако приподнятое настроение оратора, его радостное возбуждение ужаснули и разубедили меня. Предоставленная самой себе, безответственно вещал он, Европа, привыкшая к конгломерату народов, сама разберется в своих проблемах. Война исключительно дело рук евреев, поклявшихся погубить тех, кто мешает им завоевать мир. Он благодарил Бога за то, что у Гитлера достало ума постичь тайные намерения этой нации и раз и навсегда разделаться с нею.

Наглое, самоуверенное, сытое лицо Аренса, выразившего удивление по поводу моего столь быстрого в случае в Паундом отказа от принципа свободы слова, вдруг напомнило тех, с кем я боролся всю сознательную жизнь, и кровь ударила в голову. Я сдержался, пытаясь уговорить себя, но он заметил, что перегнул палку, ибо я не принадлежу к числу тех евреев, которые покорно входят в газовую камеру. Паунд призывал к расовому геноциду и, судя по его выступлению, с радостью бы умертвил меня, еврея, если бы смог. Слушание закончилось раньше, чем было изобличено все лицемерие вопросов Аренса, но я был рад, что атмосфера разрядилась. Ибо выступал против таких, как Паунд, проповедовавших лживые идеи, и гордился своей позицией.

Уходя из зала вместе с Джо, я почувствовал, что напряжение спало. Даже в том случае, если Комиссия затеяла все исключительно ради общественного резонанса, а не серьезных побуждений защиты страны, я вопреки собственным ожиданиям проявил большую твердость духа и в то же время показал, что отошел от взглядов тридцатых — сороковых годов, когда Советы олицетворяли для меня социализм, в свою очередь неразрывно связанный с раскрепощением человека. Однако все это имело мало отношения к заседанию Комиссии, напоминавшему окрашенный в политические тона теннисный матч с жесткими правилами, требующими попадания мяча только на строго очерченные участки площадки. Для своей победы Комиссии необходимо было доказать зависимость моих действий от партии,

тогда как мне надо было продемонстрировать нечто совершенно обратное, показав, что я никогда не скатывался до поступков, которые могли бы интерпретироваться как государственная измена.

Неужели для того, чтобы тебя признали истинным американцем, надо быть жесточайшим эгоистом? Толстой, будучи христианином, как-то сказал, что веру в коммунизм он предпочел бы безверию. Аренс продолжал зачитывать петиции, заявления, декларации. Казалось, я не мог прожить дня, чтобы не подписать какой-нибудь бумаги, — и вдруг открылось, сколько во мне жило надежд! А ведь не пиши мы ничего и не делай — не сидел бы я сейчас вот здесь. Однако это было еще не все. Стопка документов дюймов шесть высотой свидетельствовала не только о непримиримом отношении к действительности, но и о взятых на будущее обязательствах. Подписывая воззвания, я не мог избавиться от страха перед маячившей победой фашизма и протестовал против пустой растраты сил в такой стране, как Америка, хотя ничего толком не знал о жизни при социализме. Сейчас, в 56-м, единственное, что я хотел, — это обрести самого себя и, перестав подавлять честолюбие, чувственность, пусть даже эгоизм, в полной мере принять ответственность за свое время и бытие.

От симфонии этих переживаний с годами осталось несколько тем, одну или две из которых я мог насвистеть, но и те оказались вариациями, рожденными потрясенным сознанием. «Почему вы так трагично пишете об Америке?» Последняя фраза председателя годами крутилась у меня в голове. Однако, просмотрев стенограмму, я обнаружил, что конгрессмен Дойл всего лишь спросил: «Почему вы не хотите обратить хотя бы часть отпущенного вам таланта на борьбу… с коммунистическим подпольем?.. Почему при таких огромных возможностях вы все время обходите эту тему?»

Не оставалось сомнений, чего они добиваются, — я должен был оказать им поддержку, но вместо этого начал копаться в проблемах, выворачивая все наизнанку. Никому из них не приходило в голову, что конгрессмен в Америке не имеет права задавать такие вопросы писателю, — поэтому на лицах заседателей царила полная безмятежность. Долгие годы голос Дойла гулко отзывался в различных уголках земного шара вплоть до Советского Союза, ибо глас государственной власти, глас подавления, рабства, угнетения неотделим от организованного существования людей. Уолтер с Комиссией оказались всего лишь менее ловкими, изощренными фокусниками, чем теологи, обожествляющие государство, — они не смогли полностью скрыть

секретов своего мастерства. При этом Уолтер не удержался от искушения закончить на оптимистической ноте: в завершение процедуры он улучил момент поблагодарить меня и выразить надежду, что в будущем я буду писать об Америке более оптимистично.

Из всего этого я понял только одно: мне безумно повезло, что я родился в стране, основатели которой изначально понимали, что власть — это идиот, которого надо сдерживать системой законов; они должны быть фундаментальны и просты, чтобы их можно было быстро растолковать ему и чтобы он в приступе ярости не разнес всю постройку.

Заседание близилось к концу, когда меня спросили, не встречался ли я с писателем имярек на одном из собраний писателей-коммунистов лет десять назад. Аренс наверняка знал, что я отклоню этот вопрос, дабы не изменять своему представлению о себе. У меня не хватило остроумия выяснить, какую цель преследовала Комиссия, если имя писателя уже было произнесено, а речь шла об официальном заседании зарегистрированной организации. На самом деле им хотелось продемонстрировать свою власть. Комиссия обладала ею, а я нет, и, чтобы доказать это, меня вынуждали нарушить негласное правило общения между людьми, что имя человека не будет использовано ему во вред, или же пойти на сделку с Комиссией, отринув демократический принцип, гарантирующий неприкосновенность миролюбивых ассоциаций. Меня предупредили, что я неуважителен к Комиссии, однако я посчитал замечание необоснованным и не обратился за поддержкой к Пятой поправке. Я снова попросил не задавать неправомочных вопросов, не имеющих отношения к делу. А в ответ еще раз услышал, что многим рискую, отказываясь отвечать Комиссии. Так и случилось. Не востребовав зашиты своих конституционных прав, я оказался в ситуации, когда меня в любой момент могли отправить за решетку.

К концу слушаний Мэрилин приехала поддержать меня, и они с Оли Раух прятались от вездесущих журналистов дома. Мне всегда нелегко было делить свои беды — и слабости — с женщиной. Отец никогда не приносил в дом дурных новостей — даже в те времена, когда мои глаза постоянно упирались в платок в заднем кармане папиных брюк, его стоицизм воспринимался как крепость духа. Когда я замыкался, в Мэрилин просыпался какой-то страх. Зализывая рану, я в целях обороны все больше уходил в себя, а она боялась оказаться нелюбимой женой, запертой по целым дням в чужом доме. Я видел добрый знак в том, что она нуждалась во мне, хотя это немного пугало. Впервые

мне пришлось извиняться. Подобно ребенку, она, как и я, хотела раствориться в другом человеке, в его жизни, освободившись от сковывающих дух и плоть тенет. Вместо этого я предоставил ее самой себе.

Однако мы вскоре уезжали в Англию, где ее ждала новая роль в фильме с участием, пожалуй, самого уважаемого актера в мире, а меня — перспектива сотрудничества с выдающимся молодым режиссером над постановкой «Вида с моста». Сразу же по приезде я решил засесть за переработку текста и расширить пьесу, что представлялось уникальной возможностью с точки зрения проверки ее композиции. В самом начале я мыслил ее лаконичной, как текст телеграммы, с акцентом на сюжете, вызывавшем интерес неожиданными перипетиями событий. Теперь я думал несколько по-иному: хотелось, чтобы главный персонаж — человек, погрязший в недостойных поступках, — был легко узнаваем и зритель сопереживал, отождествляя себя с ним. За два года со времени написания пьесы я научился не торопиться с вынесением приговора и перестал выделять себя из толпы, причем не на словах, а на деле.

Мы провалились в тяжелый сон на незнакомой кровати в чужой стране после двенадцати часов перелета на поршневом самолете через Атлантику. В аэропорту нас поджидали журналисты, и Лоренс Оливье, чуть ли не хохоча от возбуждения, назвал эту встречу самой большой пресс-конференцией в истории Англии. Кого здесь только не было: человек четыреста репортеров со всех концов Британских островов, даже из далекой туманной Шотландии, не говоря о континенте, что подтверждали своим суровым видом два баска в беретах. Толпа была оцеплена полицейским кордоном. Вспышки софитов создавали мощные столбы света, иногда державшиеся до полуминуты, напоминая ослепительное северное сияние, — это необыкновенное зрелище привело в восторг даже самих журналистов. Память не сохранила ни их вопросов, ни наших ответов. Но это не имело никакого значения ни до, ни после того, настолько все были поражены, увидев перед собой живую Мэрилин — богиню, вышедшую из волн холодного моря. Если она улыбалась, все улыбались, хмурилась — супили брови, смеялась — взрывались восторженным хохотом. Когда она, улучив момент, заговорила (!), сразу же наступила благоговейная тишина: при звуках ее приятного напевного голоса взрослые люди размякли, как мох после дождя.

Она впервые столкнулась с тем, что ее встречали с восторгом, исполненным уважения и лишенным пуританской насмешки.

Каковы бы ни были чувства журналистов, никто из них не скрывал, что с радостью сядет в тюрьму, если завоюет этим ее расположение, или вознесется на отвесную скалу над огнедышащим адом, чтобы сорвать для нее цветок. Именно так писали газеты на следующий день и на протяжении всего ее многомесячного пребывания в Англии. Если она отправлялась в магазин или отпускала пустячное замечание, хоть как-то пригодное, чтобы попасть на первые полосы газет, Британские острова спокойно могли уходить под воды Индийского океана, и завороженные жители ничего бы не заметили. Королева и парламент управляли страной. Мэрилин ведала ее сердцем. Когда она через несколько недель отправилась с визитом в магазин «Маркс и Спенсер», его пришлось закрыть, чтобы толпа покупателей не разнесла его. Ее присутствие взрывало тысячелетнюю британскую невозмутимость.

Нас поселили в заброшенном, весьма сыром сельском доме в холмистом графстве Серрей. Он принадлежал лорду Норту, издателю «Файнэшнл таймс», невероятно высокому, худощавому мужчине с узким лицом лет под пятьдесят, который, показывая свои владения, не мог отвести взгляд от Мэрилин. Отложив утренние дела, он сидел с нами в музыкальном салоне, указывая пальцем по сторонам. «Это весьма незатейливая гостиная; чтобы попасть сюда, надо пройти по весьма незатейливому коридору через тот весьма незатейливый салон». Он растягивал беседу насколько мог. В доме прислуживала супружеская чета иммигрантов из Венгрии, недавно прибывших из Будапешта. Стоя рядком, они ждали, готовые вспорхнуть, как пара испуганных голубей, как только их позовут. В музыкальном салоне я облюбовал стол около французских дверей, выходивших на лужайку, напоминавшую ковер размером в сто квадратных футов. Дальше виднелась кирпичная стена, которая охраняла знаменитый огромный Виндзорский парк, где в замке иногда останавливалась сама королева.

Шатаясь от усталости, мы в первую ночь едва добрались до постели и уснули как убитые. Мне приснилось, что я слышу ангельский хор. Мужские голоса всех тембров звучали во всех октавах, замирая на таинственной ноте неземной чистоты. Казалось, плывешь, испытывая невыразимое блаженство, как бывает, когда крепко спишь. Откуда-то возникло беспокойство, но мелодия не пропадала. Я медленно просыпался, а она продолжала звучать в тихом воздухе. Открыв глаза, я подумал, что сошел с ума, ибо даже теперь, проснувшись, слышал ее. В ужасе, что потерял рассудок, я в темноте сел на кровати и тут только понял, что повторяющийся рефрен доносится через плотно задрапированное окно. Встав с постели, я осторожно раздвинул шторы и сквозь перила небольшого балкона увидел в ярком лунном свете около сотни сосредоточенных юношей и мальчиков в куртках, стоявших рядами и старательно, с благоговением выводивших хорал. Я тут же разбудил Мэрилин. Спросонья ничего не разобрав, она подошла к окну и выглянула вместе со мной. Нас не было видно, так как мы слушали, не зажигая света.

От ночной прохлады становилось все холоднее. И музыка, и рыцарские стихи исполнялись проникновенно, со школьным прилежанием.

— Что делать? — спросила Мэрилин.

Не до конца проснувшись, я чувствовал, что голова отказывается соображать. Можно выйти на балкон и помахать, но мы не одеты. Может, стоит одеться? Но это чересчур! К тому же смахивает на абсурд — с какой стати мы будем приветствовать их

с балкона, словно какая-нибудь королевская чета? А может, все-таки стоит проявить вежливость?

— Ты не хочешь одеться и выйти?

— Я?

— Ну конечно, они же не для меня поют, дорогая.

Она устало вздохнула, а я неожиданно почувствовал себя беззащитным перед обрушившимся на нас событием. Переодетый в гражданское офицер Скотланд-Ярда, сопровождавший нас из аэропорта, предупредил, что в Англии полно сумасшедших и Мэрилин не следует появляться перед толпой без охраны. Сотня экзальтированных хористов — это могло быть опасно.

— Может, похлопать? — сказал я, удивившись невесть откуда вынырнувшему словечку, и вспомнил Гручо Маркса, который бы не преминул заметить: «Ох, не люблю хлопотунов-ирландцев». Мы стояли, не зная, что предпринять. Мэрилин почти спала, а в сыром прохладном воздухе сотня голосов, поднимаясь до высот божественного откровения, самозабвенно выводила мелодию в ее честь.

Мы так и не надумали, что делать, когда растаял финальный аккорд. Выглянув из-за занавески, я увидел, как хористы в полной тишине перелезают через живую изгородь, растворяясь в ночи. Скрасив сон Мэрилин Монро, они, подобно гномам, с чувством исполненного долга возвращались под сень своих грибов. И все-таки чувство опасности не покидало меня — несмотря на сладкозвучное, трогательное, трепетное исполнение, это была толпа.

Однажды я видел сон: к огромной блестящей машине, выдававшей на ярмарке гамбургеры, выстроилась большая очередь. И вдруг в этого железного монстра с противоположной стороны затянуло Мэрилин. Я как сумасшедший бросился ее спасать. Но из машины уже появился гамбургер, толпа передралась, какой-то мужчина схватил его и начал жевать, перемазав в крови все губы. Я был приговорен спасать ее от толпы, с которой она общалась, как священник со своей паствой, легко и радостно. Порой казалось, толпа породила ее — я никогда не видел ее там несчастной, даже когда с нее на сувениры срывали одежды.

Оливье приехал на следующее утро с визитом вежливости. Занимался чудный английский день, казалось, полный надежд. Солнце светило в окна, и в воздухе была разлита мягкость. Он не скрывал, что очарован Мэрилин, и торопился показать ей костюмы в стиле эпохи короля Эдуарда, специально сделанные для нее Эддит Хед, по тем временам лучшим дизайнером, а также

фотографии декораций. Но она все доверила его попечению, мечтая более всего хорошенечко отдохнуть в течение недели с небольшим до съемок. Пребывая в напряжении, она была намного более утомлена, чем я предполагал.

Он спросил, что бы я хотел посмотреть в театрах, предложив помощь с билетами, и вручил мне утренний номер газеты, которую привез свернутой в кармане пиджака. В ней было перечислено шестьдесят или семьдесят пьес, что поразило меня обилием по сравнению с какими-нибудь двадцатью в репертуаре нью-йоркских театров, однако, пробежав страницу глазами, я не нашел ни одного знакомого названия или имени автора. Многие заглавия звучали достаточно нелепо.

— Что вы посоветуете? — спросил я.

— Нет, нет, сами выбирайте, я не хочу влиять на ваш вкус.

— Но я не знаю ни одной из этих пьес, — возразил я. Он отказался советовать. И я выбрал спектакль, который привлек внимание своим заглавием.

— Хорошо, пусть будет «Оглянись во гневе».

Его реакция оказалась быстрой, резко отрицательной и даже сердитой.

— Нет, нет, это не стоит, выберите что-нибудь другое.

— Почему? Чем плоха эта пьеса?

— Да это просто пародия на Англию, пустая болтовня о том, как кто живет, хотя некоторые и считают ее неплохой сатирой. — Казалось, этот выбор задел его лично, нанеся удар по чувству патриотизма.

— Звучит занятно. Честно говоря, я плохо представляю себе английский театр после Шоу и Уайльда, к тому же они оба были ирландцы.

Он отступил:

— Хорошо. Я закажу вам билет на завтра.

Мэрилин решила, что она останется дома отдохнуть.

На следующий вечер, не успел я после часовой поездки на предоставленной нам киностудией машине с шофером добраться до Лондона и выйти из «ягуара», как, к своему удивлению, увидел перед собой Ларри Оливье. «Я решил посмотреть еще раз». Войдя в фойе, я впервые обратил внимание, как ненавязчиво уважительно англичане отдавали должное такой знаменитости, как Оливье, не смея обременить его ничем, кроме как долгим взглядом. В те времена толпа, по крайней мере в Америке, вела себя крайне неоднозначно, в ее восторженности чувствовалась скрытая угроза, и весьма озадачивало, как вести себя на людях. Что-то во мне сопротивлялось подобному вниманию, даже когда против воли я испытывал какое-то примитивное чувство радости,

что на меня обращают внимание. Казалось, англичане относятся к Оливье с затаенной гордостью, какой-то скрытой теплотой, отнюдь не предполагающей, что он их собственность. Приятно было впервые столкнуться с таким поведением, нисколько не походившим на агрессивность толпы, на ее унижающее высокомерие дома, в Америке.

Пьеса понравилась своей грубоватостью, необработанностью, тем, что, будучи английской, она высмеивала многое из напыщенных представлений англичан о самих себе, была исполнена критического запала и написана ярко. Кеннет Хейг, Мэри Юре, Элан Бейтс, Элен Хьюз и Джон Уэлш двигались по сцене, занятые исключительно каждый самим собой, что весьма напоминало по манере американский реализм и показывало лондонскую жизнь изнутри, так что я сразу почувствовал себя здесь как дома. Пьеса чем-то напомнила раннего Клиффорда Одетса, когда он был так поэтически беспощаден к Нью-Йорку эпохи Депрессии и к неудачам жизни, которые, казалось, были препоручены ему. «Оглянись во гневе» впервые дала возможность взглянуть на аутсайдеров Англии, которые сами гладили себе рубашки и знали великих мира сего только из газет. В перерыве Оливье спросил, как пьеса, и я сказал, что она превосходна. Он еще раз спросил мое мнение в конце спектакля, и я сказал, что из нее торчит масса оборванных нитей, но что из того? В ней есть жизнь, а это само по себе достаточно редко.

К нам подскочил директор театра «Ройал Корт» Джордж Девин, неприметного вида, жизнерадостный невысокий фанатик, и попросил подняться наверх к автору, который очень хотел с нами познакомиться. Через минуту мы сидели за двумя небольшими столиками в баре, я напротив Девина; Оливье, само олицетворение официоза, напротив бунтаря Осборна, который, надо полагать, был его противником и в эстетическом и в идеологическом плане. Девин в те времена был любимцем еще не обретшего организованных форм и до конца не сложившегося движения за обновление английского театра, которое он попытался приютить под кровлей «Ройал Корт». Ему не так давно удалось осуществить постановку «Салемских ведьм», и я с удовольствием слушал его рассказ, как приняла пьесу пылкая молодежь, когда вдруг с некоторым недоумением услышал, что справа от меня Оливье вопрошает мертвенно-бледного Осборна, в те времена молодого человека с копной нечесаных волос и таким выражением лица, будто он только что проснулся: «Не могли бы вы написать что-нибудь для меня, а?» И все в самых мягких тонах и таким голосом, которым можно уговорить купить за двадцать тысяч долларов машину без колес.

Я был уверен, что Оливье для Осборна является олицетворением буржуазного декаданса английского театра, но в этот момент его глаза вспыхнули, и он действительно в скором времени написал пьесу «Увеселитель», специально для Оливье.

Как позже признавался сам Оливье, этот вечер положил конец долгому и болезненно-стерильному периоду его карьеры. Именно тогда начался его постепенный отход от банально-увеселительного театра на потребу наиболее зажиточных слоев и он оказался приобщен к основному направлению развития национального театра. Позже, возглавив вновь созданный Национальный театр, он стремился к тому, чтобы театр стал отражением не только жизни конформистского общества, но иных, далеких ему начал, в которых открывались ростки будущего, начинавшие обретать в Англии свой голос. Оливье пережил много перевоплощений, но, наверное, это было наиболее значительным: он угасал как артист, а тут вдруг встряхнулся и волшебным образом вступил в полосу возмужания.

Фильм «Принц и хористка» все-таки оказался связан с тем, прошлым Оливье. Мэрилин вскоре пришла к выводу, что он согласился сниматься только потому, что ему нужны были деньги, которые гарантировали ее участие. Я был склонен полагать, что это верно лишь отчасти, ибо он не мог не видеть, сколь драматически не схожи они в социальном и культурном плане, поэтому, если в его намерениях и присутствовала доля цинизма, это не могло полностью отрицать того, что как художник он понимал всю ответственность решения сниматься вместе с ней. В театре всегда есть что-то от дикого животного, но, как это нередко бывало у Мэрилин, она идеализировала Оливье, который как крупный и серьезный артист должен был стоять выше сотен проблем такого рода, столь характерных для голливудских торговцев плотью, от которых ей, казалось, удалось наконец ускользнуть, подписав контракт с ним, первый из проектов ее собственной киностудии. Она знала всю гнусность Голливуда, поэтому академический театр в ее глазах казался недосягаемо возвышенным. Мне вскоре пришлось защищать Оливье, чтобы предотвратить сползание к полному отрыву от реальности, ибо в противном случае я бы только помог ей утвердиться в наивных иллюзиях. В результате она поставила под сомнение мою абсолютную приверженность ей в этой все нараставшей борьбе.

Каждое утро с ней вместе на съемки приезжала Паула, и мне казалось, ее присутствие поддерживает Мэрилин, которая все больше опасалась давления со стороны Оливье. В конце концов

она убедила себя, что он конкурирует с ней как с актрисой, с кокеткой, которая хочет вызвать сексуальное вожделение публики. И ее невозможно было разуверить. Она отказывалась воспринимать его как режиссера и партнера-кинозвезду в ином, менее обостренном плане. Я не знал, насколько это соответствовало действительности, ибо во время моих наездов на съемки в Шеппертон там все обстояло очень мило. Надо признать, что я не мог не отдать должное таланту Оливье: в Нью-Йорке я видел его в «Царе Эдипе» и одновременно в «Критике» Шеридана, и то и другое было великолепно, мало что могло сравниться с этими театральными впечатлениями. Поэтому трудно было поверить, что он тянет одеяло на себя, в чем она постоянно упрекала его.

Мэрилин оказалась права лишь в одном. Я действительно чувствовал, что нас связывает с ним какая-то единая нить, но она ошибалась, что он смотрит на нее сверху вниз, с каких-то необозримых эстетических высот. Среди этого бреда я постепенно начал понимать, что ее постоянно преследовало ожидание разрыва: этот ужас затмевал все, превращая в конфликт простое расхождение во взглядах. Мы пытались докричаться друг до друга сквозь эхо двух аргументов — первым был Оливье, другим — скрытая невидимая борьба против того, что воспринималось ею как собственная судьба. Поначалу я недоумевал. Она не выносила никаких возражений против того, что Оливье будто бы сознательно предал ее ожидания, но что еще хуже — она требовала от меня, чтобы я придерживался той же позиции. Я протестовал, отстаивая себя и свое понимание ситуации. Ее уязвляло мое упрямство. Все было кончено: если ей возражают, значит, не любят. Я далеко не сразу понял, какое тяжелейшее испытание для актера играть в присутствии режиссера, автора и оператора. В отличие от них автор не имел своего métier, в котором мог обрести защиту: он стоял обнаженный, доступный насмешкам, если не в реальности, то в своем внутреннем представлении, и Мэрилин, воспринимая себя подобным образом, была далеко не одинока.

И все-таки, когда я во второй половине дня появлялся в съемочном павильоне, ее лицо озарялось; поэтому я воспринимал все как испытание, которое необходимо преодолеть. Надо было приспособиться жить на этом острие, но так, чтобы переживания нас не испепелили. Правда от избытка может оказаться губительной, но разве есть более пьянящий риск, когда в качестве выигрыша обещано — так мне тогда казалось — магическое воссоединение тела, разума, чувств? В те дни мы были ближе, чем когда-либо, но в то же время более осторожны. Временами она,

казалось, меняла свое отношение к Оливье, и подозрения исчезали. Возможно, мое упорство ее в чем-то убедило. В такие моменты она работала с большой легкостью и получала удовольствие от удачной съемки, позволяя себе признать, что сыграла блестяще. Не упуская возможности оттенить все положительное, я, кажется, переусердствовал в похвалах, породив новую неуверенность, проскользнувшую, как воришка, во взоре. Абсолютная правдивость, прозрачная, как свет, — на меньшее она была не согласна. Но ее всегда преследовали страх оказаться покинутой, немота, глухота во взгляде постороннего…

Мне, однако, пора было садиться за работу, и я надеялся, что с таким опытным режиссером, как Оливье, все постепенно наладится. Как и было обещано Питеру Бруку, я переписал «Вид с моста», сделав пьесу многоактной — в основном за счет развития линии Беатрис, жены Эдди Карбоне, ее взгляда на грядущую трагедию. Надо было съездить на несколько дней в Лондон, просмотреть актеров на второстепенные роли, — чего еще можно было желать?

Но ситуация осложнилась. Паула, без умысла конечно, стала вести двойную игру. В надежде утвердить свой авторитет в глазах Мэрилин она не противоречила ей открыто и, часто действуя таким образом заодно с Оливье, стала посредником между ними, интерпретируя ему актерские решения Мэрилин, а ей — его указания. Даже для самоотверженной личности это была непосильная задача, не говоря о таком тщеславном и амбициозном человеке, как Паула. Все тут же превратилось в кошмар, все равно что брак из трех человек: как ни оставляй двоих наедине, третий всегда будет обижен. Печальный исход был предрешен, и признаки этого проступали повсюду.

Поняв, что может руководить Мэрилин только через унизительное посредничество репетитора, Оливье вскоре пришел в такое состояние, что был просто готов убить Паулу, и временами я был не прочь присоединиться к нему. Мэрилин, прирожденная комическая актриса, оказалась в тисках плохо усвоенной, как шарик из жеваной промокашки, роли и установок в духе псевдо-Станиславского, что не давало ей возможности высвободить свое естество. Ее угнетали ложные умствования, ничего не дававшие ей как актрисе, все равно как если бы джазового музыканта учили рационально делать то, что ему дано от природы. Не успела Паула приземлиться в Кройдоне, как поняла, что от Мэрилин требуется сыграть хористку так, как она играла раньше. Пропасть между верой Мэрилин в некий магический ключ, вспышку озарения, которая рассеет все сомнения, и неспособностью вызвать все это в себе Паула

заполняла тем, что болтала без умолку. Но чем больше звучало слов, тем менее продвигалась роль. При этом Оливье, как большинство английских актеров, весьма скептически относился к разного рода театральным системам, хотя сам готовился к роли очень похоже на то, как это делали актеры Станиславского. При этом в нем говорили здравый смысл, стремление подражать жизни, не имевшие никакого отношения к пустопорожней болтовне о всяких там внутренних состояниях.

В отношении Мэрилин «мет*о*да» Паулы — и Ли — стала казаться пагубной, опасно замыкавшей ее на пустом резонерстве. Однако, не пройдя школу Страсберга и не принадлежа к числу адептов, нельзя было ее критиковать, а поскольку мы с Оливье никак не подпадали под эту категорию, то, исходя из опыта и здравого смысла, не имели права вмешиваться в ухудшавшуюся на наших глазах ситуацию, тайный смысл которой был вне нашего разумения. Если Паула не могла помочь, никому другому вмешиваться не разрешалось. Вдобавок Мэрилин, вне всякого сомнения, полностью доверяла ей. Она воспринимала Паулу чуть ли не как воплощение самого Ли, и та могла завести ее, пускай без умысла, совсем не туда. Паула была своего рода приводным ремнем этой «методы» и знала, как со значением кивнуть, сделав вид, будто все понимает. Она без конца повторяла: «Я всего лишь доверенное лицо Ли», в чем мне слышался завуалированный намек на то, что она не несет прямой ответственности за смятение, в котором пребывает Мэрилин. Точно так же, как Ли, которого здесь в конце концов просто физически не существовало. Но кто тогда нес ответственность? Я постепенно стал свыкаться с этой пустотой — ошибка, чреватая тем, что перестаешь пытаться что-либо изменить.

Только Ли мог настроить Мэрилин, без него она теряла всякую уверенность в себе. Но ее затяжные ежедневные разговоры с ним через океан, казалось, мало помогали. Мне не оставалось ничего, кроме как пребывать полностью отстраненным от всего наблюдателем. Чистосердечное общение становилось все более и более затрудненным. Она искала какую-то мистическую поддержку, которой не было в этом мире.

Как же все обстояло на самом деле? Я уж было собрался поверить, что Оливье, желая того или нет, действительно сделал ее своей жертвой, но такие кризисы сопровождали ее работу и с Джошуа Лоуганом, тоже очень опытным режиссером. Все это надо было отнести скорее на счет излишней напряженности при подготовке к работе, но в то же время ее страдания были самые что ни на есть настоящие и отнимали силы. Печальнее всего было то, что любая попытка свести проблему к разумному

предполагала, что она находится во власти фантазии. Таким образом, огромный маховик эмоции толчками вращался вокруг стержневого вопроса доверия. Говорить правду — единственное, что могло спасти нас, — тоже становилось опасным, ибо она нуждалась хоть в мало-мальской поддержке, чтобы продержаться в течение рабочего дня.

На что можно было опереться, когда я едва скрывал раздражение по поводу ее приверженности бессмысленным инструкциям Паулы и противостояния Оливье как своего рода сопернику или врагу? Казалось, Оливье тоже все более раздражался, одна Паула не подавала никаких признаков недовольства. Да и с чего? Ее авторитет рос за счет того, что она открыто жаловалась на вероломство Оливье, в частном порядке заверяя всех, кроме Мэрилин, что не верит в это, а просто вынуждена притворяться, чтобы не потерять ее доверия, — не оставишь же бедную девочку совершенно одну. Этого уже никто не мог вынести.

Что касается Оливье, то он, будучи изощренно остер на язык, легко ставил Мэрилин на место, уязвляя неожиданной шуткой, которую облекал в безупречную форму. Несмотря на все ограничения, он мог дать ей намного больше, чем Паула с ее винегретом из теории актерского мастерства и запаса нелепых историй и сплетен из театральной жизни, всегда о великих актерах, которые, работая с тем или иным непрофессиональным режиссером, в отчаянии бросались за помощью к Ли или к ней самой. Тем не менее судьба Мэрилин и картины оказалась в ее руках, и тайная власть дала ей опасную силу, с которой Оливье вынужден был считаться.

В этом конфликте, на мой взгляд, поразительно отчетливо сошлись не только два стиля актерской игры, но и два стиля жизни. По сценарию все закручивалось вокруг давно известной дилеммы: комедия заключалась в том, что всесильный представитель общества оказывается беспомощен в руках оборвыша, которого не интересует ничто, кроме секса, и который в конце концов обретает над ним полную власть. Мэрилин знала о таких историях больше, чем кто-нибудь. Но желание освоиться в жанре высокой комедии, как она это понимала, не говоря о постоянной неуверенности в себе, привело к тому, что она слишком углубилась в характер, который был лишь набором фраз без особого внутреннего содержания. Оливье, сыгравший не одну великую роль, конечно, понимал, сколь ничтожна эта, но признать, что от Мэрилин требовалось быть всего лишь самой собой, было унизительно. Что касается Паулы, это означало, что ее «метода» вовсе не требуется. Суть заключалась в том, что никто

не мог сказать правду, и в результате Мэрилин оказалась неспособной услышать ее, даже если бы кто-нибудь признался во всем.

Я ума не мог приложить, как помочь ей, ибо даже в своих метаниях она казалась безупречно совершенной и, несмотря на всю нервотрепку, умудрялась придать фильму глубину, которой никто не предполагал. Я ошибался, надеясь, что в конце концов фильм обернется для нее грандиозным успехом, хотя по первоначальному замыслу был всего лишь развлекательной безделушкой.

При этом Мэрилин полагала, что, покупая в Англии антикварную мебель, Милтон Грин отправлял ее за океан по адресу «Мэрилин Монро продакшнз» — заработанные ею деньги в те времена были единственным доходом их кинокомпании. Здесь крылось еще одно предательство, тем более что Грин тоже не мог осадить Оливье, как она ожидала.

Где-то в глубине души Мэрилин, наверное, знала, что все обойдется, но в том, что одна и та же ситуация без конца повторялась, было нечто пугающее, ибо это ставило под вопрос ее способность к самоконтролю. Она преувеличивала возможности Грина в улаживании финансовых вопросов и теперь испытывала глубокое разочарование. Она идеализировала Оливье, видя в нем великого артиста, неспособного на чувство эгоистической зависти, представляла его актером — эскортом или отцом, который только и будет что заботиться о ней. Я оказался недостаточно самоуверен, будучи не в состоянии разбить наголову ее врагов неким волшебным ударом. Ее прострация перешла в агонию: она отказалась общаться с Грином вплоть до возвращения в Штаты, до того момента, когда ей понадобится его административная помощь для выпуска картины. Но не могла полностью выразить своего раздражения Оливье, ибо он все-таки был режиссером картины. Поэтому единственным, на кого все выливалось, был я, ибо она знала, что я все пойму и прощу, и испытывала мое отношение на лояльность.

Что касается Паулы, ей все спускалось, вся пустота и нелепость советов, ибо она была единственным связующим звеном с Ли, к которому Мэрилин относилась почти с религиозным трепетом. Это чувство, возможно, крепло оттого, что его не было с нами и его бесплодные советы невозможно было проверить, а потому они казались идеальными. Но это было еще не все. «Паула для меня пустое место», — говорила Мэрилин в ответ на мои предостережения, что ее советы противоречивы и только запутывают, но без Паулы не могла жить. Эта глубоко неуравновешенная женщина была последней в ряду ее матрон-

наставниц. По словам Мэрилин, до этого у нее была Наташа Ляйтес, которую я не застал, — они были вынуждены расстаться, ибо ту одолевали дикие и опасные мании. Крикливая фантазерка, которая знала, как слагать сладкозвучные, пусть невероятные, сказки об их фантастическом вместе с легендарным супругом преуспеянии, Паула на деле была не кем иным, как одержимой матерью, от которой Мэрилин не смогла отделаться, когда разглядела снедающие ее амбиции. Она была для нее той воображаемой матерью, которая подтверждала все, что Мэрилин хотелось услышать, оправдывая ее неуравновешенность и отсутствие актерского мастерства, что привело в итоге к обвинению Оливье, будто он специально не дал ей раскрыться в этой картине, чтобы выигрышнее оттенить свою игру. При этом никто не мог объяснить, зачем ему было рисковать фильмом, на который возлагались большие финансовые надежды. Однако признать это противоречие означало стать на сторону врага. Как бывает в безысходных ситуациях, круг замкнулся — ее психически неуравновешенная воображаемая мать за десять тысяч миль отсюда продолжала вершить свою работу.

Ситуация вскоре достигла апогея: как-то утром Паула объявила, что должна на недельку съездить в Америку, конечно за счет кинокомпании, к величайшей досаде Грина и моему удивлению, ибо ее гонорар уже и так достиг несметных размеров. (На съемках следующего фильма, «Давай займемся любовью», она умудрилась заработать больше, чем Мэрилин.) По всей видимости, эта женщина была настолько уверена в своей власти над Мэрилин, что решила оставить ее на попечение Оливье, что, однако, того вовсе не огорчило.

Я так и не понял, что произошло, но, когда Паула решила через недельку-другую вернуться, британские власти под каким-то предлогом отказались продлить ей срок работы по договору, не дав въездную визу. Мэрилин сразу же заподозрила, что это проделки Милтона с Оливье, дабы не дать Пауле участвовать в завершении картины, что было не лишено оснований, ибо они оба по разным причинам ненавидели ее. Мэрилин пришла в ярость и пригрозила, что прекратит съемки, если у Паулы не будет продлен контракт. Она сделала из этого вопрос своего престижа и отказалась выслушивать Грина и Оливье, доказывавших свою непричастность к делу. И решила лететь домой. Контракт был продлен, причем Оливье клялся, что ему пришлось обращаться на самые верха. Однако Мэрилин не отказалась от своих подозрений — это событие только укрепило ее в том, что она находится в стане врагов. По нашим отношениям был также нанесен удар, поскольку она никому больше не доверяла, ни мне, ни другим.

Как только появлялась хоть малейшая трещинка, она тут же начинала испытывать глубочайшее разочарование в человеке. Причины таились в ее детстве, но разве это облегчало жизнь ей или кому-то еще?

И все-таки выпадали, по словам англичан, «хорошие» дни, когда дождь едва моросил, и мы отправлялись на велосипедах по Большому виндзорскому парку, погруженному со всеми его огромными деревьями в таинственную тишину, доезжали до Брайтона и по пустынным улочкам гуляли вдоль моря, наслаждаясь этим причудливым старомодным курортом. Она не хотела, чтобы к ней относились как к больной и обращались как с пациентом. Мы говорили о чем-то хорошем, живом, вроде того, чтобы купить загородный дом вместо того, который я продал. Она хотела, чтобы у нас была семья и мы бы мирно жили, как только закончатся съемки. Она их ощущала как своего рода осаду, когда хорошо было бы иметь лишнюю пару глаз на затылке. Мэрилин не являлась исключением среди актеров с ее ощущением, будто все ее предавали. Однако меня эта подозрительность изматывала и опустошала, ибо я предпочитал бросать свою работу, как хлеб на воду: если утонет — утонет, я сделал все, что мог. Она не признавала подобного смирения перед судьбой, ей это казалось инертностью, она боролась за себя даже во сне, который приходил только после обильного употребления таблеток, барбитуратов, лекарств куда более страшных, чем я предполагал. Как-то я выпил несколько штук и не мог обрести нормальную речь до середины следующего дня. Ей же целыми днями приходилось бодриться, чтобы казаться в форме, но все это должно было скоро кончиться. Мы с нетерпением ожидали завершения съемок, чтобы начать новую жизнь.

В редкие часы досуга, когда она позволяла себе отвлечься, занявшись политикой, общественной жизнью или увлеченно углублялась в книгу, на мгновение забыв о конкуренции и даже о том, что она актриса, бремя ее звездной славы казалось невыносимым. Дождь моросил почти каждый день, но выпало несколько воскресений, когда мы могли посидеть на ухоженной лужайке, и в эти непривычные для нее минуты безделья она была похожа на какое-то загнанное существо, раненное и надломленное изнутри. Она сказала, что хочет поступить в Нью-Йорке в школу, чтобы изучать историю и литературу. «Я люблю узнавать, почему все стало таким, как есть». В эти моменты в ней проступал облик какой-то другой женщины, с хорошим воспитанием, многообещающей в обычном смысле этого слова и получившей образование, чтобы не спотыкаться на каждом шагу. Она казалась необыкновенно одаренной натурой, загнанной в

тупик и оглушенной жизнью, которая требовала от нее лишь одного — обольщения. Она играла уготованную ей роль, однако умоляла отвести ей теперь иное пространство, но в силу необъяснимых причин не могла услышать ответа, и это причиняло ей боль, ибо, подобно любому актеру, она находилась в полной зависимости от того, чт***о*** о ней писалось и говорилось. И если для большинства критиков она, не говоря о ее остроумии, была на экране сплошным искушением, то для самой себя помимо этого была еще чем-то другим. Секрет привлекательности ее острого ума заключался в том, что она могла отстраненно взирать на тех, кто смеялся вместе с ней и над ней. Как все хорошие комики, она сочувственно комментировала самое себя и свои притязания быть чем-то большим, чем безмолвный обольстительный котенок; как большинство комиков, она безжалостно растаптывала свое достоинство, и ее ремарки и мимика были тем живительным кислородом, который давал ей возможность существовать. Комики в целом глубже, в чем-то даже ближе к началам жизни и страдают больше, чем трагики, которым по крайней мере воздается за их профессиональную серьезность.

Но к тому времени, когда завершение съемок было не за горами, возникли куда более важные проблемы, чем карьера. Стало ясно, что ее преследует чувство вины за то, что она не может быть мне полезна; я испытывал то же самое чувство, ибо не смог серьезно повлиять на ее жизнь, хотя она иногда и утверждала обратное.

Единственным утешением оказалась моя давняя приятельница по колледжу Гедда Ростен, жена Нормана, поэта и драматурга, который тоже когда-то учился в Мичигане. Она взвалила на себя обязанности секретаря Мэрилин, и, хотя временами на нее нападала поэтическая рассеянность, в силу своей любви она умудрялась со всем справляться. Задолго до подъема феминизма Гедда увидела в Мэрилин олицетворение жертвы мужского шовинизма, а также ее собственных разрушительных склонностей. Гедда вышла замуж без большого желания, хотя и по любви, ибо всему предпочитала одиночество с кофе и сигаретами, когда шелк времени струится по ее ладони спокойно, как восход или закат. «О дорогая, разве все это стоит того?» Мэрилин в ответ растерянно и грустно улыбалась, ибо обе они, как никто другой, понимали, сколь безысходна женская доля. Наедине со мной Гедда выступала как общественный сотрудник психиатрического приюта в Хартфорде, сомневаясь, что успехом в кино Мэрилин удастся компенсировать нанесенные жизнью раны. «Ей все время приходится изображать то, чего она

сама для себя в жизни еще не решила». Нас с Геддой связывало редкое взаимопонимание, которое даруется близким по духу людям, и объединяла тяга к одиночеству — молчание было для нее и для меня средой обитания, поэтому мы могли находиться в обществе друг друга, почти не разговаривая, и в то же время все равно общаться.

— Вы оба глубоко виноваты, — обронила она как-то днем, когда мы пили чай в музыкальной комнате.

— Но почему?

— Оба мыслите одинаково.

— Что это значит?

— Каждый из вас не может принять то, что, с его точки зрения, не заслужил. Вы перечите друг другу, когда, казалось бы, все прекрасно, и тем самым наказываете себя. — Она вздохнула, как большой знаток в вопросах самоистязания, встряхнула светлыми волосами и рассмеялась. Это была красиво сложенная женщина, которая хранила невинность лет до двадцати пяти, а я оспаривал ее глубокую наивность, которая выглядела как осуждение моих попыток вести ее к победе над поражением. «О Боже, Артур, чего нам всем не хватает для жизни?» Гедда, урожденная Ядвига Ровински, часто рассуждала, как чеховская героиня. Она была из тех, с кем хорошо находиться рядом, хотя было известно, что она берет на себя только горе. Прошло много лет, и она умерла от сигаретного дыма, который с таким упоением вдыхала, а узнав об угрозе, не поверила, что это может погубить ее.

Порой наступали тревожные моменты, когда нельзя было определить, насколько адекватно восприятие Мэрилин. Однажды днем посреди всеобщего шума и гама, в краткий перерыв между съемками, незабвенная Сибел Торндайк, величайшая актриса нескольких десятилетий, обронила: «Эта малышка единственная по-настоящему знает, как вести себя перед камерой». Будто освещенные вспышкой, все подозрения Мэрилин рассеялись, попытки углубить незатейливую роль оказались достойными похвалы и оправдания, и вся беда была в том, что ее окружали сплошные посредственности и мелкие завистники, чтобы не сойти с ума, повторявшие: «Достаточно. Больше не надо». В этот момент показалось, будто я вижу актера, который, вместо того чтобы говорить мой текст, перефразирует его, и я вспомнил, что когда-то это уже чуть было не довело меня до белой горячки, как будто тебя окатили презрением, наступили на горло и над тобой хохочут идиоты. Пережив ее горе как свое, я смог, исполненный раскаяния, сесть рядом с ней и снова надеяться, что нам удастся все преодолеть и обрести внутреннее согласие. Блуждая в этой

кромешной тьме в поисках чего-то реального, нетрудно было сойти с ума. Однако реальность вспыхивает, как птица, появляясь на ветке после долгого и утомительного перелета, а отнюдь не сгущаясь, как фантом, из воздуха.

Большое разнообразие в нашу жизнь вносила толпа репортеров, неотступно дежуривших у ворот около дома, то и дело курсирующих в сторону уютного сельского кабачка, находящегося неподалеку. Если в технике англичане заметно уступали американцам, а затем немцам и японцам, то этого нельзя было сказать об их журналистике: в газетах мы выглядели героями из романа нравов, ведущими между собой чинные беседы. Это была чистейшая фантазия авторов — безобидная, беззлобная идиотическая болтовня, появлявшаяся на страницах раза два в неделю. То я спасал Мэрилин от опасного падения с велосипеда, то Мэрилин в пол полосы наставляла венгерскую прислугу, как делать тосты, чтобы не пригорали, по ходу советуя изменить прическу.

Но как-то утром в газете промелькнул разговор, состоявшийся между нами несколькими днями раньше, причем почти дословно. Было жутковато читать отдельные бессмысленные реплики, которыми мы действительно обменялись. Неужели нас кто-то подслушивает? Неужели, устроившись в кабачке, кто-то удачно настроился на нашу волну?

Я поделился своими сомнениями с Ларри, и в доме появился агент Службы безопасности с киностудии, высокий, в плаще, с усами, в грубых башмаках и с раскатистым «р», характерным для Северной Англии. Не представившись венгерской чете и не снимая плаща, он устроил им в гостиной допрос, сверля леденящим взглядом. У меня все похолодело внутри при первых звуках его рыкающего голоса, в то время как он цедил сквозь стиснутые зубы, сохраняя усмешку, оттенявшую кровожадный блеск глаз.

Он начал без обиняков:

— Ближайший рейс на Будапешт в четверг. У вас временный вид на жительство и нет паспортов. Я обещаю, вы улетите на этом самолете и больше никогда не увидите Англию.

Побелевшие от страха супруги испуганно замерли с широко открытыми глазами. Он повернулся к мужу, который обычно обращался к нам очень вежливо, даже робко:

— Сколько вам заплатили, чтобы вы предали господина и госпожу Миллер? — Его душила ярость, раскаленным ветром дохнувшая венграм в лицо.

— Мы не могли знать…

— Не лги, подонок!

Я было решил вмешаться, поскольку не имел оснований их в чем-либо подозревать: полицейский их просто запугивал, выжимая признание. Но, энергично поднявшись с места, он вдруг мило улыбнулся мне, как воспитанный человек:

— Я думаю, это больше не повторится. — И, повернувшись к ним, обронил: — Или я не прав?

— Да, сэр, — в один голос проговорили муж с женой, радостно сделав неожиданное, хотя и вынужденное признание.

— Сколько вам заплатили?

— Пять фунтов, сэр, — недрогнувшим голосом ответил муж, хотя брюки на нем ходуном ходили.

— Что вы еще успели наболтать?

Женщина решила разрядить обстановку:

— Да ничего особенного, только…

— Вы у меня поговорите! Чтоб никаких «только»!

Она испуганно уставилась в ковер.

— Что еще может появиться в печати?

— Ничего, — сказал мужчина, но уже с отчаянием.

— Отлично. Пойдите к воротам и скажите, что, если хоть одно слово из ваших сообщений просочится в печать, вы в четверг вылетаете в Будапешт. Вопросы есть?

— Нет, сэр. Я сейчас пойду и скажу.

Больше в прессе не появилось ни слова. Меня поразил неожиданный переход полицейского от ярости к изысканной английской вежливости. Воистину империя должна была просуществовать не одно столетие, чтобы для ее охраны сложилась такая порода людей.

Почта ежедневно прибывала сумками, и это давало уникальную возможность взглянуть на английское общество. Кинозвезда такой величины, как Мэрилин, конечно, не может быть обыкновенным человеком, да разве определишь, кто она есть, если не обратиться к сверхъестественному; в воображении зрителя она не что иное, как своего рода воплощение всех ожиданий, и потому богоподобна. Публика выставляет ее под солнцем, стремясь сфокусировать лучи так, чтобы время остановилось, и ощутить ее жизнь как свою. Кто-то обращался к ней в письмах, как в учреждение, конфиденциально, прося денег на операцию, на выплату закладных, на образование. Могла прийти посылка с фекалиями или изношенная садовничья шляпа, которую ей завещал старый обожатель, любитель роз, находясь при смерти. И всегда эти вечно озадачивавшие вопросы о сексе и о замужестве. Около пятнадцати процентов из них были

совершенно невинными, но иногда ей предлагали свои услуги, когда бесплатно, а когда и за мзду. Какой-то мужчина приглашал встретиться с ним и его «мальчиками» в шахте, другой звал на рыбалку на озеро в Шотландии. Пожалуй, наиболее проникновенные письма приходили от разочарованных женщин, которые хотели узнать, как им стать такими же неотразимыми, «как и вы», как будто она была фея, вся сияющая и прелестная, которой достаточно коснуться их кончиком волшебной палочки, как Билли Берк из «Волшебника Изумрудного города». Мэрилин редко пребывала в спокойном состоянии духа, чтобы просматривать мешки с письмами, поэтому Гедда показывала ей только те, которые могли растрогать или обрадовать ее, придумывая ответы, которые Мэрилин по собственному настоянию подписывала сама.

Но Гедда начала уставать от своих обязанностей. Причем не только потому, что Мэрилин становилась все нетерпимее к ней, но и потому, что ей было слишком больно видеть, как близкий человек постоянно пребывает в раздражении. Похоже, наступил момент, когда Гедда отказала ей в безоговорочной поддержке, которую оказывала. Она случайно обронила по поводу раздосадовавшей Мэрилин мелочи: «Ты думаешь, Ларри именно это имел в виду?» И почувствовала, что ловушка захлопнулась: отказываясь поддерживать каждую мысль Мэрилин, она рисковала, что ее обвинят в предательстве, и все-таки из принципа не могла больше разделять нездоровые иллюзии близкого ей человека. Она уехала домой до окончания съемок, но Мэрилин на всю жизнь осталась для нее поэтическим существом, воплощением сияющей женственности, чья власть над воображением мужчин радостно переживалась ею как месть за несправедливый удел всех женщин. «О дорогая, — говорила она, мечтательно глядя на Мэрилин в новом платье и поймав ее безукоризненно отточенную позу, — у тебя есть все!» — оставляя в стороне вопрос, почему та не могла быть счастливой. Но Мэрилин понимала, о чем она говорила, и обе хохотали, безнадежно покачивая своими светлыми головками в объятиях друг друга.

Казалось, я не мог ступить шагу, чтобы не ущемить интересы того или иного правительства: на этот раз канцелярия лорда-камергера сообщила, что пьеса «Вид с моста» не может быть поставлена в английском театре, поскольку Эдди Карбоне обвиняет двоюродного брата жены в гомосексуализме и в подтверждение, крепко обняв его, целует в губы. Несмотря на то что гомосексуализм был широко распространен, он все еще

воспринимался как нечто запретное, и в 1956 году о нем нельзя было открыто говорить со сцены.

Этот конфликт мгновенно разрешил Бинки Бомонт, глава «Эйч-Эм Теннент», одной из наиболее активных и процветающих лондонских фирм по постановке театральных пьес, приняв не просто изысканное, но весьма выгодное, по крайней мере для него, решение. Частному театральному клубу по закону предоставлялись почти неограниченные свободы. И он тотчас превратил обычное коммерческое предприятие Театр комедии в Клуб театральной комедии, отчего цены на билеты возросли процентов на сорок, поскольку зритель непременно должен был стать сначала членом Клуба. Даже Бобу Уайтхеду, американскому сопродюсеру пьесы, не пришло в голову требовать свою долю с новой цены, пока об этом не стало уже поздно говорить. Когда он сообразил, Бинки ответил одной из своих улыбок, которых у него была уйма в запасе, — той, что я называю «английский проказник», — и отказал и Бобу, и моему агенту, настаивавшему на отчислении процентов в мою пользу. Бомонт был мне симпатичен своим безудержным честолюбием: что бы он ни финансировал, спектакль или концерт, это всегда должно было быть блестяще. Для него существовал только один зритель, и никакого многообразия человеческих пристрастий: как в елизаветинские времена, главное было завоевать его. На переговорах он всегда занимал жесткую позицию, но, похоже, любил театр, хорошие пьесы и понимал толк в актерской игре, стремясь, чтобы это тоже было выдержано на уровне. Бывало, он месяцами запускал по понедельникам в работу по новой пьесе, так как его труппы были разбросаны по всему городу. Когда я сделал ему комплимент, заметив, что нас привезли на премьеру в роскошных «роллс-ройсах», он обрезал: «Они из проката» (вне всякого сомнения, для того, чтобы прекратить всякие разговоры о процентах). Как продюсер он мог сказать «да» и запустить пьесу без предварительных консультаций — один из последних могикан, у которого были не только деньги, но и вера в собственный вкус. Ему, конечно, весьма повезло, ибо англичане были лучшие зрители в мире.

Прослушивание актеров для пьесы «Вид с моста» проходило в театре, тыльной стороной выходившем на овощные ряды Ковент-Гардена. Сидя около Питера Брука, я с трудом выслушивал, как актеры, только что, казалось, окончившие Оксфорд, старательно выговаривают на итало-американском бруклинском диалекте жаргонные словечки. И в какой-то момент не выдержал и, от отчаяния, предложил Питеру поискать нужные нам типажи в рабочем квартале позади театра, поговорив с уличными

торговцами.

— Неужели мы не найдем какого-нибудь сына бакалейщика, который хотел бы стать актером? — спросил я его.

— Это и есть сыновья бакалейщиков, — ответил Питер, показав на группу молодых джентльменов, ожидавших своей очереди у края оркестровой ямы, — просто они уже разучились говорить на своем языке. Герои пьес в основном — выходцы из среднего класса, да и пьесы пишутся только про них.

Та же ситуация почти через тридцать лет повторилась в Китае, когда я настоял, чтобы актеры, занятые в моей постановке «Смерти коммивояжера», не пытались маскировать свою национальность западными париками и гримом. Поначалу они были даже несколько обескуражены тем, что им предложили отойти от привычных условностей театра, далекого от реальности жизни. Китайцы шли в театр, чтобы окунуться в поэзию, музыку, интерпретацию, а вовсе не за имитацией действительности.

Поскольку у Энтони Куэйла, Мэри Юри и других актеров не было возможности освоить сицилийско-американский акцент, они заговорили между собой на жаргоне, о котором на земле никто слыхом не слыхивал. Однако английский зритель ни на минуту не усомнился, что он слышит подлинную бруклинскую речь. Любопытно, что актеры и сами уверовали в это, а я не стал их разубеждать, ибо отчеканенный ими язык вкупе с манерой игры создавали особый условный мир, внутренне оправданный и глубоко убедительный, даже если это едва напоминало бруклинский порт, а может, и вовсе не напоминало. Брук поставил «Вид с моста» как героическую пьесу большой эмоциональной силы. Типажи рабочих были выведены реальнее, чем в жизни, величественно и неординарно. Действие начиналось сценой на улице в Ред-Хуке, у кирпичной стены доходного дома, которая раздвигалась, открывая квартиру в подвальном помещении, над которой лабиринтом вилась пожарная лестница, то исчезая, то появляясь на заднике за фасадом здания. В финале на нее из всех квартир выходили соседи — хор — и Эдди взывал к ним, к обществу, к своей совести, ища поддержки. Сцена, в которой стена трехэтажного здания расчленялась на две половины, вселяла трагический ужас и вырастала до размеров катастрофы-мифа.

Еще одна вещь поразила меня во время работы. Когда на сцене были установлены декорации, Питер пригласил в зал с дюжину жен рабочих сцены с детьми, которым их мужья с гордостью демонстрировали и объясняли механику перемены декораций. Особенно понравилось, как раздвигалась стена дома; родные охали и ахали. Я никогда не видел, чтобы в Нью-Йорке

рабочие сцены когда-нибудь проявляли столько энтузиазма, поэтому и результаты были другие. У нас все решали деньги.

По тем временам это была экзотическая для Англии пьеса; театр был благонравным и беззубо-вежливым. Пресса восприняла пьесу весьма благожелательно, к тому же она разбудила театральную общественность, и через несколько недель в театре «Ройал Корт» состоялось большое собрание, участники которого говорили о необходимости изменить состояние английской сцены.

Я не предполагал, что большинство вопросов будет задано мне, ибо на сцене присутствовало несколько выдающихся актеров и режиссеров, не говоря о местных знаменитостях вроде Коллина Уилсона, повстанца и бродяги, а также Кеннета Тайнена, лучшего критика тех лет, если не всего послевоенного периода. В пятидесятых — начале шестидесятых годов Англия, оглядываясь на Америку, уповала вдохнуть жизнь в свой театр — малоизвестный факт, в предании забвению которого преуспели американские критики, особенно из академических кругов.

Из зала неотступно задавали один и тот же вопрос — почему английский театр такой скучный. На мой неискушенный взгляд, исходя из опыта наших обескураживающих читок, я мог предположить, это связано с тем, что материал и темы сводятся исключительно к жизни среднего класса, причем все фильтруется с точки зрения благопристойности и добропорядочности, будто из-за плеча постоянно выглядывает здравый смысл. Появление «Оглянись во гневе» свидетельствовало, что наметилось какое-то оживление. Несмотря на свою оригинальность, революционные пьесы в английском театре появились на двадцать лет позже, чем на американской сцене, где им приходилось преодолевать те же барьеры обывательских представлений. Обращение к американским ценностям, интерес к американскому обществу с незапамятных времен, с О'Нила в двадцатые годы, хотя его и не всегда воспринимали как критика общества, знаменовали серьезность нашей драмы. Одним словом, английский театр заставил меня задуматься, не являлась ли его забывчивость собственных социальных мифов удобной формой существования.

Позже, когда я вернулся к этим мыслям, проблема представилась сложнее — необходимо было сделать скидку на классовость и кастовость общественной системы. В 1956 году, когда в Лондоне шла «Смерть коммивояжера» с Полем Мьюни, я как-то днем оказался в Палате общин и с пустой галереи для посетителей разглядывал, как Уинстон Черчилль и Энтони Иден, в то время находившийся в оппозиции лейбористам, с передней скамьи взирали с этаким аристократическим превосходством на

единственного в Палате общин коммуниста, Уилли Галлахера из Клайда, который держал речь, засунув руки в карманы помятых брюк, так что большие пальцы торчали вперед. Выступление Галлахера достигло кульминации, когда я услышал, как Черчилль, не пошевелив зажатой во рту сигарой, достаточно отчетливо прорычал sotto voce[18]: «Вынь руки из карманов, парень!» И Галлахер не устоял — за что, наверное, долго презирал себя позже. Это был разговор с классовых позиций, и он не смог ослушаться. Подобного я никогда не видел в Америке, где невозможно было себе такое даже вообразить — и окрик, и реакцию на него.

Театральное собрание проходило в воскресенье вечером, Мэрилин сидела в первом ряду. До этого я никогда не видел, чтобы профессионалы общались с ней как с равной; все были заняты серьезными вопросами, и никто не глазел и не говорил колкостей. Я не знал, как она отреагирует на такое спокойное восприятие собственной персоны, но на обратном пути, сидя за рулем машины, подумал, что если мы когда-нибудь заживем нормальной жизнью, то, пожалуй, нам будет неплохо вместе. Она тихо сидела в машине, погруженная в свои мысли. То, что известность лишает возможности непритязательного общения с простыми людьми, остается незаживающей раной. Дома в Роксбери все быстро привыкли бы к ней и едва ли относились иначе, чем к остальным.

Будучи приглашены, точнее, настойчиво званы на премьеру фильма, где должны были присутствовать королева и ее окружение, мы ехали в сопровождении двух машин — впереди и сзади — лондонской полиции без опознавательных знаков и с переодетыми в штатское сотрудниками Скотланд-Ярда, сидевшими рядом с шоферами. Мэрилин была в умопомрачительном платье красного бархата, пригнанном по фигуре так, что она едва могла в нем сесть. Чуть раньше, дома у Оливье, она тепло шутила с ним, забыв о долгих месяцах конфликта, и он был совершенно очарован ею. На блюде, стоявшем на камине, лежало штук пятьдесят открытых устриц, и я поглощал их стоя, радуясь, что у нас еще есть время перед отъездом на прием.

Королеве, принцу Филиппу и принцессе Маргарет представили в зале человек двадцать знаменитостей. Рядом со мной оказалась щупленькая, застенчивая девушка с подхваченными в хвост на затылке длинными волосами, и я расслышал ее имя: Брижит Бардо. Королева появилась в ослепительно сиявшей бриллиантами тиаре — политический

театр в театре. Мы все приняли участие в церемониальной игре, она протягивала руку, мы благодарно улыбались, кланялись, приседали. Мир подобен театру — это не метафора, а реальность; в данном случае это проявилось в ритуальных формальностях, регулировавших каждый шаг согласно прецеденту и этикету.

Лет тридцать спустя, когда я в Центре Кеннеди ожидал, чтобы выйти на балкон для почетных гостей, все было совсем по-другому. В зал вошли, широко улыбаясь, президент и госпожа Рейган; начав обмениваться рукопожатиями с приглашенными знаменитостями — Исааком Стерном, Денни Кей, Линой Горн, Хуаном Карлом Менноти — и нашими женами, Рейган по ходу дела дал совет, как быть, когда за короткое время надо пожать сотни рук, чем он в этот день и занимался. Видимо, он с кем-то не договорил на эту тему и теперь, продолжая оборванный разговор, заставил меня вытянуть руку так, чтобы, обхватив ее, с внутренней стороны нажать указательным пальцем на мое запястье. Это давало ему возможность высвободить свою руку в любой момент. «Черт знает, что делать, когда все хотят с тобой поздороваться, особенно пожилые дамы, — рассмеялся он. — Эти могут просто на колени поставить». Это был иной мир, хотя не менее театральный, и раскрепощенная непосредственность американских манер контрастировала с обхождением королевы. Она вызывала намного больше восхищения — этот восторг, даже триумф, будучи сферой ее работы, позволял судить, сколь мало иных занятий выпадало на ее долю.

Во время съемок бывали недели, когда все шло хорошо. Я садился на велосипед и отправлялся за десять миль в Шеппертон, чтобы успеть в студию к концу рабочего дня и увидеть, как Мэрилин смеется и шутит с актерами. Ларри казался более озабоченным и не таким счастливым. Я перестал вести счет времени, надеясь, что, как только фильм будет упакован в коробку, мы начнем новую жизнь. Мне пришлось съездить в Штаты, чтобы провести каникулы с детьми, и я вернулся с ощущением, что все идет в гору. Ситуация, однако, стала меняться к худшему, и Ларри, похоже, желая отвлечь нас, пригласил в театр.

Появление с Мэрилин в Лондоне все еще было непростой задачей. Чтобы не сорвать представление, нас подвезли к служебному входу и посадили на наши места в темноте, когда занавес уже начал подниматься. Я не обратил внимания, что мы приехали смотреть, а Ларри почему-то не назвал пьесу, режиссера и исполнителей. У нас не было программок, и мы не успели разглядеть афишу у входа в театр, так что, когда занавес пошел

вверх, я не имел ни малейшего представления, что предстояло увидеть. На сцене были декорации веранды роскошного особняка где-то на берегу Карибского моря. Я попытался вслушаться в реплики актеров, но их безупречная английская речь и сюжет, состоявший из одних слов без всякого действия, вскоре так убаюкали меня, что я едва боролся со сном. И зачем только Ларри привез нас сюда?

В какой-то момент я неожиданно понял, что ведущую роль исполняет Вивьен Ли, его жена. Вот оно что! Я прислушался, но с тем же успехом: пьеса казалась искусственной и надуманной, как цветок из стекла. В антракте я наклонился через Мэрилин к Ларри и спросил:

— Кто написал пьесу?

Его губы тронула усмешка, но он не ответил.

— Очень напоминает Ноуэля Коуарда, однако я не уверен. Чья это пьеса?

— Это «Пена Южного моря» Ноуэля Коуарда.

— Надо же!

— Да! — И он рассмеялся.

— Боже, что тут можно добавить!

— Ты уже все сказал!

Мы оба расхохотались. Не в силах скрыть разочарования в голосе, я спросил, кто ставил, ибо режиссура, на мой взгляд, была на редкость неудачна. Вивьен металась по сцене то вправо, то влево, то вперед, то опять назад.

Ларри снова помедлил и так же сухо усмехнулся.

— Интересно, кто все-таки ставил?

— Я.

Обхватив голову руками, я стукнулся о спинку переднего кресла, но наша дружба вынесла и такое. Постановка была частью его безжизненного прошлого и не вызывала эмоций, будучи не более чем картинкой былых времен.

Было тяжко видеть, как Мэрилин вновь впадает в раздраженное состояние. Она сердилась не только на Оливье, что он якобы к ней снисходителен, но и на Милтона Грина, с которым почти не разговаривала, и даже на самое себя. Я чувствовал, что поддаюсь ее настроению, однако ничего не мог изменить, так как прервать съемки было невозможно. Нараставшее, крепнувшее раздражение не внимало голосу разума. Стоило мне попытаться успокоить ее, она тут же усматривала в моих словах слишком банальный подход к ситуации. Действительно, ни один фильм, на мой взгляд, не заслуживал таких мучений: каждая сцена в буквальном смысле слова стоила ей жизни. Только позже я понял,

в чем разница между актерским и писательским ремеслом: актер сам являет собой искусство, тогда как писатель может отойти от своего детища, предоставив его другим. Я все еще верил, что роль принесет ей большой успех, а она переживает, не понимая этого. Но Мэрилин потеряла покой и сон, и сильные снотворные только усиливали болезненное отношение к фильму.

Мы оба пребывали в прострации, каждый испытывал чувство вины, которое поглощало все остальные. Нам не удалось, как по волшебству, изменить жизнь друг друга, и мы остались какими были, если не стали хуже. Казалось, надежды не оправдались, Мэрилин не хватало сил противостоять распаду нашего союза — она, как всегда, жила без оглядки, не извлекая уроков. Все повторялось — надежды, разочарование, — и в итоге подозрительность ко всем, кроме Гедды и Паулы, которые поддакивали, одна из любви, другая из умело скрываемого честолюбия.

К тому времени она уже больше года наблюдалась у врача-психоаналитика в Нью-Йорке. Позже были еще два психиатра, сначала Марианна Крис, потом Ралф Гринсон, оба великолепные специалисты, беззаветно ей преданные. Но несмотря на все усилия, ветвистое древо катастрофы разрасталось — его питало чувство, что она от рождения проклята, вернее, отлучена. И здесь не помогали ни знания, ни иллюзии. Жизненный опыт приходил к ней в двух ипостасях — либо в первозданной чистоте, либо в низменных переживаниях. Она обожала детей и стариков — тех, кто, как и она, был беззащитен и безобиден. В остальных таилась опасность, которую можно было победить только откровенной, обезоруживающей сексуальностью, которая не допускает чувств, но одну женственную жертвенность. Это не могло продолжаться долго, ибо трудно выдержать такой накал. Почувствовать себя в безопасности, забыться она могла только в момент crescendo[19]. Волна спадала, и Мерилин с ожесточением ополчалась на самое себя, такую никчемную, отбросы общества. Отвращение к себе не давало спать, и опять появлялись таблетки — медленное самоубийство из ночи в ночь. И все-таки она жила надеждой, как рыба, всплывающая из морских глубин, чтобы увидеть свет, прежде чем вновь провалиться в бездну. Для тех, кто знал о ее печалях, эти переходы, как ничто другое, наверное, свидетельствовали о ее величии.

Однако Англия, похоже, смирила нас обоих.

Тем временем у меня произошло еще одно столкновение с правительством. Как-то утром я сидел в музыкальном салоне и работал над «Неприкаянными», которые сначала писались в

прозе, когда увидел, что по дорожке к дому направляется полицейский в шлеме, с черным велосипедом. Он остановился у распахнутых французских дверей и заглянул, неожиданно ослепнув от темноты. Я встал, поздоровался.

— Скажите, вы господин Артур Миллер?

— Да. — Сердце екнуло от дурного предчувствия — наверное, что-то с детьми или с Мэрилин.

— Вас ждут в Форин-Офис, сэр.

— В Форин-Офис?

— Так точно, сэр.

— А где находится Форин-Офис?

— В Лондоне, сэр.

— Вы приехали за мной?

— Я получил распоряжение, сэр.

— Кто дал вам это распоряжение? На каком основании?

— Не могу знать, сэр.

Ситуация показалась настолько идиотской, что я подумал, не собирается ли он, желая доставить в Лондон, водрузить меня на велосипед, руль которого крепко сжимал обеими руками.

— Первый раз слышу об этом, — сказал я.

— Вас просили приехать сегодня, сэр. Машина ждет. Вы не могли бы собраться? Она сейчас подъедет.

Передо мною, сжимая руль, стоял образцовый провинциальный полицейский из романа Агаты Кристи, в высоком черном шлеме и с невозмутимым выражением голубых глаз. Я ответил, что у меня своя машина с шофером и я воспользуюсь ею.

Когда через час мы подъехали к Форин-Офис, он уже поджидал у входа, хотя ему надо было всего лишь провести меня по лабиринту коридоров. Мы миновали человек двенадцать просителей разных национальностей в живописных одеждах и вошли наконец в какой-то кабинет с единственным окном на уровне головы, выходившим в просвет вентиляционной шахты. Воистину это была диккенсовская страна. Меня приветствовал сильно прихрамывающий офицер с гвардейскими усами и повязкой на глазу. Похоже, выправкой он был обязан корсету, видневшемуся в разрезе дорогой набивной рубашки, — сбитый в прошлом пилот «спитфайера», исполненный оптимизма.

— Как съемки? Как Суррей? Я видел в газете, вы катаетесь на велосипедах — прекрасное место для прогулок, не правда ли? Там где-то поблизости, если память не изменяет, есть очень уютный кабачок. Вам удается работать? Отлично! Надеюсь, мы когда-нибудь прочитаем то, что вы пишете. Мне очень понравилась ваша «Смерть коммивояжера» с Полем Мьюни, в

«Фениксе», по-моему, если не ошибаюсь? Это было воистину превосходно!

Закончив немного лукавую, возбужденную болтовню, будто мы сидели за обеденным столом в ожидании жареного фазана на деревянном блюде, он взглянул мне прямо в глаза. Я заметил, что он рыжий.

— Срок действия вашего паспорта истекает в следующем месяце.

— Неужели? Возможно, вы правы. Я давно не заглядывал в него.

Так вот в чем дело: Конгресс обвиняет меня в неуважении, в перспективе маячит слушание в федеральном суде, а англичане выдают паспорт только на шесть месяцев. Я почувствовал на горле длинную руку Госдепа, Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и моих доброжелателей в высшем эшелоне власти.

— У вас еще есть вопросы?

— Хотелось бы узнать о ваших дальнейших планах. Что вы собираетесь делать по окончании съемок?

— По окончании? Мы уезжаем домой.

— Спасибо. У меня больше нет вопросов.

— Понятно. Но почему такая спешка?

Он сделал вид, что не заметил легкого упрека.

— Скажите, у вас есть в Америке дети?

— Да.

— А в Англии есть недвижимость?

— Нет.

— Родственники?

— Я мечтаю поскорее возвратиться домой.

— Вот как. Спасибо, что приехали.

Он встал. Мы пожали друг другу руки.

— Должен признаться, мне ничего другого не оставалось.

Мы рассмеялись. И ему захотелось мне кое-что объяснить:

— Бывает, люди отказываются возвращаться в Америку. И нам бы не хотелось, чтобы…

Иными словами, возмутись я травлей и реши поселиться в Англии, то нанес бы оскорбление своей собственной стране. За пять с лишним лет «холодной войны» так поступили Чаплин, Джозеф Лоузи, Ларри Эдлер и многие другие актеры. Да, это был бы крупный скандал, вздумай Мэрилин обосноваться здесь. Ребятам из Вашингтона пришлось бы изрядно попотеть, чтобы вернуть меня обратно.

Возвращаясь в Суррей, я распрощался с последними иллюзиями относительно существовавших в Англии свобод. В

этот момент страна была столь политически зависимой, что это подрывало ее экономическую самостоятельность. Жаль. Еще одно разочарование в жизни. Однако не стоило забывать, что в машине с опрятно одетым шофером я еду в уютный загородный дом в одном из прелестных уголков Англии. Сюрреальное в 1956 году рядилось в обличье натурализма. Если бы меня объявили парией в другую, более упорядоченную эпоху, я бы спрятался в живой изгороди, только меня и знали. Неудивительно, что реальность было так трудно воспроизвести в слове, уловить и почувствовать свою причастность к ней. Джон Проктор и Эдди Карбоне верили в Бога, но общество предало их анафеме как еретиков. А теперь? Со мной в машине сидел двойник, мое второе «я». Каждое утро я брил его, потом, если надо, посылал отвечать журналистам или улаживать дела в Форин-Офис. Наверное, он был мало похож на меня, ибо только тогда могла появиться мысль, что я способен покинуть Соединенные Штаты, страну, которую любил так же сильно, как мой двойник ненавидел ее.

Вернувшись домой, я опять засел за «Неприкаянных», историю трех бездомных мужчин, обреченных скитаться и разводить диких лошадей для дешевой собачьей тушенки, и женщины, такой же бездомной, как и они, которую держит лишь святость внутреннего отношения к жизни. Это была история о равнодушии мира, которое я так остро пережил в Неваде. И теперь ощущал везде. Мы все были поражены недугом бессилия над ходом собственной жизни. Невада лишь обострила это чувство потери.

Мэрилин можно было считать какой угодно, только не равнодушной: сама боль взывала к жизни, сражалась в ней с ангелом смерти. Она была живым укором всем, кто не задумывался над этим.

Ситуация усугублялась общей политической атмосферой — прошло всего десять лет после окончания самой страшной войны, а два главных союзника в борьбе с гитлеризмом дошли до того, что готовы были вцепиться друг другу в глотку. Все это лишало жизнь смысла и усиливало грусть.

Гостеприимство Англии сразу бы улетучилось, вздумай я попросить политическое убежище. Я вспомнил о полицейском и о грубом допросе венгерской четы.

Суррей с его спокойным уютом, достатком, подстриженными живыми изгородями напоминал один из пригородов Нью-Йорка — Уэстчестер. Если я не был изгоем, то по истечении срока действия паспорта стану им. И, вернувшись на родину, предстану перед федеральным судом. По опыту тех, кого обвиняли в неуважении к властям, это грозило обернуться тюрьмой.

Удивительно, насколько сейчас это мало меня интересовало — так, случайная информация.

Однажды ночью я долго не мог заснуть, вышел к Пирамидальному озеру и растянулся на берегу. Казалось, я попал в картину Дуанье Руссо — неподвижная низкая луна висела над огромным замкнутым пространством черной воды, а вокруг призрачно возвышались горы. Где-то в глубине плавала древняя доисторическая рыба. В стороне лежал остров с гремучими змеями. Все замерло. Я мог оказаться частью чьего-то сна, мог выпасть из него в пустоту. И тогда бы мои дети никогда не узнали, что произошло с их отцом. Кто мог объяснить этот мир? Как задать нужный вопрос? Лишь немигающее око луны знало ответы. Англия почему-то напоминала Неваду. Может быть, оттого, что я уловил грустную нотку в голосе изувеченного пилота со «спитфайера», когда он задавал мне вопросы? Хорошо, если бы так…

Я испытал чувство мелкого удовлетворения от того, что долго живу, подумав, что и имена двух видных законодательниц шоу-бизнеса, Гедды Хоппер и Луэллы Парсенс, уже мало что кому говорят. Обе журналистки-сплетницы выступали охранительницами, фуриями, патронажными матронами Голливуда в те времена, когда до распада на мелкие студии он существовал в виде мощной конфедерации около полудюжины влиятельных кинофирм, которые опутали щупальцами весь мир. Они защищали его порталы от грешников, повстанцев и космополитов, недостойных дышать тем же чистым воздухом, каким дышали явно апостолические фигуры вроде Луиса Мейера, Гарри Коэна, Джека Уорнера, Даррила Занука, Сэма Голдуина и других. Статьи двух дам ежедневно читали миллионы людей, проникаясь официальной установкой, что превозносить и кого ненавидеть. Все это было бы нелепо, если бы не разжигало страстей против реальных людей, вроде Чаплина, вынужденного уехать после провала фильма «Месье Верду», чем он был обязан своей связи с левыми и либералами.

Ценности, которые с таким рвением отстаивали обе дамы, были весьма разнообразны, имя же им — развлечение. Не вдаваясь в теорию, они интуитивно почувствовали, что нация в ближайшее десятилетие отдаст предпочтение именно этой индустрии. За редким исключением, американский кинематограф проигнорировал такие явления, как набиравший силу фашизм, трагизм человеческих страданий во времена Депрессии, гражданскую войну в Испании, безумное процветание коррупции в гражданских учреждениях страны. Если эти темы и

затрагивались, то облекались таким густым слоем сахарного сиропа и сантиментов, что удары смягчались и раны затягивались сами собой.

Свирепое отношение двух дам к коммунизму можно сравнить только со схожей ситуацией в Стране Советов. Я вспомнил об этом лет десять спустя, когда приехал в Советский Союз и узнал о постановлениях партии, где от писателей требовали прекратить критику и только хвалить все либо заткнуться. Точно так же американское кино было призвано превозносить американские ценности, суть которых сводилась к идее развлечения. Я не один год размышлял, не была ли деятельность Комиссии против левых актеров в Голливуде спровоцирована не совсем осознанным страхом, что они могут ввергнуть страну в пучину бедствий, создав угрозу индустрии развлечений. Стараясь доказать отсутствие в своих сценариях политической подоплеки, подрывающей идею развлечения, некоторые сценаристы дошли до того, что приносили на заседания Комиссии кипы собственных произведений. Похоже, их действительно заставили уверовать, что чем глупее текст, тем он более проамериканский.

Мэтр высокой комедии, всеми признанный преуспевающий Теренц Рэттиган, устроил у себя дома в Лондоне прием в честь Мэрилин. В огромной зале строгого стиля небольшой оркестрик исполнял американские шлягеры, а лучшие представители английского театра танцевали или стоя болтали. В конце залы, подобно жрице в храме, в высоком резном кресле восседала взирающая на всех сверху вниз расплывшаяся женщина в черной кружевной мантилье. Это была Луэлла Парсенс. Она приветствовала всех сидя. Узнав, кто это, я удивился, что она имеет такое влияние в Англии. К креслу тянулась цепочка людей — актеры и режиссеры со своими спутницами подходили на поклон. Дама была в восторге — еще бы, ей воздавал должное не какой-нибудь голливудский schlock[20], а настоящая английская публика.

Странно, но ее лицо расплылось от удовольствия, когда ей представили меня. Изможденная физиономия хранила следы усталости от вечного выведывания чьих-то тайн, десятилетиями читаемых ею на чужих лицах с уверенностью, что в этом и состоит ее работа. Она наклонилась ко мне, протянув руку, и с типичным среднеамериканским занудством пригласила сесть рядом.

— Ах, как я рада вас видеть! Ну пожалуйста! Ну присядьте!

Я опустился в низкое кресло возле нее и поднял глаза, как на папу римского.

— Какое чудо, что вы приехали вместе с Мэрилин! Мы все так

любим ее! Как приятно, что она наконец-то счастлива!

Мне оставалось только кивать, вспоминая о статьях, где эта дама презрительно высмеивала Мэрилин, если та вдруг решалась в чем-то отойти от стереотипа судьбы восходящей кинозвезды и тем угрожала индустрии развлечений.

Я еще раз оглядел блистательное собрание. Все было похоже на сон, будто меня заперли вместе с сотней актеров в театре и они ничего не могут поделать, чтобы не разыгрывать мизансцены или не танцевать, хотя среди них были действительно талантливые люди, по-доброму настроенные к Мэрилин. Я почувствовал, что устал разбираться, кто искренен, а кто нет. Захотелось покинуть это представление и уехать домой.

VII

Название пьесы «Музыка для глухих» лучше всего отражало мое состояние по возвращении в Штаты, ту атмосферу, в которую я попал. Дирижируя первым исполнением своей Девятой симфонии, Бетховен, утративший к тому времени слух, разошелся с оркестром — взмахивая руками, он слышал одно, а публика — совершенно другое.

Я точно так же выпал из ритма времени. Казалось, вместо искусства страна решила потворствовать своим желаниям, и надо было быть очень неискушенным, чтобы узреть в этом нечто подлинное. В воздухе витал цветочный аромат нигилизма, но кто был я, чтобы выносить приговор? Иметь собственное суждение становилось все труднее. Однако мне от этого было легче, ибо я устал от морализаторства тридцатых и сороковых годов.

Нам удалось снять на удивление недорогую просторную квартиру на правом берегу Ист-Ривер. Жизнь входила в свою колею. По утрам Мэрилин отправлялась к врачу-психоаналитику, днем шла на квартиру к Страсбергам, где брала частные уроки у Ли. Время от времени мы навещали моих родителей в Бруклине. По этому случаю они собирали соседей, застенчиво выказывавших Мэрилин свое восхищение. Когда мы выходили из их скромного домика, на улице поджидала ватага ребятишек. Мэрилин не гнушалась общением с этими простыми людьми и с особой теплотой относилась к моему старику отцу, который при виде ее весь светился. Он всегда отдавал предпочтение людям со светлой кожей и умел ценить женскую красоту, но ее согревало то, как он по-отечески потакал ей. Он носил в нагрудном кармане потрепанную газетную фотографию, где они были вместе, и показывал каждому встречному. С возрастом он стал беззащитным, и Мэрилин испытывала к нему острую нежность. Пристроившись рядом с ним на диване, она забывала о своих неприятностях. В ее присутствии в нем просыпались увядшие чувства. Она обратила мое внимание на то, как глубоко он многое понимает, на его вкус к театру, обстоятельные суждения об актерах. В отличие от мамы, в который раз убедился я, он был трезв и несентиментален: отца труднее было провести претенциозным или дурацким сценарием. По его реакции я мог судить, получится в будущем из моего рассказа пьеса или нет. Поскольку он едва читал и писал, то чутко воспринимал все на слух, внимая жадно, по-крестьянски. И никогда не притворялся, что обладает вкусом или знаниями, но реагировал на все очень естественно. Если ему было что-то непонятно в моих словах,

значит, я что-то сам для себя еще не уяснил или, хуже, скатился в заумь и нес чепуху. По его голубым глазам порою читалось, что он отчетливо видит то, о чем я рассказываю, и появлялась уверенность: я еще скажу живое и подлинное слово.

Трудно было поверить, что в Вашингтоне меня поджидали прокурор штата с судьей, чтобы засадить за решетку. Я распутывал сложный клубок нитей новой пьесы. Кроме «Вида с моста», я ничего никогда не писал в городе — все создавалось на природе. И я начал подыскивать в пригороде дом, иногда забирая с собой младшего сына Боба.

Пробная сцена была готова — разговор молодого талантливого физика Карло с отцом, выдающимся ученым, которого он боготворит. Но отец сотрудничает с военными, чего Карло не одобряет. Сын разрабатывает новую волновую теорию: он может послать из атмосферы луч, пресекающий любую электрическую активность, в том числе сердцебиение. Не зная, что делать со своим открытием, он хочет поделиться с отцом, но во время разговора понимает, что не доверяет ему из-за военных.

Возникает безвыходная ситуация. Ученый должен поделиться радостью величайшего открытия, но, не имея возможности сделать это, замыкается, уходит в себя. Тайна гнетет его, он хочет рассказать обо всем коллеге, который вроде бы сотрудничает с русскими, — пусть открытие украдут, но хоть где-то проверят. Однако все повторяется, как с отцом, — никому нельзя доверять.

В состоянии внутреннего раздвоения он погружается в призрачный мир светотени — видит себя то властелином вселенной, то ничтожной пылинкой. Время от времени ему начинает казаться, что придуманное им оружие массового уничтожения существует только в его воображении, являясь выражением тайно подавляемой ненависти и страсти к разрушению. Доказать его существование невозможно, если не объявить об открытии на весь мир. Однако в этом вопросе Карло никому не доверяет. Тайна, глубоко сидящая в нем, гнетет и разрушает его, преследуя во сне и наяву. Он сам становится ею, превращаясь в историю, которую нельзя рассказать.

Стояла ненастная погода, и я предложил Мэрилин заехать за ней к Страсбергам, поскольку на улице в такой дождь машину не поймаешь. Войдя в прихожую их необъятной квартиры на Сентрал-Парк-Уэст, я, к своему удивлению, услышал мелодию, будто кто-то исполнял Стравинского на саксофоне и ударных. Ли вышел ко мне, и я спросил, кто так чудесно играет. Он загадочно усмехнулся и сказал, что это особая запись.

— Да, но что это и кто исполняет? — спросил я.

Он снова ушел от ответа и, несколько таинственно, свысока

улыбнувшись, еще раз повторил, что это особая запись.

В соседней комнате Мэрилин уже надевала пальто, мое любимое, верблюжье бежевого цвета, и в этот момент пластинка на проигрывателе рядом кончила играть. Я хотел было снять ее, но Ли помешал, осторожно взяв пластинку в руки. И не дал посмотреть названия, держа ее вертикально перед собой. Единственное, что я разобрал по серой наклейке, — что она была выпущена «Коламбией».

— Это Вуди Герман, — наконец произнес он.

— Надо же! Я никогда не знал, что он играет классику.

Мэрилин смотрела на Ли с благоговением.

— Как же, играет. Это он сам подарил мне.

— Что он исполняет? Я хотел бы купить.

— Ну что ты! Видишь здесь номер? — Он опустил пластинку и показал на длинный номер серии, который ставился на всех пластинках с классической музыкой. — Специальный номер. Он означает, что ты не можешь просто так пойти и купить ее в магазине.

— Это же стандартная наклейка. У меня все пластинки с такими номерами.

— Да нет, — настаивал он, но в голосе, казалось, проскользнула нотка сомнения.

— Как же тогда ты ее получил?

— Как-как… Вуди сам принес ее мне.

Я посмотрел ему в глаза. Мэрилин стояла рядом, испытывая гордость, что ее учитель был на дружеской ноге с известным музыкантом. Эта глупая игра вызвала во мне прилив отчаяния. Он, кажется, обеспокоился, что перебрал, и добавил:

— Нет, но если ты хочешь, запиши номер и закажи ее.

Вот это да: что ж это за уникальная запись, которую можно заказать и приобрести? Снова выскочил Вилли Ломен, подумал я. Все было очень странно.

Мэрилин все больше погружалась в атмосферу лжи, но никто, в том числе я, не мог ей этого объяснить. Она плела паутину, которая свисала с временно возведенных стропил. Я опасался, что в один прекрасный день их просто разберут. Единственное, на что оставалось уповать, — что она обретет силу. Ли оказался серьезным испытанием для нее, а значит, и для меня, поэтому я молился в надежде, что окажусь не прав и он не такой шарлатан, как я предполагал. Я понял, что не понимаю актеров; раз ему удается внушить им такую веру, то это не просто так. Я уговаривал себя, что знаю много ярких, талантливых артистов, которые молятся на него. С другой стороны, актеры не меньшего калибра считали его мошенником. Казан как-то сказал; великая

ошибка Страсберга в том, что, вместо того чтобы раскрепощать актера, он делает его все более и более зависимым от себя. Капитал актера — вера в себя. Если бы Ли удалось воспитать это чувство у Мэрилин, было бы не важно, какими средствами он этого добивается.

Странным казалось, что с каждой неделей она обретала все большую власть над миром, а болото ее сомнений нисколько не осушалось. Порой она напоминала одного из властителей, которых описал Толстой в «Войне и мире», — людей, которым по загадочному общему согласию дается власть над другими, хотя никто не может объяснить, почему это происходит, и они сами только наполовину верят, что им это отпущено от природы. Внутри же все то же уязвимое, испуганное человеческое существо, а в случае с ней — ребенок, обиженная маленькая девочка. Она только и делала, что проверяла, не относятся ли окружающие, весь мир к ней враждебно, и люди чувствовали, что ее необходимо утешить, такую милую, всегда готовую улыбнуться и в то же время завоевательницу. И они дарили ей утешение, которое все дальше уводило от правды. Но в один прекрасный день она обязательно станет сильной, в тот день, когда поймет, что любима…

И тогда она, подобно несчастной издерганной героине одного из стихотворений Рильке, подойдет к окну в своей комнате, взглянет во двор и увидит огромное дерево, которое видела сотню раз.

— Und plötzlich ist alles gut[21].

Оно придет, это чувство равновесия, целительная внутренняя тишина, не знаю, то ли через меня, то ли нет, но ей откроется это состояние души, когда все хорошо.

За последние пять-шесть лет великой охоты за красными в Америке прошли десятки процессов, и ни один из них не занимал более одного-двух часов. Процедура была проста: зачитывались вопросы, на которые подсудимый отказывался отвечать Комиссии Конгресса; тогда какой-нибудь «эксперт»-советолог классифицировал это как пособничество в распространении коммунистического влияния, после чего судья оглашал приговор, где обвиняемый осуждался за неуважение к властям. Лет десять назад это грозило тюрьмой, что и произошло с «голливудской десяткой» — за свои левые убеждения сценаристы и режиссеры поплатились годом тюрьмы. Теперь все приелось, страсти поулеглись и не было особой нужды выносить суровые приговоры.

Обычно это заканчивалось штрафом или условным заключением, хотя твердой уверенности не было. В моем случае дело получило широкую огласку, поэтому были основания полагать, что Комиссия ужесточит приговор, тем самым пытаясь оправдать свое существование.

Вознесенный над залом судья районного федерального суда Чарлз Маклафлин напоминал президента Уоррена Гамалиела Гардинга, чье красивое лицо в траурной рамке я видел в витринах магазинов в далеком Фар-Рокавее. У Маклафлина были аккуратно зачесанные назад седые волосы. Он бросил сверху дружелюбный взгляд на своих коллег — соратника по демократической партии Джо Рауха, моего адвоката, и прокурора Хитца — и заявил, что заседание продлится не более полутора часов плюс-минус какие-то минуты. Его поддержал Хитц, бойко заверив, что государственное обвинение не займет много времени. Им дружелюбным баритоном ответил Джо Раух, который, хохотнув и поправляя галстук-бабочку в горошек, заявил, что по его делу слушание продлится не менее четырех, а то и пяти дней.

Я скорее слышу, чем вижу растерянность Хитца — дребезжащий звук волчка, когда его поднимешь над ковром и он выдыхается, вращаясь. Судья, как и Хитц, понял, на что намекает Раух, и остолбенел — вместо того чтобы капитулировать, адвокат собирался выиграть дело о неуважении к властям. Я был настолько неискушен, что ничего не понял, пока Джо не разъяснил этого мне. Однако почувствовал, что после его заявления ко мне резко изменилось отношение в зале — от стола и от скамьи потекли отрицательные флюиды. Видимо, там решили — раз подсудимый решил выиграть дело, значит, подсознательно выступает против четко отработанной процедуры. У Рауха, однако, был прецедент — дело Уоткинсона. Так что даже в том случае, если он не выиграет мое дело, Раух мог настоять на внесении в протокол решения, которое позволит подать апелляцию. С Уоткинсоном ему удалось отстоять перед Комиссией требование задавать подсудимому лишь те вопросы, которые непосредственно связаны с судебным расследованием. Таким образом, был положен конец годами длившемуся произволу, когда по распоряжению Комиссии людей хватали прямо на улице. Теперь для этого нужно было доказать, что обвинение соответствует статье законоположения, которое Комиссия активно собиралась провести через Конгресс. В ходе заседания дважды вставал вопрос о моем паспорте, но защита смогла показать, что это ведет к повторению дела Уоткинсона. И действительно, все чуть было не превратилось в процедуру под названием «Расследование о нарушении правил пользования

паспортом Соединенных Штатов».

Однако правильно я пользовался паспортом или нет, не имело никакого отношения к отказу назвать имя писателя — участника того давнего собрания. К моему глубочайшему изумлению, постепенно сменившемуся отчаянием, мистер Хитц каждое свое выступление начинал с одной и той же фразы, повторяя ее на все лады: «Господин Миллер отбыл в Чехословакию, отлично зная, что с паспортом США въезд в эту страну запрещен…» И действительно, это было бы нарушением, если бы я когда-нибудь был в Чехословакии, а я не был даже близко от ее границ. Интересно, как они собирались доказывать свою ложь. Сколько бы Хитц ни брал слово, повторялось одно и то же. Раух, согласно процедуре, каждый раз вставал и усталым голосом говорил, что я никогда не был в этой стране, на что судья поворачивался в сторону Хитца и просил его продолжать.

Стараясь не заснуть, я делал беглые зарисовки участников и, как все новички, не мог смириться с тем, что дело движется черепашьими шагами. После тягостных часов, проведенных в суде, мы с Джо отправлялись к нему домой и, открыв бар, напивались как никогда, по крайней мере я. На третий день, не успели мы пропустить по рюмке виски, широкое лицо Рауха расплылось в улыбке, и, ткнув в меня пальцем, он сказал:

— Вот это да!

— Что такое, сэр?

— Хитц настаивает, что ты был в Чехословакии в 1947 году — ведь в 47-м, верно?

— Да, в 47-м.

— Но в 47-м Чехословакия была демократической страной. Если не ошибаюсь, там президентом был Эдуард Бенеш. И никаких коммунистов.

— О Боже! Значит, я был в свободной стране и ничего плохого не сделал. Хотя я там все равно не был.

На следующий день Раух был само ожидание — Хитц с минуты на минуту должен был начать ежедневную молитву. И момент наступил:

— Зная, что, согласно паспорту, ему запрещен въезд в Чехословакию, господин Миллер…

Раух резко вскочил и высоко, как в баскетбольном броске, выбросил руку:

— Ваша честь…

Удостоенный августейшего внимания скучавшего Уоррена Гардинга, Джо выдержал паузу, словно перед ним на столе появилась большая аппетитная баранья отбивная с листиком петрушки и зажаренным в сметане картофелем. Повторив, что

господин Миллер никогда не был в Чехословакии, он обратил внимание суда на то, что в те годы это была демократическая страна, глава которой, президент Бенеш, являлся другом Соединенных Штатов. И добавил, что это исторический факт.

Интересно, что они будут делать дальше? Пауза! Гардинг посмотрел вниз на Хитца, тот в ответ поднял глаза. Раух сел, поправил двумя пальцами «бабочку» и прихлопнул ее.

Наконец судья произнес:

— Я полагаю, что это подпадает под четыре пункта обвинения. Продолжайте, господин Хитц.

Я нетерпеливо наклонился к Джо и прошептал:

— Какие еще четыре пункта обвинения?

Такое ощущение, будто надо мной растянули полог четырехугольной палатки и мне не хватает воздуха. Раух наклонился к самому уху:

— А никакие! — и захохотал. Его веселье было так заразительно, что я не мог не рассмеяться в ответ — с чего вдруг, одному Богу известно.

Можно жить вне времени, можно — во времени, а можно — на стыке времен. Четверть века спустя я был приглашен на официальный обед, который Джо Шульц давал по случаю торжеств, посвященных памяти Кеннеди. Мы с женой Ингой Морат пригласили с собой Джо Рауха с Оли. Зал приемов в Государственном департаменте был на ремонте, и нас собрали в специально обустроенной по этому случаю гостиной в Кэнон Офис Билдинг. Приглашенных было больше ста человек, масса знаменитостей. Войдя, мы оказались в толпе, так что толком нельзя было оглядеться. Свежевыкрашенный пол и потолок обращали внимание неожиданной яркостью тона, непривычной в таком унылом федеральном учреждении. Сидя на стуле, Джо неожиданно сделал полный оборот и, перегнувшись через Оли, сказал, что я имею честь пребывать в том же зале, где проходило слушание по моему делу в сенатской Комиссии.

Конечно, вокруг ничего нельзя было узнать, особенно теперь, с накрытыми столами. Но, даже представив то помещение, я не смог увязать все воедино. Ирония, вот, пожалуй, единственное, что я испытал, однако у нее появился какой-то холодный металлический привкус, стоило вспомнить о бушевавших здесь страстях. А сейчас — веселые лица гостей, жизнерадостно улыбающийся государственный секретарь, множество знаменитостей, отмеченных, как и я, особыми почестями. Вдруг показалось, будто я заглянул сюда откуда-то со стороны и все мало похоже на реальность. Я боялся, что после гонений, которые пережил, едва ли смогу посещать приемы, где царит

самодовольство. Однако ничего не произошло — я уютно чувствовал себя в доброжелательной атмосфере. А может быть, просто пребывал в иллюзии, что изжил страх перед властью, — вплотную приблизившись к ней, я понял, что она не таит для меня ничего притягательного. Но при этом потерял былую веру в возможность вечного процветания системы. Единственное, что здесь осталось от тех времен, — это американский флаг, стоявший все на той же тумбе у стены. Возможно, это был тот самый флаг, под которым восседал конгрессмен Уолтер. Как я верил в него, зная, что для многих он являлся символом беспринципного обогащения и надменной недальновидности. Но разве можно совместить то и другое в едином, целостном переживании жизни? Или стоит признать, что это был сон вечной ссылки и вечных возвращений?

Насколько помнится, единственная стоящая беседа за всю неделю моих мытарств во время суда состоялась с бывшим сенатором Гарри Кейном, которого Раух вытащил из его своеобразного заточения во Флориде, пригласив в качестве «эксперта по вопросам коммунизма». Кейн читал мои пьесы и не находил, что я был «под влиянием коммунистической партии». «Экспертную оценку» в подобного рода судебных разбирательствах давало государство, приглашая какого-нибудь бывшего деятеля от коммунистической партии доказать, что у обвиняемого наличествуют все признаки коммунистического Люцифера. Как ни странно, эта процедура полностью повторяла салемские процессы 1692 года, когда священники выступали в качестве специалистов по колдовству — один из них, преподобный Хейл из Беверли, выведен у меня в пьесе. Этот исторический прототип — Хейл в «Салемских ведьмах» — в какой-то момент осознал, что одержимые колдовством девочки просто используют его, и в раскаянии попытался спасти тех, кого в результате его «экспертизы» приговорили к повешению. Я поразился, узнав, насколько эта старая история напоминает историю Гарри Кейна.

Отмеченный многочисленными знаками отличия за участие в корейской войне, Кейн был одним из немногих, кто раскаялся за свои действия во время охоты на красных. Волна антикоммунистической истерии застала его на родине, в штате Вашингтон. Сделав ставку на то, что этот человек далек от всякой политики, республиканцы выдвинули его, и он был избран в Сенат. Основной темой предвыборной кампании он сделал коммунистическую угрозу и настолько уверовал в нее, что потребовал, чтобы из страны выслали Чаплина, когда тот обратился к «доморощенному коммунисту Пикассо» с просьбой

организовать во Франции кампанию протеста против репрессий в Америке.

Кейна поддержал Джо Маккарти, но даже тогда, в угаре страстей, Гарри показалась странной его параноидальная жажда мщения. Как-то вечером оба выступали в здании Американского легиона, как вдруг в заднем ряду поднялся какой-то парень и пошел критиковать Маккарти. Его тут же вышвырнули из зала на улицу «свои» ребята, но странно, как на это отреагировал Маккарти — он рехнулся от бешенства, его чуть удар не хватил, настолько он был в ярости. Дикость какая-то.

Прошло несколько лет, и мы как-то сидим вечером с женами, играем в покер. Вдруг Джо взглянул на меня и говорит:

— Что ты думаешь по поводу этого парня?

Я не сразу сообразил, о ком он.

— Ну этого, из Американского легиона, помнишь, мы как-то вечером выступали и он понес на меня.

Я едва вспомнил — столько воды утекло. Трудно поверить, но он все еще держал его в голове и злился, как это кто-то в Такоме несколько лет назад позволил себе не согласиться с его выступлением. Я сказал что-то вроде:

— По-моему, его выкинули из зала. Причем непонятно за что.

— Что значит, за что! Боже, да ведь этот сукин сын понес на меня!

Он снова впал в бешенство, как и тогда. Трудно этому поверить, потому что Джо был неплохой парень, совсем неплохой. Даже приятный, хороший, если ему хотелось. Он просто оседлал коммунистического конька, и полный вперед. У меня сложилось впечатление, что он боялся, как бы тот под ним не издох, и поэтому все время искал врагов…

— Сказать по правде, кто жаждал мести, Артур, так это жены. Сидим играем в карты в какой-нибудь компании, сенаторы, их супруги, так вот поверишь, обязательно заведут разговор, и все чаще они. «Когда вы доберетесь до этого или того? Почему вы им позволяете делать такие заявления? Этого подонка обязательно надо привлечь!» Вот уж где были настоящие ненавистники!

В суде Кейн сказал, что он читал мои пьесы и считает, что в политическом плане они столь противоречивы, что не могли быть написаны под диктовку партии. Я с удовольствием прослушал его выступление, но было понятно, что поезд не остановить, — он несся по проложенным путям к станции назначения.

Перерождение Кейна произошло в связи с его прежней работой, когда он возглавлял Комитет по контролю за подрывной деятельностью. Его назначил президент Эйзенхауэр, после того как тот потерпел поражение на вторых выборах в Конгресс. В

задачи Комитета входило следить, чтобы в государственных структурах и на государственных постах не было красных. Ежедневно в его адрес приходило огромное количество писем, где все друг друга в чем-то обвиняли. Кого в реальных симпатиях, кого в надуманных плюс небольшое, но постоянное число жалоб от тех, кто просил снять с себя облыжное обвинение в прокоммунистических взглядах и связях. Почту без особого шума списывали в архив. Внимание Кейна привлек своим упорством какой-то человек из Балтимора, в полуграмотных письмах, приходивших через день, протестовавший против того, что его несправедливо уволили за нелояльность. Настоящий красный, подумал Кейн, не может быть настолько безграмотен, и он пригласил его для разговора, полагая, что тот скорее всего не приедет. Однажды утром незнакомец все-таки прибыл и сумел убедить Кейна в своей невиновности: его перепутали с однофамильцем, который помогал какому-то партийному фронту. Кейн восстановил его на работе и теперь по-новому смотрел на груды признаний, отречений, покаянных раскаяний, разоблачений — обломки судеб тысяч американцев, которым выпало жить при «Новом курсе», а теперь их попросту обвинили в подрывной деятельности. Он попытался отделить тех, кто был красным, от тех, чья приверженность вызывала сомнения, крайне левых радикалов от умеренных левых, не говоря уже о левых либералах, и, пережив несколько беспокойных недель, пришел к выводу, что правительству вообще лучше не путать идеологию с политикой. У него состоялась беседа с Эйзенхауэром, с которым он поделился глубокой озабоченностью, что в государстве нарастает влияние тоталитарных структур, которые контролируют умы. Эйзенхауэр выслушал его, и Кейн был тут же уволен.

Теперь, когда шло мое судебное разбирательство, он регулярно выступал с политическими комментариями по одному из телевизионных каналов по Флориде. Мы беседовали в гостиной у Раухов — передо мной сидел человек с особой усталой, тонкой улыбкой, которая бывает у тех, кого изрыгнула власть и они знают, что уже не вернутся туда.

Когда судья Маклафлин посмотрел на меня со своих высот и спросил, не желаю ли я выступить перед объявлением приговора, на добром лице этого провинциала со Среднего Запада промелькнуло некоторое смущение. Мне нечего было добавить к происходящему, и меня приговорили к штрафу в пятьсот долларов и месяцу тюрьмы условно. Через несколько месяцев Апелляционный суд закрыл это дело, сопроводив небольшим комментарием, касавшимся сугубо процедурных моментов.

Спайрос Скурас не преминул прислать по этому поводу в высшей степени исполненную воодушевления телеграмму. Маклафлин отбыл, едва успели огласить приговор, извинившись перед Раухом, что должен присутствовать на похоронах. Мы с Джо собрали свои бумажки — мои с какими-то случайными набросками, несколько его бумаг — и без спешки вышли на широкие ступени здания суда навстречу яркому вашингтонскому солнцу, как вдруг он схватил меня за руку. «Слушай! Ты ведь не можешь вот так покинуть здание суда, когда тебя обвинили в преступлении! Надо, чтобы кто-то за тебя поручился!»

И он бросился по пустому мраморному коридору в поисках поручителя, который бы внес за меня залог, и чиновника, который должен был освободить меня. Но оказалось, мы живем в кафкианской стране: было начало шестого, и в здании федерального суда в это время не сыщешь ни одного клерка. Что делать? Если уйти просто так, это могло навлечь на нас новое обвинение, что мы избегаем правосудия. По счастью, попался случайный клерк, который шел домой. Он согласился вернуться в офис и выдать нужные марки и документы.

Двадцать пять лет спустя, в начале восьмидесятых, я получил письмо от профессора литературы из университета со Среднего Запада, который писал, что доводится племянником ныне покойному судье Маклафлину, который своими человеческими качествами и интеллектом оказал серьезное и благотворное влияние на его становление. Интересно, что было бы, если бы я поделился своими впечатлениями о его дядюшке, который признался ему, что был весьма удручен своим участием в том судебном разбирательстве и сожалел об этом? Что я действительно думал о нем во время суда?

Я написал профессору, что не испытываю к судье никаких претензий, ибо он оказался всего лишь мелким винтиком в механизме. В конце концов в те времена мне не предложила помощь ни одна из независимых общественных организаций, точно так же, как за два года до этого, когда меня отстранили от работы над сценарием о преступности среди несовершеннолетних, только «Уорлд телеграм» сочла возможным, чтобы я завершил работу, но с условием, что мое имя не будет упоминаться в титрах. Это вопиющее беззаконие не вызвало никакого отклика ни у общественности, ни в литературных кругах, ни в общественных организациях, которые отстаивали свободу, ни у возрождавшихся левых, ни у правозащитников-троцкистов, все силы бросивших в те времена на борьбу с советским тоталитаризмом и убийственным обращением с советскими писателями. Это привело к тому, что, несмотря на

просоветские симпатии в прошлом, я позже избежал верноподданнических заявлений и громких антисоветских протестов, как и раньше, опасаясь слепого антикоммунизма, способного легко перерасти у нас в стране в примитивный фашизм и втянуть в войну за нашими границами. Короче говоря, я не смог жить, закрыв глаза на то, что происходило у нас дома, и в течение долгих лет мне не прощали этого во влиятельных литературных кругах, где такие вещи значат не меньше, чем сама литература, а то и больше.

Слушания по моему делу и суд не принесли в профессиональном плане никаких новых переживаний. «Салемские ведьмы» были написаны пять лет назад, и из всей процедуры я не вынес ничего нового. Хотя с точки зрения большой перспективы это меня кое-чему научило: десять лет спустя, задолго до того, как подобные проблемы попали в круг интересов западных интеллектуалов, я, отчасти просто в силу экзотики, принял предложение стать президентом международного ПЕН-клуба, организации поэтов, эссеистов, прозаиков, которая в те времена была на последнем издыхании. Ее лондонское руководство во главе с Дэвидом Карвером прибыло ко мне в Париж, когда я находился там, в отчаянии пытаясь подыскать какого-нибудь работающего писателя, который смог бы оживить ПЕН, став его президентом. Думаю, ни один из творчески работающих литераторов, у кого не успевает отдыхать машинка, не пожелал бы себе такой работы, но, промучившись несколько недель, я счел невозможным отказаться, ибо мой опыт дал слишком ясное представление о том, каким гонениям могли подвергаться писатели в Восточной Европе и в других невежественных, непросвещенных местах, где их едва ли кто мог услышать, а еще меньше помочь, стоило государству принудить всех к молчанию. В середине шестидесятых я понял, что, возможно, могу ускорить наступление тех времен, когда растоптанный «холодной войной» человеческий принцип, временно загнанный в подполье, сможет наконец утвердиться. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности породила во мне желание сделать так, чтобы ее существование оказалось в дальнейшем невозможно в моей стране, а когда-нибудь, пусть и не очень скоро, во всем мире.

Окна дома, который мы сняли в восточной части Лонг-Айленда, выходили на зеленые луга. Трудно было поверить, что поблизости океан. Наши соседи — художница с мужем — вели замкнутый образ жизни, охраняя тем самым и наш покой. Войдя в более размеренный ритм, мы смогли вздохнуть посвободней.

Мэрилин решила научиться готовить, начав с домашней лапши: развешанное по спинкам стульев тесто она подсушивала феном. Усевшись на солнышке, любила делать мне стрижку, подравнивая волосы. Мы тихо гуляли по пустынному пляжу Амагансетт, иногда беседуя с рыбаками, которые чинили сети, разматывая их с помощью лебедок, установленных на проржавевших грузовиках. Местные жители, по прозвищу «бонакерс», тепло и уважительно относились к ней, хотя их удивляло, что она бегает по пляжу и подбирает выброшенную ими из сетей мелкую рыбешку — «малька», — чтобы выпустить обратно в воду. В эти мгновения в ней была какая-то трогательная, хотя и слегка застылая сосредоточенность, что-то нездоровое, напоминавшее о ее страхе смерти. Как-то днем, перебросав в океан около двух десятков рыбешек, она начала задыхаться, и я с трудом уговорил ее бросить это занятие и пойти домой, чтобы не свалиться где-нибудь по дороге.

Через несколько недель наблюдавший ее врач подтвердил, что она ждет ребенка. Однако опасался внематочной беременности. Из разговора с ним я понял, что шансы равны, угроза не менее реальна, чем надежда на благополучный исход. Она же отказывалась прислушаться к его предостережениям. Ребенок был для нее венцом с тысячей бриллиантов. Я, как мог, старался разделить ее радость, не теряя чувства реального, на случай, если нас постигнет несчастье. Надежда иметь ребенка окончательно сблизила нас. В Мэрилин наконец появилась особая доверительность, внутренний покой, чего я раньше в ней не замечал. Она почувствовала себя полноправной хозяйкой, а не забитым существом, в страхе прячущимся от случайных гостей, чьим добрым намерениям не очень-то доверяла. Казалось, она свыклась с тем, что живет под надежной защитой, а я старался примириться с мыслью, что в сорок с лишним лет вновь становлюсь отцом. На моих глазах она осваивалась с новой ролью, и это убедило меня, что если ребенок и добавит хлопот, он укрепит в ней надежду на наше будущее. А значит, укрепит ее и во мне.

Отсрочка оказалась недолгой. Диагноз подтвердил внематочную беременность, которую необходимо было срочно прервать. На Мэрилин не было лица, когда она, беспомощная, лежала после операции на койке. Я не мог вынести этих страданий, ощущая ее рану как свою. Вернувшись вечером из больницы, я понял, у меня есть уникальная возможность сказать ей, что она значит для меня, такая уязвимая и беззащитная. Однако ничего не приходило на ум, а слов утешения было явно недостаточно.

Днем в больницу заехал фотограф Сэм Шоу. Мы пошли побродить вдоль Ист-Ривер и, присев на скамейку, заговорили о ней. Я мало знал Сэма. Этот сдержанный человек не искал в дружбе с Мэрилин выгод и восхищался тем, как она самоотверженно, без союзников и тылов, прокладывает себе дорогу в жизни. Я что-то сказал о ее необыкновенной силе духа и сумасшедшем благородстве, которого она сама в себе не осознает. И сможет понять, только если сыграет самое себя и увидит со стороны. Психоанализ со всей его описательностью не мог заменить дела — единственного, во что она верила, когда вся ее жизнь состояла из одних взлетов и падений.

Сэм вспомнил мой рассказ «Неприкаянные», недавно прочитанный им в «Эсквайре». «Вот был бы фильм! — сказал он. — Там такая женская роль, она бы сразу всем нос утерла».

Из Амагансетта мы добирались на «скорой помощи» более трех часов — казалось, конца дороге не будет. Ехали молча. Не было никаких надежд, что со следующей беременностью это не повторится. Как будто прошлое решило погубить ее, вновь протянув костлявую руку. Слова не помогали. Она лежала такая грустная, не передать, и наблюдала, как осторожно ползущую «скорую» обгоняли машины. Я почувствовал необходимость что-то сделать для нее.

И через несколько дней засел за сценарий, впервые после свадьбы начав работать между завтраком и обедом. Мастерская, где можно было сосредоточиться, находилась неподалеку. К нам в гости приехала мама, но между нею и Мэрилин пробежала черная кошка. Она раньше времени засобиралась домой, обеспокоенная и, как мне почудилось, напуганная. Оказалось, Мэрилин увидела в ней какую-то недоброжелательность — наверное, не так истолковав мамино грустное настроение, — но это было уже не важно. Она не просто рассердилась, ей почудилась угроза. Пытаясь успокоить ее, я подумал, что в чем-то она, возможно, права. Больной человек должен был суеверно избегать мамы — она хотела видеть Мэрилин только здоровой и красивой. Я не обратил на это внимания, но Мэрилин докопалась и не смогла преодолеть этот барьер. У нее было безошибочное чутье на опасность, и в случае угрозы, не имея тылов, она предпочитала сразиться открыто. Однако мама была пожилая женщина, и у Мэрилин не было возможности сексуально обезоружить противника.

Через несколько дней все вспоминалось со смехом. Мы ездили на отдаленные пляжи. Странно, она так никогда и не научилась плавать. Единственно, когда она была неуклюжа, это в воде. Неловкие попытки кончались, как правило, смехом. Крепкое

тело блестело на солнце, когда она, подобно боттичеллиевской Венере, выходила из воды, и порою у нее был такой же омытый соленой морской водой взгляд.

Журнал «Лайф» пригласил Мэрилин присутствовать на торжественной церемонии по случаю повышения сотрудников в должности. Прислали вертолет, чтобы доставить ее в штаб-квартиру редакции в Нью-Йорке. Вернувшись через несколько часов, она спустилась на газон перед окном моей мастерской. Я вышел, и мы долго махали пилоту и кому-то еще, пока вертолет не набрал высоту. Она была в легком желтом платье с юбкой донизу и туфлях на высоком каблуке. В руке у нее были две розы. От макияжа лицо на солнце было неестественно бледным. Вертолет исчез, а мы все не могли взглянуть друг на друга, словно остолбенели. Разве в Америке была какая-нибудь другая женщина, за которой вот так бы гоняли из Нью-Йорка туда-обратно вертолет ради двух фотографий? Что-то ненормальное было в том, как все в ней нуждались. Она обладала поистине магической властью! Это событие, как большая железная рука, порвало плоть наших отношений. И в то же время это был ее триумф, свидетельство того, какое место она занимала в общественной жизни. Мы шли по лужайке к безмолвному дому, а она все не могла прийти в себя, нуждаясь в одиночестве и покое, чтобы из тела ушла вибрация вертолета. Известность давно стала для меня рабочим моментом, таким, каким, по существу, и является, однако в ее популярности было что-то скрытно-параноидальное, и это выражалось в бесконечных взлетах и падениях. Она была женщиной, но не могла вести семейную жизнь, играя на публике отведенную ей роль. То, что ей приходилось воспринимать себя в двух ипостасях — собственными глазами и глазами зрителей, — видимо, усиливало неизбежность нервного расстройства.

Она читала сценарий по частям, с удовольствием смеясь над репликами ковбоев, но сомневалась насчет Розалин. Мне же пришлось с головой уйти в технические вопросы, не менее важные, чем эмоции, ведь я готовил для нее подарок. Однако ей предстояло играть, и это придавало всему иной, сугубо профессиональный оттенок. В мою задачу входило наиболее полно воссоздать ее образ, тогда как за ней оставалось право отказаться от роли — я не собирался закабалять ее, заставляя поступать против воли. И все-таки ее сдержанное отношение обижало.

Заканчивая работу над первым вариантом сценария, я подумал, что хорошо было бы пригласить для постановки Джона Хьюстона. Он когда-то первым заметил Мэрилин на съемках

«Асфальтовых джунглей», и она помнила его суровую доброту. Работа с Хьюстоном была одним из ее немногих голливудских воспоминаний, окрашенных в теплые тона. Это вселяло надежду, что съемки могут быть в радость, как моя работа в театре. И тогда Мэрилин не будут мучить приступы параноидального психоза, постоянно сопровождавшие, как я понял, ее работу в кино. Отпечатав сценарий, я тут же отправил его в Ирландию. Мы ждали ответа, все отчетливее понимая, что без Хьюстона Мэрилин не сыграть. Когда она сказала об этом вслух, я усомнился, сможет ли она сыграть эту роль вообще…

Я связал с нею жизнь и все ждал, когда она поймет это. Другого выхода у нас не было. Беда заключалась в том, что она не знала постоянства в человеческих отношениях, и, пока мы были мужем и женой, в ней надо было постоянно взращивать это чувство. Она интуитивно ощущала, что, если бы это не были «Неприкаянные», я бы никогда не сел за киносценарий, больше года посвятив тому, чтобы способствовать ее становлению как серьезной актрисы, но в то же время в быту бывал с нею замкнут и невесел. Она обижалась, а я просто очень устал и временами не успевал следить за сменой ее настроения. От той трещины, которую дало в Англии ее идеализированное отношение ко мне, казалось, не осталось и следа, но если единственное, что оставалось, было мириться с действительностью, то, значит, за ненадобностью стоило отказаться от идеала вообще. Это давалось ей нелегко, ибо, как ни странно, именно в обожествлении она черпала свои силы. Надежды таяли: в конечном итоге большинство браков — это союз во имя того, чтобы рассеять мрак и прийти к свету.

Истоки уходят в глубь веков — старые корни питают причудливые соцветия. Я с радостью взял на себя роль избавителя, которую она давно примеряла ко всем, однако не справился. Точно так же она вошла в мою жизнь олицетворением всепрощающей чувственной любви, в преддверии которой я жил совершенно самоотреченно. В щели между сном и явью свершали вечную работу черви вины, той самой вины, которую каждый из нас переживал как собственную глупость и наивность. А может быть, хуже — как ответственность за несбывшиеся надежды другого. Но я верил, что нас может спасти бескорыстная преданность делу, и старался что-то предпринять. Я никогда не воспринимал киносценарии как серьезный труд и без конца отвергал различные предложения. Это говорило о том, что моя жертва была нешуточной, но любая преданность требует жертв. «Неприкаянным» нужен был крепкий корабль, ибо с самого начала они были перегружены надеждами. Другого выхода я не

знал, поскольку Мэрилин была необходима мне так же, как и душевное равновесие. Она все еще затмевала для меня солнце.

Хьюстон ответил из Ирландии согласием. Надо было подбирать состав, а мне захотелось еще раз пройтись по тексту. Мы договорились с Хьюстоном встретиться через несколько месяцев, к тому же у Мэрилин оставался долг — два фильма для «XX век Фокс». Студия требовала сняться хотя бы в одном, прежде чем начнет самостоятельную работу в «Неприкаянных». Меня устраивала отсрочка. Потом подвернулся еще один фильм, теперь уже не на «XX век Фокс»: Билли Уалдер снимал «Некоторые любят погорячее» и пригласил Мэрилин на заглавную роль. Я не спешил, так как хотел подобрать первоклассных исполнителей, что оказалось не просто. К тому же ничто не мешало начать писать новую пьесу.

Хьюстон брал на себя постановку фильма, тогда как продюсером должен был стать человек, который сумел бы завоевать безоговорочное доверие Мэрилин. Фрэнка Тейлора я знал еще с довоенных времен, когда он работал в издательстве с Мэри. Потом он ушел к Рейналу и Хичкоку, быстро обеспечив новой фирме сотрудничество с первоклассными авторами, и был редактором моей книги «Ситуация нормальная» об армейской жизни по материалам сценария для фильма об Эрни Пайле и моего романа «Фокус». Я знал, что последние два года он подвизается продюсером на «XX век Фокс», но его одолевали несбыточные планы — то он хотел поставить фильм о Гогене по сценарию Джеймса Эйджи, то «Ночь нежна» по Фицджеральду. Мрачноватый, умный человек огромного роста, Тейлор представлял собой необыкновенную смесь агрессивного антрепренера и aficionado от литературы. Мое предложение, конечно, вызвало у него бурный восторг, и, придя к нам в гости, он быстро развеял хроническую неуверенность Мэрилин, каждый раз возникавшую при знакомстве с новым человеком. Я полностью доверял ему, и она вскоре прониклась тем же чувством.

Коварный орел Лью Вассерман, глава Эм-си-эй, поддержал мою идею относительно первоклассных актеров и предложил Кларка Гейбла, Монтгомери Клифта, Эли Уоллока и Тельму Риттер. Здороваясь, Вассерман держал руку строго горизонтально, ладонью к плоскому животу, он отлично справлялся с обязанностями агента и с рвением бросился мне помогать.

Первая трудность возникла с Гейблом, который, несмотря на интерес, не понял сценария. Столкнувшись с ним в Голливуде нос к носу несколько месяцев спустя, я понял, что никто так не

сыграет Гея Лэнгленда — он был рожден для этой роли. Однако Гейбл никак не мог понять, о чем фильм, хотя несколько раз перечитывал сценарий.

«Похоже, вестерн, но что-то не так, а?» — У него был высокий голос, он говорил в нос. В вопросе чувствовалась профессиональная заинтересованность. Некая загадочность придавала его легендарно самоуверенному лицу обаятельную беззаботность.

Я никогда не умел толково рассказывать о своих произведениях, особенно актерам, которым нужны простые ответы, а я, работая, парю в облаках. Причем, если начать мудрствовать, можно обречь фильм на кассовый неуспех. «Это вестерн на восточный манер», — неуверенно произнес я. Он усмехнулся, не скрывая любопытства, что приободрило меня. «Разговор о том, что жизнь бессмысленна, а еще, может, о том, что мы есть то, что мы есть». Надо признаться, я никогда не раскладывал эту историю по полочкам, но его заинтересованный взгляд подстегнул меня. «Западный человек в западном мире всегда жил в системе сбалансированных моральных ценностей, где у зла был свой опознавательный знак — черная шляпа. И в конце концов зло обязательно должно было быть побеждено. В моем фильме тот же самый мир, но он перенесен из девятнадцатого века в современность, когда у хороших парней тоже возникают проблемы. Если вы хотите, чтобы я об этом говорил долго, мы заберемся в такие дебри, что я сам не смогу разобраться, о чем написал».

Он еще раз перечитал сценарий и на следующий день ответил согласием. Думаю, мне удалось задеть в его душе струны, которые он только позже открыл в себе. Не единожды женатый, этот красавец мужчина недавно опять женился, хотя ему было под шестьдесят, стал молодым отцом и самозабвенно относился к новым обязанностям. Те, кто хорошо знал его, говорили, что он стал серьезней и глубже.

С Монти Клифом произошла иная история. Во время очередного загула он врезался ночью на машине в какой-то столб и рассек лицо (кто-то из его самозваных защитников обвинил меня в том, что, пригласив его на роль Перса, у которого были шрамы от родео, я воспользовался его увечьем, хотя рассказ и сценарий были написаны задолго до аварии). Страховые компании на время съемок отказывались заключать с Монти договора, однако мое поручительство и ходатайство Хьюстона с Вассерманом, видевших в этой роли только его, возымели действие. Безо всяких щекотливых разговоров я предложил ему сниматься, и он охотно согласился. Для него было большой

радостью работать с Хьюстоном, Мэрилин и со мной, поэтому с его стороны нельзя было ожидать подвоха. И он действительно оказался на высоте: текст выучил до начала съемок и ни разу не опоздал, несмотря на долгие простои на последнем этапе работы.

Человек садится за пишущую машинку, вставляет чистый лист бумаги и печатает слова-образы. Потом, оглянувшись, видит четыре-пять сотен человек, грузовики, товарные поезда, самолеты, лошадей, гостиницы, дороги, машины, огни — словом, все, что он самым непостижимым и невероятным образом вызвал из пустоты небытия. Странно, но он почти не властен над ними — все это движется по своим собственным законам, не подозревая, что своим воплощением обязано ему.

Бывали дни, когда посреди всего этого нагромождения я грустно улыбался, вспоминая, с чего все началось, — историю нескольких одиноких, никому не нужных людей, заброшенных в огромном пространстве жизни. Теперь, куда ни взгляни, всюду кто-нибудь жевал бутерброд.

С тем, что работу камеры отличает бесстрастный буквализм, имя которому «почти», я столкнулся в первый же день съемок, когда мы работали на одной из улочек Рино. Для меня они были переживанием, камера превращала их в объект — бытовые сценки, которые я помнил со времен четырехлетней давности, когда обитал в Неваде, обретали самодовлеющую театральность, как только попадали в объектив. Отчасти чтобы избежать этого, Хьюстон решил снимать не цветной, а черно-белый фильм, однако я все равно видел разницу. У камеры своя логика — сквозь ее линзы даже сады Эдема предстают краше, чем они есть.

Исполненный наивных иллюзий, я продолжал сличать то, что снимали, с тем, как я это видел. Глазу необходим общий фон, даже когда волевым усилием внимание фокусируется на конкретном предмете, ибо это взаимодействие придает восприятию напряженность. Камера же обычно подчеркивает передний план, а в крупном плане исключает задний: акцентируя «самость» человека или предмета, она сверхконцентрирует его, вырывая из контекста бытия, который постоянно присутствует в человеческом взгляде. Иллюзия фона воссоздается в кино монтажом или монтированием.

Первая сцена — Мэрилин на мосту через речку Траки в Рино: сюда после развода приходят женщины кинуть в воду обручальное кольцо в знак завоеванной ими свободы. Ее утешает болтливая глупая хозяйка в исполнении Тельмы Риттер. Глядя на Мэрилин, я видел, что она играет не просто разочарованную в неудачном замужестве героиню, но переживает свой брак, свои

проблемы. Закончился второй дубль, и я подошел похвалить ее. Она иронично посмотрела на меня, словно я лгал. Причем умела сделать это так, что человек начинал сомневаться в собственных намерениях. В этом, однако, была своя доля правды — не только в героине, но и в ней самой чувствовалось нервное напряжение. Я постарался убедить себя, что это обычное возбуждение: у нас есть будущее и фильм докажет это, не случайно в финале Розалин обретает веру в человека и в то, что будет жить.

Хьюстон остался доволен первой сценой и, поздравив всех с успехом, отказался, вопреки просьбе Мэрилин, от третьего дубля. Он недвусмысленно дал понять, что его слов «вполне прилично» достаточно, чтобы решить вопрос, чем посеял первые зерна вражды между ними. Вновь забрезжила угроза конфликта, однако теперь я был солидарен с Мэрилин, ибо при всей незатейливости и простоте сцена вышла безжизненной. Я даже подумал, не старается ли Мэрилин, играя на пределе, придать ей слишком глубокий смысл. Хьюстон, похоже, понял, что с каждым дублем сцена будет становиться тяжелее, и, вместо того чтобы отступить, двинулся вперед. Она обиделась, решив, что он не дал ей выразить себя так, как она хотела.

Хьюстон без лишних разговоров установил свои правила: дело актера — играть, режиссера — выстраивать кадр и давать общие замечания. В его обязанности не входили подробный разбор рисунка, конкретная разработка образа, настрой на игру. Он не собирался быть Ли или кем-нибудь в этом роде. Он оставался Хьюстоном, она — Мэрилин, и не было никаких оснований что-либо менять. Съемки второго кадра, сделанные в тот же день, казалось, полностью подтвердили его правоту: в сцене знакомства в баре Мэрилин раскрепощенно играла с Гейблом и Уоллоком легкомысленную героиню, нисколько не озабоченную своей судьбой. И я было поверил, что эта профессиональная, точная, красивая Мэрилин, приняв мой дар, вдохнет жизнь в слова сценария.

Где-то поблизости от нее постоянно находилась Паула, одетая, несмотря на жару, в холщовое черное платье: согласно ее пониманию законов физики, в черном было прохладней, чем в белом. Съемочная группа звала ее «Черный баронет» или просто «Баронет». В перерывах они удалялись вместе с Мэрилин в ее автоприцеп, но стоило к ним подойти мне или Хьюстону, как разговор тут же прерывался. Я понимал, что актеру, как и писателю, во время работы надо сосредоточиться, определить внутренние границы образа, его возможности. То, что она отказывалась видеть меня и других, говорило о напряженном поиске. В эти моменты она мало походила на себя: оживленная и

радостная на экране, в жизни становилась безразличной и замыкалась в себе. Я хорошо знал это состояние по своей работе.

Поговаривали, что Хьюстон жесток с актерами и сценаристами, но я не очень доверял сомнительным домыслам. Как большинство переживших известность людей, я знал, что существует великое множество искренне претендовавших на знакомство со мной — с кем-то я учился в одном классе, кто-то помогал мне писать пьесы, с кем-то я переспал, кому-то помог, кого-то обидел, этого убедил, того не заметил — и так без конца. Оказалось, что значительная часть человечества, ослепленная своей близостью к великим мира сего, пребывает в волшебной иллюзии: люди вступают с ними в сложные взаимоотношения, переживают конфликты, любовные драмы с душещипательными расставаниями и радостными встречами. Те, кто популярен, напоминают воздушные шары, плывущие по поднебесью, — кто-то завидует их тихой свободе, кто-то стреляет в них, как во врагов. В деловых ситуациях я привык воспринимать людей такими, каковы они есть, и ничего не требовать, кроме добросовестного исполнения своих обязанностей. Хьюстон, на мой взгляд, был идеальной кандидатурой для режиссера на этот фильм и на такой актерский состав. Он быстро научился игнорировать присутствие Паулы, которую мог утонченно поддеть идиотским замечанием. Так, он похвалил ее стойкую приверженность черному цвету в такую жару и серьезно выслушал ответ, подчеркнув тем самым его нелепость. Паула не сразу все поняла, но, когда до нее дошло, разразился один из многочисленных скандалов, которыми был усеян наш путь. С Мэрилин Хьюстон с самого начала обращался как с профессиональной актрисой, а не пациенткой, нуждавшейся в снисхождении. Казалось, это придало ей силы, а мне вернуло надежду, с которой я садился за сценарий: фильм подарит возможность жить и работать вместе. Что бы ни говорили о Хьюстоне, тот человек, которого я знал, всю жизнь боролся с разного рода «измами», полагаясь на природное здравомыслие и отвагу. Он предоставил Мэрилин возможность бросить вызов самой себе и преодолеть трудности прекрасным исполнением роли, для которой у нее были все данные.

Хьюстон, наверное, знал, что на съемках у Билли Уалдера в фильме «Некоторые любят погорячее» Мэрилин удалось обойтись без нервных срывов, так как она с головой ушла в комическую роль. Он считал, она выбрала мученический путь в жизни. Но спокойно относился к любому темпераменту — подсознание было не по его части, и он не делал из него руководства к действию. Актер должен играть, а как он этого добивается, касается только

его, а не режиссера. Это было похоже на глоток свежего воздуха — Хьюстон рассчитывал на мужество Мэрилин, и она оправдала его ожидания, по крайней мере в первые дни. Но затем ею вновь овладело внутреннее беспокойство, однако на этот раз в этом не были виноваты ни Хьюстон, ни актеры.

Я понял, что хотел видеть ее в амплуа, которое она иронично именовала «счастливая девушка, которую любят мужчины», а обнаружил нечто совершенно иное — несчастное, мятущееся существо, не способное преодолеть отчаяние. К началу съемок «Неприкаянных» стало очевидно, что если внутреннее состояние Мэрилин поддавалось разгадке, то этим ключом я не владел.

Когда она снималась в «Давай займемся любовью» и «Некоторые любят погорячее», я оставил последнюю надежду писать и решил полностью посвятить себя ей, чтобы разубедить в одиночестве — в этом мне виделось начало всех ее бед. Чтобы спасти Мэрилин от полной катастрофы, я дошел до того, что частично переписал сценарий «Давай займемся любовью», хотя текст не стоил бумаги, на которой был напечатан. Вопреки ожиданиям это не сблизило нас. То, что я безоглядно жертвовал временем, воспринималось как должное. Я не только не мог излечить ее от снедавшего чувства отчаяния, но никакими известными мне способами не удавалось хотя бы приостановить этот разрушительный процесс.

Само собой получилось, что со съемками «Неприкаянных» я связывал изменения к лучшему и уповал на Розалин, первую серьезную роль Мэрилин, исполненную чувства собственного достоинства, не чуждого ей. Обе женщины бились над одними и теми же проблемами, но героиня фильма находила выход. Я тешил себя надеждой, что ее опыт поможет Мэрилин обрести внутреннее спокойствие. Было бы хорошо, если бы я сам мог способствовать этому, что было мало вероятно, ибо мы пережили одно из тех великих крушений своих чаяний, которые редко выпадают на долю супружеских пар.

И все-таки вопреки всему я знал, что в каждом из нас есть шанс для другого, шанс, который нельзя упустить. Возможно, это нелепо, но я не мог свести отношения с Мэрилин к чему-то одному. Она тоже этого избегала. В узком смысле мы были незаменимы друг для друга; так бывает, когда, спасая от увядания свои чувства, мы идеализируем любимый предмет или человека. Вопреки, а может быть, благодаря этим трудностям Мэрилин была воинствующей идеалисткой. Мы познакомились в те времена, когда Америка вступила в очередную консервативную фазу своего развития. Общественное самосознание угасло. И это сыграло не последнюю роль в том разочаровании, с которым

Мэрилин относилась к своей стране, к себе и к своей работе. Зритель не знал, какие силы властвовали над его жизнью. А фильмы, пьесы, книги отнюдь не стремились просветить его. Говоря о всеобщем равнодушии, Мэрилин напоминала Робеспьера в преддверии грозного и праведного часа своего выхода. Куда ни взглянешь, всюду «трепотня», говорила она; все выжидают за отсутствием мощных, хотя и призрачных порывов к свободе. Она нуждалась в герое — в такие моменты все материальное, включая ее самое, теряло для нее всякий смысл.

Теперь, к 1960 году, мы отремонтировали старый дом, который купили в полумиле вверх по дороге от нашего бывшего в местечке Роксбери в Коннектикуте, и она с бешеной энергией бросилась все перестраивать в нем. Я старался не заострять внимание на том, что мы не можем позволить себе осуществить все ее задумки, но временами моя озабоченность прорывалась, и она остро страдала от того, что мы должны были соизмерять наши желания с нашими возможностями. Деньги для нее — как это бывает или с очень богатыми, или с очень бедными людьми — не представляли ценности как защита от неопределенности будущего. Их надо было тратить, чуть только они появлялись, причем с возможным размахом. Для меня же они означали свободу и независимость, чтобы не сотрудничать с какой-нибудь компанией или продюсером.

За год с небольшим до этого мы начали с того, что отметили худшие места планировки в старом доме, чтобы они не повторились в том, который мы надумали построить на вершине лесистого холма неподалеку. Она созвонилась с Фрэнком Ллойдом Райтом, спросив его, что он может нам предложить. У нее был королевский размах, отчасти потому, что этот уникальный дом задумывался ею как подарок мне. Поэтому задаваться вопросом, хватит ли денег для осуществления райтовского проекта, казалось неприличным. Тем более что их обоих совершенно не интересовало, что сколько стоит. Поэтому мне ничего не оставалось, как назначить день его визита и предложить ей самой решать, хватит у нас денег или нет.

Райт, которому было под девяносто, как-то сразу свернулся калачиком на заднем сиденье машины, когда мы ненастным осенним утром заехали за ним на Манхэттен, и все два часа до Роксбери громко посапывал. Это был высокий, театрально красивый мужчина, который носил широкополые ковбойские шляпы и необъятных размеров пальто, а вместо того чтобы говорить, скорее декламировал в нос, чем очень напоминал У. Филдса. Войдя, он оглядел гостиную и произнес с

удивительным высокомерием: «А, это старый дом. Гроша не стоит вкладывать в это дело». Мы перекусили копченым лососем с хлебом, он отказался от перца. «Не ешьте перца, он сведет вас в могилу до срока. Старайтесь избегать его».

Оставив Мэрилин, я повел его по длинной крутой дороге на вершину небольшой горы, туда, где мы хотели построить дом, в полумиле или около этого. Он ни разу не попросил передышки. На вершине, встав спиной к ветру, он посмотрел на открывавшийся оттуда великолепный вид, помочился и сказал: «Да. Действительно». Быстро огляделся и потрусил вниз, перескакивая через камни, бугорки и комья земли. Когда мы спустились к подножию и чуть замедлили ход, идя по стерне, я решил, что пора сказать ему то, о чем он не потрудился спросить, — мы хотим жить просто и не намереваемся строить дом, который поразил бы весь мир. Насколько я помню, он никак не отреагировал на эту новость.

Его план, напоминавший скорее импрессионистскую акварель, не застал меня врасплох: круглая гостиная с чуть приподнятой опоясывающей галереей, яйцевидные колонны из песчаника пяти футов толщиной и куполообразный потолок не менее шестидесяти футов в диаметре; вид на бассейн в семьдесят футов длиной, прорубленный в склоне горы и отделанный песчаником. Для того чтобы выдержать такой объем воды, не говоря уже о самой конструкции, стенки бассейна, на мой взгляд, должны были быть не меньше двадцати футов в высоту, своего рода линия Мажино. Когда я спросил, сколько будет стоить дом, Райт сказал, около двухсот пятидесяти тысяч, однако, имея опыт строительства, я мог отнести это только к стоимости бассейна. Его акварельную фантазию украшали две трогательные детали. Около дома, миновав замысловатый въезд, стоял длинный лимузин с открытым верхом и одетым в униформу шофером на водительском месте, а над крышей виднелся взвившийся флаг, показывая, что хозяева дома. Его восторженное отношение к Мэрилин выразилось в том, что в этом чудовищном строении оказалась всего одна спальня и одна крошечная комнатка для гостей, зато был громадный конференц-зал с длинным, во всю комнату столом и дюжиной стульев с высокими спинками, на самом высоком из которых должна была восседать во главе собрания она, королева, правительница небольшой страны, ну, скажем, такой, как Дания. В целом это очень подошло бы как загородный домик для высоких административных чинов, где можно было разрабатывать проекты незаконных биржевых сделок или создания нелегальных предприятий.

Заехав к нему в офис в гостиницу «Плаза» и увидев проект, я

сказал, что это слишком вычурно по отношению к тому, что нам бы хотелось, но мои слова вновь не произвели на него никакого впечатления. Он тут же показал мне огромную акварель нового города с десятками волшебных розовых башен, минаретов и рассекающим небо шоссе от одного здания к другому, который он планировал, если не ошибаюсь, для шаха Ирана или главы какого-то нефтяного королевства. Хотелось понять, на чем держатся эти ленты из железобетона, но я так и не разобрал.

По мере того как снималась сцена за сценой, меня все больше волновал общий план — слишком часто огромные безжизненные просторы Невады, где человек такой затерянный, вытеснял крупный план. Хотя трудно было не согласиться с оператором Расселом Метти, что зритель «платит не за то, чтобы любоваться природой». Крепкий, опытный профессионал, он обходился тремя софитами, установить которые было для него минутным делом. И презирал «искусственные» подсветки, отнимавшие драгоценное время, полагаясь исключительно на свое мастерство, благодаря чему его фильмы напоминали скорее не художественное полотно, а репортаж с места событий — вот это он уважал. Я быстро сообразил, что не мне его учить, какую нагрузку несет та или иная сцена. В перерывах между съемками он топтался около телефона, выясняя курс акций нефтяной скважины, в которую вложил деньги. Кино оставалось кино, а нефтяной фонтан выглядел истинной ценностью. Съемочная группа жила крайне замкнуто, каждый занимался своим делом, стремясь максимально выложиться и достичь совершенства. Этим далеким от европейского мудрствования ребятам, гордившимся своим прагматизмом, как какой-нибудь Форд или Эдисон, — и так же, как они, равнодушным к духовной жизни, — все-таки удалось снять несколько лучших фильмов всех времен.

Они заставили меня вспомнить бутафора Хаима, заядлого курильщика, в первой постановке «Смерти коммивояжера» около десяти лет назад отвечавшего за реквизит. В его обязанности, помимо прочего, входило позаботиться перед спектаклем, чтобы в пепельнице на холодильнике лежали окурки от «Честерфилда». В конце первого действия Артур Кеннеди, игравший сына Вилли Биффа, закуривал, а потом бросал сигарету в пепельницу. Хаим считал, что она должна была быть набита окурками, чтобы показать, как Бифф волнуется за отца. Хаим не пропускал ни одного спектакля и всегда имел свое мнение, что и где удалось. Каждый вечер он заполнял пепельницу свежими окурками, стараясь придать спектаклю большую правдоподобность, и этим вносил свою лепту в трагедию. Актеры могли сколько угодно

подтрунивать, будто заботливостью он напоминает наседку, однако стоило кому-нибудь забыть реплику или пропустить строчку, они старались избегать смотреть за кулисы, чтобы не встретиться взглядом с Хаимом.

Наступил момент, когда рабочий ритм съемок сбился, ибо с каждым днем Мэрилин появлялась на площадке все позже. Я не мог ничего поделать, разубедить, ибо чувствовал, что ее душит ненависть, то ли ко мне, то ли к себе, то ли к работе. Казалось, она не доверяет не только моим замечаниям, но и Хьюстону. Раздражение и обиды разрешались самым банальным образом, выливаясь в бессильное недоуменное молчание. При этом она однажды отправилась с Паулой в местный антикварный магазин и приобрела пару безделушек для дома. Это казалось странно, ибо она почти не разговаривала со мной. Мы были похожи на двух людей, каждый из которых хотел только одаривать и поэтому под любым предлогом отказывался от того, что ему дают. Это повергало обоих в постоянную прострацию и только усугубляло разрыв.

Каждый день приносил неожиданность. Но были радостные сюрпризы, вроде того, что Клифт оказался порядочным человеком. Мы с Хьюстоном опасались, как бы он не запил и не пришлось вытаскивать его из этого состояния. Вместо этого они с Поллаком стали нашей опорой в работе. На первых съемках через неделю после начала Клифт произнес длиннющий монолог в будке у обочины, что-то около страницы плотного текста, ни разу не сбившись и не заикнувшись, так что эпизод был отснят сразу же. Мы с Хьюстоном поздравили друг друга: вопреки опасениям страховых агентов наши надежды полностью оправдались. Я понял, что Монти может быть очень серьезен, когда ему попадается настоящий материал и он чувствует, что его не эксплуатируют. Неглубокие, порой откровенно плоские сценарии подорвали душевное равновесие не у одного актера, и самоуверенность была защитной маской.

На соляном озере стояла невыносимая жара, температура поднималась до ста восьмидесяти градусов. Казалось, мы работаем на залитой ослепительным светом поверхности Луны. Чтобы убить время, я играл в футбол с ребятами из съемочной группы. Паула, усевшись в своем «кадиллаке» с кондиционером, писала письма. Каждое утро она приезжала из Рино с Мэрилин на ее машине, так как по дороге они зубрили роль, однако требовала, чтобы за ней следовал персональный лимузин с шофером. Взглянув на нее через стекло, я вспомнил «Принца и хористку», и византийская одержимость Паулы собственным положением вкупе с наивной скрытностью показались не такими

уж комичными. Даже ответ на вопрос «который час?» она расценивала как утечку информации. Рассчитывая на невольный восторг у новичков, Паула носила сразу несколько пар часов — на груди, на руке и в сумке. Ей неизменно надо было знать время в Токио, Лондоне, Мехико и Сиднее — этим она подчеркивала, что они с Ли причастны ко всему на свете.

Несколько раз я коротал затянувшееся ожидание, беседуя с Гейблом, который любил погреться на солнышке прямо на солончаке около своего прицепа. Он вел себя так, будто у Мэрилин физическое недомогание, и не видел, казалось, ничего унизительного для себя в том, что ему ежедневно приходится ее ждать перед началом съемок, — на его лице никогда не проскользнуло ни тени раздражения. Это несвойственное ему спокойствие удивляло знавших его людей. Однако пару раз агент Гейбла напомнил, что каждый день сверх положенного будет стоить по контракту двадцать пять тысяч долларов. Он оказался надежно защищен от неурядиц, но меня мучило его вынужденное безделье, ибо это я уговорил его сниматься в фильме. Он понимал, что все, включая Мэрилин, не в силах что-либо изменить — это не был обычный кураж капризной кинозвезды, которая демонстрировала свою власть над всем и вся. Возможно, его примирило признание Мэрилин, что он был кумиром ее детства. Фотография Гейбла действительно стояла в рамке на любимой ею конторке матери, и в глубоком детстве Мэрилин верила, что это ее отец. В тишине Невады мы могли просидеть молча у прицепа долгие полчаса, как будто о чем-то скорбели. Я ощущал его сочувствие, а он, конечно, понимал, как я огорчен.

Его интересно было расспрашивать о прошлом, когда он в прежние годы снимался на МГМ, «Съемки обычно кончались в пятницу, уик-энд мы кутили, а с понедельника новый фильм. У нас было что-то вроде постоянной труппы. Вон мой „дядька“, — кивнул он на своего костюмера, человека за шестьдесят с похожим на собачью морду вытянутым лицом, который, сидя у дверцы прицепа, с интересом прислушивался к его рассказам, готовый сорваться, чтобы услужить хозяину, как это повелось с давних времен: принести пачку сигарет, новый мундштук или чего-нибудь холодного выпить, — бывало, вытащит меня утром из вечернего костюма и под душ. Я вытираюсь, он мне первые строчки роли читает, по дороге на съемки стараюсь не заснуть, а он все читает. Приезжаю, натягиваю костюм, выхожу на площадку, приветствую режиссера, мельком знакомлюсь с партнершей и судорожно пытаюсь сообразить, где все будет происходить — на Гавайях, в Номе, Сент-Луисе или еще где-нибудь. Двадцать минут на подготовку — и съемки. Все,

свободен. К концу недели входишь в роль, две недели ее разминаешь, а когда наконец войдешь, фильм уже снят. Но чаще бывали роли, когда играть нечего, стараешься выжать, что можно, но ничего не выжмешь. Все-таки есть в этом какая-то разница, как ни крути».

Он привез из Калифорнии серебряный «мерседес», напоминавший крыло чайки, и, пытаясь скоротать время, каждое утро уезжал из Рино в горы. Его все знали в лицо, он уже вошел в мировую историю, сам стоил миллионы и имел все, что можно пожелать. Но в нем не было пресыщенности, он не потерял интереса к жизни и расспрашивал о моем житье-бытье, как я работаю. В его любопытстве мне почудилось что-то от удивительной простоты отца. Возможно, своей естественностью на экране он был обязан этой серьезности в жизни. Со временем я пришел к мысли, что яркая актерская индивидуальность напоминает дрессированного медведя: привлекает мастерством и отпугивает мощными когтями. Великие кинозвезды, так же как великие политики, считают, что они самоценны, и поэтому могут позволить себе быть низменными и даже опасными.

Когда я писал сцену родео, вспомнился заброшенный городок в пустыне, название которого вылетело из головы. Однажды я случайно оказался там с двумя ковбоями, которые охотились за дикими лошадьми. Поселение состояло из единственной улочки, вдоль которой выстроились некрашеные неопрятные дома, сбитые из серых сосновых досок. По другую сторону было восемь или десять стойл, выходивших на импровизированное родео с грубо сколоченными скамейками открытых трибун. Рядом возвышалась церквушка с покосившимся деревянным крестом, грозившим рухнуть на дорогу, — символ, который по своей выразительности был для меня совершенно необходим в фильме. Загоны для лошадей закрывались длинными перекладинами, в которые нередко врезались на машинах или грузовиках местные пьяницы — мужчины, которые день-деньской трудились в облаках белогипсовой пыли на местном заводике. Внутри на стенах и потолке виднелись следы от пуль, на деревянных стояках — опаленные по краям ложбинки. Это было единственное место, где в Неваде разрешалось носить оружие, и большинство пользовалось своим правом — у многих на боку висели внушительного вида сорокапяти миллиметровые парабеллумы. Живя в Неваде, я как-то в субботу вечером стал свидетелем сцены, как взаимное раздражение, накопившись, накалило атмосферу и страсти разгорелись до предела. Оставалось гадать, какой гнетущей должна была быть пустота жизни, чтобы люди

возжаждали убивать друг друга, пугать убийством, а то и самим быть убиенными. Здесь стреляли не для того, чтобы обокрасть, а из-за пустячного спора — некий массовый секс с обязательным, как на родео, кровопусканием.

Выяснилось, что в том городке нельзя снимать фильм, ибо не хватает воды и к тому же далеко от Рино и гостиницы. Пришлось подыскать другой, где тоже пустовало много домов. Люди ушли отсюда несколько десятилетий назад, когда закрылась местная шахта. В витринах и поперек улиц косо висели полинявшие вывески. Трудно было поверить, что мы снимаем фильм там, где когда-то действительно была жизнь и кто-то надеялся на лучшую участь, а теперь людей нет.

Но все-таки одно из тех мест, где я побывал со своими приятелями-ковбоями, — домик миссис Стикс — вошел в фильм как временное пристанище Розалин в Неваде. Он стоял посреди утопавшей в зелени долины, редком уголке посреди этой засушливой местности. Поскольку для камеры нужно было место, рабочие распилили углы так, чтобы, отвернув болты, стены можно было быстро раздвинуть. К утру, по сценарию, перед домом был разбит огород и посажены кусты. Легко забывалось, что все это ненастоящее. Подобно лишившимся разума богам, мы, как ни странно, воспользовались реальностью, чтобы сделать подделку.

Все перепуталось в голове, и я забыл, что писал Гея Лэнгленда вовсе не с Кларка Гейбла. В один прекрасный день на площадке появился настоящий ковбой и несколько часов наблюдал, что происходит, а я был разочарован, какой же он щуплый по сравнению с крепко сбитым Гейблом. Иными словами, оказался во власти образа, созданного актером, а не ковбоем.

Было что-то странное в том, что стены дома, где я несколько лет назад гостил с настоящим ковбоем и девушкой, которую он возил с собой, теперь легко разбирались и, вынутые из пазов, открывали голубое небо. Возможно, за этим тайным страхом стояло желание самим созидать и разрушать собственные жизни.

Я продолжал работать над финалом, который мне не до конца нравился. Понимая, сколь неопределенно мое будущее, отказавшись от надежд, с которыми приступал к работе, я все равно не мог согласиться с тем, что называл пессимистической концовкой, когда герои расстаются навсегда. В то же время вопреки логике сценария я понимал, что им не на что рассчитывать, только на непредсказуемость бытия. Вера в его недетерминированность обеспечивала им ощущение свободы. Но на жизнь нельзя полагаться, она предаст, и я решил изменить ее в фильме по своей воле. В конце концов, почему мои герои не

могут встретиться и обрести друг друга.

Как-то днем Мэрилин ненароком обронила, будто речь шла о другом сценарии: «Все-таки им надо бы расстаться». Я возразил, но так торопливо, как будто боялся, что она права. Однако ирония была очевидна: сценарий, написанный, чтобы убедить эту женщину, будто у нее может быть в этой жизни свой дом, на самом деле говорил об обратном.

На мгновение мелькнуло, уж не крик ли это о помощи, но в ее взгляде не было ничего, кроме холодного профессионализма. Я не мог больше предлагать ей то, что она заведомо отвергала. Самое ужасное, что перемены в ее настроении на съемках стали резче — она была то внутренне сосредоточенна, отрешена от всего и вся, то необыкновенно общительна с каждым, кто ни попадя, как будто поток переживаний превратился в неиссякаемый источник злости, извергавшийся прямо из сердца. Ее настроения нельзя было понять, пока она не начинала говорить.

От долгих, все более затяжных простоев, когда Мэрилин не могла работать, Хьюстон начал терять терпение. Ее постоянная борьба со временем окончилась крахом, лишив всякой свободы действий. Она принадлежала к людям, для которых время служит липкой приманкой и они пытаются обойти его стороной, убеждая себя, что прошлого, похоже, не существует.

Через месяц после начала съемок Хьюстон, казалось, сложил с себя все полномочия, но однажды все-таки подозвал Паулу и спросил, не собирается ли она все-таки приступить к исполнению своих обязанностей. По ночам, давая выход темпераменту, он пропадал в казино, играя и выигрывая огромные суммы, потом засыпал на стуле около кинокамеры, забыв, какую сцену снимает. Все пришло в состояние хаоса. Хьюстон работал на одном мышечном усилии. Воля этого человека была поразительна.

Казалось, несколько недель он не замечал Паулу, отказавшись от ее услуг, которые считал непрофессиональными и унизительными. Она обрела над Мэрилин такую власть, что та переселилась к ней в номер. Паула выиграла необъявленную затянувшуюся войну. Однако я надеялся, что ситуация улучшится и Мэрилин сосредоточится на роли, как ей, по ее словам, того хотелось. При этом я не питал иллюзий, будто все мы делаем то, что хотим. Разрушительная стихия, обретшая над нами власть, была бесконтрольна. Единственное, что угнетало, — это будущее фильма. Он превратился в ненавистное детище, которое стоило мне слишком дорого, — оставалось уповать, что из всего этого когда-нибудь что-нибудь выйдет. Единственное, чего я опасался всерьез, — что Паула может легкомысленно уступить просьбам

Мэрилин и давать ей большие дозы снотворного. Она, правда, обещала не делать этого, и я был склонен ей верить, поскольку Паула сама заметно побаивалась возможной катастрофы.

После ужина я пошел прогуляться около гостиницы в парк и, усевшись на скамейку, наблюдал, как восемь девушек играли на спаренных кортах. Казалось чудом, что можно так спокойно перебрасывать через сетку взад-вперед мяч. Глядя на пышущую здоровьем молодежь, их незатрудненное, глубокое дыхание, бисеринки пота над розовой верхней губой, которую они то и дело отирали, слыша их радостные возгласы, я почувствовал, что напряжение спало. Захотелось вытянуться; я лег на траву, положил под голову руку и заснул, а проснулся в полном безмолвии — ночной город спал, машин не было, девушки давно ушли. Было где-то около трех часов ночи.

В казино гостиницы я набрел на Хьюстона, который одной рукой брал кости, а в другой держал стакан виски. Куртка из защитной ткани была отутюжена так, будто он надел ее десять минут назад. Проигрывая двадцать пять тысяч, он усмехнулся, когда увидел меня, и я в ответ тоже усмехнулся. Казалось, его не волнует проигрыш, хотя я знал, что это для него приличная сумма. Я поднялся к себе и лег спать. А спустившись в семь утра на завтрак, застал его на том же месте — одной рукой он бросал кости, в другой держал стакан виски. Отыграв свои двадцать пять тысяч, он захотел к ним что-то прибавить. Защитная куртка сидела на нем так же безупречно. Мысль, что он простоял на ногах всю ночь, заставила меня вновь почувствовать усталость.

Метти, разволновавшись, что при крупном плане не удастся скрыть усталость Мэрилин, поставил все вверх дном. Паула, которая теперь стала подконтрольна, а значит, уязвима для критики, заявила, что Ли наконец вылетает из Нью-Йорка. Хьюстон был в таком отчаянии, что встретил это известие чуть ли не с радостью, как и я, надеясь, что Ли ответит за то, что Мэрилин потеряла всякую уверенность как актриса. Несмотря на то что она безгранично доверяла ему, он умудрился остаться в стороне от всех ее трудностей.

Была еще одна причина, по которой его приезд оказался крайне желателен. Мэрилин пристрастилась переиначивать фразы, опуская слова и целые предложения. Хьюстон сам писал и наотрез отказывался от всех ее вариантов, но для того, чтобы услышать правильный текст, ему порой приходилось до десяти раз переснимать ту или иную сцену. Глядя на все это со стороны, я начал подозревать, что у нее появились провалы в памяти, но она объясняла, что слова важны не сами по себе, а в связи с эмоциями, которые они выражают. Иными словами, она

повторяла учение Страсберга, как поняла его, — убогую концепцию, разделявшуюся многими актерами, которая лишь прибавила скованности ее игре. Рассматривая слова как преграду, она старалась выразить спонтанную непосредственность чувств, пренебрегая ими. Иногда это помогало, но чаще добавляло неуверенности, поскольку партнер, не говоря о режиссере, полностью доверял тексту. Хьюстон считал, что это капризы. Я спросил Мэрилин, что они с Паулой будут делать с классикой, которую ей прочил Ли, ибо зритель не простит подобных вольностей в обращении с хорошо известными текстами. Но она лишь повторяла слова любимого учителя — от пафоса ее высказываний щемило сердце, однако ни я, ни другие уже не слушали ее всерьез. Уважительнее всего она работала с текстом сценария кинокомедии Уалдера и А. Даймонда «Некоторые любят погорячее». Стараясь сохранить комическую остроту диалога, на котором держался фильм, она не отступала от текста ни на шаг. Теперь же она впервые снималась в драматической роли, и ей не хватало серьезности. Благодаря усилиям наставников она запуталась в импровизациях — то, что годилось в учебных классах, не работало на съемочной площадке.

Приезд Ли обещал изменить ситуацию. Он сам когда-то был режиссером и должен был знать, что при буквальном восприятии его метод сковывает актера, а при небуквальном требует постоянного руководства.

График срывался, паузы затягивались, и мое присутствие становилось все более ненужным и формальным, ибо я никак не мог повлиять на происходящее. Проводя большую часть времени в одиночестве, я думал об отъезде. Но Хьюстон не отпускал, предлагая обсудить то одно, то другое, то что-нибудь изменить в сценарии. Как-то днем снимались две немые сцены на Пирамидальном озере: Гейбл — Лэнгленд учит Мэрилин — Розалин скакать на лошади, а потом они вместе купаются. В те дни, когда я жил здесь с Солом Беллоу, — неужели это было четыре года назад? — наши коттеджи выходили на пустынное шоссе, которое пролегало по каменистому берегу протерозойского озера. С тех пор многое изменилось: вдоль берега пролегла эспланада, стояли ларьки с горячими сосисками, а озеро бесцельно бороздили моторные лодки, разгоняя неземную тишину, которая по сценарию должна была помочь Розалин обрести веру в себя и в жизнь. Все было в высшей степени символично: во время съемок пришлось просить владельцев моторок заглушить двигатели, чтобы вернуть месту первозданную красоту, а толпу зевак, жующих гамбургеры, потесниться ярдов на сто в сторону. Я оглянулся, надеясь увидеть около шоссе

одинокую будку, где когда-то пронзительно пережил ощущение счастья. Ее тоже не было. Наверное, телефон-автомат теперь висел прямо на эспланаде. Я посмотрел вдаль, пытаясь представить пустынное шоссе и снова пережить тот восторг, с которым мы когда-то относились друг к другу.

Нельзя было не видеть, сколь безрадостна Мэрилин, когда, выходя из воды, попадала в объятия Гейбла. Она отчаянно старалась показать, что влюблена, однако я слишком хорошо знал ее, чтобы не заметить внутренней рассеянности. И в то же время не мог подойти, поскольку наталкивался на непреодолимую жесткость. Оставалось молиться, чтобы это было не так, однако истинное мастерство всегда вызывает изумление, в ее же игре была болезненная вымученность, страсть изображалась слишком тщательно, со старанием. Она окончательно вычеркнула меня из своей жизни, но даже со стороны нельзя было не заметить, что фильм для нее настоящая пытка. Как и для меня, особенно когда я вспоминал, как все началось, нашу прогулку с Сэмом Шоу вдоль Ист-Ривер и свою идею подарить ей сценарий.

Игра в правдоподобие отвратительна, особенно когда человек ни на йоту не может отступить от того, что ему кажется достоверным. Не знаю, чему ее наставляла Паула, а может быть, Ли, но, научившись думать о чувствах, она перестала переживать, а мысли изображать очень трудно. Надо признаться, что, когда я смотрел фильм годы спустя, ее игра показалась мне более естественной, чем в то тяжелое время, и я до сих пор удивляюсь, как она смогла в той обстановке сыграть так удачно.

А тогда мне пришла в голову мысль, не стало ли актерское мастерство узаконенной формой нарциссизма, эгоистическим погружением в себя, а не результатом живого и радостного наблюдения за человеческим существованием, что только и могло его оправдать. Пока я тосковал в одиночестве, страна, похоже, предалась безумию под названием «удовольствие», днем и ночью наслаждаясь фальшивым искусством, которое ничему не угрожало, ничто не искупало и означало только потерю памяти.

Как-то вечером я добрался до гостиницы и включил телевизор: шли очередные дебаты двух претендентов на пост президента, Никсона и Кеннеди. Странно, что страна жила своей жизнью, не обращая внимания на «Неприкаянных». Заказав в номер ужин с бутылкой виски, я устроился перед телевизором. На экране стояли два актера, которым было так же неуютно перед камерой, как каким-нибудь старшеклассникам во время дискуссии. На Никсоне были пиджак на вырост, явно с братнего плеча, и рубашка со съехавшим набок воротничком. Обоих распаляло честолюбие, и, не обладая авторитетом, на который

каждый претендовал, они вынуждены были напустить на себя самоуверенный вид. Телевизор стоял у окна, за ним висела синева ночи, простираясь от кряжей вечных гор в сторону Калифорнии. Смотреть туда было много приятнее, чем на двух человек на телеэкране. Несколько недель назад здесь полыхал страшный пожар — кто-то поджег лес, да так, что пеплом затянуло небо двух штатов. Во всем Рино прекратилась подача электроэнергии, но наши монтеры как-то исхитрились провести кабель к нам в номер на шестом этаже. Ток подавался от аккумулятора припаркованного внизу грузовика. Единственная на весь город лампочка горела, создавая уют в комнате Мэрилин. Это было трогательно с их стороны: ребята из съемочных групп любят творить чудеса — это дает им ощущение реальности.

У экрана сидел я один, переживая неестественность и надуманность теледебатов. Не было сил покончить с кино, театром, этим балаганом, который шел под видом серьезной программы, рассчитанной на то, чтобы простой американец, увидев, кто из кандидатов смотрится лучше, выбрал себе кинозвезду для ролика полнометражного художественного фильма. Между ними не было большой разницы, за исключением того, что каждый владел набором ключевых слов, которые были рассчитаны на определенную аудиторию. При этом Никсон казался по-лисьи жалостлив к себе и в то же время крайне несговорчив, тогда как Кеннеди с квадратной ирландской челюстью и в хорошо пошитом костюме олицетворял потенциальную угрозу, которую Америка в его лице могла представлять для других стран. Чувствовалось, что в основе дебатов лежит продуманный сценарий, хотя, как всегда в таких случаях, не обходилось без импровизации. Я выбрал Кеннеди, поскольку оказалось, что мы читали несколько одних и тех же книг.

Утром раздался звонок.

— Ли здесь. Он хочет поговорить с тобой.

Наконец-то. Теперь Мэрилин будет играть, и мы завершим работу над фильмом.

— Он уже переговорил с Джоном?

— О нет.

Это «о» почему-то насторожило меня. К чему это ее странное «О нет»? Для Ли не имело смысла конфликтовать с Хьюстоном, им надо было теснейшим образом сотрудничать, иначе какие могут быть перемены?

В лифте, подымаясь к Страсбергам, я повторил про себя список претензий. Дверь открыл Ли собственной персоной. Он

был так нелепо одет, что у меня все вылетело из головы. Несмотря на стоградусную жару, на нем был плотный ковбойский костюм с иголочки — надраенные до блеска ботинки, отутюженные брюки, отглаженная рубашка с обшитыми тесьмой кармашками и обшлагами — и бледноватое заостренное лицо интеллигента с нетренированным телом.

— Ну ты и вырядился, — сказал я.

Он загадочно хмыкнул:

— Да, очень удобно.

— А ботинки зачем? — Трудно было поверить, что остроносые «вестерны» не нуждаются в разнашивании.

— Что значит — зачем? — присаживаясь, ответил он.

На кушетке боком в расписанном драконами кимоно возлежала, подложив под голову руку и торжествующе улыбаясь, Паула. Она была горда, что муж приехал разделить ее бремя, волосы томно рассыпались по плечу — одалиска в оправе.

Ли нахмурился.

— Нам надо серьезно поговорить.

— Да, я давно мечтаю об этом.

— Ситуация невыносима.

— Ты прав.

Вероятно, у него есть какая-то методика, чтобы ей помочь, и мы сегодня же приступим к работе — так мне показалось. В какой-то момент я обрадовался, что ошибался и он знает секрет, как спасти Мэрилин, душа которой в этот момент томилась в сумрачном подземелье.

— Если вы сейчас же не предпримете шагов, я сниму Паулу с картины. — Он взглянул мне прямо в глаза, как будто требуя, чтобы я поддержал его.

При чем здесь Паула? Я посмотрел на диван, где, самодовольно усмехаясь, как будто радуясь тому, что наконец попала в центр внимания, возлежала эта женщина.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, Ли.

— Хьюстон не хочет с ней разговаривать. Разве это не оскорбительно? Я не позволю ей больше работать с вами, пока он не извинится. Я не допущу, чтобы с ней так обращались. Она художник! Работаете известнейшими кинозвездами. Нет, это вам так не пройдет!

Ошеломленный, я не мог понять, о чем речь. Может, Паула не успела рассказать ему, что Мэрилин находится in extremis[22], что речь, возможно, идет о ее жизни, не говоря об угрозе срыва работы над фильмом. Разве иначе он мог бы предъявлять такие претензии? Говорить, что режиссер не оказывает должного почтения его супруге? А может быть, Паула настолько одержима

манией величия, что не замечает болезненного состояния Мэрилин? Неужели Ли согласился приехать только затем, чтобы утвердить свой авторитет решением надуманной проблемы с женой и выйти сухим из воды, когда Мэрилин нуждается в его помощи?

Это было ужасно. Глядя на невообразимый костюм, в котором он напоминал заядлого туриста на отдыхе, я подумал, не драматизирую ли события, слишком всерьез воспринимая раздражение Мэрилин, возможно, обычное состояние актрисы во время съемок? Я не знал, что предпринять.

А он продолжал… Какая Паула несчастная и заброшенная, как беззаветно кладет жизнь, помогая выдающимся актерам, как он не хотел ввязываться, но придется «для блага Мэрилин». Его невозможно было остановить и в то же время с ним было унизительно говорить всерьез, до такой степени этот человек был ослеплен собственным величием и величием своей жены, что страдания Мэрилин доходили до него, как свет далекой звезды, которая тут же померкнет, стоит закрыть глаза, ибо эта звезда очень далеко, — и ничего более.

— Прежде чем я начну помогать, Артур, я должен решить эти вопросы.

— Ничем не могу быть полезен, это касается только Джона и Паулы.

— Да, но это твой фильм, и ты должен помочь.

— Не фильм, а сценарий. Поэтому я бессилен, Ли. Джон не привык общаться с актерами через посредников, и, я думаю, его уже не переучить. Так ты не будешь разговаривать с Мэрилин?

— Мне придется забрать Паулу с собой.

— Ну что ж, это будет, наверное, конец картины. — Не говоря о Мэрилин, если она не доведет съемки до конца. Но об этом было бессмысленно говорить. — Ты волен поступать как знаешь. Но все-таки переговори с ней, она сейчас очень нуждается в твоей поддержке, ты понял?

— Конечно, переговорю, — уступил он.

И я понял, как он живет — сделав все, что можно, ни при каких обстоятельствах не брать ответственности на себя, особенно теперь, когда Мэрилин на пределе. И это был тот единственный человек, которому она во всем доверяла. Такова была ее судьба.

Съемки практически прекратились. Какой смысл было возить несколько десятков человек через горы к соляному озеру, когда неясно, удастся ли поработать. Наступил кризис. Не знаю, что говорил ей Ли, сразу же после этого отбывший в Нью-Йорк, но это

не повлияло на ее отношение к работе. Я поднялся к Пауле, боясь, как бы она по глупой рассеянности не перестала наблюдать за Мэрилин. Трудно было понять, сознает ли она, насколько слаба Мэрилин. Я никогда не был до конца уверен, слышит ли Паула, что ей говорят.

Она встретила меня, приложив палец к губам, пропустила в гостиную, прошла в спальню и позвала за собой. Мэрилин сидела на кровати. Врач осматривал внутреннюю сторону ее руки в поисках вены, чтобы вколоть амитал. У меня внутри все перевернулось. Увидев меня, она закричала, чтобы я вышел вон. Я спросил врача, знает ли он, сколько она уже приняла снотворного и других лекарств. Молодой испуганный парень бросил на меня растерянный взгляд — он хотел побыстрее сделать укол и уйти, чтобы никогда больше не возвращаться. Тут же, около кровати, в черной хламиде, с аккуратно зачесанными подколотыми волосами, напудренным носом и выражением материнской заботы на лице стояла пышущая здоровьем Паула. Мне показалось, что она едва ли испытывает чувство вины. Да, она поняла, что сделка оказалась невыгодной и ситуация вышла из-под контроля. А потому искала поддержки, требуя признания собственной самоотверженности, ибо не могла не проявлять заботу, хотя это уже потеряло смысл. Я хотел увести доктора, чтобы он не делал укол, но Мэрилин страшно закричала — мое присутствие вызвало в ней прилив ярости, — так что нечего было и думать ей как-то помочь. Я вышел и стал ждать врача в гостиной. Он удивился, что она не засыпает, хотя дозы хватило бы на большую операцию. Сидя на кровати, она, однако, продолжала болтать. Он понимал, что к нему обратились в последнюю очередь, когда никто из местных врачей уже не пошел. И тоже отказался приходить, опасаясь за ее жизнь после всего увиденного. Я вернулся в спальню. Она посмотрела на меня, опустошенная и затихающая, несколько раз повторив, как во сне: «Убирайся вон».

Паула на этот раз была очень внимательна. «Пойду схожу вниз за обедом…» Я испытал ответный прилив теплоты, наверное потому, что сам крайне нуждался в поддержке, и заметил, что в уголках ее глаз застыл страх. Раз боится, значит, в здравом уме, раз в здравом уме и все еще здесь, значит, у нее есть какие-то обязательства, кроме любви к себе. Я поблагодарил ее — так, ни за что, — она коснулась меня рукой и пошла с кем-то из актеров за обедом.

Мэрилин лежала с закрытыми глазами. Я ожидал услышать затрудненное дыхание, однако она была спокойна. Цветок из стали и то бы не выдержал такое. Я впал в отчаяние: как же я был

самонадеян, думая, будто мне под силу одному сберечь ее от дурного, и перебирал в голове, кто бы мог ей помочь. Давила усталость, и не было никакой надежды, что когда-нибудь мы снова сможем общаться. Я слишком долго был рядом и ничего не приобрел, кроме чувства неизбывной ответственности за ее жизнь. Она же нуждалась в ином — взлететь на гребне бегущей волны, чтобы та с грохотом вынесла ее, загадочную морскую богиню, на берег. Презирая магию, она все-таки хотела, чтобы предметы вспыхивали от ее прикосновения, доказывая, что высокое искусство и власть что-то такое же неотъемлемое, как и ее глаза. Я вспомнил о ее лос-анджелесском враче, хотя он вряд ли бы согласился оставить практику и приехать сюда. Но отбросил эту мысль: пусть возьмет себя в руки. Почему бы ей не позаботиться о себе, если это единственный выход. Но она, похоже, уже не могла, полностью попав во власть снотворных таблеток, а до меня слишком поздно дошло, что именно из-за них я потерял ее… Круг замкнулся, я понял, что ей, наверное, уже не помочь. Я был сейчас совершенно беспомощен, мешок гвоздей, брошенных ей в лицо, немой укор в беспомощности перед собственным прошлым, с которым она не могла совладать, даже по-настоящему полюбив.

Впервые за долгое время мы были вдвоем в тишине, и мысль, что она в таком состоянии должна еще и работать, показалась мне чудовищной — мы все сошли с ума, как это могло произойти? Надо было срочно прекращать съемки. Хотя я знал, что она придет в ярость, расценив это как обвинение в том, что из-за нее провалилась картина. Не говоря уже о карьере.

Я вдруг поймал себя, что от безысходности уповаю на чудо. Она проснется, а я скажу: «Господь вернул тебе свою любовь, дорогая». И она поверит! Захотелось стать верующим, чтобы она тоже обрела веру. Все встало на свои места, мы изобрели Бога, чтобы не умереть от жизни, где самая большая реальность — это любовь. Я представил, как ее жесткий страдающий взгляд исполнится сокровенности и кротости, в этом для меня была ее суть, ее неповторимость. Все остальное, влекущее и пугающее в ней и в других, лежало по ту сторону любви.

А что было бы, фантазировал я, перестань она быть кинозвездой, — смогли бы мы жить как самые обычные люди, на равнине, далеко от высочайшего пика, где воздух сильно разрежен? Эта мысль вдруг выскочила из-под меня, как костыль, и образ Мэрилин потерял свои очертания. Что бы она делала, едва умея писать, в обыденной жизни? Увлеченный видением, я продолжал представлять, как спокойная, позабывшая об изнуряющих ее страхах Мэрилин, молодая, от рождения

интеллигентная женщина, днем занимается своими делами, а вечером, умиротворенная, ложится спать. Возможно ли это? В своей безвестности она была мне намного дороже.

И тут я осознал собственный глубочайший эгоизм, ведь положение кинозвезды было главным достижением ее жизни, ее триумфом. Что бы я сказал, если бы условием женитьбы мне поставили отказ от творчества? Весь ужас был в том, что между нею и этой кинозвездой не существовало малейшего зазора. Ее убивало то, что она Мэрилин Монро. Иного ей было не дано. Она жила от фильма к фильму, и отказаться от славы для нее в буквальном смысле означало зачахнуть. Она с наслаждением возилась в саду, любила переставлять в доме мебель, покупать какую-то ерунду вроде лампы или кофейника. Все это было предуготовлением к уютной жизни, которой она не могла долго выносить, и в порыве новой роли опять устремлялась к луне. С юных лет, сначала в мечтах, а потом в жизни, она установила особые отношения со зрителем, и лишиться их для нее было все равно что отторгнуть кусок живой плоти.

Вожделея о чуде, я понял, что никакими умозрительными решениями ее не спасти. Только мгновенный шок, отрезвляющее видение собственной смерти могло бы подвигнуть ее на отчаянный шаг снова обрести веру. Похоже, понимая это, она ввергала себя в краткое наркотическое забытье, раз от разу становившееся все опаснее.

Я не располагал тайным знанием, чтобы спасти ее. Не мог взять и повести за руку, так как она отказывалась протянуть ее мне. Единственное — вера, что я ее последняя опора, и та покинула меня. Трудно было допустить, что ей вообще кто-нибудь в состоянии помочь.

Одно было непреложно — она не может закончить съемки. Но этот провал подтвердил бы наихудшие опасения, что она находится под магнетической властью жуткого прошлого и не в состоянии совладать с собой. Она спала. А я еще раз страстно посетовал, что не умею молиться и не могу сотворить для нее образ, о котором знает только любовь. Хотя и это бы не спасло.

Около года назад, когда Мэрилин снималась в Голливуде в глупейшей комедии «Давай займемся любовью», к нам заглянул Уолтер Уэнджер, предложив подумать о сценарии по повести Камю «Падение». Я перечел ее, но желания писать сценарий не возникло, и мы просто поговорили. Я слышал, что в период гражданской войны в Испании Уэнджер поставил «Блокаду» с Генри Фонда и Мадлен Кэролл, фильм, который стал одной из немногочисленных попыток Голливуда отреагировать на поражение демократии. Несмотря на завуалированную поддержку

республиканцев, фильм пикетировался ура-патриотическими силами. Уэнджер производил впечатление серьезного и очень образованного человека. Однако по нему сразу было видно, что он режиссер старой голливудской закваски, и я вспомнил, что где-то читал, будто несколько лет назад он застрелил любовника своей жены.

Если опустить философский подтекст, то «Падение» — история о сложности взаимоотношений мужчины с женщинами, которую отодвигают на второй план сосредоточенные рассуждения повествователя-мужчины об этике, в частности о том, можно ли осуждать человека за ужасный поступок, когда он остался равнодушным к чужому зову о помощи. Антигерой, от лица которого ведется повествование, выступает в роли «судьи-грешника», преследуемого сознанием вины за то, что не остановил девушку, которая на его глазах бросилась вниз с моста.

Повесть была тонко выписана, но ее финал заставил предположить, что автор хотел поставить более серьезную проблему, чем чье-то равнодушие к чужому крику о помощи. Рискуя жизнью, можно было спасти девушку и обнаружить, что ее спасение вовсе не в тебе, сколь бы заботлив и внимателен ты ни был, а в ней, и только в ней самой. А что, если в худшем случае попытка спасти диктовалась тщеславием и любовью? Может ли болезненное себялюбие перечеркнуть этическое деяние? Возможно ли, исходя из самых искренних побуждений, спасти того, кто отказывается от спасения? Может быть, все дело в том, чтобы пробудить в человеке стремление к жизни? А если это невозможно, то с какого момента тот, кто спасает, обречен на неуспех? Можно ли оправдать неуспех и в каком случае? На мой взгляд, «Падение» обрывалось слишком рано — там, где начиналась самая большая боль.

В конце концов, самоубийство может выражать не только разочарование в себе, но и ненависть к другому. В Китае по традиции самоубийца вешался в дверном проеме дома своего обидчика. Это было не только сведением счетов с собой, но и своеобразной формой мщения. Согласно христианской морали, тех, кто наложил на себя руки, было запрещено хоронить на кладбище. Не потому ли, что этот человек умирал не только в ненависти к себе, но к Богу, божественному дару жизни?

Ее сон вовсе не походил на сон, но был пульсацией измученного существа, которое сражалось с демоном. Как его звали?

Она видела себя жертвой, которую все предают, как будто была пассажиром в собственной жизни. Однако, как и все, она была еще и машинистом, ибо не бывает иначе. Похоже, она

догадывалась об этом, но не хотела мне признаться. Поэтому я был бесполезен и только раздражал ее. Самая страшная ирония заключалась в том, что, не приняв этот образ жизни, я предпочел избавить ее от него, только укрепив уверенность, что она жертва. Я отверг мрак, в котором она жила, не признав его власти над нею, она же восприняла это как отказ от нее самой. Только божественная благодать могла даровать ей спасение, но этого не произошло. Ей ничего не оставалось, как защищать свою невинность, в которую она не верила в глубине души. Невинность губит.

Поскольку завершение съемок было на грани срыва, Хьюстон взял быка за рога и отправил Мэрилин в Лос-Анджелес, в частную клинику к врачу-психоаналитику, который должен был отучить ее засыпать с барбитуратами. Она вернулась дней через десять, поразив меня своей героической способностью к быстрому восстановлению сил, физических и душевных; но здоровье и так бы вернулось к ней, если бы она проявила стойкость и отказалась от снотворного. Потянулись дни напряженной работы, мы снова общались. Она держалась на расстоянии, но в ее отношении ко мне по крайней мере не было открытого озлобления. Не обсуждая, мы оба знали, что практически разошлись. На мой взгляд, это сняло с нее напряжение, и я радовался этому.

Финальная сцена снималась последней. Согнав мустангов в круг, Лэнгленд останавливал машину, чтобы Розалин отвязала собаку, о которой забыли. Съемки проходили на киностудии в Лос-Анджелесе. В зеркале заднего вида была видна убегавшая в пустыню дорога, Гейбл тормозил, Мэрилин спрыгивала к собаке. По сценарию Гейбл провожал ее взглядом, в котором явственно проступала любовь, но, стоя у камеры, футах в десяти от него, я заметил, что выражение его глаз лишь слегка изменилось.

«Все! Кончили! Спасибо, Кларк, спасибо, Мэрилин!» Хьюстон был оживлен, деловит и наотрез отказывался сентиментально прощаться с прошлым. Не тратя времени, он сказал, что должен пойти поработать над фильмом с монтажером. Я спросил Гейбла, не опасается ли он, что его взгляд в последней сцене был недостаточно выразителен. Гейбл удивился. «Главное — глаза. В кино все дело в глазах. — Он очертил их в воздухе прямоугольником. — Нельзя утрировать, на экране все увеличивается в сотни раз». И оказался прав, в чем я не преминул радостно убедиться, глядя, как стремительно развивается в фильме действие этой сцены. В нужный момент его взгляд смягчился, хотя я не заметил этого тогда, когда стоял от него всего в нескольких футах.

Пришло время прощаться. Гейбл сказал, что накануне ночью

видел черновой ролик «Неприкаянных». На его взгляд, это был лучший фильм в его жизни. Он по-мальчишески хохотнул, схватил меня за руку и тепло коснулся плеча, будучи не в состоянии скрыть восторг, которого я никогда не замечал у него раньше. Его уже поджидал друг, который приехал забрать Гейбла на недельку куда-то на север, порыбачить и поохотиться. Мы посмотрели в глаза друг другу чуть дольше положенного, испытав облегчение, а может быть, даже удовлетворение. Он повернулся, сел в кабину огромного «крайслера» и укатил. Через четыре дня его не стало, у него случился инфаркт.

Когда машина отъехала, я оглянулся в поисках Мэрилин и увидел коричневый лимузин, в котором, напряженно глядя перед собой и делая вид, что не замечает меня, сидела Паула. От бесконечных потерь меня охватило целительное равнодушие. Из всех, с кем в последнее время приходилось общаться, Паула стремилась сделать больше других, чтобы ситуация не стала хуже.

Садясь в машину, я открыл дверцу, и тут из здания вышла Мэрилин. У нее было настолько безмятежное, беззаботное выражение лица, что я в который раз усомнился, уж не придумал ли ее трудности. В конце концов, каждая из последних трех-четырех картин давалась ей весьма мучительно. Наверное, глупо было винить себя в том, что, работая, она все время раздражается. Не говоря о том, чтобы терять ее из-за этого. «Мужчинам всегда нравятся счастливые девушки». Как бы там ни было, мы уезжали со съемок в разных автомобилях, что было достаточно нелепо. Однако больше всего я опасался, как бы Мэрилин не постигла участь ее матери. Она наконец решила всерьез стать актрисой и завоевать это право своим мастерством, что было недопустимо и греховно. Последняя роль, возможно, стала сущей пыткой из-за того, что она пыталась утвердиться в своем женском достоинстве.

Я ехал по бульвару Сансет в непритязательной, взятой напрокат «американ моторс», зеленой развалюхе, самым большим достоинством которой было то, что на нее никто не обращал никакого внимания. Сбоку промелькнула вывеска ресторана, и я вспомнил, как однажды, когда Мэрилин снималась в фильме «Давай займемся любовью», мы, устав от однообразного меню в гостинице, приехали сюда поужинать. Чтобы нас никто не узнал, она надела темные очки от солнца и пестрый платок, я же, наоборот, снял очки. Мы не заказали столик заранее, и нас не пустили. У меня рука не поднялась надевать ради этого очки или просить Мэрилин снять свои. Мы посмеялись, но что-то в этой ситуации задело ее. Теперь, проезжая мимо, я вспомнил, что, очутившись на улице, сам испытал неприятный осадок,

неожиданно поняв, что, того не желая, попал в тенета власти общественного признания, когда только и ждешь, что тебя повсюду будут встречать с распростертыми объятиями. С какой радостью я сейчас незаметно ехал в старой, подержанной машине.

Миновав несколько кварталов, остановился у светофора. Рядом затормозил коричневый лимузин. Обе женщины напряженно смотрели вдаль, при этом Паула, как всегда, оживленно болтала, и я понял, что меня в который раз подвело былое стремление верить в особую спаянность людей, объединенных единой целью. Я всегда испытывал боль, когда работа над моим произведением завершалась и актеры неизбежно разбредались каждый своим путем.

Долгие съемки, как фильма «Неприкаянные», сродни ежедневным прогулкам во внутреннем дворике, окруженном высокой стеной. Порою не вспомнишь, сколько времени прошло с тех пор, как начал писать сценарий, — два года, три, — как вдруг ворота распахиваются, и открывается прекрасный солнечный мир. Я с легким чувством ехал в Сан-Франциско, не зная там ни души, — превосходное ощущение, хотя оно и озадачивало. Было начало шестидесятых. В «Хангри-ай», первом политическом кабаре, которых я не видел со времен «Сообщества», кафе конца тридцатых, где царил Морт Сахель, чье едкое остроумие трудно было с чем-то сравнить, молодежная публика представляла собой сборище умытых и разобщенных интеллектуалов. Это напомнило наши собрания, где тоже собирались незнакомые люди, но нас объединяла борьба против Гитлера, эти же всего лишь пребывали в ожидании Годо. Я понимал, что подобные сентенции о целых поколениях — миф, которым каждый расцвечивает свое время, как осьминог окрашивает краской вокруг себя воду.

У власти стоял Эйзенхауэр, Кеннеди был на подходе. Странно, но я волшебным образом оказался отрешенным от жизни, впервые за несколько десятилетий не имея даже собственного дома. Колесить по Сан-Франциско было одно удовольствие, намного спокойнее, чем по Нью-Йорку, — незнакомые места в Америке всегда кажутся безопаснее, чем те, которые знаешь.

Казалось, все утрясется, но не проходило и нескольких часов, чтоб я не вспомнил, что Мэрилин находится среди чужих. Дошло до того, что, кроме меня, все стали казаться для нее посторонними, — ведь со мной она была много дольше, чем с кем-то за всю жизнь. Мною вновь овладели эгоистические чувства. Она, как и я, изо всех сил старалась давать, но не умела

брать. Медленно, день за днем постигая, что она все-таки знает, как жить, я наконец позволил себе такую роскошь, как быть отвергнутым ею. Захотелось в Коннектикут — пожить и, если получится, заняться сельским хозяйством.

Потом снова накатывало мрачное настроение, когда я вдруг начинал сомневаться, что она знает, как жить. Страх рассеивался, стоило вспомнить, насколько я бесполезен для нее, и так снова и снова по двадцать раз на дню. Пора было смириться, что у нее есть своя точка опоры. Как это ни сентиментально, она все-таки являлась реальностью этого мира. Я запретил себе думать на эту тему — каждый спасается сам, никто не может спасти другого, кроме него самого. Но воспоминания были сильнее меня, сомнения не покидали, и я снова и снова проверял, не заблудился ли в частностях. Неужели ее врач не знает, какую смертельную опасность представляют для нее снотворные? Может быть, его обманывала ее внешность, когда она входила в его кабинет, кровь с молоком, с виду похожа на старшеклассницу, за несколько часов до этого побывав в лапах у смерти? Понимал ли он, что она физически невероятно выносliва? Даже ее желудок был в сговоре против нее.

На обратном пути в Лос-Анджелес я раздумывал, чт***о*** подвигнуло первых киношников выбрать под киностудию этот безжизненный край, пустыню, которую пришлось оросить, прежде чем она зазеленела, с самого начала являясь чем-то искусственным. Я вспомнил, как Фокс предлагал отцу субсидировать свое начинание. Оно так и осталось ничем, кроме станка для печатания денег. Но люди почему-то всегда ждут от него чего-то возвышенного.

В дверь моего номера в голливудской гостинице постучали. На пороге стояла женщина лет под тридцать, аккуратно одетая, в юбке из шотландки и блузке, с виду похожая на прелестную школьницу со слабым истрепанным ртом.

— У вас не будет чернил? — Напряженный взгляд прямо в глаза — необычайно трогательная манера дать понять, что она знает, кто я, и ей известно, что теперь я один.

— Чернил?

— Я пишу.

— Нет, чернил нет. Я могу предложить шариковую ручку.

— Спасибо. Но я пишу только простой.

— А-а. Так вы писательница?

Тонкий лед. Ее щеки порозовели.

— Ну что вы, я еще только учусь. — Она слегка улыбнулась.

— Отлично. Рад предложить вам шариковую.

— Спасибо. Мне действительно надо чернил.

— Тогда ничем не могу вам помочь.

— Извините. — Она повернулась, чтобы уйти. От обиды голос стал высоким.

Я подошел к окну и с высоты восьмого этажа посмотрел вниз на бассейн. Молодая женщина плыла кролем. Она вышла из воды и стала загорать на солнце, наклонившись, чтобы отжать мокрые волосы. У нее были толстые бедра и широкий зад. Женщины, божественные измученные существа. В юности я особенно остро чувствовал, что им постоянно лгут, — почему они никогда не замечали этого?

Я поехал на пляж, но дул холодный бриз, и там почти никого не было. В ленивости Тихого, в отличие от более резвого, холодного и соленого Атлантического, сердитого и полного идей, всегда чувствуется какая-то апатия, почти одиночество.

Из воды вышла девушка с ньюфаундлендом на поводке. «Да есть миллион красивых девушек», — как-то сказала она мне, когда я любовался ею в новой синей юбке от матросского костюма. Она хотела, чтобы все было сразу, но одно исключало другое: восхищение внешностью таило неуважение к личности, в то время как она бесконечно боялась оказаться незамеченной. Я снял ботинки и шлепал по кромке теплой воды, мягко набегавшей на прибрежный песок. На завтра не было никаких планов, но что-то подталкивало, заставляя спешить и стараться не упустить время. Ради чего? Кто собирает утраченное время? Его нельзя потерять, мы просто транжирим его, выбрасываем, все зависит от человека, а я не хотел больше отказываться от самого себя, вот и все, и решил пожить так какое-то время. Надо было учиться преодолевать внутреннюю апатию, вылечиться, отдавая энергию вовне, открыться навстречу миру, перестав ориентироваться на одну цель, которой не стало.

Разве можно разобраться в себе, тем более понять другого человека? Единственное, что оставалось, — это ирония. Остывающее светило, которое садилось сейчас на моих глазах, где-то вставало раскаленным и новым.

Неужели кто-то всерьез полагал, что это место принадлежит ему? Было странно подумать, что она родилась здесь. Только поэтому я уже не мог понять ее — она верила, что этот город — реальность, а не вид*е*ние, появившееся невесть откуда.

В такой вечер, когда солнце садилось, «они сказали, что мы едем покататься на машине, а когда остановились, я увидела, что это приют, вцепилась в дверцу и закричала: „Я не сирота, я ведь не сирота!“ Они отрывали мои пальцы, чтобы завести в дом и оставить». Теперь она научилась смеяться над бедными неразумными людьми, которые бросили ее.

Я вернулся к машине и сел, чтобы отряхнуть с ног песок. Прохладная ночь наступает в Калифорнии быстро, как будто в теплой комнате распахнули дверцу холодильника. Первая ночь в приюте убила в ней благословенность жизни, и это чувство умерло в ней. У нее были мать и отец, но при этом не было дома; у нее были корни и своя жизнь. Теперь же то, кем она была, навсегда перестало иметь какое-либо значение. И можно было провалиться в бездну от того, что кто-то о тебе скажет, или потеряться — когда кто-то окинет цепким взглядом. И стать покладистой и пропеть песенку сиротки, очаровывающую своей правдивостью.

Может быть, ее крик означал, что она знает, у нее есть настоящий отец, и он был даже женат на ее матери? Возможно, мать сама во время одного из буйных приступов по возвращении из больницы придумала историю о том, что отец дочери был богатый красавец, отказавшийся признать ее? Терзаемая грехом, подверженная религиозному остракизму, не сама ли эта бедная женщина придумала историю о незаконном младенце, на котором лежит проклятие, обретя в этом оправдание убийству и перенеся факел из своего сердца в сны дочери? Где он продолжал полыхать, увы.

Бен Хехт первый понял, какой клад таит в себе идея ее сиротства, и занялся разработкой, но она сама так никогда и не могла четко ответить, действительно является сиротой или ее лишь на какое-то время отдавали в приют. Похоже, для нее это оставалось столь же неясно, как для ее матери, от которой она только и усвоила, что незаконный ребенок — грех, а грех делает тебя никчемной. Хехт уловил привлекательность этой идеи, ибо если ты никчемен и выглядишь как невинный ребенок, то беззащитен как объект сексуальных вожделений или, если хотите, ты — вольный дух, и никто в мире не властен потребовать отчет в твоих поступках.

Однако тут была закавыка: у нее имелся адрес, корни, своя жизнь, она не была беззащитной и не заслуживала того скрытого презрения, с которым, как всегда кажется этим несчастным, к ним относятся окружающие, с другой же стороны, она была тем, чем ее хотели видеть, — очаровательным сексуальным существом без адреса и без дома. Так кем быть? Все было бы намного проще, если бы в глубине ее души не существовало стремления прожить жизнь осознанно.

В самолете на обратном пути в Нью-Йорк после завершения съемок «Неприкаянных» я пристегивался ремнями, когда в проходе остановился, пробираясь в туалет, полный мужчина лет

около семидесяти и, уставившись на меня, спросил:

— Послушайте…

— Знаю, но я — не он. Очень похож, но вы ошиблись.

— Морис Грин?

— Нет.

Теперь уже я не мог сдержать своего интереса:

— А кто такой Морис Грин?

— Как — кто такой Морис Грин! — сказал он, как будто это был Боб Хоуп. — Морис Грин из Пафкипса. Скобяные изделия Грина, не знаете, что ли?

— Ах вот оно как! Нет, вы ошиблись.

— Голову бы дал на отсечение. Простите, — сказал он и пошел дальше, ненароком сбросив с подлокотника мою руку. К счастью, я снова оказался одним из всех, быстро низринутый в национальную реку лиц, катившую свои воды сквозь горловину Америки.

VIII

Впервые мы встретились с ней в Рино, куда она приехала с Анри Картье-Брессоном на съемки «Неприкаянных». Пожалуй, трудно найти фильм, который бы так опекала пресса. Они прибыли последними из дюжины представителей «Магнума», посменно дежуривших там месяцами. Мэрилин сразу полюбила ее за обходительность и доброту, а также редкое среди фотографов отсутствие агрессивности. И отметила свои фотографии, сделанные Ингой Морат, почувствовав в них искреннюю расположенность к себе.

Войдя в бар гостиницы «Мейпс», я увидел, как Хьюстон, сидя за столиком рядом со стройной, благородного вида молодой женщиной-фотографом с короткой стрижкой и европейским акцентом, одновременно показавшейся застенчивой и сильной, смеется, запрокинув голову. Я запомнил стрижку, ясные голубые глаза и скрытую чувственность, но был слишком занят мыслями о неудачах с финалом фильма и поэтому едва помню, о чем говорили. В то, что мы с Ингой будем женаты двадцать пять лет, как явствует на тот момент, когда пишутся эти строки, я бы тогда не поверил. Как совместить лучший период жизни — четвертьвековое совместное существование — с умозрительным заключением никогда не жениться, теперь уже в третий раз! Былые убеждения можно восстановить в памяти, но так же трудно оживить, как узнать будущее. Я был уверен, во мне уже не проснется потребность преодолеть внутреннюю замкнутость и обрести близкого человека, с которым можно будет жить, положившись друг на друга, но она появилась и жила сначала дни, а потом недели и месяцы. В католической Австрии ее родители перед свадьбой, лет около пятидесяти назад, перешли в протестантизм, чтобы иметь возможность развестись, если возникнет такая необходимость. Брак должен существовать ровно столько, сколько ему отпущено, считала она. Поэтому мы поженились, пребывая в состоянии душевной умеренности, с твердыми, но скромными упованиями. При всем постоянстве союз представлялся недолговечным и, оставаясь таким, к нашему удивлению, существует поныне — тростинка, которой можно скорее восхититься, чем уверенно опереться на нее. В конце концов, брак — это повод для взаимного прощения, и она знала, что ей придется многое прощать.

Но тогда я едва взглянул на нее. До того как мы подружились в Нью-Йорке несколько месяцев спустя, мы почти не общались. Будучи намного моложе Картье-Брессона, она несколько лет была

его главным помощником в Париже, и теперь они вместе путешествовали по Америке на арендованной им по этому случаю машине. Он хотел пересечь страну, чтобы увидеть ее истинную жизнь. Всю дорогу от Рино до Нью-Йорка они искали, где бы поесть. Будучи европейцами — она австрийка, он француз, — оба допустили глубочайшую ошибку, предположив, что вдоль дороги их ждут уютные ресторанчики с местной кухней. Вместо этого повсюду были закусочные с гамбургерами. По счастью, он захватил маленький электрический кипятильник, рассчитанный на одну чашку воды, — всю дорогу они пили чай и питались салатом.

Позже Хьюстон рассказал мне, что их так развеселило в баре. Незадолго до «Неприкаянных» он был в Мексике, где в глухом уголке снимал «Неуловимого» и куда Инга приехала делать фотографии. Она работала в «Пари-матч» и «Лайфе». В главной роли был занят знаменитый Оди Мерфи, который всю Вторую мировую войну прошел пехотинцем, а потом стал известнейшим американским актером, героем-орденоносцем, одною левой дюжинами косившим немцев. Как-то утром Джон с приятелями отправился пострелять уток на огромном высокогорном озере и забрал Ингу, чтобы она запечатлела последние трепыхания подстреленной им дичи. Ей порядком надоел весь этот шум и гам с градом дробинок, сыпавшихся на голову и на ее новенькие телефотолинзы, и она отправилась погулять. Внимание привлекли две мечущиеся на воде темные точки. Через дальномер она разглядела, что у покачивающейся на волнах лодки барахтается человек. И закричала, но никто из охотников ухом не повел, зная, что те двое — Оди и пилот их кинокомпании — были настоящие machos[23], которые могут за себя постоять. Она же поняла, что их дело плохо. И, потеряв несколько минут на призывы к охотившимся, скинула одежду, войдя в трусах и лифчике в холодную воду. Плыть было с полмили. Мерфи в полном изнеможении колотил из последних сил по воде руками, но никак не мог забраться в лодку. Пилот, будучи не в силах помочь приятелю, поскольку тоже не умел плавать, пребывал в истерике. Она приказала Мерфи схватиться за бретельку лифчика и отбуксировала его на берег. Это заняло порядочно времени, а на берегу все так же палили без остановки. Придя в себя, Инга добралась до них и выругала, обозвав мерзавцами. Встретив ее несколько месяцев спустя в Рино, Хьюстон весь лучился радостью. И выразил этой хорошенькой молодой женщине особое почтение, которого в его глазах заслуживали лишь те, кто смотрел смерти в лицо. Мерфи в знак благодарности подарил ей одну из своих заветных реликвий — часы, с которыми, не расставаясь, прошел

всю войну, великолепный хронометр, который она носит до сих пор. У него была еще одна такая же реликвия — револьвер, который он постоянно держал под подушкой и, просыпаясь по ночам от кошмаров, иногда палил из него в тент палатки.

В Нью-Йорке, где Инга бывала проездом между командировками, шла затяжная война между Картье-Брессоном и Гжоном Мили, еще одним великим фотографом, но совершенно иного плана. Каждый из них оспаривал право называться ее крестным отцом от фотографии. Основным пунктом разногласий служил треножник: Мили настаивал, чтобы она пользовалась им, тогда как Картье-Брессон отвергал эту необходимость, и все по-французски. Шел снег, и мы бродили вверх-вниз по Шестой авеню, время от времени наведываясь в огромную студию Мили на 23-й улице. Дело порой едва не доходило до драки. Инга обычно шла между ними, на разные лады повторяя одно и то же: «О Боже, ну прекратите, прекратите, да прекратите же!» Но ее призывам никто не внимал, ибо речь шла о том, чтобы завоевать престижное звание ее учителя. Оба были мастера своего дела, но это не охлаждало их пыл. Фанатизм создавал вокруг них ореол чистоты чувств: оба знали себе цену, в них было намешано много всего, но и тот и другой были наивны, ибо слишком болели за дело. Я бы тоже снова хотел стать таким. «Moi, je deteste… moi, j'adore… moi, je…»[24] — они без конца ловили оттенки мгновений, чтобы запечатлеть жизнь, и не сомневались, что их мысли бесценны для человечества. После Голливуда это встряхнуло меня, ибо здесь ничего не делалось на продажу; единственное, что ими двигало, — это рвение и усердие. Картье однажды в приступе ярости даже схватился за нож. Оба любили друг друга, и она, такая же нетерпимая, как и они, с радостью выступала носителем здравого смысла. Если у нее получалась удачная фотография, каждый видел в этом свое влияние, отрицая воздействие другого.

Гжон Мили был высокого роста, с усами под нависшим луковицей ближневосточным носом и прической, которую ему делал Сэмми, еще один не имевший перспектив создать семью албанец, который был у него на посылках и всегда приходил в восторг от сделанной им самим стрижки. Гжон никогда ничего не покупал, кроме фотопринадлежностей, и мог неделю прожить на куске сыра или черствого хлеба. Эдакий высокогорный козел. У него была своя мастерская в «Лайфе», которую ему выделили, когда его собственная сгорела. Пожар обернулся настоящей бедой, ибо поглотил несколько тысяч фотографий, именные подарки, поношенные шляпы, письма Пикассо и всех, кто хоть мало-мальски был известен в последние пятьдесят лет. Он любил

народные танцы и каждую неделю отправлялся в нижнюю часть Бродвея, чтобы попрыгать там с другими албанцами, которые в своем большинстве были ему по пояс. Жизнь представлялась ему прекрасной. Он чем-то напоминал Сарояна, этот глубоко независимый человек с огромной потребностью в дружбе и одиночестве, не имевший ни малейшего представления, что такое доллар, хотя любил строить из себя практичного дельца — на самом деле эта сторона жизни его вовсе не интересовала. В последние годы, через два десятилетия, он часто вспоминал о матери, в чьем одобрении постоянно нуждался. Ему было уже под восемьдесят, и он пользовался в Америке неизменным признанием, так что в свои девяносто с лишним в уединенных горах Албании она могла гордиться сыном.

Картье-Брессон был человеком совсем иного плана — начитанный, всегда гладко выбритый нормандец из аристократической семьи, одетый несколько на английский манер в добротные неброские пиджаки из твида. Во время войны он попал в немецкий плен, бежал с третьей попытки и с тех пор не прекращал путешествовать. Китай, Советский Союз, Африка, Индия — на фотографиях, отснятых «лейкой», ему удалось запечатлеть благородную молчаливость мира. Как Инга и Гжон, он был художником, но, в отличие от нее, интересовался политикой.

Все трое не разделяли и не могли разделять взглядов своего поколения, неспособного понять, что фотография — своего рода форма таинственного пророчества. Разве объяснишь, что с ее помощью можно подвигнуть душу к высокому переживанию и пусть не впрямую, спровоцировать дурных, эгоистичных, нетерпимых, тупых людей его разрушить. Самым страшным врагом оставались равнодушие и все виды пошлости в этом одном из самых вульгарных видов искусства. Мне нравился пристальный взгляд Инги на мир, что позволяло ей, будучи пристрастной, всегда как бы смотреть извне.

Что не переставало удивлять, так это ее непоколебимая гордость. «Я сноб», — однажды сказала она, подразумевая, что никогда не согласится оказаться в толпе, а будет всегда с краю, чтобы иметь возможность самостоятельно оглядеть целое. Баленсиага специально для нее сделал широкополую серую шляпу и широкое серое пальто, подарив их вместе с гардеробом платьев в благодарность за ее фотографии и еще за то, что по-испански она говорила как испанка, позволяя себе не соглашаться с ним, когда считала это необходимым. Воспитанная в нацистской Германии с ее псевдопопулизмом, она испытывала обоснованные опасения перед сентиментальным проявлением

любви к человечеству. За отказ вступить в студенческую нацистскую организацию ее послали на трудовые работы. Она собирала детали для самолетов в берлинском аэропорту Темплгоф, в то время как его ежедневно бомбили, работая там вместе с украинками, о которых некому было скорбеть, когда они гибли во время бомбежки.

Через год после нашей встречи мы переезжали на небольшом пароме через Рейн. К ней с поклоном подошел хорошо одетый мужчина в мягкой широкополой шляпе и твидовом пальто. Стоя у поручней, я рассматривал берег и, повернувшись, увидел, что он разговаривает с ней, слегка подавшись вперед, с напряженной и льстивой улыбкой. Когда мы съезжали с парома, Инга в машине сказала, что он просил найти издателя для его книги.

— Это один из тех, кто отправил меня в Темплгоф.

— Значит, послал на верную смерть.

— Да, пожалуй, что так. — Она побледнела.

Мы поднялись на гору и остановились у замка над Рейном. Грандиозно. То же самое и с той же аргументацией творил ку-клукс-клан. Но здесь когда-то стоял Гейне. Может быть, прошлое действительно жестоко, и авангард прав. Но даже если так, я должен выявить преемственность. Надо показать ее, чтобы люди поняли и все не повторилось вновь. Авангард, на мой взгляд, взывал исключительно к своим приверженцам, и здесь что-то было не так. С другой стороны, никакой ортодоксальный реализм не мог объяснить этого убиения-в-лоне-цивилизации.

Тихий, незаметный человек подходит к Инге и спрашивает, не может ли она помочь ему найти издателя, когда они оба плывут на продуваемом ветром пароме — небольшом идиллическом пароме, где размещается четыре машины и несколько пассажиров, — который курсирует под мощно вознесшимися стенами замка: сквозь его амбразуры в прежние времена палили по приказу барона, большого любителя пива, по кораблям, которые, проплывая, отказывались платить дань. Говорят, в те времена это был обычный способ заработать на жизнь. А что оставалось делать, если у вас был замок, вы были аристократ и обладали гербом и достоинством.

Я бы обязательно оказался на борту корабля, по которому стреляли, а не среди тех, кто палил. В еврейском взгляде на вещи порою есть что-то раздражающее.

Мы спустились с горы вниз. Рейн может показаться страшным, если уйти в свои мысли. Но так происходит всегда. «Никогда не задумывайтесь над чем-либо слишком долго», — сказал нам седовласый старик профессор Пилсбери в 1935 году, незадолго до этого оказавшийся жертвой собственной попытки

осмыслить мир в его непостижимости. Потому, спускаясь с горы, мы говорили о чем угодно, только не о мужчине с парома. И я начал понимать, почему она называет себя снобом.

Джонни Ланжнегер, мой водитель и по совместительству инженер по звукозаписи, осторожно вел по едва заметному в сосенках проселку новенький зеленый джип «шевроле» выпуска 1940 года. Ветки то и дело задевали по крыше машины с государственным знаком. Неожиданно мы оказались у края вертикального гранитного разреза, обрывавшегося этажей на десять вниз к площадке шириной в милю. В каменоломне шевелились какие-то точки — там работали люди. В воздухе пахло смолой, напоминая о гниющих апельсинах.

Джонни был коротко острижен. В преддверии большой войны, которая, он считал, вот-вот должна разразиться — никак не позже 1941 года, — он хотел попасть не в сухопутные войска, а в морскую пехоту. Мы сидели в машине, пытаясь понять, как добраться до тех, кто работал внизу в карьере. В мои задачи входило побеседовать с ними, чтобы они наговорили в микрофон, подсоединенный к большому записывающему устройству сзади в фургоне. Я собирал для Б. Боткина из отдела фольклора Библиотеки Конгресса материалы по диалектам, и последние десять дней мы провели, исколесив всю Северную Каролину, беседуя с кем только можно. Поражало, насколько в этих глухих местах речь могла отличаться на расстоянии одной мили. А рабочие в каменоломне, как нам сказали, вообще говорили на каком-то своем языке. Находясь в тяжелом положении, я согласился поработать, приняв предложение своего приятеля Джо Лисса, подвизавшегося в радиоотделе Библиотеки. Прошло менее двух лет после окончания колледжа, Бюро по театрам при Комиссии по социальному обеспечению было прикрыто Конгрессом, с коммерческим радио я еще не наладил постоянный контакт, и две мои Хопвудовские премии никак не отзывались на мне или на окружающих.

— Может, нам вернуться назад, на мощеную дорогу — ведь должен же быть какой-то проезд к конторе. Хоть какая-нибудь дорога, — сказал я Джонни.

Он повернулся в мою сторону, и я увидел, как округлились его глаза и отпала челюсть. Я оглянулся — из окна торчал восьмигранный дробовик. Дуло ходило ходуном. А за ним — в кабине грузовика — краснолицый старик в дешевой хлопчатобумажной рубахе и рабочем комбинезоне. Одно было неясно, как ему удалось подъехать так, что мы не расслышали. Вцепившись в его правую руку, мужчину тянула в сторону

сухопарая женщина, рассерженно и испуганно выговаривая ему.

Краснолицый старик кричал, подрагивающие губы обнажили большие вставные лошадиные зубы. Женщина дергала его, называя по имени, что-то вроде Мартин или, быть может, Картер.

— Еврейские ублюдки, убирайтесь к чертовой матери, а не то я размозжу вам головы ко всем чертям! — Он спустил предохранитель, и я стукнулся о ветровое стекло, ибо Джонни рванул машину и мы дали задний ход вниз по грязному проселку со скоростью не менее двадцати миль в час.

Старик увидел на двери фургона федеральный герб с выведенными золотом словами «Правительство Соединенных Штатов», что означало одно — Рузвельт, которого здесь кое-где величали Розенфельдом, поэтому мы оказались евреи, которым только и надо, что смешать расы, уложив негра в одну постель с белой, и все в таком духе, как учил ку-клукс-клан, только бы погубить христиан и так далее. Возможно, ему даже кто-нибудь подсказал, что я брал интервью на городской площади у негров: им некуда было податься среди болотной грязи этих мест. Только что завершилось строительство судоверфи, а потому их всех рассчитали.

Прыгающий ствол дробовика остался в памяти, как будто я смотрел на яркую вспышку света, и я вспомнил черное, стальное отверстие, когда мы спускались вниз с горы к Рейну. От прошлого нельзя отмахнуться, сославшись на то, что оно кануло. Но почему оно настолько не имело никакой связи с настоящим, с тем, кем я был сейчас? Шестидесятые годы начались для меня под знаком великого отрицания, опасного забвения всего, что было.

Мы с Ингой шли по Мэдисон-авеню к «Уолдорф-Астории». Она собиралась улетать в Аргентину, чтобы пофотографировать на съемках у Юла Бринера. Пару лет назад по заданию Организации Объединенных Наций она фотографировала с ним беженцев Северной Африки.

Мы шли быстрым шагом. В Нью-Йорк пришла зима, и магазинчики за стеклами витрин выглядели очень уютно. Наступает момент, когда понимаешь, что вы друзья и можно разлучаться, встречаться и вновь разлучаться легко, без всякой зависимости. Хорошее мгновение.

Прошло около шести лет, с тех пор как я укрывался в Уолдорфе в дни общения с дикой ребятней с улиц Бей-Риджа, и около двенадцати со времени Уолдорфской конференции. Теперь я шел туда, чтобы вместе с прозаиком Джеймсом Фарреллом выступить на съезде Ассоциации американских психологов. Инга считала, что там будет интересно: ее отец был профессор, ученый,

и она серьезно относилась к высокой науке. Для меня же это была еще одна попытка заглянуть в окно своего времени, которое я никак не мог ощутить своим. Человек воспринимает время своим, если есть нечто, что он и его друзья принимают как данность не размышляя. Я же ничего такого не видел и не мог понять, что воспринимают как данность другие. Страна стала для меня чужой, трудно было разобраться, отчего я стал столь невосприимчив к культуре.

Аудитория — сотни людей, и, как ни странно, в основном женщины. До войны во Вьетнаме дело еще не дошло, а вторая мировая давно окончилась. Депрессия пока еще тоже оставалась достоянием прошлого. А радиаторы машин украшали рассекающие воздух фигурки. Это было до убийства Кеннеди, но Кастро уже поколотил нас в заливе Кочинос, и мужчины еще носили короткие стрижки. На экранах телевизоров блистали Милтон Берль и Сид Сизар. Синатра оставался демократом, как и большинство представителей шоу-бизнеса. И все-таки краски на большом экране начинали смещаться, консенсус либералов распадался, хотя у этого процесса еще не было названия.

Мы с Фарреллом уселись рядом. Прислушиваясь к речам, я не мог понять, зачем все-таки пришел сюда, но он, один из самых честных и думающих людей, казалось, был погружен в то, что происходило, и я решил последовать его примеру. Наверное, в надежде, что вот сейчас кто-нибудь выступит и я наконец пойму, в чем заключается своеобразие нашего времени.

Мы прослушали два весьма формальных доклада, когда мне задали вопрос о месте нравственности в науке. У каждого свой ярлык, я же все еще считался моралистом. И это несмотря на то, что моя репутация была уже далеко не столь однозначна, в прошлом имелся развод, а теперь назревал другой.

Единственное, что я мог сказать, нравственность нельзя отделять от науки, — ответ, выстраданный в своей очевидности, стоило вспомнить нацистских врачей, которые под видом изучения физиологических процессов при утоплении связывали людей по рукам и ногам и бросали в бассейн, а затем извлекали для вскрытия. Построить собор или синагогу отнюдь не значит иметь религию, так же как резать людей не означает иметь науку. Я ответил как можно более кратко, в надежде, что мы перейдем к более интересной теме.

Оказалось, что мой ответ вызвал напряженную реакцию в зале. Это озадачило меня. Когда все встали, чтобы разойтись, меня окружила толпа, в основном женщины, наперебой вопрошая, почему нельзя считать эксперимент над брошенными в воду людьми научным. Неужели они всерьез? Похоже. Единственное,

что я мог сказать, — если это наука, то я предпочитаю средневековье. Но, потеряв дар речи, смолчал, впервые столкнувшись с леденящей трезвостью, с правдивостью, лишенной правды, с обуянными тупым интересом постчеловечьими лицами. Вокруг меня собралось двадцать или тридцать женщин, которые считали, что топить людей — это наука, и требовали, чтобы я объяснился с ними. Возможно, я ошибаюсь, но вдруг показалось, что этого не могло бы произойти до войны, до того, как подобные акции планомерно осуществлялись в лагерях. Вновь меня постигло разочарование. «А что, если бы врачи решили, что неплохо бы сжечь несколько миллионов человек, чтобы научно установить, как дым от человеческих трупов влияет на атмосферу, ибо такие исследования не проводились, по крайней мере в подобных масштабах. Это что, тоже будет наука?»

Мои слова утонули во всеобщем гаме, и когда мы уходили, подумалось, что я сам, пожалуй, не могу сказать, что такое наука. Мне показалось, Инга побледнела, как было тогда на Рейне.

Нас учили, что наука — это триумф разума, поражение чудовища. А что если чудовище овладеет наукой? Этот вопрос перестал быть игрой ума, ибо перешел для меня в область чувств. Я жил в гостинице; как ни странно, меня мало что беспокоило, и, наверное, оттого, что слишком много времени проводил в одиночестве, я начал испытывать страх, которому не было ни объяснения, ни названия.

Как-то днем заехал Брукс Аткинсон, так, безо всякого интервью. Мы проболтали с ним около часа. Показалось, он разочарован во мне, ибо полагал, насколько я мог прочитать его мысли, что после пятилетнего пребывания в Голливуде я, получив известность, теперь обязательно должен был вернуться в театр. С его стороны было большой любезностью думать, что театр нуждался во мне — Брукс был одним из тех, кто переживал за его судьбу, — я же в те дни пребывал в сомнении. Трудно объяснить, с чем это было связано, но я был не готов писать новую пьесу.

Все говорило о том, что прежняя жизнь окончилась. Я едва знал кого-то из своего поколения. Мне было почти сорок пять, но казалось, старше меня никого нет. Как ни странно, лишь избранные помнили то, что помнил я. Та же сумятица мне открылась и в жизни города: люди ходили в чужих оболочках, встречались не с теми, говорили не то, во что верят или что понимают. Они неслись мимо на моторных лодках, выкидывая за борт вещи в стремлении попасть в струю. Дети, горшки, сковородки, собаки, кошки, дома, мужья, жены — все это кишмя кишело в пенящейся воде, чтобы исчезнуть с глаз и уйти в

забвение.

Серьезная работа на театре сводилась исключительно к разрушению, что, однако, не то же самое, что трагедия. Я не соглашался, но и не спорил, ибо куда мне было спорить с тем, что превратилось в мою собственную жизнь.

Как ни странно, начало шестидесятых воспринималось как эпоха примирения с человеческой природой, эпоха отказа от иллюзий, для меня же это было время отрицания. Но чего? Что мы такого натворили, чего нельзя было принять?

Снова вспомнилось «Падение» Камю. История моралиста, который не может забыть, как не остановил бросившуюся с моста в реку девушку. Я бы это определил по-другому. Вопрос не в том, что кому-то не хватило мужества, нет, это не так. Нельзя обязать людей быть отважными, в них это либо есть, либо нет. Что сказать по этому поводу?

С каждой неделей я все больше дней проводил в одиночестве в Роксбери и стал опасаться, не слишком ли полюбил затворничество и тишину. Обветшалые сараи, пустовавшие после отъезда бывшего владельца, невспаханные поля, в течение двух веков кормившие не одну семью, взывали, чтобы к ним прикоснулась рука человека. Как и мой дух, они, казалось, слишком долго были во власти игры случая. Земля, как и все у меня внутри, жаждала цели и формы, которые может даровать только исполненная любви работа.

Целеустремленность Инги унесла ее куда-то во Францию. Мне не хватало ее ощущения значимости каждого прожитого часа, тех возможностей, которые таятся в грядущем дне. Если я намеревался работать, надо было, чтобы кто-то помог организовать вокруг жизнь. Поэтому стоило Инге уехать, и я просто гулял по окрестностям. Не мог брать на себя никаких обязательств. Мы были, подобно музыке, звучащими иллюзиями надежды, которые возникают от давления воздуха на барабанную перепонку и через мгновение угасают. Трудно смириться с собственным отчаянием, но отказаться от него оказалось тоже непросто. Единственное, на что я уповал в надежде обрести как писатель почву под ногами, была потребность ощущать время как непрерывную бесконечную данность. Никого нельзя просить разделить с тобою молчание. Первый год нашего знакомства доказал простейшую из истин — мне нужна была чья-то помощь, чтобы жить. Вопреки очевидному это требовало героизма, да и просто сил. Наверное, Ибсен все-таки ошибался: тот, кто более одинок, отнюдь не сильнее, он просто более одинок.

Вниз по дороге жили Колдеры, Сэнди и Луиза, с которыми я

был знаком с тех пор, как переехал сюда в конце сороковых. Их присутствие всегда как-то взбадривало, но они все больше времени проводили во Франции. Я любил наезжать к ним днем, выпить с Луизой вина или, поднявшись наверх, к Сэнди, поболтать с ним в мастерской, пока он крутит проволоку или режет жестянку для своих подвижных конструкций. Как-то я застал его, когда он набрасывал формы акустических панелей, которые должны были свисать с потолка в огромном концертном зале в Каракасе — нам с Ингой довелось увидеть их там двадцать лет спустя, — ибо по образованию он был инженер и окончил Институт Стивенса с высшим отличием. Как и художник Питер Блюм с женой Эбби, которые жили неподалеку от Малькольма Каули в Шермане, Колдеры обосновались здесь во времена Депрессии, когда еще повсюду были разбросаны небольшие крепкие фермы. И те и другие знали, как счастливо прожить на небольшие средства — хозяйство Колдеров стоило три с половиной тысячи, но для того, чтобы доказать, что они кредитоспособны, им пришлось взять у Боба Джозефи, одного из лучших иллюстраторов книг своего времени, чек на сто долларов наличными. Фермы в те времена уже начали исчезать, но в окрестностях еще сохранился благотворный дух провинциального увядания. Даже у меня в амбаре стояла двуколка, доставшаяся от прежнего хозяина, который ездил на ней в церковь.

Сэнди все делал легко, ибо был по-детски наивен и серьезен. Он никогда не пускался в теоретические размышления и, глядя на картину, которая ему не нравилась, долго не задерживался, пробормотав: «Ну и ну». Он отлично понимал, что происходит, и не знал, что сделать, чтобы в худшие времена выразить мне личное расположение, когда я потерял паспорт и это повлекло за собой уйму неприятностей. Они с Луизой были на десять лет старше меня, и я находил некое историческое удовлетворение в том, что они живо помнили двадцатые — тридцатые годы, а Нью-Йорк для них, внучатой племянницы Генри Джеймса и сына автора великолепной арки на площади Вашингтона, был совершенно иным, чем для меня, — городом старых родовых кланов и спокойных, уверенных в себе мужчин, а не страждущих иммигрантов. Они так и жили в атмосфере богемы, никого не осуждая, всем интересуясь, но за этим ощущалось несгибаемое, высокое чувство ответственности за страну, врожденная инстинктивная порядочность, которые в безудержные на эксперименты и полностью лишенные самокритики шестидесятые казались в силу своей безыскусной простоты чем-то совершенно реликтовым. Четверть века спустя я попытался выразить свою любовь к ним в одноактной пьесе «Я ничего не помню».

Невнятная речь Сэнди была настолько же малопонятна, насколько безукоризненно точна. В окно спальни я как-то утром в воскресенье в пятидесятые годы увидел картину, заставившую стряхнуть остатки сна, — неужели это он, разгуливая по дороге, говорит по-французски? Выйдя из дома, я понял, что Сэнди в шортах и рваных сандалиях прогуливается с Оскаром Ницшке, французским архитектором, который недавно оглох. К куску садового шланга Сэнди приспособил жестяную воронку и говорил в нее, а Ницшке, придерживая шланг около уха, жаловался, что Сэнди слишком кричит. На шее у Ницшке висела картонка с надписью, сделанной Колдером, чей почерк нельзя было спутать, — «Я глухой». У каждого в руке было по бутылке красного вина. Не помню, о чем шла беседа, но, видимо, о чем-то серьезном. Я присоединился к ним, пока они не свернули к дому Колдера, который находился где-то в миле. Они завершали одну из своих ночных пирушек, совершая прогулку по шоссе, где за день едва ли проезжали одна или две машины.

Теперь Колдеры здесь почти не жили, и те, кого я знал из местных, кто возделывал землю, почти все уехали. Но по утреннему холодку в воздухе стоял все тот же терпкий аромат весны — время года, которое меня всегда подвигало на новую работу. Я же был не готов к этому. И как бывает в такой ситуации, искал предлог, чтобы удрать: мне приспичило ехать в Париж, где Сидни Ламет собирался снимать «Вид с моста» с Рафом Валлоне и Морин Степлтон. Пьеса шла уже два сезона, и Валлоне имел шумный успех. К тому же в Лондоне у меня скопился достаточный гонорар, чтобы купить «лендровер» и отправиться на нем в Париж. Я знал, это только предлог, чтобы увидеть Ингу, но иногда бывает лучше обмануться хоть на неделю, чем жить просто так. Суть в том, что я радовался каждому дню и жил надеждой на следующий, а с Ингой этим можно было поделиться, как ни с кем другим. Счастлив тот, кому не надо соглашаться на большее, чем он знает, и меньшее, во что верит. Я ощущал в себе особое уважение к обычному факту и хотел иметь дело с ним, и только с ним. Возможно, меня тянуло к Инге, поскольку она уважала путаницу, но, как настоящий художник, легко сочетала путаницу с решительными действиями. К тому же она казалась все более и более красивой, другими словами, неуловимой. Одним словом, я понял, что попал в беду.

«Понт Ройал», где я останавливался после войны, теперь реставрировался, и золотая патина былой элегантности французской буржуазии еще раз сверкнула сквозь сумрак военных лет. Консьержа с обтрепанными обшлагами, который ездил через

весь Париж днем кормить кроликов, не было и в помине. К началу шестидесятых исчезли широкие проспекты и улицы: припаркованные машины закрывали первые этажи домов и великолепие входных дверей. Машины стали своего рода авансценой Парижа, оттеснив архитектуру на задний план, и люди сделались чем-то случайным, нервно маневрируя в лабиринтах бамперов, решеток и выхлопных труб. Только устрицы и цвет парижского неба оставались такими же неповторимыми.

Инга дорожила жизнью так, как это делает тот, кто едва избежал смерти; те, кто выжил в те годы, особо понимали друг друга. Для нее все было просто: от людей нечего ожидать, но надо требовать того, что они могли и должны были давать.

Когда в Темплгофе авиация разбомбила ворота, она вышла и побрела куда-то на юг, в сторону Австрии. Скорее просто чтобы идти, чем в надежде, что ее семье удалось выжить и она найдет их в Зальцбурге. Ее история в те времена напоминала сотни других: катастрофический конец рейха, поездка на перекладных, на грузовиках, потоки людей в обоих направлениях, неожиданная порядочность и привычное предательство. Пока наконец она не остановилась где-то на крошечном мосту, решив взобраться на перила и броситься в воду, как вдруг ее остановил какой-то старик, солдат на костылях, сказав, что никогда не надо сдаваться, и взял вместе с собой. Так они брели несколько дней и ночей, пока не добрались до Зальцбурга. Что-то случилось с памятью. Она не могла вспомнить дом, где жила, но, казалось, это не важно, ибо разве можно было надеяться, что ее родители выжили. Солдат-калека вел ее от дома к дому, однако она ничего не могла вспомнить, пока на выходе из богатой части города к ней не вернулось теплое чувство сродства. Но он только посмеялся над ней — вокруг жили состоятельные люди, разве к ним могла принадлежать одетая в рванье, запаршивевшая девчонка, — и они пошли по новому кругу, пока она неожиданно не узнала медное кольцо на дверях, рванулась к своему дому и начала колотить в дверь, и на крыльце — о чудо! — появилась ее изумленная мать. Она бросилась к ней в объятия, а когда обернулась, чтобы поблагодарить солдата и пригласить его в дом, никого не оказалось, она кинулась вверх, вниз по улице, но его и след простыл, как будто он явился ей как ангел во сне, но она знала, это был не сон, тогда почему он ушел? Может быть, понял: он не подходит для этих элегантных людей. А может быть, ненавидел состоятельных и боялся их.

Когда она рассказывала эту историю, то, казалось, не столько жалела себя, сколько утверждала, что каждый, чтобы спастись,

должен обрести силы в себе; такая опора на самое себя скорее трагедия, чем пафос. Она не была ни оптимисткой, ни пессимисткой: жизнь явила достаточно зла. Зачем было ждать худшего? И радовалась в людях хорошему, хотя ожидала худшего. Действительно, реалистическая логика должна была допустить существование солдата либо оказалась бы ложной по отношению к жизни. Оплакивать весь мир означало отказаться от пугающего созерцания хорошего. Война должна была сломить не одну такую женщину, как она, но не сломила. Трудно было представить, чтобы кто-нибудь из американцев был так жизнерадостен.

И вот теперь, четыре года спустя, после того как Уолтер Уэйнджер предложил написать сценарий «Падения», фильма о человеке, который не остановил женщину, прыгнувшую с моста, Инга рассказала историю о человеке, который удержал ее от такого же точно поступка.

Странно, однако, что он все-таки исчез!

Как-то днем на пороге загородного дома появилась Мэрилин со своей двоюродной сестрой Бернис Миракль и актером Ралфом Робертсом, ее преданным другом. Во время войны этот широкоскулый, сильный, приятного вида атлет, индеец-полукровка, был офицером в «Карлсонс рейнджерс», а потом стал массажистом. Он привез их во взятом напрокат пикапе, чтобы забрать стоявший на втором этаже огромный телевизор, подаренный Мэрилин Эр-си-эй два года назад, а также кое-что из ее вещей.

Мэрилин хотелось показать Бернис дом, то, как она его обустроила. Она повела ее наверх, потом вниз, затем на лужайку полюбоваться на необозримые просторы, рассказывала, как встраивали в мансарде слуховые оконца, поднимая крышу над боковым крылом, чтобы сделать над кухней еще одну комнату, и многое другое. Тем временем Робертс таскал вещи в машину. Я угостил их чаем и ушел, полагая, что ей хочется поболтать с Бернис, серьезной скромной молодой девушкой из Флориды. Я догадался, что они впервые встретились, и Мэрилин не без тайной гордости представила мне ее как свою родственницу. Я не помнил, чтобы она когда-нибудь упоминала о ней. Но, кажется, та была дочерью матери Мэрилин от первого брака.

Где-то через полчаса я услышал, как захлопнулась задняя дверца пикапа, и вышел из мастерской, чтобы попрощаться с Робертсом и Бернис, которые садились в машину. Я в одиночестве стоял у гаража. В этот момент наши взгляды с Мэрилин встретились, и мы усмехнулись друг другу и абсурдности того, что происходит. Интересно, что все-таки осталось у нее в памяти

от этих лет, а что забылось. Позже я не раз удивлялся, как легко забывается все после того, как отчуждение проделает свою разрушительную работу. Заметив новый коричневый «лендровер», который я привез из Европы с месяц назад, она поняла, что я собираюсь здесь обосноваться. Это заинтриговало ее. Она поинтересовалась, что там приделано к шасси. Я объяснил: специальное мощное приспособление, чтобы копать лунки для фруктовых деревьев, которые я решил посадить. Она посмотрела на меня с удивлением, и я уловил в ее взгляде грусть от того, сколько надежды у нас было связано с этим местом. В свое время она постоянно заставляла меня прикупать землю, и я поначалу возражал, не видя необходимости, ибо для этого надо было залезать в долги. Но все обернулось не только удачным вложением капитала, но красотой, хотя пришлось продать несколько рукописей, чтобы выплатить налоги. Теперь я решил здесь осесть, в то время как она, по своему обыкновению, опять была в полной неопределенности. Я не мог себе такого позволить, если намеревался серьезно работать. Мы просто сдернули покрывало с неизменно сурового прошлого. И теперь я был твердо уверен, что человек не может освободиться от него, не пережив искушения покончить жизнь самоубийством или же совершив убийство в попытке ускользнуть от него. Мы лишь то, чем были, за исключением небольших кардинальных изменений, если повезет. Нам с Мэрилин удалось использовать это под завязку.

Казалось, она оттягивает отъезд. За ее спиной с ветвей огромного кизилового дерева облетали последние сухие листья. На нее ложился серый отсвет коры и осени. Она была в мокасинах — на вид не дашь больше четырнадцати — и коричневом свитере, который неожиданно вздернула, чтобы показать перебинтованный живот.

— Как тебе эта повязка? — Она таинственно усмехнулась, как будто хотела что-то сказать.

— Что это?

— Операция на поджелудочную. Из-за нее все болело.

Я почувствовал, что в этом не было укора мне или Хьюстону, будто мы в раздражении от ее бесконечных проволочек недостаточно внимательно отнеслись к ее здоровью во время съемок. Она просто хотела сказать, что ее поведение объясняется не тривиальной заносчивостью, плохим характером или пагубными привычками. Это заставило меня еще раз задуматься, понимает ли она хоть теперь, что стоит вплотную у края бездны. По ее голосу и демонстративному движению, которым она вздернула свитер, чувствовалось, что болезнь для нее

случайность, а не результат пагубного употребления снотворных. Она все еще не понимала, что самая большая опасность таится в ней самой, в приступах раздражения, сколь бы оправданными они ни казались. Она была все тем же ребенком и жертвой. Я почувствовал, как во мне поднимается былая потребность предостеречь ее, но сдержался и не проронил ни слова. Несмотря на то что старые полузабытые сигнальные флажки подавали знаки, мы, наверное, оба чувствовали себя достаточно глупо, махая на прощание, пока машина не исчезла за поворотом, причудливый изгиб которого мы с ней и с архитектором вместе продумывали около пяти лет назад. Оставшись один, я стоял, разглядывая некрупную темную щебенку, залитую асфальтом, и вспомнил, как ей хотелось, чтобы дорога к дому была засыпана галькой и машины, подъезжая, приятно шуршали, как в Калифорнии. Здесь же выпадал снег, и каждую зиму снегоочистители снимали покрытие. Однако всегда можно желать большего, чем то, что есть. Она, бесспорно, была права, что добиться большего можно, только если не думать о тратах. Я вошел в дом, все еще продолжая спорить с собою на эту тему. Воистину — ничему нет конца.

Слишком много почестей придумано в честь благотворителей, чтобы их принимать без некоторой доли скептицизма, но на этот раз было приятно оказаться среди приглашенных. В Голубом зале в ожидании обеда толпились лучшие художники, писатели страны, ученые, композиторы, музыканты. В Белом доме давался обед в честь Андре Мальро, в те годы министра культуры в правительстве де Голля, чьими произведениями я восхищался с тридцатых годов, при этом приглашенные олицетворяли собою гордость интеллектуальной мысли Америки. К своему огромному удивлению и удовольствию, я узнал, что буду сидеть с Жаклин Кеннеди и Мальро. Одетые в голубую форму швейцары искусно выстроили радостную толпу в длинную очередь, как будто мы были школьники, и препроводили в гостиную, где все должны были рассесться по предписанным им местам. Я оказался в конце хвоста, как бывало из-за моего роста еще со времен школы, и, медленно продвигаясь вперед, заметил одинокую фигуру человека, который никуда не торопился: ростом под потолок, в заметной бледно-голубой рубашке, он почти открыто выражал свое пренебрежение к тому, что происходило. Подняв ногу и уперевшись в безукоризненную панельную обшивку, он сосредоточенно шлифовал пилочкой ногти, как праздный гуляка у провинциального магазина. И казался замкнутым, если не раздраженным. Я не сразу узнал его. Это был

Линдон Джонсон, вице-президент Соединенных Штатов. В тот вечер он явно пребывал не в духе. И я единственный раз в жизни испытал сочувствие к вице-президенту.

Несмотря на то что в прошлом мне выпало немало претерпеть от государства, Кеннеди вызывал у меня симпатию. Наконец-то мы получили президента, который понимал, что стране нужны не только звезды шоу-бизнеса, но интеллект и люди с воображением. Однако последнее голливудское крещение заставило с осторожностью отнестись к откровенной и бьющей через край энергии Кеннеди. Мне показался безжизненным и немного пугающим тяжелый взгляд его пристальных глаз. Возможно, он хорошо соображал, но оставалось гадать, знал ли он сострадание, в тот вечер он не мог скрыть своего возбуждения и радости по поводу того, что ему удалось собрать такое общество, и это чувство передалось всем.

Мальро выпаливал фразы по-французски с такой скоростью, что даже жена президента не всегда успевала понять, не говоря уже обо мне. Он привык к звездному успеху и говорил, не обращая внимания, кто и как его воспринимает. Это был завзятый курильщик, а неприятный раздражающий тик заставлял усомниться, удается ли ему вообще когда-нибудь поспать. Французский посол Эрве Альфан время от времени что-то шептал мне на ухо, пытаясь переводить его речь. Об изысканных жестах и постоянном напряжении Мальро мне через два года напомнил другой француз, Картье-Брессон. Сидя на мостках у моего пруда в Коннектикуте, Анри с полчаса мог читать вслух по карманному изданию нашей с Ингой дочери Ребекке мемуары Сен-Симона, превосходного хроникера разного рода махинаций при дворе Людовика XIV. Таким образом он развлекал себя и одновременно обожаемую дочь Инги, хотя она ничего не понимала из того, что он произносил, не говоря о французском, ибо ей было чуть больше года. Глядя на него, сидевшего внизу около спокойной воды и размеренно перелистывавшего миниатюрные страницы под воркование Ребекки, я вспомнил наш американский вариант придворной жизни и Кеннеди, которого к тому времени уже не стало. Известие об убийстве застало нас в большом хозяйственном магазине в Коннектикуте. По радио играла музыка. «Убит президент», — произнес голос посреди сверкающей, блестевшей домашней утвари. Поначалу показалось, что никто из двух-трех посетителей ничего не расслышал. Я едва не рассмеялся, скорее от абсурдности ситуации. Двое продавцов стояли в ожидании покупателей. Никто не слушал. С минуту я не мог обнаружить радио в этом хаосе миксеров, утюгов, бытовых приборов. В голове вертелось: нет, не может быть, это просто

ошибка. Наконец я нашел радио. Теперь все повернулись в ту сторону. Я знал, о чем в этот момент думала Инга — что все повторилось вновь.

Как заголовок о бомбежке Хиросимы, раз сделано, значит, сделано. Удар молнии в ствол дерева, расщепленные, еще живые ветви, безвольно повисшие на фоне неба, вопрос «почему?», стекающий на почерневшую траву, затем тишина.

Когда мы ехали с Ингой домой, я вспомнил о Рузвельте — его кончина тоже была неожиданна, но это был шок совсем иного рода. Рузвельт настолько доминировал в сознании моего поколения, что оставалось гадать, кто сможет занять его место в разгар войны. Журналисты, вещая по радио, что кортеж спускается вниз по Пенсильвания-авеню, вдруг начинали беспомощно всхлипывать, как будто потеряли отца. Та потеря казалась сокровеннее, а может, я просто был моложе тогда. С другой стороны, Кеннеди был моим современником, и его смерть оказалась дырой в тонкой паутине будущего. Даже в тридцатые, когда все было из рук вон плохо, и то оставалось будущее. Поэтому во всех моих пьесах было некое скрытое упование на будущее искупление, чувство, что космос все-таки заботится о человеке, а не только смеется над ним. Со смертью Кеннеди космос просто оборвал телефонную связь.

В памяти сохранилось воспоминание о бале по случаю его вхождения в должность президента, где я присутствовал вместе с Джо и Оли Раухами. Франку Синатре с сопровождавшими его лицами была отведена ложа, откуда он наблюдал за празднеством. Отдыхая в величественной изоляции, паря в недосягаемости над возбужденной толпой, Синатра, казалось, не столько отдавал должное президентским почестям, сколько показывал, что по случаю снизошел до них. Певец на все времена, он точно так же вел себя с Рональдом Рейганом, с королевским достоинством пребывая над политикой, в то время как президенты приходили и уходили. Разве это не означало, что бизнес в Америке не только бизнес, как утверждал наивный Калвин Кулидж, но шоу-бизнес, некое символическое действо, наступивший триумф метафоры над реальностью, главенство исполнителя с его безупречным и бессмысленным очарованием?

Возможно, мне не хватало почтения, поскольку я помнил Синатру тридцатых, худощавого парнишку с цыплячьей шеей в окружении визгливых девчонок у входа на сцену в «Парамаунте», когда к нему пришел его первый сенсационный успех. К тому же мы были одного возраста.

Трудно понять почему, но желание написать пьесу подтачивало какое-то странное ощущение бесцельности. Не знаю,

виновата в этом эпоха или мое собственное развитие, но стоило оглянуться, и казалось: все вокруг театр, а не вдохновляющая конкретная реальность. Практически все — пьесы, универмаги, рестораны, выставленные рядком ботинки, машины, парикмахерские — воспринималось как предмет анализа, как будто стало самоосознанной формой искусства и, как в искусстве, стиль был вещью, а не содержанием. В конце концов человек, идя в ресторан, не просто выбирает место, где бы сытно поесть, но хочет удовлетворить свои гурманские наклонности и получить хорошее обслуживание. Точно так же новые башмаки покупают исходя не только из их прочности или удобства, но следуя моде. То, что какая ни есть пьеса обязательно должна была затрагивать вопрос человеческой судьбы, казалось смехотворной самонадеянностью, что проявлялось в отношении вообще ко всем ценностям. Считалось, на театре установилась эпоха, когда главное лицо — режиссер, а драматург лишь его заместитель. Не с этим ли было связано, что важен не смысл сказанного, а то, как это представлено? Само существование драматурга было поставлено под сомнение, как будто со своими заранее запрограммированными речами и сюжетами, предполагавшими определенную логику построения, он был олицетворением теории предопределения. Один критик-авангардист ничтоже сумняшеся объявил, что намного труднее написать хороший отзыв, чем хорошую пьесу. Правду можно было обрести только спонтанно. Разум был врожденным лжецом, а слова — убедительными обманщиками. Жест, по предпочтению без слов, был последним пристанищем правды. Но даже здесь она была лишь предпосылкой для всевозможных интерпретаций, которых чем больше, тем лучше.

Как-то само собой утвердилось, что зритель смертельно устал, его внимание рассеянно и он отвлекается на что угодно, не желая смотреть на сцену. Насколько я понимаю, это не было чисто американским явлением, ибо в Европе тоже существовала проблема, как удержать зрителя в театре. Одно было ясно — никто больше не хотел слушать связный рассказ. Рассказ, насколько я понимаю, есть некая протяженность от прошлого к будущему, а в мерзости нашей жизни мы познали, что нет протяженности, когда все для всех оказалось возможным. Единственно более-менее постоянным оказалось извращение, а единственной искренней реакцией на него — саркастический смех, близкий к отвращению.

Как-то днем в середине шестидесятых я оказался в парижской студии Питера Брука и наблюдал, как его труппа, около двух дюжин актеров, играла перед целым классом глухонемых

ребятишек. Актеры просто и строго выстроили несколько танцевальных па, у каждого в руках была палка, с помощью которой создавалось впечатление общения или его отсутствия, упорядоченности или хаоса, придумывались новые ситуации. Я смотрел с удовольствием, действия актеров вызывали ответное чувство, хотя, возможно, я ошибался. Потом перед актерами выступили сами ребята. Лишенные возможности слышать и говорить, они были обречены общаться только с помощью жестов и жить в ситуации, которую актеры выбрали условно. Они разыграли пантомиму, детективную историю с похищением ребенка, полицейским расследованием, обнаружением малышки и наказанием преступника. Во всем чувствовалась тревога, было начало, конец, вырисовывались отдельные характеры — полицейский все время отдавал честь, родители метались, колотя себя в грудь и вознося страстные мольбы о возвращении ребенка, сыскная собака обнюхивала все в поисках преступника, а похищенная девочка постоянно терла глаза, как будто плакала. Но больше всего поразило безудержное детское стремление объясниться, невзирая на немоту. Гипертрофированная пластика была связана с неспособностью говорить — казалось, их жесты наполнены чувством ровно настолько, насколько были бы наполнены их слова, обрети они дар речи.

Со стороны тех, кто обладал всеми органами чувств, казалось нелепым пытаться освободиться от части из них во имя приближения к подлинной полноте выражения. Этот пример доказал мне теоретическое бесплодие наших художнических устремлений, став своего рода признанием, что нет ничего хуже, чем произносить что-то ненужное. Таким образом, оставалось только разрабатывать и совершенствовать формы и стиль. Глухонемые не могли выразить себя, рассказав пережитое в виде истории. Те же, кто слышал и говорил, были не в состоянии воссоздать настроение, безыскусное искреннее переживание.

Наверное, театр опротивел мне, поскольку стал не чем иным, как омерзительным экзерсисом для эго, а я сейчас не выносил эгоизм, причем свой собственный не меньше, чем чужой. Когда-то я понял, что говорить правду — единственное, что может спасти, но теперь это казалось еще одной маской всеобщего одичания. Без сострадания нету правды, но без веры в человека, не говоря уж о Боге, сострадание такое же умозрительное решение, что и другие.

Завершив труд, кладешь его к стопам неизвестного божества, чье невидимое присутствие единственно оправдывает все усилия. «Не вопрошайте, что может сделать для вас страна, думайте, что вы можете сделать для своей родины», — произнес Кеннеди в тот

бурный инаугурационный день, когда глубокий старик Роберт Фрост пытался спасти от ветра страницы его речи. Молодой президент точно определил, что нужно, ибо знал, что этого нет. Зачем писать?

По совету своей подруги Мэри Маккарти, к книге которой «Виды Венеции» она делала фотографии, Инга во время многочисленных наездов в Нью-Йорк останавливалась в старой гостинице «Челси» — из всех американских гостиниц эта была наиболее европейская. В те времена «Челси» еще не обрела ту известность, которую в середине шестидесятых ей принесли, проживая в ее номерах, знаменитые художники. Я поселился здесь отчасти из-за того, что владелец, мистер Бард, обещал сохранить место моего пребывания в тайне. Через несколько недель новость просочилась в местную и зарубежную прессу, но он с тем же честным и открытым выражением лица доказывал, что все произошло помимо его воли. На господина Барда было невозможно сердиться, ибо он был совершенно неспособен воспринимать чье-либо недовольство. Это был невысокий блондинистый венгр-беженец с чувством излишней самоуверенности и со слабым сердцем. Он мог днями пропадать на рыбалке у Кротонского водохранилища, увлеченно играя в карты со своими соотечественниками. В качестве ставок нередко шли отели, включая такие солидные, как «Нью-Йоркер». Однако «Челси» относилась к заветным обретениям Барда: «Люблю находиться среди артистов, среди творческих натур». Чтобы симпатизировать этому человеку, не обязательно было ему доверять, ибо он, как и его гостиница, был согласен на все, исключая, естественно, дефицит.

Окунувшись в неповторимую атмосферу «Челси» со следами полнейшего запустения, я почувствовал себя как дома. Здесь не было ничего американского — ни пылесосов, ни порядка, ни вкусов, ни стиля. Краны с горячей водой были, как в Венгрии, справа, поскольку за ремонтные работы отвечали два партнера Барда, Краус и Гросс, поэтому, доведись американскому буржуа случайно оказаться в гостинице, его вполне могло окатить кипятком… На верхнем этаже в обитых дубовыми панелями аппаратных, которые, по всей видимости, выходили на Пятую авеню, Верджил Томсон предлагал крепкие напитки — яркое свидетельство интеллигентной жизни. В один прекрасный вечер он просто споил нас с Ингой. С другой стороны залы проживал еще один композитор, Джордж Клейзинджер, который, будучи коллекционером, возбуждал своих приятельниц тем, что демонстрировал кобр, южноамериканских ящериц и черепах,

мирно дремавших в прозрачных от пола до потолка аквариумах. Священник-расстрига ростом около семи футов нетерпеливо поджидал, когда холодная ненастная погода обеспечит ему клиентуру, плату за отпевание которой он внесет за свое проживание. По коридорам бродил некогда знаменитый модельер Чарлз Джеймс, негодуя, что на смену старому поколению в гостиницу пришла волна вульгарных актеров-наркоманов, как настоящих, так и прикидывавшихся, озабоченных исключительно стремлением к саморекламе. Среди них не найдешь ни леди, ни джентльмена. За этим цирком, поддерживая порядок, следил тщедушного вида домашний детектив, сидевший за семью замками в своем кабинете, заставленном телевизорами, дорогостоящей аппаратурой, пишущими машинками и меховыми манто, которые он крал у проживающих. Это выяснилось, когда пожарной команде, которая прибыла тушить огонь, вспыхнувший от сигареты его заснувшего по пьянке соседа, в экстренном порядке пришлось вскрывать дверь.

Сюрреальное прочно обосновалось в «Челси» задолго до того, как гостиница превратилась в оплот радикального протеста против войны во Вьетнаме. Для того чтобы позавтракать в старом «Автомате» на углу 23-й улицы и Седьмой авеню, приходилось осторожно переступать через мирно посапывавших после драки избитых в кровь пьяниц, растянувшихся тут же на тротуаре. Вместе с Артуром Кларком мы предпочитали шведский стол. Он по полгода жил в Шри-Ланке, которую считал земным Эдемом, а по полгода в «Челси», напоминавшей компостную яму, хотя это удобрение использовалось далеко не полностью. Среди разного рода дам-побирушек, осторожно втягивающих разбитым носом аромат кофе, и ночных ловцов удачи, не отрываясь изучавших расписание скачек, Кларк увлеченно рассказывал, что, согласно последним данным, атмосфере Земли угрожает резкое увеличение углекислого газа и конец может наступить гораздо быстрее, чем ожидается. В обстановке «Автомата» это казалось весьма правдоподобным.

Гостиница «Челси» со всей неразберихой — вековой пылью на портьерах и коврах, проржавевшими трубами, подтекавшим холодильником, который надо было спрыскивать из кувшина, чтобы он не перегревался, — была сплошной импровизацией, ветхие руины напоминали мне одну сугубо американскую фразу, которую у Сарояна произносит в баре араб, — фразу из тех, что в пылу фантазии о построении нового мира, который не будет иметь ничего общего с существующим и сотрет всякую память о нем, выпала из обихода революционеров шестидесятых годов: «Все висит на волоске от начала и до конца». Предугадав в чисто

армянском поиске любезного его сердцу милого хаоса будущий откат к сороковым годам, Сароян под маской необразованного, малокультурного комедианта скорее отстаивал собственно американский оптимистический абсурд, чем следовал за болезненными европейскими «измами». Он расшивал по канве абсурда неистребимой иммигрантской сумеречной надеждой обрести подушку, чтобы приклонить голову посреди ядовитого солнечного скалистого ландшафта Америки.

Я видел, как ребята-шестидесятники вваливались в «Челси» со свежими кровоподтеками под глазами, и несколько раз пытался присоединиться к их танцу вокруг майского дерева, но это не принесло облегчения. Что-то во всем этом было искусственное и отдавало самолюбованием. То же самое касалось битников, которые перекладывали стенания потерянного поколения на современный манер, — их ламентации, пока их не начали убивать во Вьетнаме, казалось, были неоправданными. Наркотики, на мой взгляд, отнюдь не были выражением социального протеста, а просто разрушающей силой. В этом мрачном удовольствии не было ничего, что способствовало закладке хотя бы одного камня в фундамент новой веры, отсутствие которой так оплакивали битники. Уважение вызывали только их нападки на сексуальный пуританизм, во всем остальном их поколение вписывалось в картину общего процесса саморазрушения, следы которого просматривались повсюду, не только у меня и в моей жизни. Политическое и личностное саморазрушение стало непризнанной религией Америки. Я почти не выходил из «Челси», стараясь найти емкий парадоксальный образ, который бы позволил придать верное звучание пьесе на эту тему.

Мои думы были не только о Мэрилин: в начале пятидесятых я уже сидел в этой гостинице, в одном из тусклых номеров, пытаясь понять, что представляет собой Дилан Томас, молодой человек, настойчиво желавший уйти из этого мира, но после недельного голодания выглядевший здоровым как боров. Лишь прочитав спустя многие годы его исповедь об отце, я догадался, что не давало ему покоя: он не мог простить себе, что его талант принес ему славу, а отец, учитель, писатель, умер в полной безвестности. Он хотел все исправить, убив талант, который украл у того, которого любил. Я знал подобные компромиссы, когда открывавшиеся в тебе возможности казались невыносимыми перед лицом отцовского бессилия и человек не знал, как избавиться от чувства вины. Отцеубийство диктовалось потребностью завоевать пространство, но вопрос стоял, как жить потом. Или не жить.

Позже в «Челси» на своих двоих пришел умирать еще один человек, Бренден Бихан, дитя Борстала, приюта для несовершеннолетних. Он попросил зайти к нему, и я отправился в номер, куда его на пару ночей поселила к себе Катерина Данем, стараясь помочь протянуть еще недельку. Он сидел, мокрые волосы слиплись в беспорядке, лицо было в прыщах; пришепетывая через разбитые зубы, он смеялся, поглощая колбасу с яичницей, в то время как негры-танцоры входили и выходили, не зная, как помочь ему и стоит ли соболезновать. Он произнес с неловкой застывшей усмешкой:

— Чего там говорить, какой я драматург, ну, в общем, сами знаете — язык просто хорошо подвешен. Там, у себя наверху, я диктую секретарю книгу, издатель наседает. Кое-что успел, дай, думаю, сделаю, вдруг они устроят мне еще один золотой дождь. Очень хотелось увидеться с вами, Арт'р…

Было ясно, что мое приветствие оказалось прощанием, он расставался с жизнью. Однако все еще пытался прогуливаться по тротуару около гостиницы. Но когда шутил, рассказывал или напевал, неожиданно подкатывал приступ тошноты, и рвота выплескивалась на галстук; тем не менее он листал «Пост», просматривая, не попался ли снова на кончик пера Леонарду Лайону. Журналисты испытывали к нему теперь особое расположение, полагая, что он им любезно предоставит сюжет о необыкновенной смерти поэта. Существовала масса способов помочь им убить вас.

Самым верным было клеймить систему или отдельную личность; даже если это было правдой, само собой получалось, это снимает с тебя вину. Иначе приходилось смириться с тем, что ты жертва, и умирать совершенно молодым. Роль, которая отводилась человеку в истории его собственного саморазрушения, была таинственной загадкой под безоблачным американским небосводом.

Эти люди боялись власти, которую обрели, и находили один путь освободиться от нее.

Чарли Джексон, лысый бродяга, всегда приветливо улыбался, проходя через холл, — утекло немало воды с тех пор, как магия «Потерянного уик-энда» в краткий миг вознесла его на вершину крутой волны. Не имея своего пристанища, он еще какое-то время держался на плаву, пока это стало невыносимо, и он разрубил узел, обретя вечный покой на кровати в номере «Челси», рядом с пустым пузырьком из-под пилюль. Этот человек был неизменно добр ко всем, кроме себя.

Случалось и еще кое-что в водовороте вечного праздника в «Челси» — невозможно было определить, кого же здесь все-таки

чествовали. Как-то в холле молодая раздраженная особа раздавала размноженные на мимеографе листовки, где сообщалось, что она хочет кого-нибудь застрелить, не то чтобы определенно кого-то, а так, одного из представителей той части человечества, которая погубила ее жизнь. Люди брали и, прочитав, мило болтали с ней. Помню, кто-то даже вступил с ней в дискуссию по вопросу синтаксиса. Я предупредил администратора, что эта женщина обязательно кого-нибудь убьет и следует предпринять меры, чтобы этого не случилось. Однако она принадлежала к участникам праздника и было неловко предъявлять ей особые претензии. Однажды она все-таки выстрелила, и выстрелила в Энди Уорхола, говорили, прямо в пах. Веселье на мгновение прекратилось, но вскоре возобновилось вновь.

Со времен Хиросимы я думал написать пьесу об атомной бомбе. По прошествии пятнадцати лет меня не столько мучило чувство вины за то, что в свое время я не осудил катастрофу, сколько желание из первых рук узнать, как воспринимают ученые то, что они сотворили. Были материалы об их неоднократных попытках убедить президента Трумэна произвести демонстрационный взрыв не в Японии, а у ее берегов в море, что свидетельствовало об их сомнениях в праве взять на себя ответственность за такое количество человеческих жертв. У Джима Проктора был знакомый физик в Корнельском университете, и я получил через него приглашение посетить Ханса Бёте, разработчика линз для детонатора взрывного устройства. Выехав осенним туманным днем из Роксбери в Итаку, я и не подозревал, что напишу совсем иную пьесу, хотя на близкую тему, — «После грехопадения».

Убийственная ирония истории создания атомной бомбы была еще свежа в памяти. Мозговой трест Манхэттенского проекта составляли немецкие ученые-беженцы, которые опасались, что оставшиеся в гитлеровской Германии коллеги, весьма толковые специалисты, успеют сделать бомбу быстрее, чем они. Америка станет заложницей Германии, и это повлияет на ход истории. Когда бомба была готова, Германия лежала в руинах и выяснилось, что Третий рейх не занимался серьезными разработками в этом направлении. Иными словами, в появлении американской атомной бомбы не было никакой необходимости.

Многие из работавших над ней были евреи-антифашисты, радикалы, а то и марксисты. После войны у них на глазах ими созданным оружием начали угрожать Советскому Союзу, к которому они когда-то питали глубокие симпатии. Своего апогея

ситуация достигла с Робертом Оппенгеймером, который, будучи душой проекта, обеспечил Америке в послевоенном мире небывалую мощь и в то же время находился на подозрении у американских служб госбезопасности.

Прошло пятнадцать лет после того, как бомбу, прозванную «толстяком», взорвали. Ханс Бёте хорошо сохранился — это был крепко сбитый пятидесятипятилетний мужчина, похожий на альпиниста. Он любил долгие пешие прогулки в бриджах и башмаках на толстой подошве. Дом, где он жил, напоминал жилье отшельника: в центре почти пустой большой темной гостиной лежал маленький восточный ковер. В сером свете итакского дня на застекленной веранде виднелись одинокие стол и стул.

Раз в неделю военный самолет непременно доставлял его в Вашингтон для консультаций. В нем было непонятное обаяние и в то же время грусть, и я побоялся ранить его своими многочисленными вопросами. Казалось, мир, в котором он живет, жесток и ироничен, однако это не имело никакого отношения к изобретению в Лос-Аламосе. Как же он все это сопрягал? Я знал, на этот вопрос у него не было краткого ответа, но меня скорее интересовал круг его эмоциональных переживаний, ибо тот же самый вопрос я задавал самому себе. Моя дилемма, однако, была проще, чем у него: как побороть гнетущий привкус горечи.

Это был скромный обаятельный человек. Я знал, что он крайне активно возражал против того, чтобы бомбу сбросили на головы людей, но не смог переубедить Трумэна. Он самоотверженно работал над Манхэттенским проектом, стремясь отстоять жизнь в схватке со смертью, которую нес Гитлер. Было над чем посмеяться: будучи физиком, он попал в точку пересечения сугубо научного поиска и политических государственных страстей.

Он рассказал, что в Европе в довоенные времена, как и здесь, физики были одиночками. Разве в здравом уме кто-нибудь согласился бы заниматься наукой, которая практически не имела прикладного значения, а значит, не таила финансовых или иных перспектив? Физик был жрецом в храме науки, исследовавшим свой предмет из чистого любопытства. Круг профессионального общения был очень узок — его знали лишь занимавшиеся теми же вопросами. Я спросил, как он работал.

— Как? С утра садился за стол, брал карандаш и пытался соединить нетривиальным путем известные вещи. Иногда получалось, но редко. Так шли месяцы, если не годы. Потом вдруг споткнешься, возникнет совершенно новая мысль. А может, не возникнет. Такое ощущение, будто ходишь по острию бритвы. И

все время один. Так по крайней мере было, пока не придумали бомбу, ну и все остальное.

То, что он рассказал, очень напоминало работу писателя. И тоже в те времена, пока не появилось кино и культура массовых развлечений, а правда стала «полезной». Проговорив с ним несколько часов, я понял, что для него все остается такой же тайной, как и для меня, — мы не могли преодолеть иронию, с которой относились к миру, загнав себя туда рационалистическим подходом ко всему и вся. Каждый делал то, чего не собирался. И нес всю полноту ответственности, ибо кому-то надо было ее нести.

Но если у человека не было злого умысла, почему он должен был за все отвечать?

И если у него не было злого умысла, то откуда тогда появилось зло?

Не спрятан ли где-то глубоко под монашескими идеалами некий нерв, который не может не затрепетать, если окажется рядом с Властью? Не в этом ли конечность человека, единосущность с последним из нас, самым глупым и самым подлым?

Где может находиться сердцевина зла, как не внутри нас?

Я отправился в Принстон, чтобы встретиться с Робертом Оппенгеймером. Это был изможденный, глубоко подавленный человек — казалось, он приговорен и знает об этом. Его не стало через несколько лет. Он был отлучен органами безопасности от разработок государственных проектов, несмотря на то что считался отцом атомной бомбы. Мы беседовали в его неприбранном кабинете. О том, что я беседую с ученым, напоминала неуютная обстановка, твидовый пиджак и трубка — обычно я связывал его имя с представлением о власти и войне. В отличие от спартанского жилища Бёте его дом, насколько я помню, скорее напоминал апартаменты известного певца или актера — все было заставлено сувенирами, фотографиями, подарками, статуэтками, коврами, памятными значками со всего света. Когда-то это был уютный невзыскательный дом, где все напоминало о тех блистательных годах, которые были исполнены надежды, и великие мира сего приезжали со всех концов засвидетельствовать хозяину почтение. Теперь на всем лежала печать запустения. Его умирающая жена Китти Даллит, хрупкая невысокая женщина в твидовом костюме, который висел на ее исхудавшем теле, все еще была необыкновенно хороша — на ее лицо не легла тень возраста, но едва заметная настороженность и беспокойство напоминали об изуверских процедурах Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности,

разбирательством в которой она заплатила за свои прошлые связи с радикалами. Несмотря на то что она была больна и напугана, можно было представить, как она была когда-то жизнерадостна. На небольшой университетской вечеринке показалось, она наблюдает за мной с испугом, и я подсел к ней заверить, что не буду терзать их очередной журнальной статьей или телевизионным интервью, изыскивая новый ракурс проблемы. В ней было что-то дерзкое — этим она напоминала необыкновенно остроумную Дороти Паркер в возрасте. Атмосфера дома была омрачена тенью воспоминаний о лучших днях.

Меня не столько интересовала его вина или влекла потребность осудить его, сколько занимала та роль, которую наука играет в жизни ученого. Оглядываясь назад, надо признаться: во мне жило какое-то романтическое стремление к абсолютному самораскрытию, которое выражалось в желании обрести истину, ослепив себя конкретностью факта. Может быть, эту раздвоенность знали склонные к идеализации ученые? Схожая проблема могла существовать на любом уровне. Я повлиял на жизнь многих людей, моих жен, детей, а также, возможно, тех, кто смотрел мои пьесы в разных уголках земного шара. Однако мои творения лишь отдаленно выражали меня, так же как сделанные физиками открытия отрицали своих творцов. Казалось, невозможно жить, в полной мере не разобравшись, что такое ответственность. Постижение этой истины оказалось весьма болезненной хирургической операцией. Я рассматривал это явление не столько с нравственной, сколько с биологической точки зрения. Обычно для меня все упиралось в поведение. Было что-то призрачное, неуловимое в том, что большинство людей, будучи двухмерными существами, соглашались на одномерное существование, обрекая одну из своих ипостасей, если не рассматривать это как привилегию, на бездейственное созерцание другой, страстно желая включиться в свое собственное существование и одновременно боясь этого.

Не подобная ли раздвоенность лежит в основе присущего нам увлечения насилием и коммерциализации секса за счет отказа от чувств и ставки на развлечение. Порой казалось, что вся страна отправилась в массовый поход за новыми ощущениями. Прошлое в такой ситуации не могло служить поводырем, и тогда на первый план выходила кинозвезда, олицетворявшая массы и вызывавшая зависть как известностью, так и высокими ставками. Ее триумф, являвшийся, по сути, отказом от себя, становился целью жизни. Одурманенное наркотиками бытие постепенно все более широко признавалось за достойное существование, являясь выражением

все той же потребности воссоединить расщепленное сознание, если не в социальной реальности, то хотя бы в собственной голове, восстановив нерасторжимое единство слова и дела. Добиться этого можно было лишь изменением химического состава бессознательного, что привело бы к полному отказу от жизни и созданию некой новой реальности безо всяких ценностей.

Именно в поиске целостного осознания себя заключалась, на мой взгляд, сущность «Гамлета», «Царя Эдипа», «Отелло». Это была попытка придать жизни ощущение реальности путем преодоления отчуждения от нее: в этом основа трагедии.

Общаясь с учеными-физиками, я вступил в сумеречную, неизвестную мне доселе область, где царила жестокая тирания Иронии. Высвободив наиболее зловещие силы природы, они попали в тиски неизбежных противоречий, главное из которых то, что решения принимают не они, а политики, чьи умственные способности и мотивы едва ли предполагают серьезные мудрые решения. Великие завоевания науки сделали медицину искусством врачевания людей, но она же могла и погубить их — с какой частью этого уравнения должен был соотнести себя желающий сделать открытие физик?

Осторожность Оппенгеймера служила ему защитой, но весьма затрудняла наши доверительные беседы, хотя я допускаю, что у него были серьезные основания относиться к писателям с подозрением. И все-таки мои вопросы, по-видимому, заинтересовали его, несмотря на то что он уклончиво отвечал на них, кроме главного — не убиваем ли мы поступками, которые трудно оправдать, собственные отношения, а значит, душу. Он неторопливо перевел на меня свой взгляд, посмотрев прямо в глаза с выражением, которое свидетельствовало, что вопрос задел его за живое. Отвечая, он подчеркнуто мягко не согласился с этим. Я понял, что он действительно страдает, а не просто сожалеет о былой известности и успехе. Большего в тот момент мне было не надо.

Я уехал, убежденный, что задать вопрос — значит ответить на него. Люди вынуждены не признавать очевидное: сумрак, почти физический, сгустившийся вокруг этих правдоискателей, теперь показался мраком отрицания. Им пришлось поверить, что их всего лишь выбросил на поверхность великий поворот истории, подобно тому как мощная гравитационная сила всасывает на своем величественном пути новые звезды. И все-таки надо было признать, что их гениальность вложила разрушительную силу богов в руки невежественных и мелких людей.

Вернувшись в Роксбери, я начал страница за страницей

писать белым стихом пьесу о человеке, прототипом которого был Оппенгеймер. Его герой подавал сигнал для начала рокового эксперимента по взрыву первой атомной бомбы. Писать пьесу было легко, но она выходила безжизненной, так как я не мог справиться с описанием повседневного быта персонажа. В процессе работы я пришел к мысли, что чувство вины может быть выражением ошибочно или ложно понятых отношений с человеком или событием, некой фантазией, чтобы уйти от настоящей ответственности. Вина предполагает боль без побуждения к действию и унижение от раскаяния: короче говоря, испытывая чувство вины, мы как бы освобождаемся от необходимости что-либо менять в своей жизни.

Я вдруг понял, почему «Падение» Камю не принесло удовлетворения. Взглянув в лицо страшной правде собственной виновности, человек, с точки зрения Камю, должен вообще отказаться от осуждения себе подобных, но разве можно перестать осуждать других? Как прожить жизнь, не различая добра и зла? В стремлении признать противоречия жизни животворными можно ли отказаться от чувства морального отвращения? А если мы перестанем судить о нравственном, тогда к чему взывать, попав в руки убийцы?

Пьеса об атомной бомбе могла получиться, только если бы вызывала чувство ужаса. Я не знал, сколько мне отпущено жить, но хотелось оставить после себя нечто абсолютно правдивое. Пьеса вскрывала одну из извечных дилемм науки, но не увлекла тем, что открылось. А если краска стыда не заливала меня, когда я писал, то знал, что ничего путного не получится. (Так же, наверное, как и у других.)

Я начал думать над художественной формой, которая могла бы выявить природу отрицания, своего рода массовой лжи нашего времени. Я еще не знал, что Америка готовится к войне во Вьетнаме, методично отрицая, что это война, и те, кто будет сражаться, достойны скромных солдатских почестей. Самая раскрепощенная в мире американская культура представлялась культурой отрицания: подобно тому как наркотики, расковывая сознание, разрушают мозг, новая сексуальная свобода отвергала сострадательное самоограничение, которое делает любые человеческие отношения неподвластными времени. Какой-нибудь буржуа, оценивая людей по одежке, мог не воспринимать того, кто носит джинсы или поношенные костюмы, в то время как за длинными патлами скрывалось, выступая под маской раскрепощенной чувственности, отрицание равнодушия.

Новая пьеса по форме должна была стать исповедью, так как в ее основе лежал поиск главным персонажем самого себя,

преодоление невозможности идти себе навстречу. При этом она была бы не более автобиографична, чем все, что я написал. Из заброшенной десять лет назад пьесы о группе ученых, работавших на магната-фармацевта, в нее перекочевала фигура Лоррейн как олицетворение откровенной чувственности, по-кошачьи воплощавшей природные силы. Она противостояла ограниченному, умствующему герою, который искал в ней начала для обновления собственной жизни.

Через несколько недель после завершения «Неприкаянных» Мэрилин, вернувшись в Нью-Йорк, позвонила в гостиницу, где я жил до переезда в «Челси», и спросила: «Ты что, не собираешься приезжать домой?»

Я долго молчал, не зная, что ответить. Она, по-видимому, была искренне удивлена, не застав меня дома, хотя я предупредил, что больше не буду там жить. Неужели она забыла, как яростно негодовала на меня, или для нее в этом было что-то совсем другое? Она говорила все тем же мягким ласковым голосом, как будто за последние четыре года ничего не произошло. Она говорила, и все плохое улетучивалось, как на цветной фотографии, которая блекнет, когда ее надолго оставишь на солнце. Пережитое, неожиданно став реальным, показалось свято, как сама жизнь. Ее забывчивость была сродни попытке умереть задним числом. Не высказанный в «Падении» вопрос, как жить с сознанием вины, зазвучал по-иному: почему, бросаясь на помощь другому и пытаясь как-то скрасить ему действительность, тем самым только усугубляешь его поражение? «Падение» — это книга, написанная со стороны. Я же хотел написать книгу от лица участников катастрофы, ее униженных подсудимых, каковыми являемся все мы.

Страницы летели одна за одной, их вскоре стало с избытком для обычной пьесы. Я писал то в «Челси», то в Роксбери, в доме, где Мэрилин мечтала все устроить по своему вкусу. Он находился вверх по дороге, чуть выше того места, где пять лет мы прожили с Мэри и детьми. Однако прошлое не становилось менее загадочным от того, что стояло рядом. Около прежнего дома на повороте рос тополь, который медленно подгнивал, поврежденный врезавшейся в него в день нашей свадьбы машиной. Стараясь избежать шумихи в прессе, мы праздновали это событие в Уэстчестере у Кей Браун, моего литературного агента и давнего друга. Но ни она, ни ее муж Джим, ни мои родители, ни Джоан с мужем, ни Кермит с женой, ни Ростенсы, ни жизнелюбивый раввин Роберт Голдберг не могли рассеять напряжение, в котором находилась Мэрилин и которое в конце

концов передалось мне, поскольку за нами в прямом смысле слова, казалось, охотился весь мир. Вечером того же дня, возвращаясь домой, мы, не доехав с четверть мили, увидели стоявший поперек дороги «шевроле», который врезался в дерево. Затормозив, я вышел и, осмотрев машину, увидел на переднем сиденье женщину, у которой, по-видимому, была сломана шея. Подъехав через несколько минут к дому, мы увидели «скорую», водитель которой выяснял у газетчиков, фоторепортеров, зевак, как проехать к месту происшествия. Жертвой оказалась несчастная Мара Щербатова, русская дворянка, заведовавшая нью-йоркским отделением «Пари-матч». Вместе с фотографом они ехали, чтобы сделать репортаж. Остановившись спросить у соседа, где наш дом, они, спутав проезжавшую машину с моей, рванулись с места и, не вписавшись в поворот, врезались в дерево. Эта смерть потрясла нас своей бессмысленностью, так же как бесцельна была сама их поездка. Дерево с тех пор медленно засыхало, пока через шесть лет не рухнуло. На его месте остался пень, и, проезжая мимо, я всегда отыскивал его в траве глазами.

Работая над рукописью, постепенно начинаешь слышать то, что говорит пьеса, которую пишешь. Со страниц гаргантюанского по размерам черновика звучала тема вины уцелевших. За несколько месяцев до этого мы с Ингой путешествовали по Рейнской земле, а потом поехали в Линц, в Австрию, на родину Гитлера, в городок, до сих пор известный своим антисемитизмом. При выезде из городка на вершине невысокой, поросшей лесом горы стоял Маутхаузен, концлагерь, который Инга решила мне показать. Пострадав от нацизма, она была из тех, кто выжил, и теперь настойчиво возвращалась в прошлое, чтобы обрести хоть какой-то покой.

Мы ехали мимо небольших ферм, но, как ни странно, ни один человек не повернул головы, чтобы посмотреть, кто это едет по пустынному шоссе в сторону заброшенного концлагеря. Я понял, что тогда, как сейчас, каждый занимался своим делом, не обращая внимания на ревущие грузовики, сновавшие туда-сюда не один год. Будучи не в состоянии ничего изменить, я все же спросил себя, что бы делал на месте этих людей, как, возможно, они сами спрашивали себя.

Построенный под средневековую крепость, лагерь был обнесен колючей проволокой на столбах и массивной каменной стеной высотой в двадцать пять футов. Не оставалось сомнений, что это место строилось на вечные времена для массового уничтожения людей в утвердившемся на тысячелетия рейхе. Ворота были наглухо затворены, но рядом виднелась небольшая

деревянная дверца, в которую мы постучались, стоя в полной тишине в ожидании ответа. Ровный шум густого леса, уютно и мирно обступившего нас со всех сторон, казалось, превратил в насмешку то, что мы знали об этом месте, где все радует глаз и только человек подл.

Перед нами, попыхивая длинной, как в мультфильмах, трубкой, возник грузный австриец с пытливым взглядом в сопровождении приветливой откормленной бойкой таксы, такой же любопытной, как и ее хозяин. Было видно, что работа сторожа тяготит его и он был рад посетителям. Отдавая должное тому, что здесь были убиты тысячи, он тем не менее был достаточно оживлен и, показывая бараки с внутренними двориками, остановился, чтобы обратить наше внимание на каменную плиту с выдолбленным углублением для головы и воронкой сбоку для стекания крови, где у трупов остригали волосы и выбивали золотые зубы. Точно так же здесь обращались с живыми. Без симпатии или угрызений совести, равно как не демонстрируя холодного равнодушия, он проявлял одинаковый интерес к ужасам, которые описывал, и уважение к жертвам. С человеческой точки зрения ему не в чем было упрекнуть себя. А что оставалось делать? Разве он не должен был как-то жить? Между двумя бараками он остановился перед сложенной из камней пирамидкой — обелиском в честь русского генерала, которого обливали на морозе водой до тех пор, пока он не превратился в глыбу льда.

Покинув Маутхаузен, мы на обратном пути остановились в небольшом придорожном ресторанчике выпить кофе. За столом восседал дородный мужчина с тяжелыми руками, рабочий на вид лет под пятьдесят, с заботливой строгостью проверявший школьную тетрадь по арифметике у пристроившейся рядом девочки лет восьми-девяти. Наверное, он жил здесь тогда — прошло всего двадцать лет — и знал, чт***о*** перевозят машины, идущие в гору. Инга все переносила мужественно, не проронила почти ни слова и, бледная, старалась перебороть свой ужас. У нее на глаза вот-вот были готовы навернуться слезы. Люди, возводившие эти бараки, и равнодушие, если можно употребить это слово, царившее вокруг, погубили ее юность и возложили бремя бессрочного долга, который ей некому было вернуть и оставалось нести в силу человечности. В этом была своя тайна, и, хотя вне Германии жизнь так же мало давала оснований для веры в животное под названием человек, она стоически сопротивлялась пессимизму. Всегда, оказывается, есть люди, к которым можно воззвать…

Не от того ли к моим чувствам примешивалось что-то,

помимо скорбного сострадания к мертвым, и мне казалось, я бы обязательно что-то сделал, чтобы не очутиться в одном из этих грузовиков.

Вскоре после поездки в Линц я прочитал в «Интернэшнл геральд трибюн» краткое сообщение, что во Франкфурте состоится суд над бывшими охранниками из Освенцима. Для этого в городе специально построили новое здание суда. Я никогда не видел живых нацистов и решил, потратив несколько часов на дорогу, съездить туда.

В новом зале суда, впечатляюще отделанном мрамором теплого коричневого тона, набралось с дюжину зевак. Не успели мы сесть, как ко мне подошел журналист одного из телеграфных агентств и сказал, что надеется, я напишу о процессе, ибо никому из его коллег не удалось пробить ни одной статьи в американской, европейской или британской прессе. Прошло всего пятнадцать лет по окончании войны, а о нацизме уже предпочитали не вспоминать. Я не собирался писать на эту тему. Однако по заказу «Трибюн» сделал большую статью, которую перепечатала «Нью-Йорк геральд трибюн».

От этого дня остались обрывки воспоминаний. Напротив сидевшего на возвышении судьи и кафедры для свидетелей расположились, тоже на возвышении, позади своего адвоката, высокого, дородного мужчины по фамилии Латернсер, представителя «Дженерал моторс» в Германии, двадцать три обвиняемых — мужчин, которым перевалило за пятьдесят или за шестьдесят. Я про себя отметил, что такой адвокат был явно не по карману этим по виду необразованным и малоимущим бывшим нацистским охранникам. Ситуацию прояснил главный обвинитель Фриц Бауэр. Он узнал, что они пригрозили рассказать о бесчеловечных опытах главного фармацевта Освенцима, проводившего так называемые «медицинские эксперименты» над живыми людьми. И один из его наследников, тоже фармацевт из состоятельной немецкой семьи, предоставил им первоклассного адвоката. Теперь этот наследник сидел справа от меня — близорукий мужчина лет под пятьдесят с непроницаемым выражением лица, в дорогом твидовом костюме зеленоватого оттенка. Он напряженно вслушивался в каждое слово, и его сосредоточенность легко было понять. Ему пока не предъявляли никаких обвинений, и он, конечно, полагал, что до этого не дойдет.

Отвечая на вопросы Латернсера, решившего представить одного из подсудимых безупречным и уважаемым семьянином, тот рассказал, как наставлял своих четырех детей в отрочестве. Удовлетворенный Латернсер на мгновение отвлекся, а его

подопечный тем временем продолжал: «Вот только с младшей вышла загвоздка. Поэтому я с нею не разговариваю». Это было незапланированное признание, и Латернсер попытался остановить своего подопечного. Однако преисполненный наивного негодования бывший охранник Освенцима горел желанием продемонстрировать свои верноподданнические чувства и рассказал, что порвал с дочерью, так как она решила выйти замуж за итальянца. Этот вероломный народ бросил рейх и капитулировал перед наступавшими союзниками — грязные, ненадежные людишки.

Другой охранник, прославившийся в Освенциме своим садизмом, был одним из немногих, кто после окончания войны подался не на запад, а на восток. Он представил на суд свидетельства из польских госпиталей, где указывалось, что в последние годы он работал в Варшаве и его прозвали «сестричка», ибо он отличался особым вниманием к больным. В Освенциме он специализировался на избиении людей, привязанных в позе «попугай на шесте».

В частной беседе Бауэр подтвердил то, что было и так известно: местная полиция практически ничего не делала, чтобы разыскивать свидетелей нацистских преступлений, хотя в Западной Германии на эти процессы отпускалась уйма денег. По приходе Гитлера к власти Бауэр был самым молодым судьей в Верховном суде земли Гессен. Нацисты разрешили ему работать, однако, будучи здравомыслящим человеком, он не мог выносить приговоры в согласии с «законом», который лишь немногим отличался от зафиксированных на бумаге предрассудков. Уехав в Швейцарию, он оставался там всю войну. Вернувшись на родину, он продолжал розыск нацистов, однако уже не тешил себя иллюзиями: дело было не в том, что гитлеровские идеи выветрились из головы, а в том, что люди хотели забыться и отрицали столь ужасное прошлое. Будучи совестью Германии, Бауэр теперь нередко объявлялся ее врагом — ситуация, которую можно встретить повсюду.

Мы с Ингой завтракали с Латернсером. Это был весьма искушенный в своем деле человек, которого отличали быстрые реакции и непреклонная позиция по вопросу защиты охранников. «Американцы первыми поняли, что суд не в состоянии вынести справедливого решения, если свидетели умерли или ничего не помнят». Тот факт, что его подопечные немало потрудились, изводя потенциальных свидетелей, мало занимал его: в круг его компетенции входили только их показания.

Я написал большую статью об этом процессе, больше двух полос, в «Интернэшнл геральд трибюн». С незначительными

сокращениями она была перепечатана в ее нью-йоркском издании. На какое-то время материалам на эту тему дали зеленый свет. Однако что-то во всем этом было гнетущее, как надгробная плита, — пока из людской памяти все не выветрилось, трагедию надо было увековечить как предупреждение на будущее. Эта область человеческого сознания, однако, оказалась мало изученной, и большинство людей продолжали исповедовать родовые и расовые предрассудки, лелея их как нечто заветное. Что бы человек ни писал и ни читал, мысль о систематическом отравлении в газовых камерах малолетних детей вызывала такое отвращение, как будто вам холодной рукой зажимали рот. Этим отчасти объяснялось, почему немцы не хотели думать об этом. С другой стороны, из головы не выходил тупой правоверный охранник, который для облегчения своей участи решил признаться, что ненавидит итальянцев: этот человек когда-то имел власть распоряжаться тысячами жизней и убивать — убивать талантливых, а то и гениальных людей, врачей, артистов, художников, философов и просто влюбленных.

По зрелом размышлении универсальную природу нацизма можно объяснить тем, что власть и глупость сосуществуют столь тесно, что их не отличишь друг от друга, и потому они не кажутся такими опасными.

По возвращении из Германии я почувствовал, что во мне зарождается новая пьеса. Тема — парадокс отрицания, — по-видимому, в значительной степени была навеяна самой Германией. Ибо отрицаемая ею в плане идеального жестокость стала в наши дни своего рода символом проблем человечества. Наиболее полное выражение тема обрела в образе Лоррейн, персонажа неоконченной пьесы о фармацевтической компании. В ней для меня нашла отражение глубокая ирония эпохи. В своей искренности Лоррейн кажется доверчивой, но в ней сильно неосознанное животное начало, поэтому она не может побороть в себе болезненной неуверенности — некоего чудовища, которому собственное обаяние не дает ничего, кроме скрытого презрения мира. Иногда, сбитая с толку, ошарашенная, она в глубине души начинает действовать противу самое себя, видя в мире один только цинизм и воспринимая окружающих лишь в их стремлении подавить ее хрупкое ощущение себя, пока наконец в работу не вступает отрицание, полностью освобождая ее от какой-либо оценки своих собственных поступков и пресекая всякие попытки понять одолевающие ее слепые приступы мести. Она все время живет как будто в осаде и не может никому верить. Мне показалась многообещающей идея сделать смысловым центром

тотальное отрицание, воплотив в опыте одной души сложный процесс, преломленный сквозь индивидуальное сознание. Мысль эта настолько захватила меня, что я был глубоко удивлен, когда Роберт Уайтхед однажды заметил, что, на его взгляд, все однозначно и безоговорочно примут Лоррейн, которую в пьесе звали Мегги, за Мэрилин. Мне казалось, пьесу воспримут как попытку соединить политику с этикой, что наиболее символично проявится в агонии Мегги, но это не окажется для пьесы единственным raison d'etre[25]. В целом это будет произведение о том, как мы — нация и отдельные люди — разрушаем сами себя, отрицая, что именно этим и занимаемся. Если Мегги и впрямь в некотором роде явилась отражением Мэрилин, у которой, помимо этого, в характере было много всего другого, то это проявилось в агонии героини, ибо в жизни, по крайней мере в том, что касается общественного сознания, Мэрилин была отделена от всяких страданий: златовласая девушка, вечно юная богиня чувственности, не знающая ни горя, ни забот, мифическое создание, не подвластное воле и смерти, а значит, искренней симпатии. Это был, конечно, рукотворный миф, созданный ею со всем старанием и ставший, казалось, высшим завоеванием ее жизни.

Оглядываясь, я понимаю, что принуждал себя к слепоте, отказываясь видеть за вымышленным персонажем реальное лицо, но никого не хотел обвинить этой пьесой. Все дело в том, что Мегги можно было спасти, если бы она перестала обвинять себя и окружающих, поняв, что, как и все, является творцом собственной судьбы — факт, внушающий благоговение, однако требующий смирения, размышлений, а не бесконечного покаяния, которое в ее бедственном положении было связано с отрицанием очевидного. В этом смысле невинность губительна. Но тем не менее, как я вскоре уяснил, она правит и, по-видимому, будет править всегда.

Вначале у меня не было и мысли, что Мегги умрет, но я знал, что они с Квентином должны будут расстаться — сильный финал, чтобы не дать публике комфортно расположиться перед лицом всепримиряющей смерти. Но, постепенно вырисовываясь, характер все более нес на себе печать неизбежности собственной судьбы, и я не мог не почувствовать, что эта линия клонится к смерти. Все отдаляло Мегги от Мэрилин, которая, насколько я знал, снова активно снималась, приобрела дом и вела нормальную трудовую жизнь, если такое вообще возможно в кинобизнесе.

Купив однажды в нью-йоркском киоске журнал «Лайф», я открыл его и увидел ее фотографию: обнаженная, она лежала в

каком-то бассейне на воде и смотрела в объектив. Текст гласил, что она потребовала, чтобы сцены с обнаженной натурой в комедии «Что-то должно случиться», где она поначалу снималась с Дином Мартином, происходили в открытую. Мне показалось, что в ней уже нет той непосредственной радости, с которой она демонстрировала свое бесподобное тело раньше, на лице застыла напряженная усмешка деланного безразличия. Трудно было подавить ощущение, что ей не надо больше этим заниматься, время, когда она могла безоговорочно полагаться на свое тело, прошло. Неужели годы работы нужны были только для того, чтобы вот так, голой плавать в бассейне? Фотография, возвещавшая о возвращении к прошлому, дохнула на меня холодом, как будто эта женщина перестала бороться за то, чтобы не быть вечной жертвой.

Тут же сообщалось, что съемки фильма «Что-то должно случиться» прекращены, поскольку Мэрилин постоянно опаздывала на съемки. К тому же в «Вэрайэти» было напечатано письмо рабочих студии и технического персонала, где они в саркастической манере благодарили ее, что, потакая собственным слабостям, она лишила их работы в это нелегкое время. Страшнее удара для нее не могло быть.

Я знал, у нее есть врач-психоаналитик, который внимательно опекает ее, практически относясь как к своему ребенку, она бывает в его семье, где может слоняться по дому, как будто она одна из его дочерей. Происшедшее давало основания предположить, что он примет особые меры предосторожности; понятно, что ей надо было отдохнуть, освободиться от гнетущего страха. На съемках в Голливуде мне как-то пришлось звонить руководителю Медицинской школы при Калифорнийском университете и попросить, чтобы он уговорил ее не пить барбитураты. В целом врачи были бессильны перед ее просьбами, выписывая все новые сильнодействующие таблетки снотворного, вопреки тому, что понимали, насколько это было опасно. Само ее имя и власть были в сговоре против ее жизни. Организм оказался отравлен, и в тот раз профессор просто смахнул бутылочки с лекарствами с ночного столика. Его твердость произвела на нее впечатление, и несколько дней она воздерживалась принимать снотворное, но для того, чтобы выстоять, надо было отказаться от безвыходного представления о мире, что она не более как жертва и козел отпущения. Казалось, в какой-то момент профессору удалось убедить ее, что она себя губит, но его авторитета не хватило, чтобы перебороть устоявшееся представление Мэрилин о себе. К тому же всегда находился врач, который с радостью помогал ей провалиться в забытье.

Как-то днем Боб Уайтхед прибыл в «Челси» с ошеломляющими известиями. Его назначили директором нового репертуарного театра Линкольн-центра, здание которого решено было строить в районе Коламбес-Серкл, и оно должно было быть возведено через два года. В свое время Боб вместе с Кермитом Блумгартеном поставил «Вид с моста» и «Воспоминание о двух понедельниках». Он считался на Бродвее самым амбициозным продюсером. Несмотря на успех, он мечтал о постоянном театре, вроде английских «Нэшнл» или «Олд Уик», где бы американские артисты, художники, режиссеры могли спокойно работать, не боясь, что по завершении очередной коммерческой постановки им придется разбрестись по белу свету. Для того чтобы заняться театром Линкольн-центра, Бобу надо было бросить Бродвей. Это было связано с неминуемыми финансовыми потерями и свидетельствовало, сколь по душе ему пришлась новая перспектива.

Не напишу ли я к открытию театра пьесу? На деле он хотел знать, сработаюсь ли я с Казаном, которого прочил на роль художественного руководителя, Гарольдом Клерманом, драматургом и советником по общим вопросам, и Бобби Льюисом, директором актерской школы, который будет осуществлять постановку. Ясно, что это был все тот же «Групп-театр», возрожденный через два десятилетия после того, как распался. Но теперь он обладал общественным источником финансирования и постоянной крышей. Это была захватывающая перспектива.

Что касается Казана, мне надо было определиться в своем отношении к нему. Я не знал, сможем ли мы работать вместе, со своей стороны, однако, продолжая считать, что его признание в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности повредило не только ему, но делу свободы, в то время как он наверняка оправдывал себя! За эти годы сам предмет — вопрос о коммунистах — потерял актуальность, и молодое поколение едва ли понимало, о чем идет речь. Вопрос стоял в ином ключе: могут ли его политические взгляды и, если хотите, моральное отступничество воспрепятствовать работе в театре, особенно в театре, имеющем общественную поддержку. Что касается морали, то эту проблему, пожалуй, не надо было трактовать слишком широко: разве многие из тех, у кого открылись глаза на параноидальный кровавый сталинский режим, которому они оказывали поддержку, раскаялись в этом? Испытывая огорчение по поводу того, что Казан внял уговорам и признался в своем коммунистическом прошлом, я отнюдь не считал, что ему

следовало отказать в работе, для которой он по таланту и бесценному опыту работы в «Групп-театр» подходил как никто другой. Хотя за моими рассуждениями так же могло скрываться опасение, что лучшего режиссера для такой трудной пьесы не найти. Отказать ему, полагал я в ту пору, означало отказать в будущем национальному американскому театру.

Меня не покидало опасение, сумею ли я закончить пьесу к открытию Линкольн-центра. Я плавал на двухстах страницах текста и даже в отдалении не видел берега. Возникли трудности практического характера: едва ли я мог позволить себе отдать пьесу репертуарному театру, который будет играть ее несколько раз в месяц. Работа над пьесой занимала годы, и я едва сводил концы с концами, так что было не до великодушия. Несколько недель ушло на выматывающие переговоры со все более увлекавшимися этой затеей Клерманом и Уайтхедом, а также на беседы с Казаном о планах постановки. Я согласился ускорить работу. Иными словами, поддался чувству и, вопреки весьма серьезным обстоятельствам, взывавшим, чтобы я отказался, решил поддержать идею создания нового театра.

Я выступал там как пишущий драматург и был далек от перипетий внутренней административной политики. О противоречивой истории репертуарного театра Линкольн-центра исписаны тонны бумаги, однако, несмотря на бесчисленные публикации в нью-йоркских и других изданиях, его существование при Уайтхеде и Казане еще ждет беспристрастного и достоверного изучения.

В этой книге я не ставлю перед собой задачу дать исчерпывающую картину всего, что произошло. Позволю себе коснуться того, что знал в те времена, а также из вторых рук узнал позже, ни в коей мере не претендуя на полноту. Знание фактов здесь важнее личных амбиций, ведь в проект были вложены огромные суммы общественных денег, не говоря об обманутых ожиданиях артистов и публики, которые, безусловно, заслуживали большего, чем получили. И еще. Если в этой стране когда-нибудь будет создан достойный этого звания Национальный театр, уроки, извлеченные из неудавшейся попытки, возможно, пойдут ему на пользу.

Совет Линкольн-центра в основном состоял из банкиров, которые финансировали постройку. Они полагали, что опера, балет, симфонический оркестр не могут существовать без ежегодного дефицита, но театр, по их мнению, в силу ряда причин, присущих сугубо американской культуре, частью которой они сами являлись, должен был приносить доход или по крайней мере не быть убыточным. Несколько месяцев шли дискуссии и

проводились подсчеты, в ходе которых Уайтхед, человек в общении с такими людьми крайне уравновешенный и обходительный, разъяснял парадоксальность ситуации, что чем успешнее будет функционировать такой театр, тем он будет убыточнее. Для членов Совета это звучало совершенно абсурдно. Ведь, в конце концов, Уайтхед весьма прилично зарабатывал на Бродвее на постановках Робинсона Джефферса, Карсона Маккулерса, Фридриха Дюрренмата, Роберта Болта, тогда за чем же дело стало? На Бродвее, однако, режиссер не платил за хранение декораций двух, трех, а то и более спектаклей в постоянно обновляющемся репертуаре театра и не финансировал труппу, многие актеры которой простаивали не то что днями, неделями, а то и дольше; он не заказывал и не хранил костюмы для нескольких постановок сразу и так далее. Банкиров не могло убедить, что завоевавший широкое признание «Олд Уик», а позже Национальный театр Великобритании функционировали с огромным дефицитом. Председатель Совета Джордж Вудс, президент «Уорлд бэнк», оказался особенно глух к этой, казалось бы, несложной для понимания ситуации.

Но тогда мне мало что было известно об этом. Я почти завершил работу над пьесой «После грехопадения», когда пришло страшное известие, что Мэрилин умерла, очевидно приняв слишком большую дозу снотворного.

Есть люди, которые настолько неповторимы, что, кажется, не могут исчезнуть из жизни даже после своей смерти. Я неделями ловил себя на том, что не могу свыкнуться с мыслью, будто Мэрилин нет. Во мне жила какая-то вера, что мы обязательно встретимся, где и когда — не знаю, и поговорим по душам, выяснив, зачем натворили столько глупостей, — и тогда я снова окажусь влюбленным в нее. Железная логика смерти не могла разрушить мои мечты: я видел, как она идет по лужайке, берет что-то в руку, смеется, и в то же время должен был принять ее смерть, как человек, который стоит и смотрит на заходящее солнце. Позвонил какой-то журналист, спросил, поеду ли я в Калифорнию на ее похороны, но идея похорон показалась столь дикой и нелепой, что я, как ни был ошеломлен, не задумываясь ответил: «Ее все равно там не будет». И, услышав его удивленное восклицание, повесил трубку, не в состоянии объясняться. Не было сил участвовать в круговерти кинокамер, возгласов, вспышек. Я сделал все, что было в моих силах, к чему теперь фотографироваться на фоне ее надгробья. Почему-то все время вспоминалось, как на мои слова: «Ты самая грустная девушка из всех, кого я встречал» — она откликнулась: «Мне никто никогда такого не говорил!» И задумчиво рассмеялась, напомнив

одинокого коммивояжера, когда-то сказавшего мне в детстве: «А ты стал как-то серьезнее», заставив тем самым посмотреть на себя другими глазами. Странно, но она действительно не имела права быть грустной.

Теперь пресса хором скорбела, в том числе газеты и журналы, которые долго глумились над ней, те, чьи похвалы и критику, порою сводившуюся к хуле, она как актриса переживала слишком серьезно. Для того чтобы выжить, ей надо было либо стать еще более циничной, либо еще сильнее отгородиться от реальности. Мэрилин же была поэтом, который, стоя на углу улицы, читает людям стихи, в то время как толпа срывает с нее одежды.

Будучи порождением эпохи сороковых — пятидесятых годов, она доказала, что сексуальность не уживается в американской душе с серьезностью, оба начала на деле являются враждебными и взаимоотталкивающими. Ей пришлось уступить, и в конце жизни она вернулась к съемкам обнаженной в бассейне для рекламных роликов.

Прошли годы, и историей ее жизни решил воспользоваться писатель, чьи профессиональные возможности исчерпывались тем, что он камуфлировал сексуальность серьезной тематикой. Не скрывая, что ему не хватает денег выплачивать алименты после нескольких разводов, он создал образ веселой молодой проститутки с проблесками безудержного остроумия. Если присмотреться, в ней нетрудно было разглядеть его самого с его представлениями о Голливуде как средоточии славы, оголтелого секса и власти. Любое упоминание о боли испортило бы эту картину, и это когда он писал о женщине, всю сознательную жизнь балансировавшей на грани саморазрушения.

Я полагаю, модный писатель мог бы оказаться снисходительнее к ее судьбе, согласись она однажды в пятидесятые годы на мое предложение пригласить его к нам поужинать. Я слышал, что Норман Мейлер купил в Роксбери дом, и, судя по тому, что знал о нем, нетрудно было догадаться, что первым делом он постарается познакомиться с нею. Мне был памятен наш давний краткий разговор на Бруклинских Высотах, когда мы оба там жили. Он тогда меня озадачил, заявив, что в любой момент может написать пьесу вроде «Всех моих сыновей» и напишет, когда придет черед. Я отнес этот выпад за счет переполнявшей юношу зависти, без которой не может состояться ни один писатель. Теперь, лет десять спустя, он мог бы составить неплохую компанию на вечер. Мне казалось, мы вели тогда слишком замкнутый образ жизни и гости смогли бы развеять ее настороженность к людям. Но она отказалась принимать Мейлера, сказав, что «отлично знает таких типов». Ей не хотелось

встречаться с ним в новой жизни, которую она мечтала прожить среди людей, не отягощенных стереотипами — ни чужими, ни своими собственными. Читая его опус, написанный с насмешливой мстительностью в адрес нас обоих, которую он старательно прячет под апломбом авторитетности, я подумал, что этой книги, наверное, могло бы не быть, если бы, накормив его тогда, мы бы дали ему возможность соприкоснуться не только с ее известностью, но и с ее человечностью.

Теперь же она предстала героиней его романа-который-небыл-вымыслом или документальной повести-которая-не-была-правдивой, в том образе, который ненавидела, считая его насмешкой, ибо относилась к себе серьезно. Зато у читателя эта картина не могла не вызвать снисходительного восхищения. Все данные о ее карьере были получены из рук «беспристрастного» свидетеля Милтона Грина, в свое время отстраненного судом от участия в ее финансовых делах, в то время как верные сподвижники — врач-психоаналитик Ральф Гринсон, до последнего боровшийся за ее жизнь, и пожилая няня-сиделка — выступали в окарикатуренном виде как весьма легкомысленно относившиеся к ней люди. В телевизионном интервью на вопрос Майка Уалласа, на каком основании он поставил под сомнение профессиональную честь сиделки, увязав ее поведение с летальным исходом того трагического дня, хотя действия этой женщины в последние часы жизни ее подопечной нетрудно проверить, писатель ответил, что не смог разыскать эту даму. На что Уаллас удивленно заметил, что это легко сделать по телефонному справочнику Лос-Анджелеса, и тогда тому ничего не оставалось, как оправдывать свои литературные домыслы древним правом художника на вымысел, ради чего он даже в какой-то момент согласился, что его «Мэрилин» отнюдь не реальная фигура в ее естественном окружении. Это было минутной слабостью, ибо ничего иного он не желал, особенно если представить, что книга будет стоять на полке книжного магазина и за нее будут платить наличными. И впрямь, стоило Уалласу спросить, что побудило его написать книгу, писатель простодушно признался, что ему нужны были деньги.

Мэрилин оказалась права, доверяя своей интуиции, а я слишком часто бывал неразумен и опрометчиво доверчив. Трудно свыкнуться с мыслью, что океан большой славы кишит акулами — помимо своего желания, я не раз наблюдал, как они набрасываются на очередную жертву, и это продолжается до тех пор, пока игра в известность не превращается в узаконенную паранойю, которая разъедает душу и убивает человека. Однако изо дня в день прозябать в густом тумане подозрительности

невыносимо — в конце концов это оказалось не под силу даже ей.

Поставленная вскоре после смерти Мэрилин пьеса «После грехопадения» провалилась. За исключением нескольких упрямцев, писавших то, что они думают, критика носила скандальный характер. Забыв о пьесе, не касаясь темы, драматургического замысла, стиля, пресса рассматривала произведение как выпад против ушедшей из жизни женщины. Однако при этом никто не замечал, что, ополчившись на меня, критики перефразировали собственные слова Квентина о своих неудачах, о чем он говорил в пьесе. Казалось, они взяли сторону Мегги, попав на очередной домашний скандал. Наблюдая этот разгул, свидетельствовавший об абсолютном непонимании произведения и его внутреннего смысла, надо было признать, что он являет собой не что иное, как еще одно выражение неприятия того, что невинность смертна. Подобное отрицание и породило трагический финал пьесы. Меня вскоре все просто возненавидели. Но пьеса развивалась согласно собственной логике. И если ее правда причиняла боль, то зритель должен был не просто пережить это, но восстать в яростном неприятии. По зрелом размышлении я со временем понял, что та враждебность, с которой отнеслись ко мне после выхода пьесы, была вызвана тем, что я оказался гонцом, принесшим плохую весть.

Однако отношение к пьесе не было единодушно негативным, как мне казалось тогда. Оглядываясь назад, я вижу, что все мои пьесы, кроме «Смерти коммивояжера», поначалу принимались плохо, сталкиваясь с безразличием или пренебрежением. У меня не было своих критиков, за исключением сначала Бруса Аткинсона, а позже Гарольда Клермана. Представленные на суд публики пьесы в основном отстаивали актеры и режиссеры, вызывая отклик зрителей. На поддержку критики можно было рассчитывать только где-нибудь за границей или в провинции. Поэтому я нередко успокаивал себя, вспоминая чеховскую фразу: «Если бы я прислушивался к критикам, я бы давно захлебнулся в нечистотах».

Мой давний друг взглянул на годовалую Ребекку в коляске. Мы были с ним одногодки, обоим под пятьдесят, оба завели семьи после колледжа, когда нам только перевалило за двадцать, и у нас почти одновременно родились дети. А теперь вот он я, снова с коляской! Улыбнувшись Ребекке, он обернулся ко мне и сказал: «Разве мы это не проходили?»

Став отцом во второй раз, я обнаружил, что, как и молодость, это рассчитано на молодых. Малыш под ногами, когда ты в

зрелом возрасте, был в воинствующие шестидесятые постоянным протестом против гнетущего пессимизма, ибо есть нечто абсурдное, когда стареющий мужчина вновь становится отцом, нечто неестественное, но дающее возможность увидеть настойчивые и трогательные требования маленького существа, чтобы жизнь ответила жизнью на его ясный, незамутненный взгляд. Я почувствовал, во мне появилась потребность защитить вокруг себя то, в чем теплилась какая-то надежда и крепло неприятие всякого поверхностного негативизма. Я не знал, откуда возникло это желание, но остро ощущал, насколько хрупка жизнь. Возможно, все оттого, что я становился стар.

В то же время я понимал, что времена изменились, ибо ни Боб, ни Джейн не выказывали интереса к учебе в колледже. Им казалось, это не важно. Я вспомнил, как сам последние два года учебы тяготился, что я студент, мечтая поскорее выбраться в захватывающе большой мир. И не бросил учиться только потому, что с работой было туго и выбора не было. При этом, однако, существовала угроза, что полный отказ от академических штудий поставит их вне связи с культурой прошлого, но я не знал, надо ли возражать против этого, ибо не представлял, насколько могу понять их. Тогда, еще до вьетнамской войны, которая взяла свое с веры их поколения в Америку, они, казалось, уже были лишены доверия к успешной поступательности в ее развитии, что я не раз оплакивал как факт, оказавший деформирующее влияние на мое поколение. А теперь волновался, что они повернулись ко всему спиной. Трудно было говорить об этом открыто, и я полностью положился на выбор своих детей. Будь что будет.

Как-то днем ко мне в «Челси» нагрянул Марчелло Мастроянни поговорить о Квентине, роли, которую ему предложил в фильме «После грехопадения» Франко Дзеффирелли. Никогда не видел более непринужденного человека, казалось, он действительно относится к себе с той же легкой иронией, что и ко всем, как будто жизнь не что иное, как сплошное недоразумение. Первой ролью, которую он сыграл давным-давно, был Биф в «Смерти коммивояжера». Я решил, что из него выйдет чудесный Квентин, ибо, пытаясь разгадать самого себя, он в то же время постоянно наблюдал за собой со стороны. Мне захотелось узнать его впечатление о пьесе, которая ему могла показаться странной, с учетом того, что я слышал о его взаимоотношениях с женщинами.

— Как вы относитесь к Квентину? Сочувствуете ему?

— Конечно. Рано или поздно это случается с каждым из нас.

— Значит, его метания вам понятны?

— О да.

Мне показалось, Мастроянни что-то не договаривает, и я попытался продолжить разговор.

— Не многовато ли проблем с одной женщиной?

— Да?

— А как бы вы поступили?

— Я? — Он неопределенно махнул рукою вдаль. — Пошел бы прогуляться.

И впрямь, американское представление о том, что актер непременно должен вкладывать всего себя в своего персонажа, было довольно странным. Он уезжал домой, где предстоял разговор с Феллини, пригласившим его сниматься, и он согласился, даже не зная фильма (что помешало его съемкам в роли Квентина у Дзеффирелли). Им оказался «Восемь с половиной». Ничего этого он тогда не знал, ожидая получить сценарий в первый день съемок. «Актер перво-наперво животное, если этого нет, то ничего нет. Я рад, что я такой». Разговор с ним принес облегчение, будто он снял груз с самого представления о природе актерства как такового.

Нельзя сказать, что мне легко было мириться с нападками в адрес «После грехопадения», однако я находил некоторое утешение в том, что они были связаны с общей кампанией грубых выступлений против идеи создания репертуарного театра Линкольн-центра, начатой до того, как был выбран репертуар. Должен признаться, мне до сих пор не до конца понятно все это. На мой взгляд, следовало только радоваться тому, что такие известные, талантливые люди, как Уайтхед, Казан, Бобби Льюис, Гарольд Клерман, решили послужить совершенно новому начинанию, положив на его алтарь свои мечты и надежды. В конце концов, большинство представителей их поколения покинуло театр, предпочтя телевидение или кинематограф. Они же принадлежали к числу немногих, кто мог поддержать традицию американского театра. Удивляла враждебность, с которой идея была встречена в прессе, особенно отдельными просвещенными критиками в литературных журналах, как будто исподтишка задумывалось что-то нехорошее. Профессиональные драматурги не вмешивались, достаточно снисходительно, если не цинично, относясь к попытке создать театр на некоммерческой основе. Их негативное отношение привело к тому, что Клерману почти не приносили рукописей. Мне не раз приходилось ездить по колледжам, призывая начинающих писателей присылать свои пьесы. Однако кампания, которую вела противоположная сторона, оказалась не только чудовищной, но и весьма успешной.

Пригласив на роль Квентина Джейсона Робардса, а на роль

Мегги Барбару Лоуден, Казан поставил сдержанный, но глубоко эмоциональный спектакль, который стал одной из лучших его работ. Текст не способствовал облегчению режиссерской задачи: поток сознания как форма выражения персонажей, резкие перескоки, манипуляция с пространством и временем нередко приводили к тому, что пьесу ставили как монтаж. Казан никогда не пытался упростить задачу, всегда самоотверженно работая над воплощением внутреннего замысла произведения. Несмотря на бушевавшую вокруг спектакля и театра разноголосицу мнений, зрители, заполнявшие временное помещение на Уэст-Форт-стрит, казалось, глубоко сопереживали тому, что происходило на сцене. Больше всего меня огорчило то, что я не смог уговорить Лоуден не делать из себя блондинки, надевая парик, что вызывало непосредственную ассоциацию с Мэрилин. Позже я не раз задавался вопросом, не была ли моя слепота формой выражения собственного неприятия очевидного. Но, как всегда, меня увлекла композиция и мало интересовало, насколько ее персонажи напоминают реальных прототипов.

Несмотря на просчеты, Линкольн-центр задумывался как общедоступный театр. Актеры и драматурги должны были здесь совершенствовать и углублять свое мастерство, воюя со вкусами и запросами не только близкой по духу окололитературной публики, но и с непосвященными. Однако «революционная» критика вкупе с авангардистским истеблишментом расценили это как сговор банкиров с маститыми театральными «профи», между которыми, однако, в лице финансиста Джорджа Вудса и опытных профессионалов Уайтхеда — Казана — Клермана не затихал внутритеатральный конфликт, полностью оставшийся вне поля зрения прессы. Ни критика, ни театроведы не проявили к нему должного интереса, предпочтя широким жестом навешивать собственные ярлыки. Надо признаться, Уайтхед тоже не выносил сор из избы, в надежде получить новый театр, пытаясь договориться со всеми по-джентльменски.

Первый удар нанес председатель Совета Вудс, гневно обрушившись на Уайтхеда как на главу будущего театра в связи с тем, что он, вместо того чтобы безропотно год или два ожидать завершения строительства театра «Вивиан Бомонт», взял в аренду у ректора Нью-Йоркского университета участок земли с оплатой один доллар в год под временное здание, где можно было играть спектакли. Чуть ли не за ночь возведенное строителями, которые специализировались на складах для сталелитейной промышленности, это недорогое сооружение обладало великолепной акустикой, но его голые бетонные стены как нельзя лучше подчеркивали бедность, сопутствующую отчаянной и

безнадежной попытке создать в Нью-Йорке общедоступный театр. На премьере металлическая крыша протекла, за несколько часов до начала спектакля нам с Уайтхедом пришлось отправиться на Шестую авеню, чтобы купить пару отверток и укрепить скобами шесть рядов кресел.

Всеобщее неприятие окончательно погубило новое начинание. К тому же Совет Линкольн-центра не обладал достаточно твердой позицией, чтобы противостоять нападкам критики, одним из обвинений которой был негодный подбор состава труппы. В те годы имена Джейсона Робардса-младшего, еще не известной Фей Данауэй, Дэвида Уэйна, Джозефа Уайзмена, Саломы Джинс, молодого Хола Хобрука мало что кому говорили. Конечно, были упущения, и порою достаточно серьезные, в том числе при подборе пьес, но главный просчет состоял в том, что театральный эксперимент, требующий покоя и тишины, пока театр не обретет своего голоса и не встанет на ноги, оказался широко разрекламирован.

Несмотря на все, спектакль «После грехопадения» продолжал давать полные сборы. Оказавшись в безвыходном положении, Уайтхед с Клерманом вскоре вновь постучались ко мне с просьбой написать новую пьесу. Я согласился из чувства солидарности, которое всегда имело надо мною власть, в то же время предвкушая удовольствие от работы с лучшей, на мой взгляд, в творческом отношении труппой. И, засев за работу, быстро написал «Случай в Виши». При этом, вспомнив, как в свое время по просьбе Марти Ритта точно так же набросал «Вид с моста», понял, что написал бы много больше, если бы существовал профессиональный репертуарный или художественный театр. Что касается коммерческого, то борьба за подбор актеров и осуществление постановки, а также сведение на нет многолетних усилий какой-нибудь пустой рецензией вселяли ощущение бессмысленности от занятий драматургией. Уверен, что не я один испытывал подобные чувства.

В основу «Случая в Виши» легла история, рассказанная мне моим другом, бывшим врачом-психоаналитиком, доктором Рудольфом Лоуэнштейном, который сам скрывался в Виши до того, как нацисты открыто оккупировали страну. Однако от его рассказа осталась в памяти лишь сюжетная канва: врача-еврея с фальшивыми документами спасает совершенно незнакомый ему человек. Не будучи евреем, он занимает его место в очереди по проверке документов у тех, кого подозревают в том, что они не французы, а евреи. Мужчин проверяли на обрезание.

Другим поводом для написания пьесы послужило общение с давним другом Инги, князем Йозефом фон Шварценбергом,

старшим из оставшихся в живых представителей древнего австрийского аристократического рода, который «отклонил» предложение нацистов о сотрудничестве с ними и дорого поплатился за это во время войны. Он послужил прообразом князя фон Берга, который спасает обреченного на гибель врача-психоаналитика, отдавая ему свой пропуск. Это не было романтической идеализацией, ибо в абсурдном на первый взгляд поведении Йозефа фон Шварценберга скрывалась своя логика. Он воплощал неприятие самого духа фашизма, который является не чем иным, как выражением вульгарности в ее наихудших проявлениях. Это был элегантный высокий холостяк, который жил в пожизненно предоставленном ему австрийским правительством крыле родового дворца Шварценбергов. Заглядевшись в окно, Йозеф мог созерцать массивный, в пять этажей, мраморный советский памятник русскому солдату, а в это время последний из оставшихся во дворце слуг, ворча и шаркая по паркету ногами, подавал ему в белых перчатках совершенно несъедобное спагетти.

Субсидируя струнные квартеты и занимая деньги на бензин для своего «пежо», он производил впечатление удивительно цельного и культурного человека, всем своим существованием утверждая, что есть люди, которых невозможно заставить отказаться от самих себя. Слушая на старом проигрывателе сонату Моцарта, он вдруг начинал учащенно дышать, и рука восторженно взлетала в воздух. Отправляясь к обедне с орденом Золотого руна на шее, врученным самим папой, он потом заходил к Ингиной матери, чтобы съесть у нее тарелку риса, который никто, по его словам, не умел готовить так, как она, а затем отправлялся на спиритический сеанс к Арнольду Кайсерлингу, идеями которого бесконечно увлекался, хотя как католик не верил в них. Отказавшись поддержать своим именем авторитет нацизма, он, не допуская иного, никогда не говорил об этом, полагая, что не сделал ничего из ряда вон выходящего. Тот факт, что во время войны ему пришлось во Франции заниматься ручным трудом, едва ли воспринимался им как наказание. Житейская мудрость уживалась в этом человеке с глубокой, граничащей с наивностью порядочностью, которой мог обладать только тот, чьи молодые годы были надежно защищены. Твердость его устоев была своеобразным мерилом испорченности мира.

Однажды, когда мы гостили у родителей Инги в Австрии, нам пришла в голову мысль съездить на родину моих предков в Радомышль, польскую деревушку под Краковом. Ингин отец охотно разложил военные карты, и, воспользовавшись

увеличительным стеклом, мы нашли один Радомышль на Украине. Вскоре нас пригласил на завтрак аккредитованный в Австрии польский посол, который, будучи завзятым театралом, крайне превозносил варшавскую постановку «После грехопадения». По счастливой случайности он тоже пригласил нас посетить Радомышль, который оказался не под Краковом, а в Западной Польше. На этом этапе к нашим розыскам присоединился Йозеф, который вспомнил, что у Шварценбергов в Богемии был когда-то свой Радомышль — он помнил этот городок по дням юности и настаивал, что я происхожу именно оттуда. «Уверен, он не мог быть в Богемии», — сказал я. «Вы ничего не можете утверждать, — рассмеялся он, — вам надо выбрать один из Радомышлей и вы должны выбрать мой! Вот и получится, что мы родственники!»

Мы так никогда и не выбрались в этот кажущийся теперь более чем условным городок, в никуда. Ибо если я его правильно определил, никого из моих родственников после прихода нацистов там не осталось. Все Радомышли и подобные им городки теперь были «judenfrei»[26].

В постановке Гарольда Клермана действие пьесы «Случай в Виши» происходило в каком-то полуфантастическом полицейском участке. О декорациях Бориса Аронсона можно было сказать, что они почти красивы. Тем временем кампания против репертуарного театра Линкольн-центра не затихала, и оставалось радоваться, что спектакль получил если не восторженную, то достойную оценку. Тогда же Питер Вуд поставил пьесу в лондонском Уэст-Энде, где Алекс Гиннес в роли князя во многом способствовал ее успеху. Меня удивило, что не прошло двадцати лет после окончания войны, грозившей Британии бедствиями, каких она не знала тысячелетия, а мне пришлось объяснять английским актерам, что такое нацистские СС и чем они занимались. Жизнь меняется слишком быстро, и поэтому прошлое для нас почти не существует.

Судьба пьесы оказалась необычна. В конце шестидесятых, в период нарастания в Советском Союзе антиеврейских настроений, она первым из моих произведений была запрещена к постановке в этой стране. Во Франции ее пытались поставить три разных режиссера, но отказались, опасаясь, как бы им не приписали, будто Франция разделяла антисемитизм нацистов. В начале восьмидесятых ее все-таки поставил в Париже Пьер Карден, однако отзывы в прессе отличались язвительной агрессивностью. Лучшей из постановок, на мой взгляд, оказался телевизионный спектакль Стейси Кича, продюсером которого выступил Норман Ллойд.

Только в 1987 году, с началом проводимой Горбачевым эпохи либерализации, «Случай в Виши» наконец появился на советской сцене, в театре «Современник» у Галины Волчек, где в 1968 году, выдержав шесть успешных прогонов, был запрещен накануне премьеры. Мне позвонил журналист из «Московских новостей» и радостным голосом задал несколько вопросов, вроде: «Каково, на ваш взгляд, значение постановки, которая двадцать лет была запрещена?» и «Несколько слов об идее пьесы». Он завершил интервью словами: «Позвольте заверить вас, что текст ответов будет опубликован без купюр, большое спасибо». Действительно так и произошло.

Я нередко узнавал о ситуации в том или ином уголке земного шара по тому, как там принимались мои пьесы. Многочисленные поездки в течение последних тридцати лет позволили по-новому взглянуть на судьбу нашего театра. В 1965 году Лоренс Оливье с большим недоверием выслушал мой рассказ о той атмосфере, в которой рождался репертуарный театр Линкольн-центра. «Вы же только начинали. Мы семь лет проработали в Чичестере, прежде чем перебрались в Лондон. Нас постоянно критиковали, однако никому и в голову не пришло требовать закрытия театра. Уму непостижимо!» Он просто не очень хорошо себе представлял, что такое современная американская культура.

Оливье ставил в Лондоне «Салемских ведьм», и мы пару месяцев переписывались, обсуждая, как быть с теми персонажами, которые говорят на диалекте. Пригласив на роль Проктора Колина Блейкли, а на роль Элизабет Джойс Редман, он поставил отмеченный печатью благородства спектакль, одновременно трогательный и суровый. Глядя на актера, игравшего восьмидесятилетнего Джайлза Кори, я удивился, откуда у пожилого человека столько энергии, — оказалось, актеру было под тридцать. Неизгладимое впечатление оставила пауза перед началом второго действия, когда Проктор возвращается домой, моет руки и садится обедать. Элизабет молча накрывала на стол и продолжала уборку. Долгое молчание говорило об уязвленных самолюбиях, но и о взаимном уважении тоже. Вдобавок в этом сквозила атмосфера страха, в которую был погружен Салем. Точность найденного рисунка потрясала своей выразительностью!

В самолете я прочитал в «Таймс», что Винченцо Риччи, члена законодательного органа штата Нью-Йорк, обвинили, будто у него в раздаточной ведомости числилась женщина, которая на деле не работала. Теперь ему грозило тюремное заключение.

Прошло больше десяти лет с тех пор, как мы с Риччи бродили по ночным улицам Бей-Риджа. Потом я где-то читал, что его

избрали в законодательный орган штата, и мне показалось странным, что единственного работника службы общественного спасения, республиканца, угораздило стать профессиональным политиком. Он всегда сердито и пристрастно отзывался о тех, кто избирал общественное поприще ради карьеры. Уж не оттого ли, что самого снедало честолюбие?

Я представил его в багровых отсветах заката в Бей-Ридже, присевшим на крыло машины — в прошлом волевой боксер, служивший во флоте, засаленные темные волосы и выступающая искусственная челюсть вместо выбитых зубов. Обучая мальчишек, как блокировать удары, он с поразительной деликатностью, которой я тогда так завидовал, пытался вывести этих ребят из трущоб на дорогу нормальной жизни. Читая газету, я вспомнил, как он уличал работников социальной службы в лицемерии. Бедняга! Как быстро все улетучивается, когда встречаешь страждущие глаза, а нос улавливает знакомые ароматы городских джунглей.

Вскоре промелькнуло краткое сообщение, что он осужден и приговорен к тюрьме. Через несколько месяцев, прочитав, что он скончался при невыясненных обстоятельствах, я удивился, уж не от слишком ли большого выбора возможностей это произошло. Кто бы мог подумать тогда, в пятидесятые, когда на улицах Бей-Риджа он отдавал все силы на то, чтобы предотвратить очередную бессмысленную стычку между бандами, что это были его лучшие времена.

* * *

Доживая до определенного возраста, ловишь себя на том, что не можешь смотреть на мир без иронии. Я выступал и писал против войны во Вьетнаме, однако не покидало ощущение, что все это повторение гражданской войны в Испании, только с новыми актерами — фильм о поражении, которое мне уже довелось видеть. В воинственности шестидесятых, в пробуждении негров, в пугающем отчуждении людей я видел семена грядущих разочарований. В который раз мы искали спасения где-то на стороне, а не в самих себе; закономерно и абсолютно справедливо бунтуя, почти не задумывались о личной нравственности и эгоизме каждого из нас. В пятьдесят с лишним лет я попытался отгородиться от отзвуков былых крестовых походов, но мне это не удалось.

«Цена» была своего рода заклинанием против возвращения этого парализующего виде*н*ия. Два брата — полицейский и преуспевающий хирург — встречаются после смерти отца по вопросу раздела наследства. Они когда-то рассорились и с тех пор не виделись много лет. Теперь им кажется, что, повзрослев, они стали равнодушны к былым обидам. Однако прошлое наваливается на них, воспоминания о давней размолвке пробуждают застарелое чувство вражды, и они расстаются непримиренными. Им трудно понять, что мир нуждается в них обоих — в исполнительном чиновнике и в творческом, но эгоистичном создателе новых лекарств.

Как бы ни хотелось, невозможно было пренебречь тем, что подсказывали пьеса и жизнь: мы не вольны расстаться с иллюзиями, ибо смотреть правде в лицо — слишком дорогое удовольствие. Наследство братьев скупает торговец подержанной мебелью восьмидесятидевятилетний Грегори Соломон и, порывшись в старых вещах, находит пластинку с записью смеха. Слушая ее, старик начинает безудержно, ностальгически, с клекотом хохотать — понимая, сколь бессмысленно отрицать уродливые гримасы времени, он, в отличие от остальных, принимает его таким, каково оно есть.

Я особенно люблю в «Цене» те сцены, которые напоминают о Дэвиде Бернсе, восторженной личности, человеке не от мира сего, с особым, только ему присущим чувством комического, у которого всегда перед глазами стояли иные горизонты. Работа над спектаклем шла мучительно, и как-то днем репетиции оказались на грани срыва, ибо трое из четверых занятых в

спектакле актеров — Артур Кеннеди, Кейт Рейд и Пэт Хингл — ударились в яростный спор с постановщиком Улу Гроссбардом. Тут на просцениуме откуда ни возьмись появился Дэви, в шляпе, в пиджаке, при галстуке, брюки перекинуты через руку. Он с удивлением посмотрел на свои наручные часы. «Господи, я совершенно забыл, — произнес он, конкретно ни к кому не обращаясь, — у меня же в Филадельфии ребенок в отделении для недоношенных!» И бросился со сцены, как Белый Кролик. Спор сам собой затих, настолько великолепно Дэви продемонстрировал нелепость человеческой глупости.

Мне все-таки пришлось взвалить на себя руководство филадельфийской постановкой, так как разногласия не затихали. Оставалось два дня до нью-йоркской премьеры, мы заканчивали репетицию с Пэтом Хинглом и Кейт Рейд, когда ко мне в первый ряд подошел Артур Кеннеди. Было около четверти восьмого, в фойе шумели зрители, приглашенные на прогон. Он наклонился и прошептал: «Дэви увезли в больницу с заворотом кишок, сегодня ночью будут оперировать».

Поинтересовавшись у ассистента режиссера, как с подменой, я услышал, что актер знает роль и уже пошел одеваться. Кивнув Кеннеди, я посмотрел на сцену, где все еще репетировали Хингл и Рейд, и благополучно провалился в глубокий сон. Очнулся освеженный, зрители входили в зал, занавес был опущен, Хингл и Рейд ушли гримироваться. Актер Гарольд Гэри сыграл превосходно — это был его первый выход за двадцать лет, в течение которых он был подменой Дэви.

Даже перед лицом смерти Дэви не переставал ломать комедию. Примчавшись в госпиталь, мы с Уайтхедом обнаружили его на каталке перед операционной. Он был смертельно бледен и, увидев нас, прошептал: «Простите, ребята». Мы заверили, что роль будет дожидаться его, сколько бы он ни проболел.

Подошел дежурный врач и сказал: «Вас сейчас повезут наверх».

Дэви сдвинул брови, будто обдумывал полученное предложение, выдержал паузу и кивнул: «Ну что же, не возражаю».

Он поправился и вскоре на пару с Кэрол Чэннинг выступал в шоу «70, девушки, 70». Умер Дэви от инсульта под взрыв смеха на сцене во время одного из своих коронных трюков, сопровождаемого громом аплодисментов. Его ухода почти никто не заметил, но с друзьями я нередко размышлял, что, живи он в другое время и в другом месте, нашлось бы немало писателей и интеллектуалов, которые бы смогли по достоинству оценить эту возвышенную душу.

В течение сезона «Цена» с участием нескольких превосходных актеров, особенно в роли Соломона, обошла Европу. Из более поздних исполнителей этой роли выделялся Раф Валлоне, благодаря которому это произведение совершило долгое путешествие по Италии, от Сардинии до Милана. Пьеса — хлеб, который пускают по водам: русский писатель-диссидент Лев Копелев рассказывал мне, что Солженицын ежедневно ходил на репетиции, когда пьесу ставили в Москве, и помогал актерам. Его поразили в пьесе отдельные моменты, к сожалению, я так и не узнал какие.

Позвонила какая-то женщина: «Вас избрали делегатом на съезд…» Я решил, она разыгрывает меня.

А через несколько дней уже выступал в небольшом деревянном здании городского муниципалитета в Роксбери. Передо мной с безучастным видом сидели около пятидесяти местных демократов, из которых я знал нескольких человек. Попытавшись объяснить, что у меня нет опыта парламентских дебатов, я предложил избрать своего соседа, владельца молочной фермы Берчела, деятельного члена партии, которого хорошо знал. К этому времени я уже не тешил себя надеждой, что мое участие сможет реально способствовать прекращению войны во Вьетнаме. Вопрос поставили на голосование, и я получил перевес в один голос. Лестно было узнать, что пользуюсь в городе таким уважением, хотя редко покидал свой дом, чтобы участвовать в городских делах.

События в Чикаго в 1968 году похоронили демократическую партию вкупе с тем, что почти сорок лет эвфемистически называлось ее философией. Впечатления от той недели никогда не сотрутся из моей памяти. Стоя у гостиницы «Хилтон» около двух часов ночи, мы болтали с Дугласом Кикером из Эн-би-си. Так, разговор ни о чем, как двое американцев, встретившихся за границей. Поперек Мичиган-авеню лицом к Грандпарку длинной шеренгой вытянулись солдаты в касках с винтовками наперевес. В темноте напротив едва можно было разобрать очертания молодежного лагеря, где приютились те, кого сегодня целый день избивали и арестовывали.

По улице медленно ехал джип. Спереди на бампере была прикручена деревянная рама с колючей проволокой для разгона толпы. Видя, что джип приближается, мы с Кикером замолчали, понимая, что в любой момент он может развернуться и, наехав, вонзить в нас шипы. Кикер сказал: «Я был в 1953-м во время восстания в Берлине, я был в Будапеште, когда туда входили русские, но нигде наблюдать не сподобился подобной

жестокости».

Я никогда не видел таких серых лиц, как у чикагской полиции. Казалось, кровь прилила к их чугунным кулакам. Незадолго до этого около ста делегатов промаршировали с зажженными свечами и делегатскими значками перед стоявшей наготове полицией. Однако их неподвижные, бледные лица, без тени снисхождения следившие за тем, как мы идем мимо, свидетельствовали, что пощады не будет.

Делегатов от Коннектикута посадили рядом с депутацией от штата Иллинойс. Перед сценой посреди своей делегации в сто человек восседал мэр Чикаго Ричард Дейли. Делегация от Иллинойса напоминала футбольную команду, под рубашками играли мускулы, лица побелели от злобы, а тяжелые ноги с трудом вмещались в остроносые выходные штиблеты.

Держать речь на сцену поднялся бывший губернатор штата Коннектикут сенатор Абрахам Рибикофф. Мне передали записку, где было торопливо нацарапано: «Они стреляют в нас прямо на улицах, они убивают нас прямо здесь!» Я ходил с ней от руководителя одной делегации к руководителю другой, пытаясь добиться слова у микрофона, когда Рибикофф, авторитетная фигура в партии, глядя со сцены в упор на Дейли, назвал то, что происходило на улице за стенами зала, «гестаповской тактикой». Я взглянул на Дейли — он сидел в пальто не далее чем в двадцати футах от меня, прикрытый с флангов своей многочисленной командой. Его люди не спускали глаз с сидевшей вокруг публики, напоминая доберманов, которые ждут, когда им дадут команду. Трудно было вынести их свирепые взгляды. И вдруг Дейли, глядя на Рибикоффа снизу вверх, широким жестом провел указательным пальцем по горлу, завизжав в его сторону, и я отчетливо услышал: «Еврей! Еврей!» Его в буквальном смысле корчило от злобы, однако Рибикофф продолжал говорить, не обращая внимания. Я оглох, как будто на мою голову обрушилась вагонетка с углем, ибо стал свидетелем того, чего больше всего боялся.

Ходили слухи, что президент Соединенных Штатов почтит съезд присутствием, возможно приземлившись на своем вертолете на крышу здания. Однако он не осмелился появиться перед своими же делегатами.

Во время паузы, наступившей в многолюдном собрании, мое внимание привлек странный мелодичный звук откуда-то с балкона, высоко над нашими головами, где сидели приглашенные. Там стоял Ален Гинзберг — его трудно было не узнать по густой, вьющейся проволокой бороде, лысине и очкам. Вытянув перед собой руки, он замер, благословляя собрание, и

низким протяжным голосом распевал «ом-м-м-м-м», призывая глас Господа и мира. Едва ли это могло помочь, когда вокруг сотрясались кирпичные стены здания.

Трудно было уповать, что сторонникам мира на съезде удастся убедить членов партии отказаться от поддержки вьетнамской войны. Стало ясно, что кандидатом на пост президента будет выдвинут Хэмфри, который даже не обещал прекратить кровопролитие, и я подумал, что пришло время объединиться фракциям сторонников Роберта Кеннеди и Юджина Маккарти, чтобы в будущем оппозиция смогла бросить Хэмфри вызов и как-то выровнять внешнюю политику. Я набросал обращение к тем, кто поддерживал Джина Маккарти, чтобы они голосовали по своему усмотрению. Это означало — те, кто захочет, могут перейти в лагерь покойного Роберта Кеннеди, который в свое время возглавил волну антивоенного движения, объявив о выдвижении своей кандидатуры только после того, как Маккарти поддержал эту войну. Теперь многие надеялись, что Тэдди захочет занять место брата. На что Маккарти с возмущением заявил, что скорее позволит своим сторонникам голосовать за Джорджа Макговерна, чем за Тэдди Кеннеди.

Я почувствовал, что глубоко уязвлен, ибо ни слова не было сказано о длительной борьбе за прекращение войны и о тех, кто организовал ее внутри Демократической партии, а теперь позволил сойти на нет вот так, неоплаканной и неотпетой. Какой подходящий момент, чтобы во весь рост подняться настоящему лидеру и призвать людей к разуму! Но никто этого не сделал, так дальше и покатилось.

В шестидесятые годы, казалось, пришло в движение все, что устоялось. Как-то на несколько часов к нам в гости заехали Роберт Лоуэлл с женой Элизабет Хардуик и одиннадцатилетней дочерью и наши соседи Генри и Ольга Карлайл, их давние друзья. Стоял пасмурный ноябрьский день, листья облетели. Сидя в машине, Лоуэлл сделал вид, что не видит, как я выхожу из дома, и продолжал дурачиться с вылезавшей из машины девочкой: Мы поздоровались, пожав друг другу руки. Его прилизанные редеющие волосы были зачесаны поперек головы, он быстро заговорил, что моя речь на международном конгрессе ПЕН-клуба в Бледе в Югославии тронула его. Я, в свою очередь, отдал должное тому, что он в знак протеста против войны во Вьетнаме отказался принять приглашение президента Джонсона на фестиваль искусств в Белом доме.

Он стал расспрашивать, какие деревья я выращиваю, и я сел за трактор, чтобы показать, как с помощью специального

устройства, которое самолично усовершенствовал и приделал к культиватору, подрезаю корешки. Он наклонился в сторону стоявшей чуть поодаль дочери и ласково спросил: «Ты можешь себе представить, чтобы я обрезал корешки, а?» Девочка едва качнула головой, сохраняя напряженное выражение лица.

Мы отправились к пруду, шагая бок о бок, стоило мне повернуться или остановиться, как он тут же поворачивался или останавливался. И болтал без умолку.

— Я люблю Казана, у него огромный талант, но я не хотел бы, чтобы он ставил мою греческую трилогию. «Похищенное дитя» — шедевр, но он на долгие годы закрыл ему дорогу.

— Я не уверен, что это шедевр.

— В этом нет сомнения. Так сказал Элиот.

Я был не прочь поспорить с театральными пристрастиями Элиота, но Лоуэлл уже говорил о другом и не стал бы меня выслушивать, просто бы не смог. Все китайское восхищало, было практически безупречно. Принять приглашение на фестиваль искусств в Белом доме означало пасть на колени и молить Америку о милосердии к Вьетнаму. Рузвельт был мошенником и лжецом; Кеннеди много читал.

— Рузвельт, насколько мне известно, — сказал я, — сожалел, что не помог Испании.

— Неужели? — Впервые в его речи возникла пауза, и, казалось, он с нетерпением ждет, что я скажу дальше. — Откуда ты знаешь?

— Об этом пишет в своем дневнике Гарольд Айкс. Он сказал Айксу, одна из его самых больших ошибок заключалась в том, что он не поддержал левых против Франко.

Лоуэлл просветлел. Он любил сплетни, неизвестные факты, и, наверное, ему импонировала мысль о том, что Рузвельт испытывал приступы раскаяния. Затем вновь переключился на свою тему, преспокойно заговорив о «совершенно маниакальной полосе своей жизни» — по-видимому, истории с Белым домом. Я подумал, какой он отважный человек, если может так настойчиво говорить об одном и том же, несмотря на отвлекающие моменты. Будто только безостановочная болтовня делала реальность реальностью и давала над нею власть.

Было горько подумать, что могло бы случиться, если бы его смелые пацифистские взгляды восторжествовали и мы не вступили бы в войну против Гитлера, во время которой он просидел в тюрьме как ее убежденный противник. Сидя на траве и глядя на воду, я попытался следить за стремительным бегом его отрывочных призрачно-ясных мыслей, и мне показалось, что он удивительно созвучен нашему времени с его огромными

масштабами, безудержными упованиями и убийственной рациональностью. Я вдруг отчетливо понял, что мы очень похожи — одного возраста и почти одного роста, оба носили очки в черепаховой оправе и одинаково облысели, — но во мне не было того демонического искушения, которое позволяло быть беспечным по отношению к выживанию. Его взгляды, как бы они ни были воплощены в его творчестве, были настолько максималистскими, что совершенно не годились для жизни, в то время как я не мог долго заниматься тем, в чем не видел хоть каплю реальной пользы. Он увлекался высокими мечтаниями, а я чувствовал призвание убеждать людей, не имевших за душой ничего, кроме здравого смысл. И вопреки всему считал — писать надо, чтобы спасти Америку, а это значит увлечь людей и хорошенько встряхнуть их.

Необъявленная война стала казаться, как у Оруэлла в «1984», бесконечным телевизионным шоу, хотя втайне задыхалась, кашляла, цепенела. И это в корне изменило драматическое действо; раньше сокрытое всплывало в конце третьего акта, теперь мы все оказались в третьем акте. Я всерьез начал сомневаться, возможны ли пьесы, где внутренняя тема обретает поступательное развитие. Если нет, то мы, по-видимому, двигались к новому типу культуры. Нас губило то, что мы слишком осознанно, слишком осмысленно лгали в ходе этой войны, понимая, что тем самым подменяем реальность, а не противостоим национальному самообману. Чт***о*** оставалось вскрыть, как не отсутствие отваги, чтобы остановить эту ложь?

Я все чаще вспоминал своего бывшего приятеля Сида Фрэнкса, полицейского: «Не могу читать книжки. Меня все время мучит вопрос, откуда автор знает, что будут делать персонажи. Кто что хочет, тот то и делает, в том смысле, что каждый делает что хочет. Или, например, в пьесах — почему, как только доходит до самого интересного, сразу занавес?» Он опередил свое время: «серьезные» пьесы попросту перестали существовать, вовсю главенствовал стиль иронического удивления — воистину каждый делал что хотел, и любой намек на невероятное был не больше чем изображением невероятного, и ничем иным. Это была убогая эстетика полицейского, которую можно встретить в любом полицейском участке мира.

Я забавлялся, перекладывая Эдипа на комический лад: мой современник обнаруживает, что женат на собственной матери, но вместо того, чтобы ослепить себя, садится и начинает стенать: «Боже, за что такая немилость. Надо пойти посоветоваться с врачом, не повлияет ли это на наше потомство». Если

порушенный порядок вещей лишить возвышенного, воистину не останется ничего, кроме анекдотических пьес, ибо отпадет необходимость возвыситься над обыденным, чтобы уловить мгновение Бога.

Посмотрев «Волосы», я, надо признаться, был немало удивлен, что это протест против вьетнамской войны. Ни отзывы о пьесе, ни реклама не подготовили меня к этому. Конечно, остриженные волосы гуру олицетворяли антижизнь как насилие, вызванное войной, но эта мысль была настолько глубоко спрятана в хаотической постановке, где люди мастурбировали, совокуплялись, пели, танцевали с таким неприкрыто-тошнотворным непрофессионализмом, что образ войны в итоге потерял значительность, стал смешным и никого не убивал наповал. Однако в искусстве каждый стиль платит свою мзду за то, чтобы быть чем он есть. И зритель радостно реагировал на святотатство — насмешку над флагом и другими неотъемлемыми атрибутами войны. Все это делалось скорее весело, чем с ненавистью. Я задумался, почему «Волосы» оказывали воздействие только на уровне живота, не поднимаясь до интеллекта. С другой стороны, со времен провала «Лисистраты» разве театру когда-нибудь удавалось если не прекратить, то хотя бы приостановить войну?

Как-то вечером позвонил кто-то из местных школьников, попросив пожертвовать им дерево, чтобы они посадили его на лужайке около своей школы как древо мира. Голос на другом конце провода был приглушенный, почти заговорщический. Я согласился, предложив, чтобы они приехали и помогли мне его выкопать. Я знал, что многие, даже промолчав, будут сочувствовать этой идее, хотя отлично понимал, что вновь становлюсь уязвим для нападок. На следующий день раздался звонок и тот же голос сообщил, что прошедшей ночью на лужайке у другой школы кто-то выкопал их древо мира и ребята боятся, что, если они посадят мое, это подогреет местных патриотов, которые числом, как писала пресса, превосходят запуганное большинство. Я огорчился, хотя одновременно вздохнул с облегчением.

Трудно было понять, как настроено большинство. Один из моих друзей, ответственный за трудовые соглашения на большом металлургическом заводе под Торрингтоном, как-то утром пришел на работу с черной повязкой в знак участия в общенациональной кампании за временное прекращение бомбардировок Вьетнама, так называемый мораторий. Рабочие в цехе деликатно поинтересовались, кто умер. Он объяснил. На

следующий день на каждом станке в цехе вызывающе красовалось по американскому флагу. И все-таки не покидала надежда, что рабочие разберутся, ибо воевали их сыновья.

Чуть дальше от нас по дороге жил мальчик, который с детства любил приходить к нам и, устроившись, тихонько наблюдать, как мы разговариваем с гостями, плаваем или играем в мяч; позже я помог ему поступить в актерскую школу при местном драмтеатре. Однажды он облил себя на заднем дворе бензином, поджег и погиб. В этом, конечно, был не только протест против войны: как-то он признался, что его отец жил теми же ценностями, что и Вилли Ломен. Но Бифф любит отца, поэтому борется против его летальных настроений. Преподаватели по мастерству говорили мне, что мальчик был очень талантлив.

Еще один мальчишка, которого я знал с пеленок, был девятнадцатилетний сын местного торговца. Однажды поздно вечером он возник у моих дверей и предложил «написать стихи по случаю на любую тему». Он был призывного возраста и не учился, поэтому не имел оснований для отсрочки от призыва на войну, которую ненавидел. Через год он умер от слишком большой дозы наркотиков, успев стать преуспевающим торговцем. Он придумал продавать коллекционерам местные породы камней — кузов его машины всегда был набит бесценными образцами, которые он отыскивал в лесах розовощекой страны своего детства.

Мне казалось, все знают о подобных фактах. Что могли добавить к этому пьеса или роман? Тайные переживания страны полностью игнорировались, как будто никто не был ни в чем виноват. Мы медленно окостеневали в изощренной рутине отрицания. Все делалось настолько сознательно, что даже традиционный аккомпанемент каждой войны — чествование ветеранов — был отменен. Предполагалось, что они сразу же по прибытии должны были стать обыкновенными обывателями. Мне в этом чудилось что-то странное и зловещее, вспоминались люди, которые, не поднимая головы, трудились на полях в окрестностях горы, когда мы ехали в лагерь смертников.

Еще один молодой человек, сын моего давнего приятеля, вернувшись из Вьетнама, сел на мотоцикл и помчался в какой-то городок за шестьсот миль, чтобы найти и прикончить парня из его подразделения, который вскрикнул, вызвав на них огонь вьетконговцев. Парня не оказалось дома, и сын моего приятеля благополучно вернулся. Он начал играть на бирже и вскоре преуспел, однако продолжал делать туманные намеки, что кое-кто из однополчан-ветеранов готовится «почистить» общество.

Пляска сюрреального продолжалась. Как-то днем я выступал на антивоенном митинге на лужайке в Нью-Хейвене, и мне посчастливилось познакомиться с Уильямом Слоаном Коффином-младшим, священником из Йельского университета, с которым мы стали друзьями. А через несколько дней я уже держал речь перед сотнями курсантов военной академии в Уэст-Пойнте. Меня пригласил полковник с английской кафедры, я поначалу отказался, полагая, что он перепутал меня с каким-нибудь другим Миллером — ведь я был ярый противник войны. «Поэтому мы вас и приглашаем», — сказал он. После этого ему трудно было отказать.

Уэст-Пойнт — как я мечтал поступить сюда мальчишкой! — был в полутора часах езды от Роксбери. Большая лекционная аудитория была набита до отказа. С десяток преподавателей стояли у задней стены, офицеры при регалиях безучастно смотрели на меня, а я говорил о Вьетнаме и о том, что наше поражение неизбежно. Казалось, они могут съесть меня живьем — целиком или по частям.

Это было как раз тогда, когда мы начали бомбить Камбоджу, откуда я две недели назад вернулся вместе с Ингой и Ребеккой. Инга ездила фотографировать легендарный Ангкор-Ват с его храмами, украшенными резьбой по камню и скульптурами. В фигурах богов и богинь была некая высшая *незыблемость,* будто они выросли из этой земли много веков назад. В небольших портальных нишах стояли лингамы, торчавшие вертикально вверх каменные фаллосы, до блеска отполированные женщинами, которые усаживались на них, чтобы избавиться от бесплодия, по крайней мере так я себе это представлял. Около дюжины изможденных молодых монахов в оранжевых одеяниях с бритыми головами кочевали, прося подаяние, от одной сумеречной ниши к другой. На мой неискушенный взгляд, они выглядели достаточно упитанными.

Но курсантам было не до эстетики. Я признался, что сомневаюсь, есть ли в нашем правительстве хотя бы шесть человек, которые умеют читать и понимать по-кхмерски, и в том, что господину Никсону удастся с помощью бомб заставить эту крестьянскую нацию полюбить нас. Я видел, как эти люди собираются в кружок перед своими домами на сваях и смотрят на стоящих неподалеку в воде буйволов или купают детей, забавляясь с ними. Их жизнь измерялась воспоминаниями о последнем разливе воды на рисовых полях или засухе. Надо полагать, наши государственные мужи так же мало знали о камбоджийском народе, как и я, иначе разве отдали бы они приказ бомбить их, чтобы вытрясти душу только потому, что те

позволили северным вьетнамцам снабжать оружием партизан на юге страны, используя проход вдоль их границы. Даже камбоджийский принц Сианук не мог положить этому предел.

Чтобы придать рассказу колорит, я вспомнил, как девятилетняя Ребекка пришла после завтрака и сказала, что бассейн в гостинице почти спущен и весь в грязной пене, а проживающих эвакуируют. Обслуживающий персонал начисто отрицал нечто подобное, утверждая, что они всего лишь чистят бассейн. Пришлось позвонить в американское посольство в Пномпене, где меня еще раз заверили, что ничего не происходит и мы можем и дальше путешествовать. Это было как раз в тот момент, когда, сбросив принца Сианука, мы помогали установить диктатуру Лон Нолы — Камбоджа вступила в войну, и все аэропорты были закрыты. Чтобы выбраться из Ангкора, нам вместе с английской четой Фокстенов, у которых была дочь того же возраста, что и Ребекка, пришлось купить автобус и по дороге, засыпанной щебенкой, четыре часа добираться до таиландской границы. Ангкор, несмотря на своих богов, в скором времени был разрушен. Суть моего рассказа сводилась к тому, что мы едва ли можем рассчитывать на сочувствие камбоджийцев, которых не знаем, не интересуемся ими и ничего хорошего не можем им предложить. Рано или поздно люди обязательно во всем разберутся и будет то же, что произошло с вьетнамцами.

Курсант в рубашке с воротничком семнадцатого размера, сын, как я узнал, босса чикагского профсоюза водителей грузовиков, первым поднял руку, когда предложили задавать вопросы, и выразил возмущение, что я выступаю с такими пораженческими заявлениями в военной академии. Я приготовился к самому худшему. В заднем ряду взлетела в воздух рука лысеющего полковника с усами красногвардейца. Во время выступления я обратил внимание на его безупречную выправку.

— Я двенадцать лет был военным атташе в Пномпене, — произнес он, и при первых звуках его командирского баса в стенах этой кузницы войны у меня по спине пробежали мурашки. Для пущего эффекта он выдержал паузу. Актер, правда, бездарный — если принять во внимание усы. Вот он, мой конец, подумал я. — Надо признать, что все, о чем говорил господин Миллер, истинная правда. — С этими словами он повернулся и вышел из аудитории.

После лекции меня пригласил к себе молодой полковник, пожелавший, чтобы я отужинал у них дома с его женой и пятью-шестью приятелями-офицерами. Мы проговорили до двух часов ночи, и я узнал оборотную сторону этой катастрофы — страдания молодых солдат. Каждый из них на свой манер повторял, что

армия не имеет отношения к начавшейся войне. Им с самого начала было ясно, что это акция не военного, а политического характера и одержать победу на поле сражения не удастся. Чтобы избежать оскорблений, ругательств и нападок, когда они отправлялись в Нью-Йорк, им теперь приходилось переодеваться в гражданское. Каждый из них прошел Вьетнам, у всех было по многу орденов и медалей. Приветливо глядя мне в глаза, они попросили, чтобы я сказал стране то, чего они сказать не могли. В них был какой-то аскетизм, даже непорочность, напоминавшая о молодых монахах. Все они вскоре, а кое-кто уже через несколько недель, должны были вернуться на театр военных действий — убивать, обрекая людей на бессмысленную смерть, которой нет оправдания.

Некоторое время спустя Рональд Рейган придумал, как искупить эти грехи, сварганив на потребу публики новый киносценарий. То, что в Уэст-Пойнте представлялось трагедией, было тщательно перелицовано специалистами по отрицанию реальностей, которые придумали миф об ускользнувшей из рук победе. Такое трудно пережить, не приукрасив прошлого. В распахнутые двери хлынул поток сентиментального самовосхваления, и мы вновь возвысились в собственных глазах, встав, как всегда, на зыбкую почву фантазий. Воплощенные в камне, жертвы оплакивались — избежать гибели было уделом живых. Казалось, Вьетнам был для американцев чем-то настолько омерзительным, настолько не укладывающимся в рамки обычных представлений, что они так и не смогли признаться себе в гибели пятидесяти восьми тысяч соотечественников и потому утешились напоминавшим шоу президентством, главное действующее лицо которого пичкало их блистательными заверениями о возрожденном величии нации.

Шестидесятые годы стали для меня своего рода тупиковыми, так как я потерял последнюю веру в социальные прогнозы, будь они связаны с революционизирующим влиянием на Америку молодежных и негритянских движений или требованиями ортодоксов организовать демократический крестовый поход на Вьетнам. Я не видел в жизни ободряющих аналогов тому, что было в тридцатые или сороковые, — казалось, моральное разложение, насмехаясь, торжествует над созиданием. В своей пьесе я попытался дать ответ на призыв Линдона Джонсона, который, имея в виду вьетнамцев, воодушевленно призывал солдат на какой-то военной базе в Тихом океане: «Пригвоздите этих сукиных детей к стенке, ребята!» До такой низости мы не доходили даже в отношении нацистов — эта фраза говорила сама за себя, тут нечего было добавить. И все-таки нельзя было

смириться с гибелью всех и всяческих ценностей. Американцы, чья жизнь текла вдалеке от неоновых огней, все так же мечтали о лучшем для своих детей, надеясь, что те смогут прожить отпущенное им сполна. И я не имел права забывать об этом. Однако их надежды не находили отражения в искусстве — в лучшем случае этим людям отводилась роль тоскливо-сентиментальных благополучных героев.

Все должно проявиться, тайное станет явным — такова была если не господствующая идея, то мода того времени. Однако я больше не верил, что «правдивость» была всего лишь формой социального раздевания и пренебрежения нормой. И среди обнаженных были лгуны.

Киносценарий «Лекарство правды» стал одной из нереализованных попыток осмыслить собственное представление о шестидесятых годах. Молодой ученый из Колумбийского университета, джазовый флейтист, фехтовальщик Ходжи, который каждые несколько недель влюбляется в новую девушку, открывает вещество, которое превращает одного из самых агрессивных животных, росомаху, в любящее существо, только что не плачущее от нежности. Этот препарат влияет не столько на ту часть мозга, которая связана с полом, сколько на центр сочувствия, ибо при этом росомаха не старается взгромоздиться на все, что оказывается в поле ее зрения, но лишь выражает расположение. Как-то вечером по пути к одной из своих приятельниц Ходжи становится жертвой преступной пары, но, распив бутылку снадобья, преступники начинают испытывать симпатию к нему, друг другу, детям, которых раньше не замечали. В конце концов лекарство попадает в руки фармацевтов Хока и Штутца, которые пускают его на рынок под названием «Любовь». Новый препарат завоевывает страну, ибо, по слухам, усиливает половое влечение. «Любовь» превращает злобных людей в дружественный народ, но неожиданно возникают сложности. Профессиональный футбол отмирает, ибо вместо того, чтобы нападать на того, кто с мячом, игроки бегут рядом с ним, пытаясь уговорить остановиться. Перестает функционировать метро. Вместо того чтобы набиваться в переполненные вагоны, люди любезно уступают друг другу место, создавая толпу на платформах. Самое опасное, снадобьем начинают злоупотреблять военные: подводные лодки всплывают на поверхность, ибо солдаты предпочитают загорать на солнце. Из дружеских чувств они раскрывают свои позиции русским, а военные самолеты летят в джунгли, чтобы избежать приказа о бомбардировке. Вместо того чтобы обрушить на зрителя шквал

объявлений, твердолобый руководитель агентства по рекламе фирмы Хока и Штутца, выступая по американскому телевидению, влюбляется в собственный «роллс-ройс» и отправляется в постель с двумя крышками блок-цилиндров. Потеряв агрессивность, общество движется к собственной гибели, и Вашингтон сбрасывает на головы русских килотонны «Любви» в надежде, что те, как и американцы, будут деморализованы. Вскоре оба общества, и американское и советское, перестают функционировать, люди томятся в неге, будучи способны лишь подобрать случайный помидор. Все, кроме истинных фанатиков веры, которые запретили своим последователям отведать этого, как они полагают, воспламеняющего чувства напитка. По всему миру ортодоксальные евреи объединяются с набожными католиками, протестантами, мусульманами в новый Интернационал, с тем чтобы извести «Любовь» как орудие дьявола в долгой борьбе за человека, дабы он не познал любовь вне божественного присутствия.

Однако сценарий остался незавершенным. Меня перестало снедать непреодолимое желание апеллировать к людям, не говоря о том, чтобы развлекать или просвещать их. Возможно, забросить сценарий помогло глубокое неприятие моей пьесы «После грехопадения».

Поздней осенью 1973 года по почте пришел оттиск статьи из журнала «Нью таймс», которую прислала автор, журналистка Джоун Бартел. В ней приводились материалы допроса в коннектикутском отделении федеральной полиции восемнадцатилетнего парня Питера Рейли, где он признавался в изуверском убийстве своей матери Барбары Гиббонс. Это было злодейское нападение, он перерезал ей горло и затолкал бутылку во влагалище.

По делу было проведено следствие, и парень был осужден. Однако местная община этого весьма отдаленного северного района Коннектикута начала сбор средств, причем вера в его невиновность была настолько велика, что многие отдавали свои сбережения и даже закладные на дома. Меня тоже попросили внести деньги, чтобы можно было организовать пересмотр дела.

Питер не был ни негром, ни испанцем, ни евреем, ни радикалом — чистого рода жертва. Я ничего не знал об обстоятельствах убийства, но, начав читать материалы допроса, ужаснулся, с каким убийственным хладнокровием и цинизмом надо перетолковать фрейдистскую психологию, чтобы она оказалась мошенничеством. К парню сутки не пускали адвоката и десять часов вели допрос, после чего Питер, никогда не знавший

отца, спросил, почему по-отечески разговаривающий с ним полицейский так уверен, что именно он убил свою мать, тогда как у него не было иных чувств, кроме глубокой скорби по поводу ее кончины. Тот без смущения объяснил, что все мужчины подвержены эдипову комплексу и Питер не мог не питать к матери неотступной ненависти, которая наконец выплеснулась наружу, ибо, когда он был маленьким, она без конца приводила ухажеров и спала с ними на нижней койке двухэтажной кровати, в то время как сын лежал наверху. При этом сержант Келли успокоил его, что все это бессознательно, однако такой хиппарь, как Питер, не мог не знать о бессознательном, и единственное, что ему оставалось, — «облегчить душу». Измученный сверх всякой меры, Питер в конце концов подписал признание, от которого отказался на следующий же день. Но было уже поздно.

Не менее странным, чем весь этот кошмар, было то, что судья принял это «признание», а местная и национальная пресса не высказала никакой критики по процедуре после того, как суд принял дело в таком виде к рассмотрению. И это несмотря на то, что ситуация в целом была лишь грубым промыванием мозгов. Кончилось тем, что следующие пять лет я многие дни, а то и недели вынужден был посвятить тому, чтобы распутать дело и освободить Питера. Только благодаря человеческим усилиям двух людей — частного детектива Джеймса Конуэя, большую часть работавшего просто так, за «спасибо», и адвоката Т. Ф. Гилроя Дейли, которого мне порекомендовали в юридической конторе, с конца сороковых представлявшей мои интересы, — удалось доказать, что Питер в момент убийства матери был в пяти милях от дома. Более того, в качестве свидетелей выступили местный полицейский со своей женой. Оказалось, полиция знала об их письменном показании, подтвержденном под присягой, ибо оно нашлось в бумагах прокурора, неожиданно скончавшегося от инфаркта. Новый прокурор, выступая в суде, пересмотрел дело, и Питер был полностью оправдан.

Короче говоря, прокурор, будучи уверен в невиновности Питера, дал делу ход и обвинил его, а федеральная полиция все покрыла. Больше того, даже когда был найден оправдательный документ, местная полиция, защищая честь мундира, выдвинула новую идиотскую версию, оказавшуюся настолько абсурдной, что ее просто не стали заслушивать в суде. Кончилось тем, что начальник местного отделения полиции Фюссенних, к тому времени вышедший на пенсию, приехал к Питеру домой и принес извинения за допущенную ошибку.

Не знаю, насколько универсально действие эдипова комплекса, но то, что бюрократия обладает животным рефлексом

организовывать обструкцию любой не устраивающей ее правде жизни, очевидно, не зависит от того, будь то Америка, Россия, Китай или любая другая страна. Поэтому жизненно важным является то, насколько мы имеем право оспаривать ее решения, но апелляции стоят дорого, и слишком часто их судьба зависит от игры случая. Почти во всех моих пьесах присутствует юрист. Наверное, оттого, что человек есть то, что он есть, природный механизм отрицания. По мере погружения в дело Питера Рейли я все больше и больше ценил закон как последнее прибежище против самих себя.

Судьба Питера глубоко тронула меня, но я не счел возможным использовать ее как литературный материал, хотя был знаком с его историей ближе, чем кто-либо, кроме Конуэя и Дейли. Я боялся, как бы не истолковать ее в своих собственных интересах и не добавить Питеру лишних страданий. Однако со временем понял, что в этом было нечто другое. Трудно точно передать, но отсутствие творческого импульса, по-видимому, было связано с тем, что в деле Рейли чувствовалось какое-то безысходное однообразие. Ясно, что, с самого начала замкнувшись на Питере, полиция уже не могла отступить, опасаясь за честь мундира. Поэтому вопрос, кт***о*** убил Барбару Гиббонс и, возможно, еще разгуливает на свободе, сам собою сместился к вопросу о том, кт***о*** дискредитирует федеральную полицию. Образ человека, который стоял за этим, был настолько бесчеловечным и чудовищным, что рука не поднималась писать. Если бы не жители, молодой человек хрупкого телосложения и психологически во многом еще ребенок оказался бы брошен на съедение волкам в федеральную тюрьму. Отсутствие расистской мотивировки снимало социальный аспект. Суть дела в том, что Питер с детства идеализировал полицию и оказался подготовлен к тому, чтобы согласиться с заверениями полицейского, будто он сам убил свою матушку, даже если не мог такого за собой вспомнить.

Загадка была не в том, как это случилось, а в том, насколько ничтожны оказались мотивы великой несправедливости. Разве кто-нибудь возражал, если бы федеральная полиция признала после ареста Питера свою ошибку? Все свидетельствовало о зле, не соотносимом ни с целью, ни с мотивом в том смысле, как можно понимать и цель и мотив. Меня не покидало ощущение, что я наблюдаю театр теней, где безмозглые люди разыгрывают древнюю пантомиму, а отнюдь не имею дело с реальным, только что происшедшим событием. Это было не честное, а совершенно бесчестное заблуждение, и надо было приложить геркулесовы усилия, чтобы прорваться через бюрократические заслоны. Этого

не хватило даже либерально настроенному губернатору Элле Грассо, которая слишком долго не хотела предпринимать никаких действий против чиновников. История стала квинтэссенцией бессмысленности и неоправданности конфликтов, которые я знал. Писать еще об одном оказалось выше моих сил.

От долгих месяцев расследования по делу Рейли остались мрачные раздумья о человеке. Но в то же время довелось пережить случаи неожиданной отваги и великодушия, когда люди в эмоциональном порыве делали то, чего едва ли можно было от них ожидать.

Когда я понял, что должен защитить Питера, стало ясно, что нужен новый адвокат. Мне не забыть первую беседу с Т. Ф. Гилроем Дейли в гостиной элегантного местного клуба в Коннектикуте. На первый взгляд для той роли, которая ему отводилась, он мало подходил. Но проявил интерес, несмотря на то что я предупредил его о финансовой невыгодности предложения. Другими словами, сразу уговорил и себя и его, что ему надо взяться за это дело.

Мои сомнения по поводу Дейли были связаны с тем, что первым адвокатом Питера был специалист по гражданскому праву, тогда как здесь нужен был опытный профессионал по уголовным делам. Дейли когда-то начинал сотрудником в нью-йоркском федеральном суде, но на меня этот модно одетый, высокий, голубоглазый любитель лошадей в твидовом пиджаке произвел впечатление провинциального юриста, озабоченного и недовольного собой. Вроде он не очень стремился к работе. Будучи выпускником Йельского университета, представителем состоятельной и респектабельной прослойки, он показался мне фигурой, не подходящей для кулачных сражений — а от борьбы было не уйти, если мы думали выиграть дело. Я не знал, что доказательства невиновности Питера находятся в сейфе прокурора, но понимал, что новому адвокату предстоит пободаться с весьма твердолобыми типами как в форме, так и без оной, прежде чем все завершится.

За те практически не оплаченные месяцы и годы, которые Дейли отдал этому расследованию, он рос буквально на глазах. С него слетела псевдожокейская озабоченность, и появилось холодное трезвое неприятие несправедливости, свершившейся в его штате, отточенная проницательность взгляда и внутренняя радость от того, что жизнь наконец ощутимо и ясно сфокусировалась на любимом деле. Он блестяще выиграл процесс, и эта история, похоже, изменила его жизнь, ибо как федеральный судья он обрел огромную популярность.

С Дейли и Джимом Конуэем мы провели вместе не один вечер, собираясь то у меня, то около небольшого, амбарного вида дома Гиббонсов, в прошлом придорожной закусочной, пытаясь распутать, что же произошло здесь в ту страшную ночь. Я обратился к престарелому доктору Милтону Хелперну, пожалуй крупнейшему в стране специалисту по криминальной патологии; проанализировав все свидетельства, он пришел к заключению, что после такого убийства Питер не мог уйти без единой капли крови на одежде или на теле, что было зафиксировано в показаниях полиции. Я попросил нью-йоркского врача Герберта Шпигеля, известного специалиста по гипнозу, обследовать Питера, и он весьма помог в ходе вторичного судебного разбирательства, дав показания, способствовавшие оправданию парня. Мне удалось пригласить в зал суда журналистов из «Нью-Йорк таймс», не присутствовавших на первом судебном разбирательстве, что заставило теперь судью с прокурором удвоить свой пыл. Но все-таки своим освобождением Питер был обязан тончайшей реконструкции событий той страшной ночи, которую произвели Дейли и Конуэй, а также блистательной защите, которую продемонстрировал Дейли.

Я мог ликовать по поводу победы, что и сделал, но подлинное переживание воплотилось в пьесе «Сотворение мира и другие дела», написанной в период борьбы за Питера. Как и «Цена», созданная в разгар войны в шестидесятые годы, пьеса «Сотворение мира», прообразом которой является Книга Бытия, посвящена тайне братоубийства, которая здесь предстает как нечто свойственное природе человека. На фоне жизни обыкновенной семьи, далекой от социальных потрясений, пьеса в братоубийстве — первой дилемме и открывающем Библию событии — ищет надежду в человеке. Во всей сложности встает вопрос глубоко скрытой борьбы двух братьев за материнскую любовь, а значит, за любовь Бога. Истинно любящие и практичные Адам и Ева, не веря своим глазам, смотрят на убитого Авеля и нераскаивающегося Каина, испытывая ужас за свою жизнь под Богом, который не только допускает подобное, но, видимо, задумал человечество, чтобы увековечить их. По пьесе, катастрофа спровоцирована природой человека: в самом братстве он впервые познает вкус убийства себе подобных. Защитой, если она вообще есть, против тикающего внутри нас взрывного механизма едва ли может послужить нечто иное, кроме обращенных Адамом к жене, Еве, исполненной ненависти к поступку Каина, и к сыну слов: «Проси у нее прощения! Каин, мы окружены зверями! И Бог больше не придет! Мальчик, кроме нас, некому взять на себя ответственность — проси у нее прощения!»

Ухмыляющийся и ненаказанный Каин, твердо ступая, уходит в изгнание, а отец вопиет в сумеречной пустыне: «Смилуйся!» Но крик Адама — это тоже общечеловеческое.

Библию я открыл для себя только в колледже, да и то считал ее собранием забавных историй, написанных разными авторами, и писал на полях лукавые вопросы вроде: откуда взялись народы, к которым изгоняется Каин, это оговорка или автор Книги Бытия забыл, что, кроме Адама и Евы, в Раю еще никого не было, или Господь был так стар, когда «писал» Библию, что слегка запамятовал?

Постепенно, однако, Библия стала менее важна для меня в той части, которая изначально соотносится с ее авторитетом, но то, что открылось, заворожило. Я не мог понять почему. Истории излагаются лаконично, как электрические схемы, и, возможно, отчасти в этом заключается их притягательность. Ибо приходится восполнять, воссоздавать то, что опущено. С годами вопрос о том, существует ли Бог, уступил место иному — что заставляет людей из поколения в поколение снова придумывать Его? Постепенно я пришел к мысли, что Бог должен существовать, и это оправдывает передернутое выражение, что Он существует. Можно допустить, что Он способен появиться хоть завтра. А тем временем у людей уже есть сосуд, где хранится тоска по святому, по трансцендентному, по охранительному взгляду сверху, по взыскующему и предупреждающему гласу и, главное, идея внутреннего обязательства не сотворить зло, что помогает выжить добру. Для того, кто придумал Бога, Он такой же живой, как и для верующего, может, даже чуть больше, ибо он никогда не сможет отторгнуть сотворенное собой от сердца и воплотить в камне, чтобы Бог мог ускользнуть от него, если надо. Пьеса «Сотворение мира и другие дела» была об этой непреходящей закономерности, и среди прочих в ней поднимался вопрос, какова была изначальная психологическая ситуация, чтобы сотворилась идея Бога, и какова бы она должна быть теперь.

Ирония, которая пронизывала семидесятые, оказалась жива и сейчас. В 1986 году я вместе с пятнадцатью писателями и учеными из Америки, Европы, Африки оказался гостем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, где, глядя в умные глаза Михаила Горбачева, пожимавшего мне руку, услышал: «Я читал все ваши пьесы».

Трудно было избежать искушения ответить: «Вряд ли», ибо к тому времени я почти восемнадцать лет входил в черный список авторов, запрещенных к постановке на советской сцене, не говоря о полном неприятии первой из наших трех совместных с Ингой

книг (ее фотографии, мой текст) — «По России». На одной из фотографий товарищ Екатерина Фурцева, тогдашний министр культуры, вышла с глубокими морщинами от забот и усталости, которые не могла скрыть никакая ретушь, и она сочла себя оскорбленной. (Эта женщина прожила нелегкую жизнь: за несколько лет до этого выдвинулась как любимица Хрущева, окончила тем, что перерезала себе вены.) Но дело было не только в ее тщеславии. Как президент ПЕН-клуба — международной писательской организации, — я тогда весьма досаждал Советам, протестуя против их обращения с писателями и, конечно, против антисемитизма. Ответом на это стал запрет моей пьесы «Случай в Виши», поставленной в театре Галины Волчек. Я был уверен, что выбор пьесы, в которой речь идет о нацистской облаве на евреев во время войны, не случаен. Постановку не спасло даже то, что один из героев — коммунист: введенный в заблуждение рационализмом марксизма, он, как и буржуа, становится жертвой своей идеологии.

До встречи на вершине советской пирамиды власти я прошел долгий и витиеватый путь. Повороты не только разочаровывали, но заставляли улыбаться, причем порою весьма болезненно. Я убедился, что мир политики, по сути, неподконтролен и мы только делаем вид, что стоит поменять шофера, как удастся избежать частых поездок на край бездны, от которых волосы встают дыбом. Факт встречи с Горбачевым был достаточно необычен, хотя вписывался в логику моей жизни.

За год до этого я с большой неохотой, уступив настоятельной просьбе моего давнего друга Гаррисона Солсбери, поехал на встречу советских и американских писателей в Вильнюсе, в Литве, где он, большой знаток Советского Союза, возглавлял нашу делегацию в качестве сопредседателя. Группа была весьма разнородна, в нее входили Луис Окинклос, Аллен Гинзберг, Уильям Гэддис, Уильям Гэсс и Чарлз Фуллер. Периодические встречи интеллектуалов двух стран были практически единственным напоминанием о разрядке. Возможно, когда-то они имели политическое значение, однако теперь, на мой взгляд, выродились в пустую формальность. В какой-то момент мне надоело быть подсадной уткой для нападок советской стороны, которая не встречала отпора, пользуясь американским представлением о вежливости. Я нарушил заведенный порядок, когда по существующей договоренности обе стороны должны были рассказывать о своей жизни и работе, а вместо этого советская сторона, представленная не столько писателями, сколько критиками, журналистами и официальными деятелями Союза писателей, обсуждала проблемы американских негров,

американских индейцев, порнографии в американской литературе и все в этом духе. Мы проделали слишком большой путь, чтобы позволить так обращаться с собой. В раздражении на никчемность происходящего, я достал материалы ПЕН-клуба о преследовании поэтессы Ирины Ратушинской, которая, будучи больной, находилась в тюрьме из-за нескольких стихотворений, и зачитал их. Как и следовало ожидать, советская сторона расценила это как «вмешательство во внутренние дела». Но я получил представление о степени искренности обеих сторон, что было непросто, когда на все наши вопросы о советской жизни шли одни и те же засахаренные ответы, по которым нельзя было отличить одного советского писателя от другого.

Глубоко обиженные, они переполошились, как птицы от барабанного боя, но, к моему удивлению, среди них оказался человек, который спокойно и серьезно воспринял мои слова, уловив в них долю правды. Это был Чингиз Айтматов, коренастый мужчина лет под шестьдесят, на тот момент, пожалуй, наиболее признанный прозаик и драматург в своей стране. К тому же он был членом Президиума Верховного Совета СССР от Киргизии, и через день ему предстояло выступить в высоком собрании прямо перед речью Горбачева, в наиболее престижной части программы. Он был автором книг, которые требовали от писателя определенного мужества, ибо писал об уроне, нанесенном сталинизмом киргизскому меньшинству. Вопрос этот до настоящего времени оставался весьма щепетильным, несмотря на официальное осуждение бывшего диктатора в прессе.

Где-то через год Айтматов позвонил из родной Киргизии и пригласил на независимую, по его словам, встречу деятелей культуры, проводимую им по собственной инициативе, без Союза писателей или других государственных учреждений. Он предложил обсудить проблему мирного перехода человечества в третье тысячелетие. Среди приглашенных были Феллини и Дюрренматт, выразившие заинтересованность. «Я хочу, чтобы мы смогли откровенно поговорить о будущем», — сказал он и назвал тех, кто собирался приехать: Питер Устинов из Англии, американцы, супруги Элвин и Хейди Тоффлер, нобелевский лауреат французский прозаик Клод Симон. Обещал прибыть Джеймс Болдуин, а также художники и ученые из Италии, Индии, Эфиопии, Турции, Испании и с Кубы. Расходы по проживанию и проезду оплачивались, что означало: за всем этим стояло государство. Однако, вспомнив о беспрецедентном выступлении Айтматова в Вильнюсе и учитывая огромное желание Инги поснимать далекую Киргизию, я согласился принять участие в свободной дискуссии. Раз советская интеллигенция хотела войти

в мировое сообщество, от которого была отчуждена из-за почти параноидального надзора со стороны государства, ей надо было оказать необходимую поддержку.

Шел заключительный, третий день наших дискуссий в уютном санатории на озере Иссык-Куль в Киргизии, когда в конце заседания нам передали приглашение встретиться с Горбачевым. Я полагал, это будет десятиминутное приветствие — на самом деле встреча растянулась на два часа сорок минут.

В отличие от своих предшественников. Горбачев не был опухшим и одутловатым от алкоголя. Он был в коричневом костюме, бежевой рубашке и галстуке в полоску. На лице — нетерпеливая усмешка; современный острый взгляд. Атмосфера деловитости напомнила мне о Джоне Кеннеди, который тоже стремился завоевать расположение писателей (как и Моше Даян, с которым когда-то довелось встретиться).

Он пожал каждому из нас руку и пригласил пройти из приемной в зал заседаний, где стоял длинный стол человек на тридцать. Сам сел во главе, без советников, консультантов, бумажек. У стен сидели несколько переводчиков, чьи наушники были подключены к микрофонам на столе. Войдя в это современное здание, выходившее на покрытую брусчаткой Красную площадь и древний Кремль, я отметил, что, по советским представлениям, оно очень красиво. Тишина подчеркивала впечатление значительности. Средоточие ли это тьмы или источник света и надежды — каждый понимал по-своему. Доступность и естественность Горбачева усугубляли тайну власти, я почувствовал в нем не только государственного мужа, но и нечто сугубо человеческое.

Расспросив, какие вопросы мы обсуждали в дискуссиях на озере, он иронически признался, что никогда не был в Киргизии. Каждый из нас кратко, но достаточно разноречиво прокомментировал наши беседы. Суть в том, что их не отличала особая глубина, хотя была одна немаловажная особенность: впервые, по крайней мере на моей памяти, советская сторона не вела себя агрессивно по отношению к представителям Запада. Более того, все старались не поддаваться застарелому наезженному стереотипу. Отеро с Кубы был литератором явно марксистского толка, а величественный эфиоп Афеверк писал картины для недавно пришедшей к власти и еще не до конца утвердившейся марксистской военной хунты, которую представляли в основном достаточно ограниченные и подозрительные люди. Но ни они, ни Айтматов с двумя помощниками не пытались подчеркнуть свою приверженность марксизму. Мы говорили о проблеме экологической

загрязненности планеты, о нарушениях законности, о безработице на Западе и на Востоке, о Чернобыле, обо всем на свете, и это выглядело ничуть не хуже, чем на экуменических соборах, куда, несмотря на все разногласия, съезжаются и католики, и протестанты, и евреи. Иными словами, никто не старался кого-либо обратить в свою веру. Мы обсуждали только общие проблемы. Я почти физически ощущал, как рассеивается завеса привычной параноидальной подозрительности. Трудно было сказать, надолго ли, но одно то, что эти времена пришли, вселяло большие надежды.

В своем выступлении Горбачев сделал акцент на «новом мышлении», быстро, по его словам, завоевывавшем Россию, — на смену отживающему догматизму пришел, если можно его так назвать, трансидеологический марксизм. Горбачев подчеркнуто цитировал Ленина, а не Сталина. «В каждой стране политики должны советоваться с интеллектуалами, которые постоянно держат в центре внимания человека. Любая другая постановка проблемы аморальна. Я читаю и перечитываю Ленина, — сказал он в какой-то момент, — который в 1916 году писал: „Приоритет должен быть отдан общечеловеческим ценностям, которые могут превалировать даже над интересами пролетариата“. — Он выдержал паузу и усмехнулся: — Я бы очень хотел, чтобы другая половина человечества тоже осознала это». Казалось, он намекал, что всеобщее благосостояние может стоять выше собственно партийных интересов. Если он осмеливался говорить такое публично, то следовало признать, что это замечательно и ново, ибо поставить под сомнение абсолютный приоритет партии всегда считалось святотатством. Однако, вернувшись домой и написав статью об этой встрече, где приводил новую по тем временам информацию, я не нашел газеты или журнала, взявшихся бы ее напечатать. Столь глубоко было в журналистской среде неверие в возможности каких-либо перемен в Советском Союзе. И дело вовсе не в моем имени. Элвин Тоффлер, автор книги «Грядущий шок» и других работ о наступлении новой технологический эры, столкнулся в прессе с тем же неприятием. В конце концов мне удалось опубликовать искромсанный вариант в «Ньюсуике», в колонке «Собственное мнение», где высказывались исключительно субъективные суждения. Так что не только Советам следует учиться выслушивать то, чего не хочется слышать. Отрицание очевидного, как и прежде, было во всеоружии.

Когда представился случай, я повторил Горбачеву то, о чем говорил на Иссык-Куле: с помощью священных идеологий от людей скрываются нелицеприятные факты. Россией правил

Маркс, американской администрацией — Адам Смит, одной теории было сто лет, другой — двести, и ни одна из них не предполагала существование компьютеризованного, опутанного телевизионной сетью, наполовину голодающего, наполовину погрязшего в роскоши мира, в котором мы живем, где численность пролетариата постоянно уменьшается, средний класс (вопреки Марксу) все более обуржуазивается, а число голодающих, просто голодных и душевно больных в капиталистических городах (вопреки Адаму Смиту) постоянно растет. Что изменится, если позволить фактам править, а не прислуживать тому, чем хочет показаться каждая из сторон в идеологическом споре…

Наша история — кладезь мудрости. Чего только я не вспомнил, слушая председательствующего, даже игру в ручной мяч на Ист-Форт-стрит в Бруклине, когда парень из колледжа впервые прошептал мне на ухо о марксизме. Но теперь, справив в Киргизии свой семьдесят первый день рождения и находясь в преддверии двадцатипятилетия свадьбы с Ингой, я смотрел на искреннее стремление к переменам, звучавшее в речи Михаила Горбачева, поразившего нас, представителей Запада, раскрепощенностью мышления, со скептицизмом старого человека. Мне казалось, я понимаю, чего он хочет; это вселяло надежду, ибо за этим стояло нечто большее, чем его личное пожелание. Руководству необходимо было осознать, что никакое научно-техническое развитие невозможно в стране, правительство которой относится к иностранцам и своим собственным гражданам с параноидальным страхом и подозрительностью. Меня не столько занимал вопрос, действительно ли он хочет сделать этот строй более либеральным, сколько невозможность этого без признания оппозиции как внутри коммунистической партии, так и вне ее. С моей точки зрения, перед ним стояла та же проблема, что и у китайцев — я столкнулся с этим во время двух поездок в эту страну, особенно когда за три года до этого два месяца проработал в Пекине над постановкой «Смерти коммивояжера», — как пробудить творческое начало нации, сохранив однопартийную систему.

Опыт подсказывал, что впереди предстоит много трудностей. Об этом свидетельствовали прошлые встречи с советскими деятелями, тоже ратовавшими за «изменения». Слушая его, я вновь и вновь возвращался к воспоминаниям 1967 года — беседе в номере одной из гостиниц в Москве, где остановился, приехав обсудить от имени международного ПЕН-клуба вопрос о вступлении советских писателей в эту организацию.

Все началось в 1965 году, когда в парижской квартире Инги

раздался дребезжащий телефонный звонок. Мы остановились здесь, приехав посмотреть «После грехопадения» в постановке Лукино Висконти с Анни Жирардо. Спектаклю, с моей точки зрения, не хватало цельности. При том что фильмы Висконти отличает тонко продуманный рисунок, здесь ему, на мой взгляд, не удалось схватить суть пьесы, прочитав ее как историю сексуальных переживаний примитивного американца. Через год в Риме Франко Дзеффирелли предложил более углубленную интерпретацию с Моникой Витти и Джорджо Альбертаци. Он предоставил Квентину в полной мере пережить страдание человека, пытающегося не столько объяснить свои поступки, сколько постичь себя. Совершенно иной подход, который, на мой взгляд, отличался трогательностью и убедительностью. Декорации представляли шесть или восемь концентрических прямоугольников из металла, постепенно уменьшавшихся по мере отдаления в глубь сцены — казалось, смотришь издалека в линзу раскрытой камеры старинного фотоаппарата с гармошкой; черный бархат, разделявший конструкции, давал актерам возможность передвигаться, появляясь и исчезая, по объемной сцене, в то время как бесшумные лифтовые устройства то возносили, то опускали различные предметы декорации, позволяя молниеносно менять обстановку, как бывает в мечтах или во сне. Спектакль проехал по многим крупным городам Италии, и тот прием, который ему оказывали, только подтвердил мое отношение к пьесе.

По Ингиному телефону едва удалось разобрать, что это «Кейт из Лондона». Он должен непременно завтра увидеть меня и прилетит в Париж с неким Карвером, который все объяснит. Прозаик, преподаватель Кейт Ботсфорд издавал вместе с Солом Беллоу и Эроном Эшером, тогда моим редактором в «Вайкинге», увлекательный, но недолго просуществовавший журнал «Благородный дикарь», где я как-то опубликовал два рассказа. Теперь Кейт что-то говорил о ПЕНе, о котором у меня были самые смутные представления.

Несмотря на поверхностное знакомство, Кейт ничтоже сумняшеся на следующий день нагрянул в квартиру Инги на Рю де ла Шез вместе с англичанином огромных размеров в бабочке: Дэвид Карвер был своего рода Сидни Гринстритом, только без астмы. Выяснилось, что до Второй мировой войны он был довольно известным оперным баритоном, а потом стал личным адъютантом герцога Виндзорского и вместе с ним переносил тяготы войны на Багамских островах.

Квартира Инги находилась в доме, где в XVI веке располагалось испанское посольство при французском дворе.

Стены поражали массивностью, потолки — высотой, а окна, выходившие на крохотную улочку из двух домов, блестели — с таким старанием их отмыла Флорина, баскская девушка, с давних пор находившаяся у Инги в услужении. Она подала нам кофе с церемонностью, достойной встречи трех баронов, углубившихся в обсуждение тонкостей торговли специями. Ее черные глаза светились радостью — после долгих месяцев она дождалась наконец приезда из Америки своей обожаемой хозяйки и теперь занималась делом.

Кейт быстро уступил инициативу Карверу, человеку с хорошей дикцией, соответствующей лексикой и неожиданными переходами профессионала от реалистической школы на уличный жаргон. Он уже много лет исполнял обязанности генерального секретаря ПЕНа и, без сомнения, отдавал этому немало времени и сил. «Но, — произнес он, — должен откровенно признаться, господин Миллер, сейчас мы находимся в плачевном состоянии, так что если вы не согласитесь занять пост президента, ПЕН просто перестанет существовать».

Стать президентом ПЕНа? Я едва мог представить себе, чем занимается эта организация, кроме того что это некое подобие дискуссионного литературного клуба.

ПЕН-клуб, объяснил Карвер, был создан после войны — Первой мировой войны — Джоном Голсуорси, Бернардом Шоу, Г. К. Честертоном, Г. Дж. Уэллсом, Джоном Мейсфилдом, Арнольдом Беннеттом, Анри Барбюсом и рядом близких им по духу в Европе и Англии людей, которые полагали, что международная организация писателей сможет предотвратить новую войну путем борьбы с цензурой и националистическим давлением на писателей. Конечно, это не спасло мир от Второй мировой войны, однако исключение германской делегации, отказавшейся заклеймить гитлеровскую цензуру и варварское обращение с писателями, помогло в тридцатые годы привлечь внимание мировой общественности к угрозе нацизма.

«Почему ваш выбор пал на меня?» — спросил я. У меня с ПЕНом не было никаких отношений, и я не имел никакого желания чем-либо руководить. Честно говоря, вообще не очень-то уже верилось в пользу писательских объединений.

Несмотря на активность, ПЕН-клубу не удавалось привлечь молодых писателей в возрасте от тридцати до сорока, и на него стали смотреть как на нечто устаревшее и отжившее свой век. Он также сильно пострадал во времена «холодной войны», которая подорвала его авторитет в малых странах, полностью не поддержавших Запад. Разрядка международной напряженности, происходившая в последние годы, в процессе преодоления

разногласий между Востоком и Западом требовала новых усилий, а ПЕН-клуб не накопил достаточно опыта. Нужен был мощный импульс, и им должен был стать я.

Карвер щелкнул золотым портсигаром. И хотя я ни на минуту не усомнился в том, что меня не увлекает работа, отрывавшая от писательства, стало ясно, что просто так от этого крупного светловолосого, голубоглазого британца с шелковистой кожей, белоснежностью напоминавшей внутреннюю оболочку грейпфрута, двумя веселыми румяными розанчиками на щеках и плечами в косую сажень отделаться не удастся.

— Мы вмешиваемся, когда возникает угроза жизни писателей и надо кого-то спасти. Удается, но не всегда, хотя такое бывает.

— «Угроза жизни?» — На дворе стояла середина шестидесятых, и проблема прав человека, сформулированная политически нейтральной организацией «Международная амнистия», созданной за несколько лет до этого, в сознании людей как таковая еще не сложилась. Вопрос о правах человека носил в высшей степени политический характер: коммунисты ставили его, когда Запад преследовал их сторонников, а Запад поднимал шум, когда речь заходила о преследовании диссидентов на Востоке. Карвер открывал новую перспективу постановки проблемы вне связи с политикой, что позволило бы защищать и тех и других, тем самым хотя бы отчасти сведя на нет усилия двух десятилетий «холодной войны». Если это и не выглядело правдоподобным, во всяком случае, представлялось заманчивым.

Так, ПЕН-клубу, продолжал Карвер, подкрепляя свое предложение примерами, удалось убедить венгерское правительство дать нескольким писателям уехать после русского вторжения в 1956 году. У ПЕНа были свои отделения в Польше и Чехословакии (позже их деятельность была свернута и прекращена). Они собирали информацию и время от времени предавали гласности факты преследования писателей.

— В целом все носит случайный характер, — признался Карвер, — и не всегда помогает, однако польза есть, и не хотелось бы вот так ни с того ни с сего выходить из игры.

— Каковы рычаги воздействия ПЕН-клуба? Почему с ним должны считаться?

— На Востоке, как и на Западе, любят, когда о них говорят хорошо. Хотят, чтобы их считали не диктатурой, а современным цивилизованным обществом, — вскинув брови и сдерживая улыбку, сказал он.

— А почему надо выходить из игры?

Он снова стал дипломатом. В последние годы ПЕНу не

удалось привлечь к своей деятельности известных писателей, в том числе с международным признанием. Он полагал, это удастся мне.

— Но я не умею руководить…

— Всем руковожу я. Вам надо только присутствовать на международных конгрессах, которые проходят не чаще чем раз в год. Уверяю, это не займет много времени.

— Вам нужен свадебный генерал!

— Отнюдь. У президента есть реальная власть, если вы захотите ею воспользоваться.

У меня вдруг возникло подозрение, что дело нечисто. Кому понадобилось заварить эту кашу? Госдепу, ЦРУ или британским спецслужбам? Я решил вывести их на чистую воду.

— А что, если я приглашу вступить в ПЕН-клуб советских писателей?

У Карвера отвисла челюсть.

— Прекрасно! Как раз то, что нам надо! Замечательно! Дело в том, что нависла угроза раскола, восточные центры находятся в неустойчивом положении, а ваша кандидатура для них настолько авторитетна…

— …Поскольку мы собираемся бороться за предотвращение войны, без участия советских писателей это по крайней мере…

— Да-да, вы правы. Просто отлично, если бы мы смогли объединиться с ними под одной крышей. Так вы согласны?

Я задумался, попросив время на размышление. Но ответ нужен был в ближайшие дни, «прежде чем будут разосланы приглашения на конгресс в Бледе».

— Блед? Это где?

— В Югославии.

— Там есть отделение ПЕНа?

— О да, они очень активны. Но им нужна наша поддержка. Мы впервые проводим конгресс в Югославии.

Подталкиваемый любопытством, я через пару дней согласился, так и не уяснив, почему они остановились на мне. Оставалось только гадать. Это стало понятно лишь два десятилетия спустя. Среди бумаг в моем досье в ФБР, которое удалось заполучить в 1986 году, лежала телеграмма 1965 года, в которой американское посольство в Москве извещало Вашингтон, что ровно за две недели до визита Карвера я был «полуофициально» и тепло принят в Москве. Звонок Ботсфорда раздался в тот день, когда мы вернулись в Париж. Возможно, английская пресса писала, что на вокзале был устроен теплый прием большой группы представителей Союза писателей СССР, а может быть, Карвер пользовался иными источниками

информации относительно тогдашнего благоволения ко мне Советов. В любом случае он знал, что моя кандидатура подходит и для Востока и для Запада. А поскольку ПЕН находился под угрозой развала, это могло сыграть решающую роль при выборе кандидатуры президента. Вскоре стало понятно, что ПЕН непоколебимо стоит на традиционных для времен «холодной войны» позициях, по примеру западных правительств не стремясь признать в Восточной Европе ту группу государств, где писатели, долгое время находившиеся в изоляции, были заинтересованы в установлении новых контактов с Западом. Спустя сорок лет с момента своего возникновения у ПЕНа наконец появилась возможность делами доказать те миротворческие устремления, которые были определены вначале. Я волей-неволей оказался втянут в запутанный клубок политики разрядки — начинался совершенно неожиданный поворот в моем познании жизни.

Увидеть чемодан для Инги означало начать паковаться. С ее способностями к языкам она выучила русский еще до поездки. Свободно владела английским, французским, испанским, итальянским; с некоторым затруднением объяснялась по-румынски — она учила его в начале войны и с тех пор на нем не говорила. Однажды мы провели две недели в Греции. Накануне отъезда я не без удивления обнаружил, что она освоила язык, который никогда не учила. Общаясь с местными в той или иной стране, я привык обращаться к ней, и она обычно никогда не подводила. Ее внутренняя сосредоточенность вкупе с романтической раскрепощенностью духа совершенно обезоруживала политиков. В конце сороковых, когда брала интервью и фотографировала канцлера Германии Конрада Аденауэра, она так очаровала его, что он предложил ей стать его главным секретарем. В Китае, где мы побывали в конце восьмидесятых, она однажды обедала в компании чиновника, говорившего по-немецки, писателя, любившего русский язык, и гида туристической группы с английским, причем каждый, воспользовавшись редкой возможностью, стремился поговорить с ней на чужом языке. Таким образом, ей пришлось переводить одновременно с трех европейских на китайский и наоборот. Мне показалось, у нее из ушей шел пар, она побледнела, но держалась мужественно, пока на это не обратили внимание и все рассмеялись.

В Москву из Дюссельдорфа мы добирались на поезде по заснеженной январской равнине — огромным просторам без границ и названий — почти двое суток. Это вернуло меня к мысли, что человечество склонно обожать наиболее безрассудных

лидеров: что Наполеон, отважившийся привести сражаться армию в этих сугробах, что Гитлер, решивший повторить его опыт, — оба были умалишенными, — возглавив легковерные орды своих соотечественников, они подарили им вечный покой в этих снегах. Поезд шел на скорости: завтракая, обедая и ужиная, мы смотрел в окно на снега. Во сне нам грезилось окно и снег, проснувшись, снова смотрели на снег за окном — и так в течение двух с половиной суток.

Мои пьесы шли на советской сцене уже около двадцати лет, и я смог убедиться, что они завоевали глубокое признание. При жестком контроле писателям приходилось отстаивать почти каждое предложение или слово, поэтому театр был своего рода отдушиной для эмоционального выражения непредвзятых мыслей и чувств. Это вовсе не значило, что на сцену допускались неортодоксальные пьесы, но ирония передавалась движением приподнятой брови, жестом, а то и просто присутствием актера на сцене. Острота современных постановок, включая классический репертуар, вызывала бурную реакцию зала, и русские дорожили той относительной свободой чувств, которую им дарил театр.

В 1965-м на сцене одного из московских театров шел «Вид с моста», и мы, конечно, не могли не посмотреть спектакль. Вместительный зал был набит битком. После спектакля мне устроили десятиминутную овацию. Однако это не помешало заметить несколько несуразностей в самом спектакле.

Я не знал русского языка, но почувствовал, что в первой сцене текст изменен. Переводчик согласился со мной. В «Виде с моста» Эдди Карбоне, стремясь избавиться от молодого человека, вскружившего голову его племяннице Катрин, к которой он сам неравнодушен, отдает двух нелегально живущих у него родственников в руки властям. Воспитывая ее как дочь, он не может осознать своего чувства. Ситуация постепенно проясняется. В постановке же Эдди при первом появлении молодой девушки, проходившей мимо него, признается, не скрывая чувственного влечения, своей жене Беатрис: «Я люблю ее». Это приблизительно то же, как если бы Эдип обернулся к Иокасте в начале пьесы и произнес: «Нет ничего хорошего, что я женюсь на тебе, мама…»

После спектакля я посетовал на неточную интерпретацию Олегу Ефремову, главному режиссеру театра «Современник», который позже возглавил Московский Художественный театр. Меня не столько поразил его ответ, когда, пытаясь оправдать изменения в тексте, он сказал: «Нас не интересует вся эта п-с-и-х-о-л-о-г-и-я», сколько прозвучавшее в словах пренебрежение к праву драматурга на собственное произведение. Нельзя сказать,

что с подобным высокомерием я не встречался в других местах, в том числе в Нью-Йорке, однако его слова вместе с утонченным низкопоклонством, окружавшим меня, воспринимались как насмешка и оставили неприятный осадок, как будто то, что давалось одной рукой, надо было отнять другой.

Позднее я узнал, что в Советском Союзе была широко распространена практика хвалить таких писателей, как Твен и Хемингуэй, при переводе которых вымарывались политические или «морально» неблагонадежные куски, а вместо них вставлялись фразы с критикой в адрес американской действительности. Приятно было узнать, что в Советском Союзе идет «Смерть коммивояжера», но радость омрачалась тем, что текст пьесы оказался сильно изменен. Вилли так окарикатурен, что стал законченным идиотом, текст Чарли переписан, и он выглядел шутом — ведь бизнесмен не мог быть альтруистом, способным на искренние порывы.

В то же время меня глубоко тронули зрители, которые почти с молитвенным благоговением следили за происходящим на сцене и радостно приветствовали меня, не скрывая восторга. Первый намек на загадку таинственной русской души я уловил в том, насколько отлично было искреннее великодушие московских зрителей от поведения советских писателей на официальном обеде, данном от имени Союза Алексеем Сурковым по случаю моего приезда.

Поэтическое имя Сурков обрел во время войны, напечатав несколько ставших популярными стихотворений. Однако сегодняшнему взлету способствовала та безжалостность, с которой он проводил сталинские репрессии в писательской среде. Седовласый, по-отечески гостеприимный, он, казалось, был воплощением широкой русской души, и оттого моя душа уходила в пятки. На большом приеме, устроенном Союзом писателей в мою честь, он, по-видимому, решил не терять времени даром и отбросил всякую светскость. Он завел разговор о погоде, на что я признался, что для меня здесь очень холодно. На другом конце длинного, до отказа забитого гостями стола кто-то негромко и вежливо добавил, что в прошлом году в это время было наоборот. По этому поводу все начали высказывать свои мнения, и Сурков, откинувшись на спинку стула, зычно подытожил: «Вот видите, Миллер, мы, писатели, не можем прийти к единому мнению даже по такому простому вопросу». За столом одобрительно загудели, опустив головы в знак согласия с неожиданно прозвучавшим подтекстом о необязательности принятия писателем любой директивы партии в качестве руководства к действию.

Меня до глубины души поразила детская наивность, с

которой все это разыгрывалось, но я отметил, что в присутствии иностранца свобода все еще почиталась нормой. Почему бы им открыто не признать, что писатель должен согласовывать свою работу с линией партии и воплощать ее в своем творчестве? Почему бы писателю не согласиться со всевидящей партией, если это действительно способствует прогрессу человечества? Они же упорно делали вид, что стоят за свободу, и в этом было что-то порочное и извращенное.

Мы возвращались в гостиницу по заснеженным улицам вдоль Кремля вместе с нашим гидом-переводчиком, молодым серьезным юношей. Я взглянул на окна, где должна была находиться квартира Сталина, и, усмехнувшись, сказал:

— Здесь, наверное, было немало суеты в ту ночь, когда он умер?

Посмотрев на меня не без удивления, молодой человек спросил:

— Почему?

— Ну как, надо было срочно решать, кто будет преемником.

— Не нашего ума дело, что там происходит.

Это прозвучало как суровый упрек: людей не должно интересовать, кто и на каком основании ими правит. Мое замечание прозвучало святотатством. Как это понимать?

Через несколько часов мы сидели в театре Юрия Любимова и смотрели спектакль «Десять дней, которые потрясли мир». Вновь забрезжила надежда, ибо по тонкости, вкусу и профессионализму режиссуры и актерского мастерства эта работа не шла ни в какое сравнение с тем, что довелось до этого видеть. Конечно, мы должны принадлежать единому человечеству! Через два десятилетия Любимову, не выдержавшему нападок и давления со стороны партийного руководства, пришлось эмигрировать в Италию. Россия продолжала разбазаривать свои таланты.

За две недели, что я провел здесь, меня повсюду радушно встречали русские артисты: Майя Плисецкая, устремив взгляд к нашей ложе, станцевала в Большом театре в мою честь каденцию в «Дон Кихоте»; писатель Константин Симонов, принимая нас на своей даче, поделился воспоминаниями о жутком прошлом; Илья Эренбург рассказал, как по возвращении в СССР с полей гражданской войны в Испании узнал о расстреле по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой коллеги-журналиста, приехавшего чуть раньше его. Сам он, пройдя через повальные чистки своего времени, выжил чудом и считал это «лотереей».

В тот момент, когда мы вернулись в Париж, мне трудно было сказать о России что-нибудь простое и однозначное, за исключением того, чем я поделился с Дэвидом Карвером, — было

бы очень хорошо, если бы ПЕНу удалось наконец прорвать изоляцию Советов. Путешествуя на поезде по просторам этой страны, я понял, сколь ничтожным должен казаться себе русский писатель, когда пытается высказать свою единственную неповторимую правду необъятной стране, которая хранит его в своей утробе.

Глядя на Горбачева в 1986 году, я вспомнил нашу поездку в Чехословакию в 1969-м. На фасадах пражских домов еще не были заделаны следы от снарядов советских танков, и только что в знак протеста против советской оккупации подростком Яном Палахом было совершено самосожжение, загубившее Пражскую весну, чешский вариант «социализма с человеческим лицом».

В Праге остро ощущалась чудовищность всего происходящего. Возможно, это чувство было так остро оттого, что меня возили по городу взволнованные драматурги Вацлав Гавел и Павел Когут, первый — еще не в тюрьме, второй — еще не в Вене, куда ему пришлось отбыть после того, как полиция протаранила дверцу его машины, напав на жену-актрису и чуть не сломав ей ногу.

Во время обеда в гостях у одного из прозаиков его малыш, выглянув из-за шторы, позвал: «Папа!» — и указал на машину, полную полицейских, на другой стороне улицы, что должно было напомнить нам — мы здесь не одни. Мне, как и им, пришлось научиться жить под надзором, не давая воли своим страхам и постоянно находясь начеку.

В обшарпанных комнатах литературного журнала «Листы» меня встретили не менее двух дюжин писателей, и я отвечал на их вопросы — это оказалось последним интервью перед полным закрытием журнала. Именно тогда я впервые почувствовал, что Прага отнюдь не «восточный», а европейский город к западу от Вены: нетрудно было понять, что она стала жертвой прямой агрессии, ибо в окрестностях города рядами стояли сотни советских танков. Я был доволен, что когда-то питал слабость к Москве, ибо это помогло мне понять пражских писателей, во время войны с надеждой взиравших на восток и увлеченных идеей «бесконфликтного» социализма, как им тогда казалось, идеей спасения человечества. Мне было знакомо это чувство, и я радовался, что происходящее было для меня частью того же сюрреалистического действа, что и для них.

Через восемь лет из путаницы отношений, с которой я столкнулся в Праге, возникла пьеса «Потолок во дворце архиепископа», но для того, чтобы она по-настоящему прозвучала, потребовалось еще десять лет, когда в 1986 году она была поставлена Королевской шекспировской компанией в Барбикане.

Пьеса построена на игре скрытых смыслов, отрывочных намеков, двойных, тройных отражений, которые едва ли не известны в политической практике Вашингтона, Парижа или Лондона, но более вопиюще и открыто проявили себя по мере продвижения на восток.

Провалу первой постановки пьесы в Вашингтоне в Центре имени Кеннеди во многом способствовали мои собственные неудачные переделки. Я ошибся, позволив уговорить себя, что в том виде, в каком она была написана, пьеса будет непонятна неискушенному американскому зрителю. Но именно в этом виде пьеса получила признание в Лондоне, а чуть раньше в постановке бристольского «Олд Уик». Время также работало на то, что в 1986 году люди смогли понять, что эта пьеса не только о «востоке»; мы все находились в неслышном диалоге с властью, постоянно держа в голове — задумывались мы об этом на Западе или нет — образ нашпигованного подслушивающими устройствами потолка. Мы бессознательно утеряли представление о человеке, который свободен от деформирующих внутренних реверансов в сторону власти. В последней четверти века все труднее было представить человека, свободного в личном самостоянии, у которого бы не было иных притязаний, кроме как своей собственной правды.

Даже на борту самолета, на котором летел из Парижа в Белград, я не был уверен, что стоило соглашаться стать президентом ПЕН-клуба. В таких случаях всегда лучше положиться на внутренний инстинкт. Мой сосед по креслу в тот июньский день 1965 года явно кого-то напоминал, хотя я чувствовал, что мы не были близко знакомы. «Норман Подгорец», — представился он, протянув руку. Я был удивлен, что редактор журнала «Комментэри» решил почтить своим присутствием вражескую территорию и летел в Югославию, но через несколько минут он подкупил меня своей теплотой и забавными историями из жизни литературной богемы нью-йоркских театров. Если он направлялся в Блед посмотреть, что же все-таки представляет из себя ПЕН, то, надо полагать, делал это не без скептицизма, если не с открытой подозрительностью. Что касается меня, я не имел ни малейшего представления, чего мне ожидать от своего первого Конгресса, президентом которого я стал, как это ни было невероятно. Меня радовало, что Подгорец, широко образованный очеркист, считал, что в существовании этой организации есть смысл, и в то же время его присутствие прояснило, почему я все-таки согласился на президентство. ПЕН вселял надежду на возрождение человеческой солидарности во времена, когда неограниченный индивидуализм и личный успех

начали свое последнее наступление под знаменами противоположного символа веры на американском политическом горизонте.

Полет, по счастью, оказался кратким, и самолет приземлился на дорожке у кромки поля, тут же начав подпрыгивать. У Подгорца, чье лицо и так напоминало своим удивленным выражением внезапно проснувшегося ребенка, оно еще более вытянулось, когда он жадно стал высматривать что-то, наклоняясь через меня к окну. Это было его первое знакомство с коммунистической страной, отторженной землей, которую годы спустя его любимый американский президент назвал империей зла. Самолет уже разворачивался, когда на летном поле появились два трактора.

— Надо же, у них есть тракторы, — произнес он. Решив, что это шутка, я обернулся и увидел, что его взор полон восторженного удивления. Самолет остановился, и тракторы подъехали ближе. Он прильнул к окну, чтобы разглядеть их. Какая гамма чувств! И какова сила идеологии, если такой образованный человек мог так удивляться, что в Югославии есть тракторы.

Техника подъехала совсем близко, и я смог разобрать на радиаторных решетках какую-то надпись кириллицей.

— Вполне возможно, что они выпускают их сами, — сказал я, не моргнув глазом, и указал ему на надпись.

Он пришел в полное смятение, и я решил несколько разрядить обстановку:

— Но это, похоже, русские.

— Наверняка по американским моделям.

— Да нет, не похоже. Я думаю, наши лучше. Эти очень уж шумные и неповоротливые.

Казалось, он облегченно вздохнул.

— Но, я слышал, они практичны.

Он все понял и неестественно рассмеялся. Что было бы, попади он в Россию, какую бы испытал гамму чувств — от снисхождения до страха.

Не успел я распаковаться в гостинице «Белград», как раздался стук в дверь. Это был опять он, комментатор, критик, издатель, подстегиваемый желанием увидеть, как меня поселили. Дело в том, что мне достались огромные апартаменты, предназначавшиеся для Броз Тито, когда он наезжал в этот городок. Здесь было пять или шесть спален и ванных комнат, свидетельствовавших о власти и унынии. Полностью оборудованная кухня и гостиная в виде конференц-зала с тремя диванами и огромным обеденным столом, на сверкавшей

поверхности которого стояла ваза из резного стекла и в ней три, специально для гостя, розы.

— Черт побери, как вы к этому относитесь? А у меня какая-то вшивая комнатенка!

— Я президент, Джек, и, возможно, мне придет в голову произнести отсюда какую-нибудь речь перед толпой.

Я подвел его к угловому окну, которое выходило на балкон на высоте первого этажа, выступавшего над площадью, откуда Тито вполне мог произносить речь. Норман рассмеялся, но не искренно. Он еще не опубликовал свою книгу «Как это делается», но, вспоминая тот день, я склоняюсь к мысли, что уже работал над ней там, в хорватской столице. Мне самому не чуждо соперничество, и я знаю его симптомы. А он не мог их скрыть, всего лишь притворяясь самим собой.

* * *

Блед находится высоко в горах, и в ресторане около полуночи было холодно. Женщина на крошечной сцене, казалось, собиралась раздеваться, несмотря на то что тридцать с лишним столиков пустовали и только наш и пять-шесть других были заняты. Я успел познакомиться с югославским журналистом по имени Богдан и двумя газетчиками, которые присоединились к нам после одного из «круглых столов» ПЕН-клуба в гостинице, на противоположном конце города, которая выходила на озеро. Теперь мы вместе смотрели стриптиз, а женщина расстегивала юбку, мерно покачиваясь под завывающие звуки невыразительного джазового оркестрика. За соседним столиком две коренастые местные жительницы в толстых свитерах потягивали в компании с мужчинами водку, без интереса наблюдая за крошечной сценой, что свидетельствовало: не важно как, но Югославия шагает в ногу со временем.

Конгресс ПЕН-клуба шел уже два дня. Меня не покидало ощущение, что я занимаюсь не своим делом, так как слишком мало знал о писателях, которые были не из Нью-Йорка, Лондона, Парижа или, последнее время, — из Латинской Америки. Единственное, что я понял, здесь были писатели, которые, пиши они на европейских языках, вполне могли обрести мировую известность. С этой точки зрения все мы были провинциалы, не только американцы, но англичане и французы тоже.

Большинство из ста пятидесяти или около того делегатов были, однако, ученые или журналисты, вроде моих застольных приятелей, а отнюдь не писатели. В этом плане ПЕН был не чем иным, как замысловатым экзерсисом дипломатии, замешенным на одном или двух редких моментах откровенности. Я не видел особой победы в том, что французские, английские, западногерманские писатели заседали под одной крышей с восточными немцами, болгарами, венграми и поляками. Глубокие нравственные и политические расхождения практически не всплывали на поверхность в наших беседах. Никто не хотел, чтобы в ПЕНе возникло противостояние подобно ООН, вместо этого мы должны были терпеть совершенно пустые разговоры. Я уже было начал сожалеть, что согласился. Нельзя сказать, чтобы я искал неприятностей, но, надо признаться, мы были не в состоянии навести мосты между враждебными культурами. Однако Богдан настаивал, что ПЕН жизненно важен и для югославов большую роль играет то, что я стал президентом,

особенно потому, что я американец.

— Начнем с того, что я не «американец». Мое правительство не особо жалует меня, да и никогда не было к этому склонно. Тем более что я не представляю здесь американский народ.

— Да, мы знаем, — отозвался он, загадочно обрывая фразу. Все было очень просто и невероятно абсурдно. Президент-американец, с их точки зрения, обеспечивал им определенную культурную независимость от попавшего под влияние Советов Востока. Приехав сюда, мы как бы попали в мир чистых символов, да еще в такой степени, что жизнь мне стала казаться сном.

Дама на сцене сбросила кофточку, продемонстрировав пару отнюдь не впечатляющих сюрпризов, но теперь я увидел, что у нее красивые ноги, и спросил новых приятелей, могут ли они на глаз определить, кто она по национальности. Богдан был хорват, двое журналистов — словак и серб, и каждый пытался откреститься — она была слишком мала для словенки, слишком худа для сербки и все в таком роде. Когда представление закончилось и она прошла мимо нас в голубом халате, унося одежду перекинутой на руке, я отклонился и спросил ее, откуда она родом.

— Дюссельдорф, — произнесла она, ни на секунду не задумавшись.

Мужчины подавили смешок, а потом и вовсе перестали улыбаться, показав, насколько свята и узаконена национальная проблема в этой стране. Стоило на минуту задуматься, и стало не до смеха. Мне вспомнились далекие тридцатые в Бруклине, пропитанные марксистским материализмом, когда стало понятно, что с уходом из общественной жизни поколения родителей именно на него будет возложена обязанность хоронить умерших евреев и поддерживать синагоги, ибо всем было совершенно ясно, что эпоха религий и малых докучливых национальностей навсегда канула.

Ощущение ирреальности бытия в Югославии отнюдь не уменьшилось. Об этом свидетельствует история на пляже под Дубровником. Выйдя из волн Адриатики, я уселся на камень около своего приятеля Богдана, когда тот сообщил, что это место кишит акулами, но он не хотел портить мне удовольствие и не предупредил. В Бледе я все пытался запомнить, кто есть кто, но мне без конца называли ничего не значащие имена журналистов каких-то неизвестных газет и журналов, профессоров университетов, о которых я никогда слыхом не слыхивал, пока окончательно не убедился, что такое огромное собрание людей абсолютно бесплодно и потому бессмысленно. С меня было довольно.

Медленно, но что-то все-таки стало меняться. Я встретил Стивена Спендера, который произнес впечатляющую речь о том, что присутствующие поэты, если это хоть кого-то интересует, должны читать свои стихи. Эта простая, но увлекательная идея на какое-то время встряхнула сонную аудиторию. Я заметил, что Игнацио Силоне, прозаик и ярый антикоммунист, мог мирно беседовать с Пабло Нерудой — чилийским поэтом и коммунистом. Тяжкие поиски увенчались успехом. Я нашел еще несколько настоящих писателей: Розамонд Леман, Ричарда Хьюза, Чарлза Олсона, Роби Маколи, Роджера Шетека, Сьюзан Зонтаг из англоговорящих, нобелевского лауреата из Югославии Иво Андрича. Оказалось, все с одинаковым скепсисом воспринимали то, что происходило, но в глубине души каждый надеялся, что из этого большого жестикуляционного мероприятия все-таки что-нибудь выйдет. Несмотря на весь скептицизм, я почувствовал некоторый энтузиазм относительно идеи международной солидарности писателей, хотя пока она едва вырисовывалась.

Я узнал, что усатый А. ден Доолард, кряжистый представитель нидерландского центра, много лет тайно наезжал в Польшу, распределяя средства ПЕНа между нуждающимися семьями писателей, заключенных в тюрьму.

Порешению Конгресса в Бледе был освобожден, хотя и не полностью оправдан, Михайло Михайлов, которого за «Москву летом 1964 года» на девять месяцев посадили в тюрьму, и даже присутствовавшие югославские бюрократы открыто выражали свою радость по этому поводу. Я знал, что Карвер без особого шума переговорил о его освобождении с Матеем Бором, возглавлявшим словенское отделение ПЕНа.

Прощаясь с западными писателями и разделяя их осторожность в разговорах с литераторами восточного блока, я не забывал, что американский ПЕН промолчал, когда в пятидесятые годы меня лишили паспорта. Но что было, то было, а теперь, пожалуй, появился шанс выражать негодование независимо от того, где притесняли писателей. С помощью Карвера мне удалось возродить влияние ПЕНа в Америке, а также в Африке и в Азии. Я решил, что следующий Конгресс надо будет провести в Африке (и действительно, в 1967 году нас принимал Берег Слоновой Кости).

Нашим общим врагом был ужасающий провинциализм. Я вспомнил обед в 1948 году у Лилиан Хеллман с двумя оправдывавшимися югославами, представлявшими свою страну в ООН, и испытал угрызения совести, насколько абстрактно мы обсуждали все проблемы за ее сверкавшим столом, как будто это был обыкновенный идеологический диспут! Югославы прямо-таки вырвали свою страну у немцев, а между тем в Белграде Богдан

показывал нам огневые щели, предусмотрительно заготовленные в верхних этажах жилых домов на случай советского вторжения после того, как Тито рассорился со Сталиным. «Все щели смотрят на восток», — сказал он. Те двое молодых представителя при ООН, конечно, не могли думать ни о каких щелях.

Большим событием в Бледе было появление семи советских наблюдателей, особенно учитывая, что они не ходили толпой, как это принято в их делегациях, а участвовали в дискуссиях «круглого стола» каждый сам по себе и без сопровождения. За исключением прозаика Леонида Леонова, все были аппаратчиками, но, на мой взгляд, это было не так уж важно, ибо они единодушно выражали мне свое расположение как новому президенту. Было понятно, что в официальных кругах ПЕН перестал считаться коварным инструментом западных спецслужб.

В старом замке, в крепости Бледа, зубчатая стена была таинственно подсвечена по поводу торжественного приема в честь закрытия Конгресса. Я оказался рядом с Алексеем Сурковым и сопровождавшими его членами делегации. Они вели спор с югославскими писателями, которые уже пребывали в приподнятом настроении, что лучше — водка или сливовица; те и другие были пьяны, но оставались славянами до мозга костей и пели старые партизанские песни, хотя следы от пуль в Белграде были в фасадах домов исключительно с восточной стороны, так что ПЕН, кажется, мог здесь сыграть свою роль, в крайнем случае обернувшись многообещающей иронией.

К тому времени я уже понял, что ПЕН может быть чем-то более весомым, чем просто выражать добрую волю. Независимо от меры их таланта собравшиеся писатели инстинктивно под давлением чувства самосохранения проявили интерес к моим словам, когда, открывая Конгресс, я сказал, что мы должны наконец выработать независимое от политической конъюнктуры представление о том, что такое свобода высказывания. Это не означает, что мы будем стоять вне политики, ибо репрессии — политический акт. Если мы хотим завоевать всеобщее признание, надо учитывать, что на пути к этому придется столкнуться с политическими трудностями. «Как случается, — сказал я в заключение, — трудно сделать что-нибудь хорошее, пока сам не попадешь в беду. Я не уверен в отношении пишущей братии в Америке, что с нами снова что-нибудь не случится, и, вполне возможно, нам понадобится ваша поддержка. Мы должны любую культуру воспринимать с одних и тех же позиций». Было приятно, что американская делегация аплодировала так же сердечно, как и русские, ибо я понимал, что судьба мира, как это еще раз доказал Конгресс, была в руках двух наших великих держав.

Но ПЕН, и мы все это прекрасно понимали, был весьма мало приспособлен к тому, чтобы выполнять свою универсальную задачу. По старинному каменному полу с серьезным видом сновали официанты, разливая приглашенным крепкое белое вино, отчего те становились все более пьяными, напоминая группу людей, которым удалось уцелеть в двух европейских гражданских войнах. Наверное, моей единственной заслугой было то, что, как американец, я далеко отстоял от этого и, будучи родом из Радомышля и Бруклина, оказался сторонним в их застарелых феодальных распрях. Они это поняли раньше, я позже, чем они, но этого оказалось достаточно, чтобы в моменты острых идеологических споров объявлять перерыв на ленч. Поначалу это всех удивляло, ибо случалось в одиннадцать и в одиннадцать тридцать утра. Вскоре, однако, они поняли, в чем дело, и стоило атмосфере накалиться, как с мест кричали: «Ленч!» — в том числе и полная болгарка, которую нельзя было заподозрить в отсутствии чувства юмора, хотя она по два, а то и по три раза на дню, без конца повторяясь, страстно приглашала меня посетить Софию, чтобы показать плантации роз, на которых производится основной продукт их экспорта — аттар.

В этом заключалась моя роль: быть искренним, поддерживать порядок и всячески способствовать неполитическими методами утверждению политических концепций свободы слова и независимости писателя. Мне очень помогало, что именно таковы были молчаливые чаяния большинства присутствующих, независимо от того, откуда они прибыли. Однако временами я совершенно терялся, пытаясь понять, что они хотят сказать. Какой-то венгр по ходу заседаний горячо защищал позицию своего правительства по отношению к писателям, отстаивая его сугубую цивилизованность, а наедине долго и нудно рассказывал мне на ухо: «Новый премьер-министр как-то вызвал к себе бывшего премьер-министра, известного сталиниста и своего бывшего начальника — все это, конечно, после смерти Сталина, — так вот, он залез на стол и приказал тому бывшему стать внизу и написал ему прямо в рот». (Полагаю, оба были марксистами.) Не знаю, был ли этот человек нездоров или здесь проявилось его безудержное желание продемонстрировать этакий американо-британский либерализм, который, несмотря ни на что, почитался у них образцом цивилизованного общества.

Совершенно неожиданно Сурков, возглавлявший Союз писателей, такой же широкогрудый, как обожаемые им Стейнбек с Хемингуэем, слегка отклонившись от стола, торжественно, если не воинственно, произнес: «Мы хотим вступить в ПЕН-клуб и согласны начать переговоры, надо бы только внести изменения в

правила и устав. Это можно было бы обсудить. Я вернусь домой, и мы вышлем вам приглашение, чтобы вы приехали».

Мы пожали друг другу руки. Мне было чем гордиться — хотя бы в одном уголке на поле мировой битвы намечалось нечто похожее на перемирие.

Когда я рассказал об этом Карверу, он вспыхнул от удовольствия, что ПЕН так быстро доказал свою необходимость, когда, казалось, уже отжил свой век, и мы решили, что Сурков будет настаивать на изменении процедуры голосования, о чем уже говорил с Карвером. В Советском Союзе много литератур на разных языках, и вопрос заключался в том, сколько они запросят себе голосов. В ООН есть представитель от СССР, а также делегаты от Украины и Белоруссии. Если дела пойдут совсем плохо, придется сравнить их требования с чем-то вроде желания иметь право голоса лос-анджелесским или чикагским отделениями ПЕНа, но, так или иначе, мы должны избежать, чтобы нас засосали легионы советских писателей, получившие большинство голосов. Далеко не все проблемы были разрешены, но нам удалось подвигнуть ПЕН к выполнению тех миротворческих задач, ради которых он создавался. Не боясь быть нескромным, я полагал, что именно убедительность того, о чем я говорил в своих пьесах, поставленных по обе стороны линии идеологической конфронтации, позволит мне начать строительство этого моста. Если только это действительно будет началом строительства.

В Москве довелось оказаться лишь через год с небольшим. К тому времени я научился хладнокровно управлять своими эмоциями, направляя в адрес Суркова бесконечный поток писем и телеграмм с протестами против ареста писателей не только в России, но в Литве и в Эстонии. Иногда удавалось помочь кому-то получить выездную визу или смягчить преследование евреев. Поэтому когда он ввалился со своей широкой улыбкой в номер моей московской гостиницы, я уже твердо знал, что если они будут вступать в ПЕН-клуб, то нам нужно будет придерживаться единой точки зрения на то, что здесь творится.

Дружба с менее преуспевающими советскими писателями помогла мне понять, чем была для них перспектива вступления в ПЕН — своего рода окном на запад, что давало в дальнейшем ряд практических преимуществ вроде перевода на европейские языки, что в настоящее время делалось достаточно случайно, и солидарности с западными писателями, гарантирующей большую свободу слова — если бы СССР вступил в ПЕН-клуб, то вряд ли кто-нибудь из советских писателей после этого мог исчезнуть незамеченным. Суркову и государственной системе участие в

ПЕНе гарантировало престиж на Западе, что, может быть, для русских являлось главным. Какие бы намерения ни питал Сурков, он, конечно, был достаточно умен, чтобы понимать, что ПЕН не отойдет от своих принципов, если они все-таки решат вступить в него, а так никто против их приема не возражал. Теперь наконец представился случай узнать, о каких «изменениях» он загадочно говорил мне в Бледе.

Вместе с Сурковым пришел какой-то профессор лингвистики, видом и манерами напоминавший располневшего викинга, типичный русский молодец из медвежьего угла, но весьма оживленный. Не помню, как его звали, вроде бы Нэт. Опрокинув несколько рюмок водки, они с Сурковым удобно уселись в креслах, пока в первые минуты мы говорили о погоде, обсуждая относительно низкие температуры на всем пространстве от Новосибирска до Филадельфии. Наконец Сурков решительно произнес: «Советские писатели хотят вступить в ПЕН». Слова прозвучали как окончательное решение.

Может быть, это сон, неужели скоро настанет время, когда писатели шестидесяти наций смогут свободно встретиться в Москве, Ленинграде или Ялте? Эта перспектива таила огромные возможности выйти из морального и политического тупика, в который зашла эпоха, приведшая к обнищанию всех и вся. Неужели наступит день, когда, разведенные по разные стороны, мы сможем открыто сказать о своих затаенных страхах и смиренно признаем, что надо начать сначала, чтобы понять, как жить в потоке непрестанных изменений в эпоху грозящего летальным исходом прогресса, вернув человека на подобающее ему место в хрупкой окружающей среде, подняв со дна, куда он оказался низвержен?

— Я счастлив слышать это, — сказал я. — Мы все будем только рады, если вы вступите в ПЕН. Наконец-то писатели смогут подать миру пример.

— У нас только один вопрос, — сказал Сурков, — но его нетрудно будет решить.

— В чем дело?

— Это касается устава ПЕН-клуба. Надо бы внести туда кое-какие изменения. Я думаю, с этим не возникнет особых трудностей.

Нэт поспешно переводил, но я почти забыл о его присутствии, несмотря на его габариты. Пока мы беседовали о погоде, он успел пожаловаться, что ничего не представляющие собой молодые поэты вроде Евтушенко и Вознесенского не успеют опубликовать несколько ничего не значащих строк, как уже знаменитости у себя в стране и ездят по белу свету и летают туда-сюда, а

труженики-профессора, всю жизнь отдавшие своей специальности, прозябают в безвестности и никуда не ездят, — и все это в ответ на вопрос, был ли он когда-нибудь в Америке. Тот же червь подтачивал сердца профессуры повсюду — это была еще одна общая черта, которую я надеялся выявить с помощью ПЕНа, показав, насколько мы все одинаковые и в то же время обладаем чувством юмора. Стояло время разрядки, и я был склонен повсюду видеть хорошее. Вьетнам взывал, мы там себя убивали, и для того, чтобы не потерять надежду, я должен был собрать всю волю.

— Что за изменения вы хотите внести? — спросил я, имея в виду процедуру голосования.

По его словам, выходило, что он подразумевает что-то совсем другое, и, потупившись, он уставился в ковер. Мои иллюзии начали свертываться, как бумага, брошенная в огонь. Насколько я помню, весь устав состоял из четырех кратких статей, в каждой из которых варьировалась одна и та же мысль, что писателю должно быть гарантировано право говорить, что он хочет, без всякой государственной или иной цензуры, и что, будучи членом ПЕН-клуба, он должен противостоять подобной цензуре как у себя дома, так и за рубежом. Что хотел изменить Сурков в этой прозрачно ясной литании?

— Давайте повременим, — произнес дородный бывший танкист. — Вот приедем на следующий конгресс и поговорим.

— Нет, нет, подождите, — спохватился я, сохраняя улыбку. Невероятно, но он говорил так, как будто был уверен в моей поддержке; это предполагало, что в дальнейшем я стану инструментом в его руках. Иначе зачем — если быть циничным, вдруг понял я — мне потребовалось приглашать их? Конечно, не для того, чтобы подорвать советскую цензуру. Мои надежды рухнули, и я продолжал из чистого любопытства: — Так что бы вы хотели изменить?

— Мы это обсудим на следующем Конгрессе.

— Отлично, но вы отдаете себе отчет, что никакие изменения в уставе не пройдут, пока мы все…

— О чем разговор, Миллер, вы сами можете все поменять. — Перегнувшись через ручку кресла, он наклонился в мою сторону и понимающе подмигнул, так что его сомкнувшийся глаз напомнил мне гильотину.

— Я?

— Стоит вам захотеть, и они все сделают. Вы же решаете.

— Это, конечно, лестно, но вы не поняли главного — по любым изменениям голосуют все члены ПЕНа.

— Да, но вы им подскажете, Миллер. Объясните, что от них

требуется…

— Здесь нужна предельная ясность. О каких изменениях идет речь?

— Есть отдельные моменты, которые советские писатели никак не могут принять, ну просто никак.

Ну разумеется. Все было очень просто: они никогда не согласятся отменить в России цензуру, даже протестовать против этого не будут. Ничтоже сумняшеся они в духе советских руководителей полагали, что я обладаю в ПЕНе диктаторскими полномочиями. А потому надеялись, что я помогу им переписать устав, отказавшись от его свободолюбивых целей. Единственное, что им было нужно, так это престиж участия в западной организации, переписав правила которой, они и дальше будут отстаивать свободу, переведя это, однако, в собственной стране на язык иных понятий и подкрепив муштру своих писателей международным авторитетом.

Я вспомнил нашу беседу, когда в восьмидесятые годы ЮНЕСКО приняла новую журналистскую хартию, согласно которой журналистам запрещалось критиковать правительства, а те, кто отваживался, могли даже потерять право на работу. Конечно, в тот момент я не мог представить себе такого ужаса, но интуиция подсказывала, что Сурков предлагает советское участие в ПЕНе в обмен на выхолащивание его деятельности.

— Я должен предупредить вас, что может разразиться скандал, — наконец выговорил я.

Было ощущение, как будто из меня выжали все соки, я был раздражен и очень хотел, чтобы он ушел. С его лица сползла отеческая улыбка.

— Это будет огромный шаг назад, если вы решитесь сделать то, что задумали. — Он даже не спросил моего мнения, настолько был уверен.

— Лучше все оставить как есть, чтобы избежать нового конфликта. Возможно, в будущем мы когда-нибудь придем к единой точке зрения, но пока устав ПЕНа полностью удовлетворяет меня и вам не следует рассчитывать на мою поддержку, если надумаете его менять.

Пирог подошел, но быстро осел. Когда дверь за ними закрылась, я остался один и меня с новой силой охватило отчаяние. Неужели они всерьез рассчитывали заменить хартию ПЕНа каким-нибудь «кодексом, — я тут же представил себе, — ответственности писателя перед лицом миролюбивых сил», чтобы в случае несогласия кого-либо его легко можно было выгнать из ПЕНа? Нетрудно было понять, к чему они клонят. Сурков, похоже, решил внедрить на Западе советскую «дисциплину», залив

отстоем многолетней советской системы контроля над писателями страны Возрождения и Просвещения. Короче, не была ли кампания вступления в ПЕН-клуб скрытой агрессией?

Сурков многое открыл мне за несколько минут. Самое печальное заключалось в том, что некоторые из знакомых советских писателей настаивали, чтобы я продолжал переговоры. Они надеялись на чудо, которое изменит политику; во имя этого я, по их настоянию, должен был действовать, пренебрегая нелепостью ситуации.

Но моя тревога рассеялась, когда я понял, что мир в целом все-таки против Суркова. Стремление к свободе заложено в человеческой природе, и такие, как он, обречены на поражение.

Стоило постичь это, как я снова разволновался, но теперь не только о русских. Вспомнились язвительные расспросы в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Конечно, это можно было бы сбросить со счетов, что не так-то легко в отношении советского общества, но как американская демократия смогла породить людей, которые не видели ничего незаконного в том, чтобы, пользуясь имевшейся в их руках властью, превращать политических диссидентов в изгоев?

Неужели этой битве нет и не будет конца?

Я вдруг задумался над необыкновенным рационализмом американского Билля о правах, порожденного не чем иным, как все тем же казуистическим человеческим разумом. В который раз Америка заставила восхищаться собой — удивительная страна, сама идея которой поражает.

Я уже говорил, что почти во всех моих пьесах есть юрист, о чем сам не догадывался, пока мне не написал человек, связанный с этой областью. Четыре года президентства в ПЕН-клубе, годы, отданные делу Рейли, открыли глаза на то, что идея законности являлась для меня наивысшей социальной реальностью, подобно тому как физические законы служат основой науки — последнее воззвание к порядку, разуму, справедливости. В некоем первичном смысле Закон есть промысел Божий.

Эта идея глубоко засела во мне, что стало понятно много позже, когда я уже не был президентом ПЕНа и мы с Ингой в 1978 году впервые оказались в Китае. Одним из первых, с кем довелось познакомиться, был эмигрировавший американец-юрист левого толка, более двадцати пяти лет прослуживший в Пекине переводчиком. Эпоха Мао, «культурная революция» миновали, и теперь он хотел разобраться не только в непонятном настоящем и туманном будущем, но, в силу профессионального интереса, в прошлом с его почти тотальным разрушением представления о

законе как таковом.

Я полагал, что достаточно информирован о положении в Китае американской прессой и теми, кто так или иначе следил за ситуацией в этой стране. Однако на мой вопрос, над чем они сейчас работают, практически каждый из писателей, с которыми доводилось встречаться, отвечал: «Я не готов писать, слишком долго этим не занимался». Что значит «слишком долго» и почему все одинаково не готовы? Это вызывало недоумение.

А как могло быть иначе, если мое представление о Китае сложилось в конце тридцатых годов — по статьям Эдгара Сноу о Великом походе и героической революции — и ход более поздних событий никак не повлиял на него. Тяжело было узнать, что из двух дюжин, или чуть больше, писателей, режиссеров театра и кино, актеров и артистов, с которыми довелось познакомиться в первые же недели, каждый либо ожидал ссылки, либо уже побывал где-нибудь в глухой провинции, где кормил свиней или сеял рис, порою лет по двенадцать. Многие лишились жен, которых тоже подвергали пыткам. Но все это было каплей в море.

Об этом нам кратко рассказал в поезде говоривший по-английски китаец, с которым мы ехали. Революция 1949 года застала его в Коннектикуте, и Министерство иностранных дел почти тридцать лет не давало ему вернуться. Он был профессором физики и теперь прибыл с твердым намерением возродить в Пекинском университете свой факультет.

Мы не могли поверить, что в Пекинском университете нет физического факультета, но это оказалось именно так.

— Десять лет назад хунвейбины разогнали его, — грустно рассказывал он. — Теперь вот разъезжаю по стране, разыскиваю бывших сотрудников. Их послали на тяжелые работы, сомневаюсь, смогут ли они вернуться на факультет. — В Китае в тот момент едва насчитывалось двести пятьдесят тысяч студентов — наверное, меньше, чем на Манхэттене, — и, конечно, требовалось время, чтобы все снова вошло в прежнюю колею. — Не говоря уже о том, что в области физики мы сильно устарели. В некоторых областях мы отстаем на десять, двадцать, а то и все тридцать лет…

Однако здесь все еще считалось дурным тоном, если кто-нибудь с Запада писал о революции Мао как о катастрофе. В «Китайских встречах» я привел беседу с американцем, тем самым юристом, с которым мы встретились в его пекинской квартире. Я задал вопрос, какие юридические меры могли бы в будущем гарантировать защиту от любых проявлений непререкаемого (и амбициозного) фанатизма под маской вооруженной революционной борьбы. Он не видел в том необходимости и в

некотором замешательстве произнес: «Партия знает, как поступать, и примет меры, чтобы такое больше не повторилось».

Но если бы в стране существовала независимая, свободная от политического давления система судопроизводства — например, апелляционный суд, может быть, это спасло бы Китай и он не был бы отброшен в своем развитии на десятилетия назад.

Американец-юрист вызвал во мне смешанное чувство сострадания и отвращения. Каждый из нас защищает свои духовные ценности — он отдал Китаю, где, казалось, не существует классов и господствует равенство, жизнь. Но единственное, что он смог теперь — именно теперь! — изречь: «Так называемое независимое судопроизводство — это вызов партии, как будто она может узаконить несправедливость. Тогда возник бы новый правящий класс, который стал диктовать людям свою волю. Но партия — это и есть люди, поэтому она не может подавлять самое себя, значит, нет никакой нужды в судьях или, как это на Западе, в особом отряде профессионалов, которые защищают невиновного».

Невероятно, но даже теперь, когда миллионы китайцев пострадали, лишились квалификации, были убиты, отсидели по тюрьмам из-за наветов той самой партии, этот рационалист-материалист марксистского толка слагал гимн в духе поэзии непризнания и был готов снова поверить в нее, уповая, что подобного не повторится. Есть ли такая идеология, подумал я, которая бы не зиждилась на обязательном попрании фактов?

Когда в 1983 году я вернулся в Китай, чтобы ставить в пекинском Художественном народном театре «Смерть коммивояжера», его руководитель и актер Ин Жошен, мой Вилли, показал мне во внутреннем дворе место, где лет десять назад хунвейбины выстроили в ряд несколько десятков актеров труппы и на их глазах издевались над шестидесятилетним Лао Ши, известным писателем, автором многих пьес и романов (его «Мальчик-рикша» с успехом шел в Америке в начале сороковых годов). На него надели кандалы и, обзывая буржуазным контрреволюционером, казалось, собирались жестоко избить, однако вмешался проезжавший мимо полицейский. Сделав вид, что должен арестовать гнусного предателя, он завел его за угол и отпустил. На следующее утро Лао Ши нашли на берегу неглубокого пруда. Его вдова считала, что он захлебнулся, оттого что его голову держали под водой, поскольку у него оказались сухие ботинки. Все остальные склонялись к мнению, что он покончил с собой от полного отчаяния.

Воспоминания наслаиваются, как наплывы геологических

пластов — глубинные породы неожиданно поднимаются вверх, чтобы снова исчезнуть в толще.

После приема у Горбачева мы с Ингой полетели в Лондон посмотреть два моих спектакля: в Барбикан-Пит актеры Королевского шекспировского театра играли пьесу «Потолок во дворце архиепископа», в Национальном театре Коттеслоу в постановке Питера Вуда шли «Американские часы». Маргарет Тэтчер урезала бюджетные субсидии, поэтому в обоих заведениях процветал дух театрального предпринимательства и авантюризма. Это выгодно отличало английские театры от истеричных нью-йоркских подмостков, пребывавших в страхе перед чьим-то мнением и придушенных коммерческими интересами. Для постановки «Американских часов» Национальный театр пригласил настоящую джаз-группу и занял в массовке уйму людей (по расценкам Бродвея, это стоило не менее полумиллиона). Несмотря на явно краткий репетиционный период, актеры, казалось, не испытывали волнения по поводу возможного провала или ожидаемого успеха, что создавало особую психологическую атмосферу, они собирались и играли не на потребу узкой группке избранных, а для широкой аудитории. Когда актер раскрепощен, он легко увлекает зрителя фантазиями, заложенными в пьесе. Эстетическое чувство людей не оскорбляет даже то, что приходится дорого платить за билеты.

Прошло более десяти лет с тех пор, как была написана пьеса «Американские часы». На спектакле Вуда я испытал чувство грустного удовлетворения — его прочтение оказалось глубоко созвучно моему первоначальному замыслу. Английскому театру удалось то, что оказалось не под силу американскому, где театральным языком едва ли можно говорить со зрителем на психологические и политические темы. Для меня пьеса была своего рода «фреской», изображением американского общества периода Депрессии, однако слово «общество» звучало на Бродвее как приговор. Пытаясь выбраться из сложившейся ситуации, я переписал обе пьесы, старался сделать «Американские часы» и «Потолок во дворце архиепископа» пригодными для театра, который сам для себя окрестил «запуганным». Кончилось, как всегда, тем, что я потом проклинал себя, но в своем тогдашнем безвыходном одиночестве ничего другого не мог поделать. Меня преследовала потребность в доступной форме воплотить эпический замысел, который был навеян распадом общества.

Обе пьесы, только появившись на свет, ставились в Англии в первой редакции и оказались не самой удачной попыткой объяснить то, чего, на мой взгляд, не хватало семидесятым, — единство психологического и социально-политического аспектов

бытия. Иными словами, я хотел отыскать точку отсчета, которая позволила бы нам вписаться в собственную историю. В «Американских часах» показаны объективные признаки распада общества, а в пьесе «Потолок во дворце архиепископа» — моменты истинной свободы. Казалось, все виды искусства разъел неброский, интригующий, гротескный, горький сюрреализм, бунтарская природа которого времен Первой мировой войны была теперь начисто забыта, и он стал просто чем-то престижным, этакой разнузданной формой натуралистического репортажа об изломах жизни, начисто лишенных нравственной сути. В некотором смысле этот метод явился попыткой во что бы то ни стало избежать встречи с судьбой, которая изначально трагична и вне социального контекста грозит обернуться патетикой. В искусстве это привело к тому, что стали возносить разорванность как таковую, что не имело ничего общего с опытом, на основе которого рождается новая целостность, вооружающая оригинальным видением жизни. Сюрреализм оказался презренным натурализмом, так же как и тот, неспособным предложить альтернативу тому, что и как мы творим.

Но целостность, о которой мечталось, если и возможна в нашем театре, считается тем органичнее, чем экзотичнее ее истоки. К примеру, поражающий смелостью театр Атола Фугарда с его социальными реминисценциями едва ли получил бы столь теплый прием, если бы пьесы ставились не на Бродвее, а в негритянских районах Ньюарка, Филадельфии или Гарлема. Отсутствие дистанции лишило бы их романтического налета, обнажив опасное клокотание расового гнева — проблемы, с которой американцы в своем большинстве предпочитают встречаться на расстоянии.

У Питера Вуда около двадцати лет назад, в ранней молодости поставившего в Лондоне «Случай в Виши», теперь была в Национальном театре своя труппа, с которой у него сложились самые теплые отношения. Приступая к постановке «Американских часов», он расспросил меня о моем толковании пьесы, которая потерпела неудачу на Бродвее. (Если быть точным, то, несмотря на аншлаги, режиссер после первых спектаклей был вынужден снять ее, ибо не осталось ни цента на рекламу, — таковы жесткие и бессмысленные законы Бродвея.)

Вопрос Вуда заставил меня вспомнить о первоначальном замысле, и я признался, что был увлечен эпическим решением в стиле фресковой живописи: несколько лиц крупным планом на фоне социальных или религиозных катаклизмов — «Герника» Пикассо, работы Риверы или Ороско. Еще более я тяготел к полотнам Иеронима Босха, не говоря о других произведениях на

религиозные темы. Обычно сюжетом служила сцена с Девой Марией, Христом и святыми, рядом с которыми художник запечатлевал своего патрона, друзей, врагов, а то и самого себя, объединенных возвышенной темой воскресения или спасения.

С близкого расстояния можно было различить портреты, но, подчиняясь некой общей идее, они растворялись на общем фоне. Автор не скрывал и не затушевывал этого. Сценически пьеса должна была решаться как водевиль, быть экстравагантной, замысловатой по стилю и самоироничной, ибо речь в ней шла о том, не подошла ли Америка к той роковой черте, которая определена ей, как и любой другой цивилизации. Вопрос поставила Великая депрессия, а разрешение ему нашла Вторая мировая война, одним ударом разрубив узел неурядиц с безработицей и потреблением.

«В финале, — сказал я ему, — должно возникнуть ощущение, что, пережив огромную социальную трагедию, Америка обретает былую уверенность в своих силах и веру в то, что все будет устроено так, чтобы оно работало. Другими словами, возникает ощущение внутренней энергии, которую несет в себе демократия. Хотя вопрос о выживании не находит ответа».

Таковы были две мои пьесы, которые на родине заклеймили как невыразительные и пустые. В Лондоне театры ломились — «Американские часы» перенесли на сцену «Оливье», самую большую из трех площадок в Национальном театре. И выдвинули на премию как лучшую пьесу сезона. Несмотря на отсутствие единодушия, в английской прессе не нашлось влиятельного критика, который силой своего авторитета опустил бы перед ней занавес. Вдобавок Элан Эйкборн вскоре поставил в Национальном театре «Вид с моста», где в роли Эдди Карбоне выступил Мишель Гамбон (позже постановка переехала в Уэст-Энд). Таким образом, в Лондоне одновременно шли три мои пьесы, в разной степени раскритикованные в предшествующие тридцать лет и изгнанные со сцен Нью-Йорка.

Может быть, журналисты наконец перестанут спрашивать, что я написал в семидесятые годы, и задумаются, почему, пережевав и выплюнув столько достойных американских пьес, бесплодный союз всесильной нью-йоркской газеты и бестолкового, если не беспринципного, руководства театрами обрел такую мощь, что его отдельные представители — трудно вообразить! — умудрялись процветать и становиться богачами в тот момент, когда театральное дело хирело, пребывая на грани гибели.

Мне кажется, страну лишило театральной культуры отсутствие реальных связей с прошлым. Пример тому — моя жизнь. Долгие годы мои пьесы шли по всему миру, но не в Нью-

Йорке. Потом Джордж Скотт поставил «Смерть коммивояжера», Тони Лобьянко на Бродвее — «Вид с моста», Дастин Хофман сыграл в новой постановке «Смерти коммивояжера», Ричард Кили показал «Всех моих сыновей», и, вспомнив с десяток других постановок в разных городах страны, все разом заговорили о моем «возрождении», когда на самом деле я был всего лишь невидимкой у себя дома.

Печальное положение театрального дела в нашей стране навевает горькие воспоминания. В 1986 году Роджер Эллам отказался от центральной роли Джаверта в никуда не годном сериале «Les miserables»[27], хотя до этого играл ее уже раз шестьдесят, ради роли Адриана, одной из четырех заглавных ролей в спектакле «Потолок во дворце архиепископа» в постановке Королевского шекспировского театра, посчитав это для себя в тот момент более престижным. При этом он отнюдь не считал, что совершил нечто из ряда вон выходящее. Вот что такое подлинная театральная культура, которую едва ли сыщешь в Нью-Йорке, где вряд ли найдутся актеры, которые могли бы позволить себе такое даже в мыслях. Наилучшей аналогией, пожалуй, будет медицина, где над одними и теми же проблемами работают ученые и практикующие врачи, которым конкуренция только помогает оттачивать мастерство и совершенствовать идеи. Легко понять, что многие результаты не оправдывают себя с коммерческой стороны, но разве великие прорывы в неизведанное возможны без сопутствующих бесплодных усилий и ошибок? И дело не в том, что в американском театре нет великих пьес, а в том, что он не замечает хороших, которые служат почвой для рождения гениальных.

* * *

Теперь кажется, что меня всегда искушали два театра — тот, который есть, и которого нет. Работая в начале восьмидесятых над новой большой пьесой, я неожиданно написал для этого второго, идеального, театра две одноактовки. Суть «Элегии о даме» заключалась в том, что помимо двух действующих лиц там присутствовала еще авторская точка зрения. Это должно было сделать пьесу нейтральной, как процесс познания. Мужчина входит в художественный салон в поисках подарка для умирающей любовницы. Хозяйку салона подкупает его неуверенность: он боится, как бы случайный предмет из тех, что ему предлагают, не отозвался горьким напоминанием о ее болезни либо лишний раз не подчеркнул его вину, что их

отношения так и остались неоформленными. В какой-то момент хозяйка салона сама начинает казаться той умирающей женщиной. Игра теней под сенью древа смерти. Похоже на картину Эшера, где вода, нарушая привычный глазу закон гравитации, бежит не вниз, а вверх, напоминая, что «объективная» реальность не более чем плод досужего воображения.

Я поставил «Элегию» в крошечном «Лонг Уорф театр» в Нью-Хейвене. Она шла вместе с другой пьесой, «Такая вот любовная история», о стареющем частном детективе в каком-то заштатном городке. Он расследует дело по просьбе женщины, которая, кажется, искренне увлечена желанием доказать невиновность пострадавшего, но в то же время оказывается причастной к его осуждению. Для детектива она — и проститутка, и живой укор его представлениям о нравственности правосудия, и пробудившее в нем забытую чувственность существо. В обеих пьесах объективная реальность едва намечена, ибо мир есть то, каким персонажи представляют его себе, обреченные по воле желания руководствоваться иллюзиями, в чем отдают себе отчет.

В последние годы меня все больше занимает проблема временных разрывов, моментов, когда глубоко захороненные пласты пережитого всплывают и, воспринимаясь совершенно по-иному, многое высвечивают из глубины. Именно это я пытался проследить в двух одноактных пьесах, объединенных общим названием «Осторожно: память!», которые написал в конце восьмидесятых, особенно в одной из них, под названием «Клара». Убийство дочери в ее нью-йоркской квартире-офисе заставляет Альберта Кролла пережить страшное потрясение, глубина которого открывается в его предельно откровенных ответах на вопросы детектива. Ключом к установлению личности убийцы становится анализ характера дочери. Кролл понимает, что причиной гибели стал ее идеализм; она занималась тем, что помогала встать на ноги людям, вернувшимся из-за решетки. Подозрение падает на одного из подопечных, в которого, насколько отцу известно, дочь была влюблена. Он возражал против их союза, но не смог помешать ему, хотя Клара призналась, что парень отсидел срок за убийство подружки.

Постепенно проясняется, что идеалистические воззрения Клара унаследовала от отца. Он прожил скромную, но достойную жизнь, всячески стараясь помогать людям. Такого Уитмен назвал бы «демократическим человеком». Но за последние двадцать лет Кролл сильно изменился, стал как и все и, работая клерком в строительной конторе, закрывал глаза на разные махинации. Это вовсе не означает, что он был плохим, но идеал потускнел, юношеские надежды и вера в людей испарились.

В залитой кровью комнате, где была убита дочь, он вновь столкнулся со своим идеалом. Что делать: отказаться от него в силу чувства вины и раскаяния за тот итог, к которому это привело дочь? Или признать трагичность жертвы, принесенной во имя того, что он сам когда-то так высоко ставил, и, вопреки очевидному, подтверждать верность идеалам, вернуться к прежней вере в человечество, которая питает лучшее в нем самом? В финале пьесы он отвечает на вопрос утвердительно: в гибели дочери он обрел себя, поняв, сколь трагичен отказ от ценностей, которые так и не смог развенчать.

Образ Альберта Кролла не понял никто, кроме нескольких так называемых второсортных критиков, кое-кто из обозревателей телевидения, три английских журналиста британских газет и зрители, которые ежевечерне до отказа заполняли «Митци Ньюхаус» в Линкольн-центре, совершенно игнорируя то, что критики не могут разобраться даже с сюжетом. Это нисколько не удивило меня после четырех десятилетий работы в нью-йоркском театре, и не только там. Никто не захотел понять, что Кролл олицетворяет на нашей сцене опыт последних послевоенных десятилетий и является попыткой разобраться в них. «Клара» же вызвала чрезвычайно бурную реакцию у молодых драматургов, которые завалили меня письмами: воистину пьеса приземлилась на неизвестную нью-йоркской прессе территорию. Я никогда прежде не получал столь восторженных отзывов, а значит, мои усилия не пропали даром. Творческая молодежь поняла, что я практически отказался от обычного драматургического инструментария, оставив лишь два ведущих голоса — детектива и Кролла, реализма и плоти в диалоге с бессмертным духом, посланным людям в их страданиях и обретениях, — голос косного в жизни и вечно живого в смерти.

Глубоко в душе Господь — комедиант, который любит, чтобы мы смеялись.

В 1978 году, узнав, что я в Париже, Жак Гусман, возглавлявший Бельгийский национальный театр, настоял, чтобы я приехал в Брюссель на двадцать пятую годовщину постановки «Салемских ведьм», ибо именно в его театре впервые в Европе была сыграна эта пьеса. Подъехав к бельгийской границе, я понял, что забыл паспорт в Париже, но таможенник, оказавшийся большим любителем театра, милостиво разрешил мне пересечь ее. Инга, как все добропорядочные европейцы, не могла представить, как можно было забыть паспорт, но меня поразил контраст между легкостью в отношении к документам, с которой я столкнулся теперь, и совершенно иной ситуацией двадцать пять

лет назад, когда Госдеп не дал мне права на выезд.

На приеме, устроенном в мою честь Генеральным консулом нашего посольства, он, естественно, предложил мне свои услуги на время нашего пребывания в Бельгии, и я спросил, не могли бы они на следующий день выдать мне новый паспорт, ибо мы собирались тут же отбыть в Германию. Он был рад оказать услугу и полагал, что все уладит к утру, в поразительный срок для такой процедуры.

Когда на следующий день я открыл дверь и вошел в приемную, около дюжины мужчин и женщин, оторвавшись от своих дел, подняли головы и зааплодировали. От удивления я улыбнулся и поблагодарил их — меня поразило, что время свершило свой круг. Я вспомнил, как в 1954 году мы с Монти Клифтом заехали в Бюро оформить мой паспорт для поездки в тот же самый Брюссель на европейскую премьеру «Салемских ведьм», а через несколько дней я получил отказ от возглавлявшей паспортный отдел Рут Шипли. Где теперь была госпожа Шипли? Я, вне всяких сомнений, был здесь, мне аплодировали сотрудники американского посольства, и «Салемские ведьмы» здравствовали и процветали.

Навстречу мне вышел Генеральный консул и спросил, не могли бы мы поговорить несколько минут в его кабинете. Сохраняя на лице напряженную улыбку, он сказал, что хотел объяснить, почему приложил столько энергии, чтобы как можно быстрее оформить мой паспорт. Сидя на фоне флага за широким столом, этот высокий человек, которому перевалило за пятьдесят, при свете серого бельгийского дня, проникавшего сквозь широкие задрапированные окна, рассказал мне свою историю.

Во времена Маккарти у него тоже были неприятности с Госдепом. Его попросту выгнали оттуда, и ему пришлось судиться, чтобы вернуться на работу. Это была дорогостоящая юридическая процедура, пришлось заложить фамильный дом и в течение шести лет зарабатывать на пропитание, настолько непросто было завоевать положение после того, как ты оказался выброшенным государством.

Получив отказ на свой запрос, почему его уволили из внешнеполитического ведомства, он настоял, чтобы в Департаменте провели открытое слушание, и узнал-таки, в чем дело. Местом его первой службы был Каир, и, будучи не женат, он жил на квартире вместе с другим молодым сотрудником посольства, оказавшимся гомосексуалистом. Это означало, что он, Генеральный консул, тоже непременно должен был быть гомосексуалистом. Причем никого не интересовало, что квартира для совместного проживания была ему предоставлена

официально, — кому какое до этого было дело, когда Джо Маккарти и Рой Коэн, сам тайно занимавшийся этим, объявили войну ветряным мельницам, начав борьбу с захлеснувшей Госдеп «порочностью».

Слушание вел сотрудник Госдепа Грэм Мартин, убежденный консерватор, позже наш последний посол в Южном Вьетнаме, руководивший жуткой эвакуацией сайгонского посольства. Он обратился к Скотту Маклауду, отвечавшему в Департаменте за службу безопасности, главному недругу Генерального консула, и поинтересовался, действительно ли этот факт послужил основанием для его обвинения в неблагонадежности. Маклауд конфиденциально подтвердил, что так оно и было. Тогда Мартин приказал немедленно восстановить Генерального консула в его звании и вернуть невыплаченную зарплату, да еще с процентами.

Когда мы при прощании пожали друг другу руки, Генеральный консул радостно улыбнулся. «Я решил, что вам наверняка интересно узнать, почему я так торопился с оформлением вашего паспорта», — сказал он. Я же подумал — хорошо, что я живу так долго.

Восторженность — своего рода форма юношеского ослепления, она полна света, переливов и не несет в себе ничего определенного. Подобно радуге, это некое посещающее тебя видение, которое удаляется по мере приближения к нему.

Тем не менее мой отец с возрастом становился все восторженнее. Он любил стоять перед театром, где шла моя пьеса, и каждый раз обязательно вступал в заговор с кассиром. «Откуда ты знаешь, правильно ли они отчисляют тебе твою часть?» — спрашивал он у меня. И впрямь, откуда я знал?

В 1962 году, уже после нашего развода, Мэрилин попросила его сопровождать ее в день рождения Кеннеди в Мэдисон-сквер-Гарден, где представила его президенту. Отец очень дорожил фото, сделанным по этому случаю каким-то газетным репортером. Откинув назад голову, Мэрилин смеется, в то время как Кеннеди, радостно улыбаясь в ответ на какое-то, не сомневаюсь, остроумное замечание отца, пожимает ему руку. Я не уверен, что в оставшиеся четыре года своей жизни отец тратил много времени, выискивая свое имя в колонках светских сплетен и новостей, пока в один прекрасный день, когда ему было около восьмидесяти, не обратился ко мне мрачно с вопросом: «Это ты на меня похож, или я на тебя?» Причем со всею серьезностью. «Я думаю, что все-таки я на тебя похож». Мне показалось, ему понравился мой ответ.

Как странно — не только я соперничал с ним, но и он со

мною. То, что он тогда слегка разочаровал меня, свидетельствовало, что он все еще в какой-то мере оставался для меня загадкой.

Он был типичным американцем и все воспринимал в сравнении. Как-то однажды наш старенький бассет Хуго, толстенный пес, чья неподвижность находилась в прямой зависимости от его размеров, с важным видом поднялся после сна и неожиданно напал на тряпичную куклу, начав подбрасывать ее в воздух, угрожающе рыча и терзая снова и снова, а потом опять улегся в своей обычной позе, прикрыв ухом глаза. Отец недоуменно наблюдал за взрывом этой необычной подвижности, а затем произнес: «Ну что ж… каждому надо хоть над кем-то главенствовать». Последние годы отец провел на веранде дома престарелых в Лонг-Айленде. Он сидел в белом парусиновом картузе, пристально глядя в море, и время от времени что-то бормотал. «Знаешь, иногда я вижу там вдалеке точку, она становится все больше, больше, пока не превратится в корабль». Я объяснил ему, что земля круглая, и рассказал все, что знал об этом. За восемьдесят лет у него не было времени посидеть и посмотреть на море, на него работали сотни людей, он пошил десятки тысяч плащей и разослал их по городам и весям Соединенных Штатов, а теперь наконец сидел и смотрел на море и говорил с радостным удивлением, восклицая: «Подумать только, она круглая!»

Он умер в тот день, когда я должен был произносить речь на открытии в 1966 году нью-йоркского Конгресса ПЕНа. Мама умерла за пять лет до этого, и я не испытал ничего, кроме глубокой грусти, когда, взглянув на нее в гробу, неожиданно услышал голос раввина Миллера — он не был нам родственником, этот старый согбенный человек, которого я помнил еще с дней юности, но не видел уже лет двадцать с чьих-то последних похорон, — и удивился безыскусной простоте и проникновенности его голоса, тому чуть ли не жизнерадостному спокойствию, с которым он в глубокой серьезности провожал ее в последний путь. Неожиданно слезы набежали на глаза, когда я представил ее в этом гробу молодой женщиной, — жизнь, прожитая в ожидании, с гордостью за своих детей, но только не за себя. Я пожалел, что не позволял себе более открыто выражать ей свою любовь, ибо знал, что был воплощением ее несбывшихся амбиций, и это пресекало любое непосредственное выражение чувств. Наши отношения остались незавершенными, ее смерть наступила слишком рано.

Несмотря на то что умер отец, я решил, что произнесу речь на открытии Конгресса, и меня удивило, что смог это сделать. Я

переживал подъем — на Конгрессе в течение недели во время лучшей из нью-йоркских весен, которые довелось пережить, повсюду чувствовались ростки новой жизни. И дело было не только в том, что приехало много крупнейших писателей со всего мира, но и в том, с какой серьезностью они отнеслись к решению реальных задач, в первую очередь касавшихся защиты культуры. Впервые на моем веку тут не было разделения на правых и левых. До окончания «холодной войны» было далеко, но писатели самых различных политических настроений проявили редкое единодушие, отказавшись свести глубоко информативные дискуссии о положении писателей и издательского дела в самых различных уголках земного шара к простой полемике.

Писатель Валерий Тарсис, незадолго до этого покинувший Россию, где его подвергли принудительному лечению в психиатрической лечебнице, выйдя на трибуну, признал «холодную войну» неэффективной и потребовал атомной бомбардировки Советского Союза. Аудитория была поражена. Но когда я, как председатель, осудил его речь за нетерпимость как по смыслу, так и в плане пренебрежения задачами ПЕНа, раздались сердечные аплодисменты, причем хлопали со всех сторон. И даже антикоммунистический центр «Писатели в ссылке» быстро и однозначно отрекся от этого выступления. То, о чем я едва смел мечтать во время своей первой встречи с Карвером в квартире Инги, свершилось: на повестке дня стояли не вопросы борьбы за чистоту идеологических позиций, но проблемы реальной жизни.

Мне кажется, наиболее многообещающим и полезным оказалось то, что на Конгрессе встретились латиноамериканские писатели. Я заметил, что во время заседаний они собирались группками в коридорах и на последних рядах, восторженно перешептываясь на испанском и обнимаясь, как новообращенные друзья. Многие из них жили не далее как в нескольких сотнях миль друг от друга, но не имели денег на путешествие и впервые встретились здесь, в Нью-Йорке, благодаря тому что их приезд финансировался собранными для этой цели Американским центром средствами.

Переводчик Луи Галантьер и юрист Юлий Изакс, немало времени посвятившие ПЕНу из одного интереса к писательской среде, добились того, что Госдеп снизил квоту (куда были еще не включены бывшие нацисты) приема «политически нежелательных» лиц, и в Конгрессе смогло принять участие блистательное созвездие латиноамериканских писателей (за исключением кубинцев, которые сделали вид, что получили приглашение слишком поздно, — нелепая уловка, которая тем не менее позволила им позже обвинить Неруду, будто он продался

империализму, что его задело, и он, судя по мемуарам, никогда не простил им этого).

Я предложил тут же провести небольшой конгресс латиноамериканских писателей, и они быстро и восторженно откликнулись, собравшись в одном из залов в гостинице «Грэмерси-Парк». До американцев и европейцев еще не дошли отзвуки великого взрыва латиноамериканского романа, но уже жило предощущение грядущего, к которому все они, независимо от стран и социальных условий, имели отношение. Присутствие центриста перуанца Марио Варгаса Льоса, аргентинца правых позиций Виктория Окампо и мексиканца Карлоса Фуентеса с его левыми симпатиями открыло для меня горизонты новой литературы, полной созвучия, как в глубине души я и предполагал, жизненно важным проблемам и возможностям. Короче, литература была призвана говорить о современной человеческой жизни и тем самым изначально противостоять несправедливости как разрушению этой жизни. Конгресс был посвящен теме «Писатель как воплощение независимого духа», и, естественно, разговор коснулся «чистого» и «ангажированного» искусства, или, как сказал Фуентес, проблемы Малларме и Диккенса. Однако для Латинской Америки, как и для Соединенных Штатов, подобное противопоставление, думаю, не играло особой роли, ибо Неруда и Борхес, Карпентьер и Астуриас, Октавио Пац и Кортасар отстаивали одни и те же интересы, будучи приверженцами жизни духа и его свободного становления. Открывая Конгресс, я в своей речи за два дня до этого остановился на иной трактовке той же проблемы: основа нашей взаимной терпимости коренится в осознании того, что в разных странах люди живут в неодинаковых условиях и поэтому писателям и литературе следует предъявлять особый счет, ибо жизнь в ее полноте не могут воспроизвести никакие политические формулы. В качестве примера я сослался на то, о чем говорил в Лондоне на ежегодной международной встрече, что нам нельзя забывать о тех сотнях писателей, которые томятся в тюрьмах по всему белу свету.

Теперь я понял, что ПЕН может стать совестью мирового сообщества писателей. И надо было подавить гордыню, что именно американские писатели подняли этот вопрос, оказавшись, с их непомерной рассудительностью и неизлечимым идеализмом, возможно, единственными, кто мог его поставить. Если ПЕН был когда-то подобием литературного клуба, то теперь все изменилось.

Само наличие на встрече разнообразия точек зрения открывало новые перспективы. Неруда, могучее древо

латиноамериканской поэзии, с которого в далекие тридцатые началось мое знакомство с латиноамериканской литературой, приехал с чувством обиды, зная, что нам пришлось получать специальное разрешение на его въезд в страну. Но на него со всех сторон обрушились приглашения читать стихи, и он дважды выступал на 92-й улице и даже сделал несколько коммерческих записей. Из книжного магазина Добера и Пайна он не мог выйти несколько часов подряд, покупая Уитмена и все, что нашел о нем, а также сонеты Шекспира. Когда он заглядывал в книгу, брови ползли вверх, и он становился похож на экзотическую птицу, какого-то огромного крупноголового попугая. Несмотря на отрицательное отношение к нашей политике в Латинской Америке, нельзя было не почувствовать его теплоты к Нью-Йорку и Америке.

Путешествуя вместе с ним и с Ингой по Уиллидж, я больше всего был озадачен тем, как человек такой мощи духа все еще поддерживал Сталина. Единственное, чем я мог объяснить его заблуждение, — глубокое неприятие буржуазного общества, породившее почти религиозную лояльность к тому сну, которым Россия оказалась для доверчивых тридцатых, к стране, не признать жизнь которой он считал для себя бесчестьем. Этому, бесспорно, способствовала постоянная ориентация американской внешней политики на поддержку правых диктаторских режимов, так что даже у самых умеренных реформаторов на местах не оставалось другого выхода, как поддерживать советскую модель.

В дни работы Конгресса в мой адрес поступило множество телеграмм наподобие той из Лондона, где сообщалось, что жизнь нигерийского писателя Уоле Соинка, чье имя я едва знал, находится в опасности. Выяснилось, что он взял на себя роль связного между представителями отколовшейся Биафры и нигерийского правительства, которые искали пути мирного урегулирования страшной гражданской войны. В телеграмме спрашивалось, не мог бы я срочно отправить послание с просьбой о помиловании Соинка в адрес генерала Гоуона, возглавлявшего близкую к победе армию нигерийского правительства.

У Дэвида Карвера в Лондоне был знакомый английский бизнесмен, некто Дэвис, который вылетал в Нигерию и мог доставить послание президенту. Увидев мою подпись, Гоуон недоверчиво спросил Дэвиса, не я ли писатель, который был женат на Мэрилин Монро, и, получив утвердительный ответ, приказал освободить Соинка. Мэрилин бы очень порадовалась этому.

Другой писатель, Фердинандо Аррабаль, испанец, бежавший

от Франко в Париж, приехал в Мадрид посмотреть одну из своих пьес и имел неосторожность надписать какую-то из своих книг неприличным стихотворением в адрес Франко. Как это ни кажется невероятным, ему грозило несколько лет тюрьмы за оскорбление каудильо, когда его друзья сообщили мне, что судья — afficionado театра и мое послание окажут на него благотворное влияние. Ибо, не говоря о других пьесах, «Смерть коммивояжера» долго не сходила с мадридских подмостков. В телеграмме я заверил достопочтенного господина, что Аррабаль — драматург первой величины и я давно питаю к нему особую симпатию, после чего судья позволил столь выдающемуся человеку, как Аррабаль, покинуть Испанию с обещанием никогда больше туда не возвращаться.

Так я стал использовать завоеванный авторитет, способствуя разрешению подобных ситуаций во всех уголках света — в Литве, Южной Америке, Чехословакии, в странах Латинской Америки, Советском Союзе, Корее и не единожды у себя под боком, в Иллинойсе, Техасе и других штатах. Отстаивая свободу от цензуры, ПЕН наконец стал настоящей опорой в осуществлении тех задач, ради которых когда-то и создавался.

Три дня подряд мы ведрами с холма на холм таскали сотни саженцев, не без некоторой дополнительной помощи высадив все шесть тысяч. Инга была беременна, но держалась молодцом — за четыре часа до схваток она еще умудрилась что-то фотографировать с башенного крана в Бруклинском порту — и аккуратно расправляла корешки в ямках, которые я делал, отваливая землю плоской лопатой. Из сердца Европы она привезла благоволение к святости подобных мгновений, когда открывается высший смысл бытия. Прошло двадцать пять лет, саженцы высотой по щиколотку превратились в густой бор — стволы сосен в обхват толще телефонных столбов. Ребекка выросла и стала молодой женщиной — она художница и актриса. Ее брат Роберт снимает в Калифорнии фильм, сестра Джейн, жена скульптора, посвятила себя дому и прекрасно ткет. А трое малышей — внучкам два и четырнадцать, внуку шесть — дети Боба — радостно кричат мне: «Дедушка!»

Надо признаться, я противлюсь этому слову — Боже, ведь я только что начал! Что делают эти крошечные существа у меня на коленях, лепеча страшный приговор со всеми вытекающими из него последствиями? Они так свято верят, что я дедушка. И я задумываюсь, кто я есть. Но постепенно вошел во вкус новой роли, даже порой самому хочется попробовать назвать себя так, и я снимаю трубку: «Алло! Это говорит твой дед!» — как будто я не

есть некто, старательно разыгрывающий эту глупую жизнерадостность.

Все пережитые удары остались во мне, но отошли на задний план. Недавно пришлось участвовать в митинге против применения ядерного оружия, который проходил в местной городской школе. Каждый должен был представиться и сказать, сколько лет живет в Коннектикуте. «Я Джон Смит, живу здесь семь лет» — как будто это прибавляло авторитета. Долгожителем оказался человек с двенадцатилетним стажем, если не считать молодой женщины, чьи предки обосновались здесь еще в 1680 году. Я сам, несколько сомневаясь в этом, признался, что живу здесь уже сорок лет. В мою сторону обернулись. Я был стариком. О'кей, но как узнать, кто я на самом деле?

Больше половины жизни прошло в Коннектикуте. Каждый раз, кончая очередную пьесу или книгу, я говорил себе, что вот теперь-то поживу в городе, где жизнь бьет ключом. Кое-что из сорокалетнего заточения в этом временном пристанище кажется теперь смешным. Думаю, если бы мы перестали убивать друг друга, то стали бы милейшими существами, не лишенными чувства юмора. Разочарование рассеивается, когда вспоминаю, сколь ко многому здесь причастен, разумеется, не считая восходов и закатов, появления молодой листвы, осыпания пожухлых листьев и случайного, как недавно, появления в здешних местах койотов. Леса, спускающиеся от Канады, стали обширнее, чем в дни юности Линкольна, хозяйства постепенно хиреют, и поговаривают, что сюда забрел с севера какой-то странный медведь, да вот теперь еще и койоты. Я их видел. У них такая хитренькая ухмылка, как будто только что где-то что-то стянули. Их по глазам не спутаешь с собаками, на которых они похожи, — в них горит голубой огонек вины, но нет намека на понимание, смесь расчета и настороженности, что прирученная человеком собака утеряла тысячи лет назад.

Теперь они рыщут по округе, пытаясь устроить свою жизнь и завести потомство, совсем не интересуясь тем, что поселились в моем лесу. А я сижу в своей мастерской и порой в сумерки наблюдаю, как за голыми зимними стволами осторожно мечутся их тени. Мне кажется, я так же, как и они, живу, стараясь, чтобы после меня могли жить другие, те, кто придут следом. В такие моменты непонятно, кому принадлежит эта земля и в чью кровать я ложусь, отходя ко сну. В темноте им виден огонек в моих окнах, и они замирают, вытянув морды: кто я и что здесь делаю, сидя у себя в домике при свете. Я — загадка для них, пока им не надоест, а затем они уходят. Однако истина, вечная истина в том, что, взирая друг на друга, мы едины. И даже деревья.

Наплывы времени
История жизни

Артур Миллер (1915–2005) – величайший американский писатель второй половины XX века, известный драматург и блестящий сценарист, лауреат многочисленных национальных и международных литературных наград, в том числе Пулитцеровской премии.
История непростой жизни, в событиях которой как в зеркале отразился весь путь развития искусства и литературы прошедшего столетия.
Артур Миллер рассказывает
не тольк
великих одила
его суды исе
и Элиа К мане
и Вивье
Лоуренс шей
жене, пр й
Мэрили

www.elkniga.ru
ISBN 978-5-17-065533-5
9 785170 655335

notes

Примечания

1

С отличием (*лат.*).

2

Обряд конфирмации (*идиш*).

3

В русском прокате — «В джазе только девушки». — *Здесь и далее примеч. пер.*

4

Еврейская воскресная школа (*идиш*).

5

В массовом масштабе (*фр.*).

6

Проспитесь! (*нем.*).

7

Поучительно (*лат.*).

8

Манеры (*им.*).

9

Наречие (*ит.*).

10

Сверхчеловек (*нем.*).

11

Собрание (*фр.*).

12

Ветчина (*ит.*).

13

Крик души (*фр.*).

Тление (*лат.*).

15

Ремесло (*фр.*).

Любители (*исп.*).

17

По Фаренгейту.

18

Вполголоса (*ит.*).

19

Нарастание (*ит.*).

20

Здесь — сброд (*идиш*).

21

И неожиданно все оказалось прекрасным (*нем.*).

Здесь — на пределе (*лат.*).

23

Мужественные, настоящие мужчины (*исп.*).

24

Что касается меня, я считаю… что касается меня, то я ненавижу… А я обожаю… (*фр.*).

Здесь — смыслом (*фр.*).

Свободны от евреев (*нем.*).

«Отверженные» (*фр.*).